ISSN 0130–6545

3.1991

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

МИЛОРАД ПАВИЧ
Хазарский словарь

ДАВИД АВИДАН
Стихи

СЬЮ ТАУНСЕНД
Ковентри возрождается

ГАЙ ГУЛЬОТТА, ДЖЕФФ ЛИН
Кокаиновые короли

Протоиерей АЛЕКСАНДР МЕНЬ
В поисках подлинного Христа

UNIVERSITY OF PUERTO RICO PRESS

El Tramo Ancla (The Last Lap)

edited by Ana Lydia Vega

A collection of essays and short stories by seven exceptionally gifted young Puerto Rican writers who, metaphorically speaking, have passed the final hurdle of a relay race.

Humorous, sad, savage, critical but always passionate, the stories and essays offer discriminating readers a diverse, diverting and comprehensive view of Puerto Rican life and mores in the 1980's. 305 pages in Spanish.

ISBN: 08477-3633-4; paper. US Dollars $10.50

Diario, tomo I

Zenobia Camprubí de Jiménez

The first volume of the journal written by the wife of Juan Ramón Jiménez, the Nobel prize winning Spanish poet, covers the early years of the couple's exile after the outbreak of the Spanish Civil War. Of interest to scholars, critics and other readers concerned with contemporary Spanish history and culture. (Available May 1991)

ISBN: 0-8477-3638-5; paper

Iconografía política del Nuevo Mundo

Rolena Adorno, Bernadette Bucher, Mercedes López-Baralt

Essays on Latin American colonial literature and the semiotics of illustrated books of the same period. (Available December 1990)

ISBN: 0-8477-3638-5; paper

Reapropiaciones: ensayos sobre literatura puertorriqueña actual

Julio Ortega

An outstanding critic of contemporary Latin American literature publishes a stimulating collection of essays on and interviews with noted Puerto Rican writers Edgardo Rodríguez Juliá, Rosario Ferré, José Luis Vega, Joserramón Meléndez and others. (Available February 1991)

ISBN: 0-8477-3620-2; paper

Antología personal

José Luis González

One of the most brilliant Latin American writers of this century, presents a personal selection of his favorite short stories and fragments of novels. (Available January 1991)

ISBN: 0-8477-3623-7; paper

EDUPR Box 23322, San Juan, Puerto Rico 00931-3322

Sales Office (809)751-8251, (809)758-8345 Fax (809)753-9116

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, А. М. АДАМОВИЧ,
О. С. ВАСИЛЬЕВ (заместитель главного редактора),
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ,
А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Т. В. ЛАНИНА,
Т. Л. МОТЫЛЕВА, Б. В. НИКОЛЬСКИЙ (ответственный секретарь),
В. Ф. ОГНЕВ, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ,
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ (заместитель главного редактора),
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ

Международный общественный совет журнала «Иностранная литература»:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР) — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ГРЭМ ГРИН (Великобритания),
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия), МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания),
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария), СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения), РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС
РЕТАМАР (Куба), СЕМБЕН УСМАН (Сенегал),
МАКС ФРИШ (Швейцария), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

НЕЗАВИСИМЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

3 март 1991

СОДЕРЖАНИЕ

МИЛОРАД ПАВИЧ — Хазарский словарь *(Роман-лексикон в 100 000 слов. Фрагменты. Перевод с сербскохорватского Л. Савельевой)* 5

ДАВИД АВИДАН — Стихи *(Перевод с иврит Савелия Гринберга. Предисловие Исраэля Шамира)* 59

СЬЮ ТАУНСЕНД — Ковентри возрождается *(Повесть о двух городах. Перевод с английского И. Стам)* 65

ГАЙ ГУЛЬОТТА, ДЖЕФФ ЛИН — Кокаиновые короли *(Документальная повесть. Перевод с английского Ольги Варшавер. Послесловие Льва Елина)* 141

Критика

Протоиерей АЛЕКСАНДР МЕНЬ — В поисках подлинного Христа *(Евангельские мотивы в западной литературе. Подготовка текста и вступление И. Зориной)* 237

КЕЙС ВЕРХЕЙЛЬ — Тишина русской лирики *(Два этюда. Вступление Анатолия Наймана)* 248

Советская литература за рубежом 254

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1991

На 1-й странице обложки: ***«Указующий перст».***
Картина американского художника ***РОЯ ЛИХТЕНСТАЙНА.***

Главный художник **С. И. Мухин**
Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР» Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 14.01.91. Подписано в печать 13.03.91. Формат 70×108$^{1}/_{16}$.
Печать высокая. Бумага книжно-журнальная. Усл.-печ. л. 22,4.
Усл. кр.-отт. 23,4. Уч.-изд. л. 28,70.

Тираж 198 000 экз. Цена 2 р. 95 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». 103473, Москва И-473, Краснопролетарская, 16. Зак. 1510.
Отпечатано и изготовлен тираж в типографии издательства «Советская Сибирь». 630048, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 44. Зак. 62

МИЛОРАД ПАВИЧ

Хазарский словарь

РОМАН-ЛЕКСИКОН В 100 000 СЛОВ
Фрагменты

Перевод с сербскохорватского Л. САВЕЛЬЕВОЙ

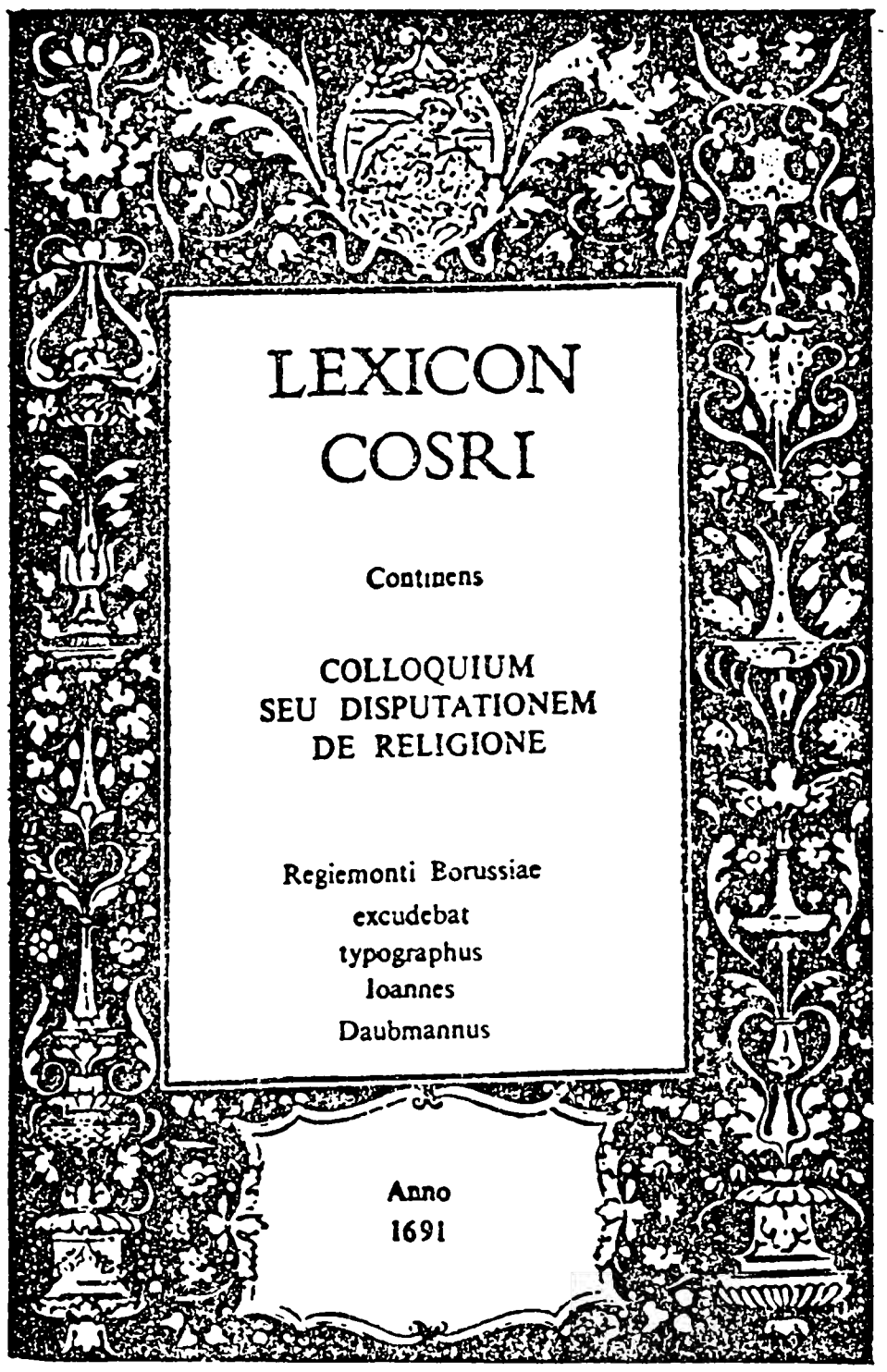
«Хазарский словарь» — не самое, может быть, завлекательное название для романа, и тем не менее именно эта книга принесла сербскому писателю Милораду Павичу поистине мировую известность. Такого успеха, вероятно, не ожидал ни сам автор — поэт, прозаик, историк литературы,— ни югославская критика, хотя она сразу высоко оценила роман.

За шесть лет после выхода в свет «Хазарского словаря» (1984 год) он был переведен более чем на двадцать языков и в течение нескольких лет занимал прочное место в списках бестселлеров во Франции, ФРГ, США.

Литературная критика, отмечая необычность художественной формы «Хазарского словаря», ставила его в один ряд с произведениями знаменитых мастеров современной литературы — Борхеса, Кортасара, Эко. Книгу Милорада Павича сравнивали по буйству фантазии даже со сказками «Тысячи и одной ночи», но за фантазиями и легендами в ней, несомненно, угадывается и острая современность. М. Павич заставляет задуматься и о проблемах взаимодействия одной культуры, восприимчивой и открытой, с другой культурой, и о проблемах выживания малого народа, стремящегося сохранить свое национальное и историческое «я». Некоторые критики увидели в «Хазарском словаре» «метафору Сербии, измученной родины автора», других роман навел на тревожные мысли о судьбе своей нации, своего пусть даже большого народа. «В один прекрасный день,— пишет рецензент романа Павича в журнале «Шпигель»,— возможно, и немцы окажутся исчезнувшим народом, растворившимся в мировой истории, затонувшим, как «Атлантида».

А может быть, задавался вопросом французский критик, этот роман — символическое толкование всей нашей цивилизации и все мы — хазары в век ядерной угрозы и экологических катастроф?

Редакция предлагает вниманию читателей «роман-лексикон в 100 000 слов», точнее, его фрагменты. Надеемся, что эта книга, которая одновременно и любовный роман, и детектив, и ученый трактат, и собрание сказок, шутливых историй, вампирского фольклора, вызовет интерес и у нашего читателя. Тем более что хазары ведь жили на территории нашей страны. С детства мы помним эту пушкинскую строчку — «отмстить неразумным хазарам». Но многое ли мы о них знаем?



НА ЭТОМ МЕСТЕ
ЛЕЖИТ
ЧИТАТЕЛЬ,
КОТОРЫЙ НИКОГДА
НЕ ОТКРОЕТ
ЭТУ КНИГУ.
ЗДЕСЬ ОН СПИТ
ВЕЧНЫМ СНОМ.

История создания «Хазарского словаря»

Событие, описанное в этом словаре, произошло, видимо, в VIII или в IX веке нашей эры (возможно, было и несколько подобных событий) и в специальной литературе оно обычно называется «хазарской полемикой». Хазары, независимое и сильное племя, воинственные кочевники, в неизвестный момент истории появились с Востока, гонимые жарой тишиной, и в период с VII до X века населяли сушу между двумя морями — Каспийским и Черным [1].

Хазары заявили о себе в истории, начав воевать с арабами и заключив союз с византийским императором Гераклием в 627 году, однако их происхождение остается загадкой, исчезли и все следы, которые привели бы нас к тому, под каким именем и среди какого народа искать хазар сегодня. После них осталось одно кладбище на берегу Дуная, о котором точно неизвестно, хазарское ли оно, и еще куча ключей, у которых вместо головки были припаяны золотые или серебряные монетки с изображением какого-то трехрогого знака; как считает Даубманус, их отливали хазары. С исторической сцены хазары исчезли вместе со своим государством после того, как разыгрались события, о которых здесь главным образом и пойдет речь, а именно — после того, как они обратились из своей первоначальной и ныне нам неизвестной веры в одну из известных и тогда и теперь религий — иудейскую, исламскую или христианскую. Вскоре за их обращением в эту веру, как считается, последовал и распад хазарского царства. Один из русских полководцев X века, князь Святослав, не

[1] Обзор литературы о хазарах опубликован в Нью-Йорке (The Khazars, a bibliography, 1939); о истории хазар существуют две монографии русского автора М. И. Артамонова (Ленинград, 1936 и 1962), а историю хазар-евреев опубликовал в Принстоне в 1954 году Д. М. Данлоп.

сходя с коня съел хазарское царство, словно яблоко. Хазарскую столицу в устье Волги русские разрушили в 943 году за восемь ночей, а с 965 до 970 года уничтожили и хазарское государство. Очевидцы отмечали, что тени домов хазарской столицы еще долго не разрушались, хотя сами дома давно были уничтожены. Они стояли, сопротивляясь ветру и водам Волги. Одна из русских хроник XII века свидетельствует о том, что Олег уже в 1083 году назывался архонтом Хазарии, но в это время, то есть в XII веке, территорию бывшего государства хазар уже занимал другой народ — кумы. Материальные следы хазарской культуры весьма скудны. Никакие тексты, общественного или личного характера, не обнаружены, нет никаких следов хазарских книг, о которых упоминает Халеви, ничего неизвестно об их языке, хотя Кирилл отмечает, что они исповедовали свою веру на хазарском. Единственное общественное здание, обнаруженное при раскопках в Суваре, на некогда принадлежавшей хазарам территории, судя по всему не хазарское, а болгарское. Ничего особенного не найдено и во время раскопок на месте города Саркела, нет даже следов стоявшей там когда-то крепости, которую, как нам известно, построили для хазар византийцы. После уничтожения их государства хазары почти не упоминаются. В X веке вождь одного из венгерских племен предложил им поселиться на своих землях. В 1117 году какие-то хазары появлялись в Киеве у Владимира Мономаха. В Пресбурге в 1309 году католикам было запрещено вступать в брак с хазарами, и папа подтвердил этот запрет в 1346 году. Это почти все...

Упомянутый акт обращения в новую веру, который оказался роковым для хазар, произошел следующим образом. Хазарский правитель — каган,— как отмечают древние хроники, увидел однажды сон, для толкования которого он потребовал пригласить трех философов из разных стран. Дело было тем более важным для хазарского государства, что каган решил вместе со своим народом перейти в веру того из мудрецов, чье толкование сна будет самым убедительным. Некоторые источники утверждают, что в тот день, когда каган принял это решение, у него умерли волосы на голове, и он понял, что́ это значит, однако остановиться уже не мог. Так в летней резиденции кагана встретились исламский, еврейский и христианский миссионеры — дервиш, раввин и монах... Точки зрения трех мудрецов, их споры, основанные на позициях трех различных вер, их личности и исход «хазарской полемики» вызвали большой интерес, многочисленные противоречивые суждения об этом событии и его последствиях, о победителях и побежденных в полемике. На протяжении веков всему этому были посвящены бесчисленные дискуссии в еврейском, христианском и исламском мире, и продолжаются они по сию пору, хотя хазар уже давно нет. В XVII веке интерес к хазарам неожиданно вспыхнул с новой силой и необъятный материал о хазарах, накопившийся к этому моменту, был систематизирован и опубликован в 1691 году в Пруссии... Издатель одного польского словаря Йоанес Даубманус, или какой-то его наследник под тем же именем, в вышеупомянутом 1691 году опубликовал собрание сведений о хазарском вопросе, придав ему единственно возможную форму, способную вместить все пестрое наследие, которое те, кто носит перо за ухом и мажет рот чернилами, накапливали и теряли на протяжении веков. Оно было напечатано в виде словаря о хазарах под заголовком «Lexicon Cosri»...

Как пользоваться словарем

Несмотря на все перипетии, эта книга сохранила некоторые достоинства первоначального издания — издания Даубмануса. Так же как и то издание, она может читаться самыми разными способами. Это открытая книга, а когда ее закроешь, можно продолжать писать ее; так же как она имеет своих лексикографов в прошлом и в настоящем, и в будущем могут появиться те, кто будет ее переписывать, продолжать и дополнять... Все имена и понятия, которые в ней отмечены знаками креста, полумесяца или звезды Давида, нужно искать в соответствующем разделе словаря, если кто-то захочет найти более подробное объяснение. То есть слова под знаком:

— нужно искать в Красной книге словаря (христианские источники о хазарском вопросе),

— нужно искать в Зеленой книге словаря (исламские источники о хазарском вопросе),

— нужно искать в Желтой книге словаря (древнееврейские источники о хазарском вопросе),

— статьи, помеченные этим знаком, можно найти во всех трех книгах...[1]

Иначе говоря, читатель может пользоваться книгой так, как ему покажется удобным. Одни, как в любом словаре, будут искать имя или слово, которое интересует их в данный момент, другие могут считать этот словарь книгой, которую следует прочесть целиком, от начала до конца, в один присест, чтобы получить более полное представление о хазарском вопросе и связанных с ним людях, вещах, событиях. Книгу можно листать слева направо и справа налево, так в основном и листали словарь, опубликованный в Пруссии (еврейские и арабские источники). Три книги этого словаря — Желтую, Красную и Зеленую — можно читать в том порядке, какой придет на ум читателю, например, начав с той страницы, на которой словарь откроется... Именно поэтому в издании XVII века каждая книга была переплетена отдельно, что в данном случае невозможно было сделать по техническим причинам. «Хазарский словарь» можно читать и по диагонали, чтобы получить срез каждого из трех источников — исламского, христианского и древнееврейского... Можно при чтении соединить в одно целое статьи из трех различных книг словаря, где говорится об участниках хазарской полемики, о ее хронистах, об исследователях хазарского вопроса в XVII веке (Коэн, Масуди, Бранкович) и в XX веке (Сук, Муавия, Щульц). Разумеется, не следует обходить вниманием и персонажи, пришедшие из трех преисподен — исламской, еврейской и христианской (Ефросиния Лукаревич, Севаст, Акшани). Они проделали самый длинный путь, чтобы добраться до этой книги.

Однако обладателя словаря не должны смущать эти инструкции. Он может со спокойной душой пренебречь всеми этими советами и читать так, как ест: пользоваться правым глазом как вилкой, левым как ножом, а кости бросать за спину. И хватит. Правда, может случиться, что читатель заблудится и потеряется среди слов этой книги, как случилось с Масуди, одним из авторов словаря, который заплутал в чужих снах и уже не нашел дороги назад. В таком случае читателю не остается ничего другого, как пуститься с середины страницы в любую сторону, прокладывая свою собственную тропинку. Тогда он будет продвигаться сквозь книгу, как сквозь лес, от знака до знака, ориентируясь по звездам, месяцу и крестам. В другой раз он будет читать ее, как птица трясогузка, которая летает только по четвергам, или же перетасовывать и перекладывать ее страницы бесчисленными способами, как кубик Рубика. Никакая хронология здесь не нужна и не должна соблюдаться. Каждый читатель сам сложит свою книгу в одно целое, как в игре в домино или карты, и получит от этого словаря, как от зеркала, столько, сколько в него вложит, потому что от истины — как пишется на одной из следующих страниц — нельзя получить больше, чем вы в нее вложите. Кроме того, книгу эту вовсе не обязательно читать целиком, можно прочесть лишь половину или какую-то часть и на этом остановиться, что, кстати, всегда и бывает со словарями. Чем больше ищешь, тем больше получаешь; так и здесь счастливому исследователю достанутся все связи между именами этого словаря. Остальное для остальных.

ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ

Христианские источники о хазарском вопросе

АТЕХ **** — хазарская принцесса, ее участие в полемике о крещении хазар было решающим. Ее имя истолковывается как название четырех состояний духа у хазар. По ночам на каждом веке она носила по букве, написанной так же, как пишут буквы на веках коней перед состязанием. Буквы эти были буквами запрещенной хазарской азбуки, письмена которой убивали всякого, кто их прочтет. Буквы писали слепцы, а по утрам, перед умыванием принцес-

[1] По техническим причинам в нашем журнале эти обозначения соответственно заменяются на *, **, ***, ****. *(Прим. ред.)*

сы, служанки прислуживали ей зажмурившись. Так была она защищена от врагов во время сна, когда человек, по поверьям хазар, наиболее уязвим. Атех была прекрасна и набожна, и буквы были ей к лицу, а на столе ее всегда стояла соль семи сортов, и она, прежде чем взять кусок рыбы, обмакивала пальцы каждый раз в другую соль. Так она молилась. Говорят, что так же как и солей, было у нее семь лиц. Согласно одному из преданий, каждое утро она брала зеркало и садилась рисовать, и всегда новый раб или рабыня позировали ей. Кроме того, каждое утро она превращала свое лицо в новое, ранее невиданное. Другие считают, что Атех вообще не была красивой, однако она научилась перед зеркалом придавать своему лицу такое выражение и так владеть его чертами, что создавалось впечатление красоты. Эта искусственная красота требовала от нее стольких сил и напряжения, что, как только принцесса оставалась одна и расслаблялась, красота ее рассыпалась так же, как ее соль. Во всяком случае ромейский (византийский) император назвал в IX веке «хазарским лицом» известного философа и патриарха Фотия, что могло указывать либо на родство патриарха с хазарами, либо на лицемерие.

По Даубманусу **** же ни та, ни другая версия не верны. Под хазарским лицом подразумевалась способность и особенность всех хазар, и принцессы Атех в том числе, каждый день пробуждаться как бы кем-то другим, с совершенно новым и неизвестным лицом, так что даже ближайшие родственники с трудом распознавали друг друга. Путешественники отмечали, однако, что лица хазар совершенно одинаковы, что они никогда не меняются и это приводит к разным осложнениям и недоразумениям. Как бы то ни было, суть дела от этого не меняется, и хазарское лицо означает лицо, которое трудно запомнить. Этим можно объяснить не только легенду, по которой у принцессы Атех были разные лица для каждого из участников хазарской полемики **** при дворе кагана, но и сведения о том, что существовали три принцессы Атех — одна для исламского, вторая для христианского, а третья для еврейского миссионера и толкователя снов. Остается, однако, фактом, что ее присутствие при хазарском дворе не отмечено в христианском источнике того времени, написанном на греческом и переведенном на славянский язык («Житие Константина Солунского» — св. Кирилла *), при этом, правда, из «Хазарского словаря» известно, что одно время среди греческих и славянских монахов существовало нечто похожее на культ принцессы Атех. Культ этот возник в связи с убеждением, что Атех победила в полемике еврейского теолога и приняла христианство вместе с каганом ****, о котором опять-таки нельзя сказать, был ли он ей отцом, супругом или братом...

О принцессе Атех известно, что она никогда не смогла умереть. Все же существует запись, выгравированная на ноже, украшенном мелкими дырочками, где говорится о ее смерти. Это единственное и не вполне достоверное предание приводит Даубманус ****, однако не как рассказ о том, что принцесса Атех действительно умерла, а как рассуждение о том, могла ли она вообще умереть. Как от вина не седеют волосы, так и от этого рассказа не будет вреда. Называется он:

БЫСТРОЕ И МЕДЛЕННОЕ ЗЕРКАЛО.

Однажды весной принцесса Атех сказала: «Я привыкла к своим мыслям, как к своим платьям. В талии они всегда одной и той же ширины, и вижу я их повсюду, даже на перекрестках. И что хуже всего — из-за них уже и перекрестков не видно».

Чтобы развлечь принцессу, слуги вскоре принесли ей два зеркала. Они почти не отличались от других хазарских зеркал. Оба были сделаны из отполированной глыбы соли, но одно из них было быстрым, а другое медленным. Что бы ни показывало быстрое, отражая мир как бы взятым в долг у будущего, медленное отдавало долг первого, потому что оно опаздывало ровно настолько, насколько первое уходило вперед. Когда зеркала поставили перед принцессой Атех, она была еще в постели, и с ее век еще не были смыты написанные на них буквы. В зеркале она увидела себя с закрытыми глазами и тотчас умерла. Принцесса исчезла в два мгновения ока, тогда, когда впервые прочла написанные на своих веках смертоносные буквы, потому что зеркала отразили, как она моргнула и до и после своей смерти. Она умерла, убитая одновременно буквами из прошлого и будущего...

БРАНКОВИЧ АВРАМ (1651—1689) — один из тех, кто писал эту книгу. Дипломат, служивший в Адрианополе и при Порте в Царьграде, военачальник в австрийско-турецких войнах, энциклопедист и эрудит. Портрет Бранковича

был нарисован на стене основанного им храма святой Параскевы в Купинике, родовом имении Бранковичей. Здесь он изображен в окружении своих родственников подающим на кончике сабли своей прабабке, сербской царице и святой, преподобной матери Ангелине, храм святой Петки.

Хронологию жизни Бранковича наиболее полно можно восстановить по письменной исповеди, которую послал патриарху в Печ из Польши второй писарь Аврама Бранковича — Теоктист Никольски, а также на основе одной иконы, изображающей житие и чудеса Ильи Пророка, потому что к каждому эпизоду из жизни этого святого Бранкович подгонял события собственной жизни и делал записи об этом на задней стороне иконы.

«Аврам Бранкович происходит из семьи, которая пришла в придунайские края с юга, после падения сербского царства, когда оно оказалось под турецкой властью»,— написано в секретном донесении Никона Севаста венскому двору. «Члены этой семьи, подхваченные поднявшейся тогда волной исхода из мест, занятых турками, переселились в XVI веке в Липову и в Енопольский округ. С тех пор о трансильванских Бранковичах говорят, что они лгут на румынском, молчат на греческом, считают на еврейском, в церкви поют на русском, самые умные мысли произносят на турецком, и только тогда, когда хотят убить, употребляют свой родной, сербский, язык. Родом они из западной Герцеговины, из окрестностей Требинья, из села Кореничи, недалеко от Ластвы в Горни-Полици, отсюда и другое их имя — Кореничи. После переселения Бранковичи занимают видное место в Трансильвании, и их вино уже двести лет славится как самое лучшее в Валахии, существует даже поговорка: каплей его можно напиться допьяна...

В Царьград Аврам Бранкович пришел хромым, с раздвоенным каблуком, и там рассказывают о том, как он был изуродован. Когда Аврам был мальчиком семи лет, турки ворвались во владение его отца и налетели на небольшую группу слуг, сопровождавших ребенка во время прогулки. Завидев турок, слуги разбежались, с Аврамом остался только один старик, который длинной палкой весьма искусно отражал все выпады всадников, пока их командир не выпустил в него изо рта стрелу, спрятанную в зажатой в зубах камышовой трубочке. Старик упал как подкошенный, а Аврам размахнулся изо всех сил хлыстом, который держал в руке, и стегнул турка по сапогам. Мальчик вложил в этот удар все свое отчаяние и ненависть, но турок только рассмеялся и, приказав поджечь село, ускакал. Годы ползли, как черепахи, Аврам Бранкович вырос, случай этот забылся, потому что были новые стычки и Бранкович теперь сам вел своих воинов, неся в руке знамя и во рту камышинку с отравленной стрелой. Однажды на дороге они натолкнулись на вражеского лазутчика, который шел вместе со своим сыном, еще мальчиком. Они выглядели на первый взгляд вполне безобидно, у каждого только по палке в руках. Один из людей Бранковича узнал старика, подъехал к нему вплотную, пытался его схватить. Старик отбивался палкой и не давался. Все заподозрили, что в палке у него спрятано секретное письмо, свернутое в трубку. Бранкович выпустил отравленную стрелу и убил старика. Тотчас мальчик, шедший со стариком, ударил Бранковича своей палкой. Ребенку не исполнилось, пожалуй, и семи лет, и вся его сила, ненависть и любовь не могли бы нанести вреда Бранковичу, но Бранкович рассмеялся и упал как подкошенный.

После этого удара он стал хромать на одну ногу, оставил военное ремесло; через своего родственника, графа Джордже Бранковича, устроился дипломатом в Адрианополе, Варшаве и Вене. Здесь, в Царьграде, Бранкович работает на английского посланника и живет в просторном каменном доме между башнями Йороз Калеши и Карабаш на Босфоре. На первом этаже этого дома он приказал выстроить одну половину церкви, посвященной матери Ангелине, его прабабке, которую восточная церковь объявила святой, в то время как вторая половина той же церкви находится в Трансильвании, месте постоянного пребывания отца Бранковича.

Аврам Бранкович человек видный, с огромной грудной клеткой, напоминающей клетку для крупных птиц или небольших зверьков, и на него часто нападают убийцы, ведь в народной песне поется, что кости его из золота.

В Царьград он прибыл так, как путешествует всегда: на высоком верблюде, которого кормят рыбой. Животное под ним идет иноходью, и ни капли вина не проливается из чаши, укрепленной в оголовье. С раннего детства Бранкович спит не ночью, как все зрячие, а только днем, но когда он перевел свои часы и превратил день в ночь, сказать никто не может. Однако и во время своих ночных бдений он не может спокойно сидеть на одном месте, будто не дает ему покоя чужое горе. Поэтому за трапезой ему всегда ставят две тарелки, два стула и

два стакана — среди обеда он часто неожиданно вскакивает и пересаживается на другое место. Точно так же не может он долго говорить на одном языке, а меняет их, как любовниц, и переходит то на румынский, то на венгерский или турецкий, а у одного попугая начал учить и хазарский язык...

Каждый вечер, как только проснется, он начинает готовиться к бою. Точнее, он упражняется в мастерстве владения саблей с одним из здешних знаменитых искусников. Искусник этот — копт по имени Аверкие Скила, которого Аврам нанял себе в слуги. Этот Аверкие носит один глаз постным, а другой скоромным, а все морщины его лица связаны в один узел над переносицей. У него есть самое подробное описание и каталог сабельных ударов, всех, какие когда-нибудь были применены, и прежде чем внести в свой рукописный справочник какой-либо новый удар, он сам, лично проверяет его на живом мясе. Бранкович закрывается вместе со своим слугой-коптом в огромном зале, пол которого застелен ковром размером с небольшой луг, и в полном мраке упражняют они свои сабли. Аверкие Скила обычно берет в левую руку один из концов длинной верблюжьей уздечки, другой ее конец подхватывает кир Аврам, тоже левой, а в правой у него сабля, такая же тяжелая, как и та, что сжимает в темноте рука Аверкия Скилы. Медленно наматывают они уздечку на руку, пока не почувствуют, что уже приблизились друг к другу, и тогда замахиваются беспощадными саблями — в полной темноте, от которой можно оглохнуть. О быстроте удара Бранковича поют гусляры, да я и своими глазами прошлой осенью видел, как он стоит под деревом и ждет, когда дунет ветер, и первый же плод, который падает вниз, он на лету рассекает надвое. У него заячья губа, и для того, чтобы скрыть это, он отпустил усы, но когда он молчит, между усами все равно видны зубы. И кажется, будто губы у него нет вовсе, а усы растут на зубах...

Среди его слуг есть сербы, румыны, греки, копты, а недавно он взял на службу одного турка из Анатолии. У кира Аврама есть большая и малая постель, и, почивая (а спит он всегда только днем), он перемещается из одной постели в другую. Пока он спит, его слуга, тот самый, что родом из Анатолии, Юсуф Масуди, не сводит с него взгляда, от которого падают птицы...

Трудно судить о том, насколько Бранковича интересуют женщины. У него на столе стоит деревянная фигура обезьяны в натуральную величину с огромным членом. Иногда кир Аврам повторяет свое присловье: «Баба без зада, что село без церкви», только и всего. Раз в месяц господарь Бранкович отправляется в Галату, всегда к одной и той же гадалке, и она по картам читает его судьбу старинным и требующим большого терпения способом. В своем доме гадалка держит для Бранковича специальный стол, и на этот стол она бросает новую карту каждый раз, когда на дворе меняется ветер. От того, какой ветер подует, зависит, какая карта ляжет на стол Бранковича, и это продолжается годами. На прошлую Пасху, только мы вошли к ней, задул южный ветер, и гадалка сразу же изрекла:

— Вам приснится человек с одним седым усом. Молодой, с красными глазами и стеклянными ногтями на одной руке, он приближается к Царьграду, и скоро вы встретитесь...

Зная, насколько венский двор интересуется планами господаря Бранковича, я могу сказать, что Бранкович относится к тем людям, которые с особым вниманием и усердием заботятся о своем будущем, возделывают его, как большой сад...

В планы, которые он строит, входят две ключевые персоны. Один из них связан с влиятельным родственником Бранковича, графом Джордже Бранковичем, о котором венский двор располагает гораздо более надежными и обширными сведениями, чем мы здесь. Второй — с персоной, которую кир Аврам называет «курос» (что по-гречески значит «юноша», «мальчик»). Его прихода он ожидает здесь, в Царьграде, как евреи ждут прихода мессии. Эту персону, насколько удалось установить, Бранкович лично не знает, не знает он даже и ее имени (отсюда и это ласкательное греческое слово) и видится с ней только во сне. Но сны его эта персона посещает регулярно, и Бранкович видит ее всегда, когда видит сны. По свидетельству самого господаря Аврама, курос — это молодой человек с усами, один из которых сед, у него стеклянные ногти и красные глаза. Бранкович ожидает, что однажды встретится с ним и с его помощью узнает или поймет что-то, что представляется ему очень важным. От своего куроса Бранкович во сне научился читать справа налево на еврейский манер и видеть сны от конца и до начала. Эти необыкновенные сны, в которых кир Аврам превращается в куроса или, если вам угодно, в еврея, начались много лет назад. Сам Бранкович говорит о своем сне, что сначала он почувствовал

какое-то беспокойство, которое, подобно камню, брошенному в его душу, падало через нее на протяжении дней, и падение это прекращалось только ночью, когда вместе с камнем падала и душа. Позже этот сон полностью овладел его жизнью, и во сне он становился в два раза моложе, чем наяву. Из его снов навсегда исчезли сначала птицы, затем его братья, потом отец и мать, простившись с ним перед исчезновением. Потом бесследно исчезли все люди и города из его окружения и воспоминаний, и наконец из этого совершенно чужого мира исчез и он сам, как будто бы ночью, во время сна, он превратился в какого-то совсем другого человека, лицо которого, мелькнувшее перед ним в зеркале, испугало его так же, как если бы он увидел собственную мать или сестру, заросшую бородой. У того, другого, были красные глаза и стеклянные ногти, а один ус — седой.

В этих снах, прощаясь со всем окружавшим его, Бранкович дольше всего видел свою покойную сестру, но и она в этих снах каждый раз теряла что-то в своем облике, так хорошо знакомом Бранковичу, а взамен получала какие-то новые черты, незнакомые и чужие. Они достались ей от какой-то неизвестной особы, которая дала ей прежде всего голос, потом цвет волос, зубы, так что в конце концов оставались лишь руки, которые обнимали Бранковича все более и более страстно. Все остальное уже не было ею. И вот однажды ночью, которая была такой тонкой, что два человека, один из которых стоял во вторнике, а второй в среде, могли через нее пожать друг другу руки, она пришла к нему преображенной совершенно, такой прекрасной, что от ее красоты весь мир вокруг замер. Она обняла его руками, на каждой из которых было по два больших пальца. Он едва не сбежал от нее из своего сна, но потом сдался и сорвал, как персик с ветки, одну из ее грудей. После этого он снимал с нее, как с дерева, каждый свой день, а она дарила ему каждый раз новые плоды, все слаще и слаще, и так он спал с ней дни напролет в разных снах, как делают это другие люди со своими наложницами в нанятых на ночь домах. Но в ее объятиях он никогда не мог определить, какую из ее рук с двумя большими пальцами он чувствует на своем теле, потому что разницы между ними не было. Эта любовь в сновидениях, однако, заметно истощала его наяву, причем так сильно, что он просыпался почти полностью выжатым из своих снов в собственную постель. Тогда она пришла к нему и сказала:

— Кто с горечью в душе проклинает, тот будет услышан. Может быть, мы еще встретимся в какой-нибудь другой жизни.

Бранкович никогда не узнал, говорила ли она это ему, киру Аврааму Бранковичу, или же его двойнику из сна с седым усом, куросу, в которого Бранкович превращался, пока спал. Потому что во сне он давно уже не чувствовал себя Аврамом Бранковичем. Он чувствовал себя совсем другим, тем самым, у которого стеклянные ногти. В своих снах он уже много лет не хромал, как наяву. По вечерам казалось ему, что его будит чья-то усталость, так же как с утра он ощущал сонливость от того, что кто-то где-то чувствует себя выспавшимся, вполне пробудившимся и бодрым. Веки его тяжелели всегда, когда где-то раскрывались веки кого-то другого. Его и незнакомца соединяют друг с другом сообщающиеся сосуды силы и крови, и эта сила переливается из одного в другого так же, как переливают вино, чтобы оно не скисло. Чем больше один из них ночью во время сна отдохнул и набрался сил, тем больше те же самые силы покидали другого, оставляя место усталости и сну. Самое страшное было — неожиданно заснуть посреди улицы или в другом неподходящем месте, будто этот сон не сон, а отклик на чье-то пробуждение в тот же момент...

Мне кажется, что и курос... и все остальное... имеет непосредственное отношение к тому делу, которым господарь Бранкович и мы, его слуги, занимаемся уж несколько лет. Речь идет об одном глоссарии или же азбуке, которую я бы назвал «Хазарским словарем». Над этим словарем он работает без устали и преследует особые цели. В Царьград прибыли для Бранковича из Зарандской жупании и из Вены восемь верблюдов, нагруженных книгами, и все время прибывают новые и новые, так что он отгородился от мира стеной словарей и старых рукописей. Я знаю толк в красках, чернилах и буквах, влажными ночами я нюхом распознаю каждую букву и, лежа в своем углу, читаю по запахам целые страницы неразмотанных запечатанных свитков, которые сложены где-нибудь на чердаке под самой крышей. Кир Аврам же больше всего любит читать на холоде, в одной рубахе, дрожа всем телом, и только то из прочитанного, что, несмотря на озноб, овладевает его вниманием, он считает достойным запоминания, и эти места в книге он отмечает. Каталог, который Бранкович собрал при своей библиотеке, охватывает тысячи листов на различные темы: от перечня вздохов и восклицаний в старославянских молитвах до перечня со-

лей и чаев и огромного собрания волос, бород и усов самых различных цветов и фасонов живых и мертвых людей всех рас, господарь наклеивает их на стеклянные бутыли и держит у себя как своего рода музей старинных причесок. Его собственные волосы в этой коллекции не представлены, однако он приказал вышить ими на нагрудниках, которые он всегда носит, свой герб с одноглазым орлом и девизом: «Каждый господарь свою смерть любит».

Со своими книгами, коллекциями и картотекой Бранкович работает каждую ночь, но главное внимание его приковано к составлению (что он держит в строгой тайне) азбуки, вернее, словаря о крещении хазар **** — давно исчезнувшего племени с берегов Черного моря, которое имело обычай хоронить своих покойников в лодках. Это должен быть некий перечень биографий или сборник житий всех, кто несколько сот лет назад участвовал в обращении хазар в христианскую веру, а также тех, после кого остались какие-либо более поздние записи об этих событиях. Доступ к «Хазарскому словарю» имеем только мы — два его писаря — я и Теоктист Никольски. Такая предосторожность связана, видимо, с тем, что Бранкович здесь, в частности, рассматривает и различные ереси, не только христианские, но и еврейские и магометанские... Бранкович располагает всеми доступными сведениями о Кирилле* и Мефодии*, христианских святых и миссионерах, которые участвовали в крещении хазар с греческой стороны. Особую трудность для него, однако, составляет то, что он не может внести в эту азбуку еврейского и арабского участников обращения хазар, а они тоже причастны к этому событию и к полемике, которая тогда велась при дворе хазарского кагана ****. Об этом еврее и арабе он не только не смог узнать ничего, кроме того, что они существовали, но их имена не встречаются ни в одном из доступных ему греческих источников, где говорится о хазарах. В поисках еврейских и арабских свидетельств о крещении хазар его люди побывали в монастырях Валахии и в подвалах Царьграда, и сам он прибыл сюда, в Царьград, для того, чтобы здесь, откуда некогда в хазарскую столицу для крещения хазар были посланы миссионеры Кирилл и Мефодий, найти рукописи и людей, которые этим занимаются. Но грязной водой колодца не промоешь, и он не находит ничего! Бранкович не может поверить, что лишь он один интересуется хазарами и что в прошлом этим не занимался никто вне круга тех христианских миссионеров, которые оставили сообщения о хазарах со времен святого Кирилла. Я уверен, утверждает он, что кто-то из дервишей или еврейских раввинов, конечно же, знает подробности о жизни еврейского или арабского участника полемики, однако ему никак не удается найти такого человека в Царьграде, а может, они не хотят говорить о том, что им известно. Он предполагает, что наряду с христианскими источниками существуют не менее полные арабские и еврейские источники об этом народе и его обращении, но что-то мешает людям, знающим это, встретиться и связать в одно целое свои знания, которые только вместе могли бы дать ясную и полную картину всего, что относится к этому вопросу.

— Не понимаю,— часто говорит он,— может быть, я все время слишком рано останавливаю свои мысли и поэтому они созревают во мне лишь до половины и высовываются только до пояса...

Причину такого безмерного интереса кира Аврама к столь малозначительному делу, по-моему, объяснить нетрудно. Господарь Бранкович занимается хазарами из самых эгоистических побуждений. Он надеется таким образом избавиться от сновидений, в которые заточен. Курос из его сновидений тоже интересуется хазарским вопросом, и кир Аврам знает это лучше нас. Для кира Аврама единственный способ освободиться из рабства собственных снов — это найти незнакомца, а найти его он может только через хазарские документы, потому что это единственный след, который ведет его к цели. Мне кажется, что так же думает и тот, другой. Их встреча, таким образом, неизбежна, как встреча тюремщика и заключенного. Поэтому и неудивительно, что кир Аврам в последнее время так усердно упражняется со своим учителем на саблях...»

Этими словами завершается донесение Никона Севаста об Авраме Бранковиче. О последних днях своего господина Севаст, однако, не мог донести никому, потому что и господарь, и слуга были убиты однажды в среду, облаченную в туманы и заплутавшуюся где-то в Валахии. Запись об этом событии оставил другой слуга Бранковича — уже упоминавшийся искусный мастер сабельного боя Аверкие Скила. Эта запись выглядит так, как будто Скила писал ее концом своей сабли, обмакивая ее в чернильницу, стоящую на земле, а бумагу придерживал сапогом.

«В последний царьградский вечер, перед отъездом,— записал Аверкие Ски-

ла,— папас Аврам собрал нас в своем большом зале с видом на три моря. Дул ветер: зеленый с Черного моря, голубой, прозрачный — с Эгейского и сухой и горький — с Ионического. Когда мы вошли, наш господарь стоял рядом с верблюжьим седлом и читал. Собирался дождь, анатолийские мухи, как всегда перед дождем, кусались, и он отгонял их, защищаясь хлыстом и безошибочно попадая самым кончиком в место укуса на своей спине...

Мы уселись — все четверо, кого он позвал: я, два его писаря и слуга Масуди, который уже сложил все необходимые для путешествия вещи в зеленый мешок. Взяли по ложечке черешневого варенья с острым перцем и выпили по стакану воды из колодца, который находился здесь же, в комнате, и хоронил эхо наших голосов в подвале башни. После этого папас Аврам заплатил нам причитающееся за службу и сказал, что, кто хочет, может остаться в Царьграде. Остальные вместе с ним отправляются воевать на Дунай...

Неожиданно между Масуди и Никоном Севастом сверкнула молния страшной ненависти, которую до сих пор обе стороны не замечали или тщательно скрывали. Это произошло после того, как Масуди сказал киру Аврааму:

— Господин мой, я хочу отблагодарить тебя за твои подарки, прежде чем мы расстанемся. Я скажу тебе нечто такое, что обрадует тебя, потому что ты давно жаждешь это узнать. Того, кто тебе снится, зовут Самуэль Коэн ***.

— Ложь! — вскрикнул вдруг Севаст, схватил зеленый мешок Масуди и швырнул его в очаг, который горел в комнате. Масуди с неожиданным спокойствием повернулся к папасу Аврааму и сказал, показывая на Никона Севаста:

— Посмотри на него, господин, у него только одна ноздря в носу, и мочится он хвостом, как положено Сатане.

Папас Аврам подхватил попугая, державшего в когтях фонарь, и опустил его на пол. Стало светлее, и мы увидели, что нос Никона Севаста и правда был с одной ноздрей, черной и неразделенной посередине перегородкой, как это и бывает у нечистых. Тогда папас Аврам сказал ему:

— Ты, значит, из тех, кто не меняет обувь?

— Да, господин, но я не из тех, кто страдает медвежьей болезнью. Я не отрицаю того, что я Сатана,— признал он без колебания,— я только напоминаю, что я принадлежу к преисподней христианского мира и неба, к злым духам греческой территории, к аду православной церкви. Потому что точно так же, как небо над нами поделено между Иеговой, Аллахом и Богом-отцом, преисподняя поделена между Асмодеем, Иблисом и Сатаной. По случайности я попался на земле нынешней турецкой империи, но это не дает права Масуди и другим представителям исламского мира судить меня. На это уполномочены только представители христианской церкви, лишь их юрисдикция может быть признана правомочной. В противном случае может оказаться, что христианские или еврейские судьи начнут судить представителей исламского ада, если те окажутся в их руках. Пусть наш Масуди подумает об этом предупреждении...

На это папас Аврам ответил:

— Мой отец, Иоаникий Бранкович, имел дело с такими, как ты. В каждом нашем доме в Валахии всегда были собственные домашние ведьмы, чертенята, оборотни, с которыми мы ужинали, насылали на них добрых духов-защитников, заставляли считать дырки в решете и находили возле дома их отвалившиеся хвосты, собирали с ними ежевику, привязывали их у порога или к волу и секли в наказание и загоняли в колодцы. Как-то вечером в Джуле отец застал в нужнике сидящим над дырой огромного снеговика. Ударил его фонарем, убил и пошел ужинать. На ужин были щи с кабанятиной. Сидит он над щами, как вдруг — шлеп! — голова его падает в тарелку. Поцеловался он с собственным лицом, которое оттуда выглядывало, и захлебнулся в тарелке щей. Прямо у нас на глазах, прежде чем мы поняли, что происходит. Я и по сей день помню, что, захлебываясь в щах, он вел себя так, словно был в объятиях любимой, обнимал миску обеими руками, будто перед ним не щи с кабаном, а чья-то голова. Одним словом, хоронили мы его так, будто вырывали из чьих-то крепких объятий... А сапог отца бросили в Муреш, чтобы он не превратился в вампира. Если ты Сатана, а это так, то скажи мне, что означала смерть моего отца Иоаникия Бранковича?

— Это вы узнаете сами и без моей помощи,— ответил Севаст.— Но я вам скажу кое-что другое. Я знаю слова, которые звучали в ушах вашего отца, когда он умирал: «Немного вина, вымыть руки!» Это прозвенело у него в ушах в момент смерти. И теперь еще одно, чтобы вы не сказали потом, что я все из пальца высосал.

Вы занимаетесь хазарским словарем несколько десятилетий, давайте и я что-нибудь к нему добавлю.

Слушайте теперь то, чего вы не знаете. Три реки античного мира мертвых — Ахеронт, Пирифлегетон и Коцит — принадлежат сейчас преисподням ислама, иудаизма и христианства; их русла разделяют три ада — Геенну, Ад и ледяную преисподнюю магометан, под территорией бывшей страны хазар. Здесь как раз и сходятся границы трех загробных миров: огненное государство Сатаны с девятью кругами христианского Ада, с троном Люцифера и знаменами владыки ада; исламский ад с царством ледяных мук Иблиса и область Гевары с левой стороны от Храма, где сидят еврейские боги зла, вожделения и голода, Геенна во власти Асмодея. Эти три ада и существуют отдельно, граница между ними пропахана железным плугом, и никому не позволено ее переходить. Правда, вы все эти три ада представляете себе неправильно, потому что у вас нет опыта. В еврейском аду, в державе ангела тьмы и греха Велиала, корчатся в огне вовсе не евреи, как вы думаете. Там горят одни лишь арабы и христиане. Точно так же и в христианском пекле нет христиан — в огонь там попадают магометане или сыны и дочери Давида; в то время как в магометанском аду страдают только христиане и евреи, ни одного турка или араба там нет. Теперь представьте себе Масуди, который трепещет при мысли о своем таком страшном, но хорошо ему известном пекле и который вместо этого попадает в еврейский Шеол или христианский Ад, где его буду встречать я! Вместо Иблиса он увидит Люцифера. Представьте себе христианское небо над адом, в котором мучается еврей!

Советую вам воспринять это как важнейшее, серьезнейшее предупреждение, господин! Как глубочайшую мудрость. Здесь, на белом свете,— никаких дел, ничего общего, в чем могут пересечься три мира: ислам, христианство и иудаизм! Чтобы не пришлось потом иметь дело с преисподнями трех этих миров. Потому что с теми, кто друг друга ненавидит, на этом свете нет никаких затруднений. Они всегда похожи. Враги одинаковы или же со временем становятся одинаковыми, в противном случае они не могли быть врагами. Самую большую опасность представляют те, кто действительно отличаются друг от друга. Они стремятся узнать друг друга, потому что им различия не мешают.

Вот эти-то хуже всего. С теми, кто спокойно относится к тому, что мы отличаемся от них, с теми, кому эти различия не мешают спать, мы будем сводить счеты и сами и, объединив силы с собственными врагами, навалимся на них с трех сторон разом...

На это кир Аврам Бранкович сказал, что ему все-таки не все здесь ясно, и спросил:

— Почему же вы до сих пор так не сделали, если не ты, у которого хвост пока не отвалился, то другие, более старые и опытные? Чего вы ждете, пока мы строим наш дом на фундаменте «Отче наш»?

— Мы выжидаем время, господин. Кроме того, мы, дьяволы, можем сделать свой шаг только после того, как его сделаете вы, люди. Каждый наш шаг должен ступать в ваш след. Мы всегда на шаг отстаем от вас, мы ужинаем только после вашего ужина, и также, как и вы, не видим будущего. Итак, сначала вы, потом мы. Но я скажу тебе и то, что ты, господин, пока еще не сделал ни одного шага, который бы заставил нас преследовать тебя. Если ты это когда-нибудь сделаешь, ты или кто-нибудь из твоих потомков, мы вас настигнем в один из дней недели, имя которого не упоминается. Но пока все в порядке. Потому что вы — ты и твой красноглазый курос — никак не сможете встретиться, даже если он и появится здесь, в Царьграде. Если он видит во сне вас так же, как вы видите его, если он во сне создает вашу явь так же, как и его явь создана вашим сном, то вы никогда не сможете посмотреть друг другу в глаза, потому что вы не можете одновременно бдеть. Но все же не искушайте нас. Поверьте мне, господин, гораздо опаснее составлять словарь о хазарах из рассыпанных слов здесь, в этой тихой башне, чем идти воевать на Дунай, где уже бьются австрийцы и турки. Гораздо опаснее поджидать чудовище из сна здесь, в Царьграде, чем, выхватив саблю, мчаться на врага, а вам это дело, господин, по крайней мере, хорошо знакомо. Подумайте об этом и отправляйтесь туда, куда вы собрались, без сомнений, и не слушайте этого анатолийца, который апельсин макает в соль...

—Что же касается остального, господин,— закончил Севаст,— вы, конечно, можете передать меня христианским духовным властям и подвергнуть судебному процессу, предусмотренному для нечестивых и ведьм. Но прежде чем вы это сделаете, позвольте мне задать вам один-единственный вопрос. Уверены ли вы в том, что ваша церковь будет существовать и сможет судить и через триста лет так же, как она делает это сейчас?

— Конечно, уверен,— ответил папас Аврам.

— Ну так и докажите это: ровно через 293 года встретимся снова, в это же время года, за завтраком, здесь, в Царьграде, и тогда судите меня так, как бы вы сделали это сегодня...

Папас Аврам улыбнулся, сказал, что согласен, и убил еще одну муху кончиком хлыста.

Кутью мы сварили на утренней заре, обложили горшок подушками и поставили в дорожную сумку, чтобы папасу Авраму было нехолодно спать. Мы отправились в путь — на корабле через Черное море до устья Дуная, а оттуда вверх по течению. Последние ласточки пролетали над Дунаем, перевернувшись вниз черными спинками, которые отражались в воде вместо их белых грудок. Начались туманы, и птицы летели на юг, неся за собой через леса и через Железные ворота какую-то плотную оглушающую тишину, которая, казалось, вобрала в себя тишину всего мира. На пятый день возле Кладова нас встретил конный отряд из Трансильвании, пропитанный горькой румынской пылью с другого берега.

Когда наступило утро, папас Аврам, уставший от ночного боя, заснул перед своим шатром, а Масуди и Никон Севаст сели играть в кости. Никон уже третий день подряд проигрывал огромные суммы, а Масуди не прекращал игры. Должно быть, у них — спящего Бранковича и двух игроков — были какие-то очень серьезные причины оставаться на открытом месте под градом ядер и пуль. У меня таких причин не было, и я вовремя укрылся в безопасном месте. Как раз тут на наши позиции ворвался турецкий отряд, уничтожая все живое, а вслед за ними Сабляк-паша ** из Требинья, который смотрел не на живых, а на мертвых. За ним на место побоища влетел бледный юноша, у которого один ус был седым, словно он постарел лишь наполовину. На шелковом нагруднике папаса Аврама был вышит герб Бранковича с одноглазым орлом. Один из турок вонзил копье в эту вышитую птицу с такой силой, что было слышно, как металл, пробив грудную клетку спящего, ударил в камень под Бранковичем. Пробуждаясь в смерть, Бранкович приподнялся на одной руке, последнее, что он увидел в жизни, был красноглазый юноша со стеклянными ногтями и одним серебристым усом. Тут Бранковича прошиб пот, и две струи его завязались у него на шее узлом. Рука его задрожала так, что он, уже пронзенный копьем, посмотрел на нее с удивлением и всей своей тяжестью налег на руку, чтобы она перестала дрожать. Она все же еще некоторое время трепетала, успокаиваясь, как задетая струна, а когда успокоилась совсем, он без звука упал на эту руку. В тот же момент и юноша рухнул прямо на собственную тень, будто скошенный взглядом Бранковича, а мешок, который был у него на плече, покатился в сторону.

— Неужели Коэн погиб? — воскликнул паша, а турки, решив, что в юношу выстрелил один из игроков, в мгновение ока изрубили Никона Севаста, все еще сжимавшего в руке кости, которые он собирался бросить. Потом они обернулись к Масуди, но он сказал что-то паше по-арабски, обращая его внимание на то, что юноша не мертв, а спит. Это продлило жизнь Масуди на один день, потому что паша приказал зарубить его не в тот же день, а на следующий. Так оно потом и было.

«Я мастер сабельного боя — так заканчивается запись Аверкия Скилы об Авраме Бранковиче,— я знаю, что, когда убиваешь, всякий раз это бывает по-другому, так же как всякий раз по-другому бывает в постели с каждой новой женщиной. Разница только в том, что некоторых потом забываешь, а некоторых нет. Опять же, некоторые из убитых и некоторые женщины не забывают тебя. Смерть кира Аврама Бранковича была из тех, которые помнят. Было это так. Откуда-то прибежали слуги паши с корытом горячей воды, обмыли кира Аврама и передали его какому-то старику, который третью свою туфлю с бальзамами, травами и куделью носил подвешенной на груди. Я подумал, что он будет исцелять раны папаса Аврама, но он намазал его белилами и румянами, побрил, причесал, и такого отнесли его в шатер Сабляк-паши...

На другое утро в этом шатре он и умер. Это было в 1689 году, по мусульманскому летосчислению, в день священномученика Евтихия. В тот момент, когда Аврам Бранкович испустил дух, Сабляк-паша вышел из шатра и потребовал немного вина, чтобы вымыть руки».

КАГАН **** — хазарский правитель. Столицей Хазарского государства был Итиль, а летняя резиденция кагана находилась на Каспийском море и называлась Семендер. Считается, что прием греческих миссионеров при хазарском дворе был результатом политического решения. Еще в 740 году один из хазарских каганов просил Царьград прислать ему миссионера, сведущего в христианской вере. В IX веке возникла необходимость укрепить греко-хазарский союз перед лицом общей опасности: в это время русские уже водрузили свой щит над царьградскими вратами и отвоевали у хазар Киев. Существовала и еще одна опасность. У правившего в то время кагана не было престолонаследника. Однажды к нему явились греческие купцы, он принял их и угостил. Все они были низкорослые, чернявые и заросшие волосами настолько, что даже на груди у них виднелся пробор. Каган, сидевший с ними за обедом, казался великаном. Приближалась непогода, и птицы ударялись в окно, как мухи в зеркало. Проводив и одарив путешественников, каган вернулся туда, где они обедали, и случайно бросил взгляд на оставшиеся на столе объедки. Объедки греков были огромными, как у великанов, а объедки кагана крошечными, как у ребенка. Он тут же призвал к себе придворных, чтобы они ему напомнили, что говорили иностранцы, но никто ничего не помнил. В основном греки молчали, таково было общее мнение. Тут к кагану обратился один еврей из придворной свиты и сказал, что сможет помочь кагану.

— Посмотрим, каким образом,— ответил каган и лизнул немного святой соли. Еврей привел к нему раба и приказал тому обнажить руку. Рука была точной копией правой руки кагана.

— Оставь его,— сказал каган.— Оставь и действуй дальше. Ты на правильном пути.

И вот были разосланы гонцы по всему хазарскому царству, и через три месяца еврей привел к кагану юношу, ступни которого были совершенно такими же, как ступни кагана. Потом нашли два колена, одно ухо и плечо — все точно как у кагана. Мало-помалу при дворе собралось много юношей, среди них были и солдаты, и рабы, и веревочники, евреи, греки, хазары, арабы, которые — если от каждого взять определенную часть тела или член — могли бы составить молодого кагана, как две капли воды похожего на того, который правил в Итиле. Не хватало только головы. Ее никак не могли найти. И вот наступил день, когда каган вызвал к себе еврея и потребовал голову — его или кагана. Еврей нисколько не испугался, и каган, удивленный, спросил почему.

— Причина в том, что я испугался еще год назад, а не сегодня. Год назад я нашел и голову. Уже несколько месяцев я храню ее здесь, при дворе, но не решаюсь показать.

Каган приказал показать голову, и еврей привел к нему девушку. Она была молода и красива, а ее голова настолько была похожа на голову кагана, что могла бы служить ее отражением. Если бы кто-то увидел ее в зеркале, то решил бы, что видит кагана, только более молодого. Тогда каган приказал привести всех собранных и велел еврею сделать из них еще одного кагана. Пока расползались оставшиеся в живых калеки, части тела которых были использованы для создания второго кагана, еврей написал на лбу нового существа какие-то слова, и молодой наследник поднялся с постели кагана. Теперь его нужно было испытать, и еврей послал его в покои возлюбленной кагана, принцессы Атех. Наутро принцесса велела передать настоящему кагану следующие слова:

— Тот, кто был прислан вчера вечером ко мне на ложе, обрезан, а ты нет. Значит, или он не каган, а кто-то другой, или каган перешел к евреям, совершил обрезание и стал кем-то другим. Итак, реши, что же случилось.

Каган тогда спросил еврея, что может значить это различие. Тот отвечал:

— Да ведь различия не будет, как только ты сам совершишь обрезание.

Каган не знал, на что решиться, и снова спросил совета у принцессы Атех. Она отвела его в подвалы своего дворца и показала двойника. По ее приказу он был закован в цепи и брошен за решетку. Но цепи он сумел разорвать и сотрясал решетку с невероятной силой. За одну ночь он так вырос, что настоящий, необрезанный каган казался рядом с ним ребенком.

— Хочешь, я выпущу его? — спросила принцесса. Тут каган до того перепугался, что приказал убить обрезанного кагана. Принцесса Атех плюнула великану в лоб, и он упал мертвым.

Тогда каган обратился душой к грекам, заключил с ними новый союз и назвал их веру своей.

КИРИЛЛ (Константин Солунский, или Константин Философ, 826 или 827—869) — православный святой, греческий участник хазарской полемики, один из основателей славянской письменности...

Даубманус приводит такой рассказ о возникновении славянской азбуки. Язык варваров никак не хотел поддаваться укрощению. Как-то, быстрой трехнедельной осенью, сидели братья в келье и тщетно пытались написать письмена, которые позже получат название кириллицы. Работа не клеилась. Из кельи была прекрасно видна середина октября, и в ней тишина длиной в час ходьбы и шириной в два. Тут Мефодий обратил внимание брата на четыре глиняных кувшина, которые стояли на окне их кельи, но не внутри, а снаружи, по ту сторону решетки.

— Если бы дверь была на засове, как бы ты добрался до этих кувшинов? — спросил он. Константин разбил один кувшин, черепок за черепком перенес сквозь решетку в келью и собрал по кусочкам, склеив его собственной слюной и глиной с пола под своими ногами.

То же самое они сделали и со славянским языком — разбили его на куски, перенесли их через решетку кириллицы в свои уста и склеили осколки собственной слюной и греческой глиной под своими ногами...

В тот же год к византийскому императору Михаилу III прибыло посольство от хазарского кагана, который просил направить к нему из Царьграда человека, способного объяснить основы христианского учения. Император обратился за советом к Фотию, которого звал «хазарским лицом». Этот шаг был двусмысленным, однако Фотий к просьбе отнесся серьезно и порекомендовал своего подопечного и ученика Константина Философа, который, как и его брат Мефодий, отправился со своей второй дипломатической миссией, названной хазарской.

СЕВАСТ НИКОН (XVII век) — существует предание, что одно время под этим именем на Балканах, на берегу Моравы в Овчарском ущелье, жил Сатана. Он был необыкновенно мирным, всех людей окликал их собственным именем и зарабатывал себе на жизнь в монастыре Николья, где был старшим писарем. Где бы он ни сел, после него оставался отпечаток двух лиц, а вместо хвоста у него был нос. Он утверждал, что в прошлой жизни был дьяволом в еврейском аду и служил Велиалу и Гаваре, хоронил взрослых на чердаках синагог, и однажды осенью, когда птичий помет был ядовитым и прожигал листья и траву, на которые попадал, Севаст нанял человека, чтобы тот его убил. Таким способом он мог перешагнуть из еврейского в христианский ад и затем в новой жизни служить Сатане.

По другим слухам, он и не умирал, а дал однажды собаке лизнуть немного своей крови, вошел в могилу какого-то турка, схватил его за уши, содрал с него кожу и натянул ее на себя. Поэтому из его прекрасных турецких глаз выглядывали козьи глаза...

Одевался он богато, и ему прекрасно удавалась церковная настенная живопись, а этот дар, как говорит предание, дал ему архангел Гавриил. В церквах Овчарского ущелья на его фресках остались записи, которые, если читать их в определенной последовательности от фрески к фреске, от монастыря до монастыря, содержат послание. И его можно складывать до тех пор, пока будут существовать эти фрески. Это послание Никон составил для себя самого, когда через триста лет он опять вернется из смерти в мир живых, потому что демоны, как он говорил, не помнят ничего из предыдущей жизни и должны позаботиться о себе загодя. Первое время, только начав заниматься живописью, он и не был особо удачливым художником. Работал он левой рукой, фрески его были красивыми, но их невозможно было запомнить, они как бы исчезали со стен, как только на них переставали смотреть. Как-то утром Севаст в отчаянии сидел перед своими красками. Вдруг он почувствовал, как новая, другая тишина вплыла в его молчание и разбила его. Рядом молчал еще кто-то, но молчал не на его языке. Тогда Никон начал молить архангела Гавриила, чтобы тот удостоил его милости красок...

В августе 1670 года, накануне Дня семи святых эфесских мучеников, когда кончается запрет есть оленину, Никон Севаст сказал:

— Один из верных путей в истинное будущее (а есть ведь и ложное будущее) — это идти в том направлении, в котором растет твой страх.

И отправился на охоту. С ним был и один монах, Теоктист Никольски, который ему в монастыре помогал переписывать книги. Эта охота вошла в историю, вероятно, благодаря записям Теоктиста...

Тут явился Никону архангел Гавриил в облике оленя, иными словами, обращенный в душу Никона Севаста. А говоря еще точнее: архангел принес душу

Никону в подарок. Таким образом, Никон в тот день охотился и поймал собственную душу и заговорил с ней.

— Глубока твоя глубина и велика твоя слава, помоги мне восхвалять тебя в красках! — вскричал Севаст, обращаясь к архангелу, или к оленю, или к собственной душе, короче к тому, что там было.— Я хочу нарисовать ночь между субботой и воскресеньем, а на ней твою самую прекрасную икону, чтобы на тебя молились и в других местах, не видя ее!

Тогда архангел Гавриил сказал:

— Пробидев поташта се озлобити...— и монах понял, что архангел говорит, пропуская существительные. Потому что существительное — для Бога, а глаголы для человека. На это иконописец ответил:

— Как же мне работать правой, когда я левша? — Но оленя уже не было перед ним, и монах тогда спросил Никона: — Что это было?

А тот совершенно спокойно ответил:

— Ничего особенного, это все временное, я здесь просто на пути в Царьград...

А потом добавил:

— Человека сдвинешь с места, где он лежал, а там черви, букашки, прозрачные, как драгоценности, плесень...

И радость охватила его всего, как болезнь, он переложил свою кисть из левой руки в правую и начал писать. Краски потекли из него, как молоко, и он едва успевал их класть...

Он кормил и исцелял красками, расписывая все вокруг: дверные косяки и зеркала, курятники и тыквы, золотые монеты и башмаки. На копытах своего коня он нарисовал четырех евангелистов — Матфея, Марка, Луку и Иоанна, на ногтях своих рук — десять божьих заповедей, на ведре у колодца — Марию Египетскую, на ставнях — одну и другую Еву (первую Еву — Лилит и вторую — Адамову). Он писал на обглоданных костях, на зубах, своих и чужих, на вывернутых карманах, на шапках, на потолках. На живых черепахах он написал лики двенадцати апостолов, выпустил их в лес, и они расползлись. Тишина стояла в ночах, как в покоях, он выбирал любой, входил, зажигал за доской огонь и писал икону-диптих. На этой иконе он изобразил, как архангелы Гавриил и Михаил через ночь передают друг другу из одного дня в другой душу грешницы, при этом Михаил стоял во вторнике, а Гавриил в среде. Ноги их упирались в написанные названия этих дней, и из ступней сочилась кровь, потому что верхушки букв были заостренными. Работы Никона Севаста зимой, в отсвете снежной белизны, казались лучше, чем летом, на солнце. Была в них тогда какая-то горечь, будто они написаны в полутьме, были какие-то улыбки на лицах, которые в апреле гасли и исчезали до первого снега...

Его новые иконы и фрески запоминались на всю жизнь; монахи со всей округи и живописцы из всех монастырей Овчарского ущелья собирались в Николье, будто их кто созвал, смотреть на краски Никона. Монастыри начали наперебой зазывать его к себе, его икона приносила столько же, сколько и виноградник, а фреска на стене стала такой же быстрой, как конь...

Однажды Никон задумался и сказал себе:

— Раз я, левша, так рисую правой, как бы я мог рисовать левой! — и переложил кисть в левую руку...

Эта весть сразу разнеслась по монастырям, и все ужаснулись, уверенные, что Никон Севаст опять вернулся к Сатане и будет наказан. Во всяком случае, уши его стали опять острыми как нож, так что говорили — его ухом можно кусок хлеба отрезать. Но его мастерство осталось таким же, левой он писал так же, как и правой, ничего не изменилось, заклятие архангела не сбылось.

Вскоре после этого и другие, более старые живописцы и иконописцы, один за другим, будто отчаливая от пристани и выгребая на большую воду, начали писать все лучше и лучше и приближаться в своем умении к Никону Севасту, который раньше был для них недостижимым образцом. Так озарились и обновились стены всех монастырей ущелья, и Никон вернулся на то же место, с которого он начал движение от левой к правой руке. И тогда он понял, какому наказанию подвергнут. Не выдержав этого, он сказал:

— Зачем мне быть таким же иконописцем, как остальные? Теперь каждый может писать как я...

И он навсегда бросил свои кисти и никогда больше ничего не расписал. Даже яйца. Выплакал все краски из глаз в монастырскую ступку для красок и со своим помощником Теоктистом ушел из Николья, оставляя за собой след пятого копыта. На прощанье сказал:

— Знаю я в Царьграде одного важного господина, у которого чуб толст, как конский хвост, он нас наймет писарями.

И назвал имя. Имя это было: кир Аврам Бранкович *.

Д-р ИСАЙЛО СУК (15.III 1930—2.X 1982) — археолог, арабист, профессор университета в Нови-Саде, проснулся апрельским утром 1982 года с волосами под подушкой и легкой болью во рту. Ему мешало что-то твердое и зубчатое. Он засунул в рот два пальца, как будто полез в карман за расческой, и вынул изо рта ключ. Маленький ключ с золотой головкой. Человеческие мысли и сны имеют свои ороговевшие, непроницаемые внешние части, которые, как кожура, защищают мягкую сердцевину от повреждений,— так думал д-р Сук, лежа в постели и глядя на ключ. Вместе с тем мысли при соприкосновении со словами точно так же быстро гаснут, как слова при соприкосновении с мыслями. Нам остается только то, что сможет пережить это взаимное убийство. Короче говоря, д-р Сук хлопал глазами, мохнатыми, как мошонка, и ничего не мог понять. Главным образом его удивляло не то, откуда у него во рту ключ. Его удивляло другое. По его оценке, ключу этому было не менее тысячи лет, а заключения профессора Сука в области археологии обычно принимались безоговорочно. Научный авторитет профессора Сука был непререкаемым. Он сунул ключик в карман брюк и принялся грызть ус. Стоило ему утром погрызть ус, как в его памяти сразу всплывало, что он накануне ел на ужин. Например, сейчас он сразу же вспомнил, что это были тушеные овощи и печенка с луком. Правда, усы иногда при этом вдруг начинали пахнуть, например, устрицами с лимоном или еще чем-нибудь таким, что д-р Сук никогда бы не взял в рот. Тогда д-р Исайло начинал вспоминать, с кем он накануне в постели обменивался впечатлениями об ужине. Вот так этим утром он добрался до Джельсомины Мохоровичич...

В настоящий момент он находился в столице, где всегда наведывался в родительский дом. Здесь тридцать лет назад профессор Сук начал свои исследования, которые уводили его все дальше и дальше от этого дома, и он невольно чувствовал, что путь его закончится далеко, не здесь, в каком-то краю, где стоят холмы, поросшие соснами, напоминающие разломанный хлеб с черной коркой. И все же его археологические исследования и открытия в области арабистики, и особенно труды о хазарах, древнем народе, который давно исчез с арены мировых событий, оставив истории изречение, что и у души есть скелет и этот скелет — воспоминания, по-прежнему оставались связаны с этим домом. Дом когда-то принадлежал его левоногой бабке, в которую и он родился левшой. Сейчас здесь, в доме его матери, госпожи Анастасии Сук, на почетных местах расставлены книги д-ра Сука, переплетенные в мех от старых шуб, они пахнут смородиной, и читают их с помощью особых очков, которыми госпожа Анастасия пользуется только в торжественных случаях...

В то время, когда профессор Сук стоял на пороге третьего десятилетия своих исследований, когда глаза его стали быстрыми, а губы медленнее ушных раковин, когда его книгами начали все чаще пользоваться в археологии и ориенталистике, у него появилась еще одна причина наведываться в столицу. Однажды утром здесь, в большом здании, пышном, как слоеный торт, в шляпу, из которой позже вытаскивают записки, было опущено и имя д-ра Исайло Сука. Правда, ни в тот раз, ни позже оно не было вытащено, однако д-р Сук регулярно получает приглашения на заседания в этом здании. Он приезжает на эти заседания со вчерашней улыбкой, растянутой на губах, как паутина, и теряется в коридорах здания, в круговых коридорах, идя по которым, однако, никогда нельзя прийти на место, с которого ты начал движение. Он подумал, что это здание похоже на книгу, написанную на незнакомом языке, которым он еще не овладел, его коридоры — на фразы чужого языка, а комнаты — на иностранные слова, которых он никогда не слышал. И он нисколько не был удивлен, когда ему однажды сообщили, что в одной из комнат на первом этаже, где пахнет раскаленными замочными скважинами, он должен быть подвергнут обязательному здесь экзамену. На втором этаже, где вытаскивались свернутые трубочкой бумажки, авторитет его книг был бесспорным, однако этажом ниже в этом же самом здании он чувствовал себя коротконогим, будто штанины его брюк постоянно удлиняются. Здесь болтался народ, подчиненный тем, что были выше, на втором этаже, но здесь его книги не принимались во внимание, и он ежегодно подвергался экзамену, причем предварительно тщательно проверялось, кто он такой. После экзамена, правда, д-ру Суку не сообщили оценку, которая, конечно же, была где-то зафиксирована, однако председатель

экзаменационной комиссии весьма похвально отозвался о профессиональных данных кандидата. В тот день д-р Сук с большим облегчением отправился после экзамена к матери. Она, как и обычно, отвела его в столовую и здесь, закрыв глаза, показала ему прижатую к груди новейшую работу д-ра Сука с авторским посвящением. Из учтивости он взглянул на книгу, украшенную собственным автографом, а потом мать, как всегда, усадила его на табуретку в углу комнаты... С завидной точностью она рассказала сыну, что профессор Сук установил: ключи, найденные в одном глиняном сосуде в Крыму, вместо головки имели серебряные, медные или золотые имитации монет, встречавшиеся у варваров. Всего было найдено 135 ключей (д-р Сук считал, что их было до десяти тысяч в одном сосуде), и на каждом он нашел по одному маленькому значку или букве. Сначала он подумал, что это знак мастера или что-нибудь в этом роде, но потом заметил, что на монетах большей стоимости оттиснута другая буква. На серебряных монетах была третья буква, а на золотых, как он предполагал, четвертая, хотя не было найдено ни одного ключа с золотой головкой. И потом он пришел к гениальному выводу (на этом важном месте мать попросила его не вертеться и не прерывать ее вопросами): он распределил монеты по стоимости и прочитал зашифрованную запись или послание, которое возникнет, если буквы на монетах сложить в одно целое. Эта надпись была: «АТЕ», и недоставало только одной буквы (той самой, с золотой монеты, которая не была найдена). Д-р Сук предположил, что эта недостающая буква могла быть одной из священных букв еврейского алфавита, возможно это была буква «Х», четвертая буква божественного имени... А ключ, который ее носит, предвещает смерть.

Тем временем, каждую вторую весну, имя д-ра Сука опять оказывалось в той самой шляпе за дверями, пахнущими раскаленными замочными скважинами. Его об этом не оповещали, и он никогда не знал исхода... Экзамены теперь проводились все чаще, и на председательском месте всегда сидел кто-то новый. У д-ра Сука была одна студентка, которая очень рано облысела, но по ночам собака лизала ей темя, отчего у нее на голове выросла густая пестрая шерсть. Она была такой толстой, что не могла снять с пальцев свои перстни, и носила брови в форме маленьких рыбьих скелетов, а вместо шапки — шерстяной чулок. Спала она на своих зеркалах и гребнях и, разыскивая в снах своего маленького сына, свистела, отчего он, лежа рядом с ней, не мог спать. Сейчас она экзаменовала д-ра Сука, а ребенок сидел рядом, невыспавшийся и лысый. Чтобы как можно скорее разделаться с экзаменом, по ходу дела он отвечал и на вопросы ребенка. Когда все это кончилось, он пришел обедать к своей матери и был настолько разбит, что мать посмотрела на него с тревогой и сказала: «Смотри, Саша, твое будущее разрушает прошлое! Ты плохо выглядишь...»

— Знаешь ли ты, сколько ротовых отверстий у евреев? — спросила его мать в тот день, пока он ел.— Наверное, не знаешь... Об этом писал кто-то, кого я недавно читала, кажется д-р Сук. Это было в то время, когда он занимался диффузией библейских понятий в степях Евразии. Основываясь на исследованиях, которые он проводил еще в 1959 году на месте раскопок в Челареве, на Дунае, он установил, что там находилось поселение совершенно незнакомой нам популяции, гораздо более примитивной и в антропологическом отношении более старой, чем авары. Он считает, что это захоронение хазар, которые пришли с Черного моря, сюда, на Дунай, еще в VIII веке. Теперь уже поздно, но ты мне напомни завтра, когда придешь на день рождения Джельсомины, я тебе прочитаю потрясающие страницы, где он об этом пишет. Исключительно интересно...

С этим обещанием д-р Сук проснулся и нашел во рту ключ.

Когда он вышел на улицу, полдень уже разболелся вовсю, какая-то световая чума разъедала солнечное сияние, оспы и нарывы воздуха распространялись по небу и лопались в настоящей эпидемии, которая охватила и облака, так что они гнили и разлагались, все медленнее летя по небу...

Один из мальчиков, игравших на улице — а игра их заключалась в том, что они менялись штанами,— остановился у киоска, где д-р Сук покупал газеты, и обмочил одну его штанину. Д-р Сук обернулся с видом человека, который вечером заметил, что целый день у него были расстегнуты пуговицы на брюках, но тут совершенно незнакомый мужчина со всей силы влепил ему оплеуху. Было холодно, и д-р Сук через оплеуху почувствовал, что рука ударившего была очень теплой, и это показалось ему, несмотря на боль, даже немного приятным. Он повернулся к дерзкому типу, готовый объясниться, но в этот момент почувствовал, что его штанина, совершенно мокрая, прилипла к ноге. Тут его ударил второй человек, который ждал сдачу за газеты. Тогда д-р Сук решил, что лучше

ему удалиться, так он и сделал, ровным счетом ничего не поняв в происходящем, кроме того, что вторая оплеуха пахла чесноком. Да и нельзя было терять времени, так как вокруг него уже собрались прохожие, удары сыпались как нечто совершенно естественное, и д-р Сук чувствовал, что у некоторых из тех, кто отвешивал оплеухи, руки были холодными, и это теперь казалось даже приятным, потому что ему уже стало жарко. Во всей этой неразберихе он отметил для себя еще одно благоприятное обстоятельство, хотя времени для раздумий у него не было, ведь между двумя оплеухами много не подумаешь. Он успел заметить, что удары (от некоторых из них несло потом) гнали его в направлении от церкви святого Марка к площади, то есть туда, куда он и сам намеревался идти, а именно — прямо к лавке, где он собирался сделать покупку. И он отдался во власть ударов, приближавших его к цели...

Д-р Сук влетел наконец в лавку (собственно, ради этого он и вышел утром из дома) и с облегчением захлопнул за собой дверь. Было тихо, как в банке с огурцами, и только воняло кукурузой. В лавке было пусто, а в одном углу в шапке, как в гнезде, сидела курица. Она посмотрела на д-ра Сука одним глазом и оценила, что на нем можно съесть. Потом повернулась другим глазом и рассмотрела все, что нельзя переварить. Задумалась на мгновение, и наконец д-р Сук появился в ее сознании полностью, вновь составленный из перевариваемых и неперевариваемых частей, так что в конце концов ей стало ясно, с кем она имеет дело. О том, как события развивались дальше, пусть расскажет он сам.

Рассказ про яйцо и смычок

Стою в приятной прохладе и чувствую легкость, говорит он. Скрипки перекликаются, и из этих тихих вздохов можно целый полонез сложить, так же как составляют шахматную партию. Только немного изменить звуки и их последовательность. Наконец выходит венгр, хозяин музыкальной лавки. Глаза у него цвета сыворотки. Весь красный, как будто вот-вот яйцо снесет, выпячивает подбородок, похожий на маленький живот с пупком посредине. Вынимает карманную пепельницу, стряхивает пепел, аккуратно защелкивает ее и спрашивает, не ошибся ли я дверью. Меховщик рядом. Все время заходят сюда по ошибке. Я спрашиваю, нет ли у него маленькой скрипки для одной маленькой госпожи или, может быть, небольшой виолончели, если они не очень дороги.

Венгр поворачивается и хочет вернуться туда, откуда он пришел и откуда доносится запах паприкаша. В этот момент курица в шапке приподнимается и кудахтаньем обращает его внимание на снесенное только что яйцо. Венгр осторожно берет яйцо и кладет в ящик, предварительно что-то написав на нем. Это дата — 2.X. 1982, причем я с удивлением понимаю, что наступит она только через несколько месяцев.

— Зачем вам скрипка или виолончель? — спрашивает он, оглядываясь на меня в дверях, ведущих из лавки в его комнату.— Есть пластинки, радио, телевидение. А скрипка, вы знаете, что это такое — скрипка? Отсюда и до Субботицы все вспахать, засеять и сжать, и так каждый год — вот что значит приручить маленькую скрипку вот этим, господин! — И он показывает смычок, который помещается у него за поясом подобно сабле. Он вытаскивает его и натягивает струны пальцами, охваченными перстнями вокруг ногтей, как бы для того, чтобы ногти не отлетели, не отвалились.— Кому это нужно? — спрашивает он и собирается уйти.— Купите что-нибудь другое, купите ей мопед или собаку.

Я продолжаю упорно стоять в лавке, растерявшись перед такой решительностью, хотя она выражена нерешительной, нетвердой речью, похожей на пищу сытную, но невкусную. Венгр, в сущности, достаточно хорошо владеет моим языком, однако к каждой фразе в конце он добавляет, словно пирожное на десерт, какое-то мне совершенно непонятное венгерское слово. Так делает он и сейчас, советуя мне:

— Идите, господин, поищите другого счастья для своей маленькой девочки. Это счастье будет слишком трудным для нее. И слишком запоздалым. Запоздалым,— повторяет он из облака паприкаша.— Сколько ей? — спрашивает он деловито.

И тут же исчезает, однако слышно, как он переодевается и готовится выйти. Я называю ему возраст Джельсомины Мохоровичич. Семь. При этом слове он вздрагивает, будто к нему прикоснулись волшебной палочкой. Переводит его про себя на венгерский, очевидно, считать он может только на своем языке, и какой-то странный запах расползается по комнате, это запах черешни, и

я понимаю, что этот запах связан с изменением его настроения. Венгр подносит ко рту что-то стеклянное, похожее на курительную трубку, из которой он потягивает черешневую водку. Идет через лавку, как будто случайно наступает мне на ногу, достает маленькую детскую виолончель и протягивает ее мне, по-прежнему стоя при этом на моей ноге и тем самым показывая, как у него тесно. Я стою и делаю вид, что, так же как венгр, просто валяю дурака. Но он делает это за мой счет, а я — себе в убыток.

— Возьмите это,— говорит он,— дерево старее нас с вами, вместе взятых. И лак хорош... Впрочем, послушайте!

И проводит пальцем по струнам. Виолончель издает четырехголосый звук, и он освобождает мою ногу; аккорд, кажется, несет облегчение всем на свете.

— Слышите,— спрашивает он,— в каждой струне слышны все остальные. Но для того, чтобы это слышать, нужно слушать четыре разные вещи одновременно, а мы ленивы для этого. Слышите? Или не слышите? Четыреста пятьдесят тысяч,— переводит он цену с венгерского. Я, как от удара, вздрагиваю от этой суммы. Он будто в карман мне заглянул. Ровно столько у меня и есть. Это уже давно приготовлено для Джельсомины. Конечно, не такая уж особенная сумма, я знаю, но я и ее-то едва скопил за три года. Обрадованный, говорю, что беру...

...— Пятьсот тысяч, пожалуйста,— сказал венгр.

Я похолодел.

— Но вы же сказали — четыреста пятьдесят тысяч?

— Да, я так сказал, но это за виолончель. Остальное за смычок. Или вы смычок не берете? Вам не нужен смычок? А я думал, что инструмент без смычка не играет...

Он вынул смычок из футляра и положил его назад в витрину.

Я стоял и не мог вымолвить ни слова, будто окаменел. Но наконец я пришел в себя и от оплеух, и от венгра, как словно очнулся после какой-то болезни, похмелья или сонливости, пробудился, встряхнулся, отказался играть комедию на потеху венгру. Я попросту упустил смычок из виду, и у меня не было денег, чтобы купить его. И все это я сказал венгру.

Он рывком набросил на себя пальто, от которого в лавке запахло нафталином, и сказал:

— Сударь, у меня нет времени ждать, пока вы заработаете на смычок. Тем более что вы в ваши пятьдесят с лишним так и не заработали на него. Ждите вы, а не я.

Он было собрался выйти из лавки, оставив меня одного. В дверях остановился, повернулся ко мне и предложил:

— Давайте договоримся — возьмите смычок в рассрочку!

— Вы шутите? — воскликнул я, не собираясь больше участвовать в его игре, и направился к двери.

— Нет, не шучу. Я предлагаю вам сделку. Можете не соглашаться, но выслушайте...

— ...Послушаем,— сказал я.

— Купите у меня вместе со смычком и яйцо.

— Яйцо?

— Да, вы только что видели яйцо, которое снесла моя курица. Я говорю о нем,— добавил он, вынул из ящика яйцо и сунул его мне под нос.

На яйце карандашом была написана та самая дата: 2 октября 1982 года.

— Дадите мне за него столько же, сколько и за смычок, срок выплаты два года...

— Как вы сказали? — спросил я, не веря своим ушам.

Из венгра опять запахло черешней.

— Может, ваша курица несет золотые яйца?

— Моя курица не несет золотые яйца, но она несет нечто такое, что ни вы, ни я, сударь мой, снести не можем. Она несет дни, недели и годы. Каждое утро она приносит какую-нибудь пятницу или вторник. Это, сегодняшнее яйцо, например, содержит вместо желтка один четверг. В завтрашнем будет среда. Из него вместо цыпленка вылупится один день жизни его хозяина! Какой жизни! Они вовсе не золотые, они временные. И я вам еще дешево предлагаю. В этом яйце, сударь, один день вашей жизни. Он сокрыт так, как цыпленок, и от вас зависит, вылупится он или нет.

— Даже если бы я и поверил в ваш рассказ, зачем мне покупать день, который и так мой?

— Как, сударь, вы совсем не умеете думать? Как, вы не умеете думать? Разве вы думаете ушами? Ведь все наши проблемы на этом свете проистекают

из того, что мы должны тратить наши дни такими, какие они есть, из того, что мы не можем перескочить через самое худшее. В этом-то все дело. С моим яйцом в кармане вы, заметив, что наступающий день слишком мрачен, разобьете свое яйцо и избежите всех неприятностей. В конце, правда, у вас будет на один день жизни меньше, но зато вы сможете сделать из этого плохого дня прекрасную яичницу.

— Если ваше яйцо действительно так замечательно, почему же вы не оставите его себе? — сказал я, посмотрел ему в глаза и не понял в них ничего. Он смотрел на меня на чистейшем венгерском языке.

— Господин шутит? Как вы думаете, сколько у меня уже яиц от этой курицы? Как вы думаете, сколько дней своей жизни человек может разбить, чтобы быть счастливым? Тысячу? Две тысячи? Пять тысяч? У меня сколько хотите яиц, но не дней. Кроме того, как и у всех других яиц, у этих есть срок годности. И эти через некоторое время становятся тухлыми и негодными. Поэтому я продаю их еще до того, как они потеряют свое свойство, сударь мой. А у вас нет выбора. Дадите мне расписку,— добавил он под конец, накорябал что-то на клочке бумаги и сунул мне подписать.

— А может ли ваше яйцо,— спросил я,— отнять или сэкономить день и предмету, например книге?

— Конечно, может, нужно только разбить яйцо с тупой стороны. Но в таком случае вы упустите возможность самому воспользоваться им.

Я подписался на колене, заплатил, получил чек, услышал еще раз, как квохчет в соседней комнате курица, а венгр уложил в футляр виолончель со смычком и осторожно завернул яйцо, и я наконец покинул лавку. Он вышел за мной, потребовал, чтобы я посильнее потянул на себя дверную ручку, покуда он закрывал на ключ свою дверь-витрину, и я, таким образом, опять оказался втянут в какую-то его игру. Он, не сказав ни слова, пошел в свою сторону и только на углу оглянулся и бросил:

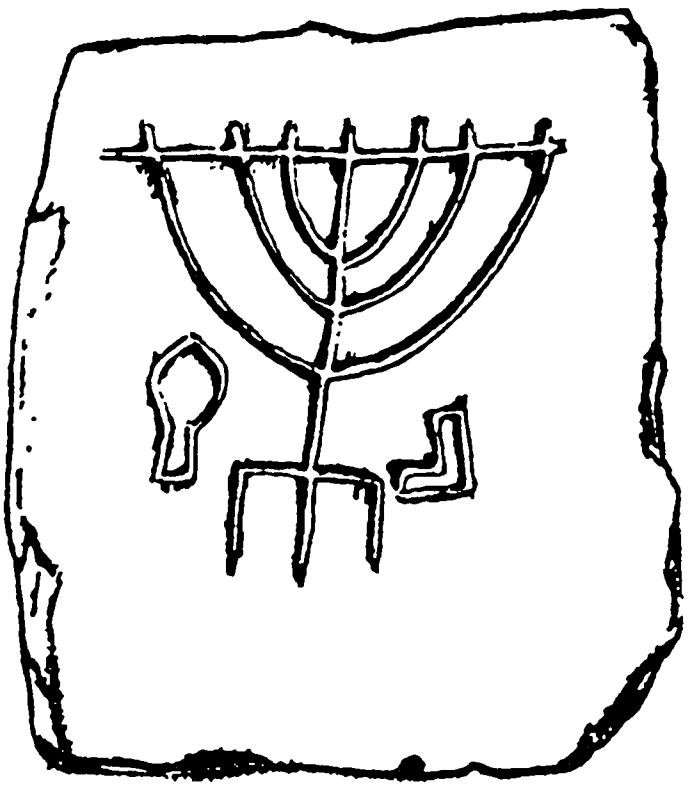
— Имейте в виду, дата, написанная на яйце, это срок годности. После этого дня яйцо больше не имеет силы...

Возвращаясь из лавки, д-р Сук все время опасался, как бы не начались опять уличные безобразия, но этого не произошло. Тут застал его дождь... Бегом приближался он к дому своей матери... В кармане лежали ключ, предвешающий смерть, и яйцо, которое может спасти его от смертного дня... Яйцо с датой и ключ с маленькой золотой головкой. Мать была дома одна, ближе к вечеру она любила немного подремать и выглядела заспанной.

— Дай мне, пожалуйста, очки,— обратилась она к сыну,— и позволь я прочту тебе те самые подробности о хазарском кладбище. Слушай, что пишет д-р Сук о хазарах из Челарева:

«Они лежат в семейных гробницах, в беспорядке разбросанных по берегу Дуная, но в каждой могиле головы повернуты в сторону Иерусалима. Они лежат в двойных ямах вместе со своими конями, так что закрытые глаза человека и лошади смотрят в противоположные стороны света; лежат со своими женами, которые свернулись клубком на их животах, но так, что усопшим видны не их лица, а бедра. Иногда их хоронят в вертикальном положении, и они очень плохо сохраняются. Наполовину разложившиеся от постоянного стремления к небу, они охраняют черепки, на которых выцарапано имя «Иегуда» или слово «шахор» — «черное». По углам гробниц — следы костров, в ногах у них— пища, на поясе — нож. Рядом — останки разных животных, в одной могиле овцы, в другой коровы или козы, а там курицы, свиньи или олени, в детских могилах — яйца. Иногда рядом с покойными лежат их орудия — серпы, клещи, ювелирные инструменты. Их глаза, уши и рты, как крышками, прикрыты кусочками черепицы с изображением семиконечного еврейского подсвечника, причем эта черепица римского происхождения, III или IV века, а рисунки на ней VII, VIII или IX века. Рисунки подсвечника (меноры) и других еврейских символов выцарапаны на черепице заостренными инструментами очень небрежно, как будто в большой спешке, а может быть, и тайком, кажется, будто они не осмеливались изображать их красиво. Возможно также, что они не помнят как следует тех предметов, которые изображают, как будто они никогда не видели подсвечник, совок для пепла, лимон, бараний рог или пальму, а изображают их по чужому описанию. Эти украшенные изображениями крышки для глаз, ртов и ушей должны препятствовать демонам проникнуть в их могилы, но эти куски черепицы разбросаны по всему кладбищу, будто какая-то могучая сила — прилив земного притяжения — сорвала их со своих мест и разбросала, так что ни один теперь не лежит на том месте, где был положен охранять от демонов. Можно даже предположить, что какая-то неизвестная, страшная и спешная

необходимость, возникшая позже, перенесла сюда эти крышки для глаз, ушей и ртов из других гробниц, открывая дорогу одним демонам и закрывая ее перед другими...»



В этот момент все звонки на двери начали звонить и в дом ворвались гости. Джельсомина Мохоровичич вошла в вызывающих сапожках с прекрасными, неподвижными глазами, будто сделанными из драгоценных камней. Мать профессора Сука в присутствии всех гостей вручила ей виолончель, поцеловала ее между глаз, оставив на месте поцелуя еще один глаз, нарисованный губной помадой, и сказала:

— Как ты думаешь, Джельсомина, от кого этот подарок? Отгадай! От профессора Сука! Ты должна написать ему хорошее письмо и поблагодарить его. Он молодой и красивый господин. И я всегда берегу для него самое лучшее место во главе стола!

Углубленная в свои мысли, тяжелая тень которых могла бы отдавить ногу, как сапог, госпожа Сук рассадила своих гостей за столом, оставив почетное место пустым, как будто она все еще ожидает самого важного гостя, и рассеянно и торопливо посадила д-ра Сука рядом с Джельсоминой и остальной молодежью возле хорошо политого фикуса, который у них за спиной потел и слезился листьями так, что было слышно, как капли падают на пол.

В тот вечер за столом Джельсомина повернулась к д-ру Суку, дотронулась до его руки своим горячим пальчиком и сказала:

— Поступки в человеческой жизни похожи на еду, а мысли и чувства — на приправы. Плохо придется тому, кто посолит черешню или уксусом польет пирожное...

Пока Джельсомина произносила эти слова, д-р Сук резал хлеб и думал о том, что она одних лет с ним и других — с остальным миром.

Когда после ужина профессор Сук вернулся в свою комнату в гостинице, он вытащил из кармана ключ, достал лупу и принялся изучать его. На золотой монете, которая служила головкой, он прочитал еврейскую букву «Х»...

...Д-р Сук заснул на рассвете с мыслями о том, что никогда не узнает, что сказала ему в тот вечер Джельсомина. К ее голосу он был совершенно глух.

ИЗ ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ

Исламские источники о хазарском вопросе

ЯБИР ИБН АКШАНИ (XVII век) — по мнению лютнистов из Анатолии, некоторое время это имя носил шайтан, и под этим именем он явился одному из самых известных музыкантов XVII века — Юсуфу Масуди **. Ибн Акшани и сам был исключительно искусным музыкантом. Сохранилась его запись одной мелодии, по которой ясно, что при игре он использовал более десяти пальцев. Он был крупного сложения, не отбрасывал тени и носил на лице мелкие глаза, как две полувысохшие лужицы. О своем понимании смерти он не хотел говорить людям, но давал об этом понять косвенно, рассказывая истории, советуя им, как толковать сны или как добраться до понимания смерти с помощью ловцов снов. Ему приписывают два изречения: 1) смерть — это однофамилец сна,

только фамилия эта нам неизвестна; 2) сон — это каждодневное умирание, маленькое упражнение в смерти, которая ему сестра, но не каждый брат в равной степени близок своей сестре. Однажды он решил на деле показать людям, как действует смерть, и проделал это, взяв для примера одного христианского военачальника, имя которого дошло до нашего времени: его звали Аврам Бранкович *, и воевал он в Валахии, где, как утверждал шайтан, каждый человек рождается поэтом, живет вором и умирает вампиром...

Ябир Ибн Акшани некоторое время жил скитальцем. Вместе со своим музыкальным инструментом, сделанным из панциря белой черепахи, он бродил по селам Малой Азии, играл и гадал, пуская в небо стрелы, воровал и выпрашивал по два сита муки каждую неделю... Он как будто выжидал, когда придет его время. Однажды, решив, что это время пришло, он потребовал от одного крестьянина, у которого была рыжая корова, привести ее за плату на определенное место и в определенный час. На этом месте уже целый год не было слышно ни единого звука. Крестьянин согласился, привел корову, и она проткнула Ибн Акшани рогами, так что он упал замертво там, где стоял. Умер он легко и быстро, будто заснул, и под ним в этот момент появилась тень, может быть, только для того, чтобы встретить его тело. После него осталась лютня из панциря белой черепахи, в тот же день превратившаяся в черепаху, ожившую и уплывшую в Черное море. Лютнисты верят, что, когда Ябир Ибн Акшани вернется в мир, его черепаха опять станет музыкальным инструментом, который заменит ему тень...

По другому преданию, Ябир Ибн Акшани вообще не умирал. Однажды утром в 1699 году в Царьграде он бросил лист лавра в лохань с водой и сунул голову в воду, чтобы вымыть свой чуб. Его голова оставалась под водой несколько мгновений. Когда он вынул голову из воды, вдохнул воздух и выпрямился, вокруг него больше не было ни Царьграда, ни царства, в котором он умывался. Он находился в стамбульском отеле высшей категории «Кингстон», шел 1982 год от Исы, у него была жена, ребенок и паспорт гражданина Бельгии, он говорил по-французски, и только на дне раковины марки F. Primavesi & Son, Corrella, Cardiff лежал мокрый лист лавра.

АТЕХ **** (начало IX века) — по исламскому преданию, при дворе хазарского кагана жила его родственница, известная своей красотой... Атех, кроме того, писала стихи, но достоверно известно лишь одно ее изречение, которое звучит так: «Разница между двумя «да» может быть большей, чем между «да» и «нет». Все остальное ей только приписывается.

Считается, что в арабских переводах сохранилось многое из ее стихов или текстов, созданных при ее участии. Особое внимание исследователей истории хазар в период обращения этого народа в новую религию привлекли стихи, посвященные хазарской полемике. По некоторым оценкам это были любовные стихи, использованные позже в качестве аргументов в вышеупомянутой полемике, когда начала вестись хроника событий того времени. Как бы то ни было, Атех участвовала в этой полемике с огромным жаром и успешно противостояла и еврейскому, и христианскому ее участникам, так что в конце концов она помогла представителю ислама, Фараби Ибн Коре **, и вместе со своим властелином, хазарским каганом, перешла в ислам. Грек, участвовавший в полемике, почувствовав, что проигрывает, объединился с еврейским посланцем, и они вместе решили выдать принцессу Атех властителям двух адов — еврейскому Велиалу и христианскому Сатане. Для того чтобы избежать такого конца, Атех решила добровольно отправиться в третий ад, исламский, предаться в руки Иблиса. Так как Иблис был не в состоянии полностью изменить решение Велиала и Сатаны, он лишил Атех пола, осудил ее забыть все свои стихи и свой язык, за исключением одного слова — «ку» ****, при этом он даровал ей вечную жизнь... Так принцесса Атех осталась жить вечно и получила возможность снова и снова бесчисленное количество раз возвращаться к любому своему слову или любой мысли, никуда не торопясь, ибо вечность притупила чувство того, что во времени происходит раньше, а что позже. Но любовь ей была доступна только во сне. Так принцесса Атех полностью посвятила себя секте ловцов снов — хазарских священнослужителей, которые занимались созданием своего рода земной версии той небесной иерархии, которая упоминается в Священном писании. Атех и члены ее секты обладали способностью направлять в чужие сны послания, свои или чужие мысли и даже предметы. Принцесса Атех могла войти в сон человека моложе ее на тысячу лет, любую вещь могла она послать тому, кто видел ее во сне, столь же надежно, как и с гонцом на коне,

которого поили вином. Только намного, намного быстрее... Описывается один такой поступок принцессы Атех. Однажды она взяла в рот ключ от своей опочивальни и стала ждать, пока не услышала музыку и слабый голос молодой женщины, который произнес следующие слова:

— Поступки в человеческой жизни похожи на еду, а мысли и чувства — на приправы. Плохо придется тому, кто посолит черешню или польет уксусом пирожное...

Когда эти слова были произнесены, ключ исчез изо рта принцессы, и она, как говорят, знала, что таким образом произошла замена. Ключ попал к тому, кому были предназначены слова, а слова в обмен на ключ достались принцессе Атех...

Даубманус *** утверждает, что в его время принцесса Атех все еще была жива и один музыкант, игравший на лютне, в XVII веке, турок из Анатолии по имени Масуди **, встретил ее и разговаривал с ней. Этот человек учился искусству ловца снов и обладал копией одной из арабских версий хазарской энциклопедии или словаря, но в тот момент, когда он встретил принцессу Атех, Масуди еще не прочел всех статей словаря, поэтому он не узнал слово «ку», когда принцесса Атех произнесла его. Это слово из хазарского словаря, и означает оно какой-то фрукт, и если бы Масуди это понял, то он догадался бы, кто стоит перед ним, и таким образом был бы избавлен от всех дальнейших усилий по овладению желанным мастерством; несчастная принцесса могла научить его охоте на сны гораздо лучше, чем любой словарь. Но он не узнал принцессы и упустил свою самую главную добычу, не понимая ее истинной цены. Поэтому, как рассказывает одна из легенд, собственный верблюд плюнул Масуди прямо в глаза.

КАГАН **** — хазарский правитель, слово происходит от татарского «хан», что означает «князь». По утверждению Ибн Фадлана, хазары хоронили своих каганов под водой, в ручьях. Каган всегда делил власть со своим соправителем, все превосходство его заключалось в том, что его приветствовали первым. Обычно каган был из старой, знатной, возможно турецкой, семьи, а король, или бек, его соправитель,— из народа, то есть хазар. Имеется одно свидетельство IX века (Якуби), которое говорит, что уже в VI веке наряду с каганом существовал и его представитель, халиф...

Соправители кагана обычно были прекрасными ратниками. Однажды после какой-то победы они захватили у врага в качестве трофея птицу — сыча,— который своими криками указывал на источники питьевой воды. Тогда враги пришли жить вместе с ними. И время начало течь слишком медленно...

...И однажды ночью, когда кони паслись при лунном свете, кагану во сне явился ангел и сказал ему:

— Создателю дороги твои намерения, но не дела твои.

Тогда каган спросил ловца снов, что означает этот сон и в чем причина хазарских бед. Ловец снов ответил, что грядет великий человек и время равняется по нему. Каган на это возразил:

— Неправильно, это мы помельчали, отсюда и наши беды.

После этого он удалил от себя хазарских священнослужителей и ловцов снов и приказал позвать одного еврея, одного араба и одного грека, чтобы они объяснили его сон. Каган решил вместе со своим народом принять веру того, чье объяснение будет наиболее убедительным. Когда при дворе кагана шла полемика о трех верах, он нашел наиболее вескими аргументы арабского участника, Фараби Ибн Коры **, который, в частности, дал понравившийся кагану ответ на его вопрос:

— Что освещает наши сны, которые мы видим в полной темноте, за сомкнутыми веками? Воспоминание о свете, которого больше нет, или же свет будущего, который мы, как обещание, берем от завтрашнего дня, хотя еще не рассвело?

— В обоих случаях это несуществующий свет,— отвечал Фараби Ибн Кора.— Поэтому безразлично, какой из ответов правильный, и сам вопрос следует расценивать как несуществующий.

Имя кагана, который вместе со своими подданными принял ислам, не сохранилось. Известно, что он похоронен под знаком нун (арабская буква, похожая на полумесяц). Другие источники говорят, что имя его было Катиб — до того, как он разулся, обмыл ноги и вошел в мечеть. Своего старого имени и обуви он не нашел после того, как, окончив молиться, вышел из мечети на солнечный свет.

КУ (Driopteria filix chazarica) — плод родом с побережья Каспийского моря. Даубманус пишет о нем следующее: хазары выращивают фруктовое дерево, плоды которого не вызревают нигде, только у них. Эти плоды покрыты чем-то похожим на рыбью чешую или на чешуйки шишки, растут они высоко на стволе и, свисая с веток, напоминают рыбу, которую трактирщики подвешивают за жабры у входа в свое заведение, чтобы уже издали было видно, что здесь подают уху. Иногда эти плоды издают звуки, похожие на пение зябликов. На вкус они холодные и немного соленые. Осенью, когда плоды становятся совсем легкими и внутри у них, как сердце, пульсирует косточка, они, падая с веток, некоторое время летят, взмахивая жабрами, будто плывут по волнам ветра. Мальчишки сбивают их рогатками, а иногда ястреб ошибется и унесет в клюве такой плод, уверенный, что это рыба. Поэтому у хазар принято говорить: «Прожорливые арабы, как ястребы, уверены, что мы рыба, но мы не рыба, мы — ку». Слово «ку» — название этого плода — единственное слово хазарского языка, которое шайтан оставил в памяти принцессы Атех ****, после того как она забыла свой язык.

Иногда по ночам слышатся крики: ку-ку! Это принцесса Атех произносит единственное известное ей на родном языке слово и плачет, пытаясь вспомнить свои забытые стихи.

МАСУДИ ЮСУФ (середина XVII века — 25.IX. 1689) — известный музыкант-лютнист, один из авторов этой книги. У Масуди была одна из переписанных арабских версий «Хазарского словаря», которую он дополнял сам, своей рукой, обмакивая перо в эфиопский кофе...

Масуди был родом из Анатолии. Считается, что игре на лютне его учила жена, причем она была левша и струны на инструменте перебирала в обратном порядке. Доказано, однако, что манеру игры, которая в XVII и XVIII веках была распространена среди лютнистов из Анатолии, ввел в обиход именно он. Легенды утверждают, что у него было поразительное чувство инструмента, которое помогало ему оценить лютню прежде, чем он слышал ее звук. Присутствие в доме ненастроенной лютни он тоже чувствовал, оно вызывало у него приступы беспокойства, иногда даже тошноту. Свой инструмент он настраивал по звездам. Он знал, что левая рука музыканта со временем может забыть свое ремесло, но правая никогда. Музыку он забросил очень рано, и в связи с этим сохранилось одно предание...

Три ночи подряд он видел во сне, как один за другим умирали его близкие. Сначала отец, потом жена, потом брат. А на четвертую ночь ему приснилось, что умерла и его вторая жена, женщина с глазами, которые на холоде меняли цвет, как цветы. Глаза ее перед тем, как она их закрыла, были похожи на две желтые зрелые виноградины, в глубине которых видны косточки. Она лежала со свечой в пупке, подбородок ее был подвязан волосами, чтобы она не смеялась. Масуди проснулся и больше никогда в жизни не видел ни одного сна. Он был в ужасе. Второй жены у него никогда не было. Он обратился к дервишу с вопросом, что может означать такой сон. Тот открыл Книгу и прочитал ему:

«О сын мой дорогой! Не говори о своем сне твоим братьям! Потому что они сговорятся против тебя!»

Неудовлетворенный таким ответом, Масуди спросил о значении сна свою единственную жену, и она ему ответила:

— Не говори никому о своем сне! Ибо с тем, кому его доверишь, свершится твой сон, а не с тобой.

Тогда Масуди решил разыскать какого-нибудь ловца снов, кого-нибудь, кто мог бы знать это из своего личного опыта. Ему объяснили, что ловцы снов теперь встречаются редко, гораздо реже, чем раньше, что скорее их можно встретить, направившись не на Запад, а на Восток, потому что корни их искусства и само их происхождение ведут к племени хазар, которое некогда жило в отрогах Кавказа, там, где растет черная трава.

Масуди взял лютню и отправился вдоль берега моря на Восток. Он думал: «Человека нужно успеть обмануть прежде, чем он пожелает тебе доброго утра, потом уже поздно». Так поспешил он начать охоту на ловцов снов. Однажды ночью его разбудил человек. Масуди увидел перед собой старика, борода которого поседела только на концах, как колючки на спине у ежа. Человек спросил Масуди, не видел ли он в своих снах женщину с глазами цвета белого вина, пестрыми в глубине.

— Они меняют цвет на холоде, как цветы! — добавил незнакомец.

Масуди сказал, что видел ее.

— Что с ней?

— Она умерла.

— Откуда ты знаешь?

— Она умерла в моем сне, у меня на глазах, она была во сне моей второй женой. Она лежала со свечой в пупке, подвязанная волосами.

Тогда старик зарыдал и сказал надломленным голосом:

— Умерла! А я за ней шел сюда от самой Басры. Ее призрак переселяется из сна в сон, и я бреду за ней, иду по следу тех, кому она снится вот уже три года.

Тут Масуди понял, что перед ним тот человек, которого он ищет.

— Может быть, вы ловец снов, раз вы могли столько пройти за этой женщиной?

— Я ловец снов? — изумился старик.— И это говорите вы? Это вы ловец снов, а я лишь обычный любитель вашего искусства. Образы, блуждающие из сна в сон, могут умереть только во снах того, кто родился ловцом снов. Вы, ловцы снов, вы — кладбища, а не мы. Она прошла тысячи миль для того, чтобы умереть в вашем сне. Только вы больше не сможете видеть сны. Теперь единственное, что вы можете,— это начать свою охоту. Но не за женщиной с глазами цвета белого вина. Она мертва и для вас, и для других. Вам нужно гнать другого зверя.

Так Масуди получил от старика первые сведения о своем новом занятии и узнал все, что можно узнать о ловцах снов. Если человек располагает надежными письменными и устными источниками, говорил старик, он может довольно хорошо освоить это искусство... Самыми лучшими ловцами снов были хазары, но хазар давно нет. Сохранилось лишь их искусство и частично их словарь, который об этом искусстве рассказывает. Они могли следить за образами, появляющимися в чужих снах, гнать их, как зверя, от человека к человеку и даже через сны животных или демонов...

— Как это достигается? — спросил Масуди.

— Вы, конечно, замечали, что человек, прежде чем заснуть, в момент между явью и сном, совершенно особым образом регулирует свое отношение к силе земного притяжения. Его мысли освобождаются тогда от притягательности земли в прямой зависимости от силы, с которой земное притяжение действует на его тело. В такие мгновения перегородка между мыслями и миром становится пористой, она пропускает человеческие мысли на свободу подобно тройным ситам. В этот краткий миг, когда холод так легко проникает в человеческое тело, мысли человека, бурля, вырываются из него, и их можно прочитать без большого труда. Тот, кто обратит внимание на засыпающего, сможет и без специальных упражнений понять, что он думает в этот момент и к кому его мысли обращены. А если вы упорными упражнениями овладеете искусством наблюдения за человеческой душой в тот момент, когда она открыта, вы сможете продлевать время наблюдения все дольше и проникать все глубже, в сам сон, вы сможете охотиться в нем, как под водой с открытыми глазами. Так становятся ловцами снов.

Эти исповедники спящих, как называли их хазары, аккуратно записывали свои наблюдения, так же как делают это астрономы или астрологи, читающие судьбу по Солнцу и звездам. По приказу принцессы Атех, покровительницы ловцов снов, все, что связано с этим искусством, вместе с жизнеописаниями наиболее выдающихся ловцов и житиями пойманной добычи, было собрано и сведено в одно целое, своего рода хазарскую энциклопедию, или словарь. Этот хазарский словарь ловцы снов передавали из поколения в поколение, и каждый должен был его дополнять. С этой целью много веков назад в Басре была основана специальная школа, «братство чистых», или же «друзей верности»,— секта, которая сохранила в тайне имена своих членов, но издала «Календарь философов» и «Хазарскую энциклопедию», однако эти книги были сожжены по приказу халифа Мостанджи вместе с книгами исламского отделения этой школы и сочинениями Авиценны. Таким образом, первоначальная версия хазарского словаря, созданная при принцессе Атех, не сохранилась, тот текст словаря, который есть у меня, это лишь арабский перевод, и это единственное, что я могу тебе дать. Так что возьми его, но знай, что ты должен хорошо выучить все его статьи, потому что, если ты не будешь как следует знать словарь своего искусства, может случиться так, что ты упустишь свою самую главную добычу. Итак, знай: при охоте на сны слова хазарского словаря — это то же, что следы льва на песке перед обычным охотником.

Так говорил старик, и вместе со словарем он дал Масуди под конец и один совет:

— Бренчать на струнах может каждый, а ловцом снов может стать только избранник, тот, кому это даровало небо. Оставьте свой инструмент! Ведь лютню выдумал еврей по имени Ламко. Бросьте ее и отправляйтесь охотиться! Если ваша добыча не умрет в чужом сне, как это случилось с моей, она приведет вас к цели!

— А какова цель охоты на сны? — спросил Масуди.

— Цель ловца снов понять, что любое пробуждение — это лишь ступень в процессе освобождения от сна. Тот, кто поймет, что его день — это всего лишь чужая ночь, что два его глаза — это то же самое, что чей-то один, тот будет стремиться к настоящему дню, дню, который принесет истинное пробуждение из собственной яви, когда все становится гораздо более явственным, чем наяву. И тогда человек наконец увидит, что он одноглаз по сравнению с теми, у кого два глаза, и что он слеп по сравнению с теми, у кого открыты глаза...

А когда наступил месяц раби-аль-ахир и третья джума в нем, Масуди впервые заглянул в чужие сны. Он заночевал на постоялом дворе рядом с человеком, лица которого не было видно, но слышно было, как он напевает какую-то мелодию. Масуди в первый момент не понял, в чем дело, но слух его был быстрее мыслей. Имелся женский ключ с отверстием вдоль оси, полый внутри, который искал мужскую замочную скважину с осью внутри. И он нашел ее. Лежавший с ним рядом в темноте человек вообще-то не пел, пел кто-то в этом человеке, кто-то, кого этот человек видел во сне... Стояла тишина, так что было слышно, как у певца, лежащего рядом с Масуди в темноте, цветут волосы. И тогда легко, как в зеркало, Масуди вошел в огромный сон, засыпанный песком, не защищенный от дождя и ветра, населенный дикими собаками и мечтающими о воде верблюдами. Он сразу почувствовал, что ему грозит опасность остаться калекой, и грозила она ему со спины. Все же он зашагал по песку, который поднимался и опускался в ритме дыхания спящего. В одном из углов сна сидел человек и мастерил лютню из дерева, которое до этого лежало в ручье, корнями к устью. Сейчас оно было сухим, и Масуди понял, что человек делает инструмент тем способом, который был известен 300 лет назад. Значит, сон был старее того, кто его видел. Время от времени человек из сна прерывал работу и брал в рот горсть плова, каждый раз удаляясь от Масуди по меньшей мере на сотню шагов. Благодаря этому Масуди увидел сон до самого его дна, там было мало света, испускавшего неописуемый смрад. В глубине виднелось какое-то кладбище, где два человека хоронили коня. Одним из них был тот, кто пел. Но сейчас Масуди не только слышал песню, но и увидел вдруг певца. Во сне спящего рядом человека возник какой-то юноша, один его ус был седым. Масуди знал, что сербские псы сначала кусают, потом лают, валахские кусают молча, а турецкие сначала гавкают, а потом кусают. Этот, из сна, не относился ни к одной из этих пород. Масуди запомнил его песню, и завтра ему надо было поймать следующего, кого во сне навещает тот же самый юноша с седым усом. Масуди сразу придумал, как это сделать. Он собрал несколько лютнистов и певцов — компанию охотников для облавы — и научил их петь и играть под своим управлением. У него на пальцах были перстни разных цветов, и каждый цвет соответствовал десятиступенчатой лестнице звуков, которой он пользовался. Масуди показывал певцам тот или другой палец и по цвету перстня, который требовал своего тона, так же как каждый род зверей выбирает только свой род пищи, они знали, какой тон брать, и никогда не ошибались, хотя мелодия была им незнакома. Они пели в местах, где собирался народ — перед мечетями, на площадях, возле колодцев,— и мелодия становилась живой приманкой для прохожих, которые по ночам обладали той добычей, которую искал Масуди. Такие застывали на месте, будто увидели лунный свет, льющийся с Солнца, и слушали как зачарованные.

Выслеживая свою добычу, Масуди шел из города в город вдоль берега Черного моря. Он начал подмечать особенности тех, кто видит сон, ставший его целью. Там, где число людей, которых во сне навещает седоусый юноша, увеличивалось, он отмечал удивительные вещи: глаголы в речи приобретали более важную роль, чем существительные, которые вообще выбрасывались при малейшей возможности. Иногда юноша появлялся во снах целых групп людей. Армянские купцы видели его под виселицей, установленной на повозке, запряженной волами. Он ехал так через прекрасный каменный город, и палач выщипывал ему бороду. Видели его потом и солдаты, он хоронил коней на хорошо ухоженном кладбище над морем, видели его с женщиной, лицо которой невозможно было разглядеть во сне, виднелись только те места, величиной с

зерно, где седоусый оставил следы поцелуя на ее щеке... А потом вдруг добыча исчезла из виду, и Масуди потерял всякий след. Единственное, что он мог сделать,— это внести в свой «Хазарский словарь» все, замеченное им во время этого путешествия, и его записи, и старые, и новые, распределенные по алфавиту, путешествовали вместе с ним в зеленом мешке, который становился все тяжелее и тяжелее. У Масуди, однако, было чувство, что от него ускользают сны, которые снятся кому-то, кто был совсем рядом, что он не успевает их схватить и определить, чьи они. Число снов было бóльшим, чем число спящих. Тогда Масуди обратил наконец внимание на своего верблюда. Окунувшись в сон животного, он увидел юношу с шишковатым лбом и с необычными разноцветными усами, которые, казалось, были даны ему в наказание. Над ним светило созвездие, которое никогда не отражалось в море. Он стоял у окна и читал книгу, брошенную на пол к его ногам. Называлась книга «Liber Cosri», и Масуди не знал, что значат эти слова, пока с закрытыми глазами смотрел сон верблюда. К тому времени погоня привела его к бывшей хазарской границе. В полях росла черная трава.

Масуди встречалось все больше людей, которые впускали на ночлег в свои сны юношу с книгой «Liber Cosri». Он понял, что иногда целые поколения или даже слои общества видят одни и те же сны и в них одних и тех же лиц. Но понял он и то, что такие сны постепенно вырождаются и исчезают и что они чаще встречались в прошлом. От этих снов люди старели. Здесь, на границе, однако, в своей погоне он столкнулся с чем-то совершенно новым. А именно — Масуди давно заметил, что юноша с седым усом каждому, к кому приходит в сон, дает в долг по одной мелкой серебряной монете. Причем на очень выгодных условиях, всего под один процент в год. И эти одолженные во сне суммы зачастую воспринимались здесь, на задворках Малой Азии, как гарантийные письма, потому что считалось, что видящие сновидения не могут обмануть один другого, пока в их жизни присутствует тот, кого они видят во снах и кто держит в своих руках все долговые книги и счета. Таким образом, существовало что-то вроде хорошо поставленной двойной бухгалтерии, которая охватывала и объединяла капитал яви и сна и которая основывалась на общем молчаливом согласии участников сделки...

И вот наступил месяц джумада-аль-авваль и вторая джума в нем. Под покровом речного тумана на берегу лежал в песке новый город, голый и теплый. Его не было видно из-за тумана над водой, но в воде под туманом отражался каждый его минарет, вонзенный в быстрину. А за туманом, на суше, лежала тишина, глубокая, трехдневная, и Масуди почувствовал, что от этой тишины, от этого города и от жаждущей воды в нем зарождается мужское желание. В тот день он желал женского хлеба. Один из загонщиков, которых он послал в город петь, вернулся и сообщил ему, что они кое-что нашли. На этот раз — женщину.

— Иди по главной улице до тех пор, пока не почувствуешь запах имбиря. По этому запаху ты узнаешь, где ее дом, потому что она кладет имбирь в любую еду.

Масуди шел по городу и остановился, лишь почувствовал запах имбиря. Женщина сидела перед костром, на котором стоял чугунок, на поверхности супа лопались пузыри. Дети с посудой и собаки выстроились в очередь и ждали. Из чугунка она половником разливала суп детям и собакам, и Масуди понял, что она разливает сны. Ее губы меняли цвет... и когда Масуди приблизился, она и ему предложила налить в миску, но он с улыбкой отказался.

— Я не могу больше видеть сны,— сказал он, и она отставила чугунок.

Она была похожа на цаплю, которая во сне видит себя женщиной. Масуди с ногтями изгнившими и изглоданными, с угасшими глазами лег на землю возле нее. Они были одни, было слышно, как дикие осы точат свои жала о сухую кору деревьев. Он хотел поцеловать женщину, но ее лицо вдруг совершенно изменилось. Его поцелуй приняла совсем другая щека. Он спросил, что случилось, она сказала:

— Ах, это дни. Не обращай внимания, на моем лице они сменяются в десятки раз быстрее, чем на твоем или на морде твоего верблюда. Но ты напрасно хлопочешь под моим плащом, там нет того, что ты ищешь. У меня нет черной галки. Существуют души без тела, евреи их называют дибуки, а христиане — кабалы, но существуют и тела без пола. У душ нет пола, но тела должны его иметь. Пола нет только у тех тел, у которых его отняли демоны. Так случилось и со мной. Шайтан по имени Ибн Хадраш *** отнял у меня пол, но пощадил мою жизнь. Одним словом, теперь мой любовник только Коэн ***.

— Кто этот Коэн? — спросил Масуди.

— Еврей, которого я вижу во снах и которого ты преследуешь. Юноша с седым усом. Его тело спрятано в трех душах, а моя душа спрятана в мясо, и я могу поделиться ею только с ним, когда он приходит в мои сны. Он искусный любовник, и я не жалуюсь. К тому же он единственный, кто еще помнит меня, кроме него никто больше не приходит в мои сны...

Так Масуди впервые встретился с тем, кто знал имя того, кого он преследует. Имя юноши было Коэн.

— Откуда ты это знаешь? — решил проверить Масуди.

— Я слышала. Кто-то его окликнул, и он отозвался на это имя.

— Во сне?

— Во сне. Это было в ту ночь, когда он отправился в Царьград. Только имей в виду: Царьград в наших мыслях всегда на сотню поприщ западнее настоящего Царьграда.

Потом женщина достала из-за пазухи что-то вроде плода, похожего на небольшую рыбу, протянула это Масуди и сказала:

— Это ку *. Хочешь его попробовать? Или ты хочешь чего-то другого?

— Я бы хотел, чтобы ты здесь сейчас увидела во сне Коэна,— сказал Масуди, и женщина заметила с удивлением:

— Твои желания скромны. Слишком скромны, имея в виду обстоятельства, которые привели тебя ко мне, но, судя по всему, ты этого не сознаешь. Я исполню твое желание; сон этот я буду смотреть специально для тебя, и я заранее дарю его тебе. Но берегись — женщина, которая преследует того, кто тебе снится, доберется и до тебя.

Она опустила голову на собаку, ее лицо и руки были исцарапаны многочисленными взглядами, которые веками касались ее, и приняла в свой сон Коэна, произнесшего: Intentio tua grata et accepta est Creatori, sed opera tua non sunt accepta...

Скитания Масуди были окончены, от этой женщины он узнал больше, чем за время всех поисков, теперь он спешил, как дерево, распускающее почки. Он оседлал верблюда и устремился в обратный путь, в сторону Царьграда. Добыча ждала его в столице. И тут, пока Масуди взвешивал, насколько удачна была последняя охота, его собственный верблюд обернулся и плюнул ему прямо в глаза. Масуди бил его мокрой уздечкой по морде до тех пор, пока тот не выпустил всю воду из обоих горбов, но так и не смог разгадать, что значил этот поступок верблюда.

Дорога липла к его обуви, он шагал, твердя слова Коэна, словно музыкальную фразу, потому что не понимал их, и думал о том, что нужно вымыть обувь на первом же постоялом дворе, потому что дороги требовали от прошагавших по ним за день подошв вернуть обратно на место налипшую на них грязь.

Один христианский монах, который, кроме греческого, не знал никакого другого языка, сказал Масуди, что слова, которые он запомнил,— латинские, и посоветовал ему обратиться к местному раввину. Тот перевел ему фразу Коэна: «Создателю дороги твои намерения, но не дела твои!»

Так Масуди понял, что желания его осуществляются и что он на верном пути. Фразу эту он узнал. Он давно знал ее по-арабски, потому что это были слова, которые ангел сказал хазарскому кагану несколько сот лет назад. Масуди уже догадался, что Коэн — один из тех двоих, кого он ищет, ибо Коэн гнался за хазарами по еврейским преданиям так же, как Масуди по исламским. Коэн был тот человек, которого Масуди предсказал, бодрствуя над своим хазарским словарем. Словарь и сны складывались в одно естественное целое...

Была первая джума эртеси в месяце садаре, и Масуди думал так, как опадают листья, его мысли одна за другой отделялись от своих веток и падали; он следил за ними, пока они кружились перед ним, а потом они падали на дно своей осени навсегда. Он расплатился и распрощался со своими лютнистами и певцами и сидел один, закрыв глаза и прислонившись спиной к стволу пальмы, сапоги напекли ему ступни, и между собой и ветром он чувствовал только ледяной и горький пот. Он макал в этот пот крутое яйцо и так его солил. Наступающая суббота была для него такой же великой, как страстная пятница, и он ясно чувствовал все, что должен был сделать. О Коэне было известно, что он идет в Царьград. Поэтому его не нужно было больше преследовать и ловить на всех входах и выходах чужих снов, в которых Масуди колотили, принуждали и унижали, как скотину. Более важным и трудным вопросом было, как отыскать Коэна в Царьграде, городе всех городов. Впрочем, искать его и не

придется, вместо Масуди это сделает кто-нибудь другой. Нужно только найти того, кого Коэн видит во сне. А этим третьим — если хорошенько подумать — мог быть только один-единственный человек. Тот самый, о котором Масуди уже кое-что предугадывал.

«Так же как запах липового меда в чае из лепестков розы мешает прочувствовать истинный запах чая, так и мне что-то мешает ясно разглядеть и понять сны о Коэне людей, окружающих меня»,— размышлял Масуди. Там есть еще кто-то, кто-то третий, кто мешает...

Масуди уже давно предполагал, что кроме него на свете есть по крайней мере еще двое, кто занимается хазарским племенем: один Коэн — по еврейским источникам об обращении хазар, а третий, пока неизвестный,— несомненно, по христианским источникам, описывавшим эти же самые события. И сейчас нужно было найти этого третьего, какого-то грека или другого христианина, ученого человека, интересующегося хазарскими делами. Это, конечно же, будет тот, кого ищет в Царьграде и сам Коэн. Нужно искать этого третьего. И Масуди вдруг стало ясно, как это нужно делать. Но когда он уже хотел встать, потому что все было продумано, он почувствовал, что опять попал в чей-то сон, что опять, на этот раз не по своей воле, охотится. Вокруг не было ни людей, ни животных. Лишь песок, безводное пространство, распростершееся, как небо, и за ним — город городов. Во сне же ревела большая, мощная вода, глубокая, доходящая до самого сердца, сладкая и смертоносная, и Масуди она запомнилась по реву, который проникал во все складки его тюрбана, закрученного так, чтобы походить на одно слово из пятой суры Книги пророка. Масуди было ясно, что время года во сне отличается от того, что наяву. И он понял, что это был сон пальмы, на которую он опирался. Она видела во сне воду. Ничего больше во сне не случилось. Только шум реки, закрученный умело, как белейший тюрбан... Он вошел в Царьград в засуху в конце месяца шаабана и на главном базаре предложил для продажи один из свитков «Хазарского словаря». Единственный, кто заинтересовался этим товаром, был монах греческой церкви по имени Теоктист Никольски, он и отвел его к своему хозяину. А тот, не спрашивая о цене, взял предложенное и спросил, нет ли чего-нибудь еще. Из этого Масуди сделал вывод, что он у цели, что перед ним искомый третий, тот, кого видит во снах Коэн и кто послужит ему приманкой для Коэна. Коэн, конечно же, из-за него прибыл в Царьград. Богатый покупатель хазарского свитка из мешка Масуди служил дипломатом в Царьграде, он работал на английского посланника в Великой Порте, и звали его Аврам Бранкович *. Он был христианин, родом из Трансильвании, рослый и роскошно одетый. Масуди предложил ему свои услуги и был принят на службу. Поскольку Аврам-эфенди работал в своей библиотеке ночью, а спал днем, его слуга Масуди уже в первое утро улучил возможность заглянуть в сон своего хозяина. Во сне Аврама Бранковича Коэн ехал верхом то на верблюде, то на коне, говорил по-испански и приближался к Царьграду. Впервые кто-то видел Коэна во сне днем. Было очевидно, что Бранкович и Коэн по очереди снятся друг другу. Так круг замкнулся, и пришел час развязки.

Вот и все, но Масуди и этого было достаточно. Остальное — дело времени и ожидания, подумал он и начал тратить время. Прежде всего он стал забывать музыку, первое свое ремесло. Он забывал не песню за песней, а часть за частью этих песен: сначала из его памяти исчезли нижние тона, и волна забвения, как прилив, поднималась все выше и выше, к самым высоким звукам, исчезала вся ткань песен, и в конце концов в памяти Масуди остался только ритм, словно их скелет. Потом он начал забывать и свой хазарский словарь, слово за словом, и ему совсем не было грустно, когда как-то вечером один из слуг Бранковича бросил его в огонь...

Но тогда произошло нечто непредвиденное. Как дятел, который умеет летать и хвостом вперед, Аврам-эфенди с наступлением последней джумы в месяце шаввале вдруг покинул Царьград. Он бросил дипломатическую службу и со всей своей свитой и слугами отправился воевать на Дунай. Там, в местечке Кладово, в 1689 году от Исы они оказались в месте расположения австрийского лагеря принца Баденского, и Бранкович поступил к нему на службу. Масуди не знал, что ему думать и что делать, потому что его еврей направлялся в Царьград, а не в Кладово, и планы Масуди все больше расходились с ходом событий. Он сидел на берегу Дуная и аккуратно закручивал тюрбан. И тогда он услышал рев реки. Вода бурлила глубоко под ним, но ее рык был ему знаком, он полностью укладывался в складки тюрбана, которые походили на одно слово из пятой суры Корана. Это была та же вода, которую видела во сне пальма в песках вблизи Царьграда несколько месяцев назад, и по этому знаку

Масуди понял, что все в порядке и что его путь действительно окончится на Дунае. Он оставался на месте и целыми днями в окопе играл в кости с одним из писарей Бранковича. Этот писарь все проигрывал и проигрывал и, надеясь вернуть проигранное, никак не хотел прерывать эту безумную игру даже тогда, когда турецкие пули и снаряды буквально засыпали их окоп. Масуди тоже не хотел искать более безопасное место, потому что у него за спиной был Бранкович, которому опять снился Коэн. Коэн скакал верхом через рев какой-то реки, что протекала через сон Бранковича, и Масуди знал, что это рев того самого Дуная, который можно было слышать и наяву. Потом ветер швырнул в него горсть земли, и он почувствовал, что сейчас все сбудется. Когда один из них бросал кости, на их позицию прорвался отряд турок, неся за собой запах мочи, и пока янычары кололи и рубили налево и направо, Масуди взволнованно искал глазами среди них юношу с одним седым усом. И он его увидел. Масуди увидел Коэна таким, каким он преследовал его в чужих снах,— рыжеволосого, с узкой улыбкой под серебряным усом, с мешком на плече и цепочкой мелких шагов за спиной. Тут турки зарубили писаря, проткнули копьем Аврама Бранковича, который так и не успел проснуться, и бросились к Масуди. Спас его Коэн. Увидев Бранковича, Коэн упал как подкошенный, и вокруг рассыпались бумаги из его мешка. Масуди сразу понял, что Коэн впал в глубочайший сон, из которого не будет пробуждения.

— Что это, погиб толмач? — спросил турецкий паша у своих приближенных почти с радостью, а Масуди ответил ему по-арабски:

— Нет, он заснул,— и тем самым продлил свою жизнь на один день, так как паша, удивленный таким ответом, спросил, откуда это известно, а Масуди отвечал, что он тот, кто связывает и развязывает узел чужих сновидений, по роду занятий — ловец снов, что он давно уже следит за посредником, своего рода приманкой для истинной добычи, который теперь умирает, пронзенный копьем, и попросил оставить его в живых до утра, чтобы проследить за сном Коэна, потому что тот сейчас видит во сне смерть Бранковича.

— Оставьте его жить, пока этот не проснется,— сказал паша, и турки взвалили спящего Коэна на плечи Масуди, и он пошел с ними на турецкую сторону, неся свою желанную добычу. Коэн, которого он нес, действительно все это время видел во сне Бранковича, и Масуди казалось, что он несет не одного, а двоих. Юноша у него на плечах видел во сне Аврама-эфенди, как и обычно, когда тот бодрствовал, потому что его сон все еще был явью Бранковича. А Бранкович если когда и был в яви, то это было именно сейчас, когда его проткнули копьем, потому что в смерти нет сна...

Масуди провел этот день и ночь, следя за снами Коэна, как за созвездиями на небе своих челюстей. И, говорят, он видел смерть Бранковича так, как видел ее сам Бранкович. От этого он очнулся с поседевшими ресницами и подрагивающими ушами, кроме того, у него выросли огромные смердящие ногти. Он так быстро думал о чем-то, что не заметил человека, который рассек его надвое саблей с одного-единственного взмаха, так что пояс упал с него не размотавшись. Сабля оставила змеящийся след, и раскрылась страшная, извилистая рана, как рот, произносящий какое-то неясное слово, вопль мяса... Оправдала ли себя эта страшная смерть Масуди и что он доверил паше перед казнью, никто не знает. Перешел ли он через Сират-мост, тонкий, как волос, и острый, как сабля, ведущий над адом прямо в рай, знают только те, которые больше не говорят...

Д-р АБУ КАБИР МУАВИЯ (1930—1982) — арабский специалист по ивриту, профессор Каирского университета. Занимался сравнительным изучением религий Ближнего Востока. Закончил университет в Иерусалиме, защитил в США докторскую диссертацию на тему «Древнееврейская философия в Испании XI века и учение калама». Он был рослым, плечистым человеком, с такой широкой спиной, что локтем не мог дотянуться до другого локтя, знал наизусть большинство песен Иуды Халеви *** и считал, что «Хазарский словарь», изданный Даубманусом *** в 1691 году, все еще можно отыскать где-нибудь в старой книжной лавке. Чтобы найти подтверждение этой уверенности, он восстановил события, связанные с распространением этой книги, начиная с XVII века, сделал точный перечень всех уничтоженных экземпляров и всех тех немногочисленных, которые имели хождение, и пришел к выводу, что минимум два экземпляра этого считающегося исчезнувшим издания должны еще существовать. Ему ни разу не удалось напасть на их след, но, несмотря на это, он продолжал тщательнейшие поиски. Когда он, находясь в состоянии исключи-

тельного творческого подъема, опубликовал трехтысячную библиографическую единицу, началась израильско-египетская война 1967 года. В качестве офицера египетской армии он участвовал в боевых действиях, был ранен и оказался в плену. Армейские документы свидетельствуют о тяжелых ранениях головы и тела, результатом которых явилось половое бессилие. Когда он вернулся на родину, голова его была обвязана смущенными улыбками, которые волочились за ним, как шарф. В какой-то гостинице он скинул с себя военную форму и в первый раз увидел свои увечья в медном зеркале. Они пахли пометом синицы, и он понял, что никогда больше не сможет лечь с женщиной. Медленно одеваясь, он думал так: «Я был более тридцати лет поваром, и день за днем я готовил и, наконец, приготовил то блюдо, каким я стал; я сам был пекарем и тестом, я сам из себя замесил такой хлеб, какой хотел, а потом вдруг появился другой повар, со своим ножом и в мгновение ока сделал из меня совершенно другое, незнакомое мне блюдо. Теперь я божья сестра — я тот, кто не существует!»

И он не вернулся больше к своей семье в Каир, не вернулся и к своей работе в университете. Он поселился в пустом доме своего отца в Александрии, жил торопливо и следил за тем, как белые пузырьки воздуха из-под его ногтей поднимаются к миру, подобно пузырькам воздуха из жабр рыбы. Он хоронил свои волосы, носил бедуинские сандалии, оставляя за собой след в форме копыта, и однажды ночью под дождем, крупным, как воловьи глаза, увидел свой последний сон...

В его ночах время, как и время у хазар, текло от конца к началу жизни и все истекло. С тех пор он больше не видел снов. Он был чист. И готов к новой жизни. Тогда он начал каждый вечер посещать «Корчму у суки»....

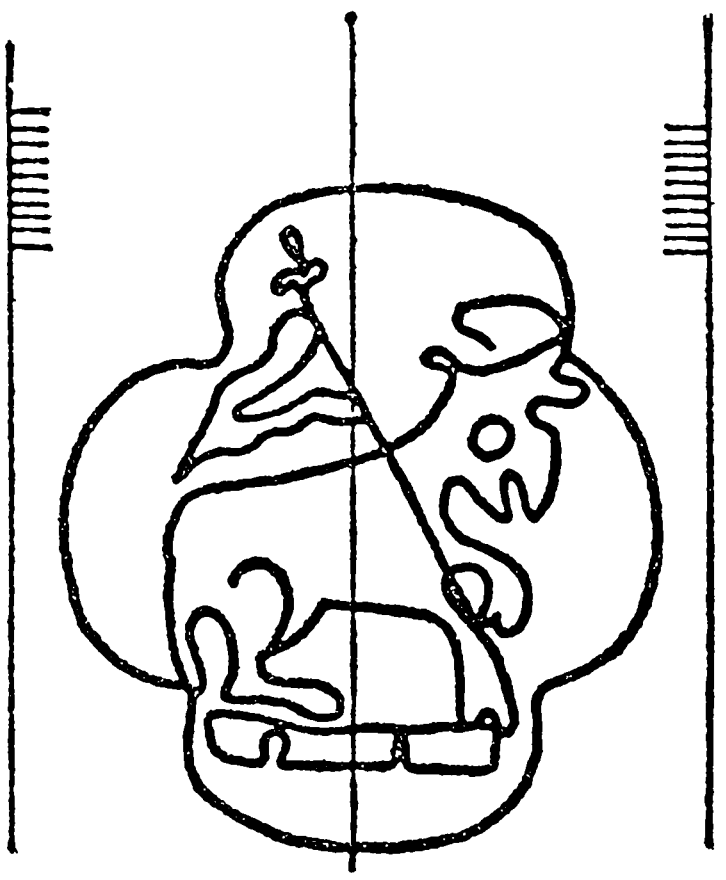
В «Корчме у суки» платили только за место, тут не подавали никакой еды или питья, сюда собирался разный сброд, и здесь ели и пили то, что приносили с собой, или же садились за общий стол, чтобы выспаться. Корчма часто была полна, но в ней никто никого не знал, бывало так, что все рты работали, но никто не произносил ни слова. Не было ни стойки, ни кухни, ни огня, ни прислуги, только у входа сидел тот, кто брал деньги за место. Муавия садился среди посетителей «Корчмы у суки», раскуривал трубку и повторял свое упражнение: ни одной мысли не позволял длиться дольше, чем длилась одна затяжка. Он вдыхал смрад и смотрел, как люди вокруг него жрут пригоревшие лепешки, называвшиеся «драные портки», или повидло из тыквы с виноградом, смотрел, как они проносят кусок через горький взгляд, как вытирают платком зубы и как трещат на них рубашки, когда они ворочаются во сне...

Поужинав говяжьими или козьими ушами, он уходил в редко отпиравшиеся комнаты отцовского дома и там перелистывал до глубокой ночи горы английских и французских газет, издававшихся в Александрии в конце XIX века. Сидя на корточках и чувствуя, как в его тело проникает сытный мрак мяса, он читал эти газеты с жадным интересом, потому что они не могли иметь никакой связи с ним. Этому условию как нельзя более отвечали объявления.

Из вечера в вечер он листал эти объявления давно умерших людей, предложения, которые не имели больше смысла и блестели пылью более старой, чем он. На этих желтых страницах предлагалась французская настойка против ревматизма и вода для мужских и женских ртов, August Zigler из Австрии объявлял, что в его специализированном магазине по продаже оборудования для больниц, для врачей и повитух есть средства против расстройства желудка, чулки для больных с расширением вен и надувные резиновые стельки... Какой-то анонимный покупатель искал в рассрочку еврейскую душу, причем самого низшего сословия, которая называется нефеш. Известный архитектор заявлял о себе предложением построить по проекту заказчика, очень дешево, роскошную виллу на небе, в парадизе, причем ключи владельцу вручались бы еще при жизни, сразу после уплаты по счету, выписанному, однако же, не строителю, а каирской голытьбе. Рекомендовались средства против облысения во время медового месяца, предлагалось продать волшебное слово, которое по желанию могло быть превращено в ящерицу или лунную розу, или же очень дешево пядь земли, с которой можно наблюдать лунную радугу всегда, когда наступает третья джума месяца раби-аль-ахир. Каждая женщина, после того как очистится, как от насекомых, от прыщиков, веснушек и родинок, может стать красавицей с помощью белил английской фирмы Rony and Son. Фарфоровый сервиз для зеленого чая в форме персидской курицы с цыплятами мог быть приобретен вместе с миской, под которой некоторое время находилась душа седьмого имама...

Бесчисленное множество имен, адреса уже давно переставших существо-

вать фирм и продавцов, магазинов, которые давно не работают, пестрели на старых страницах газет, и д-р Муавия погружался в этот исчезнувший мир как в некое новое спасительное общество, незаинтересованное в его бедах и заботах. Как-то вечером 1971 года, когда он чувствовал каждый свой зуб как отдельную букву, д-р Муавия сел и ответил на одно объявление от 1896 года. Он аккуратно выписал на конверте имя и адрес, которые, может быть, давно уже не существовали в Александрии, и послал предложения по почте. С тех пор он каждый вечер обращался по одному из адресов конца XIX века. Груды его писем направлялись в неизвестность, но однажды утром пришел первый ответ. Незнакомец писал, что хотя у него больше нет для продажи указанного в объявлении патента Турул из Франции для использования в домашнем хозяйстве, о котором пишет в своем письме д-р Муавия, однако он может предложить кое-что другое. И действительно, на следующее утро в доме Муавия в связи с этим объявлением появились девушка и попугай, они дуэтом спели ему песню о сандалиях на деревянной подошве. Потом попугай пел один на каком-то незнакомом Муавии языке. Когда Муавия спросил у девушки, кто из них продается, она ответила, что он может выбирать. Д-р Муавия засмотрелся на девушку — у нее были красивые глаза и груди как два крутых яйца. Он очнулся от летаргии, приказал Аслану освободить одну из больших комнат в мансарде, установил там стеклянный обруч и купил попугая. Потом постепенно, по мере того как приходили ответы на его письма от кто знает каких далеких наследников давних авторов объявлений, он начал заполнять эту комнату. Здесь собралось много мебели странного вида и непонятного назначения, огромное седло для верблюда, женское платье с колокольчиками вместо пуговиц, железная клетка, в которой держат подвешенными под потолком людей, два зеркала, одно из которых несколько запаздывало в передаче движений, а другое было разбито, старая рукопись со стихотворением, написанным на неизвестном ему языке и неизвестными буквами.



Год спустя комната в мансарде была забита вещами, и однажды утром, войдя в нее, д-р Муавия был ошеломлен, поняв, что все им приобретенное начинает складываться в нечто имеющее смысл. Бросалось в глаза, что часть этих вещей представляет собой оборудование для чего-то походившего на больницу. Но на больницу необычную, возможно древнюю, в которой лечили не так, как лечат сейчас. В больнице д-ра Муавии были сиденья со странными прорезями, скамьи с кольцами для того, чтобы привязывать сидящих, деревянные шлемы с отверстиями только для левого или для правого глаза или же с дыркой для третьего глаза на темени, Муавия поместил эти вещи в отдельную комнату, позвал своего коллегу с медицинского факультета и показал их ему. Это была его первая после войны 1967 года встреча с одним из бывших университетских друзей. Медик осмотрел вещи и сказал: это древнейшее оборудование для лечения снов, точнее для лечения зрения, которым пользуются во сне. Потому что во сне, по некоторым верованиям, мы видим совсем не тем зрением, которым видим наяву.

Д-р Муавия усмехнулся такому выводу и занялся остальными вещами. Они по-прежнему находились в первой большой комнате с попугаем, однако уста-

новить связь между ними было труднее, чем между теми, что представляли собой средства для лечения зрения, которым видят сны. Долго пытался он найти общий знаменатель для всего этого старья и наконец решился прибегнуть к методу, которым пользовался раньше — в своей предыдущей жизни ученого. Он решил искать помощь у компьютера. Позвонил по телефону одному из своих бывших сотрудников в Каире, специалисту по теории вероятности, и попросил его ввести в компьютер названия всех предметов, которые перечислит ему в письме. Три дня спустя компьютер выдал результат, и д-р Муавия получил из Каира ответ. Что касается стихотворения, о нем машина знала только то, что оно написано на каком-то славянском языке на бумаге 1660 года с водяным знаком, на котором ягненок под знаменем с трехлистным клевером. Остальные же предметы — такие, как попугай, седло для верблюда с колокольчиками, засохший плод, похожий одновременно на рыбу и шишку, клетка для людей и другие — объединяло только одно. А именно — из скудных данных, которыми компьютер располагал главным образом на основе исследований самого д-ра Муавии, вытекало, что все эти вещи упоминались в утраченном в настоящее время «Хазарском словаре».

Так д-р Муавия снова оказался там, где он был перед началом войны. Он снова отправился в «Корчму у суки», раскурил трубку, огляделся вокруг, погасил ее и вернулся в Каир, к прежней работе в университете. На столе его ожидала гора писем и приглашений на встречи и симпозиумы, из которых он выбрал одно и начал готовиться к докладу на научной конференции в октябре 1982 года в Царьграде на тему «Культура Черноморского побережья в средние века». Он снова прочитал Иуду Халеви, его сочинение о хазарах, написал свой доклад и поехал в Царьград, надеясь, что там он, быть может, встретится с кем-нибудь, кто больше, чем он, знает о хазарских делах. Тот, кто убил д-ра Муавию в Царьграде, сказал, направив на него револьвер:

— Открой пошире рот, чтобы я не испортил тебе зубы!

Д-р Муавия разинул рот, и он его убил. И так хорошо прицелился, что зубы д-ра Муавии остались целы.

ИЗ ЖЕЛТОЙ КНИГИ

Древнееврейские источники о хазарском вопросе

АТЕХ **** (VIII век) — имя хазарской принцессы, которая жила в период иудаизации хазар ****...

Принцесса Атех в хазарской полемике была очень красноречива. Она сказала: «Мысли с неба завеяли меня, как снег. Я потом едва смогла согреться и вернуться к жизни...»

Принцесса Атех помогла Исааку Сангари ***, еврейскому участнику хазарской полемики, тем, что своими доводами опровергла арабского участника, и хазарский каган склонился в сторону еврейской веры. Существует мнение, что Атех писала стихи и они сохранились в «хазарских книгах», которыми пользовался Иуда Халеви ***, древнееврейский автор хроники о хазарской полемике. Согласно другим источникам, именно Атех и составила сборник или энциклопедию о хазарах, содержащую обширную информацию об их истории, вере, о людях, читающих сны *. Все эти сведения были собраны и распределены в циклы стихов, расположенных в алфавитном порядке, соответственно, и полемика при дворе хазарского владыки была описана в поэтической форме. На вопрос, кто, по ее мнению, победит в полемике, Атех сказала: «Когда сталкиваются два ратника, побеждает тот, кто будет дольше лечить свои раны». Как на дрожжах, рос потом «Хазарский словарь» вокруг сборника принцессы, о котором в одном из источников говорится, что он назывался «О страстях слов». Если это было действительно так, принцесса Атех была первым автором этой книги, ее прасоздателем. Только в этом первоначальном словаре на хазарском языке еще не существовало нынешних трех книг, это был пока один словарь и один язык. От того, первоначального, до настоящего дошло очень немногое, столько, сколько грусти доходит от одной собаки до другой, когда она слышит, как дети подражают лаю.

То, что каган благодаря принцессе Атех принял молитвенное покрывало и Тору, разъярило остальных участников полемики. Поэтому исламский демон в наказание сделал так, что принцесса Атех забыла свой хазарский язык и все свои стихи. Она забыла даже имя своего любовника и единственное слово, оставшееся в ее памяти, было название плода, похожего по форме на рыбу.

Но прежде чем это произошло, принцесса Атех, предчувствуя опасность, приказала собрать как можно больше попугаев, умеющих произносить человеческие слова. Для каждой статьи «Хазарского словаря» во дворец был доставлен один попугай, и каждого заставили заучить по одной статье, так что в любое время он мог воспроизвести ее, потому что знал наизусть соответствующие стихи. Разумеется, стихи были на хазарском языке, и попугай их на этом языке и декламировал. После разрыва с верой хазар хазарский язык стал стремительно исчезать, и тогда Атех выпустила на свободу всех попугаев, обученных хазарскому языку. Она сказала: «Летите и научите других птиц этим стихам, потому что здесь их скоро никто не будет знать...» Птицы разлетелись по лесам Черноморского побережья. Там они учили своим стихам других попугаев, те учили третьих, и так пришло время, когда только попугаи знали эти стихи и говорили на хазарском языке. В XVII веке на берегах Черного моря был пойман один попугай, умевший декламировать несколько стихотворений на каком-то непонятном языке, который, по утверждению хозяина попугая, царьградского дипломата Аврама Бранковича *, был языком хазар. Он приказал одному из своих писарей постоянно записывать все, что произносит попугай, надеясь таким образом получить «попугайские стихи», то есть поэзию принцессы Атех. Вероятно, именно таким путем «попугайские стихи» и попали в «Хазарский словарь», изданный Даубманусом...

ДАУБМАНУС ЙОАНЕС (XVII век) — typographus Ioannes Daubmannus», польский книгоиздатель. В первой половине XVII века выпустил в Пруссии польско-латинский словарь, однако это же имя стоит и на первой странице другого словаря, который вышел в 1691 году под названием «Lexicon Cosri — Continens Colloquium seu disputationem de Religione»... Так Даубманус выступает и как первый издатель книги, второе издание которой читатель сейчас держит в руках. «Хазарский словарь» в первом издании Даубмануса был уничтожен еще в 1692 году по приказу инквизиции, однако два его экземпляра избежали этой судьбы и сохранились. Материал для словаря, состоящего из трех книг о хазарском вопросе, Даубманус, судя по всему, получил от одного монаха восточнохристианской церкви, однако затем он пополнял этот словарь, так что можно считать его не только издателем, но и редактором «Хазарского словаря». Это видно и по тому, какие языки употреблены в упомянутом издании. Латинский текст комментариев, видимо, принадлежит Даубманусу, потому что монах, конечно, не мог знать латынь. Сам же словарь был напечатан на арабском, древнееврейском и греческом, а также сербском языках в том виде, в котором текст словаря попал в руки издателя...

КАГАН **** — хазарский правитель, название происходит от еврейского слова «коэн», что значит князь. Имя первого кагана после принятия хазарским царством иудаизма было Сабриел, а его жену звали Серах. Имя того кагана, который решил устроить хазарскую полемику **** и призвал к своему двору евреев, греков и арабов, чтобы они истолковали его сны, неизвестно. Как свидетельствуют еврейские источники, которые приводит Даубманус ***, переходу хазар **** в иудаизм предшествовал сон кагана, о котором он поведал своей дочери или сестре принцессе Атех **** в следующих словах:

— Мне снилось, что я иду по пояс в воде и читаю книгу. Вода эта была река Кура, мутная, полная водорослей, такая, что пить ее можно только через волосы или бороду. Когда приближается большая волна, я поднимаю книгу высоко над головой, чтобы не замочить ее, а потом снова продолжаю читать. Глубина близко, и нужно закончить чтение прежде, чем я в нее попаду. И тут мне является ангел с птицей на руке и говорит: «Создателю дороги твои намерения, но не дела твои». Утром я просыпаюсь, открываю глаза и вижу — я по пояс в воде, в той же самой мутной Куре, среди водорослей, держу ту же книгу в руках, передо мной ангел, тот самый, из сна, с птицей. Быстро закрываю глаза, но река, ангел, птица и все остальное по-прежнему тут: открываю глаза — та же картина. Ужас. Читаю первое, что попадается в книге: «Пусть не похваляется тот, кто обувается...» Я закрываю глаза, но продолжение фразы вижу и дочитываю ее с закрытыми глазами: «...так же как тот, кто уже разулся». Тут с руки ангела вспорхнула птица — я открыл глаза и увидел, как птица улетает. Тогда мне стало ясно — я не смогу больше закрывать глаза перед истиной, спасаться, зажмуриваясь, нет больше ни сна, ни яви, ни пробуждения, ни погружения в сон. Все это единый и вечный день и мир, который обвился вокруг меня,

как змея. И я увидел большое далекое счастье, оно казалось маленьким и близким; большое я понял как пустоту, а маленькое как свою любовь... И сделал то, что сделал.

КОЭН САМУЭЛЬ (1660 — 24.IX. 1689) — дубровницкий еврей, один из авторов этой книги. Изгнанный из Дубровника в 1689 году, он в том же году умер по пути в Царьград, впав в оцепенение, из которого никогда уже не очнулся...

Современники описывают Самуэля Коэна как человека высокого, с красными глазами, один ус которого, несмотря на его молодость, был седым. «С тех пор, как я его помню, ему всегда было холодно. Только в последние годы он немного согрелся»,— сказала о нем однажды его мать, госпожа Клара. По ее словам, ночью во сне он часто и далеко путешествовал и иногда пробуждался прямо там, усталый и грязный, а иногда хромал на одну ногу, пока не отдохнет от своих снов. Мать говорила, что чувствовала какое-то странное неудобство, когда спал Коэн, объясняла она это тем, что во сне он вел себя не как еврей, а как человек иной веры, который и по субботам во сне скачет верхом и поет, если ему снится восьмой псалом, тот, который поют, когда хотят найти потерянную вещь, но поет на христианский манер. Кроме еврейского он говорил по-итальянски, на латыни и по-сербски, но ночью, во сне, бормотал на каком-то странном языке, которого наяву не знал и который позже был опознан как валахский. Когда его хоронили, на левой руке был обнаружен страшный шрам, как от укуса. Он страстно мечтал попасть в Иерусалим и во сне действительно видел этот город на берегу времени, шагал по его улицам, застланным соломой, жил в башне, полной шкафов, величиной с небольшую церковь, слушал шум фонтанов, похожий на шум дождя. Но вскоре он установил, что город, который он видит во снах и считает Иерусалимом, вовсе не святой город, а Царьград, и это неопровержимо было установлено благодаря одной гравюре с изображением Царьграда, которую Коэн, собиравший старые карты неба и земли, городов и звезд, купил у одного торговца и узнал на ней улицы, площади и башни, снившиеся ему. У Коэна были несомненные способности, однако они, по мнению госпожи Клары, никоим образом не были направлены ни на что практическое. По теням облаков он определял, с какой скоростью летят по небу ветры, хорошо помнил количественные соотношения, действия и цифры, но людей, имена и предметы легко забывал. Жители Дубровника запомнили, как он всегда стоит на одном и том же месте, возле окна своей комнаты в гетто, со взглядом, опущенным вниз. Дело в том, что книги он держал на полу, читал их, стоя босиком и перелистывая страницы пальцами босой ноги. Сабляк-паша ** из Требинья прослышал как-то, что в Дубровнике есть один еврей, который мастерски делает конские парики, так Коэн поступил к нему на службу, и оказалось, что слухи о его умении не были преувеличены. У паши он ухаживал за кладбищем лошадей, расположенным на берегу моря, и делал парики, которыми во время праздников и походов украшали головы вороных. Коэн был доволен своей службой, самого же пашу он почти не видел. Зато часто имел дело с его слугами, ловкими в обращении с саблей и седлом. Он начал сравнивать себя с ними и заметил, что во сне он более ловок и быстр, чем наяву. Сделав такой вывод, Коэн проверил его своим, самым надежным способом. Во сне он видел себя стоящим с обнаженной саблей под яблоней. Была осень, и он, с клинком в руке, ждал порыва ветра. Когда налетел ветер, яблоки стали падать, ударяясь о землю с глухим звуком, напоминающим топот копыт. Первое же яблоко, падавшее вниз, он на лету рассек напополам своей саблей. Когда Коэн проснулся, была осень; как и во сне, он попросил у кого-то саблю, пошел к крепостным воротам Пиле и спустился под мост. Там росла яблоня, и он остался ждать ветра. Когда налетел ветер и начали падать яблоки, он убедился, что ни одно из них не может перерубить на лету саблей. Это ему так и не удалось, и Коэн теперь точно знал, что во сне его сабля более ловка и быстра, чем наяву. Может быть, так было оттого, что во сне он упражнялся, а наяву нет. Во сне он часто видел, как в темноте, сжав саблю правой рукой, он наматывает на левую руку уздечку верблюда, другой конец которой тянет к себе кто-то, кого он не видит. Уши его закладывает густой мрак, но и через этот мрак он слышит, как кто-то нацеливает в его сторону саблю и через темноту устремляет сталь к его лицу, однако он безошибочно чувствует это движение и выставляет свое оружие на пути свиста и невидимого клинка, который в ту же секунду действительно со скрежетом падает из тьмы на его саблю.

Обвинения в адрес Самуэля Коэна и последовавшие за ними наказания посыпались сразу со всех сторон, обвинялся он в самых разных грехах: в не-

дозволенном вмешательстве в религиозную жизнь дубровницких иезуитов, в том, что вступил в связь с местной аристократкой христианской веры, а также по делу об еретическом эссенском учении...

Все началось с весьма странного визита Самуэля Коэна в иезуитский монастырь в Дубровнике 23.IV. 1689 года, визита, который закончился тюремным заключением. В то утро видели, как Коэн поднимался по лестнице к иезуитам, вставляя сквозь улыбку себе в зубы трубку, которую он начал курить и наяву, после того как увидел, что делает это во сне. Он позвонил у входа в монастырь и, как только ему открыли, стал расспрашивать монахов о каком-то христианском миссионере и святом, который был лет на восемьсот старше его, чьего имени он не знал, но знал наизусть все его житие: и как он в Салониках и Царьграде учился в школе и ненавидел иконы, и как где-то в Крыму учил древнееврейский, и как в хазарском царстве обращал заблудших в христианскую веру, причем вместе с ним был и его брат, который ему помогал. Умер он, добавил Коэн, в Риме в 869 году. Он умолял монахов назвать ему имя этого святого, если оно им известно, и указать, где найти его житие. Иезуиты, однако, не пустили Коэна дальше порога. Они выслушали все, что он сказал, постоянно при этом осеняя крестом его рот, и позвали стражников, которые бросили его в тюрьму. Дело в том, что после того, как в 1606 году синод в церкви Пресвятой Богородицы принял решение против евреев, жителям гетто в Дубровнике было запрещено любое обсуждение вопросов христианской веры, и нарушение этого запрета наказывалось тридцатью днями заключения. Пока Коэн отбывал свои тридцать дней, протирая ушами скамейки, произошли две вещи, достойные упоминания. Еврейская община приняла решение сделать досмотр и перепись бумаг Коэна, и одновременно объявилась женщина, заинтересованная в его судьбе.

Госпожа Ефросиния Лукаревич, знатная аристократка из Лучарицы, каждый день в пять часов пополудни, как только тень башни Минчета касалась противоположной стороны крепостных стен, брала фарфоровую трубку, набивала ее табаком медового оттенка, перезимовавшим среди изюма, раскуривала ее с помощью комочка ладана или сосновой щепки с острова Ластово, давала какому-нибудь мальчишке со Страдуна серебряную монетку и посылала раскуренную трубку в тюрьму Самуэлю Коэну. Мальчишка передавал ему набитую табаком и раскуренную трубку и возвращал ее выкуренной из тюрьмы обратно в Лучарицу вышеупомянутой Ефросинии.

Эта госпожа Ефросиния, из семьи аристократов Геталдич-Крухорадичей, выданная замуж в дом дубровницких аристократов из рода Лукари, была известна не только благодаря своей красоте, но и из-за того, что никто никогда не видел ее рук. Говорили, что у нее на каждой руке по два больших пальца, что вместо мизинца на его месте у нее растет еще один большой палец, так что каждая ее рука могла быть и левой и правой. Говорили, что это было прекрасно видно на одной картине, законченной втайне от госпожи Лукаревич и представлявшей собой ее поясной портрет с книгой, которую она держала в руке двумя большими пальцами. Если оставить в стороне эту особенность, то в остальном госпожа Ефросиния жила так же, как и все другие дамы ее сословия, ничем, как говорится, не отличаясь от них. Только иногда, когда евреи в гетто устраивали театральные представления, она непременно присутствовала на них и сидела как зачарованная. В те времена дубровницкие власти не запрещали эти еврейские спектакли, и однажды госпожа Ефросиния даже дала комедиантам из гетто для какого-то представления одно из своих платьев, «голубое с желтыми и красными полосами», для исполнителя главной женской роли, которую тоже играл мужчина. В феврале 1687 года в одной «пасторали» женская роль досталась Самуэлю Коэну, и он в вышеупомянутом голубом платье госпожи Лукари играл пастушку. В отчете, направленном дубровницким властям доносчиками, отмечено, что «еврей Коэн» во время представления вел себя странно, так, будто он и «не играет в комедии». Одетый пастушкой, «весь в шелку, лентах и кружевах, синих и красных, под белилами, так что лицо его нельзя опознать», Коэн должен был «декламировать» объяснение в любви, «в виршах сложенное» какому-то пастуху. Однако во время представления он повернулся не к пастуху, а к госпоже Ефросинии (в чье платье он был одет) и, к общему изумлению, преподнес ей зеркало, сопроводив это «речами любовными», каковые также были приведены в доносе...

Госпожа Ефросиния, всем на изумление, отнеслась к этому поступку спокойно и щедро наградила исполнителя апельсинами. Более того, когда весной наступило время идти к причастию и госпожа Лукаревич повела дочь в церковь, весь народ увидел, что она несет с собой в церковь и большую куклу, на-

ряженную в голубой наряд, сшитый именно из того платья с желтыми и красными полосами, в котором «декламировал еврей Коэн во время представления в гетто». Увидев это, Коэн закричал, показывая на куклу, что это ведут к причастию его дочь, что это плод его любви — его «потомство любезное», ведут в храм, пусть даже и христианский. В тот вечер госпожа Ефросиния встретила Самуэля Коэна перед церковью Богородицы как раз в тот час, когда закрывались ворота гетто, дала ему поцеловать край своего пояса, и отвела его на том поясе, как под уздцы, в сторону, и в первой же тени протянула ему ключ, назвав дом в Приеко, где она будет его ждать на следующий вечер.

В назначенное время Коэн стоял перед дверью, в которой замочная скважина находилась над замком, так что ключ ему пришлось вставлять вверх бородкой и оттянув ручку замка кверху. Он оказался в узком коридоре, правая стена которого была такой же, как и все другие стены, а левая состояла из четырехгранных каменных столбиков и ступенчато расширялась влево. Когда Коэн посмотрел налево через эти столбики, ему открылся вид вдаль, где он увидел пустое пространство, в глубине которого, где-то под лунным светом, шумело море... Коэн понял, что вся левая стена коридора — это, в сущности, лестница, поставленная своей боковой стороной на пол... По этой лестнице он без труда поднялся наверх, к свету, к комнате на верхнем этаже. Прежде чем войти, он посмотрел вниз, в глубину, и увидел там море таким, каким он и привык его видеть: оно шумело в бездне у него под ногами. Когда он вошел, госпожа Ефросиния сидела босая и плакала в свои волосы. Перед ней на треножнике стоял башмачок, в нем хлеб, а на носке башмачка горела восковая свеча. Под волосами виднелись обнаженные груди госпожи Ефросинии, в которых были, как у глаз, ресницы и брови, и из них, как темный взгляд, капало темное молоко... Руками с двумя большими пальцами она отламывала кусочки хлеба и опускала их себе в подол. Когда они размокали от слез и молока, она бросала их к своим ногам, а на пальцах ее ног вместо ногтей были зубы. Прижав ступни друг к другу, она этими зубами жадно жевала брошенную пищу, но из-за того, что не было никакой возможности ее проглотить, пережеванные куски валялись в пыли вокруг ее ног...

Увидев Коэна, она прижала его к себе и повела к постели. В ту ночь она сделала его своим любовником, напоила черным молоком и сказала:

— Не надо слишком много, чтобы не состариться, потому что это время течет из меня. До известной меры оно укрепляет, но потом ослабляет...

После этой ночи, проведенной с ней, Коэн решил перейти в ее, христианскую, веру. Он говорил об этом вслух повсюду, будто в каком-то опьянении, так что все узнали об этом, однако ничего не произошло. Когда он рассказал госпоже Ефросинии о своем намерении, она ему сказала:

— Этого ты не делай ни в коем случае, потому что, если хочешь знать, я тоже не христианской веры, вернее, я христианка только временно, по мужу. В сущности, я в определенном смысле принадлежу к твоему, еврейскому, миру, только это не так просто объяснить. Может, тебе приходилось видеть на Страдуне хорошо знакомый плащ на совсем незнакомой особе. Все мы в таких плащах, и я тоже. Я — дьявол, имя мое — сон. Я пришла из еврейского ада, из Геенны, сижу я по левую сторону от Храма, среди духов зла, я потомок самого Гевары, о котором сказано: «Atque hinc in illo creata est Gehenna». Я — первая Ева, имя мое — Лилит, я знала имя Иеговы и поссорилась с ним. С тех пор я лечу в его тени среди семисмысленных значений Торы. В моем нынешнем обличье, в котором ты меня видишь и любишь, я создана смешением Истины и Земли; у меня три отца и ни одной матери. И я не смею ни шагу шагнуть назад. Если ты поцелуешь меня в лоб, я умру. Если ты перейдешь в христианскую веру, то сам умрешь за меня. Ты попадешь к дьяволам христианского Ада, и заниматься тобой будут они, а не я. Для меня ты будешь потерян навсегда, и я не смогу до тебя дотянуться. Не только в этой, но и в других, будущих жизнях...

Так дубровницкий сефард Самуэль Коэн остался тем, кем был. Но, несмотря на это, слухи не прекратились и тогда, когда он отказался от своего намерения. Имя его было быстрее его самого, и с этим именем уже происходило то, что с самим Коэном только еще должно было произойти. Чаша переполнилась на масленицу 1689 года, в воскресенье святых апостолов. Сразу же после масленицы, дубровницкий актер Никола Риги предстал перед судом и дал показания в связи с тем, что вместе со своей труппой нарушил порядок в городе. Он обвинялся в том, что вывел в комедии и представил на сцене известного и уважаемого в Дубровнике еврея Папа-Самуэля, а над Самуэлем Коэном издевался на глазах всего города. Актер, защищаясь, говорил, что он понятия

не имел, что под маской во время масленичного представления скрывается Самуэль Коэн. Как принято каждый год у дубровницкой молодежи, стоит лишь ветру переменить цвет, Риги вместе с актером Кривоносовичем готовит «жидиаду», масленичное представление, в котором участвует еврей. Они наняли повозку, запряженную волами, устроили на ней виселицу, а Кривоносович, который раньше уже играл еврея, добыл рубаху, сшитую из парусины и шляпу из рыбацкой сети, сделал из пакли рыжую бороду и написал прощальное слово, которое в «жидиадах» перед смертью обычно читает еврей. Они встретились в назначенное время уже в костюмах и под масками, и Риги клялся перед судом, что был уверен: на повозке везут, как и всегда на масленицу, Кривоносовича, который, переодетый в еврея, стоит под виселицей и сносит удары, плевки и другие унижения — в общем, все, чего требует представление этого жанра... Когда в Лучарице перед домом господина Лукаревича настало время в соответствии с обычным сценарием повесить «жида», Риги накинул ему на шею петлю, по-прежнему убежденный, что под маской скрывается актер Кривоносович. Но тогда тот, что был под маской, вместо прощального слова прочитал какие-то стихи или что-то в этом роде, бог его знает что, обращаясь при этом вот так, с петлей на шее, к госпоже Ефросинии Лукаревич, которая с волосами, вымытыми яйцом дятла, стояла на балконе своего палаццо. Этот текст ничем не был похож на прощальное слово еврея из «жидиады»...

Только тут, услышав слова, которые могут относиться к комедии масок, а никак не к «жидиаде», и которые совсем не напоминали прощальное слово еврея, актеры и зрители заподозрили, что что-то не так, и тогда Риги решил сорвать маску с того, кто это читал. Под маской, к изумлению присутствующих, вместо актера Кривоносовича оказался настоящий еврей из гетто — Самуэль Коэн. Этот «жид» добровольно сносил все удары, унижения и плевки вместо Кривоносовича — за это Никола Риги ни в коем случае не может нести ответственность, поскольку он не знал, что под маской возит по городу Коэна, подкупившего Кривоносовича, который уступил ему свое место и обещал, что будет об этом молчать. Таким образом, неожиданно для всех получилось, что Риги не виноват в оскорблениях и издевательствах над Самуэлем Коэном, а, напротив, сам Коэн нарушил закон, который запрещает евреям на масленицу находиться среди христиан. Поскольку Коэн недавно был выпущен из тюрьмы после своего визита к иезуитам, новый приговор стал лишним аргументом за то, чтобы этого жида, который «свою голову не бережет» и который где-то в Герцеговине смотрит у турок за кладбищами лошадей, изгнать из города. Единственное, что было неизвестно, вступится ли еврейская община за Коэна и будет ли защищать его, что может затянуть решение этого дела и даже вообще изменить его. Таким образом, пока Коэн сидел в тюрьме, все ждали, что скажет гетто.

А в гетто решили, что огня зимой не ждут долго. И на второлуние айяра месяца того года раби Абрахам Папо и Ицхак Нехама просмотрели и описали бумаги и книги в доме Коэна. Потому что вести о его визите к монахам встревожили не только иезуитов, но и гетто.

Когда они пришли к его дому, там никого не было. Они позвонили и по звуку поняли, что ключ в колокольчике. Он был подвешен к язычку. В комнате горела свеча, хотя матери Коэна не было. Они нашли ступку для корицы, гамак, подвешенный так высоко, что, лежа в нем, можно было читать книгу, прижатую к потолку над глазами, песочницу, полную пахнущего лавандой песка, трехконечный светильник с надписями на каждой ветви, которые означали три души человека: нефеш, руах и нешмах. На окнах стояли растения, и по их сортам посетители могли сделать вывод, что защищают их звезды созвездия Рака. На полках вдоль стен лежали лютня, сабля и 132 мешочка из красной, синей, черной и белой грубой ткани, а в них рукописи самого Коэна или чьи-то еще, но переписанные его рукой... Из книг внимание посетителей привлекли три, найденные на полу комнаты возле самого окна, где Коэн обычно читал. Было очевидно, что читал он их попеременно, и такое чтение напоминало многоженство... Раби Абрахам Папо открыл окно, и порыв южного ветра влетел в комнату, Раби раскрыл одну из книг, прислушался на мгновение, как трепещут на сквозняке страницы, и сказал Ицхану Нехаме:

— Послушай, тебе не кажется, что это шуршит слово: нефеш, нефеш, нефеш?

Потом раби дал слово следующей книге, и ясно и громко послышалось, как ее страницы, переворачиваясь на ветру, выговаривают слово: руах, руах, руах.

— Если третья проговорит слово «нешмах»,— заметил Папо,— мы будем знать, что книги призывают души Коэна.

И как только Абрахам Папо раскрыл третью книгу, оба они услышали, что она шепчет слово: нешмах, нешмах, нешмах!

— Книги спорят из-за чего-то, что находится в этой комнате,— сделал вывод раби Папо,— какие-то вещи здесь хотят уничтожить другие вещи.

Они уселись неподвижно и начали вглядываться в темноту. На светильнике вдруг появились огоньки, будто их вызвали своим шепотом и шорохом книги. Один огонек отделился от светильника и заплакал на два голоса, и раби Папо сказал:

— Это плачет по телу первая, самая молодая душа Коэна, а тело плачет по душе.

Потом эта душа приблизилась к лютне, лежащей на полке, и прикоснулась к струнам, отчего послышалась тихая музыка, душа сопровождала свой плач музыкой...

Так она долго делала что-то с собой, пока не превратилась в настоящую копию Коэна, с красными глазами и одним седым усом. Потом взяла с полки саблю и присоединилась к первой душе. Третья же душа Коэна, самая старая, парила высоко под потолком в форме огонька. В то время как первые две души прижались к полке с рукописями, третья была отдельно, враждебно держась в стороне, в углу под потолком, царапая буквы, написанные над гамаком...

Теперь раби Папо и Ицхак Нехама поняли, что души Коэна поссорились из-за мешочков с рукописями, но их было так много, что казалось невозможным пересмотреть все. Тогда раби Абрахам спросил:

— Думаешь ли ты о цвете этих чехлов то же, что и я?

— Разве не видно, что они того же цвета, что и пламя? — заметил Нехама.— Посмотри на свечу. Ее пламя состоит из нескольких цветов: голубой, красный, черный, этот трехцветный огонь обжигает и всегда соприкасается с той материей, которую он сжигает, с фитилем и маслом. Вверху, над этим трехцветным огнем, второе белое пламя, поддерживаемое нижним, не обжигает, но светит, то есть это огонь, питаемый огнем. Моисей на горе стоял в этом белом пламени, которое не обжигает, а светит, а мы стоим у подножия горы в трехцветном огне, пожирающем и сжигающем все, кроме белого пламени, которое есть символ самой главной и самой сокровенной мудрости. Попробуем же поискать то, что мы ищем, в белых чехлах!

Книг было немного — все поместилось в одном мешке. Они нашли там одно из изданий Иуды Халеви ****, опубликованное в Базеле в 1660 году, с приложением перевода текста с арабского на древнееврейский, автором которого был раби Иегуда Абен Тибон, и комментариями издателя на латыни. В остальных чехлах были рукописи Коэна...

Переглянувшись в полумраке, раби и Нехама пересмотрели оставшиеся белые чехлы и не нашли в них ничего, кроме нескольких десятков сложенных по алфавиту различных слов, то есть то, что Коэн называл «Хазарским словарем» («Lexicon Cosri») и что, как они поняли, было сложенными в алфавитном порядке сведениями о хазарах, об их вере, обычаях и обо всех людях, связанных с ними, с их историей и их обращением в иудаизм. Это был материал, похожий на тот, что за много веков до Коэна обработал Иуда Халеви в своей книге о хазарах, однако Коэн пошел дальше, чем Халеви, он попытался глубже войти в суть вопроса о том, кто были неназванные в книге Халеви христианский и исламский участники полемики ****. Коэн стремился узнать имена этих двоих, их аргументы и восстановить их биографии для своего словаря, который,

как он считал, должен был охватить и те вопросы, которые в еврейских источниках о хазарах остались без внимания. Так в словаре Коэна оказались и наброски жизнеописания одного христианского проповедника и миссионера, очевидно, того самого, о котором Коэн расспрашивал иезуитов, но они были очень скудны, там не было имени, которое Коэну не удалось узнать, и этот материал нельзя было включить в словарь. «Иуда Халеви,— записал Коэн в комментарии к этой незаконченной биографии,— его издатели и другие еврейские комментаторы и источники называют имя только одного из трех участников в религиозной полемике при дворе хазарского кагана. Это еврейский представитель — Исаак Сангари***, который истолковал хазарскому правителю сон о явлении ангела. Имен остальных участников полемики — христианского и исламского — еврейские источники не называют, там говорится только, что один из них философ, а про другого, араба, даже не сообщают, убили ли его до или после полемики. Может быть, где-то на свете,— писал дальше Коэн,— кто-то еще собирает документы и сведения о хазарах, так же как это делал Иуда Халеви, и составляет такой же свод источников или словарь, как это делаю я. Может быть, это делает кто-то, принадлежащий к иной вере — христианин или приверженец ислама. Может быть, где-то в мире есть двое, которые ищут меня так же, как я ищу их. Может быть, они видят меня во снах, как и я их, жаждут того, что я уже знаю, потому что для них моя истина — тайна, так же как и их истина для меня — сокрытый ответ на мои вопросы. Не зря говорят, что шестидесятая доля каждого сна — это истина. Может, и я не зря вижу во сне Царьград и себя в этом городе вижу совсем не таким, каков на самом деле, а ловко сидящим в седле и с быстрой саблей, хромым и верующим не в того бога, в которого верую я. В Талмуде написано: «Пусть идет, чтобы его сон был истолкован перед троицей!» Кто моя троица? Не рядом ли со мною и второй, христианский охотник за хазарами, и третий, исламский? Не живут ли в моих душах три веры вместо одной? Не окажутся ли две мои души в аду и лишь одна в раю? Или же всегда, как и в книге о сотворении света, необходима троица, а кто-то один недостаточен, и поэтому я не случайно стремлюсь найти двух других, как и они, вероятно, стремятся найти третьего. Не знаю, но я ясно прочувствовал, что три мои души воюют во мне, и одна из них с саблей уже в Царьграде, другая сомневается, плачет и поет, играя на лютне, а третья против меня. Та, третья, еще не дает о себе знать или же никак не может до меня добраться. Поэтому я вижу во снах только того первого, с саблей, а второго, с лютней, не вижу. Рав Хисда говорит: «Сон, который не истолкован, подобен письму, которое не прочитано», я же переиначиваю это и говорю: «Непрочитанное письмо подобно сну, который не приснился». Сколько же мне снов послано, которые я никогда не получил и не увидел? Этого я не знаю, но знаю, что одна из моих душ может разгадать происхождение другой души, глядя на чело спящего человека. Я чувствую, что частицы моей души можно встретить среди других человеческих существ, среди верблюдов, среди камней и растений; чей-то сон взял материал от тела моей души и строит из него свой дом где-то далеко. Мои души для своего совершенства ищут содействия других душ, так души помогают друг другу. Я знаю, мой хазарский словарь охватывает все десять чисел и 22 буквы еврейского алфавита; из них можно построить мир, но вот ведь я этого не умею. Мне не хватает некоторых имен, и некоторые места для букв из-за этого останутся незаполненными. Как бы я хотел, чтобы вместо словаря с именами можно было взять только одни глаголы! Но человеку это не дано. Потому что буквы, которые составляют глаголы, происходят от Элохима, они нам неизвестны, и они суть не человечьи, но божьи, и только те буквы, которые составляют имена, те, что происходят из Геенны и от дьявола, только они составляют мой словарь, и только эти буквы доступны мне. Так что мне придется держаться имен и дьявола...»

— Баал халомот! — воскликнул раби Папо, когда они дошли до этого места в бумагах Коэна.— Не бредит ли он?

— Я думаю иначе,— отвечал Нехама и загасил свечу.

— Что ты думаешь? — спросил раби Папо и загасил светильник, причем души прошептали каждая свое имя и исчезли.

— Я думаю,— ответил Нехама в полной темноте, такой, что мрак комнаты смешивался с мраком его уст,— я думаю, что́ ему больше подойдет — Землин, Кавала или Салоники?

— Салоники, еврейский город? — удивился раби Папо.— Какой может быть разговор об этом? Его нужно сослать в рудники в Сидерокапси!

— Мы отправим его в Салоники к его невесте,— заключил второй старец задумчиво, и они вышли, не зажигая свет.

Так на судьбе Самуэля Коэна была поставлена печать. Он был изгнан из Дубровника и, как можно понять из донесения жандармов, простился со своими знакомыми «на день святого Фомы-апостола в 1689 году, когда стояла такая засуха, что у скота линяли хвосты, а весь Страдун был покрыт птичьими перьями». В тот вечер госпожа Ефросиния надела мужские брюки и вышла в город, как любая женщина. Коэн в тот вечер последний раз шел от аптеки к палаццо Спонза, и она под аркой у Гариштa бросила ему под ноги серебряную монету. Он поднял монету и подошел к ней, в темноту. Сначала он вздрогнул, думая, что перед ним мужчина, однако стоило ей до него дотронуться пальцами, как он сразу же ее узнал.

— Не уходи,— сказала она ему,— с судьями все можно уладить. Только скажи. Нет такой ссылки, которую нельзя было бы заменить недолгим заключением в береговых тюрьмах. Я суну кому надо несколько золотых эскудо в бороду, и нам не придется расставаться.

— Я должен уйти не потому, что я изгнан,— ответил Коэн,— для меня эти их бумаги значат не больше, чем птичий помет. Я должен идти, потому что сейчас крайний срок. С детства я вижу во сне, как во мраке бьюсь с кем-то на саблях и хромаю. Я вижу сны на языке, которого я не понимаю наяву. С первого такого сна прошло двадцать два года, и наступило время, когда сон должен сбыться. Тогда все станет ясно. Или сейчас, или никогда. А прояснится все только там, где я вижу себя во снах — в Царьграде. Потому что не напрасно мне снятся эти кривые улицы, проложенные так, чтобы убивать ветер, эти башни и вода под ними...

— Если мы больше не встретимся в этой жизни,— сказала на это госпожа Ефросиния,— мы встретимся в какой-нибудь другой, будущей. Может, мы лишь корни душ, которые прорастут когда-нибудь. Может, твоя душа носит в себе, как плод, мою душу и однажды родит ее, но до того обе они должны пройти путь, который им предопределен...

— Даже если это так, то в том будущем мире мы не узнаем друг друга. Твоя душа — это не душа Адама, та, которая изгнана в души всех следующих поколений и осуждена умирать снова и снова в каждом из нас.

— Если не так, то встретимся как-нибудь по-другому. И я тебе скажу, как ты меня узнаешь. Я буду тогда мужского пола, но руки у меня останутся такими же — каждая с двумя большими пальцами, так что обе могут быть и левой и правой...

С этими словами госпожа Ефросиния поцеловала Коэна в перстень, и они расстались навек. Смерть госпожи Лукаревич, которая последовала вскоре и была так ужасна, что даже воспета в народных песнях, не могла бросить тень на Коэна, потому что он в то время, когда госпожа Ефросиния умерла, и сам уже впал в свое оцепенение, в сон без возвращения и пробуждения.

Сначала все думали, что Коэн отправится в Салоники к своей невесте Лидисии и там на ней женится, как и рекомендовала ему еврейская община в Дубровнике. Но он этого не сделал. В тот вечер он набил трубку, а утром выкурил ее в стане требиньского Сабляк-паши, который готовился к походу на Валахию. Так Коэн вопреки всему направился в сторону Царьграда. Но он туда никогда не попал. Очевидцы из свиты паши, которых подкупили дубровницкие евреи, предложив им растительных красок для льна за то, что они расскажут им о конце Коэна, говорят следующее:

В тот год паша направлялся со своей свитой на север, а облака над ними все время летели на юг, будто хотели унести их память. Уже одно это было плохим знаком. Не спуская глаз со своих собак, они неслись через пахучие боснийские леса, как сквозь времена года, и влетели на постоялый двор под Шабацем в ночь лунного затмения. Один из жеребцов паши сломал ноги на Саве, и он призвал своего смотрителя кладбища лошадей. Коэн, однако, спал так крепко, что не слыхал, как его зовут, и паша ударил его кнутом между глаз с оттяжкой, будто тащит воду из колодца, и гривны на его руке зазвенели. Коэн в тот же миг вскочил и бегом отправился выполнять свои обязанности. После этого события следы Коэна на некоторое время исчезают, потому что из лагеря паши он уходит в Белград, который тогда находился в руках австрийцев. Известно, что в Белграде он посещал огромный трехэтажный дом турецких сефардов, наполненный сквозняками, которые свистели по всем коридорам... Он остановился на старом постоялом дворе, в одной из его сорока семи комнат, который принадлежал тамошним немецким евреям по фамилии Ашке-

нази, и тут нашел книгу о толковании снов, написанную на ладино — испанско-еврейском языке, на котором говорят евреи в странах Средиземноморья...

Когда отряд Сабляк-паши вышел к Дунаю, одной из четырех райских рек, которая символизирует аллегорический пласт в Библии, Коэн опять присоединился к нему... И как только начались первые перестрелки с сербами и австрийцами, паша приказал отлить на Джердапе пушку, которая смогла бы стрелять на три тысячи локтей ядрами вдвое тяжелее обычных...

Когда пушка была готова, начался обстрел австрийских позиций. Сабляк повел в атаку весь свой отряд, и на сербские позиции обрушились все, включая и Коэна, который вместо сабли имел при себе только мешок для овса, хотя в нем, как нам уже известно, не было ничего ценного, только старые, мелко исписанные листы бумаги в белых чехлах.

— Под небом, густым, как похлебка,— рассказывал очевидец,— влетели мы на одну из позиций, где застали трех человек, все остальные в панике бежали. Двое играли в кости, не обращая на нас никакого внимания. Возле них перед шатром, словно в бреду, лежал какой-то богато одетый всадник, и на нас напали только его собаки. В мгновение ока наши изрубили одного из игроков и копьем пригвоздили к земле спящего всадника. Он, уже пронзенный, приподнялся на локте и посмотрел на Коэна, и тот от этого взгляда упал как подстреленный, и из мешка посыпались его бумаги. Паша спросил, что это с Коэном, не убит ли он, на что другой игрок ответил по-арабски:

— Если его зовут Коэн, то его сразила не пуля. Его свалил сон...

Оказалось, что это правда, и странные слова спасли игроку жизнь ровно на один день.

Кончается сообщение о Самуэле Коэне, еврее из дубровницкого гетто, рассказом о его последнем сне, тяжелом и глубоком забытьи, в котором он потонул безвозвратно, как в глубоком море. Последний рассказ о Самуэле Коэне услышал требиньский Сабляк-паша от того игрока, жизнь которого пощадили на поле боя. То, что он тогда сказал паше, останется навсегда зашитым в шелковый шатер на Дунае, и до нас дошли только отрывки разговора, которые доносились из-за зеленой ткани, не пропускавшей дождя. Игрока звали Юсуф Масуди, и он умел читать сны. Он мог в чужом сне поймать даже зайца, а не то что человека, и служил у того самого всадника, которого пробудили копьем. Всадник этот был важным и богатым человеком, звали его Аврам Бранкович, и одни его борзые стоили не меньше ладьи пороха. Масуди рассказывал о нем невероятные вещи. Он уверял Сабляк-пашу, что Коэн в своем тяжелом сне видел именно этого Аврама Бранковича.

— Ты говоришь, что читаешь сны? — спросил его на это Сабляк-паша.— Можешь ты ли тогда прочитать и этот сон Коэна?

— Конечно, могу. Я уже вижу, что ему снится: поскольку Бранкович умирает, он видит его смерть.

При этих словах паша как будто оживился.

— Это значит,— быстро сказал он,— что Коэн может сейчас увидеть то, чего не может ни один смертный — видя во сне умирающего Бранковича, он может пережить смерть и остаться живым?

— Да, это так,— согласился Масуди,— но он не может пробудиться и рассказать нам все, что он видел во сне.

— Но зато ты можешь увидеть, как он видит во сне эту смерть...

— Могу и завтра я расскажу вам, как умирает человек и что он при этом чувствует...

Ни Сабляк-паша, ни мы никогда не узнаем, зачем предлагал это игрок, то ли чтобы продлить хоть на один день свою жизнь, то ли чтобы действительно посмотреть сон Коэна и найти там смерть Бранковича. Паша все же решил, что стоит попробовать. Он сказал, что каждый следующий день стоит столько же, сколько неиспользованная подкова, а вчерашний столько, сколько потерянная подкова, и оставил Масуди жить до утра.

Этой ночью Коэн спал в последний раз, его огромный, как птица, нос высовывался из его улыбки во сне, а эта улыбка походила на огрызок с какого-то давно съеденного обеда. Масуди не отходил от его изголовья до утра, а когда рассвело, уже не был похож на самого себя, его словно бичевали в тех снах, которые он читал. А прочитал он в них следующее:

Бранкович будто и не умирал от раны, нанесенной копьем. Он этой раны и не чувствовал. Он чувствовал сразу множество ран, и число их росло со страшной быстротой. Ему чудилось, что он стоит высоко на каком-то каменном столбе и считает. Была весна, дул ветер, который заплетал ветки ив в косы, и все ивы от Муреша до Тисы и Дуная стояли с косами. Что-то вроде стрел

вонзалось в его тело, но процесс этот тек в обратном направлении: от каждой стрелы он сначала чувствовал рану, потом укол, потом боль прекращалась, слышался в воздухе свист, и наконец звенела тетива, отпуская стрелу. Так, умирая, он считал эти стрелы, от одной до семнадцати, а потом он упал со столба и перестал считать. При падении он столкнулся с чем-то твердым, неподвижным и огромным. Но это была не земля. Это была смерть...

А потом в этой же смерти он умер и во второй раз, хотя казалось, что в ней нет места даже для малейшей боли. Между ударами стрел он тоже умирал раз, но тогда совсем по-другому — умирал недозрелой мальчишеской смертью, и единственное, чего он боялся,— это не успеть справиться с огромной работой (потому что смерть — это тяжелый труд), чтобы, когда придет миг падения со столба, закончить и с другой смертью. Поэтому он напрягался и спешил. В этой неподвижной спешке он лежал за пестрой комнатной печью, сложенной в форме маленькой, как будто игрушечной церковки с красными и золотыми куполами. Горячие и ледяные приступы боли катились от его тела в комнату, как будто из него освобождаются и быстро сменяют друг друга времена года. Сумрак ширился, как влага, каждая комната в доме чернела по-своему, и только окна были еще нагружены последним светом дня, чуть более бледным, чем сумерки в комнате. Кто-то прошел тогда из невидимых сеней, неся свечу; казалось, что на косяке было столько черных дверей, сколько страниц в книге, вошедший перелистал их быстро, так что свеча затрепетала, и шагнул в комнату. Что-то потекло из него, и он выпустил из себя все свое прошлое и остался пуст. А потом будто бы поднялись воды, и на дворе поднялась ночь с земли на небо, и у него вдруг выпали сразу все волосы, будто кто-то сбил шапку с его головы, которая была уже мертвой.

И тогда во сне Коэна возникла и третья смерть Бранковича. Она была едва заметна, заслонена чем-то, что могло быть накопленным временем. Будто сотни лет стояли между двумя первыми смертями Бранковича и третьей, которая едва была видна с того места, где находился Масуди... Та, третья, смерть была быстрой и короткой. Бранкович лежал в какой-то странной постели, и какой-то мужчина, схватив подушку, начал душить его. Все это время Бранкович думал только об одном — нужно схватить яйцо, лежащее на столике рядом с кроватью, и разбить его. Бранкович не знал, зачем это нужно, но пока его душили подушкой, он понимал, что это единственное, что важно. Одновременно он понял, что человек открывает свое вчера и завтра с большим опозданием, через миллион лет после своего возникновения — сначала завтра, а потом вчера. Он открыл их одной давней ночью, когда в сумраке угасал настоящий день, притиснутый и почти что прерванный между прошлым и будущим, которые в ту ночь настолько разрослись, что почти соединились. Было так и сейчас. Настоящий день угасал, задушенный между двумя вечностями — прошлой и будущей, и Бранкович умер в третий раз, в тот миг, когда прошлое и будущее столкнулись в нем и раздавили его тогда, когда ему наконец удалось раздавить яйцо...

И тут вдруг сон Коэна оказался пустым, как пересохшее русло реки. Настало время пробуждения, но не было больше никого, чтобы видеть во сне явь Коэна, как это при жизни делал Бранкович. Вот так и с Коэном должно было случиться то, что случилось. Масуди видел, как во сне Коэна, который превращался в агонию, со всех вещей, окружавших его, как шапки, попадали имена и мир остался девственно чист, как в первый день сотворения. Только первые десять чисел и те буквы алфавита, что означают глаголы, сверкали надо всем, что окружало Коэна, как золотые слезы. И тогда он понял, что числа десяти заповедей — это тоже глаголы и что, забывая язык, их забывают последними и они остаются как отзвук, и даже тогда, когда сами заповеди уже исчезли из памяти.

В этот миг Коэн проснулся в своей смерти, и перед Масуди исчезли все пути, потому что над горизонтом опустилась пелена, на которой водой из реки Яббок было написано: «Ибо ваши сны — это дни в ночах».

ЛУКАРЕВИЧ (Luccari) ЕФРОСИНИЯ (XVII век) — дубровницкая аристократка из рода Геталдич-Крухорадичей, замужем за одним из аристократов рода Luccari... Была известна своим свободным поведением и красотой; в свое оправдание она шутя говорила, что страсть и честь по одной дорожке не ходят, и имела по два больших пальца на каждой руке. Она всегда была в перчатках, даже во время обеда, любила красные, голубые и желтые кушанья и носила платья этих же цветов... Говорили, что она состоит в тайной связи с од-

ним евреем из дубровницкого гетто, по имени Самуэль Коэн ***... Еще рассказывали, что девушкой она умела колдовать, выйдя замуж, стала ведьмой, а после смерти должна была три года пробыть вурдалаком, но в это последнее не все верили, потому что считалось, что чаще всего такое происходит с турками, реже с греками, а с евреями никогда. Что же касается госпожи Ефросинии, о ней шушукались, что втайне она Моисеевой веры.

Как бы то ни было, когда Самуэля Коэна изгнали из Дубровника, госпожа Ефросиния не осталась к этому равнодушной; говорили, что она умрет от тоски, потому что с того дня она по ночам, как камень на сердце, держала собственный кулак, сжатый с двух сторон большими пальцами. Но вместо того, чтобы умереть, она однажды утром исчезла из Дубровника, потом ее видели в Конавле, на Данчах, как она в полдень сидит на могиле и расчесывает волосы, позже рассказывали, что она отправилась на север, в Белград, на Дунай,— в поисках своего любовника. Услышав, что Коэн умер под Кладовом, она никогда больше не вернулась домой. Остриглась и закопала волосы, и неизвестно, что с ней потом стало...

Д-р ДОРОТА ШУЛЬЦ (Краков, 1944 —) — славист, профессор университета в Иерусалиме; девичья фамилия — Квашневская. Ни в бумагах Краковского Ягеллонского университета в Польше, который окончила Квашневская, ни в документации Йельского университета в США в связи с присвоением ученой степени доктора Дороте Квашневской, нет сведений о ее происхождении. Дочь еврейки и поляка, Квашневская родилась в Кракове при странных обстоятельствах. Мать оставила ей талисман, принадлежавший раньше отцу Дороты Квашневской. Текст был таким: «Сердце мое — моя дочь; в то время как я равняюсь по звездам, оно равняется по луне и по боли, которая ждет на краю всех скоростей...» Квашневская никогда не смогла узнать, чьи это были слова. Брат ее матери, Ашкенази Шолем, исчез в 1943 году во время немецкой оккупации Польши и преследований евреев, однако перед исчезновением ему удалось спасти сестру. Он, не раздумывая долго, раздобыл для сестры фальшивые документы на имя какой-то польки и женился на ней. Венчание состоялось в Варшаве, в церкви святого Фомы, и считалось, что это брак между крещеным евреем и полькой. Он курил вместо табака чай из мяты, и когда его забрали, сестра, она же и жена, Анна Шолем, которую продолжали считать полькой и которая носила девичью фамилию какой-то неизвестной ей Анны Закевич, развелась со своим мужем (и братом, о чем, правда, знала только она сама) и так спасла свою жизнь. Сразу же после этого она опять вышла замуж за некоего вдовца, по фамилии Квашневский, с глазами в мелких пятнышках, как яйца; он был безрогим на язык и рогат в мыслях. От него у Анны был один-единственный ребенок — Дорота Квашневская. Закончив отделение славистики, Дорота переехала в США, позже защитила там докторскую диссертацию по проблемам древних славянских литератур, но когда Исаак Шульц, которого она знала еще со студенческих лет, уехал в Израиль, она присоединилась к нему. В 1967 году во время израильско-египетской войны он был ранен, и Дорота в 1968 году вышла за него замуж, осталась жить в Тель-Авиве и Иерусалиме, читала курс истории раннего христианства у славян, однако постоянно посылала на свое собственное имя письма в Польшу. На конвертах она писала свой старый адрес в Кракове, и эти письма, которые Квашневская, в замужестве Шульц, писала самой себе, сохранила в Польше нераспечатанными ее бывшая краковская хозяйка квартиры, надеясь, что когда-нибудь сможет вручить их Квашневской. Письма эти короткие, кроме одного или двух, и представляют собой нечто вроде дневника д-ра Дороты Шульц в период с 1968 по 1982 год. Связь их с хазарами состоит в том, что последнее письмо, написанное из следственной тюрьмы в Царьграде, затрагивает вопрос о хазарской полемике ***. Письма приводятся в хронологическом порядке.

1

Тель-Авив, 21 августа 1967

Дорогая Доротка,

у меня здесь такое чувство, что я ем скоромное за чужой, а пощусь за свой счет. Я знаю, что, пока я пишу тебе эти строки, ты уже стала немного моложе меня, там, в своем Кракове, в нашей комнате, где всегда пятница, где в нас пихали корицу, как будто мы яблоки. Если ты когда-нибудь получишь это письмо, ты станешь старше меня в тот момент, когда его прочтешь.

Исааку лучше, он лежит в прифронтовом госпитале, но быстро поправляется, и это заметно по его почерку. Он пишет, что видит во сне «краковскую тишину трехдневную, дважды разогревавшуюся, немного подгоревшую на дне». Скоро мы встретимся, и я боюсь этой встречи не только из-за его раны, о которой еще ничего не знаю, но и потому, что все мы деревья, вкопанные в собственную тень.

Я счастлива, что ты, которая не любит Исаака, осталась там, далеко от нас. Теперь нам с тобой легче любить друг друга.

2

Иерусалим, сентябрь 1968

Доротка,

всего несколько строк: запомни раз и навсегда — ты работаешь, потому что не умеешь жить. Если бы ты умела жить, ты бы не работала и никакая наука для тебя бы не существовала. Но все учили нас только тому, как работать, и никто — как жить. И вот я не умею.

Исаак вернулся. Когда он одет, его шрамы не видны, он так же красив, как и раньше, и похож на пса, который научился петь краковяк. Он любит мою правую грудь больше, чем левую, и мы спим совершенно непристойно... Давай договоримся так: поделим роли, ты там, в Кракове, продолжай заниматься наукой, а я буду здесь учиться жить.

3

Хайфа, март 1971

Дорогая и не забытая мною Доротея,

давно я тебя не видела, и кто знает, смогла ли бы узнать. Может, и ты меня больше не узнала бы, может, ты обо мне больше и не думаешь в нашей квартире, где дверные ручки цепляются за рукава. Я вспоминаю польские леса и представляю себе, как ты бежишь через вчерашний дождь, капли которого лучше слышны, когда падают не с нижних, а с верхних веток. Я вспоминаю тебя девочкой и вижу, как ты растешь быстро, быстрее, чем твои ногти и волосы, а вместе с тобой, но только еще быстрее, растет в тебе ненависть к нашей матери. Неужели мы должны были ее так ненавидеть? Здешний песок вызывает во мне страстное желание, но я уже долгое время чувствую себя с Исааком странно. Это не связано ни с ним, ни с нашей любовью. Это связано с чем-то третьим. С его раной. Он читает в постели, я лежу рядом с ним в палатке и гашу свет, когда чувствую, что хочу его. Несколько мгновений он остается неподвижным, продолжает в темноте смотреть в книгу, и я ощущаю, как его мысли галопом несутся по невидимым строчкам. А потом он поворачивается ко мне. Но стоит нам прикоснуться друг к другу, как я чувствую страшный шрам от его раны. Мы занимаемся любовью, а потом лежим, глядя каждый в свой мрак, и несколько вечеров назад я спросила его:

— Это было ночью?

— Что? — спросил он, хотя знал, о чем я говорю.

— Когда тебя ранили.

— Это было ночью.

— И ты знаешь чем?

— Не знаю, но думаю, что это был штык.

4

Иерусалим, октябрь 1974

Дорогая Дорогка,

я читаю о славянах, как они спускались к морям с копьем в сапоге. И думаю о том, как меняется Краков, осыпанный новыми ошибками в правописании и языке, сестрами развития слова. Я думаю о том, как ты остаешься той же, а я и Исаак все больше меняемся. Я не решаюсь ему сказать. Когда бы мы ни занимались любовью, как бы нам ни было хорошо и что бы мы при этом ни делали, я грудью и животом все время чувствую след от того штыка. Я чувствую его уже заранее, этот след вытягивается между мною и Исааком в нашей постели. Неужели возможно, чтобы человек за один миг смог расписаться штыком на теле другого человека и навсегда вытатуировать свой след в чужом мясе? Эта рана похожа на какой-то рот, и стоит нам, Исааку и мне,

дотронуться друг до друга, как к моеи груди прикасается этот шрам, похожий на беззубый рот. Я лежу возле Исаака и смотрю на то место в темноте, где он спит. Запах клевера заглушает запах конюшни. Я жду, когда он повернется — сон становится тонким, когда человек поворачивается,— тогда я смогу его разбудить, и ему не будет жалко. Есть сны бесценные, а есть и другие, как мусор. Я бужу его и спрашиваю:

— Он был левша?

— Кажется, да,— отвечает он мне сонно, но твердо, из чего мне ясно, что он знает, о чем я думаю.— Его взяли в плен и утром привели в мою палатку. Он был бородатым, с зелеными глазами и ранен в голову. Его привели, чтобы показать мне эту рану. Ее нанес я. Прикладом.

5

Снова Хайфа, сентябрь 1975

Доротка,

ты и не сознаешь, какая ты счастливица, что там, у себя на Вавеле, не знаешь этого ужаса, в котором я живу. Представь себе, что в постели, когда ты обнимаешь своего мужа, тебя кусает и целует кто-то другой. Между Исааком и мной лежит и всегда будет лежать какой-то бородатый сарацин с зелеными глазами! Он откликается на каждое мое движение раньше Исаака, потому что он ближе к моему телу, чем тело Исаака. И этот сарацин не выдумка! Этот скот — левша, и он больше любит мою левую грудь, чем правую! Какой ужас, Доротка! Ты не любишь Исаака, как я, скажи мне, как объяснить сму все это? Я оставила тебя и Польшу и приехала сюда ради Исаака, а в его объятиях встретила зеленоглазое чудовище, оно просыпается ночью, кусает меня беззубым ртом и хочет меня всегда. Исаак иногда заставляет меня кончать на этом арабе. Он всегда тут! Он всегда может...

Наши стенные часы, Доротка, этой осенью спешат, а весной они будут отставать...

6

Октябрь 1978

Доротея,

араб насилует меня в объятиях моего мужа, и я больше уже не знаю, с кем я наслаждаюсь в своей постели. Из-за этого сарацина муж кажется мне иным, чем раньше, я теперь вижу и понимаю его по-новому, и это невыносимо. Прошлое внезапно переменилось: чем больше наступает будущее, тем сильнее изменяется прошлое, оно становится опаснее, оно непредсказуемо, как завтрашний день, в нем на каждом шагу закрытые двери, из которых все чаще выходят живые звери. И у каждого из них свое имя. У того зверя, который разорвет Исаака и меня, имя кровожадное и длинное. Представляешь, Доротка, я спросила Исаака, и он мне ответил. Он это имя знал все время. Араба зовут Абу Кабир Муавия **. И свое дело он уже начал как-то ночью, в песке, недалеко от водопоя. Как и все звери.

7

Тель-Авив, 1 ноября 1978

Дорогая, забытая Доротка,

ты возвращаешься в мою жизнь, но при ужасных обстоятельствах. Там, в твоей Польше, среди туманов таких тяжелых, что они тонут в воде, ты и не представляешь себе, что я тебе готовлю. Пишу тебе из самых эгоистических соображений. Я часто думаю, что лежу с широко открытыми глазами в темноте, а на самом деле в комнате горит свет и Исаак читает, а я лежу, закрыв глаза. Между нами в постели по-прежнему этот третий, но я решилась на маленькую хитрость. Это трудно, потому что поле боя ограничено телом Исаака. Уже несколько месяцев я бегу от губ араба, передвигаюсь по телу моего мужа справа налево. И вот когда я уже решила, что выбралась из западни, на другом краю Исаакова тела налетела на засаду. На еще одни губы араба. За ухом Исаака, под волосами я наткнулась на второй шрам, и мне показалось, что Абу Кабир Муавия запихал мне в рот свой язык. Ужас! Теперь я действительно в западне — если я сбегаю от одних его губ, меня ждут вторые, на другом краю тела Исаака. Что мне думать об Исааке? Я не могу больше ласкать его — от страха, что мои губы встретятся с губами сарацина. Вся наша

жизнь теперь проходит под его знаком. Смогла бы ты в таких условиях иметь детей? Но самое страшное случилось позавчера. Один из этих сарацинских поцелуев напомнил мне поцелуй нашей матери. Сколько лет я не вспоминала ее, и теперь вдруг она напомнила о себе. И как! Пусть не похваляется тот, кто обувается так же, как тот, кто уже разулся, но как это пережить?

Я прямо спросила Исаака, жив ли еще египтянин. И что, ты думаешь, он ответил? Жив и даже работает в Каире. Его шаги, как плевки, тянутся за ним по свету. Заклинаю тебя: сделай что-нибудь! Может быть, ты спасла бы меня от этого незваного любовника, если бы отвлекла его похоть на себя, ты бы спасла и меня, и Исаака. Запомни это проклятое имя — Абу Кабир Муавия,— и давай возьмем каждая свое: ты бери этого леворукого араба в свою постель в Кракове, а я попытаюсь сохранить для себя Исаака.

8

Department of Slavic studies
University of Yale USA
October 1980.

Дорогая мисс Квашневская,

пишет тебе твоя д-р Шульц. Я пишу в перерыве между двумя лекциями. У нас с Исааком все в порядке. Уши мои еще полны его засушенных поцелуев. Мы почти помирились, и теперь наши постели на разных континентах. Я много работаю. После почти десятилетнего перерыва я снова участвую в научных конференциях. И скоро мне опять предстоит поездка, на этот раз ближе к тебе. Через два года в Царьграде состоится научная конференция по вопросам Черноморского побережья. Я готовлю доклад. Ты помнишь профессора Wyke и твою дипломную работу «Жития Кирилла и Мефодия, славянских просветителей»? Помнишь исследование Дворника, которым мы тогда пользовались? Сейчас он выпустил второе, дополненное издание (1969), и я его буквально проглотила, настолько оно интересно. В моей работе речь пойдет о хазарской миссии Кирилла * и Мефодия *, той самой, важнейшие сведения о которой — записи самого Кирилла — утеряны. Неизвестный составитель жития Кирилла пишет, что свою аргументацию в хазарской полемике *** Кирилл оставил при дворе кагана в особых книгах, так называемых «Хазарских проповедях». «Кто хочет найти полностью эти проповеди,— отмечает биограф Кирилла,— найдет их в книгах Кирилла, которые перевел учитель наш и архиепископ Мефодий, брат Константина Философа, поделив их на восемь проповедей». Просто невероятно, что целые книги, восемь проповедей христианского святого и создателя славянской письменности, написанные на греческом и переведенные на славянский язык, исчезли без следа! Не потому ли, что в них было слишком много еретического? Не было ли в них иконоборческой окраски, что было полезно в полемике, но не соответствовало догматам, из-за чего потом их и изъяли из употребления? Я еще раз перелистала Ильинского, всем нам хорошо известный «Обзор систематизированной библиографии Кирилла и Мефодия» до 1934 года, а потом его продолжателей (Попруженко, Романского, Петковича и т. д.). Снова прочла Мошина. И потом перечитала всю приведенную там литературу о хазарском вопросе. Но нигде нет упоминания о том, что «Хазарские проповеди» особо привлекли чье-то внимание. Как могло получиться, что все бесследно исчезло? Этот вопрос все оставляют без внимания. А ведь существовал не только греческий канонический текст, но и славянский перевод, из чего можно сделать вывод, что это произведение некоторое время имело очень широкое хождение. Причем не только в хазарской миссии, но и позже; его аргументация должна была бы использоваться и в славянской миссии братьев из Салоник, и даже в полемике со сторонниками «трехъязычия». Иначе зачем бы им было переводить это на славянский язык? Я думаю, что наверное можно напасть на след «Хазарских проповедей» Кирилла, если искать методом сопоставления. Если систематически пересмотреть исламские и еврейские источники о хазарской полемике, наверняка там что-нибудь да всплывет о «Хазарских проповедях». Но дело в том, что я не могу сделать это сама, это вообще не по силам одним славистам, нужно участие и востоковедов, и специалистов по древней еврейской культуре. Я посмотрела у Dunlop'a (History of Jewish Khazars, 1954), но и там нет ничего, что могло бы навести на след утраченных «Хазарских проповедей» Константина Философа.

Видишь, не только ты в своем Ягеллонском университете занимаешься наукой, я здесь тоже. Я вернулась к своей специальности, к своей молодости, которая по вкусу похожа на фрукты, доставленные пароходом с другого берега океана. Я хожу в соломенной шляпе вроде корзинки. В ней можно, не снимая

ее с головы, принести с рынка черешню. Я старею всякий раз, как в Кракове бьет полночь на городских часах, и просыпаюсь, когда над Вавелем раздается звон часов. Я завидую твоей вечной молодости. Как поживает твой Абу Кабир Муавия? Действительно ли у него, как в моих снах, два копченых сухих уха и хорошо выжатый нос? Спасибо, что ты его взяла на себя. Вероятно, ты уже все знаешь о нем. Представь, он занят делом, весьма близким к тому, чем занимаемся мы с тобой! Мы с ним работаем почти что в одной области. Он преподает в Каирском университете сравнительную историю религий Ближнего Востока и занимается древнееврейской историей. Ты с ним мучаешься так же, как и я?

Любящая тебя д-р Шульц.

9

Иерусалим, январь 1981

Доротка,

произошло невероятное. Вернувшись из Америки, я нашла в нераспечатанной почте список участников той самой конференции о культурах Черноморского побережья. Ты себе не представляешь, кого я увидела в этом списке! А может, ты это узнала раньше меня благодаря своей провидческой душе, которой не требуется парикмахерская завивка? Араб, собственной персоной, тот самый, с зелеными глазами, который изгнал меня из постели моего мужа. Он будет на конференции в Царьграде. Однако не хочу вводить тебя в заблуждение. Он приедет не для того, чтобы повидаться со мной. Но я еду в Царьград, чтобы наконец-то его увидеть. Я уже давно рассчитала, что наши профессии близки настолько, что достаточно просто участвовать в научных конференциях, чтобы в конце концов пересеклись и наши пути. В моей сумке лежит доклад о хазарской миссии Кирилла и Мефодия, а под ним — S&W модель 36, калибр 38. Спасибо тебе за напрасные попытки взять на себя д-ра Абу Кабира Муавию. Теперь я беру его на свою душу. Люби меня так же, как ты не любишь Исаака. Сейчас мне это нужнее, чем когда бы то ни было. Наш общий отец нам поможет...

10

Царьград, отель «Кингстон», 1 октября 1982

Дорогая Доротея,

наш общий отец мне поможет, так я написала тебе в последний раз. Что ты знаешь о нашем общем отце, бедная моя глупышка? В твоем возрасте и я ничего не знала, так же как ты сейчас. Но моя новая жизнь дала мне время, чтобы думать. Знаешь ли ты, кто твой настоящий отец, детка? Ты думаешь, тот самый поляк с бородой, похожей на пук травы, который дал тебе фамилию Квашневская и отважился жениться на твоей матери, Анне Шолем? Думаю, что нет. Попытайся вспомнить того, кого мы не могли никак запомнить? Помнишь некоего Шолема Ашкенази, юношу на фотографиях, с криво сидящими на носу очками и с другой их парой, торчащей из жилетки. Того, который курит вместо табака чай и у которого красивые волосы налезают на сфотографированные уши. Того, который, как нам рассказывали, говорил, что «нас спасет наша мнимая жертва». Помнишь брата и первого мужа нашей матери, Анны Шолем, псевдо-Закевич в девичестве, Шолем по первому и Квашневскую по второму мужу? И знаешь ли ты, кто был первым отцом ее дочерей, твоим и моим? Ну, вспомнила наконец через столько лет? Твой дядя и брат матери прекрасно мог быть и нашим отцом, не правда ли? А почему, собственно, им не мог бы быть муж твоей матери? Что ты думаешь о таком раскладе, дорогая моя? Может быть, госпожа Шолем не имела мужчин до брака и не могла повторно выйти замуж девушкой? Возможно, поэтому она напоминает о себе таким неожиданным образом, неся с собой ужас. Как бы то ни было, ее старания не пропали даром, и я думаю, что моя мать, если и сделала так, была права тысячу раз, и если я могу выбирать, то я выбираю отцом охотнее, чем кого бы то ни было, брата моей матери. Несчастье, дорогая моя Доротея, несчастье учит нас читать нашу жизнь в обратном направлении...

Здесь, в Царьграде, я уже кое с кем познакомилась. Мне не хочется показаться кому-то странной, и я болтаю со всеми, не закрывая рта. Один из моих коллег, приехавший на эту конференцию,— доктор Исайло Сук *. Он археолог, медиевист, прекрасно знает арабский, мы говорим с ним по-немецки, шутим по-польски, потому что он знает сербский и считает себя молью собст-

венного платья. Его семья уже сто лет переселяет из дома в дом одну и ту же изразцовую печь, а он считает, что XXI век будет отличаться от нашего тем, что люди наконец-то единодушно восстанут против скуки, которая сейчас затопляет их, как грязная вода. Камень скуки, говорит д-р Сук, мы несем на плечах на огромный холм, подобно Сизифу. Наверное, люди будущего соберутся с духом и восстанут против этой чумы, против скучных школ, скучных книг, против скучной музыки, скучной науки, скучных встреч, и тогда они исключат тоску из своей жизни, из своего труда, как этого и требовал наш праотец Адам. Говорит он это не совсем серьезно, а когда пьет вино, не позволяет доливать в свой бокал, потому что, считает он, бокал не кадило, чтобы добавлять в него прежде, чем он иссяк. По его учебникам учатся во всем мире, но он сам преподавать по ним не может. Он должен преподавать в университете что-то другое. Его исключительные знания в своей области никак не соответствуют его крайне незначительному научному авторитету. Когда я ему сказала об этом, он улыбнулся и объяснил мне это так:

— Дело в том, что вы можете стать великим ученым или великим скрипачом (а знаете ли вы, что все великие скрипачи, кроме Паганини, были евреями?), только если вас поддержит и встанет за спиной у вас и ваших достижений один из мощных интернационалов современного мира. Еврейский, исламский или католический интернационал. Вы принадлежите к одному из них. Я ни к какому, поэтому я и неизвестен. Между моими пальцами давно уже проскочили все рыбы.

— О чем это вы говорите? — спросила я его изумленно.

— Это парафраз одного хазарского текста, примерно тысячелетней давности. А вы, судя по названию доклада, который вы нам прочтете, весьма осведомлены о хазарах. Почему же вы тогда удивляетесь? Или вы никогда не встречали издание Даубмануса?

Должна признаться, что он меня смутил. Особенно когда упомянул «Хазарский словарь» Даубмануса. Если такой словарь когда-либо и существовал, ни один экземпляр его, насколько мне известно, не сохранился.

Дорогая Доротка, я вижу снег в Польше, вижу, как снежинки превращаются в твоих глазах в слезы. Вижу хлеб, насаженный на шест со связкой лука, и птиц, которые греются в дыме над домами. Д-р Сук говорит, что время приходит с юга и переходит Дунай на месте Траянова моста. Здесь нет снега, и облака похожи на остановившиеся волны, которые выбрасывают рыбу. Д-р Сук обратил мое внимание еще на одно обстоятельство. В нашем отеле остановилась чудесная бельгийская семья, их фамилия Ван дер Спак. Семья, какой у нас никогда не было и какой не будет у меня. Отец, мать и сын. Д-р Сук называет их «святое семейство». Каждое утро во время завтрака я наблюдаю, как они едят; все они упитаны, а господин Спак, как я случайно слышала, однажды в шутку сказал: на толстую кошку блоха не пойдет... Он прекрасно играет на каком-то инструменте, сделанном из панциря белой черепахи, а бельгийка занимается живописью. Рисует она левой рукой, и при этом очень хорошо, на всем, что ей попадается: на полотенцах, стаканах, ножах, на перчатках своего сына. Их мальчику года четыре. У него коротко подстриженные волосы, зовут его Мануил, и он только недавно научился составлять свои первые фразы. Съев булочку, он подходит к моему столу и застывает, глядя на меня так, как будто влюблен. Глаза его в пятнышках, напоминающих мелкие камешки на тропинке, и он постоянно спрашивает меня: «Ты меня узнала?» Я глажу его по голове, словно глажу птицу, а он целует мне пальцы. Он приносит мне трубку своего отца, похожего на цадика, и предлагает покурить. Ему нравится все красного, голубого и желтого цветов. И он любит есть все, что этого цвета. Я ужаснулась, когда заметила один его физический недостаток — на каждой руке у него по два больших пальца. Никогда не могу разобрать, какая рука у него правая, а какая левая. Но он еще не понимает, как выглядит, и не прячет от меня свои руки, хотя родители все время надевают ему перчатки. Иногда, не знаю, поверишь ли ты, мне это совсем не мешает и перестает казаться чем-то неестественным.

Да может ли мне вообще что-то мешать, если сегодня утром за завтраком я услышала, что на конференцию прибыл и д-р Абу Кабир Муавия. «...Мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый; ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней». Так написано в Библии.

11

Царьград, 8 октября 1982

Мисс Доротее Квашневской — Краков.

Я потрясена твоим эгоизмом и безжалостностью приговора. Ты уничтожила и мою жизнь, и жизнь Исаака. Я всегда боялась твоей науки и предчувствовала, что она несет мне зло. Надеюсь, ты знаешь, что случилось и что ты наделала. В то утро я вышла завтракать, твердо решив стрелять в Муавию, как только он появится во внутреннем садике отеля, где мы завтракаем. Я сидела и ждала; наблюдала, как тени птиц, пролетающих над гостиницей, стремительно скользят по стене. И тогда случилось то, чего никоим образом нельзя было предусмотреть. Появился человек, и я сразу поняла, кто это. Лицо его было темным, как хлеб, волосы с сединой, будто у него в усах застряли рыбьи кости. Только на виске из шрама растет пучок диких, совершенно черных волос, они у него не седеют. Д-р Муавия подошел прямо к моему столу и попросил разрешения сесть. Он заметно хромал, и один его глаз был прищурен, как маленький закрытый рот. Я замерла, потом в сумке сняла с предохранителя револьвер и оглянулась. В саду кроме нас был только один четырехлетний Мануил; он играл под соседним столом.

— Разумеется,— сказала я, и человек положил на стол нечто, что навсегда изменило мою жизнь. Это была стопка бумаг.

— Я знаю тему вашего доклада,— так сказал он садясь,— и именно поэтому хотел проконсультироваться по одному вопросу, связанному с ней.

Мы говорили по-английски, у него немного стучали зубы, ему было холоднее, чем мне, губы его тряслись, но он ничего не делал, чтобы унять дрожь. Он грел пальцы о свою трубку и вдувал дым в рукава. Вопрос его касался «Хазарских проповедей» Кирилла и Мефодия.

— Я просмотрел,— сказал он,—всю литературу, которая относится к «Хазарским проповедям», и нигде не нашел никакого упоминания о том, что эти тексты дошли до наших дней. Отрывки из «Хазарских проповедей» Кирилла сохранились и даже были напечатаны несколько сотен лет назад, и мне представляется невероятным, что никто об этом не знает.

Я была потрясена. То, что утверждает этот человек, могло было бы стать крупнейшим открытием в моей области — славистике — за все время ее существования. Если это действительно так.

— Почему вы так думаете? — спросила я его, пораженная, и не очень уверенно изложила ему свое мнение по этому вопросу.— «Хазарские проповеди» Кирилла,— сказала я,— науке неизвестны, о них лишь упоминается в житии Кирилла, откуда мы и знаем, что они существовали. О какой-то сохранившейся рукописи или же об опубликованном тексте этих проповедей смешно говорить.

— Это-то я и хотел проверить,— проговорил д-р Муавия,— с настоящего момента будет известно, что верно совершенно обратное...

И он протянул мне те самые бумаги — ксерокопии,— которые лежали перед ним. Передавая мне эту пачку, он на мгновение прикоснулся своим большим пальцем к моему, и от этого прикосновения у меня по телу пробежали мурашки. У меня было такое чувство, что наше прошлое и настоящее сконцентрировалось в наших пальцах и соприкоснулось. Когда я спросила д-ра Муавию, как они к нему попали, он ответил нечто такое, что привело меня в еще большее изумление:

— Важно вовсе не то, как они ко мне попали. В XII веке они оказались в руках вашего соплеменника, поэта Иуды Халеви, он внес их в свой трактат о хазарах. Описывая известную полемику, он привел слова ее христианского участника, называя его «философом», то есть так же, как это лицо называет и автор жития Кирилла в связи с той же полемикой. Таким образом, имя Кирилла в этом еврейском источнике не названо, как и имя арабского участника, приводится только звание христианского участника — Кирилла, а это и есть причина того, что до сих пор никто не искал текст Кирилла в хазарской хронике Иуды Халеви.

Я смотрела на д-ра Муавию, и мне казалось, что он не имеет никакого отношения к тому раненому человеку с зелеными глазами, который несколько мгновений назад сел за мой стол. Все было настолько убедительно и ясно, так соответствовало уже известным науке фактам, что просто удивительно, почему раньше никому не пришло в голову искать этот текст таким способом.

— Здесь имеется одна неувязка,— сказала я наконец д-ру Муавии,— текст Халеви относится к VIII веку, а хазарская миссия Кирилла была в девятом столетии: в 861 году.

— Тот, кто знает истинный путь, может идти и в обход! — заметил на это Муавия.— Нас интересуют не даты, а то, были ли у Халеви, который жил позже Кирилла, под рукой его «Хазарские проповеди», когда он писал свою книгу о хазарах. И использовал ли он их в этой книге, там, где он приводит слова христианского участника хазарской полемики. Скажу сразу, в словах христианского мудреца у Халеви есть несомненные совпадения с теми аргументами Кирилла, которые дошли до нас. Мне известно, что вы переводили на английский житие Кирилла, и, конечно, вы сможете без труда узнать отдельные фрагменты. Послушайте меня и скажите, чей, например, это текст, в котором говорится о том, что человек занимает место посередине между ангелами и животными...

Разумеется, я тут же вспомнила это место и привела его наизусть:

— «Бог, создавший свет, создал человека между ангелом и животным, речью и разумом отделив его от животных, а гневом и похотью от ангелов, и через эти свойства он и приближается или к высшим или к низшим». Это,— заметила я, цитируя текст,— часть жития об агарянской миссии Кирилла.

— Совершенно верно, но точно то же мы встречаем и в пятой части книги Халеви, где он полемизирует с Философом. Есть и другие совпадения. Самое же важное то, что в самой речи, которую в хазарской полемике Халеви приписывает христианскому ученому, рассматриваются вопросы, которые Кирилл, как видно из жития, обсуждал во время полемики. В обоих текстах говорится о Святой Троице и законах, существовавших до Моисея, о запретах на некоторые виды мяса и, наконец, о врачах, которые лечат противно тому, как нужно. Приводится тот же аргумент, что душа сильнее всего тогда, когда тело самое слабое (около пятидесятого года жизни) и т. д. Наконец, хазарский каган упрекает арабского и еврейского участников полемики — все это согласно Халеви,— что их книги откровений (Коран и Тора) написаны на языках, ничего не значащих для хазар, индусов и других народов, которые их не понимают. Это один из существенных аргументов, который приводится и в житии Кирилла, когда речь идет о борьбе против сторонников трехъязычия (то есть тех, кто считал языками богослужения только греческий, древнееврейский и латинский), так что ясно, что в этом вопросе каган был под влиянием христианского участника полемики и выдвигал доводы, о которых мы и от другой стороны знаем, что они принадлежат действительно Кириллу. Халеви это только пересказал.

Наконец, нужно обратить внимание еще на две вещи. Во-первых, мы не знаем всего, что содержалось в потерянных «Хазарских проповедях» Константина Солунского (Кирилла), и не знаем, что из этого передано в тексте Халеви. Значит, можно предположить, что такого материала имеется больше, чем я здесь привел. Второе: целостность текста Халеви, именно в той его части, которая относится к христианскому участнику полемики, серьезно нарушена. Эта часть не сохранилась в арабском источнике, она имеется только в появившемся позже еврейском переводе, в то время как напечатанные издания Халеви, особенно те, которые относятся к XVI веку, подвергались, как известно, цензуре христианской церкви.

Короче говоря, книга Халеви о хазарах донесла до нас, хотя мы сегодня не знаем, в каком объеме, часть «Хазарской проповеди» Кирилла. Впрочем, здесь, в Царьграде,— закончил д-р Муавия,— в нашей конференции будет участвовать и некий д-р Исайло Сук, который хорошо говорит по-арабски и занимается исламскими источниками о хазарской полемике. Он мне сказал, что у него имеется хазарский словарь XVII века, который издал некий Даубманус, и что из этого словаря видно, что Халеви использовал «Хазарские проповеди» Кирилла. Я пришел попросить вас поговорить с д-ром Суком. Со мной он говорить вряд ли станет. Его интересуют только арабы, жившие тысячу лет назад или раньше. Для остальных у него нет времени. Не поможете ли вы мне познакомиться с д-ром Суком и прояснить эту проблему...

Так закончил свой рассказ д-р Абу Кабир Муавия, и в моем мозгу мгновенно связались все нити. Когда забываешь, в каком направлении истекает время, определить это помогает любовь. Из нее время всегда вытекает. Спустя столько лет опять охватила меня твоя проклятая страсть к науке, и я предала Исаака. Вместо того чтобы стрелять, я побежала искать д-ра Сука, оставив свои бумаги и под ними оружие. У входа не было никого из прислуги, на кухне кто-то обмакивал кусок хлеба в огонь и ел его. Я увидела Ван дер Спака, который выходил из комнаты, и поняла, что это комната д-ра Сука. Я постучала, но никто не отозвался. Где-то у меня за спиной часто капали шаги, а между ними я чувствовала жар женского тела. Я постучала опять, и тогда от

моего стука дверь слегка приоткрылась. Она не была закрыта на ключ. Сначала я увидела только ночной столик и на нем блюдечко, в котором лежали яйцо и ключ. Открыв дверь шире, я вскрикнула. Д-р Сук лежал в постели, задушенный подушкой. Он лежал закусив усы, будто спеша навстречу ветру. Я с криком бросилась бежать, и тут из сада послышался выстрел. Выстрел был один, но я слышала его каждым ухом отдельно. Я сразу же узнала звук своего револьвера. Влетев в сад, я увидела, что д-р Муавия лежит на дорожке с размозженной головой... За соседним столом ребенок в перчатках пил свой шоколад, будто ничего не произошло... Больше никого в саду не было.

Меня сразу же арестовали. Смит-Вессон, на котором найдены только мои отпечатки пальцев, приложен в качестве улики, и меня обвиняют в преднамеренном убийстве д-ра Абу Кабира Муавии. Это письмо я пишу тебе из следственной тюрьмы и все еще ничего не могу понять. Источник сладкой воды в устах своих ношу и меч обоюдоострый... Кто убил д-ра Муавию? Представляешь, обвинение гласит: еврейка убила араба из мести! Весь исламский интернационал, вся египетская и турецкая общественность восстанут против меня. «Поразит перед тобою Господь врагов твоих, восстающих против тебя; одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя». Как доказать, что ты не сделал того, что действительно собирался сделать? Нужно найти жестокую ложь, ложь страшную и сильную, как отец дождя, чтобы доказать истину. Рога вместо глаз нужны тому, кто хочет выдумать такую ложь. Если найду ее, останусь жить и заберу тебя из Кракова к себе в Израиль, опять вернусь к наукам нашей молодости. Спасет нас наша мнимая жертва — так говорил один из двух наших отцов... Как тяжело выдержать милость Его, а тем более гнев.

ИЗ ЭПИЛОГА

Стамбул, 18 октября 1982

Вирджиния Атех, официантка в ресторане отеля «Кингстон», свидетель по делу госпожи Дороты Шульц, сделала на суде следующее заявление:

«В тот день, 2 октября 1982 года, погода была солнечной. Я чувствовала сильное волнение. Струи соленого воздуха тянулись с Босфора, и вместе с ними, извиваясь, как змеи, в медленные мысли проникали быстрые мысли. Сад отеля «Кингстон», где в хорошую погоду накрывают столы, имеет четырехугольную форму. Один угол солнечный, в другом — есть немного плодородной земли с цветами, в третьем — всегда ветрено, а в четвертом углу находится каменный колодец и рядом с ним столб. Я обычно стою за этим столбом, потому что знаю, что гости не любят, чтобы на них смотрели, когда они едят. Это и неудивительно. Я, например, стоит мне только посмотреть, как гость завтракает, знаю сразу, что яйцо всмятку нужно ему для того, чтобы перед обедом сходить выкупаться, рыба — для того, чтобы вечером прогуляться до Топчисарая, а стакан вина даст ему энергию для улыбки перед сном, улыбки, которая не достигнет близоруких гостиничных зеркал. С этого места возле колодца видна и лестница, ведущая в сад, так что всегда знаешь, кто приходит, кто уходит. Есть здесь и еще одно преимущество. Так же как вода из всех ближайших водосточных труб сливается в колодец, в него стекают и все голоса из сада, и если приблизить ухо к отверстию колодца, можно совершенно ясно слышать каждое слово, произнесенное в саду. Слышно даже, как птица клювом схватила мошку и как треснула скорлупа на вареном яйце, можно различить, как перекликаются вилки, все одинаковыми голосами, и бокалы — каждый своим. Из разговоров гостей всегда ясно, зачем они собираются позвать официанта, и я всегда могу удовлетворить их желания еще до того, как они мне их выскажут, ведь я все слышу через колодец. А знать что-то хоть и на несколько мгновений раньше других — это большое преимущество и всегда приносит пользу. В то утро первыми в сад спустились гости из номера 18, семья Ван дер Спак, бельгийцы, отец, мать и сын. Отец уже в годах, прекрасно играет на каком-то инструменте, сделанном из панциря белой черепахи, по вечерам из их номера часто была слышна музыка. Он немного странный и всегда ест собственной вилкой с двумя зубцами, которую носит в кармане. Мать — молодая, красивая женщина, по этой причине я ее более пристально рассматривала. Вот почему я заметила и один недостаток в ее внешности — у нее была только одна ноздря. Каждый день она отправлялась в Ай-Софию и там делала прекрасные копии настенной живописи. Я спросила, не служат ли ее картины нотными записями песен мужа, но она меня не поняла. Ее сын, ребенок лет трех-четырех, тоже,

вероятно, имел какой-то физический недостаток. Он всегда был в перчатках, даже когда ел. Но меня встревожило другое. В то утро, при ярком солнечном свете, я смотрела, как бельгиец спускался на завтрак по той самой лестнице, о которой я уже говорила. И я увидела следующее: лицо пожилого господина было не таким, как другие лица.

Судья: Что вы имеете в виду?

Свидетель: Соедините две левые половины одного и того же лица на фотографии, и из красивого человека получится монстр. Удвойте половину души — и вы получите не одну душу, а две изуродованные половины души. И у души, так же как и у лица, есть своя правая и левая стороны. Нельзя с помощью двух левых ног получить двуногого. У пожилого господина было две левые половины лица.

Судья: И это было причиной вашего беспокойства в то утро?

Свидетель: Да.

Судья: Я предупреждаю свидетеля, что он должен заботиться о правдивости своих показаний. Что же случилось дальше?

Свидетель: Я обслужила семью Ван дер Спак, сказав им, что перец и соль не следует брать одной рукой, и они, позавтракав, ушли, но мальчик остался поиграть в саду и выпить шоколад. Затем в сад спустилась д-р Дорота Шульц, присутствующая здесь, и села за свой стол. Прежде чем я успела ее обслужить, к ее столу подошел теперь уже убитый д-р Муавия и сел рядом с ней. Было ясно видно, что ее время льется, как дождь, а его падает, как снег. Он был уже весь засыпан, по горло. Я заметила, что он был без галстука и что она тайком вынула из сумки револьвер, однако, обменявшись с доктором Муавией несколькими фразами, она протянула руку, и он дал ей связку бумаг. Потом она взбежала по лестнице к комнатам, оставив оружие под бумагами, на столе. Все это взволновало меня еще сильнее. У доктора Муавии была детская улыбка, плененная бородой, как жучок — янтарем, и освещенная зеленью грустных глаз. Как будто привлеченный этой улыбкой, к столу доктора Муавии подошел мальчик из бельгийской семьи. Я напоминаю суду, что ребенку шел всего четвертый год. В саду больше никого не было. Мальчик был, как всегда, в перчатках, и доктор Муавия спросил его, почему он их не снимет.

— Потому что мне здесь противно,— ответил мальчик.

— Противно? — спросил доктор Муавия.— Что?

— Вся ваша демократия! — сказал мальчик слово в слово.

Тогда я подвинулась еще ближе к колодцу и стала вслушиваться в разговор, который казался мне все более странным.

— Какая демократия?

— Такая, которую защищаешь ты и тебе подобные. Посмотри, каковы результаты этой демократии — раньше большие народы угнетали малые. Теперь наоборот. От имени демократии малые народы терроризируют большие. Посмотри, что делается в мире: белая Америка боится негров, негры — пуэрториканцев, евреи — палестинцев, арабы — евреев, сербы — албанцев, китайцы боятся вьетнамцев, англичане — ирландцев. Маленькие рыбы отгрызают уши большим рыбам. Теперь терроризированы не меньшинства, демократия ввела новую моду, и под гнетом оказалось большинство населения этой планеты... Ваша демократия — это просто фигня...

Судья: Я напоминаю свидетелю, чтобы он воздерживался от ложных показаний. Суд приговаривает вас к денежному штрафу. Вы под присягой утверждаете, что все это говорил ребенок, которому еще не было и четырех лет?

Свидетель: Да, утверждаю, потому что я слышала своими ушами. Мне захотелось увидеть то, что я слышу, и я подвинулась, так что смогла из-за столба наблюдать за тем, что происходит в саду. Ребенок схватил со стола револьвер госпожи Шульц, расставил ноги, слегка согнул их в коленях и, целясь двумя руками, как профессионал, крикнул доктору Муавии:

— Открой пошире рот, чтобы я не испортил тебе зубы!

Ошеломленный доктор Муавия действительно открыл рот, ребенок выстрелил. Я думала, что это игрушечный пистолет, но доктор Муавия упал навзничь вместе со стулом. Кровь ударила струей, и тогда я увидела, что одна брючина доктора Муавии уже запачкана грязью — одной ногой он уже был в могиле. Ребенок бросил оружие, подошел к своему столу и стал дальше пить шоколад. Доктор Муавия лежал неподвижно, и струя крови завязалась у него под подбородком, как узел. Тогда я подумала: вот, сейчас у тебя есть галстук... Тут послышался крик госпожи Шульц. Все, что случилось после этого, всем известно. Констатирована смерть доктора Муавии, тело его увезли, а госпожа Шульц заявила о смерти другого гостя нашего отеля, доктора Исайло Сука.

Обвинитель: «Тогда я подумала: вот сейчас у тебя есть галстук». Я хочу перед судом выразить мое глубочайшее негодование тем, как даются показания свидетелем. А кто вы по национальности, мадемуазель или мадам Атех?

Свидетель: Это трудно объяснить.

Обвинитель: Постарайтесь, будьте добры.

Свидетель: Я хазарка.

Обвинитель: Как вы сказали? Я не слышал о таком народе. Какой у вас паспорт? Хазарский?

Свидетель: Нет, израильский.

Обвинитель: Прекрасно. Это-то я и хотел услышать. Как же так — хазарка и с израильским паспортом? Вы изменили вашему народу?

Свидетель (смеется): Нет, скорее наоборот. Хазары переродились в евреев, и я вместе с другими приняла иудаизм и получила израильский паспорт. Что мне делать одной на свете? Если бы все арабы стали евреями, разве вы остались бы арабом?

Обвинитель: Комментарии не требуются, кроме того, вопросы здесь задаете не вы. Ваши показания вымышлены, для того чтобы помочь обвиняемой, вашей соотечественнице. У меня больше нет вопросов. Надеюсь, что и у присяжных...»

После этого суд заслушал семью Ван дер Спак из Бельгии. Они единодушно подчеркивали три вещи. Во-первых, рассказ о том, что убийство якобы совершил трехлетний ребенок, лишено всякого смысла. Во-вторых, следствием установлено, что доктор Муавия убит из оружия, на котором найдены отпечатки пальцев одного человека — госпожи Дороты Шульц. Следствием также установлено, что упомянутое оружие (марки Смит-Вессон, модель 36, калибр 38), из которого был убит доктор Муавия, принадлежало госпоже Шульц. В-третьих, госпожа Спак, главный свидетель обвинения, утверждала, что госпожа Шульц имела причины для убийства доктора Муавии, что она приехала в Стамбул убить доктора Муавию и что она его и убила. В частности, в ходе следствия было установлено, что доктор Муавия во время египетско-израильской войны тяжело ранил супруга госпожи Дороты Шульц. Причины, таким образом, ясны. Убийство из мести. Свидетельства официантки ресторана отеля «Кингстон» не могут быть приняты во внимание как недостоверные. На этом дело было закончено.

На основе приведенных материалов обвинитель потребовал предъявить Дороте Шульц обвинение в предумышленном убийстве, имеющем к тому же политические мотивы. Тогда перед судом предстала обвиняемая. Госпожа Шульц сделала очень короткое заявление. Она не виновата в смерти доктора Муавии. И это утверждение она может подтвердить. У нее есть алиби. На вопрос суда, что это за алиби, она ответила:

— В тот момент, когда был убит доктор Муавия, я убила другого человека — доктора Исайло Сука. Я задушила его подушкой в его комнате.

Следствием было установлено, что господина Ван дер Спака в то утро тоже видели в комнате доктора Сука в тот момент, когда наступила смерть, однако признание госпожи Шульц сняло с бельгийца все обвинения.

Судебный процесс закончился, приговор вынесен. С госпожи Шульц снято обвинение в том, что она преднамеренно, из мести совершила убийство доктора Абу Кабира Муавии. Она осуждена за убийство доктора Исайло Сука. Убийство доктора Муавии осталось нераскрытым. Семья Ван дер Спак освобождена. Официантка ресторана гостиницы «Кингстон» Вирджиния Атех приговорена к денежному штрафу за попытку ввести суд в заблуждение и направить следствие по ложному пути.

Госпожа Дорота Шульц отправлена отбывать наказание в стамбульскую тюрьму сроком на шесть лет. Она пишет письма, адресуя их на собственное имя, в Краков. Все ее письма просматривают. Они всегда заканчиваются непонятной фразой: «Наша мнимая жертва спасла нас от смерти».

Во время осмотра комнаты доктора Сука не обнаружено никаких книг или бумаг. Найдено яйцо, разбитое с тупого конца. Пальцы убитого запачканы желтком; значит, последнее, что он делал в жизни,— разбивал яйцо. Найден и необычный ключ с золотой головкой, который, как ни странно, подошел к замку одной из комнат для обслуживающего персонала отеля «Кингстон». Это комната официантки Вирджинии Атех.

На столе семейства Ван дер Спак найден приложенный к следственному материалу счет, выписанный на обороте фирменного бланка отеля. Вот он:

1689+293=1982.

ДАВИД АВИДАН

Перевод с иврита САВЕЛИЯ ГРИНБЕРГА

Хотя поэзия на языке иврит насчитывает около трех тысяч лет — от Песни моря в книге Исхода, через псалмы и пророчества, средневековую испанскую лирику и до наших дней,— новая ивритская поэзия, созданная в Палестине и Израиле в нашем веке, большему научилась от русской поэзии, чем от древней и средневековой ивритской поэзии. Это верно даже в отношении поэтов «ханаанейской школы», обращавшихся, как Ратош, к древним ханаанским корням иврита. Они идеологически были местным эквивалентом славянофилов (хорошо, если не Тредиаковского и Шишкова), а поэтика и у них была «западная», то есть восточноевропейская, и в первую очередь русская.

Причина этой зависимости понятна — многие ивритские поэты нашего века родились и воспитывались в России и вне зависимости от их симпатий и антипатий (а я не хочу убеждать читателя, что были одни симпатии) другой поэзии не знали. Национальная поэтесса Израиля Рахель писала свои первые стихи по-русски и сама переводила их на иврит. Даже классические переводы «Дон Кихота» и «Тиля Уленшпигеля» на иврит были сделаны Бяликом и Шленским с русского перевода. Поэтика Бялика, с которой уже имели возможность познакомиться читатели «ИЛ», и вовсе представляется «русской», почти переводной. Александр Пэнн, красавец, поэт, коммунист, первый любовник подмандатной еврейской Палестины, не только переводил, но и копировал в жизни Маяковского, правда предпочитая красную рубаху желтой блузе.

Давид Авидан, наш современник, сверстник Вознесенского, родился уже на берегах Средиземного моря, но и его стихи, и поэтическая личность вполне понятны русскому читателю. Он несколько напоминает футуристов: увлекается неологизмами, техникой (его первый сборник назывался «Обрубленногубые краны»).

Из-за «русского влияния» переводы Авидана на русский, сделанные Савелием Гринбергом, кажутся подлинниками. Гринберг, специалист по Маяковскому и бывший сотрудник музея Маяковского, поэт и выглядит как поэт — красивый, высокий, старый, с длинными седыми волосами, он ходит по Иерусалиму и охотно читает свои стихи встречным русским эмигрантам. Гринбергу и Авидану повезло друг с другом: они работали на одной волне — русского авангарда — и до творческой встречи. Гринберг пишет о поэзии Авидана: «Это лингводраматизированное времяпроникновение», что звучит по-бурлюковски.

Я не ношу часов из-за того,
что суставы моей левой руки, обраслетенной
часами, напоминают мне
собаку в ошейнике. Гораздо проще
спросить, который час, и это
достаточно хороший повод для определенных
межчеловеческих контактов
в этом мире, чужом и угрожающем.

В общем, хорошие стихи.

Вот что пишет Гринберг о лирическом стихотворении «Разговоры»: «Композиция перечисления разговоров с повторами и нарастаниями — накаты прозаизированных ритмических волн,— драматургия повседневного, личностного трансформируется в нарастающее ощущение драматизма времени, драматизма социального».

В публикации Авидана по-русски в России есть что-то глубоко символическое — как бы возврат блудного сына к отеческим пенатам.

А может, я преувеличиваю, поддавшись интонации переводчика. Ведь профессор Макс Билен из Тель-Авивского университета ведет родословную Авидана от французского сюрреализма, а крупнейший концептуалист Израиля профессор Гавриэль Мокед считает, что «в творчестве Авидана, как в фокусе, сконцентрированы новаторские семантические процессы, идущие в израильской поэзии».

ИСРАЭЛЬ ШАМИР

© 1976 by David Avidan.

Разговоры

ты говорила со мной о любви а я говорил с тобой о деньгах
я говорил с тобой о деньгах а ты говорила со мной о доверии
я говорил с тобой о доверии а ты говорила со мной о ребенке
я говорил с тобой о ребенке а ты говорила со мной о любви
я говорил с тобой о любви а ты говорила со мной о сексе
я говорил с тобой о сексе а ты говорила со мной о достоинстве

я говорил с тобой о достоинстве а ты говорила о своей маме
я говорил с тобой о литературе а ты говорила о своем отрочестве
я говорил о своем детстве и ты говорила со мной о ребенке
я говорил с тобой о ребенке а ты говорила со мной о доверии
я говорил с тобой о доверии а ты говорила со мной о сексе

я говорил с тобой насчет секса а ты говорила о кинематографе
я говорил с тобой о кинематографе а ты говорила со мной о заграннце
я говорил с тобой о заграннце а ты говорила про своего деда
я говорил про своего деда а ты говорила о своей бабушке

я говорил с тобой о себе а ты говорила со мной о музыке
я говорил с тобой о музыке а ты говорила со мной про живопись
я говорил с тобой о живописи а ты говорила со мной о моде
я говорил с тобой о моде и ты говорила о кинематографе
я говорил с тобой о кинематографе а ты говорила со мной о ребенке

я говорил с тобой о беременности а ты говорила со мной о таблетках
я говорил с тобой о таблетках а ты говорила со мной о сексе
я говорил с тобой о сексе а ты говорила со мной о красоте
я говорил с тобой о красоте а ты говорила со мной о косметике

я говорил с тобой о косметике а ты говорила со мной о себе
я говорил с тобой о тебе а ты разговаривала со мной затрудненно
ты разговаривала со мной затрудненно а я непринужденно говорил
с тобой
я разговаривал с тобой непринужденно а ты говорила со мной негромко

я с тобой разговаривал тихо а ты пошла принимать душ
я пошел принимать душ а ты пошла поставить пластинку
я пошел почитать газету а ты уселась решать кроссворд
я поднялся в квартиру наверх а ты вошла в квартиру напротив
я позвонил в квартиру напротив и сошел по лестнице вниз

я из ящика вынул почту и поднялся в квартиру наверх
я прозуммерил тебе по телефону а ты прозуммерила мне в ответ
я включил телефонный коммуникатор и набрал к самому себе
ты просигналила мне по телефону а я просигналил обратно к тебе

я говорил с тобой о тебе а ты говорила с собой обо мне
я говорил с собой о завтрашнем а ты говорила с собой о вчерашнем
я говорил с собой про Нью-Йорк а ты говорила с собой про
Франкфурт

я ждал себя минуты а ты ждала себя года
я ждал себя года а ты ждала себя месяц
я ждал себя месяц а ты ждала себя вечер
я ждал себя вечер а ты ждала себя ночь

а теперь я подытоживаю но теперь не подытоживаешь ты
а теперь вот и ты подытоживаешь но теперь не подытоживаю я
а теперь вот я складываю а теперь вычитаешь ты
а теперь вот я вычитаю а теперь не складываешь ты

разыщи ты меня сегодня а мне разыскивать завтра тебя
тебе разыскивать завтра меня а я разыщу тебя послезавтра
я искал тебя вчера потому что ты искала меня накануне

а между тем я двигаюсь а между тем не двигаешься ты
а покамест ты двинешься а покамест я возвращусь
а покамест ты вернешься а покамест я выхожу
между тем я возвращаюсь между тем остаешься ты

я говорил с тобой о разговорах а ты говорила со мной о фактах
я говорил с тобой о фактах а ты говорила со мной о толкованиях
я говорил с тобой о толкованиях а ты говорила со мной о любви

я говорил с тобой о любви а ты говорила со мной по поводу лета
я говорил по поводу лета а ты говорила со мной о времени
я говорил с тобой о времени а ты говорила со мной все время
я говорил с тобой все время а ты говорила со мной о вечере
я говорил с тобой о вечере а ты вошла в квартиру напротив

а теперь вот я прерываю а теперь прерываешь ты
а теперь я соединяюсь а теперь соединяешься и ты
подожди меня на улице в полночь и я приду точняком в полночь
подожди меня на улице в десять и я приду точняком в десять
купи на первый сеанс и мы пойдем на первый сеанс
если есть сеанс дневной мы пойдем на сеанс дневной

а теперь я завершаю до завтра до вечера и до утра
а теперь на этом все у меня а теперь на этом все у тебя
я говорил с тобой об окончании а ты говорила со мной о себе
я говорил с тобой о себе а ты говорила со мной о ребенке

я говорил с тобой о любви а ты говорила со мной о деньгах
ты говорила со мной о деньгах а я говорил с тобой о доверии
ты говорила со мной о доверии а я говорил с тобой о ребенке
ты говорила со мной о ребенке а я говорил с тобой о личностном
ты говорила со мной о любви а я говорил с тобой о приватности
ты говорила со мной о приватности а я говорил с тобой насчет секса

мы ждали себя минуты мы ждали себя года
а теперь вот мы вычитаем а теперь вот складываем мы
а покамест мы выходим покамест возвращаемся мы
мы искали себя сегодня чтобы завтра искать себя

этот словопоток прекратят когда словопоток прекратят
прекратят этот словопоток если словопоток вновь продлят
а продлят этот словопоток когда словопоток прекратят

до сих пор это дело само а от сих это темы иные
до сих пор это темы иные а от сих это дело само
и от сих эту тему начнут и открыв эту тему введут
и до сих продолженье продлят и продленье тему прервет

Садосемантицизм

Глупо меня обвинять в садизме

Все что я стремлюсь совершить
это уточнение в словах до боли

Причиняя боль даже самому уточнению

Уточняя в болении без компромиссов
на полу-боль полу-точность

Приятноболевое пюре с приправами из цвето-специй

Минимум счастья для сохраняемости толпообщества
в его состоянии минимализма сохраняемого чересчур

А посему услаждать
по субботам и праздникам
и уточнять в услаждении
вплоть до его нейтрализации

Утром-в-начале-недели
начинать заново

Вестерн

В полях прожатых
ты пал в пальбе
как пес На жатвах
Тут смерть тебе
Кость в сердце вмята
и кровь с краев
На ритмах мята
и вспень валов
Чредой бравада
и взрывы вновь
Так весь избыток
сойдет в конец
на взрывах взмытых
в разрыв сердец
Здесь нет ни в щепоть
чрезмерных снов
Намек на копоть
огонь боев
На свет что в дрожи
прет в темноту
Ты стянут кожей
на смуть на ту
И снегом талым
и тишью глыб
и там на далях
тот кто погиб
Кто в постоянных
в знак перемен
в неделях данных
взамер взамен
на неизбежность
давлению вслед
в протяжность-смежность
в засадах лет
где мы засядем
и в град и в весь
себя засадим
в оседлость здесь
На взрывах взмытых
В прибой В разгар
И горечь в ритмах
и пенный жар

Быть подобным быть другим

Человек рожден, чтобы
быть похожим, и вырастает,
чтобы отличаться. До определенного возраста

он старается быть подобным — надевать
тежесамые брюки, насвистывать
темжесамым посвистом, восхищаться
темижесамыми героями, что так похожи эти
на не-этих. Затем
он учится быть непохожим вплоть до того, что он
решает превратиться в незаурядного и уподобляется
непохожим, отличающимся.
Приходит день, когда он начинает выделяться также
и среди отличающихся, и тогда он вдруг уверяется,
что он должен уподобиться богам. Но боги,
к его невезению и к невезению их самих, любят отличаться
не меньше, если не больше, от сынов человека,
а потому он должен,
за неимением выбора, стать отличным от богов, что отличаются
от людей, отличающихся от него. Если б дано было
быть отличающимся от богов, не уподобляясь сынам человека, и/или
уподобиться богам, не отличаясь
от людей,— тогда дано было бы
открыть и замкнуть это отличающееся стихотворение
совершенно по-другому.

Прояснение терминологии

Поговорим откровенно:
сумасшествие — потеря юмора.

Юмор расхаживает по коридору словно тюремный стражник
после того как заключенные сами себя заключили и выбросили
ключи наружу

Смех и свобода?
Да ты смешишь меня.

Нету свободы смеха —
нету подобных вещей.

Нету такой ситуации, когда была бы действительно свобода смеха.

Так вот,
поскольку совершенно не существует положений, способных вместить
смех в полном объеме,—

ведь

смех-в-его-полноте:

может вместить все — большинство — положений,

может существовать вне положений,

может осуществляться вопреки положениям.

Можно с ума сойти от этого.

*Концепц**

Фрагмент

Древнее проклятие

Я уже утверждал по различным поводам (а чего я не утверждал по различным поводам), что непременное документирование отдельных компонентов мышления — проклятие для людей творческой работы. На определенной ступени выяснилось, что художники-концептуалисты развивали сходные формы менталитета. Они отошли от материального объекта и продвинулись на два-три шага к более духовным — и, возможно, к более энергическим — возбудителям документации нереализуемых стремлений, и таким путем приблизились к традиционной литературе значительно далее красной черты, оттого что освобождение из плена-форм бросило их в западню-формулирования.

Я высказываю это утверждение, будучи не более и не менее чем предприятием, производящим формулировочные-западни.

Данный литературный текст — один из видов этой продукции.

Документирование уклонения от документации все еще остается документированием,— и если судить по уровню формулирования большинства мастеров-концептуалистов — оно покамест ближе к ручной выделке форм, чем к электронной документации.

Концепц декларативно отказывается от какого-либо документирования, а потому в данной текстовой-работе отсутствует какое-бы-то-ни-было документирующее действие.
Это — антидокументарий (недокументарий), сопровождаемый правилами пользования, лишенными всякой апологетики; в возможных пределах, в них, видимо, меньше апологетики, чем в любом разъяснительном этикетаже к продаваемым лекарствам.
По существу, данная текстовка — применяя грубое сравнение — свод пояснений к несуществующему снадобью, квиток с указаниями, приложенный к пустой бутылке.

Единственный путь, чтобы вырваться из медвежьих объятий языка-фигуративности, это — массирование его изнутри, по возможности круговыми движениями, в направлении кровеносных сосудов и центральной нервной системы.

Процесс высвобождения из оков языка-фигуративности покамест еще особый вид садоводства. Трудно обуздать ползучее растение без того, чтобы на него взобралась иная поросль. Но трудное не комментируется как невозможное.

---

* Термин Давида Авидана *(прим. перев.)*.

СЬЮ ТАУНСЕНД

Ковентри возрождается

ПОВЕСТЬ О ДВУХ ГОРОДАХ

Перевод с английского И. СТАМ

Посвящается Джефри Страчану — он знает почему

1. ВЧЕРА Я УБИЛА ЧЕЛОВЕКА

Есть два обстоятельства, о которых я должна сразу же вам сообщить: во-первых, я очень красива, во-вторых, я вчера убила человека по имени Джеральд Фокс. И то, и другое — игра случая. Родители мои некрасивы. Отец похож на теннисный мяч, лысый и круглый, а мать имеет невероятное сходство с пилой для хлеба — тоже тонкая, зубастая, а язык — как бритва. Я никогда их особенно не любила, подозреваю, что они меня тоже.

А Джеральда Фокса я не настолько любила или ненавидела, чтобы его убивать.

Зато я люблю своего брата Сидни и знаю, что он меня тоже любит. Мы вместе смеемся над Теннисным Мячом и Хлебной Пилой. Сидни женат на унылой женщине по имени Руфь. Прежде чем заговорить, Руфь вздыхает, а сказав, что хотела, вздыхает снова. Вздохи у нее вместо знаков препинания. Сидни от жены просто голову потерял; ее меланхоличность очень возбуждает его. Детей у них нет, да они их и не хотят. Руфь говорит, что жизнь слишком уж пугает ее, а Сидни не хочет ни с кем делить перепуганную Руфь. Если погода жаркая, они занимаются любовью семь раз в неделю, а то и чаще, а когда уезжают за границу, то редко выходят из номера в гостинице. О своей семейной жизни Сидни рассказывает мне почти все, проявляя при этом необыкновенную стыдливость, как только речь заходит о деньгах. «Нет, нет, не надо об этом»,— с содроганием говорит он, наотрез отказываясь обсуждать финансовые вопросы.

Он тоже живет в городе, где мы оба родились, и работает управляющим в магазине электротоваров; он большой мастер навязывать фотоаппараты, проигрыватели компакт-дисков и портативные цветные телевизоры людям, которым все это не по карману. Работа у Сидни ладится, потому что он, как и я, красив. У него такая улыбка, что покупатели не в силах устоять. Их завораживает глубина его темно-карих глаз и пушистость его длинных ресниц. Подписывая кредитное обязательство, они любуются его руками. Когда он говорит, что тот предмет длительного пользования, который им так нужен и который они только что оплатили, будет доставлен лишь недели через две, они пропускают это мимо ушей. Забыв обо всем на свете, они внимают его берущему за душу, вкрадчивому голосу с пленительной хрипотцой. Из магазина они уходят ошеломленные. Одна женщина все махала Сидни рукой, пятясь к дверям, и в конце концов угодила прямиком на багажник мотоцикла; тот провез ее ярдов пятнадцать, а потом сбросил в кювет. Все, кто был в магазине, выбежали ей на помощь, но только не Сидни: он остался охранять выручку.

У Сидни очень холодное сердце. Сам он никогда не страдал, и его раздражают страдания других людей. Он отказался смотреть новости по телевизору «с тех пор, как там без конца стали показывать этих проклятых голодающих». Однажды я спросила у него, чего бы ему в жизни хотелось. «Ничего,— ответил он,— у меня уже есть все». Ему тогда было тридцать два. Я спросила: «Но что же ты будешь делать дальше, в оставшиеся до смерти годы?» Он засмеялся и сказал: «Зарабатывать деньги, да побольше, и покупать на них вещи, да побольше». Мой брат невыносимо практичен.

© Sue Townsend 1988

Он не знает, что вчера я убила человека. Сейчас он отдыхает на вилле в Португалии, в провинции Алгарви, и не подходит к телефону.

Сидни — единственный в мире человек, который не будет шокирован тем, что меня ищет полиция. Мой брат — человек отнюдь не строгих правил, и я почти рада этому: такие люди — большое утешение в трудные минуты.

У меня необычное имя: Ковентри. В день, когда я родилась, мой отец как раз был в Ковентри. Он привез грузовик песку к месту бомбежки. «Слава Богу, что его не послали в какой-нибудь Гигглзуик»,— повторяла моя мать не меньше трех раз в неделю. Ничего более похожего на шутку она не сказала за всю свою жизнь.

Сидни тоже назвали в честь города: отец увидел в журнале «Всякая всячина» фотографию моста через сиднейскую гавань и влюбился в него. Он знал и его вес, и длину, и даже как часто его красят.

Когда я подросла, я долго ломала голову: с чего это он нас так окрестил? Глядя на отца холодными глазами подростка, я видела, что он одуряюще скучен и начисто лишен фантазии.

Само собой, мы с Сидни всегда ненавидели свои имена. Я мечтала о каком-нибудь бесцветном имени — вроде Пат, Сьюзен или Энн, а Сидни хотел, чтобы его звали Стив. Впрочем, каждый мужчина, из тех, кого я знаю, всегда хотел, чтобы его звали Стив.

Так вот. У меня необыкновенное лицо, тело и имя, но, к несчастью, я вполне обыкновенная женщина, без каких-либо заметных талантов, без влиятельных родственников, без дипломов, без какого бы то ни было опыта работы и без собственных средств. Вчера у меня был муж и двое детей-подростков. Сегодня я одна, я в Лондоне, я спасаюсь бегством, и у меня *нет с собой сумочки.*

2. ВЕЧЕР В ПИВНОМ БАРЕ

Они давно сидели в пивном баре, Ковентри Дейкин и ее подруги. Дело происходило в понедельник вечером. Ковентри было совсем невесело. Когда она уходила из дома, ее муж Дерек повысил на нее голос. Сам он направлялся на Ежегодное Пленарное собрание Общества любителей черепах и считал, что Ковентри должна посидеть с детьми.

— Но, Дерек, им уже шестнадцать и семнадцать лет, вполне можно оставить их одних,— прошептала Ковентри.

— А что, если к нам вдруг ворвется шайка хулиганов, изобьет до смерти Джона и изнасилует Мэри? — зашипел Дерек.

Оба они считали, что в присутствии детей спорить нельзя, поэтому ушли препираться в сарай для черепах. Снаружи быстро темнело. Во время последней тирады Дерек сорвал с грядки кустик салата и теперь, аккуратно отщипывая листья, скармливал их своим любимым черепахам. Ковентри слышала, как щелкали друг о друга их панцири, когда они устремились к его руке.

— Но, Дерек, у нас и в помине нет хулиганских шаек,— сказала она.

— Эти бандиты имеют *машины,* Ковентри. Они приезжают из густо населенных кварталов и выбирают богатые дома на окраине.

— Да ведь у нас скромный муниципальный район, Дерек.

— Но мы же собираемся купить собственный дом, так?

— И откуда пяток хулиганов, набившихся в машину, узнает об этом?

— Да по дверям и окнам георгианской эпохи, которыми я заменил прежние. Но если тебе непременно хочется оставить Джона и Мэри одних, без всякой защиты, то, пожалуйста. Иди гуляй со своими вульгарными подружками.

Ковентри не стала защищать подруг, потому что они и впрямь были вульгарны.

— Мне, во всяком случае, претит мысль о том, что ты сидишь в пивной.

Он надулся; в темноте Ковентри видела его выпяченную нижнюю губу.

— А ты *гони* эту мысль. Сосредоточься на своих скользских черепахах.— Она почти кричала.

— Черепахи вовсе не скользкие, и ты бы это знала, если б заставила себя потрогать хоть одну.

Между мужем и женой повисло долгое молчание, нарушавшееся лишь на удивление громким хрустом, который издавали пирующие черепахи. От нечего делать Ко-

вентри принялась читать их имена, которые Дерек каллиграфически вывел светящейся краской на панцире у каждой особи: Руфь, Наоми, Иаков и Иов.

— А разве им еще не пора впадать в спячку? — спросила она у мужа.

Это было больное место. Уже прошло несколько морозных дней, но Дерек все оттягивал горестный миг. По правде говоря, он очень скучал по черепахам в долгие зимние месяцы.

— Предоставь *мне* решить, когда именно им пора впадать в спячку, хорошо? — сказал Дерек. А про себя подумал: «Надо завтра по дороге с работы прихватить соломы».

Дерек волновался за своих любимцев. Очередное катастрофически неудачное лето совсем отбило у них аппетит, подкожного жира почти не осталось, и шансы на то, что они очнутся после долгого зимнего сна, очень сократились. Он попытался было кормить черепах насильно, но перестал, когда у них появились явные признаки душевной угнетенности. Теперь он ежедневно их взвешивал, записывая вес каждой в специальную тетрадь. Он винил себя в том, что раньше не заметил их истощения, хотя как он мог его распознать сквозь толстые панцири, он и сам не знал. У него же не рентгеновский аппарат вместо глаз, правда?

— Ну-с, прошу.— Дерек распахнул перед Ковентри дверку сарая.

Она протиснулась в узкую щель, избегая его касаться, и, ступая по темной влажной траве, где летом резвились черепахи, пошла к дому.

Пивной бар, где сидела Ковентри с подругами, назывался «У Астера». Он был переоборудован заново в стиле голливудской продукции тридцатых годов, когда в кино блистал Фред Астер [1]. Оформитель пивного заведения распорядился снять вывеску «Черная свинья», висевшую над входом, убрал массивные деревянные столы и удобные скамьи. Теперь любителям пива приходилось сгибаться в три погибели над розовыми кофейными столиками с хромированными ободками. Их большие зады, не помещаясь, свисали с крошечных табуретов, обитых розовой синтетикой. В новом виде пивная походила на довоенный голливудский ночной клуб, но ее постоянные посетители упрямо цеплялись за свои простецкие привычки: отвергая все попытки навязать им коктейли, они предпочитали потягивать пиво, пусть даже из высоких стаканов.

Официантов обрядили в костюмы под Фреда Астера, но те прощеголяли в них первую неделю, потом взбунтовались, не в силах больше терпеть неудобства от цилиндров, крахмальных воротничков и фраков, и вновь стали носить свою обычную одежду.

Грета, весившая шестнадцать стоунов [2] и служившая барменшей в «Черной свинье» с тех пор, как окончила школу, отказалась от должности в первый же вечер после открытия обновленной пивной; Грета едва дождалась конца работы.

— Ну и видок у меня был — ни дать ни взять задница в цилиндре,— сказала она уже на улице.

— Это уж точно, Грета,— подтвердил один из завсегдатаев, истосковавшийся по уютному зрелищу ложбинки между грудями в вырезе Гретиного платья.

Дереку понадобилось целых пять минут на то, чтобы устроить Руфь, Наоми, Иакова и Иова на ночь, и еще несколько минут — чтобы запереть окна и дверь сарая на все засовы и замки. Черепахи теперь животные редкие и ценные, кража черепах стала в Англии явлением вполне заурядным. Поэтому Дерек рисковать не желал. Он не представлял, что будет делать, если у него украдут любимый черепаший квартет. Мало того, что он их обожает,— у него не хватило бы средств восстановить поголовье. Когда он вернулся в дом, то обнаружил, что Ковентри его не послушалась и ушла в пивную.

— Мне *необходимо* уйти, извините, но сегодня Ежегодное собрание,— объяснял он равнодушно внимающим детям.— Вы без нас тут управитесь?

— Конечно,— отвечали они.

---

[1] Знаменитый танцор, звезда американской эстрады и кино 30—40-х годов. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Более ста килограммов.

Когда за Дереком захлопнулась дверь георгианской эпохи, дети открыли бутылку отцовского вина, настоянного на цветах бузины, и с бокалами в руках уселись смотреть полупорнографический видик под названием «Грешные тела».

Из-за ссоры с Дереком Ковентри было не по себе. Как назло, в разговоре с подругами возникла какая-то неприятная пауза. Чтобы заполнить ее, она выпалила первое, что пришло в голову:

— Сколько лет было Иисусу, когда он умер?

— Господи помилуй,— проскрежетала Грета голосом на шестьдесят сигарет в день,— я сюда развлечься пришла, а не вести дурацкие дискуссии на религиозные темы!

Ковентри покраснела, затем изо всех сил попыталась перестать краснеть. Она в тот день прочитала, что если думать только о хорошем, то можно заставить тело повиноваться во всем.

— Он не *умер,* его убили,— заметила худая и любящая точность Морин.

— Ему было тридцать три,— сказала Грета неприязненным, предостерегающим тоном. Она защелкнула сумку, всем своим видом показывая, что вопрос закрыт.

Ковентри поглядела на Грету и подумала, что она хулиганка. Она вообразила Гретино огромное мясистое тело не в обычном ее платье из полиэстра, а в шмотках, которые носят бритоголовые бандюги, и эта картина вызвала у нее ухмылку. Волосатый мужчина с баками, прислонившийся спиной к стойке бара, ухмыльнулся в ответ, и Ковентри быстро отвела глаза и притворилась, что ищет что-то в своей сумочке.

Морин хихикнула и сказала:

— Ага... Ков, кажется, подцепила одного. Тот парень в комбинезоне ей уже улыбался.

Грета зажгла сигарету и, выдохнув темный дым, сказала:

— Это Норман Паркер. Жить без карт не может, а более вонючих ног я ни у одного мужика не встречала. Держись от него подальше, Ков.

Все три женщины посмотрели на ноги Нормана Паркера, упрятанные в рабочие башмаки. Заметив их взгляд, Норман крикнул:

— Вот помоюсь, приоденусь — вы меня не узнаете. Сесил Паркинсон [1] мне в подметки не сгодится.

Хозяин, м-р Пател, поднял голову от микроволновой печи, где таинственные лучи разогревали картофельную запеканку с мясом на ужин Норману Паркеру. Он не любил, когда у него в баре повышали голос. Он по опыту знал, что сначала клиенты повышают голос, а потом приходится вызывать полицию и, прихватив выручку, запираться в кладовой.

Джеральд Фокс шумно ввалился с улицы в бар и встал, важно оглядываясь вокруг, будто собрался сообщить, что началась война.

I — Сунь-ка свежую булочку с сосиской в свою печку, Абдул,— заорал он.

Мистер Пател что-то сердито зашептал себе под нос. Он терпеть не мог, когда его называли Абдулом. Почему этот человек не может научиться правильно произносить его имя? Неужели этому косноязычному типу трудно выговорить имя «Парвез»?

— Хотите что-нибудь еще, мистер Фокс? — поинтересовался м-р Пател.

— Что ж, Абдул, я бы не возражал провести ночь с твоей супружницей. Говорят, она у тебя *ого, а?* — Джеральд долго и усердно хохотал. Норман Паркер тоже стал смеяться, чтобы поддержать компанию.

Но м-р Пател не улыбнулся. Когда смех затих, он сказал:

— Вас неверно информировали, мистер Фокс. Вам, вероятно, сказали, что жена моя родом из *Гоа,* она действительно оттуда. Гоа — ее родина; это небольшая территория неподалеку от Индийского океана.

Свисток микроволновой печи отвлек его. Ковентри рассмеялась, захлопала в ладоши и обменялась улыбками с м-ром Пателом. Джеральд обернулся и через плечо крикнул:

— Ба, да это же Ковентри-сиси... пардон, я хочу сказать, Ковентри-сити.

---

[1] Консерватор, член кабинета министров, обвинявшийся в интимной связи с собственной секретаршей.

И снова Норман Паркер вторил хохоту Джеральда. Его рот то закрывался, то открывался, выставляя на всеобщее обозрение куски непрожеванной запеканки. Джеральд повернулся к женщинам спиной и заказал пинту пива.

Морин сказала:

— Может, пойдем куда-нибудь еще, девочки?

— Нет уж, с чего это? — отозвалась Грета.— Мы сюда первые пришли.— И, обращаясь к Джеральду Фоксу, добавила: — Если бы у меня была пасть вроде твоей, я бы ее пожертвовала строителям туннеля под Проливом [1].

Всегда готовый услужить, Норман Паркер засмеялся. Джеральд повернулся к залу, сделал большой глоток пива и сказал с угрозой в голосе:

— Ну, ты, потише, Грета.

Из-за намека на ее бюст Ковентри все еще сидела красная до корней своих натурально светлых волос. Она скрестила руки на груди, это движение она проделывала миллионы раз с тех пор, как двадцать семь лет назад какой-то мальчишка-школьник впервые крикнул на всю улицу: «Ковентри-сиси!»

Норман и Джеральд болтали у стойки бара, плели друг другу всякую несусветицу и похвалялись заработанными деньгами, своей мужской силой и женщинами, которых они покорили. *Джеральд сказал Норману жуткую ложь, будто Ковентри больше года была его любовницей.* Вдобавок он заявил:

— Я встречаюсь с ней по понедельникам, средам и субботам, а в остальное время приходится делать вид, что мы не больно ладим.

Норман сказал:

— Ну, тут она меня провела. Честно говоря, я решил, глядя на нее, что она тебя не переваривает.

Джеральд понизил голос:

— Да она по мне с ума сходит, вечно пристает, чтобы я бросил мою-то, но я только в прошлую среду сказал: Ковентри, говорю, и не проси, ребятишек я не брошу; это меня убьет.

Норман Паркер сочувственно кивал. Два года назад он оставил двоих детей и теперь, размякнув от выпитого, вдруг загоревал о них.

— Я ведь живу напротив нее,— продолжал Джеральд,— а это очень удобно... экономит бензин.

Норман оценил это преимущество; его собственные супружеские измены происходили с девушками из других районов города. У заднего стекла его машины вечно лежало множество бесплатных сувениров, полученных на разных заправках.

Грета встала из-за стола и пошла к стойке. Она следила за тем, как м-р Пател вынул из целлофана булку с сосиской и положил это розовато-коричневое изделие на картонную тарелку, чтобы Джеральд его сожрал. Грете явно не терпелось сказануть что-нибудь этакое, впрочем, она пока не решила, что или кому, она явно собиралась по-своему воспользоваться напряжением, возникшим между группками мужчин и женщин, и разыграть небольшой спектакль. Спектакль для Греты был жизненно необходим, как кислород. Без драматических коллизий жизнь теряла всякий смысл, и Грета бледнела и опадала, словно проколотый воздушный шар. Она была женщина крупная, ей нужны были крупные события. Она чувствовала, что рождена исполнять главную партию в «Травиате», а между тем судьба, по-видимому, обрекла ее на роль рядовой хористки в «Гондольерах» [2]. Она остановила свой выбор на Нормане Паркере.

— Как я понимаю, твоя бывшая жена неплохо устроилась,— сказала она.— Заместитель управляющего в супермаркете «Теско», да?

У Нормана напряглось лицо, пальцы ног в рабочих башмаках похолодели.

— Небось, им трудно приходится, раз *ее* продвигают,— огрызнулся Паркер. Он залпом выпил остаток пива, стараясь спешно что-то придумать, но в голову ничего не лезло. На выручку пришел Джеральд:

— Всем известно, как твоя жена получила повышение.

— А как? — спросил Норман, который и вправду не знал.

— Лежа на спине, ясное дело,— сказал Джеральд ободряюще, стараясь поймать взгляд Нормана, однако Норман смотрел в сторону.

---

[1] Имеется в виду англо-французский проект постройки туннеля под проливом Ла-Манш.

[2] Популярная оперетта прошлого века У. С. Гилберта и А. С. Салливана.

Грета заказала две водки с апельсиновым соком для себя и для Морин и портвейн с лимоном для Ковентри. М-р Пател целиком погрузился в отмеривание напитков, стараясь не привлекать к себе внимания. Он думал: «Я бы убил того, кто посмел бы так оскорблять мою жену, хотя бы и бывшую. Я бы изрубил его на мелкие кусочки и скормил золотым рыбинам, плавающим в красивом бассейне, который шурин соорудил в холле своего ресторана».

Помрачнев, Норман обернулся к Джеральду и спросил:

— А *ты* откуда знаешь?

Джеральд цинично рассмеялся и сказал:

— Да кто этого не знает, Норман. Недаром же она известна под прозвищем Большой Каньон.

Норман не отличался глубокими познаниями в географии, но он почуял в словах Джеральда чудовищное оскорбление и треснул его по плечу.

Палец м-ра Патела уже набирал первую из трех девяток[1]. Ковентри поднялась, чтобы уйти, но Грета усадила ее обратно со словами:

— Допей. Портвейн, знаешь ли, на деревьях не растет.

Ковентри села и подумала: «А вот и *растет* на деревьях... вначале».

Морин, обожавшая борьбу, подбадривала криками Нормана, который колотил Джеральда по плечам. Джеральд пытался укротить задетую гордость Нормана (и уберечь костюм от преждевременного износа), повторяя:

— Я просто пошутил, Норман, просто пошутил.

Но тут Норман саданул его кулаком по шее и тем пресек попытки Джеральда образумить противника. Джеральд был вынужден принять ответные меры. По весу и комплекции мужчины были друг другу под стать, и они не прекратили драки даже тогда, когда в бар вошли два прыщавых полицейских, держа под мышками свои фуражки, как мячи для регби.

Грета уселась поудобнее, довольная и счастливая. До крови дело не дошло, но не исключен арест, а потом и судебное разбирательство, где она выступит главным свидетелем. Она наденет костюм в мелкую черно-белую клеточку. Он будет прелестно смотреться в зале суда на фоне стен, обшитых темными панелями.

Тот полицейский, что был попрыщавее, влез между Джеральдом и Норманом, и драчуны обрадовались, что вмешались высокие власти и освободили их от необходимости самим завершать драку. Ковентри снова встала, чтобы уйти, но менее прыщавый полицейский сказал:

— Посидите, сударыня, пока мы не разберемся, что к чему.

— Но я к ним никакого отношения не имею,— запротестовала Ковентри.

— Еще как имеешь, лживая корова!..— закричал Норман.— *Ты же любовница Джеральда Фокса, целый год уже с ним спишь.*

Надо сказать, что в баре «У Астера» сидели в тот вечер и другие посетители; о них прежде не говорилось ни слова потому, что до сих пор они не играли существенной роли в нашем повествовании. Все они ясно расслышали заявление Нормана. У тридцати процентов были свои трудности, и они пропустили эту информацию мимо ушей. Остальные семьдесят процентов не только не пропустили, но стали ее смаковать и передавать другим. Таким образом и стало известно всем в районе муниципальной застройки Темные Тропинки, что Ковентри Дейкин и Джеральд Фокс — любовники, они устроили свару «У Астера»,— вот кошмар, у нее ведь двое детей и приличный муж, да и у него четыре прелестные девочки, а у жены расстроены нервы, она даже не может смотреть фильмы ужасов по телевизору.

Грета ушла из бара разочарованная. М-р Пател не желал предъявлять каких бы то ни было обвинений, так как не хотел ненужного шума. Молодые полицейские бесстрастно отчитали Нормана и Джеральда. Они прибегли к разнообразным грязным ругательствам, дабы доказать, что они люди опытные, и ушли, отвергнув бесплатные булочки с сосисками, предложенные м-ром Пателом. В машине они обсудили Ковентри Дейкин и пришли к выводу, что Джеральду Фоксу повезло. Из-за бесконечных сверхурочных дежурств оба они почти не имели дела с женщинами. Они дождаться не могли, когда их наконец переведут в Отдел Нравов.

---

[1] 999 — в Англии телефон срочного вызова полиции, «скорой помощи» и пожарной команды.

3. Я ПОКИДАЮ РОДНОЙ ГОРОД

В среду днем я уже наполовину прочистила дымоход и вдруг бросилась через дорогу в соседский дом, открыла дверь, схватила первый попавшийся под руку предмет, игрушечного солдата в форме, и со всей силы опустила его тяжелую головку на выпуклый затылок Джеральда Фокса.

Фокс немедленно перестал душить жену и свалился замертво. Туловище куклы еще какое-то время болталось на шарнире, потом замерло. Я выпустила ее ноги, и маленький солдатик упал на ковер и лежал там в неестественной позе, подняв в воздух пластмассовые ручки. Из левого уха Джеральда Фокса вытекла струйка крови. Соседские дети выползли из-за драной тахты и прижались к матери, а я сама открыла входную дверь, вышла из дома и пустилась бежать. В одежде, в которой обычно чищу дымоход. Я была вся в саже и без сумочки.

Вначале мой маршрут пролегал путями для пешеходов. Я бежала по пандусам вверх-вниз. Я скрывалась под землей в переходах. Я становилась то больше, то меньше, в зависимости от размеров окружающих зданий. Рядом с небоскребами я превращалась в пигмея, а среди одноэтажных домиков пенсионеров вырастала в колосса. Я торопливо шла мимо заколоченных досками витрин торгового центра «Лесные колокольчики». Мимо бетонной церкви св. Осмонда со шпилем из нержавеющей стали; в свое время я присутствовала там на пяти, увы, злополучных венчаниях. Вперед и вперед, на Совиный проспект, который ведет из нашего района в центр города.

Пробежав проспект до половины, я остановилась перевести дух. В близлежащем доме семья собралась поесть. Комната была залита светом, точно спортзал Мэдисон-сквер. Их было пятеро, они расселись на всех трех предметах гостиного гарнитура. У каждого на коленях дымилась тарелка с едой. Солонка, перечница и бутылка кетчупа едва держались на ручках дивана. Их внимание было приковано к телевизору. Семейство молчало. Они словно жвачку жевали. Я подивилась их готовности демонстрировать столь интимное занятие случайным прохожим.

А позади, в моей покинутой кухне, остался стол, накрытый скатертью, которую всегда стелят по средам. Расставлены четыре прибора. Ровно в середине стола — судок. Против каждого прибора современный стул из гнутых труб. Папа Медведь, Мама Медведица, два подростка Медвежонка. Но Мама Медведица сегодня домой не вернется.

В семейных связях есть что-то невыразимо печальное. Узы крови столь хрупки. Их так легко порвать.

Когда я бежала по тротуару вдоль мостовой с движением в обе стороны, мне показалось, что я вижу лицо мужа, который смотрит на меня со второго этажа переполненного в час пик автобуса. Но это, наверное, был другой мужчина средних лет, с мрачной физиономией и в шляпе, которая ему великовата. Теперь я двигалась навстречу потоку людей, возвращавшихся из центра к себе на окраины. Мало кто шел в моем направлении. Да и кому нужно отправляться в шесть часов вечера из пригорода в центр? Разве что уборщикам или убийцам, удирающим с окраин.

Я бежала, потому что очень боюсь полицейских. Некоторые испытывают отвращение к змеям или паукам, другие отказываются ездить на лифтах или самолетах, а я избегаю полицейских. Когда я была маленькая, мне снились черно-белые кошмары про Диксона[1] из Док Грин. Вид стража закона, одиноко прогуливающегося по залитой солнцем улице, наводит на меня ужас. Я виню родителей за этот необъяснимый страх. (Хотя теперь, в нынешних обстоятельствах, он был вполне объясним.)

Я все еще была на окраине города. Вдалеке, приближаясь с каждым моим шагом, виднелся красный кирпичный корпус больницы, где когда-то я кричала так, что лопнул сосуд в глазу — я рожала сына. За высокой трубой больничного крематория стояла бывшая трикотажная фабрика, ныне колледж, где вышеозначенный сын получал образование в надежде на лучшее будущее.

Я пробежала детскую игровую площадку, много лет назад я качалась там на качелях, пока моя мать наслаждалась очередным визитом к врачу; она регулярно посещала великое множество поликлиник. «Все-таки я хоть куда-то хожу»,— приговаривала она, убирая до следующего раза обратно в комод свое самое нарядное белье.

Гладкие деревянные сиденья качелей заменили пластиковыми нежнейших цветов.

---

[1] Герой одноименного телесериала, добрый, благожелательный полицейский.

Я села и попыталась отдышаться. Непроизвольно я оттолкнулась ногами от земли и стала раскачиваться, взлетая все выше и выше. Вечерний ветерок развевал мои волосы. Я встала на сиденье ногами и с этой новой выгодной позиции увидела часы на башне вокзала. Я решила сесть на поезд — на любой. На первый попавшийся. Я готова была уехать куда угодно, лишь бы *подальше*. Подальше от полицейских, расследующих причины насильственной смерти Джеральда Фокса.

Я спрыгнула с качелей и побежала в гору, к вокзалу. Прежде здесь высились здания, которые остались теперь только в моей памяти. Оперный театр, где я увидела, как Золушка приезжает на бал в сверкающей карете с четверкой шетландских пони, чьи пышные гривки были украшены султанами из перьев. Гостиница, в подвале которой располагался бар с розовыми светильниками; его постоянными посетителями были юноши с напудренными носами, а напитки им подавал бармен на высоких каблуках. Чайная, куда приходили старушки перевести дух и уложить сумки с покупками, перед тем как сесть на автобус. Пивная под вывеской «Белый лебедь», около которой я, еще совсем маленькая, хмелела от одного запаха, вырывавшегося изнутри, как только открывалась дверь. Булочная, где хозяйка, стоя в витрине, покрывала глазурью многоярусные свадебные торты, гордясь своим мастерством и с достоинством принимая восхищение небольшой толпы, неизменно собиравшейся поглядеть на кондитерское чудо. Зоомагазин, где в слишком тесных клетках резвились щенята. Гараж, перед которым на заляпанном бензином тротуаре торчали две заправочные колонки, а после дождя появлялись такие немыслимые разводы, что дивились даже взрослые. Скобяная лавка, где звякали и гремели от малейшего ветерка развешенные снаружи чайники, эмалированные кружки, металлические календари и еще тысяча разных разностей. Забегаловка для рабочего люда; часа в четыре оттуда выходили, щурясь от света, могутные мужчины.

Все прошло. Все. Снесено навсегда. Сровняли и мусор увезли на свалку. И никто не пытался этому помешать, потому что никто не знал, к кому обратиться и что сказать; людей просто заворожило слово «прогресс», которым оправдывали все. Вместо этих зданий построили дорогу. Она бежала вокруг центра, отсекая от него реку и парки, загоняя пешеходов под землю в вонючие переходы, где телекамеры, поставленные с целью охраны людей, следили за их беспорядочным передвижением.

Я добралась до вершины холма и стояла теперь напротив вокзала. Я взглянула вниз, на крошечный город. Шпили покинутых церквей вонзались в небо. Слева от меня был «Бутербродный центр», справа — «Банковский центр», позади — «Транспортный центр». Все три вывески были сделаны из светящегося оранжевого пластика, по которому в наклон, словно пьяные, тянулись черные буквы. Я повернулась и заглянула в окно «Транспортного центра». Человек с усталым лицом сидел за конторкой и что-то говорил в микрофон. Над ним висело объявление, написанное цветными фломастерами:

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ

1. Не разрешается есть в такси рыбу с картошкой (равно как и горячие блюда)
2. Не плевать в такси
3. Не драться в такси
4. Не пачкать такси рвотой (штраф 5 фунтов и уборка за счет пассажира, по субботам и воскресеньям штраф 10 фунтов)
5. После полуночи пассажир обязан перед поездкой дать водителю 2 фунта в задаток
6. Вы ездите на свой собственный страх и риск!
7. Личность пассажира, покинувшего такси, не уплатив по счетчику, будет установлена, и к нему будут приняты *соответствующие меры*.

Пункт номер семь изрядно перепугал меня, ибо я как раз собралась сесть на поезд без билета, прорвавшись, если понадобится, через турникет. Но, придя на вокзал, я увидела, что его переоборудовали. Турникеты исчезли. «Британские железные дороги» любезно устранили это препятствие с моего пути — они проводили политику «открытых дверей». Любой, кому вздумается, мог зайти сюда и воспользоваться их услугами.

Шагая по крытому деревянному мосту над железнодорожными путями, с которого можно было спуститься на любую из многочисленных платформ, я услышала

объявление: поезд из Ноттингема, отправлением в восемнадцать двадцать три, прибывает к третьей платформе. Поезд проследует до Лондона, вокзал Сент-Панкрас, без остановок. Вагоны первого класса расположены в голове состава, вагоны второго класса — в хвосте состава. Вагон-буфет для удобства пассажиров находится в середине состава.

Полноправные пассажиры высыпали на платформу номер три из привокзального буфета с призывной вывеской: «Не забудь с собой, дружок, взять с ветчиною пирожок». Подошел поезд, я поднялась в вагон и встала в проходе. До лондонского вокзала Сент-Панкрас я добралась, наплетя небылиц благожелательному контролеру:

— Мой муж работает в Лондоне. Мне только что позвонили и сказали, что на него свалилась куча кирпича.

К тому времени я уже плакала неподдельными слезами от потрясения. Контролер утер мое покрытое сажей лицо бумажным полотенцем «Британских железных дорог» и сказал:

— Дай мне свой адрес, милая, и больше не будем об этом.

Я снова соврала, не переставая рыдать, назвала такой адрес, по какому я всегда мечтала жить:

Дом «Под розами»
Шиповный переулок
Тихий уголок
Дербишир

Он все записал. Потом направился в вагон-буфет, и когда я поспешно шла за ним, стараясь не отстать, до меня долетали обрывки его объяснений окружающим: «Милейшая женщина... мужа придавило кирпичами... в реанимации... прочищала дымоход».

Я перестала плакать, когда женщина в комбинезоне с маху поставила передо мной картонный стакан со сладким чаем и сказала:

— Не волнуйся, милая. Моего мужа однажды труба парового отопления насквозь проткнула, а теперь он дважды в неделю играет в бильярд.

«С трубой или без?» — подумала я и засмеялась.

Женщина испуганно оглядела вагон-буфет и сказала:

— Пойдем-ка лучше на кухню.

Остальную часть пути я сидела на перевернутом ящике для хлеба и рыдала, а вокруг меня в жаркой тесноте делала тосты, грела в микроволновой печи еду, подавала ее посетителям и препиралась между собой буфетная обслуга. Только чтобы им угодить, я проглотила две таблетки аспирина, запив их коньяком из миниатюрной фирменной бутылочки «Британских железных дорог».

Было уже темно, когда я, споткнувшись, вывалилась из поезда на вокзале Сент-Панкрас. Я упала на спину и впервые посмотрела в темное лондонское небо, видневшееся сквозь сводчатую крышу пестрого стекла. Чьи-то добрые руки подняли меня на ноги, но я даже не поблагодарила. Я уже мчалась в город.

Направо или налево? Налево. Я сбежала по грязным ступеням вниз. Впереди ярко горели слова: «Кингз-Кросс». Я стояла на перекрестке. Светофор повелел красным автобусам и черным такси остановиться — ради меня. Я пересекла улицу и вошла в здание вокзала. Мне срочно надо было в уборную. Я стала отчаянно искать нужную вывеску; вот она. Такой знакомый силуэт: женщина без рук, в треугольном платье.

Я сбежала по лестнице навстречу тяжелому запаху. Турникет. Объявление: 10 п. У меня не было 10 п. Мой мочевой пузырь разрывался. Сердитая негритянка подняла голову от вязанья. Она там дежурила. Глаза ее скользнули по моей грязной одежде, по чумазым рукам и лицу.

— Пропустите меня, пожалуйста. Я хочу пи-пи.

— Десять пи [1],— сказала она. И не улыбнулась.

— У меня нет десяти пи,— сказала я.

За мной уже выстроилась очередь. Маленькая девочка плакала. Ее шлепнули по ножкам; она зарыдала громче. Я отошла в сторону, чтобы пропустить раздраженную мать девочки. Женщине надо было протащить через турникет два огромных чемодана, сумку на ремне и хнычущего ребенка.

---

[1] Обиходное название пенса.

Служительница наблюдала, как та маневрирует своим грузом. На икрах у девочки горели следы материнских ладоней. Измотанная мать протиснулась-таки в кафельный рай. Он в последний раз огласился жалостными воплями ее дочки, потом дверь кабинки закрылась и приглушила плач.

Я снова попросила:

— Пропустите меня, пожалуйста.

Служительница поднялась со стула. Я чувствовала, что в ней постоянно клокочет ярость, которой она наконец вот-вот найдет выход.

— Уходи лучше, ты, дурная женщина. Задарма пролезть хочешь? Так не бывает. Плати, как все люди. Убирайся, знаю я таких — денатуратчиков, наркоманов и прочий сброд.

Своим обширным телом она загородила мне дорогу. Она была Хранительницей Турникета. Контролером Мочевых Пузырей. Директором Кишечников. Чтобы войти в ее королевство, мне необходим был волшебный кусочек серебра.

— Что же мне делать? — спросила я ее.— Куда мне идти?

— Это твои трудности,— ответила она.— Сама виновата, что так живешь.

Она решила, что я бродяжка. Так думали и те женщины, что шли туда и обратно через турникет. Они оглядывали мою грязную одежду, лицо. Они тщательно избегали касаться меня. Я снова поднялась по лестнице в вестибюль вокзала. Я заметила других грязных, плохо одетых женщин; у них были жуткие зубы и растоптанные туфли. Они сидели на полу, передавая друг другу бутылку хереса. Их было трое. Я подошла и попросила у них десять пенсов... «На туалет».

— Чего-чего? — изумилась старшая из них.

— Мне очень нужно,— сказала я и исполнила от нетерпения джигу на мраморном полу.

— Тогда иди обойди вокзал,— сказала шотландка с лиловым лицом.— Нечего деньги тратить на ссанье и сранье. Все равно что выбросить.

— Обойти вокзал?

Старшая неуверенно встала на ноги.

— Да это она про гостиницу. Забеги в гостиницу... в «Северную». Дождись, пока регистраторша отвернется, и ныряй.

— Там так здорово,— сказала младшая, утирая рот.— Я там аж купнулась на той неделе. Там у них душистое мыло и настоящее полотенце. Я и ноги успела ополоснуть, пока меня не вышибли.

Теперь мне пришлось целиком сосредоточиться на том, чтобы держать в узде мочевой пузырь. Я быстро обогнула вокзал, прошла мимо такси, выстроившихся в ожидании пассажиров, и увидела гостиницу. Я взбежала по ступеням. Сквозь стеклянные двери заглянула внутрь. Около стола регистрации слонялось без дела много людей в форменной одежде. Ждать я не могла. Я вошла в двери и свернула направо. Увидела надпись «МУЖЧИНЫ». Направилась к ней. Я услышала позади крик, молодой голос... женский... «Что вам угодно?»

Я не обернулась. Толкнула дверь с надписью «МУЖЧИНЫ». Запах был такой, словно передо мной возникла еще одна, невидимая дверь, сквозь которую надо прорваться. У писсуара стоял молодой человек; при моем появлении глаза у него расширились, и он постарался повернуться ко мне спиной. Он забрызгал свои белые туфли.

— Вам не сюда,— сказал он.

Я с треском распахнула дверь кабинки... свободно. Рванула с себя мешающую одежду и села. Освобождение наступило незамедлительно, мое тело расслабилось... Я воспарила. Когда из меня вытекла последняя капля, я встала и одернула одежду. Взглянув вниз, я увидела под дверью белые туфли. Я замерла, надеясь, что туфли уйдут. В конце концов молодой человек произнес:

— Выйдете вы все-таки?

Я не отвечала. Не двигалась. Я ждала. Капала вода, запах усиливался. Мне было слышно, как дышит владелец белых туфель. Он зажег сигарету. Из коридора донесся шум, и в уборную ворвалась целая толпа громких мужских голосов. Белые Туфли отошли от моей двери.

— Там женщина,— сказал он возбужденно.

Раздался гулкий смех, потом в дверь кабинки постучали:

— Есть там кто-нибудь?

Я не ответила... Что бы я ни сказала, все прозвучало бы нелепо.

— Как там у тебя дела, лапочка? — Мидландский акцент, как и у меня, но только сильнее от выпитого и от смеха.— Если тебе плохо, давай я зайду и помогу. У меня есть усдор... устодоверение на оказание первой помощи.

Ботинки у него были черные, туго зашнурованные; верх начищен до блеска, подошвы и набойки новые, но набиты неаккуратно; очень успокаивающего вида ботинки. Я не ответила, и он заговорил снова:

— Выходи и пойдем выпьем с нами, голубушка.

Под дверью появилась еще одна пара обуви. Серые мокасины с кисточкой.

— Пошли, Артур, некогда пить. На поезд опоздаем. Это ж наверняка старая шлюха, ты ж понимаешь.

Артур с грустью сказал:

— В свое время я знавал чертовски симпатичных шлюшек. Самая первая девушка, с которой я ходил, была шлюшка. Со шлюхой можно было вволю повеселиться. И никаких лишних волнений. Сейчас, конечно, дело другое — без презерватива с тобой даже шлюха знаться не захочет. Ну, и что человеку остается? Хочешь не хочешь, а *поедешь* в Сохо[1] искать проститутку. А она аж полсотни берет за легкое развлечение. Разве могу *я* позволить себе это за полсотни? Да и кто *может,* кроме чертовых маклеров и тому подобных? Проклятый Лондон. Надо быть миллионером, елки-палки, чтобы здесь пить. Два фунта за пинту! В кафушке дерут три фунта пятьдесят за яичницу с колбасой и картошкой! А цены за комнаты в гостинице! Так чего же удивляться, черт возьми, что люди спят прямо на улицах. Говорю вам: я не стану жить в вашем Лондоне, даже если вы мне задницу брильянтами набьете.

Белые Туфли сказали:

— Они все шлюхи... бабы проклятые, все до единой, если разобраться... где бы они ни жили.

Артур грозно произнес:

— *Моя* жена — *Женщина,* а не баба.

Белые Туфли продолжали, не замечая угрозы в голосе Артура:

— Моя бывшая жена тоже, и все-таки она сбежала, так? С пижоном черномазым.

— Любила, значит, в черноземе покопаться, да? — спросил Артур.

Белые Туфли продолжали:

— Очень может быть, что как раз сейчас твоя жена вылезает из чьей-то постели... я вот говорю, а она...

Но Белые Туфли больше не говорили. Судя по хрипу, их владельца схватили за горло. Я наблюдала, как туфли разных фасонов и расцветок зашаркали по полу взад-вперед, и слушала вполне парламентские восклицания дерущихся мужчин. Потом, решив, что драчуны уже откатились от моей кабинки на приличное расстояние, я распахнула дверь и выскочила из уборной. Пробегая мимо дерущихся, я краем глаза заметила, что Артур, стиснув физиономию Белых Туфель, превратил ее в горгулью с водосточной трубы готического собора.

Внутри гостиницы царило лето, а снаружи стояла холодная зима. Я отправилась назад, на проспект, и вдруг почувствовала смущение, представив себе, как я выгляжу. Я всегда одевалась аккуратно, выбирая старательно такие платья, которые не подчеркивали бы фигуры. При моей внешности я просто не могу позволить себе носить броские вещи. Моя дочь Мэри однажды сказала:

— Ты, наверное, единственная женщина на земле, у которой до сих пор не проколоты уши.

Но я всегда жутко боялась, что меня примут за девку. Может быть, я перегнула палку: меня частенько принимали за учительницу — юбка в складку, кофта и жакет одного цвета, туфли на низком каблуке. Я женщина очень хозяйственная, поэтому старая одежда у меня отложена специально для чистки дымохода, что я делаю раз в году. Это тряпье, разумеется, совсем не предназначалось для прогулок по Лондону. На мне был Дереков бумажный свитер с надписью «Общество любителей черепах» и с улыбающейся черепашьей мордой, голубые синтетические брюки-клеш и черные па-

---

[1] Район в центральной части Лондона, средоточие увеселительных заведений, часто сомнительного характера.

русиновые туфли. Я была вся в саже. Под ногтями набилась полукружьями грязь. Если бы мне навстречу попалось такое чучело, я бы поскорей перешла на другую сторону улицы. Мне хотелось вывернуть себя наизнанку, наподобие двустороннего джемпера, у меня когда-то был такой. Я жутко замерзла. Ледяной ветер задувал в рукава и за ворот мешковатого свитера, гулял по груди и спине. Я охала при каждом порыве, но негде взять теплую кофту, за дверью покинутого жилища осталось пальто, и нет камина, у которого можно погреться, когда вернешься домой. Дома у меня больше не было.

Надеюсь, вы мне поверите, что в обычной жизни я чрезвычайно опрятна. Моюсь каждый день, хотя мои друзья и родственники считают это чудачеством. Прежде чем ступить за порог, я непременно сначала почищу ногти и удостоверюсь, что капюшон на куртке не сбился набок. Поэтому теперь я инстинктивно старалась скрывать свою чумазость в темноте. Но в темноте было очень холодно, и меня вновь потянуло к призрачному теплу ярко освещенного вокзала Кингз-Кросс.

Те три женщины по-прежнему сидели на полу. Теперь они пели сентиментальную ирландскую песенку, что-то про безнадежно влюбленного молодого мясника, который в день свадьбы взял да и повесился. Я бы с удовольствием присоседилась к ним и спросила, нет ли у них лишнего пальто взаймы; но я понимала, что своим пением они вскоре привлекут внимание властей. Раньше в нашем городе я часто наблюдала, как полицейские гнали уличных музыкантов от дверей магазинов; однажды прогнали даже скрипача, игравшего не кого-нибудь, а Моцарта, вершину музыкального благоприличия. Поэтому я отошла от них в сторонку и принялась бродить по вокзалу в поисках оброненных монеток.

Зависть — пагубное чувство, но в тот вечер я завидовала всем вокруг. Завидовала тем, у кого есть пальто, свитеры, туфли, сапоги, сумки, деньги, жареная картошка, чашка чая, чистая кожа и чистая совесть. Завидовала, что у них есть где спать, есть входная дверь и ее можно отворить, что у них есть сигареты. Меня всегда раздражали люди вроде моего мужа, которые не могут отказать себе в удовольствии пожаловаться на судьбу. Но тут, стоя в углу и наблюдая за пассажирами, с сосредоточенным видом сновавшими по вокзалу, я почувствовала острую жалость к себе.

Было уже одиннадцать часов. Хмельные мужчины в смокингах вставали в очередь за билетами. Симпатичная девушка встретила симпатичного парня, который приехал на поезде из Шотландии. Они говорили друг другу: «Я тебя люблю» Девушка проявляла больше энтузиазма, чем молодой человек. Трясущаяся старуха волокла за собой к стоянке такси непомерно тяжелый чемодан. Парень с бритой головой и с татуировкой на шее в виде паука сделал мощный рывок за уходящим поездом и догнал-таки его, распространив по оставшейся позади платформе волну общественного смятения. «Бегают только грабители»,— сказал жене какой-то мужчина.

Раскрылись автоматически двери, и в зал вошли двое полицейских. Стоя за колонной, я наблюдала, как они положили конец песне про удавившегося ирландского мясника. Все три неприбранные женщины неуверенно поднялись на ноги и начали суетливо разбирать скользкую кучу своих пластиковых пакетов. Наконец они двинулись к дверям и вышли в ночную сырость. Полицейские понаблюдали за ними, потом не спеша зашагали по вокзалу в поисках мелких нарушений закона.

Я же, совершившая самое крупное нарушение закона из всех возможных, шмыгнула прочь, стараясь не попадаться им на глаза. На площади засверкали вспышки синих спецсигналов, из вокзальных дверей повалили полицейские. Некоторые с трудом удерживали овчарок самого свирепого вида, рвавшихся с коротких поводков. С выражением ненависти ко всему человечеству, захлебываясь лаем, они кидались на ни в чем не повинных прохожих. Одна из собак, которую шедший с ней полицейский звал Баскервиль, впала в такое неистовство, что ему пришлось ее слегка придушить, чтобы она замолкла; за его действиями, сохраняя приличную дистанцию, с неодобрением наблюдали английские защитники животных. По радио громко объявили: «Из Лидса прибыл специальный поезд для футбольных болельщиков, отправлением в девять тридцать. Просьба к пассажирам не мешать проходу и помогать полиции в исполнении ее обязанностей. «Британские железные дороги» приносят извинения пассажирам bona fide[1] за беспорядки, которые могут возникнуть, когда болельщиков поведут через вокзал».

---

[1] Здесь: добропорядочный *(лат.)*.

Спрятавшись за грудой багажа, я видела, как к платформе подошел состав, полный парней. Они размахивали из окон красно-белыми шарфами. Распевали: «Вперед, ребята! Вперед, ребята! Вперед, ребята!» Громкое эхо раскатилось по станции. Энергии их слитых воедино голосов хватило бы, чтобы сдвинуть с места целую армаду молочных фургонов. Когда поезд остановился, полицейские бегом бросились к нему и встали по двое у каждого выхода. Овчаркам явно не нравились белый и красный цвета; они прыгали у открытых вагонных окон так, будто у них зубы ломило от желания отведать болельщиковой плоти. Баскервиль бился головой о стенку вагона в бессильной ярости. Окна в поезде с шумом захлопнулись. Пение прекратилось. Собаки вышли из повиновения. Пассажиры bona fide забились, как овцы, по углам вокзала, подальше от укротителей, которые, натянув поводки, кричали: «Сидеть! Сидеть!»; полупридушенные собаки неохотно подчинялись. Баскервиль утихомирился последним; глаза его вращались, как у помешанного. Он скулил и тявкал и елозил по платформе на могучих ляжках, всем телом устремляясь к поезду. Он *сидел,* но чего это ему стоило!

Инспектор полиции приказал открыть двери вагонов. Потом он обратился через мегафон к молодым людям:

— Выйдя на платформу, построиться в колонну по четыре и ждать, пока все сойдут с поезда. Затем вас проведут в метро. Всякий, кто попытается покинуть вокзал без сопровождения, будет арестован по обвинению...

В голосе инспектора вдруг послышалась неуверенность, и он замолчал.

Молодой сорвиголова в лимонного цвета свитере крикнул:

— По какому такому обвинению?

В ответ, раздвинув толпу, приволокли Баскервиля. Когда всех собрали на платформе, а поезд осмотрели на предмет нанесенного ущерба, молодые люди, собаки и полицейские начали свое мрачное шествие.

Один из парней заявил:

— Неохота мне в метро идти. Я здесь за углом живу.

Полицейский затолкал его обратно в шеренгу.

Где я такое уже видела? Я напряженно думаю... и вспоминаю. По телевизору, в старом сериале «Наше вчера». Людей из гетто точно так же сгоняли в табуны и куда-то увозили. Через вестибюль на меня внимательно смотрит полицейский. Я краснею под слоем сажи, взглядываю на несуществующие часы, вспоминаю о назначенной встрече и ухожу с вокзала назад в город.

У самых дверей стоит маленький киоск, набитый газетами и порнографическими журналами. Я смотрю на заголовки: «НОВОЕ ПОТРЯСЕНИЕ: БЕЗДОМНЫЕ». Быстро листаю страницы. Ни слова о том, что я убила утром человека. Продавец говорит:

— Раз не берешь газету, так нечего ее и лапать, только пачкаешь.

Я извиняюсь и вместе с толпой пешеходов перехожу на другую сторону улицы, радуясь, что время от времени могу укрыться под чужими зонтиками. Идет дождь, унылый и колючий; через несколько минут я мокра насквозь. По краям резиновых подошв моих парусиновых туфель взбухают пузыри. Нет никакого смысла обходить лужи, и я шлепаю по ним. Не знаю, что делать с руками. Вот они, болтаются по бокам, ничего не несут, ничего не держат, ничего не толкают. Я скрещиваю их на груди, но чувствую, что эта поза неуместна: она вполне годится, когда я стою у задней двери собственного дома и дышу ночной прохладой, но совершенно ни к чему в Лондоне, в дождь да еще после полуночи. Руки в боки? Нет... слишком вызывающе. За спину? Нелепо... будто я насмехаюсь над одним из членов королевской семьи. В конце концов я оставляю их в покое, вскоре забываю про них, и они мне не мешают. Так ходят мужчины.

Указатель сообщает мне, что я нахожусь в лондонском районе под названием Камден, я о нем никогда не слыхала. Я оглядываюсь и на противоположной стороне улицы вижу сказочный замок с башнями, шпилями и причудливыми арочными окнами. Вестминстерское аббатство? Значит, за ближайшим углом Темза? И тут я замечаю на прекрасном здании знакомую вывеску: «Вокзал Сент-Панкрас» — какая же я дуреха! Неподалеку вроде бы Букингемский дворец? А где же площадь Пиккадилли? Я думаю о детях. Каково им будет, когда они узнают, что мать у них — убийца? Мне нужна куртка, сигарета, чашка чая, зонт, кусок мыла и стул. Я иду дальше. Здания кружатся над моей головой. Мне их не обойти; их слишком много, они слишком высоки. Они построены из грязно-желтого кирпича, а я привыкла к красному. Непривегливые

здания, чересчур важные: главные управления и официальные резиденции, а дальше магазины с невозможными, немыслимыми ценами.

Лондон меня пугает, я хочу домой. Ноги мои окоченели, я не знаю, куда идти, на какую улицу свернуть. Я хочу перемотать обратно видеокассету моей жизни и проснуться вчера утром. Плакать я не могу; сердце в груди заледенело. О том, чтобы сдаться полиции, и речи быть не может. Я совершила очень дурной поступок, и я буду наказана; но я сама себя накажу. Незачем закону вмешиваться в то, что стало теперь моим частным делом.

4. ВОЛНЕНИЕ В ПЕРЕУЛКЕ БАРСУЧЬЯ РОЩА

Грета стояла у плиты, помешивая консервированный рисовый пудинг, как вдруг дверь с грохотом распахнулась, и из темноты в резком свете флуоресцентных ламп появилась Морин.

— Ковентри убила Джеральда Фокса!

— *Ковентри?*

— Да!

— *Убила?*

— Да!

— *Джеральда Фокса?*

— Да!

— *Ковентри убила Джеральда Фокса?*

— Да!

Взрыв восторга заполнил кухню. Обе женщины, ошарашенные, дрожащие, но одновременно возбужденные и счастливые принялись болтать. Жизнь Ковентри была заново исследована на предмет более ранних проявлений агрессивности. Грета припомнила случай, когда Ковентри резко разговаривала с ней.

Грета заметила тогда, что Дерек не заслуживает такой женщины, как Ковентри,— она, по мнению Греты, моложе, красивее, приятнее Дерека и гораздо интереснее и умнее его.

Ковентри ответила с большим раздражением, что Дерек женился на ней, когда она была невежественной девчонкой, которая то и дело теряла работу, жила у родителей и вынуждена была во всем их слушаться. Дереку между тем было двадцать шесть лет, он имел хорошее положение, перспективную работу и уже стоял в очереди на квартиру в муниципальном доме.

На что Грета сказала: «Подумаешь, делов-то!» Ковентри выбежала из Гретиного дома и с силой хлопнула дверью. Не очень убедительно, драматичности не хватает, но две минуты на эту историю потратить можно. Обе женщины почувствовали собственную значимость и важную роль в этих волнующих событиях; в конце концов, они были лучшими подругами Ковентри.

Они перешли в комнату и стали смотреть, как к дому Фоксов подъезжают служебные машины. Грета подсчитала: три «скорых помощи»; пять полицейских машин; один белый полицейский фургон; пожарная машина (неужели Ковентри еще и поджог учинила?); три обычных машины, а в них шесть мужчин в обычной одежде; и, наконец, хлипкий «ситроенчик», в котором сидела броско одетая сотрудница городской социальной службы. На улице не видели ничего подобного с тех пор, как одна свадьба приняла скверный характер и приостановила движение транспорта, пока мужчины со стороны жениха и со стороны невесты, выясняя отношения, дубасили друг друга. Грета и Морин вышли из дому и присоединились к куче соседей, толпившихся за веревочным ограждением, натянутым полицейскими. Время от времени все головы поворачивались к дому Дейкинов, где вот-вот должен был появиться после работы муж убийцы.

5. Я ВСТРЕЧАЮ м-ра ПЕРИУИНКЛЯ

Два часа ночи. Я сижу у ворот лондонской клиники болезней ног на площади, которая называется Фицрой-сквер. Больше я не могу сделать ни шагу, но дождь перестал, и одежда на мне подсохла. Я рада и такой малости. К полному своему восторгу, у входа в клинику я обнаружила три крепких резинки. Одной я связала влажные волосы в «конский хвост», а двумя другими стянула складки лишней ткани, болтающейся у меня по щиколоткам. Брюки имели клеш невероятной ширины. Я один только раз

надела их как-то на выход, и вдруг поднялся сильный ветер и вздул избыточную ткань. От колен до пят я стала похожа на галеон под полными парусами. Дерек обрадовался, когда эти брюки были понижены в ранге и стали рабочей одеждой для чистки дымохода. Он терпеть не может сверхмодных вещей. Они выбивают его из колеи.

Прежде чем заснуть, я протерла руки и лицо мокрыми листьями, собранными на площади. Мне отчаянно хотелось счистить сажу. Мимо прошли две медсестры, закутанные в теплые плащи. Они с любопытством поглядели, как я скребу шуршащими листьями по лицу. Когда они были совсем рядом, одна заметила:

— Я *тоже* очень люблю запах осенней листвы, но чтобы засовывать ее себе в нос — это уж слишком.

— Кстати,— отозвалась вторая,— в следующем месяце я начну слушать курс по психиатрии.

Мокрые листья не оказали на сажу никакого воздействия. Когда я посмотрела в лужу под фонарем, оттуда на меня уставилась темная как ночь физиономия. Мне сразу вспомнились «Черные и белые менестрели», их отвратительные гримасы, подмигиванье, петушиная походочка, их тросточки и цилиндры. Они пользовались у Дерека неизменной любовью. Когда Би-би-си сняла эту передачу, он послал письмо на телевидение. Помню одну фразу оттуда: «Развлечение для приличной семьи». И подписался: Дерек А. Дейкин.

Голова моя клонится на грудь; я уже сплю? Не знаю, трудно сказать, мой мозг устал. Глаза закрываются... Сияет солнце. Тепло. Пожилой человек с бачками и добрыми глазами протягивает руки и подымает меня с земли. «Ну же, голубушка,— говорит он,— Вставайте. Меня зовут мистер Периуинкль, завтрак готов». Он идет через площадь и делает мне знак следовать за ним. Мы останавливаемся у высокого дома. «Я живу здесь с больной дочерью, ее зовут Эмили»,— объясняет старик. Входную дверь открывает толстый слуга в костюме повара из сказки, с печальным лицом Леса Досона [1]. Лес ухмыляется, когда я протискиваюсь мимо него в узкую прихожую. М-р Периуинкль проводит меня в комнату в задней части дома. Все залито солнцем, в его свете блекнут цвета обстановки и убранства. М-р Периуинкль говорит:

— Эмили, у нас к завтраку гостья.

Я не заметила ни кресла-каталки в углу, ни той, кто в нем сидит. Эмили катит кресло ко мне. Бледное личико, обрамленное кружевным чепцом и каштановыми локонами. Она чуть картаво произносит:

— Я видела, как вы вчега спали под двегью. Стгашно замегзли, да?

Я отвечаю:

— Честное слово, жутко замерзла, мисс Периуинкль.

— Я папе сгазу сказала, как только меня одели, пгавда, папа? Я сказала: «Наш хгистианский долг помочь этой несчастной. Оденься поскогее и пгигласи ее газделить с нами завтгак». Пгавда, папа?

М-р Периуинкль целует кончики бледных пальцев дочери.

— Моей девочке недолго осталось жить,— вполголоса сообщает он.— Но все равно, она настоящий ангелок, да?

Лес Досон подает к завтраку самые разнообразные блюда, какие только мне известны.

Я жадно набрасываюсь на овсяную кашу и вареные яйца, жареный хлеб и почки, на рис с луком и рыбой, на ветчину и сосиски. Я съедаю шесть кусков поджаренного хлеба и выпиваю пять чашек обжигающего кофе. Эмили грызет печеньице с аррорутом [2], запивая его теплым молоком из чашечки величиной с наперсток. М-р Периуинкль сидит во главе стола и, весело поблескивая глазами, наблюдает, как я ем. Потом он встает, ворошит угли в камине и приглашает меня посидеть у огонька и рассказать свою историю. Усевшись напротив него, я говорю:

— Есть два обстоятельства, о которых я должна сразу же вам сообщить. Во-первых, я очень красива.

— И в самом деле, сударыня.

— Во-вторых, вчера я убила человека по имени Джеральд Фокс.

---

[1] Популярный комедийный актер, толстяк с печальным лицом; в его репертуаре большое место занимают шутки, высмеивающие тещ.

[2] Крахмал, получаемый из корневищ, клубней и плодов тропических растений.

— Надо ли вас понимать так, что вы — убийца? — говорит м-р Периуинкль, и веселый блеск в его глазах гаснет.— В таком случае, Досон, вышвырните ее вон!

Я кубарем скатываюсь по лестнице, а надо мной угрожающе нависает лицо Леса Досона. Он что-то говорит про свою тещу...

Светало. Большой фургон для сбора мусора объезжал площадь. Смятенно кричали и хлопали крыльями разбуженные птицы; пора пускаться в путь. Фургон со скрежетом остановился неподалеку. Двое мужчин быстрым шагом подошли к куче черных мешков с отбросами рядом со мной. Оба в перчатках и оранжевых комбинезонах. На одном — очки в роговой оправе, на другом — русская ушанка. Очки крикнули:

— Придется подвинуться, дамочка, нам к мешкам надо.

Ушанка добавила басом:

— Мы и так вас напоследок оставили. Обычно-то мы *начинаем* с этой больницы. Здесь мы сроду не кончаем, скажи, Спог?

Спог поправил очки и сказал:

— Никогда в жизни. Но мы же видели, что вам нужно поспать.

— У меня ноги свело,— сказала я,— не могу двинуться.

— Понятное дело,— крикнул Спог, перекрывая скрежет дробилки в мусоросборнике.— Всю ночь проторчать у этой проклятой двери. Еще удивительно, что никто на вас не покусился и всякое такое. Некоторые типы не больно-то, знаете ли, разбираются. Им любая сойдет, хоть бы и из ночлежки.

— Помогите мне, пожалуйста,— попросила я.

— Нет,— ответила Ушанка.— Нам не положено даже прикасаться к публике; особенно к женщинам, а то еще пойдут кому-нибудь жаловаться.

Из кабины вылез водитель, толстяк с прической Элвиса Пресли и тоненьким галстуком. Он неторопливо и важно направился к нам с таким видом, будто каждый вечер не менее двух раз появлялся на сцене «Цезарь-паласа» в Лас-Вегасе.

— Прочь с дороги,— ровным жестким голосом приказал он.

Я испугалась. Спог с напарником тоже. Я кувырнулась на бок и поползла на тротуар. Мои онемевшие ноги волочились сзади. Толстяк подхватывал одной рукой мешки с отбросами и закидывал их в чрево грузовика. Он мотнул головой тем двоим, приказывая возобновить работу, затем подошел туда, где я лежа растирала ноги, восстанавливая кровообращение. Он едва шевелил губами, похожими на два розовых слизняка.

— Будь я премьер-министром, я бы принял закон, который дал бы право муниципалитету совать тебя и таких, как ты, в мою мусорку. *Ты же мусор.* Я бы вас в крошево перемолол — бродяжек, пьяниц, наркоманов, шлюх, нюхачей, пакистанцев, китаез, черномазых, всю шваль. Кости переломать, головы долой и — в мою мясорубку. И знаешь что? Я бы работал бесплатно, ведь для своей родины трудился бы Ты же мусор! Катись отсюда к чертовой матери!

Я встала и, прихрамывая, заковыляла от него прочь, на улицу, которая шла от площади. Когда онемение в ногах прошло, я зашагала быстрее и вскоре уже бежала по пустым тротуарам. На улочке под названием Шарлотт-стрит молодые парни в хлопчатобумажных комбинезонах протирали окна ресторана и кафе, и до меня донесся запах кофе, настоящего кофе, какой варят из молотых зерен в маленьких кофеварках. Я никогда не пробовала настоящего кофе. Когда к нам изредка приходили гости, я не говорила, как обычно говорят герои в телевизионных спектаклях: «Боюсь, у нас только растворимый». В нашем доме никогда и не бывало никакого, кроме «Максуэлл хаус».

Бежать было очень приятно, так что я не сбавляла темпа и вскоре понеслась по широкой улице под названием Тотнем-корт-роуд, мимо магазинов, заполненных японскими электротоварами. Мое отражение мелькало в витринах, а я бежала без усилий, все прибавляя скорость, легко лавируя между пешеходами. Наконец в Лондоне я была при деле; я занималась бегом по утрам. Вперед, быстрее, быстрее, сзади скачет «конский хвост», руки рассекают воздух, ноги сами несутся вперед. Стоп. Я добралась до конца Тотнем-корт-роуд. Я здесь уже была. Улица называется Юстон-роуд. Напротив странно мерцает угловатое здание. Волшебное здание, отражающее в зеркальных окнах жизнь и движение. Я сделала полный круг. Сент-Панкрас... Фицрой-сквер... Тотнем-корт-роуд. У меня теперь есть своя территория.

Внезапно на тротуаре возникает толчея. Может, несчастный случай? Но толпа, минуту назад запрудившая улицу, рассеивается. Люди выходят из станции метро. По тому, как они спешат, по их застывшим лицам видно, что они идут на работу. Китайцы с портфелями, арабы в развевающихся одеждах. Африканка с метками племенной принадлежности на лице и с нашлепкой из шифона на голове держит за руку дочку. На девчушке маленькое школьное форменное платьице. Меня покоряет зрелище такого разнообразия всевозможных национальностей.

Хотя я не меньше пяти минут стою и разглядываю пассажиров, выходящих из метро, я, к собственному разочарованию, не вижу ни единого котелка. Впрочем, тут в толпе появляется шлем полицейского, и я в испуге срываюсь в места и бегу назад, в том направлении, откуда пришла.

Уже открыто несколько кафе. Я так проголодалась, что чую их до того, как вижу. Было бы верхом невоспитанности остановиться и смотреть в окна, как люди едят и пьют, поэтому я бегу мимо, не сбавляя скорости. Машины заполняют все четыре ряда проезжей части и двигаются рывками, раздраженно взвывая. Это, наверное, и есть знаменитый лондонский час пик. В окне магазина японский телевизор показывает утреннюю программу. Цифры точного времени появляются на ботинках Роя Хаттерсли[1]: 7.35. Джон и Мэри сейчас как раз встают и собираются в школу и в колледж. Нет, сегодня утром они никуда не пойдут. Сегодня они впервые проживут полный день в новом для них состоянии. Они — дети убийцы. Напротив них живет вдова с четырьмя сиротами.

Я ввергла в хаос скучную улочку, где смиренно прожила двадцать один год. Я знаю, что никогда не смогу туда вернуться.

6. ИНСПЕКТОР СЛАЙ НАЧИНАЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ

6.15. пополудни. Район Темные Тропинки, переулок Барсучья Роща. Среда, тринадцатое, вечер.

Инспектор сыскной полиции Слай терял терпение. Он ненавидел болтунов, а Дерек Дейкин болтал десять минут сорок секунд без передышки. Слай воспользовался этим, чтобы изучить Дерека и гостиную. Он мысленно делал кое-какие заметки, чтобы потом занести их в блокнот.

1. Обивка мебели и ковры: беж (как и гардины)
2. Обои: беж (с вишневым рисунком)
3. Картины в рамах с изображением паровозов (семь)
4. Книжный шкаф: картотека, энциклопедии, справочники по черепахам
5. Украшения: мало; на телевизоре призы со смотров черепах плюс кубок за бег с препятствиями; победитель среди третьеклассников — Ковентри Ламберт
6. На столе композиция из засушенных цветов
7. Домашние животные: кошки (две); у одной конъюнктивит
8. Дети: (двое); мальчик и девочка (приличного вида)
9. Муж: (один) зануда
10. Доказательство, что Ковентри Дейкин проживала по данному адресу:
У камина пара пушистых шлепанцев
11. На шкафу свадебная фотография:
невеста красивая, улыбается;
жених похож на крысу, не улыбается
12. Коричневая пластиковая сумочка, содержимое: расчетная книжка для получения пособия на детей, щетка для волос, пачка вешалок для одежды, ключи, билеты на автобус, два гигиенических пакета (обычного размера), один кошачий ошейник.

Повысив голос и напустив на себя суровость, Слай сумел прорваться в поток сознания Дерека:

— Итак, в котором же часу вы видели свою жену в последний раз, мистер Дейкин?

---

[1] Заместитель лидера лейбористской партии.

Дерек заныл и стал разглядывать ногти; глаза его наполнились слезами. Слай мысленно отметил:

«13. Муж: возможно, педик?»

Дети Ковентри вышли из комнаты. Они еще никогда не видали, чтобы отец выставлял напоказ свои переживания. Искаженное лицо и вульгарные хрюкающие звуки, исторгавшиеся у него из груди, заставили их ретироваться в прихожую. Слай крикнул им вслед:

— Не уходите из дома, мне надо будет потом поговорить с вами.

Инспектор сыскной полиции Слай не стал утешать Дерека; он знал по опыту, что тогда все начнется сначала. Он и платка своего не предложил; обратно никогда не получишь.

— Я услышал слово «жена» и не выдержал,— объяснил Дерек Слаю, как только перестал плакать и судорожно вздыхать.— Жена — это женщина в фартуке, у которой руки по локоть в миске для теста. Жена — добрая и мягкая и говорит близким нежные слова. Жена не убивает соседа, а потом не убегает из дому...

Мэри и Джон Дейкины сидели у подножия лестницы. Они походили на тех мирных подростков, которых видишь на страницах каталога промышленных товаров крупной фирмы, скажем, «Литтлвудз»; на картинках они обычно валяются на стоге сена или же сияют восторженными улыбками с новеньких мопедов. Они не знали, что и думать; в прежней жизни не было ничего, что подготовило бы их к такому потрясению: родная мать — убийца. Они не знали, что сказать друг другу. Они молча вслушивались в голоса, доносившиеся из-за двери гостиной. Дверь открылась; инспектор сыскной полиции Слай стоял перед ними, весьма представительный в своей темной форме.

— Мэри, будь умницей, дай отцу чашку чая... побольше сахара... у него шок.

По дороге на кухню Мэри бросила взгляд в гостиную. Дерек трясся всем телом; по подбородку стекала слюна; пальцы его переплетались, как спаривающиеся змеи.

«Моя мать убийца, а отец сошел с ума»,— подумала Мэри.

Она живо представила себе обстановку семейного завтрака в то роковое утро. Все было привычно... обыкновенно... как всегда... традиционно. Скучно... тихо... приятно... НЕ О ЧЕМ БЫЛО БЕСПОКОИТЬСЯ. Джон пристально разглядывал ковер в прихожей; он думал о том, что теперь уже никогда не сможет пойти в свой шестой класс колледжа, где он готовился сдавать экзамены по расширенной программе. Разве что перекрасить волосы и носить днем темные очки. Что еще хуже, имя его матери, *Ковентри,* попадет в газеты. А он говорил приятелям в колледже, что ее зовут Маргарет.

Инспектор Слай встал; беседа с Дереком была почти окончена. Дерек выл, как расстроенный волк. Слай с презрением наблюдал за ним. Он думал: «Дайте мне его в камеру минут на пять, и я сделаю из него мужчину. Что ему нужно, так это хорошая взбучка».

Инспектор сыскной полиции Слай был заядлым сторонником хорошей взбучки. Он сам не раз наблюдал, как она творит чудеса. У людей, выходивших из полицейского участка, спина была в невидимых миру синяках, зато голову они держали высоко.

Мэри вошла в комнату с двумя кружками слабого чая с молоком. Она отвела глаза от отца. Слай бросил на нее один из своих взглядов «сильного мужчины с золотым сердцем»; непременные особенности такого взгляда — слегка склоненная голова, поджатые губы и поблескивающие глаза.

— Я вижу, ты будешь в дальнейшем большим утешением отцу, Мэри,— сказал Слай голосом, «которым надо говорить с подростками».

Дерек снова громко разрыдался, и Мэри быстро вышла из комнаты. Она испытывала отвращение и омерзение от вида соплей и слез, текущих по отцовскому лицу. Она жалела его, но еще больше себя. Жизнь ее была разбита; она никогда не выйдет из дома. Она потеряет всех подруг, и к тому же теперь, когда матери нет, ей придется взять на себя всю глажку и работу по дому. Она погляделась в зеркало, висевшее в прихожей, и подумала: «Я постарела на десять лет. Теперь я выгляжу на все двадцать шесть».

Посасывая золотую цепочку на шее, она снова уселась у подножия лестницы и принялась ждать, когда ее вызовут на допрос.

Джон был наверху и оттуда наблюдал, как у мертвого Джеральда Фокса снимали отпечатки пальцев, как труп фотографировали, ощупывали, измеряли и наконец погрузили в карету «скорой помощи». Джон впервые осознал всю чудовищность совершенного матерью преступления. Джеральда Фокса больше не существовало. Это был уже не он, а кожура одна, ничто, пустые хлопоты. Джон стал думать о собственной смерти. Он решил, что предпочитает умереть во сне, когда ему будет восемьдесят пять, и уж во всяком случае прежде, чем он начнет страдать недержанием. Джон посмотрел на платья матери, висевшие в гардеробе. Они были добропорядочны и тусклы. Туфли были еще хуже. Он выдвинул верхний ящик стоявшего у кровати комода и увидел пачку бумажных носовых платков и пять белых хлопчатобумажных трусиков. Затем он нашел дневник с замочком, спрятанный в футляре для грелки. Джон сунул дневник за пазуху. Он не желал, чтобы инспектор Слай прочел, что там написала его мать. Золоченый замочек холодил ему грудь. Он тихонько поискал в комнате ключ, но не нашел. Он подождет, пока закончится этот жуткий вечер и отец и Мэри уснут, и тогда он вскроет дневник и прочтет материнские мысли. Закрывая дверь, он едва слышно проскулил:

— Ах, мама, мама.

Инспектор Слай обнаружил видеокассету «Грешные тела». Он показал ее Дереку, но тот отрицал, что видел ее когда-либо раньше. Мэри тоже отрицательно мотала головой. Инспектор Слай сказал:

— Значит, она принадлежит мальчику.

Джон вошел в комнату и внес полную ясность в расследование. Нет, он никогда кассеты не видел; он этим не интересуется. Порнография скучна и унижает женщин. Слай подумал: «Паршивый маленький ханжа».

Вслух он сказал:

— Ну, раз она не принадлежит никому из присутствующих, значит, она принадлежит *миссис* Дейкин.

Джон и Мэри переглянулись и решили не говорить ничего в защиту матери. В конце концов, ее здесь нет, а они-то здесь.

Дерек взорвался:

— Моя жена не потерпела бы в доме этакой дряни, она даже «Шоу Бенни Хилла» могла смотреть, только прикрыв лицо подушечкой. Она — настоящая леди.

— Да, *леди-убийца,* мистер Дейкин,— отрезал Слай, очень довольный собой.— Позвольте мне сказать вам кое-что, старина. Никто из нас не знает ближнего своего. А живем годами бок о бок. Мы тешим себя мыслью, что знаем свою половину насквозь. Однако в один прекрасный день обнаруживаем, что представления не имеем об ее истинной сущности; такое случается сплошь и рядом. Моя собственная жена, которая из-за робости пять раз проваливалась на экзамене по вождению автомобиля, на прошлой неделе прыгнула с парашютом — в благотворительных целях.

7. НЕЛЬСОН И ТРАФАЛЬГАР

Сентер-Пойнт. Я слышала об этом здании. Оно раньше было знаменито. Сейчас оно выглядит пустым и безжизненным. Вокруг него свищет ветер, который подхватывает людей и толкает на бетонные стены. Я хотела бы сидеть в Сентер-Пойнт, в собственной комнате на самом верху, и смотреть вниз, потому что я не знаю, где начинается и кончается Лондон. Могу я обойти его за день или на это уйдет неделя, а то и месяц?

Когда я иду по Чаринг-кросс-роуд, я вижу двух целующихся молодых людей в деловых костюмах. Один прыгает на подножку медленно идущего автобуса. Оставшийся на тротуаре парень продолжает посылать тому воздушные поцелуи, пока автобус не скрывается вдали. Я вижу женщину средних лет, с безукоризненным вкусом одетую в черное и красное. Ее высокий каблук попадает в трещину на асфальте. Она спотыкается и восклицает: «Ах ты, ё-мое!» Выдирает туфлю из трещины и с отчаянием смотрит на порванную замшу. Я вижу старика в мягкой фетровой шляпе, в сущих отрепьях вместо пальто и в высоких резиновых сапогах; он достает из повидавшего виды футляра саксофон и начинает играть «Голубую луну». Турист-японец фотографирует музыканта, останавливается послушать, а в конце номера аплодирует. Затем он просит сыграть «Над Алабамой падают звезды». Покачиваясь в чересчур просторных для

него сапогах, саксофонист привычно вздымает инструмент, опускает его вниз, саксофон плывет направо, налево... Я представляю себе, каким он был двадцать пять лет назад. Мне кажется, он носил расшитый блестками смокинг, играл в большом оркестре и думать не думал, что когда-нибудь состарится...

Турист-японец хлопает в ладоши, улыбается и кланяется, однако уходит прочь, не бросив и монетки в открытый футляр.

— Как обидно, что мне нечего вам дать,— говорю я старику. который тяжело переводит дух.— Вы просто молодец.

— Никакой я не *молодец,*— отрезает он, утирая мутные глаза концом галстука в клеточку.— Я очень дурной человек. Господь знает о моих многочисленных грехах, вот и наказывает меня. Я в аду. Это же ад,— говорит он, кивая в сторону книжного магазина и доброй половины Чаринг-кросс-роуд.— Я заслуживаю лишь жалости — я потерял достоинство.

— Да нет, я хотела сказать: вы хорошо играете.

— Мои музыкальные таланты заметно поувяли. Пальцы замучил артрит. Господь наслал его на меня как кару за грехи. Я не могу снять боль: аспирин мне не по карману,— добавляет он.

Он протягивает руку; на тощем запястье болтается медный браслет.

— У меня ничего нет,— повторяю я.— Ни единого пенни.

— Тогда уходите,— говорит он.— Только отвлекаете от дела. Аспирин стоит семьдесят девять пенсов пачка.

Я иду прочь, а он начинает играть «Пока время летит».

Я всегда любила книги. Я их просто обожаю. По-моему, в книгах есть что-то очень сексуальное. Они гладкие, плотные, они полны восхитительных сюрпризов. Они хорошо *пахнут.* Их можно положить в сумочку, носить с собой и открывать когда вздумается. Они не меняются. Они такие, какие есть, и больше никакие. Когда-нибудь я накуплю множество книг, мечтаю я, и они будут всегда под рукой, стоит лишь подойти к полкам и выбрать какую-нибудь по вкусу. Настоящий гарем. Самые любимые я буду держать возле постели.

Чаринг-кросс-роуд — это торжество книг: они высятся кругом целыми грудами. Выставлены напоказ в витринах. Искусно сложены в пирамиды. Веером рассыпаны на столах. Сброшены в коробки. Нагромождены до потолка и свалены кучами на полу. Когда я заглядываю в магазины, у меня текут слюнки и чешутся руки — мне хочется трогать книги, ласкать их, открывать и проглатывать одну за другой.

Мимо меня прошла группа иностранных школьников; они несли полиэтиленовые сумки. Большинство что-то жевало. На голове у одного мальчика был пластмассовый шлем полицейского. Резинка, которая держит шлем, врезалась ему в подбородок.

Я стояла и наблюдала, и тут кто-то из детей бросил в канаву недоеденную булку с сосиской в бумажной обертке. Будь я попроворнее, я бы успела ее ухватить и затолкать в рот, но я замешкалась, и булка с сосиской попали под такси, которое. расплющив, унесло их останки на переднем колесе.

Я пошла за детьми, надеясь ухватить какие-нибудь крохи с их стола. К моему удивлению, в конце Чаринг-кросс-роуд оказалась Трафальгарская площадь. Фонтаны пенились и сверкали под солнцем. Школьники-иностранцы носились вокруг с пакетиками птичьего корма, призывая голубей спуститься поесть, но когда птицы окружили их плотной, хлопающей крыльями тучей, дети завизжали, замахали руками и подняли голубей в воздух. У постамента металлического льва стояла толстая женщина в бежевом плаще с высоким остроконечным капюшоном и бросала перед собой на асфальт крошки черствого хлеба и печенья. Кусочки глазированных бисквитов, сухариков с изюмом, ячменных лепешек и пшеничных булочек сыпались у моих ног. Обращаясь к птицам, женщина тихонько приговаривала: «Да, милые, клюйте все, до крошечки, будете большими и сильными. Ну, ну! Не вздорить! Перестань же, противный мальчишка!»

Последнее относилось к взъерошенной коричневой птице, усевшейся ей на плечо. Мне хотелось ворваться в пернатую массу и подобрать крошки с земли; пока я собиралась с духом, с неба спикировала новая огромная стая и уничтожила корм. Женщина склонилась, опорожняя сумку. Голуби облепили ее сплошь; их когти вцеплялись

в кудряшки ее перманента; она смеялась и притворно негодовала: «Глупые птицы, слезьте сейчас же, мне больно».

Но самодовольные голуби и не думали слетать с этого живого монумента. Когда же они в конце концов взмыли ввысь, женщина, подняв голову, с тоской смотрела им вслед. Потом она, неуклюжая и бескрылая, взяла сумку, достала из нее бумажную салфетку и стала стирать с пальто голубиный помет.

— Пропало ваше пальто,— сказала я.

— Нет,— ответила она,— если выстирать его в машине, причем в горячей воде, оно будет как новенькое. Я сюда каждый день хожу, поэтому мне необходима надежная стиральная машина. Вроде «Занусси». Только такая. Очень рекомендую. Никакая другая не справится с голубиными подарочками. До свидания.

Она осторожно, деликатно стала пробираться среди птиц, непрерывно извиняясь:

— Простите, что беспокою вас, милые. Можно мне пройти, пташки?

Я смотрела, как она тащилась до тротуара и потом затерялась в толпе. Я села на край фонтана и попыталась выработать план действий. Свою жизнь я всегда планировала загодя. Я свято верю в пользу всяческих списков.

На вчера список был такой:

Заказать бездымный уголь
Прочистить дымоход
Порошок от блох для Софти
Выстирать покрывала
Купить подростковый лифчик (объем 34 дюйма, А)
Побрить ноги, выщипать брови
Взять в библиотеке для Дерека книгу о черепахах
Собрать раскиданные носки
Позвонить маме насчет воскресного обеда
Отправить Норин открытку на день рождения
Не у Беллы ли моя большая сбивалка?
Спросить у доктора, не схожу ли я с ума
Электролампочки
Оберточная бумага для рождественских подарков
Отменить подписку на «Сан» [1]
Найти Дереков велосипедный зажим для брюк
Серьезно поговорить с Треплом о сплетнях

На сегодня список получился такой:

Сдаться полиции?
Самоубийство?
Попытаться устроиться в Лондоне?

Я стала смывать с себя сажу водой из фонтана, но, изо всех сил оттирая лицо и руки, я прекрасно понимала, что помочь мне могут лишь горячая вода и мыльная пена.

На Трафальгарской площади я чувствовала себя в безопасности; вокруг было множество людей, и это помогало мне забыть о холоде, голоде и собственном несчастье. Днем собралась небольшая толпа демонстрантов, протестовавших против чего-то в Южной Африке. Кто-то, кажется Нельсон Мандела, был в тюрьме, и собравшиеся на площади считали, что его пора выпустить. Они пересекли проезжую часть, и вместе с ними я подошла к ступеням какой-то церкви. Я встала в самой гуще толпы, чтобы согреться и спрятаться от многочисленных полицейских. Микрофон никак не включался, и один почтенный старец в просторном зеленом пальто из шерстяной фланели сложил руки рупором и стал что-то кричать людям, смотревшим на него. Ветер и шум транспорта заглушали его голос. До нас донеслось лишь несколько слов: «...гнет... империалистическое прошлое... позор... расисты... Тэтчер... Рейган... Господь...»

Стоявший рядом со мной парень сказал:

— Старый осел, пора ему заткнуть глотку.— Он злобно смотрел на старца в зеленом пальто.

---

[1] Ежедневная массовая, весьма низкопробная газета.

— Почему?

— Потому что он уже ни на что не годен, вот почему. Он же старый, как не знаю что; в обед сто лет на той неделе стукнет. Чего попусту *болтать,* что Манделу надо вызволить из тюрьмы; надо же *что-то делать.* Вырвать его оттуда, на вертолете, с гранатами и все такое. Я бы сам пошел, я еще за границу не ездил,— добавил он.

Вперед вышел энергичный мужчина помоложе и с голосом погромче, чем у старца, которого тем временем усаживала на складной стульчик совершенно лысая девица.

— Товарищи, нашему первому оратору, Мортлейку Гринфилду, на следующей неделе исполнится сто лет. Давайте все споем «Он славный малый» в честь Патриарха Левых Сил.

— Ну, что я вам говорил? — торжествующе воскликнул парень.— *Сто!* Где ему что понять? Патриарх Левых Сил,— с презрением повторил он.— Будь от него какой толк, он бы давно *умер,* так ведь? *Погиб* бы, сражаясь за правое дело.

Я не стала петь со всеми. Во рту у меня пересохло, а песенку «Он славный малый» я всегда терпеть не могла.

После многочисленных страстных речей у меня возникло убеждение, что бедного Нельсона Манделу надо выпустить из тюрьмы немедленно. Я тоже закричала вместе с толпой: «Свободу Нельсону Манделе!» Я даже вскинула вверх руку, правда не сжав ее в кулак, как делали многие вокруг меня. Когда толпа рассеялась, я еще острее ощутила холод и голод. Теперь меня больше занимала я сама, чем Нельсон Мандела. Я вернулась на площадь и стала быстро шагать по ней, чтобы согреться. Лысая девица, которую я заметила раньше, подошла ко мне и сказала:

— А понимаешь ли ты, сестра, что твоя трогательная попытка, измазав себе лицо, выразить сочувствие темнокожим, для них глубоко оскорбительна, поскольку говорит о покровительственном отношении.

— Это копоть,— сказала я.

— Вот именно,— откликнулась она.— Кое-кто ведь называет их «копчушками».

— Я так не называю.

— А *ты* как? — ухмыляясь, спросила она. Вокруг стали собираться ее приятели. Некоторые щелкали фотоаппаратами.

— Я их называю так, как их зовут,— сказала я.

— А *всех вместе* ты их как называешь?

— Никак я их больше не называю,— ответила я.— Что ни скажи, все звучит обидно. Если вы дадите мне кусочек мыла и посоветуете, где можно бесплатно помыться горячей водой, я смою копоть. Мне тошно ходить с чумазым лицом.

— Ага. Не можешь этого вынести, да, сестра? Что ж, теперь ты знаешь, каково жить в расистском обществе.

Пестро одетый парень, которому вера запрещает мыть и стричь волосы, заплетенные в тугие косички, громко засмеялся и сказал:

— Да брось ты, Лыска. *Тебе-то* откуда знать, каково это? Ты же сама белая, как простыня, вымоченная в отбеливателе. Или ты давно в зеркало не гляделась?

Лысая голова девушки ярко вспыхнула.

— Ты чересчур терпим, Кенрой,— сказала она.— А мне обрыдло лезть за тебя в драку.

Улыбка сползла с лица Кенроя.

— Слушай, лапочка, я все хотел тебе сказать. Я люблю, когда у моих женщин на голове есть волосы. Надоело мне просыпаться по утрам рядом с *голым черепом.* Если мне взбредет полюбоваться черепом, я ведь могу сходить в Британский музей.

Зрители, столпившиеся вокруг, ахнули. Кенрой пожевал губами и крикнул:

— Пока, Лыска, я потом зайду, заберу свой «сони» и носки.

Девушка бросилась за ним, он повернулся, и они обнялись, он любовно гладил ее лысую голову, а она целовала его в шею.

Я подумала, что пора мне освободить площадь и окружающих от тех неприятностей, которые я, по-видимому, им доставляла, но не знала, куда идти. Было почти темно; по самому краю площади неслись машины, напоминая индейцев, окружающих обоз колонистов.

Я готова была плакать от холода. Попыталась укрыться от ветра за постаментом льва. Будь там достаточно места, я бы свернулась калачиком меж его металлических лап. Мне хотелось забраться *во* что-то, и во что-нибудь поменьше, чем широкая общедоступная площадь.

Я стала вспоминать виденные мною фильмы о всяческих невзгодах — о людях, неделями продержавшихся в море на плаву, или о тех, кто попал в лагеря военнопленных. Кажется, эти люди без конца пели, пока язык не распухал. Я решила испробовать и это; вполголоса я запела:

Нужен мне лишь приют в тепле,
А не ветер в промозглой мгле.
Не спать на сырой земле —
Вот это было б здорово!

Я замолчала, когда подошла молодая пара и встала около меня. На ней была синяя шляпка с вуалью; ее синий костюм был измят и слишком тонок для октября. Она дрожала. Ветер сдувал с ее волос кружочки конфетти. Молодой человек еле держался от усталости на ногах; он то и дело оттягивал чересчур тугой ворот белой сорочки. Лицо у него было красное и сердитое. Кто-то его недавно отвратительно постриг. Из петлицы его серого костюма свисала привядшая розовая гвоздика.

— Ну, посмотрела фонтаны? — сказал он.— Теперь можем мы вернуться в гостиницу?

— Ах, Майки,— сказала она,— мы ведь только-только пришли. Давай немножко пройдемся.

— Иди. А мне это до фени, я здесь посижу.

Майки зажег сигарету и стал смотреть, как она, чувствуя его взгляд, смущенно зашагала по площади, покачиваясь на высоких каблуках. Ему на голову сел голубь. Он пронзительно взвизгнул, потом поглядел на меня, стыдясь такого недостойного звука.

— Ну, теперь ты счастлива? — грубо спросил он молодую жену, когда та вновь подошла к нему.

— За что ты сердишься на меня, Майки? — спросила она.— У нас же медовый месяц, ты должен быть счастлив. Вот я счастлива,— добавила она без всякого убеждения.

— Я тебе *говорил,* что ненавижу Лондон, говорил ведь? — захныкал он.

— Но не ты же за это платишь, правда? — сказала она.— А мои мама с папой.

— Ну, знаешь что, Эмма,— начал он, и лицо у него покраснело.— Я бы предпочел получить деньги, а не Лондон. Чем мы сможем похвалиться, когда вернемся в Лидс? А?

— Счастливыми воспоминаниями,— ответила она.

— Мне холодно,— заныл он.— Ключ от номера у тебя?

Она открыла синюю пластиковую сумочку без ремешка и вынула большой треугольник оргстекла. С уголка свисал маленький ключик.

— Один брелок, ключа-то, можно сказать, и нет,— проворчал Майки.— Я ухожу, делай что хочешь.

— Я пойду с тобой,— сказала она и тихонько взяла его под руку. По дороге она все время заглядывала ему снизу в лицо. Но тиран так и не удостоил улыбкой смиренную подданную. Он начал гнуть свою линию и сворачивать с избранного пути не собирался.

Мне хотелось догнать его и вдарить как следует этому страдальцу меж лопаток. Вообще-то я женщина не агрессивная. Если не считать единственного убийства, я в жизни не тронула ни одного человека. Поэтому необычную для меня воинственность я отнесла за счет голода и тоски по сигаретам.

С площади мне пришлось уйти, так как там появилась группа юных американок в мокрых костюмах, они стали подначивать друг друга и прыгать на спор в фонтан, обрызгивая прохожих. Кто-то из пострадавших вызвал полицию, но я скрылась прежде, чем она успела высунуть сапожищи из фургона. Я снова направилась по Чаринг-кросс-роуд на свою территорию. Лондон целиком состоял из еды: дома, похожие на бутерброды «Большой Мак», не тротуары, а пиццы, не автобусы, а большие жареные куры, и даже машины напоминали щедрые порции китайского блюда чау-мейн. Если люди не ели, то они или курили, или пили, или просто наслаждались теплом. Мне захотелось плакать, однако я не смогла выжать из себя ни слезинки. Я пустилась бежать, но у моего тяжело нагруженного лифчика лопнула застежка, и груди выскользнули на свободу; замерзшие соски торчали наподобие леденцов на палочке. Так что мне пришлось скрестить руки и перейти на шаг. Я внимательно смотрела себе под ноги, надеясь найти большую булавку, но попался лишь сломанный значок со словами: «Я люблю Лондон».

Шагая по улице, я вдруг услыхала странный звук, будто захныкал маленький ребенок. Я глянула направо и налево, пытаясь определить, откуда доносится плач; я посмотрела вперед, обернулась назад, но нигде никого не было видно.

8. СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ

Когда инспектор Слай ушел, Джон Дейкин закрылся в своей крохотной спальне и задвинул на двери шпингалет. Ему было слышно, как напротив, через площадку, плачет в своей куда более просторной спальне его сестра Мэри. Внизу остался рыдать в синтетические диванные подушки отец. Он пытался было успокоить отца, похлопав его основательно по спине, но тот никак не отреагировал, и Джон оставил его в покое.

Запертый на замочек дневник матери открыть оказалось проще простого, даже жаль ее стало. Хватило одного поворота отвертки.

СРЕДА 30-е ДЕКАБРЯ

Если кто-то нашел этот дневник и сейчас читает его, я *умоляю* не читать дальше. Пожалуйста, положите его туда, где нашли. Продолжаете читать? Это ты, Дерек, или Мэри, или Джон? Кто бы это ни был, пожалуйста, остановитесь.

Джон продолжал читать, ничто не могло его остановить.

Я решила начать новую жизнь. Я сменю себе имя, и в будни, с 9 утра до 4 дня, я буду совсем другим человеком. Вечером и по воскресным дням я буду женой Дерека и матерью своих детей. Новая жизнь не потребует затрат. Мне понадобится лишь изменить внешность. Я всю жизнь живу в этом городе, и меня слишком многие знают.

Возможно, я назову себя Лорен Макскай.

ЧЕТВЕРГ 31-е ДЕКАБРЯ

Привет, это Лорен Макскай. Я художница. Правда, я не нарисовала ни одной картины с тех пор, как окончила школу, но все равно я художница.

ПЯТНИЦА 1-е ЯНВАРЯ

Люди, среди которых я живу, *так невыносимо* скучны. Нам совершенно нет нужды разговаривать; мы все заранее знаем, что каждый скажет.

СУББОТА 2-е ЯНВАРЯ

Моя маска, купленная в благотворительном магазине «Поможем пожилым».

Общая стоимость: 3 ф. 17 п.

Парик «Клеопатра» (черный)

Блестящий хлорвиниловый плащ (черный)

Мягкая мужская шляпа (черная)

Темные очки

Косметический набор «Мэри Квонт» (ранее использовались только голубые тени для век)

Лорен Макскай на выходные уехала. Надо полагать, пишет этюды где-нибудь в Камберленде.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3-е ЯНВАРЯ

Лорен должна вернуться завтра утром, когда все зануды уйдут из дома.

ПОНЕДЕЛЬНИК 4-е ЯНВАРЯ

Привет, я вернулась. Зануды ушли на работу, в школу и в колледж. Я помогла Ковентри по дому, потом сложила свою одежду в хозяйственную сумку и поехала на автобусе в город. Ковентри зашла в дамскую уборную, а вышла оттуда Лорен и у зеркала над раковиной сделала макияж. Одна знакомая Ковентри особа проходила мимо Лорен к выходу. Чтобы проверить маску, Лорен эту особу толкнула. Та возмутилась и закричала: «Куда вы несетесь?» Лорен извинилась. Голос у нее ниже, чем у Ковентри, с небольшим акцентом — и не английским, и не американским. «Простите, пожалуйста,— сказала Лорен,— я мысленно была далеко. Я сейчас работаю над картиной. Я художница, нам свойственна рассеянность».

Это объяснение не вполне дошло до особы, но она смягчилась и ушла. Этой особой, знакомой Ковентри, была ее свекровь. Как же хохотала Лорен — вот это чудеса! Сбежали чашки, блюдца, и лошади смеются.

ВТОРНИК 5-е ЯНВАРЯ

Сегодня утром Лорен записалась на курсы живописи в художественной школе для трудящихся. На вопрос, как ее зовут, она много раз повторила: «Меня зовут Лорен Макскай».

Когда ее спросили, кто она — мисс, миссис или как, Лорен ответила: «А никак, просто Лорен Макскай».

Занятия у нее будут по понедельникам и средам, с 10 утра до 12.30 дня. Потом она будет обедать вместе с другими художниками в столовой.

СРЕДА 6-е ЯНВАРЯ

На самый первый урок Лорен сегодня пойти не смогла, потому что у одного из зануд температура 101°[1], и он лежит в постели. Лорен очень рассердилась.

Ковентри сделала для хворой зануды целый кувшин ячменного напитка с лимоном. Она неизменно проявляла любовь, терпение и материнскую заботу.

ЧЕТВЕРГ 7-е ЯНВАРЯ

Лорен не терпится уйти из дома. Она по-прежнему возмущена и сердита, но у зануды грипп, и Ковентри нужна здесь, чтобы бегать вверх-вниз по лестнице; а Лорен ведь не может уйти без Ковентри, правда?

ПЯТНИЦА 8-е ЯНВАРЯ

Лорен *требует,* чтобы ее выпустили из дома. Ковентри без прежней любви относится к зануде.

СУББОТА 9-е ЯНВАРЯ

Лорен беспрерывно ссорится с Ковентри. Они обе измотаны. Зануда все еще в спальне и теперь жалуется на невнимание.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10-е ЯНВАРЯ

Лорен без конца вопит: «Выпустите меня». Ковентри весь день молчит.

ПОНЕДЕЛЬНИК 11-е ЯНВАРЯ

Сегодня Лорен ходила на первое занятие. Ее группа состоит из пенсионеров, служащих, уволенных по сокращению штатов, и безработной молодежи.

Экзотическая внешность Лорен понравилась группе. Все сочли, что у нее вполне художественный вид. Ее отказ снять очки приняли за проявление характера. Она уже без ума от преподавателя. Его зовут Брадфорд Кинз; он худ и бледен. У него очень длинная борода, и он очень небрежно одевается. Брадфорд совершенно одержим «линией». Он заставлял группу рисовать круглые фигуры.

У Лорен фигуры получались угловатыми. Брадфорд велел ей расслабиться.

Джон бросил читать дневник матери и потянулся за собственным. Он посмотрел записи за начало января.

Джон закрыл оба дневника. Он чувствовал себя преданным и осиротелым. Он потер глаза, но все равно крупные, теплые слезы потекли у него по лицу. А он-то считал, что его мать — порядочная женщина.

9. СМЕРТЬ КАК ХОЧЕТСЯ КУРИТЬ

На углу возле здания Сентер-Пойнт сломался светофор, и женщина в полицейской форме пыталась справиться с образовавшими затор потоками машин; массивное тело наклонялось из стороны в сторону, руки проворно и резко сгибались, как на шарнирах. Пораженная этими затейливыми движениями, я остановилась посмотреть.

---

[1] По Фаренгейту; соответствует примерно 38,4 по Цельсию.

Тут я заметила, что *она* смотрит на меня. И не просто смотрит, но *примечает* меня тем особым образом, как это водится у полицейских. Когда она что-то проговорила в свою маленькую рацию, меня охватил ужас, я метнулась через дорогу и свернула в первый попавшийся переулок. Я мчалась без оглядки, и мне чудилось, что вслед за мной несутся патрульные машины со стражами закона, облаченными в полицейскую форму. Вот-вот, казалось, ринутся с неба вертолеты с включенными прожекторами.

Когда бежать уже не было сил, я перешла на шаг, а когда и шагать стало невмочь, я села передохнуть на ступеньки Ассоциации содействия страдающим легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Место, куда я попала, называлось Тависток-сквер. Еще одна площадь. Сколько же их тут?

У подножия лестницы я насчитала на тротуаре пять окурков. Вероятно, в помещении Ассоциации курить не положено. Одну сигарету успели только зажечь и тут же бросили. Я всегда слыла женщиной чистоплотной, но тут я подобрала окурок и привычно зажала его между пальцами.

Я дождалась, пока появится курящая женщина, и попросила у нее огонька. Она была старая, толстая и хорошо одетая — в алом пальто и в красивой шотландской шали.

— Простите, вы не позволите мне прикурить?

— Ох, *как* вы меня перепугали, выскочили неведомо откуда.

Она вынула из висевшей через плечо сумки черепаховую зажигалку и щелкнула ею. Я, прикуривая, посасывала сигарету, и пламя осветило мое лицо и правую руку. Она сказала:

— Мы, курильщики,— вымирающее племя. В наши дни удивляешься, встретив себе подобную.

— Да,— откликнулась я,— это моя первая сигарета за сутки.

— Пытались бросить, да?

— Не на что было купить,— пробормотала я.

— *Видно,* что вы в стесненных обстоятельствах.

— Да уж,— сказала я.

— Я хочу вам дать кое-что,— объявила она и стала рыться в сумке. Вопреки моим надеждам вместо денег она вынула карточку, на которой было оттиснуто:

Силия Хартслав

Прорицательница по финансовым вопросам для «звезд»

— Зайдите ко мне, когда снова встанете на ноги,— сказала она.— Я занимаюсь инвестиционными делами самых знаменитых людей, а у *вас* положительная аура. Вас ждут большие перемены. Кстати, что это у вас на лице и на руках?

— Сажа,— ответила я.— Я трубочист.

Она засмеялась.

— Разве еще остались трубы? Просто невероятно. Мне сто лет назад уже перевязали фаллопиевы и забили каминную трубу. Доброй ночи.

Сигарета согрела меня, успокоила, подбодрила и уменьшила муки голода. Как только я докурила ее, мне тут же захотелось еще одну, и я отправилась на поиски. Около автобусной остановки я нашла на тротуаре пять вполне приличных окурков. Еще я подобрала пустую коробку из-под сигарет, половинку гребешка и мелочи на два с половиной пенса. Теперь, когда у меня появилась собственность, я почувствовала себя лучше. Я сложила свои скромные приобретения в коробку из-под сигарет и, уже почти веселая, зашагала по незнакомым улицам. В десять часов я сделала остановку в каком-то переулке, чтобы освободить кишечник. Я чисто вытерлась опавшими листьями, скопившимися у стены дома. Как я уже говорила, я женщина чистоплотная.

После дождя на растрескавшемся тротуаре стояли лужи, я обмакивала в них пальцы и, слизывая отдающую камнем влагу, продолжала свое бесцельное путешествие.

10. МЕСТНАЯ ГАЗЕТА

Хлебная Пила не отрываясь смотрела на первую полосу местной вечерней газеты. Оттуда с фотографии на нее смотрела дочь.

— Да, есть,— произнесла она. И передала газету маленькому кругленькому мужу.

— Как мне все это противно,— сказал он, молча прочитав первую страницу.

— Сказывается дурная кровь,— заметила Хлебная Пила.

Это был намек на Руби, мать ее мужа, уже покойную; все знали, что она была завсегдатаем низкопробных пивнушек с весьма буйными посетителями и родила множество детей. Один из них, полукровка, жил сейчас в Кардиффе. Руби ни разу не была замужем.

Так что Теннисный Мяч был незаконным ребенком. Он понятия не имел, кто его отец, да он и не хотел знать, покорно вас благодарю. Когда конец Руби был уже близок, того гляди помрет, она послала за сыном, но он не поехал, убоявшись последних признаний и прикосновений к неопрятной старческой плоти.

— Говорят, это проявляется через поколение, да? — заметил он.

— Что ж, так оно и вышло, правда? — отозвалась Хлебная Пила.

Теннисный Мяч встал с дивана, пошел на кухню и сунул газету в мусорное ведро под раковиной.

С глаз долой.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ДОМОХОЗЯЙКА-УБИЙЦА МОЖЕТ НАНЕСТИ НОВЫЙ УДАР

Сегодня жители района муниципальной застройки Темные Тропинки приходили в себя от потрясения, которое они испытали, узнав, что их соседка, Ковентри Дейкин, разыскивается полицией за убийство Джеральда Фокса; он скончался вчера в результате смертельного удара по голове. Ее муж Дерек Дейкин сказал нашему корреспонденту Сандре Топпинг: «Мою жену всегда считали кротким, робким человеком. Я могу лишь предположить, что она была не в себе». Когда его спросили, известно ли ему о пресловутой любовной связи между его женой и убитым, м-р Дейкин ответил: «Не знаю, чему и верить. Прежде Ковентри не проявляла к другим мужчинам ни малейшего интереса».

М-р Дейкин, лысеющий, в очках, тщательно одетый старший инспектор обувной компании «Хопкрофт шуз лимитед», не выдержал и разрыдался. «Она же не способна буквально мухи убить; мне приходилось гнать их в окно свернутой газетой».

Дети блондинки-убийцы — Джон, 17 лет, и Мэри, 16 — сейчас живут у бабушки, миссис Эдны Дейкин, пенсионерки, в ее одноэтажном домике. «Она была темная лошадка,— заявила м-с Дейкин.— Никто никогда не знал, о чем она думает».

На вопрос, удивляет ли ее тот факт, что ее невестку разыскивает полиция, м-с Дейкин ответила: «В общем, нет».

Жена убитого, м-с Кэрол Фокс, пребывает в больнице, ей введены сильные успокаивающие средства. Ее дети, на глазах которых произошло чудовищное умерщвление отца, находятся на попечении друзей. М-р Дж. Бродвей, директор начальной школы имени Джона Кеннеди, где учатся дети покойного, заявил: «Я полагаю, они несколько дней не будут ходить в школу». Когда его попросили высказаться по поводу убийства, он сказал: «В районе Темные Тропинки нет культурного центра; людям нечего делать по вечерам».

Полиция графства опубликовала следующее описание внешности Ковентри Дейкин: «Рост 5 футов 8 дюймов, стройная, волосы светлые, глаза карие. Когда ее видели в последний раз, на ней были синие расклешенные внизу брюки и серый бумажный свитер с изображением черепахи на груди».

Представитель полиции также сказал: «Предположительно убийство могло быть совершено Ковентри Дейкин в приступе гнева, когда Джеральд Фокс объявил ей о прекращении их любовной связи. Другое возможное объяснение состоит в том, что Ковентри Дейкин является членом тайной группы фанатичных феминисток, которая поставила себе целью уничтожение мужчин». Отвечая на вопрос, что дает ему основания для такой неожиданной гипотезы, представитель полиции сказал: «Несколько человек предложили свою помощь в расследовании, и нам стало известно, что Дейкин, прежде чем насмерть забить Джеральда Фокса, покрыла лицо сажей, как это водится у террористов. Она может нанести новый удар»,— предупредил он.

11. КОВЕНТРИ-СИСИ

В четверг около полуночи на меня вдруг накатила волна оптимизма. А может, он жив. Как могла дурацкая пластмассовая кукла убить тяжеленного мужчину ростом в шесть футов? Из урны для мусора я вытащила газету, о которой до того и не слыхала: «Стандард»[1]. В ней не было ни слова о совершенном мною убийстве; возможно, лондонская печать не сильно интересовалась провинциальными сенсациями, хотя она и сообщала о других насильственных смертях: о людях, раздавленных сельскохозяйственными машинами, о тех, кто погиб, не сумев выбраться из горящих грузовиков или из затопленных карьеров.

Дочитав газету, я сунула ее под свитер, имея в виду две цели: она меня грела, а также служила щитом для сосков. Я не успела еще сказать, что, хоть я была грязна и плохо одета, мне, пока я тащилась по тротуарам, многие мужчины делали вполне недвусмысленные предложения. На вид все они были обыкновенные, приличные люди. Некоторые открывали дверцу машины и приглашали меня сесть рядом. В нескольких машинах сзади были специальные сиденья для маленьких детей. Я понять не могла, зачем таким людям подбирать вонючую незнакомку, когда многих из них наверняка ждет дома благоухающая жена. Но потом я сообразила, что одежда моя явно подчеркивает фигуру. В моем обличье по улице двигался набор женских гормонов и напоминал мужчинам об их физиологических потребностях и желаниях. Красивую женщину никто не принимает всерьез, кроме нее самой.

Моя привлекательная внешность всегда вызывала у родителей стыд. Когда я была маленькой, они намеренно искажали мой облик, причем делали это самым жестоким образом. Светлые локоны безжалостно отрезались или прятались под некрасивыми вязаными капорами. В будни тело мое болталось в чересчур свободной школьной форме, а на ногах, в довершение картины, были неуклюжие башмаки на шнурках. По субботам и воскресеньям я носила севшие после стирок свитеры и бесформенные юбки в складку.

Я очень рано стала отличаться от сверстниц. Когда мне исполнилось двенадцать, у меня с пугающей скоростью стали расти груди. Такое было впечатление, что еще вчера я носилась, играя, по школьной площадке, а сегодня уже скорчилась в углу, нахохлившись и сложив руки на груди. В самое жаркое лето я не снимала просторной кофты на пуговицах, игры превратились в мученье; пойти с девочками в душ стало пыткой. Закрыв глаза, я пробегала через заполненное паром помещение. Была у нас такая высокая худая завистливая девчонка по имени Таня Дрейкок, она первой переделала мое прозвище Ковентри-сити в Ковентри-сиси. К пятнадцати годам груди у меня стали громадные; даже во всей сбруе, стянутые и засупоненные, они выпирали сквозь платье. Они резали людям глаза. Учителя смятенно отводили взгляд, посторонние мужчины уставлялись на них, как зачарованные.

Родня моя — люди простые, они считали банты в волосах и цветные туфельки сущей глупостью. Одежда выбиралась скорее для маскировки, чем для украшения. И если я в шестнадцать лет стала битником, то не по интеллектуальной потребности, а из чисто практических соображений. Битники носили огромные бесформенные свитеры, скрывавшие грудь, да еще просторные пальто из шерстяной фланели. Впервые за много лет я наконец расслабилась. Я перестала сутулиться, расплела руки и принялась читать книги, которые раньше таскала под мышкой как неотъемлемую часть обмундирования.

Иногда внешность меня выручала. Благодаря ей я получила должность младшей конторской служащей на фабрике картонных коробок. Других данных к тому у меня не было. «Снимите-ка пальто, милая,— сказал м-р Риджли.— Тут жарко». Я была юна и доверчива. Я сняла пальто ...скрестила руки на груди. Лоб м-ра Риджли покрылся потом, и он промокнул его темно-бордовым платком. «И вот еще что. Будьте добры, залезьте, пожалуйста, на мой стол и откройте верхнюю фрамугу».

Я еще не имела о мужчинах никакого представления. Я взобралась на стол и с удивлением обнаружила, что м-р Риджли не двинулся со стула. Я потянулась вперед и открыла окно, в комнату ворвался ледяной ветер и закружил бумаги. М-р Риджли смотрел мне под юбку. Наши глаза встретились, темно-бордовый платок вновь был извлечен на свет.

---

[1] «Ивнинг стандард», ежедневная лондонская вечерняя газета.

— Да, вы нам подойдете,— сказал он.— В понедельник приступайте.

Еще два года я по-прежнему полагала, что м-р Риджли заглянул мне под юбку случайно. Кроме того, я считала, что он на редкость неуклюж, без конца задевает меня и путается под ногами. Однажды, развешивая в конторе украшения к Рождеству, он повалился с лестницы прямо на меня. Так мы и лежали, растянувшись, на линолеуме, я внизу, он сверху. М-р Риджли все никак не мог встать на ноги.

— Давай немножко так и полежим вдвоем, ладно? — невнятно шептал он мне в шею.— Я устал. Мне нужно отдохнуть. Жена моя отнимает столько сил; она не дает мне спать.

Поскольку я была совсем молода и глупа, я решила, будто он намекает, что жена требует от него всяческой работы по дому, причем до глубокой ночи. Я представляла себе, как м-р Риджли, светя себе фонариком, набивает на чердаке слой теплоизоляции.

12. НА МОРСКОМ БЕРЕГУ

— Господи, я умираю с голоду! — сказал Сидни.— Сколько еще ждать?

Сидни и Руфь сидели под навесом, стоявшим на морском берегу неподалеку от Албуфейры. Полтора часа тому назад они сделали заказ пожилой безумного вида женщине в ситцевом платье. С тех пор они ее не видели. Какой-то малыш подал им хлеб, масло и нарезанные помидоры. После чего ребенок с визгом исчез в морских волнах.

Повар, одетый в капитанскую фуражку, скромнейших размеров плавки и оранжевые пляжные тапки без пяток, явно страдал манией общения. Готовкой он не занимался вовсе. Вместо этого он доставал из колодца воду и опрокидывал ведра на головы и столы посетителей-португальцев. А потом с удовольствием вытаскивал промокших клиентов из-за стола, чтобы те вступили с ним в боксерский поединок. Затем он заключал их в объятия и, громко потребовав бутылку вина, усаживался с ними за мокрый стол выпивать.

Руфь сказала:

— Наверное, это местный обычай, Сид.

Сидни ответил:

— Если он окатит меня ведром воды, я ему врежу. Таков уж обычай *у нас,* в центральной Англии.

Руфь вздохнула и посмотрела на пейзаж, почти столь же прекрасный, как было обещано в рекламной брошюрке. Вот он, перед нею: светло-желтый песок, ярко-оранжевые скалы, голубое небо и синее море. Брошюрка советовала отведать блюда местной кухни в одном из пляжных ресторанов под навесами; цыпленок пири-пири, судя по рекламе, «хорош до того, что слюнки текут».

С крыши из плетеной травы прямо Сиду на голову упало несколько насекомых. Руфь смотрела, как они резвятся у него в волосах, но ничего не сказала. Ей было слишком жарко и не хотелось себя утруждать. В другом конце ресторанчика поднялся из-за стола повар и, откинув назад голову, поставил себе на лоб стакан бренди. Беззубая старуха в черном принялась хлопать в ладоши, и вскоре все под навесом, кроме Руфи и Сидни, вскочили на ноги, стали раскачиваться и топать ногами по нестроганым доскам пола, подбадривая повара.

— В жизни не видела такого позера,— прошептала Руфь.

— Он идет сюда, не смотри! — одними губами произнес Сидни.

Слишком поздно. Повар уже подходил к их шаткому столику на двоих. Вот его волосатое коричневое пузо коснулось белокожей английской руки Руфи.

— О'кей, американцы? — проревел повар.

— Нет,— заорал Сидни.— Не о'кей, мы англичане и хотим получить свою еду.

— А-а-а, англишане, Бобби Чарлтон, да?

— Да! — сказал Сидни, ненавидевший футбол.

— Президент Рейган — да?

— Нет,— сказал Сидни,— Маргарет Тэтчер.

— Уинстон Черчилль?

— Он умер,— ответил Сидни,— *morto.*

— Принцесса Диана?.. «Роллс-ройс»?

— Да, и раз уж ты здесь, старина, пожалуйста, два цыпленка пири-пири с картошкой и салатом и бутылку холодного *vinlo verde.* Если, конечно, это не очень за-

труднит. Я хочу сказать, что мы ждем уже целых два часа, черт побери, наблюдая, как ты тут валяешь дурака, ты, мешок с салом.

Сидни произнес все это с очаровательной улыбкой. Повар снял со лба стакан, выпил содержимое и дружески стукнул Сидни по голове; удар был чувствительный, зато убил насекомых. Повар громким голосом отдал суровые приказания беззубой карге, та схватила пробегавшего мимо цыпленка и, подавив короткое сопротивление, придушила его.

Не прошло и получаса, как куски незадачливого цыпленка уже шипели на вертеле, а на столе лежали ножи и вилки. Перед Руфью и Сидни поставили запотевшую бутыль вина нежно-зеленого цвета. Из моря появился малыш, отправился в кухню и принес им блюдо со свежим, хрустким салатом. Карга поставила перед ними миску, полную маленьких дымящихся картофелин в кожуре. Появились соль и перец, потом колечки тающего масла и, наконец, цыпленок, сочный, с хрустящей корочкой, пахнущий лимоном и чесноком.

Они принялись за еду и съели чуть ли не половину, когда ведро ледяной воды смыло все с их тарелок.

13. КАЛЬКУТТА

Голод — это ощущение пустоты в желудке, но еще хуже — ощущение паники в голове. Я доведена до крайности, и мысль о том, чтобы стащить еду, уже не кажется чудовищной. Я становлюсь хитрой... Я лисица; глаза мои сужаются и устремляются на гроздь бананов, лежащих у самой двери большого магазина самообслуживания, открытого круглые сутки. Продавец, красивый молодой азиат, читает газету на индийском языке. На вид он парень добрый; мне не хочется красть у него. Я захожу в магазин и прошу у него один банан.

Лампы дневного света ярко освещают мои чумазые лицо и руки. Паренек поднимает голову; он встревожен.

— Бананы по двадцать пять пенсов штука,— говорит он и добавляет: — Независимо от размера.

Я выбираю банан, самый крупный в грозди. Я несу его к кассе. Он пробивает двадцать пять пенсов и протягивает руку. Я даю ему два с половиной пенса.

— У меня больше нет денег, я очень хочу есть.

— Извините,— говорит он, качая глянцевитой головой,— вы уже третья сегодня просите.

— Я вам потом верну,— умоляюще говорю я.

— Нет.

— Прошу вас.

— Нет. Уходите.

Я обдираю с банана кожуру.

Не успеваю я сунуть его в рот, как продавец выхватывает его у меня из рук. Я снова вцепляюсь в плод. Банан скользит, размазываясь, из рук в руки, в конце концов распадается на куски и валится на рулоны пробитых чеков на полу. Тихонько охая от отвращения, паренек вытирает липкие руки о коротенький халат.

— Вы грязная корова,— говорит он.— И воровка.

— Я хочу есть,— говорю я.— В жизни еще так не хотела есть.

— И прекрасно, значит, теперь вы понимаете, каково голодным! — кричит он.— Я из Калькутты. Там есть хотят *все*.

Из глубины магазина появляется седой индиец. На лице у него написано, что терпение его вот-вот лопнет. Паренек собирает куски без толку пропавшего банана и бросает в корзину под прилавком.

Мог бы все же отдать их мне.

14. ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА

Дерек Дейкин сидел на супружеской кровати и снимал с себя брюки, носки и туфли. Ему не сразу удалось развязать шнурки, потому что у него тряслись руки. Он встал, открыл дверцу платяного шкафа и осторожно повесил деревянную вешалку с брюками в правой стороне.

Платья Ковентри, аккуратные и приличные, висели слева. Дерек потрогал каждый предмет одежды жены. Потом он уткнулся лицом в рукав коричневого зимнего пальто, которое она носила одиннадцать лет. Он сильно потянул носом и учуял легкий запах «Трампа» (эти духи он купил ей на Рождество). Сладкий аромат мешался с застарелым запахом сигарет, которые она курила.

Он всегда знал, что однажды жена оставит его, но не ожидал, что поводом для ее решения станет убийство.

Она была такая красивая и *хорошая,* думал он. А он был очень некрасивый (даже до того, как почти облысел), и он *не* был хорошим. Он был полон недостатков. Он был злопамятный и слишком много времени проводил с черепахами.

Дерек снял с вешалки пальто Ковентри и надел. Оно было ему в самый раз. Он посмотрелся в большое зеркало на дверце шкафа и, не отрывая взгляда от своего отражения, застегнул пупырчатые пуговки до самой шеи. Потом Дерек сунул босые ноги в коричневые на высоких каблуках лодочки Ковентри. Он проковылял к комоду, нашел косынку и пару перчаток. Надел и их. Не отходя от комода, он попрыскался «Трампом». Он пошарил в ящиках туалетного столика Ковентри, нашел тюбик с остатками помады и мазнул жирной липкой массой по губам. Вернулся к зеркалу и, полуприкрыв глаза, посмотрел на себя. Но все было напрасно. Как ни старался Дерек, не мог он заставить Ковентри явиться перед ним.

Он снял ее вещи и убрал на место. Одновременно он думал: «Мое сердце и впрямь разбито». Он ясно чувствовал, как этот орган, всегда в его представлении связанный с любовью и прочей романтикой, мучительно рвется с привычного места.

— Сердце мое разобьется, и я умру,— прошептал он сам себе.

Не снимая трусов, он надел пижаму и улегся в постель там, где обычно спала Ковентри. Он стиснул ее подушку и прижал к себе, словно это была сама Ковентри. «Ковентри, Ковентри»,— простонал он в гущу курчавящихся утиных перьев, которыми была набита подушка.

У Дерека была привычка перед сном обсуждать с Ковентри происшествия дня. Иногда Ковентри засыпала, не дослушав его до конца. В этих случаях Дерек лежал рядом, смотрел на ее прекрасное лицо и радовался тому, что эта изысканной красоты женщина — его жена.

Иногда он тихонько сдвигал одеяла и простыни, поднимал рубашку Ковентри и глядел на обнаженное тело жены. При этом им двигало отнюдь не желание. В их совместной жизни секс играл роль статиста без слов. Главной роли ему не доставалось никогда. Нет, Дереку было довольно смотреть на нее и наслаждаться сознанием, что она принадлежит ему.

Он не мог жить без Ковентри. Она ограждала его от мира и многочисленных мирских унижений. Возможно, он сегодня умрет во сне. Сердце разрывалось на кусочки, его уже не удержать на якоре. Он отчетливо ощущал, как тянет и щемит оно, стремясь освободиться.

Он представил себе, как Джон, его сын, названивает родственникам. «Плохие новости. Папа умер. Скончался ночью от разрыва сердца». Слезы покатились на подушку, когда Дерек мысленно увидел горюющую родню, осиротелых детей; собственное тело в гробу; сослуживцев в костюмах и черных галстуках у открытой могилы, горько сожалеющих теперь о тех мучениях, которым столь часто подвергали его на работе.

Он живо вообразил двухминутное молчание на следующем заседании Общества любителей черепах. Председатель, Боб Бриджес, нарушит тишину словами: «Дерек Дейкин знал толк в черепахах». Высокая похвала в устах Боба, он *тоже* знал толк в черепахах.

Но лучше всего то, что, услышав о его смерти, Ковентри вернется и упадет ничком на свежую могилу. Она будет винить себя, рвать на себе волосы и раздирать одежды, она не двинется с места, пока ее не уведут силой.

Дерек едва ли не огорчился, когда, открыв глаза, обнаружил, что все еще жив, в спальне ярко горят лампы, а лицо не умыто и зубы не почищены. Он слез с постели и вышел на площадку. Из-под двери ванной пробивался свет. Он подергал дверь; заперто.

— Я скоро,— крикнул Джон.

Дерек в нетерпении прошелся взад-вперед по крошечной площадке. Он поправил несколько картин с паровозами; тут дверь открылась и Джон вышел из ванной.

— Господи, папа, ну и вид у тебя.

— У меня есть полное право на такой вид, не так ли? — сказал Дерек.— Твоя мать совершила убийство и сбежала.

— Я не про то, папа. Просто чудно́ видеть тебя с накрашенными губами.

Дерек сказал:

— Это помада твоей матери. Я...

— Слушай, да не важно. Не нужно ничего объяснять. Все нормально. Сейчас тысяча девятьсот восемьдесят восьмой. Помада — это здорово, и духи тоже.

Джон видел множество американских мелодрам и знал, что́ тут положено говорить и делать. Поэтому он обнял отца и сказал:

— Все нормально.— И заперся у себя в спальне.

Дерек пошел в ванную и стер помаду фланелькой, которой он мыл лицо. Когда губы были вытерты дочиста, он вышел из ванной и постучал в дверь к Джону.

— Джон, это папа. Я хочу все объяснить.

Из своей спальни вышла Мэри. Ее хорошенькое личико распухло и покраснело от бесконечного рева.

— Что случилось? — спросила она.— Что-нибудь слышно от мамы?

— Нет,— ответил Дерек.— Иди спать.

Джон открыл дверь. Он избегал смотреть Дереку в лицо.

— Я не могу заснуть,— сказала Мэри,— я хочу к маме.

Все трое стояли на площадке в ночных одеяниях. Никто не знал, что сказать или сделать. Мэри чувствовала двойную утрату. Уже два года она была безумно влюблена в Джеральда Фокса. Он не знал о ее любви и теперь никогда не узнает.

В конце концов, после неловкого молчания, члены семьи Ковентри разбрелись по своим постелям.

15. В ТРИ МИНУТЫ ВСЕ КОНЧЕНО

ТРЕБУЕТСЯ. Помощница в довольно необычный дом.

Жилье обеспечивается. Предпочтительно курящая. Обращаться лично к профессору Уиллоуби Д'Ерезби.

Но убедительная просьба не беспокоить во время показа телесериала «Жители Ист-Энда».

Гауер-стрит. На доме, увы, нет номера; просьба ориентироваться по большой урне у парадной двери.

Я во все глаза смотрела на объявление профессора Уиллоуби Д'Ерезби, висевшее за стеклом газетного киоска, когда ко мне подошел человек с портфелем служащего и встал рядом. Было пять часов утра. Пустынная черная улица слабо поблескивала. Желтый свет из газетного киоска падал на его черные шнурованные ботинки. Он откашлялся:

— Вы работаете, девушка?

— Да, трубочистом, но обслуживаю собственную трубу.

Он взглянул на меня. У него было приятное глупое лицо. Он был разочарован.

— Извините за беспокойство.

Он повернулся и пошел по улице. Его туфли громко цокали по тротуару.

Он шел, как человек, которому некуда идти. Я держалась поближе к лужице света и наблюдала за ним. Он обернулся и посмотрел на меня. Несколько мгновений мы не сводили друг с друга глаз. Лондон одержал-таки надо мной полную победу. Я обезумела от голода и ужаса. Он снова подошел ко мне, помахивая портфелем. Очень тихо произнес:

— У вас есть куда пойти?

— Нет, а у вас?

— Нет.

— В парк?

— Да, хорошо.

— Не слишком холодно?

— Нет.

Он взял меня за руку; он был навеселе. Спросил, как меня зовут. Я отказалась назвать себя. Он сказал, что его зовут Лесли и он опоздал на поезд. У него не хватало трех зубов. Мы шагали молча, пока не вышли на площадь. Ворота парка были заперты.

— Через забор перелезешь? — спросил он своим тихим голосом.

В ответ я ухватилась за низко свисавшую ветку и взобралась на ограду. Какое-то время я стояла на ней, сохраняя равновесие, чувствуя себя очень удобно в поношенной одежде и тапочках; я готова была прыгать, бегать и кувыркаться в траве.

Он перелезал дольше меня. Лез осторожно, медленно, и я сказала:

— У тебя всего один приличный костюм, да?

— Тот, который на мне,— ответил он.— Я в нем хожу наниматься на работу. Правда, работы я так и не получил,— добавил он. В парке он снова взял меня за руку.— Не люблю темноты,— сказал он.

Мы легли рядышком, а над нами качались деревья. Стал накрапывать дождь.

— Откуда-то пахнет сажей,— сказал он.

— Это от меня,— откликнулась я.

Он снял свою белую рубашку и, аккуратно сложив, убрал в портфель. Он начал дрожать от холода. Я посоветовала ему надеть пиджак.

— Нет,— сказал он.— Мы скоро согреемся.

Несколько мгновений мы тихонько лежали бок о бок под дождем, потом он вежливо спросил, готова ли я начать. Мы начали, продолжили и завершили. В три минуты все было кончено. Он с трудом переводил дух, на его спине светилась в темноте влажная сетчатая майка.

— Что ж, очень было славно,— произнес он, когда мы разъединились и вновь стали двумя отдельными телами.

— Спасибо,— ответила я.

Можно было подумать, что мы говорим про кусок домашнего пирога. Небо стало светлеть, и мы перешли к обсуждению моего гонорара.

— У меня всего-навсего несколько фунтов,— сказал он и принялся выворачивать карманы, как будто я обвинила его во лжи. Для пущей достоверности он раскрыл портфель. Я заглянула в него.

— Можно мне взять сигареты и пакетик конфет? — спросила я.

— Да,— ответил он,— а еще могу дать два фунта.

Он вручил мне монеты, и я прижала их к щеке. Я ела карамель, курила сигарету, а Лесли тем временем рассказывал о своей жене и о том, как сильно он ее любит. Незаметно подкрался день. Стало светло. Мы поднялись с земли.

— Я и не знал, что ты такая прелестная,— сказал он.— У тебя волосы свои?

— Нет, парик,— ответила я и побежала к ограде, взобралась на нее, соскочила и умчалась искать дом профессора Уиллоуби Д'Ерезби.

16. НЕОБЫЧНЫЙ ДОМ

— Фамилия произносится Д'Арби,— прокашлял профессор Уиллоуби Д'Ерезби, глядя на меня с крыльца своего дома на Гауер-стрит.— Слушайте, как вы блистательно чумазы, а? Вам машины нравятся, а, их шум и запах?

— Нет.

— Жаль, а вот я весьма неравнодушен к запаху дизеля, и знаете, милая, я просто на *седьмом небе,* когда под окном кабинета вдруг заскрежещет передачами здоровенный грузовик. Странно, правда?

Со счастливым выражением лица и стараясь набрать в легкие побольше выхлопных газов, он смотрел, как в час пик с ревом несется по Гауер-стрит в обе стороны транспорт, потом швырнул горящий окурок в урну возле подъезда, где уже скопились сотни таких же окурков, и кивком пригласил меня в дом. Он немедленно зажег новую сигарету, закашлял, поперхнулся дымом и сказал, вытирая слезящиеся глаза:

— «Бенсон» курите?

— Да,— ответила я.

— Так я и думал. У меня потрясающий нюх на сигареты.

Его сверхизысканный, аристократический выговор звучал для меня как иностранная речь. Когда он говорил, мне приходилось напрягаться, чтобы его понять.

Я было собралась зайти в кухню, но он, положив мне руку на плечо, остановил меня.

— Вероятно, я должен предупредить вас, что моя жена психолог и дома никакой одежды не носит.

Из кухни донесся дикий смех, потом пронзительный голос крикнул:

— Кончай ерунду городить, Джерард, и тащи ее сюда. Уж голую *женщину*-то она видела и раньше.

— Опять ты ругаешься, Летиция, а ведь еще нет и двенадцати.

Профессор Уиллоуби Д'Арби потянул меня за собой в кухню и подвел к жене; та опустила газету «Гардиан» и открыла взору свою голову, плечи и груди. Несколько мгновений я приходила в себя, но все же выдавила:

— Здравствуйте.

— Садитесь, милая,— сказала она.— Полагаю, вам надо несколько минут побыть в тишине, чтобы прийти в себя. Я вас поразила своим видом, правда?

Я сочла за лучшее промолчать.

— Меня безгранично восхищает моя жена,— бросаясь ей на защиту, сказал профессор.— Понимаете, она поступает так, как ей хочется.

— В рамках закона, Джерард,— добавила Летиция, закуривая огромную сигару.

— Ну, разумеется, в рамках закона,— растягивая слова, подтвердил профессор.

Я оглядела кухню. Мухи полностью завладели раковиной. Пол был завален картонками из-под восточных «обедов на двоих» из магазина «Маркс и Спенсер». В пепельницах высились шаткие пирамиды из окурков сигар и сигарет. В молочных бутылках виднелось нечто похожее на пенициллин.

Я села за кухонный стол, и мои подошвы тут же прилипли к полу. Я старалась не дышать. Где-то явно забило сток. Летиция Уиллоуби Д'Арби принялась читать вслух заметку из «Гардиан», что-то про плохое обращение с детьми. Ее муж внимательно слушал, то и дело повторяя: «Ужасно! Ужасно!» Прискакала отвратительного вида кошка, терзающая полудохлую мышь, и положила свою добычу у ног Летиции.

— Ах, ты только погляди, дорогая! Тэтчер принесла тебе подарочек!

— Спасибо, Тэтчер, старая шельма,— сказала Летиция. И добавила: — О'кей... хватит, это роскошное дитя больше не должно ждать ни секунды.

Она швырнула «Гардиан» на пол и повернулась ко мне. Привстав, чтобы развернуть стул и сесть ко мне лицом, она открыла взору седые волосы на лобке и пятнистые бедра. Я опустила глаза...

— Как видите, мы гнусные лентяи. Хозяйством не занимаемся вовсе. Готовить не умеем. Завзятые курильщики, а я вдобавок хожу и болтаю старыми обвисшими сиськами. Не можем удержать прислугу, правда, Джерард?..

— Не можем *раздобыть* прислугу, дорогая,— сказал Джерард, нежно улыбаясь усатой жене.

Летиция улыбнулась в ответ и продолжала:

— Мы положим вам сорок фунтов в неделю, питание бесплатное, а вы будете держать дом в порядке и время от времени готовить нам поесть... И что же скажете вы нам?

— Скажу «да».

— О, это суперэкстрапотрясон.

— Жена! — пророкотал Джерард.— Чтобы я этого слова больше никогда не слышал. Оно претенциозно, оно имеет обратный эффект, *оно вообще неуместно.*

— Вы видели «Мэри Поппинс»? — живо спросила меня Летиция.

— Четыре раза,— ответила я.

— Я в кино смотрела одиннадцать раз и хрен его знает сколько еще по видео. Я нахожу, что наивная, чтобы не сказать — идиотическая, непритязательность этого произведения совершенно обворожительна.— Голос ее изменился, глаза сузились. Она повернулась к мужу.— И это, черт подери, вполне подходящее слово, оно есть в «Оксфордском словаре английского языка»... Мне кажется! А если нет, так должно там быть. Как тебе отлично известно, я им пользуюсь постоянно.

Она встала. Я закрыла глаза.

— Ну, Джерард, вперед — пошли наверх по этой чертовой лестнице! — сказала она.

Сопя и пыхтя, Летиция с Джерардом подымались передо мной. Я с большим интересом наблюдала, как раскачиваются и покрываются рябью ягодицы Летиции; в общем, похоже было, будто движутся два серых бланманже. Когда мы повернули по лестнице еще выше, к мансарде, я подумала: «Видел бы Дерек, как я иду, почти уткнувшись носом в голый зад Летиции».

От одной мысли о том, что Дерек вообще мог бы очутиться в этом доме, я громко расхохоталась, и мои спутники, повернувшись ко мне, тоже стали смеяться; но никаких пояснений не потребовали.

— Мы сюда никогда не подымаемся,— непонятно зачем объявила Летиция, оглядывая две аккуратные комнатки и не усыпанные пеплом ковры.— Так что можете устраиваться на свой вкус, проигрывать модные пластинки, заниматься модной гимнастикой... или что там у вас, молодых, сейчас принято.

— Мне почти сорок,— заметила я; это было первое сведение, которое я сообщила добровольно.

Они так и не спросили, кто я и откуда.

— Если б ты надела очки, Летиция, ты бы заметила морщинки на лице этой милой девушки. Тщеславие, Летиция, тщеславие.

Профессор Уиллоуби Д'Арби любовно погладил жену по ягодицам. Несколько мгновений они стояли, забыв обо всем, потом Летиция, колыхаясь, забегала по комнате, стала открывать окна и стеклянные люки в потолке, извиняясь по ходу дела за надписи на белых стенах:

УДИРАЙ ПОКУДА ЦЕЛА!
Кэролайн
ОНА ПОЛОУМНАЯ. ОН ПСИХ.
Джоанн
БЕРЕГИСЬ СЫНКА.
Глория

Джерард, улыбаясь, смотрел на надписи.

— Мы привыкли, что нас называют психами, да, дорогая?

— О, да,— улыбнулась Летиция.— К тому же я прежде работала у Ронни Лэнга, известного психоаналитика.

— Так у вас есть сын? — поинтересовалась я.

Лица их помрачнели. Они сразу стали старыми, грязными и вонючими. Плечи их опустились, они завздыхали.

— Кир,— с грустью произнес профессор Уиллоуби Д'Арби.

— С ним очень трудно войти в контакт. У него состояние онтологической тревожности,— добавила его жена.

— Где же он живет? — спросила я, чувствуя внезапное беспокойство.

— Этажом ниже,— ответил Уиллоуби Д'Арби, закуривая новую сигарету и швыряя окурок предыдущей в сверкающую чистотой раковину.— Нам пора на работу. Вот, купите себе все что нужно, порошки для чистки, черные полиэтиленовые пакеты для мусора...— Голос его замер: в домашних делах он чувствовал себя неуверенно. Он порылся в карманах и вытащил пачку пятидесятифунтовых купюр.

— О-о-о, а мне одну можно, дорогой? — спросила Летиция.

Он выдал нам по купюре, и супруги пошли вниз собираться на работу. Сумасшедший Кир не выходил у меня из головы.

Я закрыла дверь мансарды на задвижку и опустилась на кровать. В комод мне убирать было нечего, и в гардероб соснового дерева, под цвет комода, тоже. Я не могла повесить фланельку для мытья лица или красиво положить мыло — у меня их не было. Я просто сидела... да, именно там, в самом привычном для беглецов укрытии — в мансарде.

Я услышала, как хлопнула парадная дверь, и высунулась в верхний люк, надеясь увидеть чету Уиллоуби Д'Арби. Показался профессор Уиллоуби Д'Арби, он переходил Гауер-стрит под руку с хорошо одетой женщиной средних лет. На ней был красивый серый костюм в клетку, с модными подложными плечами, на ногах черные лодочки. Она неуверенно шла на высоких каблуках; в руке у нее был пухлый черный портфель. Она что-то сказала, они оба рассмеялись, она повернула голову. Это была Летиция Уиллоуби Д'Арби, одетая, с ярко накрашенными губами.

Они скрылись из виду, и мне стало очень грустно, что они ушли.

Теперь я осталась в доме одна с Киром.

Я прижала ухо к ковру и стала вслушиваться. Никакого исступленного бормотанья или безумных речей не доносилось с этажа подо мною. Быть может, он беснуется по ночам, а днем спит. Хорошо бы, если так.

Я настолько боялась Кира, что не рискнула понежиться в горячей ванне. Я просто разделась и вымылась в комнате под краном. Одна из моих предшественниц забыла пузырек жидкого мыла от «Маркса и Спенсера». В полном восторге я снова и снова нажимала на клапан, пока пузырек не издал противный звук, сообщая мне, что он пуст. Я смыла с себя сажу, слезы, дождь, пот и сперму Лесли — все следы предыдущей ночи. Я мылась и мылась, до полного и восхитительного возрождения, пока все мои несчастья и все мои грехи не утекли до капли в сливную трубу и не исчезли под землей. Потом надела, за неимением другой, свою грязную одежду и принялась за работу.

Ключа они мне не оставили, но это не имело значения, потому что замок на парадной двери был сломан; в течение дня я приходила и снова уходила: делала покупки, выносила мусор, выстраивала на крыльцо в рядок чистые молочные бутылки. Я безостановочно что-то жевала: фрукты, конфеты, хрустящий картофель, два пирога со свининой. Но газеты я покупать не стала. Стоило прочесть о себе и о своем преступлении — и оно стало бы реальностью. Каждый час я звонила Сидни, но никто не брал трубку.

В кухне я обнаружила плиту, холодильник и посудомоечную машину; все это давно вышло из строя, покрытое коркой грязи или льда. Меня очень радовало, когда моими стараниями они вновь начинали работать, и то и дело я на целых десять минут напрочь забывала о Кире. Все остальное время я беспрестанно оглядывалась через плечо и ждала, что вот-вот мне в спину вонзится топор. Широким ножом я соскребывала застарелый жир со стен кухни, и тут вернулись супруги Уиллоуби Д'Арби. Они ни словом не отметили чудесного возрождения к жизни своих домашних электроприборов. Они были поглощены беседой. Швырнули пиджаки на только что выскобленный кухонный стол, а меня даже не заметили.

— Но, Летиция, ведь гемофилия цесаревича и была причиной возникновения у Александры депрессии, а впоследствии глубокой набожности. Напрасно ты пытаешься доказать, что здесь была обыкновенная послеродовая депрессия.

Летиция расстегнула блузку.

— Распутин воспользовался тем, что бедная женщина как раз переживала гормональный сдвиг. Здравствуйте, милая, как провели день? Здесь что-то очень светло.

Невидящими глазами она оглядела кухню. Сняла юбку.

— Я вымыла окна,— ответила я и встала. Со стеной придется подождать. Я бросила нож в раковину.

— Я его еще ни разу не видел,— сказал профессор Уиллоуби Д'Арби, с изумлением указывая на очищенный пол кухни, выложенный плиткой под старинную терракоту. Расстегивая лифчик, Летиция внимательно разглядывала пол.

— Да видел, конечно; ему уж по крайней мере семь лет. Мы вместе выбирали... в «Хабитате». Когда мы платили за плитку, у одного человека еще случился эпилептический припадок прямо на стопке индийских ковриков,— напомнила она.

— Сейчас припоминаю,— сказал Уиллоуби Д'Арби.— Ты еще сунула ему в рот палочку от леденца и засадила в язык занозу.

Я вынула из духовки кастрюлю и поставила на вычищенный стол. Я ожидала воплей изумления, может быть, даже прыжков от радости, но чета Уиллоуби Д'Арби уселась за стол и без лишних слов каждый плюхнул себе в тарелку мясного жаркого. Сдержанными едоками их не назовешь; они причмокивали губами, соус стекал по подбородкам, его не вытирали и не замечали. Летиция управилась первой.

— А что на сладкое?

— Рисовый пудинг,— ответила я, встала и вынула его из духовки. Пудинг был что надо: под хрустящей коричневой корочкой лежал толстый слой разбухшего в сливках риса. Профессор Уиллоуби Д'Арби быстро сказал:

— Чур мне корочка.

— Нет, чур *мне* корочка! — закричала Летиция.

Каждый принялся тянуть горшочек с пудингом в свою сторону, хотя он был обжигающе горяч.

В кухню вошел Кир.

— Où sont les cigarettes? [1] — спросил он.

— При домработнице говори по-английски, милый,— сказала Летиция.— Она не получила образования.

Кир взглянул на меня без всякого интереса. Это был очень высокий босоногий молодой мужчина чуть старше двадцати лет. Спутанные волосы падали ему на плечи и обрамляли лицо наподобие плоской серой подушки. Темно-синий рабочий комбинезон свободно болтался на истощенном теле. Ногти на ногах давно надо было постричь. Судя по виду, у него едва ли хватило бы сил поднять топор, не то что махать им в бешенстве. Летиция подала ему свои сигареты, он взял их и вышел из кухни, не сказав больше ни слова.

— Он перестал нормально питаться,— нарушив молчание, сказал профессор.

— С каких пор? — спросила я.

— С семнадцати лет, когда мы отправили его в Оксфорд,— ответила Летиция.

— Видите ли, он был поразительно способный ребенок,— перебил ее муж,— но ехать учиться никак не хотел. Пришлось *силой* волочить его из машины и затаскивать в Бейллиол-Колледж. На лестнице около своей комнаты он устроил жуткую сцену, наговорил нечто совершенно *непростительное* матери, обвинил ее в том, что она его бросает.

— До того мы не разлучались ни разу, даже на ночь,— объяснила Летиция.

— За какие-то две недели бедный мальчик докатился до состояния полного умственного расстройства и так до конца и не пришел в себя.

— Но *должен* же он хоть *что-то* есть,— настаивала я.— Ведь если бы он не ел, он бы умер, правда?

Уиллоуби Д'Арби глубоко затянулся сигаретой и, для выразительности постукивая чайной ложечкой по столу, сказал:

— Но он с нами не ест. Он никогда не выходит из дома. Еда у нас не исчезает. И к нему никто никогда не приходит. Так что видите, милая, нам самим непонятно, чем он до сих пор жив, но жив же.

— А к врачу он не обращался? — спросила я.

— О, нет, ни за что,— сказала Летиция.— К медикам у него сугубо отрицательное отношение.

— Он очень плохо выглядит,— отважилась заметить я.— Очень худ и истощен.

— Ну, это ведь неизбежно, правда? — тоном, не допускающим возражений, заключил профессор Уиллоуби Д'Арби.— Раз он не ест.

— Сейчас начинаются «Жители Ист-Энда»,— сказала Летиция.

Они вскочили из-за стола и, опрокидывая в спешке стулья, ринулись из кухни в гостиную. Я сложила посуду в машину и из прихожей набрала знакомый номер виллы, где жил Сидни: 010 351 89 ... Он был дома.

— Сидни? Это я! — прокричала я; у меня камень с души свалился.

— Ковентри? Ко мне только что заходили из полиции. Они считают, что ты убила кого-то из соседей.

— Да, Сидни, это правда. А что они говорили?

— Они хотели знать, звонила ли ты мне. Я им сказал, что у меня весь день телефон был отключен. Мы только встали,— добавил он.— Ковентри, что ты за хреновину сотворила из двенадцатой заповеди, а?

— Двенадцатая? Это какая? — спросила я.

— Возлюби соседа своего, как самого себя.— Он засмеялся в трубку.

— Сидни, я в Лондоне, только никому не говори; обещаешь?

— Даже Дереку?

— Особенно Дереку.

— Не приезжай в Португалию, ладно, Ков? У меня осталась неделя, и я хочу провести ее в свое удовольствие, без осложнений. Я помогу тебе, когда вернусь, но эта неделя моя, о'кей?

— Да как я могу приехать, Сид? У меня ни денег, ни паспорта, ни...

— Прекрасно. Когда я вернусь, позвони мне... в магазин.— Он затянулся сигаретой, потом сказал: — А этот сосед, которого ты кокнула, заслуживал смерти?

Он небрежно так спросил, как, бывает, говорят: «Вам с сахаром?»

---

[1] Где сигареты? *(франц.)*

— Нет,— ответила я.— Он заслуживал хорошего тумака по башке, но смерти не заслуживал. Мне не надо было его убивать.

Тут врезалась какая-то безумная и что-то сказала, я полагаю, по-португальски. Трубка замолчала.

Голос за моей спиной спросил:

— Кого это вы убили?

То был Кир: он жевал свернутый в трубку номер «Прайвит ай». Дожидаясь моего ответа, он проглотил карикатуру. В конце концов я выдавила:

— Знаете, вы очень больны.

— Но с ума не сошел,— ответил он.— Не то, что они.

Он повернулся и стал медленно подниматься к себе. Я положила трубку, пошла наверх и постучала Киру в дверь. Он открыл сразу же.

— Я знал, что это вы.

— Можно войти?

— Нет. Никто сюда никогда не входит.

У него под ногами по голым доскам носились серые перья.

— У вас порвалась подушка? — спросила я, показывая на усыпанный перьями пол.

— Да нет, глупышка, это голубиные перья,— ответил он.— Удивительно, как это вы сразу их не узнали. На севере ведь все держат голубей, разве нет?

— Нет. Так можно мне войти?

— Нет.

— И вы не выйдете?

— Нет. Незачем. Да еще когда у меня есть что курить.

Он закрыл дверь. Одно перышко вылетело из комнаты и опустилось на ступеньку. По дороге вниз я подняла его. На кончике виднелась капля крови.

Я просунула голову в дверь гостиной. Мои хозяева сидели на тахте в форме устричной раковины. Они были поглощены беседой между белыми и чернокожими кокни, которая шла на телеэкране. Я крикнула:

— Пойду приму ванну!

Уиллоуби Д'Арби вскинул руку в гитлеровском приветствии, подтверждая, что слышал меня, и я удалилась. На двери ванной не было запора, но я приперла ее корзиной в восточном стиле, как из пещеры Али-Бабы, и пачкой книг.

Ванну и раковину я вычистила еще днем и промыла вонючий унитаз тремя бутылями хлорного раствора. Но что я могла поделать с драной кокосовой циновкой, коловшей мне ноги, или с напоминавшими географическую карту разводами плесени на стенах? Из горячего крана сонно сочилась вода, в трубах оглушительно грохотало. Я в жизни не бывала в более необычном доме. Почти все не работало; а если и работало, то лишь со *второго* раза, в сопровождении либо шума, либо дыма, либо легких ударов электричества. В этом доме даже на то, чтобы включить свет, требовалась смелость.

Я оглянулась в поисках мыла. На дне банки из-под джема нашла пять слипшихся обмылков. Прошло десять минут, а в ванне было всего несколько дюймов воды; но ждать я не могла. Я сняла грязную одежду и залезла в ванну.

Дома у меня уютная ванная, вся светло-зеленая, цвета авокадо, ее прекрасно оттеняют коричневые и бежевые полотенца. Недавно Дерек ловко смастерил полочку над раковиной. Он лобзиком выпилил всем удобные подставки для зубных щеток... У каждой прорези имя владельца: МАМА, ПАПА, ДЖОН, МЭРИ. Я заметила Дереку, что меня зовут не «мама», но он имя «Ковентри» терпеть не может и не желает его произносить. Он зовет меня «мама» с тех пор, как семнадцать лет назад родился Джон. Однажды Дерек сказал: «На работе из-за твоего имени надо мной все потешаются».

Но я-то знаю, что не имя мое вызывает среди его сослуживцев бурное веселье, а сам Дерек. Знаменитейший по занудству его монолог называется «Как идеально сварить яйцо». Рассказ, который при всем желании занимает не более четырех минут, в устах Дерека превратился в эпопею, а ныне стал легендой и мифом. Все, кто тогда оказался на фабрике поблизости от него, до сих пор вспоминают тот день, когда Дерек прочел свою лекцию о варке яйца. Она оставила в их умах такой же след, как сцена убийства Дж. Р. в очередной серии телефильма «Даллас». Кто-то из его сослуживцев, уходя после Дерековой лекции домой, вроде бы сказал: «Если этот чертов

Дерек завтра снова откроет варежку, я разобью скорлупу на его башке, насыплю ь углубление соли — и так далее».

Надо отдать Дереку справедливость, работа у него такая, что популярности не прибавляет. Он инспектор-ревизор на обувной фабрике «Хопкрофт шуз лимитед». Он обязан следить, как идут дела в различных цехах, и, прицепившись к мастеру, добиваться ускоренного выполнения определенного заказа. Относится он к работе очень серьезно, может не спать от беспокойства, если двадцать пар сапожек «казачок» все еще болтаются в отделочном в ожидании пряжек, в то время как они еще два дня назад должны были поступить в кооперативный магазин.

Мы, бывало, неизменно ходили на ежегодные Обед и Бал, которые давала фирма «Хопкрофт», но нас никогда не сажали за большие шумные столы, где люди явно веселились вовсю. Вместо этого нас устраивали за столиком на четверых с каким-нибудь дряхлым пенсионером и его женой. В прошлом году Дерек проговорил без остановки весь обед, на котором подавали индейку. Он избрал своей темой беременность у черепах. Престарелая чета внимала, не постигая ни слова, как, впрочем, и я.

На работе его прозвали Зануда Дерек. Я знаю это потому, что, когда после обеда наступило время танцев и сотрудники Дерека захмелели от выпивки и от обстановки, раздались крики: «Прочь с дороги: Зануда Дерек идет». Перед нами расступились так, будто должно было проследовать стадо овец. В таких случаях мне становилось жаль Дерека и хотелось его защитить. Я почти что заново влюбилась в него и во время танца поцеловала его в шею. Когда в конце вечера выпустили воздушные шары, я нырнула в толпу, схватила самый большой, какой только удалось достать, и преподнесла его Дереку. Как мать, ублажающая ребенка, с которым никто не хочет играть.

После ежегодного Обеда и Бала мы всегда занимались любовью. Дерек без конца при этом болтал, спрашивал меня про разных мужчин, которые тоже там были. Он все представлял себе, как м-р Сибсон, управляющий (весом в двадцать три стоуна [1]) и я совокупляемся прямо на бальном полу, а его сотрудники отплясывают вокруг.

Я вышла замуж за Дерека, потому что была в него влюблена. Мне было восемнадцать.

17. КОСТЮМ ОТ НОРМАНА ХАРТНЕЛЛА [2] ПЛЮС ПАРУСИНОВЫЕ ТАПОЧКИ

Летиция Уиллоуби Д'Арби резко толкнула дверь ванной комнаты и полетела через корзину и книги на пол. Под ее рукой заскрипела проплесневелая фланелька для лица; она с трудом поднялась на ноги. Я сидела в ванне и красила волосы в темно-каштановый цвет: тюбик с краской входил в комплект «Сделай сам», который я купила днем в скобяной лавке. Хлопья краски летели с головы на мое тело и в воду, алые, как кровь. Летиция открыла рот и заверещала:

— Ради бога, Джерард, иди немедленно сюда! Новая прислуга зарезалась!

После чего она рванулась к артерии у меня на шее и со всей силы надавила на нее своими крупными широкими пальцами.

Не сразу сумела я объяснить чете Уиллоуби Д'Арби, что я стремилась изменить свою внешность, а вовсе не уйти в мир иной. В суматохе я передержала краску на волосах, и теперь они по цвету напоминают огненно-рыжую японскую глазурь. Чета У. Д. одобрила эту резкую перемену в моей внешности.

— Вам надо носить зеленое,— заявила Летиция и отдала мне нефритовые серьги, которые она купила в Индонезии. Они четыре дюйма длиной. Она предложила проткнуть мне уши с помощью штопальной иглы и пробки, но я эту любезность отклонила.

Я уже выбросила свой костюм для чистки труб и теперь хожу в мохеровом костюме от Нормана Хартнелла; в последний раз Летиция надела его в 1959 году, когда у нее был десятый размер. Костюм изысканно мягкий, с благородным синим отливом, хотя, конечно, нельзя сказать, что он особенно выигрышно смотрится с парусиновыми тапочками,

---

[1] Примерно 146 кг.
[2] Модельер одежды для английской королевской семьи.

В ту ночь я часами лежала без сна и думала о детях. Когда я наконец заснула, мне приснилось, что я в тюрьме. В одной камере с Руфью Эллис [1]. Нам было очень весело, и мы выщипывали друг другу брови. Потом, перед самым рассветом, нас вывели из камеры и повесили, и мы умерли. Во сне смерть предстала в виде того же района Темные Тропинки, уходящего в беспредельность. Мы с Руфью отправились искать торговый центр. Но...

Я проснулась в шесть утра и почуяла запах паленого мяса. Я быстро надела костюм от Хартнелла, парусиновые тапочки и отправилась на разведку. За дверью, на верхней площадке запах был сильнее, к нему примешивалась какая-то едкая вонь, от которой у меня запершило в горле. Взглянув вниз, я увидела струйки дыма, выползавшие из-под двери Кира.

— КИР! КИР! ПРОСНИСЬ! ТЫ ГОРИШЬ!

Я барабанила по двери до боли в суставах. Из своих комнат вышли Летиция и Джерард, закуривая сигареты. Я крикнула: «Дым!» — и указала на щель под дверью. Профессор произнес:

— Возможно, бедный мальчик курит больше обычного.

— Это не сигаретный дым, болван. Ломайте на хрен эту дверь.

В конце концов Летиция сама высадила дверь плечом, муж промахнулся и отлетел от косяка, как мяч. Кир сидел на полу, скрестив ноги, и жарил в камине голубя. За решеткой пылала крошечная кучка углей. Кир схватил с решетки длинную вилку, на которой поджаривают хлеб, и ткнул в голубиную шею, проверяя готовность. Он мрачно посмотрел на нас снизу вверх.

— Надеюсь, вы не собираетесь присоединиться ко мне,— сказал он,— на четверых тут никак не хватит.

— Не волнуйся, старина,— сказал Уиллоуби Д'Арби,— голубей я никогда не любил, предпочитаю вальдшнепов.

— Родной мой,— сказала Летиция, ероша всклокоченные волосы сына,— как же все-таки приятно видеть, что ты ешь. Принести тебе желе из красной смородины?

Кир выплюнул перо и захныкал:

— Я ем не потому, что хочу *есть*. Я это делаю на благо общества. Если б не я, Лондон бы уже кишел... Эти твари, знаете ли, прямо набиты всякими паразитами.

— Да, разумеется, но ты проследи, чтобы они *как следует* пропеклись, хорошо, милый? — сказала Летиция в некотором смятении разглядывая похожие на кнопки глаза голубя. Кир вновь переключился на стряпню, и после долгой паузы профессор сказал с несколько преувеличенной сердечностью:

— Что ж, малыш, предоставим тебе спокойно позавтракать.

Когда мы, выходя, столпились у двери, Кир произнес:

— Это у меня не завтрак, это гражданский акт.

Единственными предметами взрослой жизни в комнате Кира были сигареты, зажигалка и пепельница. Даже на вилке для поджаривания хлеба красовалось изображение Винни-Пуха. Не комната, а музей. Не хватало лишь плетеной веревочки поперек двери и таблички на стене:

ТИПИЧНАЯ СПАЛЬНЯ ПЯТИЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА
ОБРАЗЦА 1969 г.

— Много ли в голубе питательных веществ, дорогой? — спросила Летиция, выйдя из комнаты Кира.

— Протеин, разумеется, есть,— ответил профессор Уиллоуби Д'Арби.— Я поговорю с Арчи Дунканом, он диетолог.

Вот и все. Они отправились вместе принять ванну.

Мне припомнился фильм ужасов, который я однажды видела. Группа туристов на две недели сняла готический замок. В первый же вечер во время обеда разразилась сильнейшая гроза. На обеденный стол рухнула люстра. На лестнице свалилась статуя. Потухли все свечи, а потом необъяснимым образом зажглись сами собой. Тем не менее туристы весело разошлись по своим спальням с привидениями и безмятежно проспали ночь под звуки органа и вопли, доносившиеся из подвала.

У четы Уиллоуби Д'Арби и у туристов из фильма было много общего: и те, и другие являли собой крайний случай философского отношения к жизни. Если бы Кир

[1] Последняя женщина, повешенная по обвинению в убийстве. В 1965 г. смертная казнь в Англии была отменена.

родился в районе Темные Тропинки, он был бы под надежной охраной общественности. Кто-нибудь из всеведущих соседей обязательно сообщил бы куда надо, что он душит на подоконнике голубей.

18. Я ПОКИДАЮ НЕОБЫЧНЫЙ ДОМ

Я помешивала кашу, когда в кухню вошел профессор Уиллоуби Д'Арби и сказал:

— Я смотрел утреннюю передачу по телевидению. Вас зовут Ковентри Дейкин, не так ли?

— Да.

— В программе новостей показали вашу фотографию. На снимке вы целитесь из какого-то огнестрельного оружия, и вид у вас очень свирепый.

— Из оружия? — недоуменно переспросила я.

— Вы невероятно хорошенькая на снимке. На вас еще такое прелестное платье в синюю и белую клетку.

— Ах, *это,*— сказала я,— это же пугач; я снялась ради шутки. У сына был день рождения...

— Полиция утверждает, что вы весьма опасны. Они предупреждают, что людям не стоит подходить к вам близко.

— О боже!

— Если верить нашим стражам в синей форме, вы на мужчин затаили злобу.

Я покачала головой.

— Но убили же вы человека?

— Да.

— Значит, вы и впрямь *склонны* к насилию?

Каша вспухала на дне кастрюли, грозя пригореть. Рука моя ослабела; деревянная ложка сама запрыгала по кастрюле, брякаясь о стенки.

— Вы хотите меня выдать? — спросила я.

— Не *выдать,* но, к сожалению, выдворить. Не то чтобы я был шокирован, милая. Для меня убийство — дело сугубо заурядное; при всем том, однако, я не могу укрывать вас в своем доме. Я профессор судебной медицины. Работаю в ежедневном контакте с полицией. Вы же понимаете, в каком я положении?

— Да.

— Летиция *крайне огорчена.* Она надеялась, что вы проживете у нас много лет. Сейчас так трудно с домработницами, особенно если учесть ее культ обнаженного тела и чудачества Кира.

— Когда я должна уйти?

— Лучше всего немедленно, так мне кажется, а вам? Мне очень жаль.

Каша подгорела, и я подала им пшеничные батончики «уитабикс». Они ели в непривычном для них молчании. После того как я составила тарелки в посудомоечную машину, чета Уиллоуби Д'Арби вручила мне шубку из леопарда и банкноту в пятьдесят фунтов.

— Это было crime passionnel? — спросила Летиция.— Если да, то суд может отнестись к вам снисходительно.

— Что такое crime passionnel?

— Это по-французски, милая. Означает: кокнуть лицо, с которым вы сошлись или намерены сойтись. Кокнуть из-за того обыкновенно, что это лицо сходится с кем-то другим. Судебная практика у лягушатников учитывает тот факт, что, когда железы внутренней секреции находятся в крайнем возбуждении, здравый смысл у человека улетучивается и он склонен к несколько сумасбродным действиям.

— Да нет, ничего подобного,— возразила я.— И речи быть не могло о том, чтобы... сойтись.

— О боже,— сказала Летиция.— В таком случае я бы *не стала* сдаваться в полицию; а ты, Джерард?

— Жена! Ты предлагаешь мне поставить себя на место убийцы? Или ты забыла, что моя профессия *и есть* расследование убийства?

— Я только прошу тебя войти в положение бедной девочки.

— Я вхожу, вхожу. Но нельзя же все-таки спрашивать меня, что бы я сделал или куда бы пошел, если б вдруг *я* совершил убийство.

— Но я не...

— Надо полагать, я удрал бы в Шотландию и попросил бы убежища у моего старого друга Баффи в его замке на вершине холма. У него в низине парк на двадцать тысяч акров... и ров с водой. Наших стражей в синей форме видно было бы за три мили. Все проще простого: поднять мост, сделать вид, что все уехали за покупками, и сиди себе у камина в библиотеке с томиком Троллопа и со стаканом лучшего шотландского виски. Ну-с, Летиция, ты довольна? Вот что сделал бы я. Славный старина Баффи, такой порядочный малый.

— Муж, заткни пасть. Незачем Ковентри слушать про этого жуткого занюханного старого пьянчугу, которого ты называешь другом. Она торопится уйти, правда, милая?

Я пожала им руки. Потом они оба поцеловали меня, я открыла дверь и двинулась в путь. Профессор вышел на крыльцо помахать мне на прощанье, а Летиция, будучи голой, осталась дома и махала, открыв крышку почтового ящика в двери.

Позднее осеннее солнце светило по-сумасшедшему, как напоказ: било в глаза, ослепляло шоферов, озаряло грязные окна. Я вспотела в своей леопардовой шубке. В парке на Расселл-сквер ярко пламенели в бодрящем воздухе деревья, и я бросила две фунтовых монеты на то место в траве, где я лежала под Лесли, у которого не хватало зубов.

В углу парка было маленькое кафе. Вокруг павильона среди деревьев стояло несколько столов и стульев. Все это было непохоже на Англию, напоминая скорее субботний день за границей, как я себе его представляла. Я заказала чашку кофе и поджаренную булочку и тут же вспомнила, что у меня есть только банкнота в пятьдесят фунтов.

— Полагаю, у вас вряд ли найдется разменять?..— Я протянула большую купюру.

— Правильно полагаете, дама. Это вам не чайная в отеле «Риц». Я тут не богатых обслуживаю.

Я пошла туда, где минуту назад я бросила две фунтовые монеты, нашла их, одну подняла, вторую оставила на месте, вернулась в кафе и протянула монету человеку за прилавком.

— Господи, дама, ну и нюх у вас на денежки, а? — засмеялся он.— Прямо так и прыгают из травы к вам в руки.

Очень странное чувство я испытывала, сидя на солнце, покуривая сигарету, попивая кофе и сознавая, что мне никуда не надо идти и ничего не надо делать. И муж не торопит меня допивать поскорее и приниматься за дела. И дети не канючат, не раскачивают стол и не проливают кока-колу. Думаю, что это странное чувство и было счастьем.

Как только передо мной всплывало лицо мертвого Джеральда Фокса, я гнала от себя этот образ.

Было всего лишь 10.30 утра, впереди простирался целый день. Я собиралась провести его как богатая женщина: купить туфли, проколоть уши, подобрать комнату в гостинице. А тем временем до чего же приятно было сидеть под деревьями и смотреть по сторонам. Я встала, когда солнце зашло за тучу. Человек за прилавком крикнул:

— Пока, ваша милость!

Я поплотнее запахнула шубку и вышла из парка.

19. САПОЖКИ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ВСЮ ЖИЗНЬ

— Что-нибудь в плане пятидесятых? — спросила продавщица в обувном магазине.

— Каких пятидесятых?

— *Пятидесятые,* то есть тысяча девятьсот пятидесятые,— сказала она, глядя на мой костюм и шубку.— Хотите такие, «смерть тараканам»? — И она показала мне остроносые туфли на тонких, как спицы, каблуках-гвоздиках.

— «Шпильки»,— сказала я,— в мое время их называли «шпильками».

— Ваше время — это когда? — спросила она.

— Тысяча девятьсот пятьдесят седьмой,— ответила я.

— Ах, так у вас не просто *тоска* по пятидесятым, да?

— Нет, я сама из пятидесятых. Покажите мне, пожалуйста, удобные сапоги, невысокие, до лодыжки. Такие, чтобы можно было бегать.

Я в восторге от сапожек. Смотрю на них не отрываясь и трогаю мягкую кожу. Мне нравится, что шнуровка плотно обхватывает ногу. Я могу пробежать в них десять миль, станцевать целый балет или взобраться на скалу.

— Я хочу остаться в них,— сообщила я девушке. Она взяла пятидесятифунтовую банкноту, старые парусиновые тапки, а мне дала тридцать фунтов, один пенни и полиэтиленовый пакет, в котором лежали мои позорные старые тапки. Сапоги настолько мягкие, что они уже приняли форму моих ног. Сквозь их кожу я словно вижу собственные стопы и едва заметные шишки у больших пальцев. Я в восторге от сапожек. Я решила купить им тюбик черного гуталина. Эти сапожки спасут меня от тюрьмы, найдут мне работу и изменят всю жизнь.

20. СИДНИ ВЫНЫРИВАЕТ ПЕРЕВЕСТИ ДУХ

— Руфь?
— Да.
— Это Ковентри!
— А, привет, Ков, как ты?
— Прекрасно, а ты?
— У меня живот болел, из-за сомнительного цыпленка. Но сейчас все в порядке. Как Дерек, дети?
— Не знаю.
— Почему?
— Я ведь не дома.
— Не дома?
— Нет, я в Лондоне. Разве Сидни тебе не говорил?
— Что не говорил?
— У меня кое-какие неприятности.
— Попалась в магазине самообслуживания?
— Нет. Так он тебе не сказал?
— Ты что, ушла от Дерека?
— Поверить не могу, что он тебе не сказал.
— У тебя рак, ты в больнице?
— Нет.
— Ты сбежала с другим мужчиной?
— Нет.
Руфь вздохнула.
— Слушай, я приведу Сидни. Он в бассейне, с трубкой плавает, может быть, придется подождать, пока он вынырнет перевести дух.
— Руфь, я звоню из автомата, давай быстрее.
Я совала в щель монету за монетой, в общей сложности на три бесценных фунта, пока наконец Сидни не взял трубку.
— Ков? Извини, не мог отыскать сигареты.
— Привет, Сидни.
— Слушай, Ков. Я же тебя просил оставить меня на неделю в покое.
— Я боюсь. Я шла мимо автомата, а у меня полно пятидесятипенсовых монет. Я купила сапожки, и продавщица дала мне пять фунтов серебром.
— Слушай, перестань плакать; ты же знаешь, как я от этого расстраиваюсь.
— Ты почему не рассказал Руфи?
— Потому что хочу хорошо провести здесь время, Ков. Я не желаю сидеть остаток отпуска на краю бассейна, глядя, как Руфь покрывается экземой. У нее уже и так нервы ни к черту из-за португальских шоферов. Ты бы только посмотрела на этих психов; прямо как в рекламе: «Увидеть Алгарви и умереть».
— Ты когда в Англию вернешься, только *точно?*
— В воскресенье днем. Аэропорт Гатуик. Звякни мне в магазин в понедельник, ладно?
— У меня кончились монетки.
— Держи хвост пистолетом, Ков.
— Ладно, и ты тоже.
— Мой-то всегда пистолетом.— Он засмеялся и положил трубку.
Не надо было мне звонить; безрассудная расточительность. Единственное мое оправдание — я люблю брата и хотела услышать его голос. Если бы Сидни кого-нибудь убил и нуждался в моей помощи, я прошла бы всю Португалию и Францию, переплыла бы любое море, какое легло бы между нами. Я отдала бы ему последний пен-

ни. Я врала бы и мошенничала, воровала бы и дралась, лишь бы прикрыть его от беды. Мне очень грустно, что Сидни не любит меня с той же силой.

В кармане моей леопардовой шубки осталось двадцать пять фунтов и один пенни. Обычно я очень аккуратно трачу деньги. Я *точно* знаю, куда идет каждый пенни. Вернее, шел. На работе Дерек выразил желание получать зарплату еженедельно наличными, а не переводить ее в банк, как предпочитало большинство его сослуживцев. Каждую пятницу вечером мы с ним усаживались за кухонный стол и раскладывали деньги на кучки. Дерек щелкал на калькуляторе и указывал мне, сколько куда положить. Потом я заносила эти цифры в красную книгу расходов. Их общая сумма никогда не превышала восьмидесяти одного фунта и шестидесяти семи пенсов, составлявших чистый заработок Дерека за неделю. Скажу без ложной скромности: я была отличной хозяйкой. Я замечательно готовила дешевые потроха. Все, что только можно было как-то еще использовать, мылось, стиралось и вновь пускалось в дело. На это уходила уйма времени и сил. В магазине самообслуживания я знала все цены назубок. Я учитывала их сезонные колебания. В январе на распродажах я покупала простыни и наволочки, сама чинила себе туфли, вязала, шила и вышивала нашу одежду. Я сама рисовала поздравительные открытки на дни рождения и на Рождество (и конверты сама клеила), пекла хлеб, пироги и печенье. Мы сами выращивали овощи и цветы и сами стригли друг друга. Когда мы заболевали, то просто ждали, пока поправимся. В красной книге расходов не было графы «рецепты». Мы экономили на электричестве и отоплении. В нашем доме отопление включалось не ранее середины октября, а выключалось неукоснительно в Страстную Пятницу. Дерек ездил на работу на велосипеде, и в багажной сумке у него всегда лежал пакет с бутербродами. У телефона стояли маленькие песочные часы на две минуты.

У нас не было кредитных карточек, и мы ничего не брали в долг. Членский взнос Дерека в Общество любителей черепах составлял всего четыре фунта в год (сюда входила и оплата информационных бюллетеней, выпускавшихся дважды в год). Я почти не пользовалась косметикой или лаком для волос. Видеосистему нам подарила моя мать, отчаявшись освоить ее. Мебель большей частью Дерек мастерил сам; поэтому трудно было найти в нашем доме хоть одну вещь, которая бы не качалась, не опрокидывалась или нормально открывалась.

Последний раз мы были вместе в отпуске пять лет назад. Это была автобусная поездка по Шотландии. В автобусе детей тошнило, а когда нас всех перекусала мошкара, не было денег на мазь, успокаивающую зуд. Приходилось клянчить у пенсионеров, из которых состояла наша группа, чтобы они выдавили нам хоть чуточку из своих тюбиков.

В нашем доме деньги были богом. Но это был строгий, сердитый бог. Суть была не в поклонении деньгам, а в трепете перед ними. Поэтому мы вели очень скромную жизнь, лишь материально обеспеченные люди могут позволить себе любые прихоти.

— Только бы дети перестали *расти,*— говаривал Дерек.

Ведь именно дети подрывали наши финансовые ресурсы. Без каких-то *вещей* они просто не могли жить. Мы с Дереком исключали самую мысль о том, что наши дети не будут счастливы. Понимаете, мы с Дереком оба были в детстве несчастны. Потому мы и поженились: чтобы произвести на свет себе подобных и тем самым вновь попытать счастья.

Вместо того чтобы проявить благоразумие и подыскать гостиницу подешевле, я пошла и проколола себе уши на Риджент-стрит. Я поразилась, как это больно. Девушка, которая специальным автоматом вставляла серьги, сказала мне, что ни в коем случае нельзя вынимать из ушей крошечные золотые кнопки. Кроме того, через каждые четыре часа я обязана вращать их в отверстиях и протирать мочки спиртом, если только не хочу получить «серьезного заражения». После этого она прочла мне лекцию об охране живой природы. Я объяснила, что получила леопардовую шубку в подарок, но она отрезала, что «важен сам принцип». Говорила она все это так, словно до нее этого в жизни никто не говорил.

— Не понимаю, как вы можете расхаживать в шкуре убитого животного,— заключила она, поскрипывая кожаным костюмом. Пришлось ждать, пока уши у меня перестанут кровоточить; тем временем я согласилась, что это бессердечно с моей сто-

роны, чем весьма ее ублажила. И тут у меня вырвалось любимое выражение моей матери, я не успела удержать его:

— Нужда заставит...

— Что вы хотите сказать?

— Хочу сказать, что мне нечем больше согреться,— ответила я.

Выйдя на улицу, я тут же вынула из ушей золотые кнопки и вдела нефритовые серьги. Летиция была права, с моими оранжевыми волосами они смотрелись прелестно. Теперь у меня оставалось всего пятнадцать фунтов и один пенни; я проявлю благоразумие и немедленно стану подыскивать номер в гостинице.

21. ДЖОН ИДЕТ К БРАДФОРДУ

В классе живописи художественной школы для трудящихся Джон Дейкин и Брадфорд Кинз стояли над мольбертами друг против друга. Вокруг виднелись седые и лысые макушки: пенсионеры, склонившись, усердно копировали Тициана.

— Я пришел узнать насчет мамы.

— Кто ваша мама?

— Лорен Макскай,— солгал Джон.

У Брадфорда затрепетало сердце от тысячи электрических разрядов. Он даже дышать перестал. Кровь отхлынула от его лица. Он потерял всякое самообладание. Ему было двадцать шесть лет.

— Вы знаете, где она? — спросил Джон, размышляя про себя, неужели этот неряха с длинной нелепой бородой, заляпанной красками, в полдень уже напился.

Впервые встретив Лорен Макскай в январе, Брадфорд в считанные минуты страстно влюбился в нее. С тех пор он жил одним желанием: видеть ее и слышать ее голос. В перерывах между их невинными встречами, дважды в неделю, жизнь лишалась радости; по ночам он лихорадочно писал картины: Лорен в своем черном костюме, Лорен обнаженная, Лорен... Лорен... Лорен... Лорен.

— Нет, я не знаю, где она.— Голос Брадфорда предательски задрожал.— Она пропустила два занятия. Адреса она так и не дала, вот я и не знал, где и как ее искать.

В его голосе слышалась одержимость. Джон отнес ее за счет его художественной натуры; всем известно, что художники — полоумные, вечно оттяпывают себе уши или бросают приличную работу и сбегают на острова, где живут среди тучи туземцев.

— Она забыла здесь свою работу,— сказал Брадфорд, которому хотелось задержать подольше сына Лорен. Ему необходимо было узнать о Лорен все что можно, дабы потом обсасывать эту информацию, разжевывать и переваривать ее, вернувшись к себе в запущенную квартирку на улице, застроенной стандартными прокопченными двухэтажными домами. Брадфорд поднял одну из картин.

Джон с презрением посмотрел на мазню матери.

«Ребенок бы лучше сделал»,— подумал он.

Брадфорд тоже посмотрел на картину.

«Настоящий примитив,— подумал он,— подлинный, тонкий и наивный».

Лорен Макскай / Ковентри Дейкин написала, по просьбе Брадфорда, «Небеса». Изображена была медленно текущая река, по течению и против плыли лодки с гребцами. Берега реки были утыканы фруктовыми деревьями и дубами. Плакучие ивы томно клонили ветви в воду. Берега заросли нарциссами, дикой геранью, наперстянкой, лютиками и маргаритками. Похожая на Лорен женщина раскинулась на подушках, усыпанных драгоценными камнями. Она читала книгу. На зеленой траве лежала коробка шоколадных конфет «Черная магия». В плетеной корзине у ног женщины виднелись бутылки вина и головка эдамского сыра. В небе светили сразу и солнце, и луна, и звезды. Там плавало всего одно облачко. Вдалеке виднелись город, гора, море, маяк и объявление, на котором меленькими буквами было написано: «Наконец-то всеобщая занятость, минимальная заработная плата 200 фунтов в неделю».

— Ты знал, что мама умеет рисовать? — спросил Брадфорд.

— Нет,— ответил Джон. «*Не умеет* она рисовать,— подумал он,— дерьмо все это».

— Так мать, значит, не дома? — спросил Брадфорд.

— Да, куда-то уехала.

— Понятно. Я и не знал, что у твоей матери есть дети. Она замужем?

— Да, за папой. За Дереком Макскай.

— Понятно; так тебя зовут?..
— Джон Макскай. У меня есть сестра, Мэри Макскай.
— Твой отец американец?
— Нет.
— Вот как; а у твоей матери акцент... вы где живете?
— Недалеко отсюда.
— Где именно?

Брадфорд до этого понапрасну перерыл всю телефонную книгу. Никаких Макскаев там не было.

— Мне пора в колледж.— Джон повесил на плечо парусиновую сумку. Брадфорд увидел, что на ней несмываемыми чернилами написано:

ПРИНАДЛЕЖИТ ДЖОНУ ДЕЙКИНУ
ПЕРЕУЛОК БАРСУЧЬЯ РОЩА, 13
РАЙОН ТЕМНЫЕ ТРОПИНКИ

Чернила расплылись, но адрес навечно врезался в память Брадфорда Кинза. Записывать его не было нужды.

22. КАРТОН-СИТИ

Вы слыхали о Картон-сити? Я там живу.

Он поблизости от вокзала Ватерлоо, а до Темзы от него рукой подать. В иных обстоятельствах он был бы идеальным pied à terre [1], но в данный момент в нем явно не хватает некоторых удобств, а именно: крыши, стен, окон, пола, горячей и холодной воды, уборной, ванны, электричества, газа, входной двери. В Картон-сити нет зданий, есть только дома, построенные по принципу «сделай сам» из отходов чужой жизни. В ход, конечно, идут листы картона, пластика и все что угодно, лишь бы отгородиться от холода и удержать тепло своего тела. Жители Картон-сити отличаются необыкновенной осведомленностью; они постоянно читают газеты. Предпочтение отдается серьезным газетам большого формата, поскольку их теплоизолирующие свойства значительно выше.

В Картон-сити вопросов не задают; вам могут по доброй воле сообщить какие-то сведения, а могут и отмолчаться. Нередко от историй, рассказанных по пьяной лавочке глубокой ночью, утром, при трезвом свете дня, решительно отрекаются. Единственное, что объединяет всех жителей города,— это их бедность и стремление выжить. И еще одно, по-видимому: неумение обращаться с деньгами. Ведь потому *и я* здесь очутилась. Если бы вместо того, чтобы есть по три раза в день, я сняла номер подешевле, возможно, я бы сумела найти работу; но без точного адреса никто не желал меня нанимать.

Кроме того, когда моя фотография появилась в центральных газетах, я вынуждена была скрываться. На последние деньги я купила в магазине «Вулвортс» темные очки. Ношу их днем и ночью. Мне уже несколько раз помогали перейти оживленный перекресток, думая, что я слепая или полуслепая. Я здесь сплю уже третью ночь. У меня шикарная подруга по имени Додо. Она ровно на один месяц старше меня. Мы друг друга оберегаем. Другие жители частенько проявляют склонность к шумным — и с применением силы — выяснениям отношений.

Додо обучает меня, как не пасть жертвой естественного отбора. Мы живем впроголодь, но все-таки живем. Какое-то время назад у Додо было нервное расстройство. Она тогда решила, что она начальник полиции в Манчестере; так сказал ей Бог, и она поверила Богу и явилась в полицейское управление Манчестера требовать форму, соответствующую должности начальника полиции. Ее, естественно, вышвырнули вон, но она приходила опять и опять, дважды в день в течение двух недель; полицейским она в конце концов надоела, и они надежно упрятали ее.

Додо нравилось в психиатрической лечебнице.

— Беситься можно было как угодно,— говорила она.— И там было тепло и спокойно, и чудный парк, где в хорошую погоду мы гуляли.

Все осложнилось, когда Додо стало немного лучше — когда Господь перестал беседовать с ней. Врачи решили, что Додо уже достаточно здорова, чтобы жить с дру-

---

[1] Здесь: временное пристанище *(франц.)*.

гими людьми. Ее отправили в полулечебное заведение, где ей пришлось жить с еще пятью полусумасшедшими. Один из них был маньяк-поджигатель, его особенно подмывало предавать огню гостиницы. Ему не давали ни спичек, ни зажигалок, ни каких-либо воспламеняющихся предметов, к нему каждую неделю приезжал работник социальной службы, чтобы духовно поддержать его, но, проявив полную неблагодарность — так говорили многие,— он все-таки умудрился поджечь полулечебное заведение. Один сосед, ранее подписавший протест с требованием убрать эту обитель из своего района, разбудил постояльцев и помог им выбраться из огня. Совершая благое дело, он мысленно сочинял письмо в местную газету:

«Уважаемый сэр, в полном соответствии с тем, что я предсказывал...»

Вместо того чтобы проявить благоразумие и явиться на перекличку, Додо погрела руки над пламенем и сбежала. Утром пожарные долго ворошили головешки в поисках ее обгорелого трупа.

Если верить Додо, то родом она из семьи, весьма знаменитой в политических кругах. Она *говорит,* что брат ее — тот самый Николас Катбуш, бывший член кабинета министров, запятнавший свою репутацию. Я не верю ни единому ее слову. Это простонапросто перепев старой песни о начальнике полиции в Манчестере.

По ночам мы с Додо приникаем вплотную друг к другу, как непорочные влюбленные. Нам необходимо тепло и только *тепло.* Теперешний наш домик сделан из коробов от двухкамерного холодильника и отлично теплоизолирован полистироловыми прокладками; земля в Лондоне зверски холодная. Днем, когда мы уходим попрошайничать, наш сосед по Картон-сити — его зовут Джеймс Спитлхаус — присматривает за нашим картонным укрытием. В ответ на эту любезность мы с Додо кладем к его ногам съедобные объедки. У мистера Спитлхауса непредсказуемый характер и кошмарное уголовное прошлое. У него на счету свыше ста судимостей за кражу пожертвований в пользу бедных из церковных кружек.

— А разве *я сам* не бедный? — с вызовом заявляет он.— И ни заседания комитета, ни посредники не нужны. И незачем ломать голову, как распределить дарованные деньги, так ведь? Потому что *я* их уже получил.

Он с восторгом вспоминает об уютных камерах и о тюремной дружбе. Он скучает даже по параше. А главный предмет его гордости — что он девственник.

— До меня еще никто не дотронулся, ни мужчина, ни женщина, ни дикий зверь. Последней, кто касался моих срамных частей, была мать, но и то через посредство губки.

Мистер Спитлхаус не одобряет тесного сближения двух полов. Он надевает четверо трусов на тот случай, если вдруг первая встречная женщина поддастся искушению взять его силой. Мы с Додо пытались успокоить его на сей счет, но он не желает слушать.

Полиция смотрит на Картон-сити сквозь пальцы; нас тут слишком много, и нам некуда больше деться. Мы только мешаем. Жители пригорода, дважды в день проходящие мимо — утром с вокзала Ватерлоо, а вечером обратно на вокзал,— нас ненавидят. Они ненавидят нас с такой силой, что не в силах на нас смотреть. Если кто-то из наших попадается им на пути (а здесь много пьяниц), они просто переступают через лежащего и идут дальше. Они нас ненавидят за то, что у нас много свободного времени. Времени у нас вдоволь, мы не знаем, куда его девать, а им его не хватает, вечно не хватает.

Сегодня неделя как умер Джеральд Фокс.

23. HOMO IMPECUNIOSUS[1] — ТРУДЯЩИЙСЯ

Профессор Уиллоуби Д'Арби оторвался от отчета о вскрытии тела Джеральда Фокса.

— Ну давай, приятель, выкладывай,— приказала Летиция.— Нечего держать язык за зубами; что там *сказано?*

— Сказано: «обширное кровоизлияние в мозг».

— Вызванное пластмассовым солдатиком? — насмешливо фыркнула Летиция.

— Да. Я улавливаю ноту сомнения в твоем голосе, жена.

— Это просто курам на смех. Кто производил вскрытие?

---

[1] Человек безденежный *(лат.).*

— Роджер Скиллет. Знавал его, когда учились в Оксфорде. Лентяй был отпетый, поэтому я сомневаюсь, чтобы за тридцать с чем-то лет работы в провинции его способности к дедуктивным рассуждениям значительно развились. Очень мило с его стороны тем не менее, что он прислал мне эти бумаги.

Еще накануне в обед Летиция ушла из своей конторы на Тависток-сквер и попыталась раздобыть игрушечного пластмассового солдатика. Однако продавец сообщил ей, что их больше не выпускают, тогда Летиция обзвонила друзей, из тех, кто не исповедует пацифизма и у кого есть маленькие дети. В конце концов одного солдатика она разыскала. И теперь он восседал на кухонном столе, среди объедков и грязной посуды. Над серьезной розовой мордашкой свисал беретик, лихо сдвинутый набекрень. ручки застенчиво сложены над бесполым пахом. Руководствуясь научными интересами судебной медицины, Летиция сняла с него крошечную маскировочную форму и лилипутские сапожки.

— Он очень мил, правда, муж? — Летиция взяла в руки голую куклу и помотала ее ножками.— Ведь *ты* же ни за что не убил бы большого мужчину, правда, миленький? — обратилась она к кукле.— Да конечно, нет. Ты же такой крохотуля, правда?

Она повернулась к мужу:

— Труп Фокса еще не увезли?

— Нет, пока в холодильнике. Очевидно, его печень представляет огромный интерес для ребят из лаборатории по изучению последствий алкоголизма. Собственно, прочитав отчет, я понять не могу, каким образом его организм вообще еще действовал. Жуткое состояние здоровья для человека, которому нет и сорока: легкие ни к черту, варикозные вены, геморрой, блокированные склеротическими бляшками артерии, молоткообразные пальцы стоп, тонкий череп, пониженный интеллект, хрупкие кости, перхоть, засорение околоносовых пазух, полипы в носу, эпидермофития стоп, ожирение, пиорея, инкарнация ногтей на пальцах стоп... небольшой ушиб основания черепа, нанесенный нашим милым солдатиком, но никакого серьезного вреда он не причинил. По-моему, наша Ковентри вовсе и не убила мистера Фокса, Летиция. Думаю, он себя убил сам. Апоплексия... Ободряющая новость, а?

Летиция игриво стукнула мужа голым солдатиком по затылку.

— Стал бы ты во все это вникать, если бы Ковентри была страшна как смертный грех, а, муженек?

— Возможно, и не стал бы, женушка,— признался У. Д.

24. ДЕРЕК ВЫТИРАЕТ ПЫЛЬ

Однажды, вернувшись с работы, Дерек увидел, как вдова Фокса Кэрол отпирает дверь своего типового дома и, собрав четырех дочек в стайку, загоняет их туда. «Мужественная малышка,— подумал он.— Надо пойти выразить ей соболезнование». Со времени ее тяжкой утраты прошло восемь дней. Дерек подошел к книжному шкафу и поискал «соболезнования» в справочнике по этикету викторианской эпохи под названием «Манеры и правила поведения в приличном обществе, составленные представителем аристократии», но там ничего не было сказано относительно того, как принято себя вести в случае, когда муж убийцы встречается со вдовой убитого.

— Будет видно по ходу дела,— решил Дерек; он вышел из дома, пересек улицу и постучался в дверь дома № 12. Ему открыла четырехлетняя Керсти Фокс.

— Твоя мамочка дома?

— Да, она в уборной.

Дерек сказал Керсти, что подождет у дверей. Наверху дернули за цепочку, раздался шум хлынувшей воды, и, тяжело ступая по узкой лестнице, Кэрол Фокс стала спускаться вниз. Когда она заметила Дерека, она было отпрянула назад, будто Дерек собрался налететь на нее с кулаками.

— Вы меня смерть как напугали,— сказала она.

Дерек поморщился; у нее был резко выраженный местный акцент. Собственный акцент Дереку почти удалось искоренить.

— Миссис Фокс, я просто хотел сказать, как мне бесконечно жаль...

— Да ладно, чего там.

— Вы, видимо, в полной депрессии.

— В чем?

— В депрессии.

— В чем?

— *В депрессии.*

Кэрол кивнула, полагая, что, согласившись, она быстрее от него отделается.

— Как малышки это перенесли?

Она понизила голос:

— Я им еще не сказывала, они думают небось, что он пока в отпуске, в Пензансе.

— Как, разве они не видели?.. Своими глазами? Разве они не оказались свидетелями зрелища?.. Того, что случилось...

— Ну, да, ясное дело, видали, но они ж не знали, что он помер. Они уж привыкли, что он на полу валяется и глаза закрыты. Он, знаете, сильно попивал.

— А *вы-то* как себя чувствуете?

— Кто, я? О, я хорошо; без него-то спокойно. Ваша жена мне прямо услугу сделала. Он же скоро меня бы прикончил. Я его ненавидела.

— Можно мне зайти на минутку, миссис Фокс?

— Но только я сегодня не успела прибраться,— сказала Кэрол, будто Дерек был инспектором из Министерства Чистых Домов.

— Мне нужно у вас кое-что узнать.

— Ладно.

Кэрол провела его в комнату, отшвыривая ногами с дороги различные предметы одежды. Маленькие дочки Фокса сидели на полу и ели из мисок кукурузные хлопья. На экране телевизора крупным планом показывали операцию на сердце. Дневная программа. Кэрол и Дерек сели за стол в дальнем углу комнаты. Дерек посмотрел в окно на сад Фоксов — серо-коричневый участок земли без единого живого растения. Бордюр составляли лишь поломанные кукольные коляски.

— Вы читаете какую-нибудь газету, миссис Фокс?

— Кто, я? Нет, *он* вот читал, а у меня с детьми хлопот полон рот.

Дерек вкратце сообщил Кэрол, что бульварные газеты намекают, будто у ее покойного мужа была связь с Ковентри. Знает ли Кэрол что-либо об этих предположениях?

— Кто, я? Да я ж говорю: у меня забот полон рот. Он каждый вечер уходил, но... недаром говорят, жена узнает последней, так ведь? — Кэрол отвела глаза к экрану и смотрела на пульсирующие артерии, пока Дерек не заговорил снова:

— Я хотел бы что-нибудь для вас сделать, миссис Фокс.

— Для кого? Для меня? А что?

— Вскопать сад... полки смастерить... у меня хорошие руки. И теперь вам понадобится мужчина в доме, не так ли?

— Кому, мне? С чего это? У меня его и *раньше* не было.

— У вас все в порядке в финансовом отношении?

— Это в смысле денег, что ли?

— Да.

— Теперь даже *лучше*. Я уж и страховку выправила. Да вообще, что ни возьми — теперь куда лучше, правда.

Дерек почувствовал себя слегка обманутым. В кармане брюк у него лежал пакетик бумажных салфеток. Он рассчитывал выхватить их в тот миг, когда убитая горем вдова начнет рыдать. Более чем трезвый взгляд на вещи м-с Фокс смешал его планы. Он решил, что она потрясена, глубоко потрясена. В дружелюбном молчании они наблюдали, как ассистент хирурга зашил грудную клетку и тщательно привел больного в порядок. Когда передача закончилась, Дерек пошел в бедно обставленную кухню и заварил для Кэрол и для себя крепкого чая. Потом он помыл посуду и вытер пыль. Это было самое малое, что он мог для них сделать.

25. КАК ОВДОВЕЛА ДОДО

В Картон-сити никто, даже очумевшие от пьянства алкоголики, не мог урвать восьми часов полноценного сна. В полночь мы с Додо устраиваемся на ночлег в своем коробе, но в три часа обычно просыпаемся. И тогда ничего не остается делать, кроме как осторожно выкурить вдвоем сигаретку и поболтать.

Додо рассказала мне, как три года тому назад она овдовела.

— Мы с Джефри ехали на машине из загорода; мы гостили у Тобиаса Марроуз-Калландайна... прелестный дом... Среди английских достопримечательностей он в списке второго ряда. Георгианский стиль, или древнеримский, или еще какой-то. Шестнадцать неотапливаемых спален, непотребная собака, чудесное озеро — в общем, пилили мы себе по дороге в своем «порше»; я ехала по эстакаде Хаммерсмит *очень осторожно.* Мы хохотали до колик над тем, как провели эти два дня: бедный старый Марроуз-Калландайн заявил, что его жена больна и не может встать с постели, чтобы принять гостей и все такое. Я, естественно, вызвалась пойти к ней и отнести ей еды,— ну, сама понимаешь. Марроуз-Калландайн решительно отверг мое предложение и был при этом очень категоричен. Сказал, жена выразила желание, чтобы на все эти дни о ее существовании просто забыли. Это было в пятницу, в общем, на чем я остановилась?.. Да... В воскресенье под утро я в полном отчаянии рыскала по дому в поисках обогревателя. Ну, сама посуди — середина зимы, а на весь дом *один* дровяной камин. Захожу я в темную спальню, включаю свет и вижу: в постели лежит Люсия Марроуз-Калландайн. У нее два синяка, сломан нос и выбито четыре зуба. Несчастная корова принимается хныкать, говорит, что любит Тобиаса и прощает его; и не принесу ли я ей плитку шоколада «Марс» или что-нибудь еще, потому что она полтора дня не ела.

Конечно, я тут же иду с этим к Тобиасу, и он говорит: «Бедняжка Люсия, она в пятницу утром вспылила, посудомоечная машина потекла или что-то в этом роде, и *она себя избила*».

Вот мы с Джефри и хохотали над тем, что сказал распустивший руки засранец. Тут Джеф перегибается назад и достает бутылку кока-колы. Он поднимает ее ко рту. Вдруг перед самой машиной выскакивает кошка, я торможу, и бутылка влетает Джефу в горло, и все вокруг в крови.

Джеф умер. Не долго мучился. Моя мать — такая снобка. Я позвонила ей из больницы, чтобы сообщить. Она сказала: «Кока-кола? Боже мой, это попадет в газеты? Разве нельзя было сказать, что это была молвернская минеральная вода?»

Такие истории нас развлекают, хотя и не всегда веселят. Я рассказала Додо про себя почти все — кроме своего имени и того, что я убийца.

26. ПОКАЗАНИЯ КЭРОЛ ФОКС

КЭРОЛ: Часов пять было. Я только-только свет в комнате зажгла.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: В той комнате, что выходит на улицу?
КЭРОЛ: Да. Слышу, он вошел. Уже по тому, как дверь открыл, я сразу поняла, что он не в духе. Потом слышу, бесится, оттого что коврик защемило дверью. В общем, входит он в комнату, и, ясное дело, напившись.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Как вы узнали, что он выпил?
КЭРОЛ: Потому что он был пьяный.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Благодарю вас. Продолжайте, миссис Фокс.
КЭРОЛ: Ну, девчонки поскорее убрались с дороги. Они же не дуры — знали, что добра не жди; а он стал ходить по комнате и все придирался, как всегда. Разорался на меня, что часы встали. Потом опять зашумел, чего игрушки детские по полу раскиданы. Потом разорался насчет Дженнифер, ей семь, что она, дескать, не его. Понимаете, у нее волосы рыжие. Остальные-то темненькие, в него. Потом совсем разбушевался и стал говорить, что они *все* не его, потому что у них не его нос, и велел мне написать имена всех мужчин, с которыми я водилась.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я полагаю, что под выражением «с кем водилась» ваш муж подразумевал... мужчин, с которыми вы спали?
КЭРОЛ: Нет, я ни с кем не спала...
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Конечно нет, я уверен, что вы... Продолжайте.
КЭРОЛ: Он принес немножко хорошей почтовой бумаги «Базилдон Бонд», мне ее на Рождество подарили, взял ручку с серванта, толкнул меня на тахту и велел записать имена тех мужчин. Все время орал, будто я шлюха, и он точно знает, что я сплю с электриками, которые приходили снять показания счетчика.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: И ваши дочки все это время находились в этой же комнате?
КЭРОЛ: Да, сидели в уголке, у телевизора. Они так напугались, что ни двинуться, ничего не могли. А мне куда деваться? Я сидела, придумывала имена мужчин и писала

их на листке. Сказать по правде, я ведь была между двух огней. *Не напиши* я ни слова, он бы мне врезал за то, что не слушаюсь его, а *напиши* я...
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Дать вам... стакан воды... салфетку?
КЭРОЛ: Нет, все нормально. Извиняюсь, у меня же есть платок-то. Он прямо как с ума спятил, стал орать, как он пойдет и вышибет... извиняюсь, тут он ругательное слово сказал... из каждого в этом списке. Он говорил, что я недостойна носить благородное имя Фоксов и что я-де была для него как камень на шее, из-за меня он, мол, и в жизни ничего не добился. Лицо у него стало как свекла, и глаза прямо вылезли на лоб. Я видела, у него вены на шее набухли и как-то вроде двигались. Я еще подумала: «О Господи, Кэрол, он же тебя убьет!» Обычно-то, когда он вроде как не в духе, он все вокруг разносит вдребезги...
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы хотите сказать: он бросает вещи?
КЭРОЛ: Швыряет что ни попадя. В меня, бывало, не только вещи летели... В тот раз, правда, не стал. Вот я и поняла, что мне достанется как следует; так оно и вышло. Начал пинать меня по ногам, пока я сидела. Потом поднял меня за волосы и стал колотить по лицу. Дочки, дочки... они... ну, они...
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Успокойтесь, миссис Фокс. Пожалуйста, не торопитесь, успокойтесь сначала.
КЭРОЛ: Ну, так дочки, они плакали и кричали: «Папочка, не надо!» — и все такое. Потом он схватил меня за горло. Он был прямо как по телевизору показывают; совсем спятил. Душил меня и на меня же вопил. Тут входит Ковентри, она через дорогу живет, и бьет его солдатиком, и он сразу свалился, и из ушей кровь пошла.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ковентри, то есть Ковентри Дейкин, сказала что-либо перед тем или после того, как ударить вашего мужа?
КЭРОЛ: Сказала что-то такое вроде: «Хватит, сыта тобой по горло», а потом ударила; а уж как ударила, ничего не говорила. Просто выбежала, и с тех пор ее никто не видал. Ну, никто из тех, кто здесь живет.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Миссис Дейкин жила напротив вас?
КЭРОЛ: Да, в доме номер 13.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: У вас шторы не были задернуты?
КЭРОЛ: Я тогда их еще не задернула, нет.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Значит, миссис Дейкин могла наблюдать события, предшествовавшие смерти вашего мужа?
КЭРОЛ: Не знаю, я извиняюсь... Повторите, пожалуйста?..
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Миссис Дейкин видела, как муж избивает вас?
КЭРОЛ: Наверное. Она у себя занавески-то не задернула. Она уж не первый раз видела, как он на меня набрасывается.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Миссис Фокс, вы сказали, что ваш муж тут же упал и из ушей у него пошла кровь. Кровь пошла у него из ушей *сразу же* или прошло какое-то время, прежде чем вы заметили кровь? Подумайте хорошенько, пожалуйста.
КЭРОЛ: Сразу и пошла, как только голова о ковер стукнулась. Даже забрызгала мой коврик из зебры перед камином. Голова-то от удара аж подскочила, понимаете, тут и кровь побежала.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Благодарю вас, миссис Фокс. Вы дали прекрасные показания. И заседатели, и я глубоко сочувствуем вам.
КЭРОЛ: Спасибо. Если бы не Ковентри, наверное, лежать бы теперь *мне* мертвой вместо него. Она мне услугу сделала.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Последние замечания свидетельницы присяжные не должны принимать в расчет. Благодарю вас, миссис Фокс.
КЭРОЛ: Извиняюсь. Спасибо, ваша честь... извиняюсь, господин следователь. Мне садиться на то место, где я до того сидела?

27. СУББОТНЕЕ УТРО В АЛГАРВИ

Потные тела Сидни и Руфи, разъединяясь, издали громкий чавкающий звук, вроде того, какой слышится, когда с блюда поднимают сильно пропитанный бисквит. Руфь покраснела и спрятала лицо под влажной простыней. Сидни зажег сигарету и откинулся на спину, пристроив на влажном животе пепельницу в португальском народном стиле. Это была у них последняя возможность спокойно, не торопясь заняться утром

любовью. Завтра в это время все должно быть упаковано, и они, встав ни свет ни заря, будут уже гнать в такси сломя голову в аэропорт.

Зазвонил стоявший у постели телефон. Сидни знал, что добра от него не жди, поэтому он не стал брать трубку. Звонит, и звонит, и звонит. Руфь сунула голову под подушку.

— Ну, пожалуйста, Сидни.

— Нет, пускай себе звонит.

— Может, это моя мама.

— Не может, я дал ей не тот номер.

— Нарочно?

— Да.

— Ты ужасный, вот ты какой. Правда, Сидни.

Сидни залюбовался телом жены — она встала с постели и, неслышно ступая по выложенному плитками полу, принялась искать кимоно. Телефон продолжал звонить.

— Сидни, возьми трубку, у меня уши болят!

— Нет. Господи, какой потрясающий у тебя загар, Руфь. Спина — как поджаристая корочка. Нет-нет, не надо ничего надевать, я хочу смотреть на тебя.

— Ты две недели ничего не делал, только смотрел на меня. Даже противно. У меня иногда мурашки от тебя бегают. Ты просто ненасытный. Ты ненормальный, Сидни. Я же понимаю: дело совсем не в том, приятно на меня смотреть или нет, правда? ВОЗЬМИ ТРУБКУ!

— Нет, иди-ка в постель.

— Нет.

— Нет?

— Да. Нет!

Руфь прежде уже участвовала в игре «усмирение непокорной». Один-два раза она даже получила от игры удовольствие, но сейчас, когда звонит телефон, а от нее после любовных утех еще пахнет как из аквариума, она играть не желает. Она говорила «нет» всерьез. Она вышла из спальни в гостиную, где окна были закрыты ставнями, и сняла трубку с другого телефона, более затейливой формы.

— Алло?

— Миссис Ламберт? Миссис Руфь Ламберт?

— Да.

— Говорит инспектор сыскной полиции Слай, миссис Ламберт. Я просто хотел спросить, не получили ли вы каких-либо сведений от вашей золовки Ковентри?

— Да, она мне звонила на этой неделе. Вы полицейский?

— Она вам сказала, где она?

— Да, в Лондоне. Она попала в аварию?

— Ваш муж рядом, миссис Ламберт?

— Да.

— Можно мне с ним поговорить?

Сидни все еще лежал на постели. Зажав в руке зеркальце, он рассматривал основание своего торчащего члена.

— Сидни! Господи помилуй, чем ты *занимаешься?*

— Всего-навсего проверял, нет ли у меня рака яичек.

— Не лги, Сидни, ты *любовался* собой. Кто это станет так улыбаться, когда проверяет себя насчет рака? Тебя требуют к телефону; полицейский... Что-то там с Ковентри.

Сидни снял трубку с аппарата у кровати.

— Сидни Ламберт у телефона.

— Это инспектор сыскной полиции Слай, сэр. Полицейский участок на Траскотт-роуд. Из того, что сообщила ваша жена, следует, что вы скрывали от меня определенные сведения. Когда вы возвращаетесь в Англию?

— В воскресенье к вечеру,— сказал Сидни. Его член стремительно опускался.

Он тоже положил трубку.

28. КАК ЖИВЕТ ДРУГАЯ ПОЛОВИНА

Додо хочет сходить домой и взять кое-какую одежду. Она хочет, чтобы я пошла с ней. «Домой» — это туда, где живет в Лондоне ее брат. Нам надо быть поосторожнее, потому что, как считает Додо, власти за ней охотятся. У нее нет бумажки, удостоверяющей, что она вполне нормальная. Я всегда боялась всяких властей. Хоть я пешеход, но трепещу перед инспекторами дорожного движения. Сама не знаю почему.

Сегодня утром мы идем попрошайничать; Додо говорит, что суббота всегда благоприятный для этого день. Потом, ближе к вечеру, мы намерены заняться переустройством своего картонного дома, а позже, когда станет темно, мы пойдем на Флад-стрит, где живет с женой Николас Катбуш. Детей у Катбушей нет: у Николаса непостоянные гены, а его жена занята собственной карьерой.

Вот как мы попрошайничаем. Мы всегда обращаемся к женщинам нашего возраста и того круга, к которому от рождения принадлежала Додо. Предпочитаем мы утомленных на вид женщин с большими хозяйственными сумками. Найти их не сложно. Мы встаем у дверей дорогого универмага типа «эксклюсив» (когда я была маленькой, то думала, что зайти в такой магазин, единственный в нашем городе, может только *член* какого-нибудь клуба или общества). Мы с Додо обязательно держим в руках сумки из универмага «Харродз». На ночь мы кладем их под себя, чтобы выпрямить складки на полиэтилене. Когда нам на глаза попадается вконец уморившаяся женщина, мы начинаем действовать. Додо разражается слезами и страдальчески кричит:

— О Боже мой, там же было все — кошелек, записная книжка «Филофакс» в кожаном переплете, рецепты, инсулин.— Потом, уже добившись внимания измотанной женщины (в девяти случаях из десяти), Додо восклицает: — Ах, нет! Не может быть!.. Фотографии детей!

Моя роль состоит в том, чтобы утешать Додо, просить женщину помочь; когда она уже участвует в спектакле, ахнуть и произнести:

— Додо, а *мой кошелек,* помнишь? Я еще попросила положить его к тебе в сумочку. Теперь нам даже такси не на что взять.

Тут Додо должна снова разрыдаться (это у нее на редкость здорово получается). Как правило, наши замотанные женщины выкладывают деньги на такси без прямых просьб. В среднем два фунта. Неужели они полагают, что на два фунта можно хоть куда-то уехать?

До сих пор самое большее, что нам удавалось наклянчить за день,— это двадцать восемь фунтов. Само собой, мы разделили их поровну. Я на свои купила теплое белье и носки. Додо же просадила деньги на бутылку водки и бельгийские шоколадные конфеты из дорогого универмага «Либертиз». Я знаю, что это не может продолжаться вечно. Я не хочу так жить.

— Дорогая,— говорит Додо,— мы же оказываем *им* услугу. Представь, как они счастливы, что сумели помочь двум временно нуждающимся женщинам. И для них это забавная история, правда? Есть что рассказать своему придурку.

Додо всех мужчин называет «придурками»; они ей не очень-то нравятся. А мне нравятся... в общем.

Мы брели вдоль набережной, пока не стемнело; в невидимой воде поплыли отражения освещенных зданий; тогда мы отправились на Флад-стрит. Где мы только не ходим. Додо нравится показывать мне интересные дома и прочие достопримечательности. Я уже знаю, как какой мост называется. Сегодня, когда мы шли по Вестминстерскому мосту, я заставила Додо остановиться и долго глядела на город, простирающийся вверх и вниз по течению. Додо обозвала меня провинциалкой, но сама посмотрела вокруг и сказала: «Милый старый Лондон»,— и мы пошли дальше. Нам понадобилось четыре часа, чтобы добраться до Флад-стрит. Я была разочарована. Я ожидала, что дома здесь будут больше. Додо ведь говорила, что ее брат был когда-то членом кабинета министров. Или она сказала, мастер по кабинетной мебели?

К одному из домов подъехала машина, вышел шофер и открыл заднюю дверь. Из машины вылез высокий смуглый мужчина. В руках он держал огромный букет темно-красных роз.

— Это Ник,— сказала Додо.— Похоже, он совершенно обобрал цветочный магазин «Интерфлора».

Тихо урча, машина отъехала, и Додо подбежала к брату:

— Ник!

Он отскочил от нее и с трудом всунул ключ в скважину на блестящей черной двери.

— Не сегодня, Додо. У нас *люди,* и я опаздываю.

— Мне только нужна кое-какая одежда. Это моя подруга.— Мы стояли на пороге, уже ступив одной ногой в дом, подобно настырным свидетелям Иеговы.

— Додо, сегодня у Кэролайн *день рождения,* у нас *званый ужин.*

— Тогда я хочу поздравить ее с днем рождения, Ник. Пусти меня, пожалуйста.

— Додо, ты просто безмозглая корова.

— Ублюдок.

— Сука.

К нам вышла высокая худая женщина в шуршащем платье.

— Нек? Это ты, Нек? Что это у тебя?

— Привет, Кэро. Додо, отвали. *Отвали, Додо!*

— Ах, Додо, неужели это ты, дорогая?

— Да. Это Додо, чтоб ее, явилась нам все испортить. Ах да, эти цветы для тебя, дорогая. С днем рождения!

— Спасибо. Додо, как ты прекрасно выглядишь! Ты по-прежнему живешь среди подонков? Входи и закрой дверь. Это кто, подруга?

— Да, мы в одной коробке живем. Я зову ее Яффа, в честь этого сорта апельсинов — из-за ее волос.

— Здравствуйте, Яффа. Меня зовут Кэролайн. Вы, полагаю, уже познакомились с моим мужем.

Мы втиснулись в крошечную прихожую. В конце коридора слегка приоткрылась дверь. Мне была видна сверкающая люстра, свечи, серебро, крахмальная скатерть и половина платья, открывавшего плечи. Мне были слышны голоса с безупречным выговором и довольный смех. До меня долетал запах еды, горящих углей и цветов. Звуки классической музыки напомнили о радиопередаче «Любимые мелодии семьи» и о телеведущем Клиффе Мичелморе.

Дверь в конце коридора отворилась, и в ней возникло хорошо известное лицо. Оно не было знаменитостью, не участвовало в телеиграх, но почти каждый вечер оно появлялось на экране телевизора. Оно имело какое-то отношение к правительству, закону, к полиции... к министерству внутренних дел. Судя по выражению лица, оно было счастливо видеть Додо.

— Ну, провалиться мне на этом месте, если это не Додо! Мы только что о вас говорили. Кэролайн сказала, что вы теперь вполне здоровы.

— О, вполне. Вы жутко выглядите, Поджер.

— Это все новая должность; ваш братец виноват. Если бы он тогда не влип, я и сейчас еще дремал бы у себя в Минсельхозрыбе.

— Да, мне жаль, что тебе пришлось уйти с работы, Ник,— сказала Додо.

Тем временем мы уже шли к сверкающей огнями комнате.

— Сам виноват, идиот,— сказал Ник,— незачем было таскать документы отдела МИ-5[1] в бар «У Граучо».

— Беда не в том, сынок; глупо было *оставлять* их там. Вот на них и наткнулся Ян Хислоп[2].

Все долго и весело смеялись, и мы вошли в столовую.

— Додо! — вскричали одновременно четыре хорошо одетых человека. Началась суматоха, так как каждый хотел ее обнять. Ник, надувшись, стоял в стороне. Стряхнув с себя обнимавших, Додо представила меня:

— Это Яффа, мы живем в одной картонной коробке.

Новый взрыв смеха. Я пожала каждому мягкую руку, а потом Кэролайн увела меня к себе почистить перышки. Додо осталась внизу сплетничать с друзьями.

По стенам двух комнат были развешаны туалеты Кэролайн. Она велела мне побыстрее выбрать, что приглянется. Тем временем ванна уже полнилась душистой пеной.

---

[1] Секретная служба, служба безопасности.

[2] Редактор журнала «Прайвит ай».

Я выбрала вечернее без бретелей платье из зеленого атласа, с жестко накрахмаленной юбкой в оборках и дюжиной тюлевых нижних юбок. У каждой был свой оттенок зеленого, как у графств на карте Ирландии.

— Сколько тебе лет? — спросила Кэролайн, когда я, вымывшись и одевшись, расчесывала волосы.

— Сорок завтра,— сказала я.

— *Да?!* Елки-палки!

Я положила щетку назад, на забитый туалетный столик; надо было знать французский на «отлично», чтобы разобраться во всех этих баночках и флакончиках.

— Берите, берите, Яффа. Это все беспошлинная дребедень. Не очень-то романтично, правда? Мой муж, когда опаздывает на самолет, врывается, как бык, в магазин беспошлинных товаров и хватает с парфюмерного прилавка бутылку, любую. «Надо ведь жену порадовать,— думает он,— надо ей привезти подарочек».

Она внимательно взглянула мне в лицо.

— Вы не пользуетесь замазкой?

— Извиняюсь?

— Косметика; никакой косметики?

— Нет.

— Елки-палки! Вы хотите сказать, у вас просто такое лицо?

— Да.

Она вывела меня из комнаты, и мы стали спускаться по лестнице. Она положила мне на плечо свою белую руку.

— Кстати, Яффа, не обижайтесь, но никогда, никогда не говорите «извиняюсь». «Извиняюсь» говорят торгаши в бирмингемских бистро.

На лестнице к нам подошла Додо. Она тоже преобразилась, как и я. Черные волосы зачесаны назад и стянуты в узел. На ней бархатное платье с открытой спиной. Шея чистая. Кэролайн выразила неодобрение.

— Опять черное, Додо?

— Ах, ну не могу же я надеть *цветное,* Кэролайн. Я еще отнюдь не настолько счастлива.

— Пора тебе успокоиться по поводу Джефа, До. Тому уже три года, как он гниет в гробу.

— Пойдем завтра навестим Джефа,— обратилась ко мне Додо.— Завтра ведь воскресенье?.. Да, и отнесем Джефу цветов.

— Завтра брат прилетает, я хочу его встретить,— сказала я.

— Успеем и то, и другое.— Додо сжала мне руку, и мы вошли в столовую.

Весь обед собравшиеся заставляли Додо рассказывать смешные истории про Картон-сити. Почти все, что она говорила, было неправдой. Я редко смеялась вместе со всеми. Ничего забавного в Картон-сити нет. Он вполне реален.

Известный политик задал Додо вопрос, который я мечтала ей задать с самой первой встречи.

— Почему я живу в Картон-сити, а не в этом доме? Что ж, давайте разберемся.

Она долго не отвечала, мы ждали; наконец она сказала:

— Мне было бы *невыносимо* жить в этом доме; Кэролайн надевает резиновые перчатки, перед тем как вытереть собственный зад, так ведь, Кэролайн?

— Я не могу понять, как...— Кэролайн плотно сомкнула губы.

— Так или иначе,— продолжала Додо,— официально я все еще ненормальная; меня разыскивает полиция.

— Своим присутствием она нас *всех* компрометирует,— сказал Ник,— особенно вас, Поджер. Если пресса...

Поджер склонился над столом; его локоть пришел в соприкосновение с ломтиком плода киви, одиноко лежавшим на шестиугольной тарелке, но никто не стал предупреждать его об этой опасности; он был чересчур важной персоной.

— Почему вас разыскивает полиция, Додо?

— Потому что я убийца.

Общий вздох изумления чуть не задул все свечи.

— Я убила Джефа.

— Перестань выкобениваться, Додо. Следователь сам сказал, что Джеф погиб от несчастного случая... Господи! У кого не лопнет терпение от *такой* сестры?

Ник взывал к сидящим за столом, но все смотрели на Додо, ожидая новых откровений.

— Джефа убил тот чумной кот,— растягивая слова, сказала Кэролайн.— Этот кот и на свет появился, чтобы Джеф умер.

Додо хлебнула шампанского и сказала:

— Да, на самом деле мне надо было убить кота, я сделала неверный выбор.

После этого все, кроме меня, расслабились. Я по-прежнему была в напряжении после мучительных раздумий о назначении многочисленных вилок и ножей. Да еще артишоки и полоскательницы для рук. Да шутки. Да намеки. Мне было душно от страшной, страшной близости к известному политическому деятелю. Кое-какие интересные разговоры я все-таки слышала. Они на многое открыли глаза. Это было Злословие с большой буквы. Если верить собравшимся, все епископы и начальники полиции — фигляры; член королевской фамилии нюхает кокаин; судьи — «старые маразматики»; высшие чины армии, воздушных сил и флота — соответственно «не в себе», «психопат» и «хлюпик-подлипала»; а любовница Поджера сейчас в Лос-Анджелесе, где у нее из бедер и коленей отсасывают жир, чтобы она могла носить новомодные короткие юбки.

За кофе одна из приглашенных, Аманда, спросила:

— Поджи, когда вы со своими помощниками проявите здравый подход к безработным?

Я вздохнула с облегчением.

— Вы же *сами* их *портите,* дорогой, тем, что вкладываете все эти деньги прямо им в чумазые ручки. Нечего удивляться, что они не желают работать. Кто бы пожелал на их месте?

— Чушь! — Это сказала Додо.

— По-моему, *не* чушь, Додо.— Аманда улыбалась.— Почитайте-ка объявления о найме на страницах «Таймс». Полно всякой работы, стоит лишь захотеть. Разве я не права, Поджер?

Поджер неохотно поднял свое знаменитое лицо. Не глядя Аманде в глаза, он произнес:

— В главном вы, разумеется, правы, хотя...

— Видишь, Додо. Министр со мной согласен.

Кэролайн переходила с места на место вокруг стола, снимая гостей фотоаппаратом «Полароид». Поджер притянул мою голову к себе и небрежно положил руку на мое голое плечо. Его указательный палец был в четверти дюйма от моей левой груди. Во время вспышки он приоткрыл рот, изображая непринужденную дружескую беседу; очевидно, он привык, что его фотографируют, и уже безошибочно знал, когда нажмут на спуск.

В двенадцать часов Кэролайн объявила конец своего дня рождения и начало моего. Все дружно пропели:

С днем рождения вас,
С днем рождения вас,
С днем рожденья, милая Яффа,
С днем рождения ва-ас.

Додо заснула, уронив голову на стол, и все заговорили:

— Боже, неужели так поздно? Пора, пора идти.

Но никто не ушел, все остались болтать.

АМАНДА: Говорите о Гитлере что хотите, но кое в чем он разбирался. Он умел правильно расставить приоритеты.

КЭРОЛАЙН: Вы заметили, у нас за столом нет ни одного жида. Вот удивительно!

Смех.

ПОДЖЕР: Слушайте, мы жутко напоминаем третий рейх.

Громкий смех.

АННА *(журналистка):* Меня уже тошнит от вида черных физиономий в универмаге «Харродз», причем по обе стороны прилавка.

Лай одобрения.

ДОДО: Я не могу жить в этом доме, потому что я коммунистка. Мое самое заветное желание — увидеть когда-нибудь ваши страшные головы на острие пик. И выставят их... где мы их выставим, Яффа?

Я: На Вестминстерском мосту.

Молчание.

Кэролайн сказала:

— Ну вот что, Додо, я думала, ты сумеешь нас позабавить часок-другой, но ты уже становишься утомительной. Я вызову вам машину. Картон-сити, да? Вероятно, вам придется подсказать шоферу дорогу.

Мы пошли наверх переодеться, но Кэролайн поднялась следом и сказала мне:

— Возьми зеленое платье себе, глупая северная простофиля. Неужели ты думаешь, я надену его, после того как в нем побывало твое мерзкое, потное пролетарское тело?

Додо сжала пальцы Кэролайн и стала гнуть их назад. Кэролайн завизжала, как школьница. Прыгая через две ступени, примчался Ник. Он подбежал к женщинам и расцепил их. Его лицо страшно исказилось.

— Убирайся из моего дома, ты, коммунистка паршивая, и никогда больше не приходи, никогда!

Гости толклись на площадке, пытаясь растащить брата и сестру, но Додо успела поцарапать Нику лицо, причем до крови. Подобные сцены можно видеть и слышать в районе Темные Тропинки в любой вечер. Незначительная разница состояла в том, что здесь визжащие, дерущиеся и обливающиеся кровью люди имели деньги, власть и положение и знали, что их не арестуют за нарушение общественного порядка на Флад-стрит. Хотя в кухне и сидел полицейский.

Мы вышли из дома, увешанные свертками и чемоданами. Додо забрала всю свою одежду и прихватила кое-что у Кэролайн. Мы затолкали все в багажник большой черной машины, потом сели сами, устроившись поудобнее на заднем сиденье. Машина двинулась.

— Водитель, зажгите, пожалуйста, свет в салоне. Смотри, Яффа, что я стибрила с обеденного стола.

Додо показала мне фотографию, на которой я — на вид почти голая — сидела рядом со знаменитым политическим деятелем, а он с совершенно беспутным видом ухватился рукой за мою левую грудь.

— Куда мы едем, сударыня? — спросил шофер.

— В «Риц».

— Благодарю вас, сударыня.

Из ящика, где у брата лежали носки, Додо стащила тысячу фунтов. В свое оправдание она сказала, что брат ее насквозь растленный тип и все равно ведь дом на Флад-стрит наполовину принадлежит ей; но Ник ни за что его не продаст, пока арабы не начнут селиться ближе к Вест-Энду. Мне это показалось вполне убедительным.

Носильщики в отеле «Риц» были очень милы, несмотря на наш громоздкий багаж, и уже через полчаса мы с Додо осматривали номер люкс. Немногословный официант-итальянец принес шампанское и горячие тосты с маслом и сообщил нам, что мы прекрасны. Десять минут спустя он вернулся с корзиной полевых цветов из Норвегии.

— Одна человек умирает; жалко пропадет.

Лежа в ванне, я спросила Додо, правда ли, что она коммунистка. Она вылезла из пены, порылась в своих сумках и вернулась в ванную (*одну* из ванных комнат) с небольшой карточкой в руках. У нее и правда был партийный билет.

В номере стояли четыре кровати, на выбор. Мы выбрали две и рухнули на них отсыпаться. Уже задремывая, хотя веки еще не сомкнулись, я сказала Додо, что зовут меня Ковентри Дейкин и что я убила Джеральда Фокса.

— Я знаю,— отозвалась Додо.— В субботу твоя фотография была во всех газетах. Впрочем, *теперь* ты совсем не похожа на свои газетные снимки, но я-то смекнула, что к чему. Соображаю, да?

Утром Додо застыдилась того, что мы живем в отеле «Риц», поэтому она чересчур щедро дала на чай официанту, который прикатил нам столик с завтраком и газетами. А я ничуть не стыдилась; мне все ужасно нравилось. Толстые купальные халаты, мыло, свежевыжатый апельсиновый сок, горячие рогалики, ветчина, золоченая мебель, розовые стены, тройные окна, горячая вода и подернутый туманом вид на парк (Грин-парк, сказала Додо).

Ник позвонил, когда мы еще не кончили завтракать.

— Ты, паршивая маленькая воровка.

— Ты, паршивый большой вор.

— Я требую, чтоб ты вернула мне деньги, а Кэролайн — ее туалеты от Джин

Мьюр. Даю тебе время до полудня, потом вызываю полицию и машину из психушки.

Мы расплатились и уехали из отеля «Риц» в 11.55. Взяли такси до Картон-сити и сложили весь багаж в наш домик из коробов от морозильника. Угрозами заставили Джеймса Спитлхауса сторожить наше имущество.

— Если ты хоть на миг отвернешься от нашего дома, Спитлхаус, мы вытащим твой розовый девственный моллюск на всеобщее обозрение,— заявила Додо.

Нечестно, зато действенно. Мы ушли, отдав ему остатки нашего завтрака из «Рица». Он заткнул розовую льняную салфетку за ворот измызганного, застегнутого до горла пальто. Рогалик осыпал ему крошками грудь. Он спросил, в котором часу мы вернемся. Мы сказали, что не знаем.

Мы были женщины занятые. Нам предстояло много дел. Навестить могилу и встретить самолет.

29. ВОСКРЕСНОЕ УТРО

Хлебная Пила и Теннисный Мяч смотрели друг на друга поверх стола, на котором стоял завтрак. Только что им сообщили по Би-би-си, что их дочь Ковентри сейчас находится в Лондоне. Вот тебе и на!

— Что ей делать в *Лондоне?* — сказал отец Ковентри, жирным шариком откатываясь от стола.

Мать Ковентри карикатурно поджала губы и ничего не сказала. Она не одобряла Лондон. Массовая печать уже просветила ее: Лондон населен лишь немытыми, помешанными на наркотиках «поп-звездами» и мерзкими коммунистами, входящими в местные советы. Правда, там жила и королева, но от всей этой нечисти ее прикрывали высокая стена и отряды безопасности.

Она убрала со стола и затем принялась за трудоемкое дело — мытье посуды. Каждая миска, тарелка, чашка, блюдце, нож, вилка, ложка и рюмка для яйца мылись, трижды ополаскивались, а потом до блеска натирались стерильным посудным полотенцем, прежде чем отправиться в буфет, где ежедневно проводилась дезинфекция.

Родители Ковентри ни разу не обсуждали убийство Джеральда Фокса и причастность их дочери к его смерти. Ошарашенной женщине полицейской, присланной их расспросить, они заявили, что они «люди чистоплотные», простыни и полотенца меняют *каждый* день, «а не каждую неделю, как некоторые грязнули». Когда мать Ковентри спросили, была ли у ее дочери связь с Джеральдом Фоксом, она ответила:

— Мне пяти бутылок дезинфекции едва хватает на неделю, правда, отец?

Отец Ковентри кивнул в подтверждение, и женщина из полиции сдалась и покинула стерильно чистый дом.

Когда Хлебная Пила убирала последнюю безупречную ложку в ящик, где не было ни единой крошечки, в дверь позвонили, и она услышала голоса внуков, бестолково ссорящихся на пороге. Они всегда приезжали в воскресенье утром. В этом было большое неудобство.

— *Спроси,* а уж потом бери мои вещи, Мэри.

— Да заткнись ты, подумаешь — шарф.

Прежде чем открыть дверь, Хлебная Пила подошла к буфету и вынула два полиэтиленовых пакета для обуви внуков. Дети уже стояли в одних носках, когда она отодвинула засовы, отомкнула врезные замки и сняла с двери цепочки.

— Привет, ба. Мама в Лондоне.

Хлебная Пила заметила, что ногти у Джона черные и неровные. Они вызвали у нее физическое отвращение.

— Мы собираемся ее искать,— сказала Мэри, заталкивая туфли в полиэтиленовый мешок, протянутый ей бабушкой.

— Н-да, барышня, не очень-то вы жаловали обувной крем «Черри Блоссом», а? — сказала Хлебная Пила, разглядывая сквозь пакет поцарапанные туфли Мэри. Дети неслышно прошли в комнату и сели на диван, затянутый полиэтиленовой пленкой. Теннисный Мяч вскочил на ноги и приветствовал их:

— Так, значит, она в Лондоне.

— Да, и мы туда отправляемся,— сказал Джон.

— *На*правляемся,— сказала Мэри,— *на*правляемся в Лондон.

— От,— сказал Джон.

— На,— возразила Мэри.

— Не елозьте так по дивану,— сказал их маленький толстенький, похожий на теннисный мячик дедушка.— Вы же мнете пленку.

Через открытую дверь кухни было видно, как бабушка яростно начищает их грязные и уже потому греховные туфли.

30. СЛАЙ ЗАМЫКАЕТ КОЛЬЦО

Все то время, пока торчавший член Сидни опадал, инспектор Слай занимался тем, что тупо и тщетно нажимал на рычажки телефона. Спустя двадцать секунд он пришел к выводу, что Сидни положил трубку. Слай положил свою и приказал юному салаге в форме вызвать машину и шофера. Он едет в Лондон, заявил он.

Он позвонил Дереку домой. Знал ли Дерек о каких-либо друзьях или родственниках жены, которые живут в Лондоне? Дерек говорил (и думал) о Лондоне так, будто он столь же далек и недоступен, как Сатурн. Нет, *в Лондоне* они не бывали никогда. И не знают в Лондоне ни души.

Инспектор Слай сказал, что едет туда завтра, «если позволит погода».

У него это звучало так, будто транспортировать его будет свора ездовых собак, запряженная в нагруженные провизией сани. Он давал понять, что поездка будет исполнена опасностей, что все четыре стихии — воздух, земля, вода и огонь — ополчатся на него. В каком-то смысле он был прав. Шоссе М-1 требовало — и получало — человеческие жертвы каждый божий день.

Затем Слай позвонил жене и приказал ей собрать маленький чемоданчик. Он «замыкает кольцо вокруг Ковентри Дейкин» и «может отсутствовать какое-то время». Услышав последнее сообщение, жена Слая стала в ликовании размахивать свободной рукой, точно клинком; однако постаралась, чтобы голос ее не выдал. Двуличие уже стало ее второй натурой.

Она вышла за Слая двадцать семь лет назад, когда он был курсантом полицейского училища и имел идеалы, а она была машинисткой и имела приличную зарплату. На ее глазах муж превратился в варвара. Это все из-за уголовников, с которыми он якшается, полагала она. М-с Слай пошла в чуланчик при кухне и принялась гладить необъятные хлопчатобумажные рубашки мужа.

Инспектор сыскной полиции Слай начал готовиться к завтрашнему дню. Он сложил в портфель документы, флоппи-диски и пачки фотографий, на которых Ковентри танцевала, купалась и копала землю; стояла с новорожденными детьми на руках; крутила обруч «хула-хуп» вокруг талии; сидела на коврике в парке, зажмурившись от солнца; чистила картошку; меняла пеленку; читала «Дейли миррор» на скамейке в сквере. Ковентри с Мэри, с Джоном; Ковентри в брюках, в шортах, в пальто, в летних платьях и, наконец, Ковентри, целящаяся прямо в объектив, та самая фотография, которую Слай отобрал для использования ее, как он выражался, в «масс-медиа».

31. Я ПОКИДАЮ ГОРОД

— Джефри вон там.— Додо указала на группу деревьев в отдалении.

Мы были за городом, стояли на кладбище. Темная церковь сурово возвышалась над нами. Поросшие лишайником надгробные камни кренились под самыми невероятными углами. Мы шли по высокой влажной траве к могиле Джефа. Он лежал под плитой розовато-серого мрамора; над его могилой явно работал художник.

Надпись на надгробье гласила:

Джеф лежит здесь, он был мужем Додо.
Она его любила.
Родился 1946, умер 1985.

Рядом с надгробьем стояла бутылка из-под кока-колы. На дне было около дюйма воды, там плавали жуки.

— *Бутылка из-под кока-колы?* — вырвалось у меня.

— Деревенские крадут вазы,— ответила Додо.— Джеф бы не возражал; у него было потрясающее чувство юмора.

Она привезла с собой букетик фрезий, поставила цветы в бутылку, долго возилась, поправляя их, наконец, удовлетворенная, водрузила бутылку в самом центре плиты и зашагала прочь. Я догнала ее лишь у разросшейся тисовой изгороди, которая обрамляла дорожку к кладбищенским воротам. Она улыбнулась и сказала:

— Ну вот, могилу мужа посетили, теперь — встречать самолет брата.

Лондонское такси, на котором мы приехали, ждало нас за воротами, в узком проулке. Шофер с подозрением оглядывал деревья и поля. Вид у него был такой, словно с ним вот-вот случится внезапный приступ агорафобии [1]. Мы выманили его из города только тем, что показали много двадцатифунтовых купюр. Лицо его слегка посветлело, когда Додо сказала:

— В аэропорт Гатуик, пожалуйста.

Но не успел таксист тронуться с места, как в проулок свернуло стадо коров, которые на своих веретенообразных ногах потрусили прямо к машине. Вскоре нас со всех сторон окружали коровы, с большим любопытством заглядывавшие в такси своими восхитительными глазами.

— Кто ими занимается? — крикнул самому себе шофер.

— Коровы совершенно *неотразимы,*— сказала Додо.— У них такие обалденные ресницы. Они мне напоминают Данни Ла Ру [2].

— Надеюсь, у него задница чище, чем у *них,*— заметил шофер, с отвращением глядя на испражняющихся между делом животных.

Напротив церкви сплошной стеной стояли низкие домики. Из грубо отесанной двери вышла женщина с плоской плетеной корзиной. Она постояла в крошечном садике, наблюдая за коровами, потом наклонилась нарвать настурций, которые складывала в корзинку. Красивое платье с широкой юбкой, волосы стянуты на затылке лентой,— она выглядела непритязательно и прелестно. Даже зеленые сапоги на ногах казались вполне уместными. Я сказала об этом Додо.

— А, *она,*— отозвалась Додо.— Это Вероника Минтон. Она занимается банковскими торговыми операциями. В глубине дома у нее приемная с телексом.— Додо опустила стекло и крикнула: — Вероника!

Вероника повернулась и увидела Додо. Лицо ее не выразило большой радости, тем не менее она подошла к такси.

— Додо,— сказала она,— была на могиле у Джефа?

— Да. Как дела здесь, за городом?

— Черт-те как.

— Черт-те как?

— Да, мы распродаемся.

— Почему?

— Шум, отсутствие удобств и *вандализм.* Вы не поверите. Видели, что деревенские оболтусы нацарапали на памятнике жертвам войны? И эти чертовы *коровы.* Ходят мимо нашего дома по четыре раза в день. *Дерьмо,* и *вонь,* и выхлоп от тракторов. А шуму, когда кого-нибудь выставляют из местной пивной! И потом, детям негде играть. К нам трижды влезали в дом, и вдобавок здесь ничего *не растет.*

— Настурции у вас прелестные,— сказала Додо.

— Да,— с горечью откликнулась Вероника.— Они и на плохой почве разрастаются.

— Куда вы поедете? — спросила Додо.

— Куда-нибудь, где потише,— ответила Вероника.— В Клапам [3].

Из-за угла в переулок вошел мальчик лет двенадцати на вид. Он размахивал прутом, подгоняя нескольких норовистых коров. Шофер такси включил двигатель, и машина стала медленно пробираться между животными.

— Ты, псих ненормальный,— завопил мальчишка,— осторожнее, коровы!

Шофер, как исстари водится, погрозил из окна кулаком и крикнул:

— Убери эти чертовы мешки с дерьмом с моей дороги, малый, не то я их к дьяволу передавлю.

Вероника глубоко вздохнула и сказала:

---

[1] Патологическая боязнь открытых пространств.

[2] Комический актер, пародирующий речь и манеры женщин.

[3] Клапамский узел, один из крупнейших железнодорожных узлов Великобритании; расположен в южной части Лондона.

— Видите? Жизнь в деревне так *неприятна;* она выявляет в людях все самое низменное.

Пока мы неслись через деревню, я заметила, что местный магазин называется «Продуктовый центр», а памятник павшим весь исписан; особенно выделялась надпись: «Вероника сосет...» Широкие поля, похожие на прерии, тянулись до горизонта. Додо сидела недвижно, лишь однажды, встрепенувшись, указала мне на большой дом, едва видимый среди деревьев парка:

— Там Джеф родился.

— Его семья и сейчас там живет? — спросила я.

— Нет, это теперь дом престарелых, для избранных.

— Далековато до «Продуктового центра»,— заметила я.

Додо рассмеялась и замолчала.

Я никогда не летала на самолете и не была в аэропорту. Гатуик показался мне лабиринтом для крыс, но Додо, по-видимому, точно знала, куда идти и на какое электронное табло смотреть. Она сказала мне, что самолет Сидни прибывает в 6.10 вечера.

Нам надо было убить три часа пять минут, и мы пошли поесть в ресторан. Мы сели у окна, чтобы Додо могла наблюдать, как взлетают и садятся самолеты. На вид это дело рискованное.

Вошли четыре американца и сели за соседний столик. Громкими, веселыми голосами они заказывали бифштексы. К пожилой официантке они обращались «мэм» и просили у нее совета, какой салат заказать на гарнир. Когда она, взяв их огромный заказ, отошла, прихрамывая, от стола, они закурили сигареты и принялись говорить о делах. Мужчина в пиджаке в зеленую с оранжевым клетку возобновил прерванный разговор:

— Само собой, поющие телеграммы уже давно не новость. Я хочу сказать: вы точно *знаете,* что получите такую на день рождения, так?

— Так,— подтвердили три остальных американца.

— И по другим *веселым* случаям. Так?

— Так.

— Значит, рынок в Европе насыщен мелкими студиями, у них есть Кинг-Конгограммы, толстякограммы, поцелуеграммы...

Тут врезался другой, с какой-то безумной стрижкой:

— Ясное дело, знаем, Уэйн. Бог ты мой, одну неделю в Англии — и парень уже стал таким *медлительным.*

Уэйн засмеялся вместе со всеми.

— Ага, это я, наверно, от «Британских железных дорог» подцепил.

Тут все, мало сказать, засмеялись. Они прямо-таки остановиться не могли. Наконец Уэйн собрался с силами и продолжил:

— Итак, рынок на точке замерзания, никаких новшеств... согласны?

— Само собой... Ради Бога, Уэйн!..

— Эй, не торопи меня, Конрой. Надо же *объяснить.* Сейчас я на вас одну новую идею опробую. Готовы?

— Давай *опробуй.*

— Поющие телеграммы по *невеселым* случаям.

— Невеселым?

— Ага, развод, потеря близких, ссора с любимым человеком, необходимость сказать девочке, что она слишком толстая или что-нибудь эдакое же... эй, Стил, что тебе в жизни доводилось самого плохого сказать матери?

— Что у меня анализ на СПИД положительный?

— Нет, мы тут теоретически рассуждаем. Эта плохая новость должна касаться *ее.* Она старая, больная...

— Умирает?

— Вот. Ты же не хочешь ей об этом сказать, так, Стил? Она смертельно больна.

— Нет уж, *спасибо.*

— И доктор не хочет...

— Угу.

— Вот тогда ты звонишь и заказываешь смертограмму.

— Что-что?

— Смертограмму.

Уэйн встал рядом со стулом, где сидел Стил; он запел на мотив «Свисти, пока работаешь»:

О, славный, славный день!
Накрыла смерти тень...

— Уэйн, это уж грубей *грубого,*— не выдержал Стил.

— Спокойно, Стил,— сказал Конрой.— Это возможно. Что ты предложишь, чтобы объявить собственной жене о разводе?

Уэйн минуту соображал, потом снова встал и запел на мотив «Однажды волшебным вечером»:

Вас муж не любит боле:
Он был у адвоката.
Процесс начнется в марте,
В переполненном суде...

— Это феноменально,— вырвалось у четвертого.— Подумать только! Принимая экзамен на водительские права, экзаменаторы больше могут не волноваться за провалившихся; у них будет специальный постоянный штат «сообщателей плохих новостей», и они все сделают.—

Он запел на мотив «Эта дама — бродяжка»:

Вы, скорости не снизив, повернули, но
Горел красный свет,
Так что, дама, нет,
Не сдано.

Гикнув, Уэйн хлопнул четвертого по спине и сказал:

— Бердок, ты *прекрасен.* Я знаю, все выйдет как надо. По пятьдесят тысяч долларов с каждого, и дело в шляпе. Первую контору открываем в Лондоне, момент как раз удачный.

Им привезли еду, и Стил, Конрой, Уэйн и Бердок с урчаньем и тупыми ножами принялись за крошечные английские бифштексы.

— Эй, мэм,— крикнул Уэйн официантке.— Есть у вас тут бутылка хорошего французского вина? Нам надо кое-что отметить.

Официантка принесла бутылку «Нирштайнера», немецкого вина, прошептала мне Додо, но американцы не поняли или не заметили ничего. Они с наслаждением самозабвенно распевали песенки о не самых приятных сторонах жизни:

Вчера еще
Все невзгоды были где-то на краю земли,
А сегодня полицейские
Твою машину увели!..

32. СЛАВНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ХОРСФИЛД

Слай приказал шоферу остановить машину на утрамбованной обочине. Они едва отъехали от города Ньюпорт-Пагнелл. Они обходили автомобиль спереди, чтобы поменяться местами, и у капота, встав лицом к лицу с молодым полицейским, Слай спросил в упор:

— Ты что, девчонка? Чего это мы ползем на девяноста милях в час? К чему вся эта бодяга? Я, мой мальчик, тороплюсь. Это ведь расследование *убийства.*

— На дороге большое движение, сэр,— сказал молодой человек, посматривая на несущиеся сплошным потоком грузовики.

— А вот я тебе покажу, как управляться с этим проклятым *движением,*— рявкнул Слай.— Марш на пассажирское место.

Сержант сыскной полиции Хорсфилд сидел на заднем сиденье полицейской машины. Он знал, что это случится. Рано или поздно такое непременно случалось. Но инспектора Слая он боялся больше, чем смерти на шоссе, поэтому он тихонько помолился Пресвятой Деве, уперся ногами в пол машины и закрыл глаза. Слай вырулил на дорогу прямо перед здоровенным трайлером, заставив того внезапно затормозить. Затем Слай обошел (слева) микроавтобус, где сидел целый духовой оркестр, и резко

свернул на скоростную полосу; по ней он и пошел, включив полицейскую сирену и заставляя идущие впереди машины освобождать ему дорогу. Временами стрелка спидометра показывала сто двадцать миль в час.

Ехали молча. Хорсфилд уже жалел, что не составил завещания, как неоднократно советовала ему жена. Хорсфилд был славный человек. Он верил в закон и справедливость — впрочем, не обязательно в этом порядке. Он имел высшее образование и хороший выговор благовоспитанного человека, но, несмотря на эти недостатки, он приобретал друзей и даже оказывал влияние на сотрудников в полиции. Втайне Хорсфилд был глубоко верующим человеком. Молился он по ночам в ванной, на коврике, сложив перед собой руки, как ребенок.

33. ПЕРЕД ПОСАДКОЙ

Счастливей всего Сидни Ламберт чувствовал себя в самолете: никто не мог здесь до него добраться. У него была еда, напитки; его обожаемая жена сидела рядом; а самое главное — в течение всего полета нервы щекотала мысль об угрозе внезапной смерти, неизменно придававшая жизни особую остроту. Сидни откинулся на спинку кресла, расплющив сидевшего сзади человека. Они с Руфью были во всем белом — чтобы блеснуть загаром перед всеми этими по-октябрьски бледными физиономиями.

У него над головой, затолканные на багажную полку, лежали грубо раскрашенные сувенирные тарелки и бутылки vinho verde, которые он купил в аэропорту Фару, в магазине беспошлинных товаров. На руке у Руфи было новое золотое кольцо с бриллиантом, подарок за то, что была умницей, и стоило оно куда больше, чем та сумма, на которую разрешает ввозить товары проклятая английская таможня. Так что все в порядке. Он доволен, Руфь довольна, а весь остальной мир пусть пропадет пропадом.

Честно говоря, он и впрямь не возражал бы умереть сейчас — если уж надо умереть,— если Господь повелит. Да, он бы выбрал именно *сейчас.* Сжать Руфь в объятиях и вместе полететь вниз в воду или вознестись вверх, в языках пламени. Но выпить в последний раз время будет, не так ли? А если Руфь начнет кричать, он ее так стукнет, что она отключится. Ему совершенно не нужно, чтобы Руфь была в сознании, просто она должна быть *рядом.*

С беднягой Ков прямо беда. Ну и дурацкую же кашу она заварила! Однако это каша не его. Он ей, конечно, постарается помочь, само собой, но до определенного предела. Будем справедливы. У них с Руфью своя жизнь, и им ничто не должно мешать. Никоим образом. Если даже в аэропорту его ждет полиция, он сильно волноваться не станет, не из-за чего. Он выпутается. Господи. Чертов *младенец расплакался.* Он даст ему две минуты, нет, *одну* минуту, а потом вызовет стюардессу и пожалуется. Если есть на свете что-то, чего он не *терпит,* не *выносит,* это рев проклятущих младенцев. Хорошо еще, Руфь проявила здравый смысл, прислушалась к разумным доводам насчет абортов. Видали бы они отпуск за границей, виллы и личные плавательные бассейны, если б надо было катать детишек в колясках да к тому же покупать кучу всего, что этим детишкам нужно? Как же. Конечно нет. А их дом, был бы он тем ослепительно чистым маленьким дворцом в белых коврах, если б там куролесили малыши? Никоим образом. Вспомнить только, как детки испортили им день свадьбы, сначала глупыми выкриками в церкви, а потом черт-те что вытворяя во время торжественного приема гостей. Он ведь *говорил* матери Руфи, что надо на приглашениях написать «категорически без детей», но глупая баба с коровьей мордой заявила, что это «обидит оба семейства». Он рад, что Руфь все-таки прозрела насчет своей матушки.

«Ладно, детка, тебе осталось пять секунд визжать, и дядя Сидни нажимает на кнопку. Ради Христа и всего святого на земле, подумайте, ведь этот маленький паршивец с тыквой вместо головы путешествует *бесплатно.* А я заплатил восемьдесят девять фунтов в оба конца, причем дважды».

Руфь попыталась отвлечь Сидни от жуткого звука. «Бедный малыш,— думала она,— я бы тут же успокоила его, благослови его Бог».

— Сидни, сколько нам еще лететь до Гатуика?

— Час.

— Прекрасно. Спасибо, Сидни.

В аэропорту Гатуик, сидя в кафетерии, сержант сыскной полиции Хорсфилд наблю-

дал, как инспектор сыскной полиции Слай запихивает в свою ненасытную пасть яйца, ветчину, поджаренный хлеб, грибы, тушеные бобы, жареный картофель и хлеб с маслом.

«У диких кабанов я видел манеры получше»,— думал Хорсфилд. Сам он без интереса ковырял вилкой в тарелке с куда более незатейливой пищей и поднял глаза лишь тогда, когда съел все, до последнего листика, боба и крупинки. Потом он благоговейно положил вилку и нож на тарелку, словно это были атрибуты священного обряда. Слай подтянул к себе вазочку с мороженым и кусочками банана и опустил ложку в причудливое нагромождение взбитых сливок, украшавших мороженое.

— Та-'вай раз-'ремся,— сказал он.

— Простите?

Слай проглотил четыреста пятьдесят калорий и произнес:

— Я *сказал:* давай разберемся. Его самолет приземлится через сорок пять минут, так? Поэтому, когда выпьем кофе, установим связь с нашими ребятками в форме и со службой безопасности аэропорта и договоримся, кто что будет делать, так? Слушаете, Хорсфилд? Я ведь сказал *«так?»*.

— Да, я слышал, сэр.

— Когда я говорю *«так»,* я задаю *вопрос;* а вопрос требует ответа, так?

— А, так, сэр, так.

— Так. А вот что мне бы *хотелось,* так это арестовать его в самолете.

— Да?

— Видел в одном фильме, как это делается. Очень впечатляет. Там был шпион, пытался передать результаты своих экскрементов на Восток.

— Так!

Хорсфилд засмеялся. Его успокоило и обрадовало проявление у Слая чувства юмора. Слай, однако, не смеялся.

— Что тут потешного?

— Результаты *экспериментов,* сэр.

— Что-то не пойму вас, Хорсфилд. Передавать результаты экскрементов на Восток — дело серьезное. Так?

Хорсфилда душил с трудом подавляемый смех. Необходимо было захлопнуть все отверстия, до единого. Наглухо. *Не выпускай* его, Хорсфилд. Засмеешься сейчас, и не видать тебе продвижения по службе, ранней отставки и хорошей пенсии.

— Итак, Хорсфилд, я все-таки *подымусь* на борт самолета, а вы ждите у стойки «Прибытие» на тот случай, если эта сука-убийца настолько рехнулась, что вздумает явиться сюда с букетом нарциссов и приветственным поцелуем. Скоро вернусь. Нужно пустить струю.

Слай неуклюже пробирался среди легких столов и стульев к двери с табличкой «Уборная». Хорсфилд хохотал и хохотал без конца. Прямо автомат «Смеющийся полицейский», и даже не нужно совать монетку в щель. Придя в себя, Хорсфилд пошел к телефону и позвонил домой. Трубку взял сынишка.

— Мэтью Джон Джеймс Хорсфилд в данный момент у телефона. С кем именно вы хотите поговорить?

Хорсфилд снова засмеялся, теперь уже над основательностью трехлетнего малыша в телефонной беседе.

— Это папа.

— Л-ло, папа, говорит Мэтью Джон Джеймс Хорсфилд.

— Да-да, знаю; ты уже говорил. Мама тут?

— Нет, она в кухне; тут один я.

— Можешь пойти позвать маму?

— Да.

Хорсфилд услышал, как трубку вдруг уронили, и она, повиснув на шнуре, стала щелкать, стукаясь о стену. Сколько раз он говорил сыну, что нельзя...

— Дорогой?

— Дорогая, я просто позвонил сказать тебе...

— Ничего не случилось?

— Нет, хотя машину вел Слай!

— О, бедный ты мой.

— Что ты готовишь?

— Зеленое картофельное пюре и голубые рыбные палочки.

— О-о.

Сынишка посмотрел по детской программе кулинарную передачу. Хорсфилд как-то на неделе пошел в обеденный перерыв в магазин и купил шесть флаконов пищевых красителей. Жена потом отчитала его и заявила, что он балует ребенка.

— Мне надо идти, Малькольм.

Хорсфилд был тронут, она редко называла его по имени.

— У меня плита горит и...

— Дай я попрощаюсь с Мэтью.

Он слышал, как сын топает ножками по паркету в прихожей. Догадался, что он так и не снял новых зимних сапожек, которые ему утром купили.

— Пока, Мэтью, до завтра.

— Почему?

— Потому что я работаю.

— Почему?

— Чтобы заработать денег и купить тебе новые сапожки. *Так-то* вот. Мэтью, не задавай больше вопросов.

— Почему?

— Потому что это сводит меня с ума, ты же знаешь. Ну, я пошел. Скажи маме, что я ее люблю.

— Скажи маме, что *я* ее люблю,— повторил Мэтью.

— Нет, скажи маме, что *я* ее люблю. А не ты.

Жена снова взяла трубку:

— Он из-за тебя заплакал! Что ты сказал?

— Я только повысил голос!

— Малькольм!

— Ах, Барбара, и что я тут делаю? Я хочу быть с вами там, дома.

За пластмассовым колпаком телефона-автомата Слай строил ему безумные гримасы. Хорсфилд прошептал: *«Я тебя люблю»* — и повесил трубку.

М-с Хорсфилд была удивлена напряженностью в голосе мужа. Она с нетерпением стала ждать его возвращения.

34. ПЕРЕХОДНАЯ СТАДИЯ

В аэропорту Гатуик я очень скоро пришла в страшное возбуждение. Это было самое романтичное место из всех, где мне довелось побывать. В конце каждого прохода и тоннеля лежали джунгли, пустыни и древние города; там раскрывались невероятные перспективы. Я спросила Додо, могу ли я получить паспорт.

— Это трудно, но не невозможно. А что, дорогая? Куда ты хочешь поехать?

— Куда угодно,— ответила я. Мне хотелось покинуть землю, пробуравить небо и исчезнуть среди облаков.

Мне сорок лет, а я никогда не летала на самолете; никогда не водила машину; никогда, уже будучи взрослой, не была в театре, не каталась на катке; никогда не играла в теннис, не побывала в ночном клубе; никогда не ела китайских блюд в китайском ресторане, не носила красивого белья, не имела своего счета в банке и не разговаривала о половой жизни, о деньгах и политике в смешанном обществе. Что такое *на самом деле* индекс Доу Джонса[1]? Понятия не имею. Я невежественная женщина. Как это произошло? Когда я была маленькой, меня считали способной; я получала грамоты за успехи в езде на велосипеде, плавании и в беге с препятствиями. А какие книги я читала, когда мне было шестнадцать! Взрослые книги по важным вопросам. Почему я бросила читать книги?

Дерек тут не виноват, в общем, нет. Дерек не виноват. Я не собираюсь обвинять и Джона с Мэри; я сама виновата. Я стала робкой, тихонькой, я боялась навязываться. Но теперь что-то со мной произошло. Или убийство Джеральда Фокса развеяло чары? Я готова взмыть в воздух. Я понимаю, это жестоко по отношению к Джеральду Фоксу.

Сегодня вечером из Алгарви прилетает только один самолет. Мы решили отойти в сторонку и ждать, пока Сидни и Руфь пройдут в зал для прибывающих пассажиров. Потом мы на приличном расстоянии пойдем за ними, переодетые и загримированные до неузнаваемости, а когда сочтем это безопасным, я им откроюсь. Не знаю, что будет

---

[1] Индекс акций тридцати известных промышленных компаний на нью-йоркской фондовой бирже.

потом. Я хочу просить Сидни присмотреть за моими детьми, а позже, как только смогу, я их вызову к себе и сама о них позабочусь. Впрочем, я не знаю, как Сидни на все это посмотрит. Он притворяется, что не любит детей, но я уверена, что *к моим* детям он питает слабость. Они такие хорошие, не представляю, как их можно не любить. Я не видела их больше недели, и за это время часу не проходило, чтобы я о них не думала. Они занозами сидят в моем мозгу. Они будут со мной до конца жизни, куда бы я ни поехала. Только смерть освободит меня от них.

По Дереку я не скучаю. Но мне очень грустно думать, что, уехав, я оставлю его в полном одиночестве; надеюсь, он встретит однажды женщину, которая его полюбит. Лучше всего такую, которая умеет слушать, увлекается черепахами и танцует фокстрот.

Додо уже двадцать минут звонит своему брату. Не знаю, о чем она с ним толкует, знаю только, что вид у нее серьезный и настойчивый, и большей частью говорит она сама. Хорошо бы она поторопилась; через тридцать пять минут самолет Сидни должен приземлиться.

35. РУШИТСЯ МИР ПОДЖЕРА

Поджер лежал в ванне и читал «Ньюс оф уорлд» [1], когда позвонил Николас Катбуш. Жена подошла к телефону и поначалу отказалась передать трубку мужу в ванную en suite [2].

— Честное слово, Ник, за всю неделю это единственный час, когда он может действительно расслабиться. Я на вас страшно зла.

Истерическим голосом Николас сказал:

— Если я не поговорю с ним немедленно, то уже во вторник утром его вышвырнут пинком под зад и придется ему штудировать объявления о найме на работу.

Она соединила его с мужем, плюхнув телефон на стул в ванной так же торопливо, как утром плюхала яйца на сковородку.

— Что там, Ник?

— Чертова моя сестрица заполучила твою фотографию, где ты тискаешь левую грудь беглой убийцы.

— Какой еще беглой убийцы?

— Да ты охренел. Поджер, ты что, много таких знаешь? Яффа! На ужине у нас. Кэролайн сделала сни...

— Ах, *Яффа. Она* кого-то убила? Господи!

— Именно, Господи. Яффа — это Ковентри Дейкин.

— Кто?

— Ковентри Дейкин, она куклой раскроила парню голову. Это было на первых полосах всех...

— Ник, мне конец.

— Нет, еще нет. Додо требует фальшивые паспорта.

— Так.

— И разумеется, денег.

— Разумеется.

— Сегодня.

— Но сейчас же воскресный полдень.

— Если она сегодня их не получит, она отправляет фотографию на такси Полу Футу.

— Племяннику Майка?

— Ну не тому же Полу Футу, который мастер по педикюру, правда? Или Полу Футу, художнику по интерьеру? Да, тому Полу Футу, *который руку набил на журналистских расследованиях,* убежденному социалисту.

— О боже! О боже!.. Ник, строго между нами. Завтра премьер-министр лично объявит дату дополнительных выборов.

— Чудесно, изумительно, как нельзя более кстати.

— Ник, может, мне просто уйти в отставку?

---

[1] Воскресная газета бульварного типа, обычно не содержит политической информации.

[2] Ванная при спальне *(франц.)*.

— Да ты ведь работаешь-то всего один несчастный месяц, если не меньше.

— Но Профьюмо, Торп, Паркинсон, Арчер[1]... Нам ни за что не удастся отделаться...

— Ну ты и жопа, полная жопа, Поджер. Если мы проиграем эти дополнительные выборы, денежки из страны утекут и останемся мы с тобой на бобах.

— Меня фотографировала твоя жена. Это ты во всем виноват. Когда человека приглашают на ужин, он полагает, что находится среди друзей или по крайней мере среди людей проверенных, если он их не знает.

— Ладно, ладно. Извини, Подж. Ну, успокойся, успокойся. Позвони дежурному офицеру и организуй паспорта. Додо и Яффу ты знаешь: обеим под сорок, никаких особых примет, одна темноволосая, другая рыжая, обе ростом пять футов семь дюймов... они сейчас снимаются на паспорт.

— Ладно. Могу я все-таки принять ванну?

— Еще кое-что, Поджер.

— Слушаю.

— Ты скажешь, это невозможно, но придется сделать.

Поджер слушал, а тем временем в ванне стыла вода, и грязная пена затягивала ее поверхность.

36. Я СМОТРЮ НА СЕБЯ

Додо наконец оторвалась от телефона и сказала:

— Давай зайдем в одну из этих миленьких кабинок и сфотографируемся.

Я выбрала в качестве фона синюю занавеску, приладила вращающийся стульчик, села и подготовила перед зеркалом нужное выражение лица. Я хотела выглядеть серьезной, умной, грустной, сексуальной, независимой, таинственной и доброй; но когда машина извергла из своего чрева липкие фотографии, я была разочарована.

— Ну, что скажешь? — спросила я у Додо, когда она вернулась неизвестно откуда с марками и прочими почтовыми принадлежностями.

— Вид у тебя бледный, напуганный и вполне сорокалетний,— ответила она, наклеивая марки на конверты. Додо не любит смягчать выражения, она режет правду-матку.

— Знаешь, что тебе необходимо, милая Яффа? Отдохнуть.

Додо зашла в кабинку и сидела там, пока не сделала восемь снимков. На первых четырех у Додо был суровый вид. На остальных четырех Додо смеялась, держа в руке фотографии нас с Поджером.

— Пригодится еще,— сказала она, помахивая в воздухе второй полоской снимков, чтобы быстрей просохли.

— Что ты с ними собираешься делать? — спросила я.

— Удрать,— ответила она.— И тебя взять с собой, если захочешь.

— Куда же мы удираем? — спросила я.

— Куда глаза глядят,— сказала она.— Может, в горы Уэльса.

В ту минуту я решила, что она шутит или, быть может, фантазирует. Она взяла у меня мои фотографии и положила их к себе в объемистую кожаную сумку на ремне, заметив:

— Здесь они будут в большей сохранности.

Я подумала, что это очень странный шаг, потому что Додо знает, как тщательно храню я свои пожитки. Я еще ни разу не потеряла того, что не хотела потерять. Я пользовалась одним и тем же ключом от входной двери целых девятнадцать лет, в то время как моя драгоценная дочь Мэри за четыре года потеряла десять ключей. О, моя милая, прелестная Мэри, как я тоскую по тебе. Вот бы ты удивилась, прочитав эти слова. В нашей семье не принято открыто выражать свою любовь. Мы давно уж перестали гладить друг друга и называть ласковыми именами. Находясь в одной комнате, мы испытывали замешательство и неловкость. Мне жаль, что так получилось. Мэри, дорогая, я хочу, чтобы ты окончила школу и получила хорошее образование; это единственный достойный способ выбраться из района муниципальной застройки Темные Тропинки. Мы не потеряны друг для друга, Мэри. Мы связаны узами покрепче пупови-

[1] Видные политические деятели Англии, в 60—80-х годах уличавшиеся в преступлениях против нравственности; с этими именами связаны громкие политические скандалы.

ны, которую перерезали и перевязали в тот день, когда ты у меня родилась. Милая Мэри, не горбись и не сутулься, ходи гордо, развернув плечи. И смотри вокруг, не отводи глаза. И говори четко, не бормочи. Не лги, и не лицемерь, и не говори людям лишь то, что, как тебе кажется, им польстит. И не забывай меня, Мэри. Помни, я любила тебя. Да, и еще очень постарайся не терять ключа от входной двери. И всегда, всегда будь доброй.

Приземлился самолет Сидни. Додо, которая в этом разбирается, говорит, что еще не меньше двадцати минут уйдет на паспортный контроль, получение багажа и таможенный досмотр. Поэтому, чтобы как-то убить время, мы снова тратим краденые деньги и покупаем свитеры, перчатки, шарфы и шерстяные шапки. Додо говорит, что теплые вещи нам понадобятся, но не говорит почему. Думаю, мы сбежим в горы Уэльса, когда повидаемся с Сидни. Надеюсь, что так. Но какой же глупый у меня будет вид, чтобы не сказать — чересчур бросающийся в глаза,— если я полезу в горы в леопардовой шубке.

Мой любимый сын ездил на субботу и воскресенье в Уэльс, когда ему было четырнадцать лет. Поездку организовала школа, но на самом деле заботу о нем и еще восьми детях взяла на себя фирма «Приключения на колесах». Из нашего холмистого графства они отправились на микроавтобусе в дикий Уэльс и ходили там по горным кряжам. Вернувшись домой, мой сын еще долго витал в облаках. Я радовалась, что он расширил свой кругозор. Молодая женщина по имени Андреа отвечала за его спуск по скалистому склону.

Дорогой Джон, надеюсь, ты никогда не забудешь, что однажды доверил свою жизнь надежным женским рукам.

37. БРАДФОРД ИДЕТ ПО ТЕМНЫМ ТРОПИНКАМ

Брадфорд Кинз стоял у дома номер 13 в переулке Барсучья Роща района Темные Тропинки. Он теперь уже знал, что Лорен Макскай — это и есть Ковентри Дейкин, и любил он ее сильнее, чем прежде. Ему с трудом верилось, что эта роскошная женщина провела большую часть своей взрослой жизни в таком жутком месте, что ей приходилось шагать по мерзким серым тротуарам и видеть перед собой такой тусклый пейзаж. Его не удивляло, что эта страстная, полнокровная женщина пошла на убийство. Она была волшебница, и пребывать ей надлежало в волшебном царстве, а не среди здешнего жалкого нагромождения бетона и кирпича, которое называют районом. Его глаз художника с отвращением смотрел на уныло прямоугольные дома с низенькими входными дверями и чахлыми палисадниками. Это же небытие, подумалось ему, и он возблагодарил Бога, в которого не верил, за свою извилистую улочку на окраине, где вплотную стоят дряхлые двухэтажные дома, где на углу магазин, а из окна его гостиной видны напоминающие спички ноги прохожих. Он презирал в доме Лорен нелепые окна и двери в псевдогеоргианском стиле.

«Она замужем за выскочкой»,— подумал он, и, снедаемый любопытством, пошел по дорожке к дому, и позвонил в дверь.

По дому разнеслась мелодия «Если б я правил миром», и Дерек Дейкин приоткрыл дверь. насколько позволяла цепочка. Брадфорд никак не ожидал увидеть здесь такого *старого* человека. Ему небось лет сорок пять, самое малое. Брадфорд не заготовил первых фраз.

— Мистер Дейкин?

— Да?

— Я друг вашей жены.

— Я вас не знаю.

— Да, не знаете. Я ведь *сказал:* я друг вашей *жены.*

— Но я знаком с *обоими* друзьями моей жены. Вы уверены, что у вас правильный адрес?

— Ваша жена — очень талантливая художница.

— Вы просто не туда попали, молодой человек. Ну-ка, будьте любезны...

— Не могли бы вы мне дать какую-нибудь ее вещицу? Мне так хочется что-то на память, пустячок, что угодно, лишь бы можно было подержать в руках...

Косматая борода Брадфорда лезла в приоткрытую дверь на всю ширину цепочки. Он вовсе не хотел говорить подобострастно, но поделать с собой ничего не мог. О, какое унижение! Он знал, что завтра будет ненавидеть себя. Он читал о любви, о

том, как она доводит людей до фиглярства, но не в силах был поверить, что и сам до этого опустился. Листая в свое время Юнга, он понял, что он интроверт.

— Вполне хватит носового платка. Может, найдется что-нибудь из нестираного белья?

— Нет, уходите. Уберите ногу и бороду из моей прихожей.

— Я люблю ее, я люблю вашу жену и, когда разыщу, возьму ее к себе и никому не отдам! — Брадфорд и не предполагал, что способен кричать с такою страстью.

— Подождете, пока она выйдет из тюрьмы, да? — спросил Дерек.

— Как? Она *в тюрьме?*

— Нет,— ответил Дерек.— Но будет, когда ее поймают.

— В таком случае я разобью палатку у тюремных ворот.

— Власти этого никогда не допустят. Вы нарушите сразу несколько подзаконных актов.

— Я найму самолет и стану летать над тюрьмой. А к самолету прикреплю плакат: «Я ЛЮБЛЮ ВАС, ЛОРЕН МАКСКАЙ». Она выглянет из своего зарешеченного окошка и увидит его.

— Лорен Макскай? — с облегчением переспросил Дерек.— Я же *сказал,* что вы перепутали адрес. Фамилия у жены Дейкин, миссис Дерек Дейкин.

Дерек пинком выставил ногу Брадфорда за порог и захлопнул дверь, защемив клок спутанной бороды безумца. Брадфорд завизжал от боли, но Дерек не рискнул открыть дверь и вновь объясняться с этим маньяком; он поспешно отправился на кухню и, найдя ножницы, через щель в почтовом ящике просунул их Брадфорду, и тому пришлось укоротить бороду на четыре дюйма. Брадфорд опустил рыжие клочья назад в почтовый ящик, но Дерек не желал, чтобы его обвинили в краже, и отправил их обратно Брадфорду. Дереку и без того хватало забот: детям велено быть дома к 2.30, сейчас уже 4.15, а их и в помине нет; воскресный обед обезвоживается в духовке.

Дерек прикрутил газ и пошел в сарай. Ему надо было подготовить черепах к зимней спячке. «Счастливые малышки,— приговаривал Дерек, поглаживая мотающиеся из стороны в сторону доисторические головки.— Вы-то тут совершенно ни при чем».

38. ЮНЫЕ ДЕЙКИНЫ СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ

Юные Дейкины сошли с автобуса в аэропорту Гатуик и спешно направились в зал прибытия. Всю поездку они ссорились. Мысль встретить дядю Сида и тетю Руфь у трапа самолета пришла в голову Мэри.

— Мы попросим дядю Сида повозить нас по Лондону — вдруг увидим маму.

— Тебе известно, Мэри, *каково* население Лондона? Счет идет *на миллионы.*

— Но попробовать-то стоит, разве не так?

— Предположим, но особо не надейся. Она же не дебилка какая-нибудь, чтобы стоять на Трафальгарской площади или еще где на известном месте, правда?

— Не могу представить себе маму в Лондоне, а ты, Джон? Понимаешь, как это она там ходит-бродит и даже ночью спит не дома, а неизвестно где. Уж очень она скромна и застенчива.

— Не *очень-то* она скромна и застенчива,— подчеркнуто заметил Джон. Он думал о тайном дневнике матери, который он носил с собой во внутреннем кармане куртки.

— *Все-таки* она застенчивая. Помнишь, она выиграла в лото и не решилась крикнуть, что закончила?

— Она не приучена кричать в общественных местах, ее так воспитали,— сказал Джон.— Это же не ее вина, правда?

— Но ведь она так и осталась сидеть, а тридцать пять фунтов уплыли в накопитель! А ей всего-то и надо было крикнуть: «Партия!»

— Мама не так проста, как ты думаешь,— сказал Джон.— Совсем не так проста, как кажется на первый взгляд.

— Ты же не думаешь, что они с Джеральдом Фоксом любили друг друга, а?

— Я *знаю,* что этого не было.

— Откуда *тебе* знать? — Мэри была в ярости от самодовольства Джона.

— Слушай,— сказал Джон,— у меня нет настроения спорить ни сейчас, ни потом, поэтому *хватит* спорить, ладно?

— Как, вообще?

— Ага, меня от этого тошнит; просто мозги сохнут.

— А что, если я права, а ты не прав или ты прав, а я?..

— Тогда просто *скажи* что хочешь, и я тоже скажу, согласна? Но хватит *спорить*. И...

— Да?

— Опять ты взяла в рот золотую цепочку. Это меня с ума сводит. Извини, но правда сводит.

— Ну, знаешь! Джон?

— Что?

— Больше я твое белье не стираю и не глажу тоже. Извини, но уж уволь.

— Что ж, это справедливо.

Каждый из них изумился тому, как спокойно другой воспринял эти слова, и впервые в жизни они почти нравились друг другу; в тот миг они не могли бы этого объяснить, но они почувствовали, что́ такое быть взрослыми.

Они встали в сторонке от встречавших, толпившихся у ограждения, и принялись высматривать дядю Сида и тетю Руфь, которые должны были выйти из зала таможенного досмотра. Оба надеялись, что Сид в хорошем настроении и его удастся уговорить поездить по Лондону. С Сидом никогда не знаешь, чего ждать; он очень сложная натура.

39. КРАСИВЫЕ ДЕТИ

В аэропорту постоянно передавали по радио разные объявления; я их слушала, особенно не вникая в то, что говорил диктор. Но вдруг я навострила уши, чтобы не пропустить ни слова:

— Джона Дейкина просят пройти в бюро информации. Джон Дейкин, пройдите в бюро информации.

— Так зовут моего сына,— сказала я Додо.

— Существуют, наверное, тысячи Джонов Дейкинов,— ответила она, но заметно встревожилась.

— Где бюро информации? *Где* оно, Додо?

— Я тебе покажу, но, пожалуйста, Яффа, держись на расстоянии и не делай глупостей, обещаешь, дорогая?

Мы вышли из кафетерия и посмотрели с галереи вниз. Бюро информации было прямо под нами. Моя дочь Мэри стояла там с озабоченным видом. На ней было ее лучшее пальто, а светлые волосы острыми прядями торчали во все стороны в новой современной прическе, видимо, покрытые чем-то липким.

— Чем это она намазала свои чудные волосы? — спросила я.

— Гелем,— ответила Додо и тут же добавила: — Она поразительно похожа на тебя прежнюю, правда?

Пока мы наблюдали, сквозь толпу прошел мой золотоволосый сын и тронул Мэри за плечо. Она обернулась, и они улыбнулись друг другу. На лицах у них было явное облегчение.

— Если ты сейчас к ним подойдешь, то окажешься в тюрьме, а им разобьешь сердце. Не ходи, Яффа!

Я не могла оторвать глаз от моих прекрасных детей.

— Додо, быстрей пойди скажи им, что я здесь... пожалуйста, Додо.

Додо медленно спустилась по лестнице и подошла к моим детям. Странное это было зрелище, в жизни не предполагала такого увидеть; до чего же разными были эти люди! Вот Додо уже *говорит* с ними. Они оглядываются. Увидели меня. Додо резко сказала им что-то, и они сразу отвернулись. Меня неудержимо тянуло к детям. Я так сильно стремилась к ним, что почувствовала слабость, у меня закружилась голова, и пришлось сделать над собой усилие, чтобы перестать глупо хныкать вслух от вожделения.

Напряженной, деревянной походкой Джон и Мэри двинулись прочь; Додо вновь подошла ко мне и сказала:

— Они сядут в черное такси. Оно проедет разок вокруг аэропорта, потом вернется на стоянку и посадит тебя. Вот тебе на такси.— Она дала мне двадцатифунтовую купюру. Она была сама не своя от страха.

— У меня никогда не было детей, кроме Джефа,— сказала она.— Теперь, когда

он умер, я жалею, что нет детей; впрочем, ты ведь больше никогда не будешь свободной, правда? Я права?

— Да, права,— сказала я. Стоит родить ребенка, и свобода утрачена навсегда.

Додо спросила, хочу ли я еще удрать. Я сказала, не знаю. Наступило молчание. Наконец я спросила Додо, почему больше не передают, чтобы Джон подошел к бюро информации.

— Они потерялись в толпе и повсюду искали друг друга. Они приехали сюда встретить Сидни — как и ты.

40. ИНСПЕКТОР СЛАЙ ХВАТАЕТ ПРЕСТУПНИКА

Сидни снова нажал кнопку.

Стюардесса быстро прошла по проходу и склонила над Сидни лицо, разрисованное продукцией «Макс Фактор».

— Мы задерживаемся из-за технической неисправности, сэр,— солгала она.— Оставайтесь, пожалуйста, на месте.

— Но мы уже больше часа как сели. Что за техническая неисправность?

— Они знают, что делают, Сид,— сказала Руфь.

Этот мягкий укор Руфи удивил Сидни; он его еще и напугал. Сидни вспомнил, что вчера Руфь отказалась заняться любовью и что к телефону она подошла вопреки его желанию. Правда, других признаков ее непокорства не было... до сих пор.

— Они явно *не* знают, что делают, Руфь; кому-то это явно на руку. Я схожу с самолета, и немедленно!

— Пожалуйста, сэр, мы получили распоряжение никого из самолета не выпускать.

Сквозь толстый слой косметики на лице стюардессы пробивался пот. Из гладкого пучка волос выскочила прядь. Теперь она стала похожа на обычного человека, а не на автомат связи между фирмой и клиентами. Крупный неуклюжий мужчина боком пробирался по узкому проходу. Инспектор Слай вот-вот схватит того, за кем гнался. Стюардесса указала на Сидни, потом отошла в сторону, предоставив свободу действий закону.

— Сидни Ламберт? Я инспектор сыскной полиции Слай. Пройдите, пожалуйста, со мной и не спрашивайте, почему, куда или зачем. Я человек занятой, поэтому подробности опустим. Теперь встаньте и идите со мной.

— Почему? Куда? Зачем? — спросил Сидни.

— Они знают про кольцо, Сид! — сказала Руфь. Она сняла свое новенькое золотое кольцо с бриллиантом и отдала его инспектору Слаю, тот повертел его в руках, сказал «очень мило» и, к ее изумлению, вернул ей.

— Значит, это связано с Ковентри, так ведь? — сказал Сидни, когда он, Слай и еще несколько зачем-то собравшихся здесь полицейских спускались из самолета по алюминиевым ступенькам трапа.

— Да,— сказал Слай.— Я посажу вас под арест и буду давить до тех пор, пока не выжму из вас, где она прячется. Мне на следующей неделе положен небольшой отгул, поеду в Норфолк наблюдать жизнь птиц, и я хочу, чтобы это дело уже было закрыто, чисто-аккуратно, до того, как я уложу в чемодан бинокль.

Сидни дрожмя дрожал в своем легком белом костюме. После Португалии Англия казалась тусклой и бесцветной; мерзкая погода была, как водится, в каком-то неопределенном расположении духа: немножко холодно, немножко мокро, немножко туманно — в общем, немножко тоскливо. Шагая по бетонному полю, Сидни посматривал на замкнутые английские физиономии своих спутников. «Они все тут в Англии сексуально подавлены»,— подумал Сидни, временно отмежевываясь от соотечественников.

— Что будет с моей женой? — спросил он у Слая.

— Не знаю, Сид, и знать не желаю, мой мальчик. Либо уедет к себе в Центральные графства, либо же будет болтаться здесь и ждать вас, так?

— Ковентри в Лондоне— вот все, что я могу вам сообщить,— сказал Сидни.

Слай спросил:

— Где именно, мистер Ламберт, в Большом Лондоне или в лондонском Сити? Быть может, вы соблаговолите дать мне ее адрес прямо сейчас? Насчет почтового кода можете не беспокоиться.

Когда они вошли в здание аэровокзала, Сидни поискал в карманах сигареты и

обругал себя за тщеславие, заставившее его купить себе брюки в обтяжку и рубашки без карманов. Слай заметил волнение Сидни.

— Ку́рите, мистер Ламберт?

— Да, у вас найдется сигарета?

— Нет, мистер Ламберт, я член Общества борьбы с курением и защиты здоровья.

Слай был очень доволен. «Он у меня быстренько расколется,— думал он,— часика два посидит без никотина и готов».

41. КОВЕНТРИ ПРОЩАЕТСЯ

Такси трижды объехало аэропорт.

— Еще раз, пожалуйста,— крикнула Ковентри.

— Черт подери, у меня уже голова кружится! — простонал шофер.

— Ах, да не скулите, поезжайте. Вам же за это платят, верно?

Она задвинула стекло между салоном и водителем. Детей удивила властная интонация матери. Откуда бы такое? Неделю назад она бы стала извиняться за то, что вызвала у шофера приступ головокружения. А теперь она участвует в конспиративной встрече, которую организовала таинственная, шикарная женщина, вся в черном.

Ковентри сидела между сыном и дочерью, крепко обхватив руками их плечи. Через десять минут она должна была вернуться в аэропорт. Она объяснила детям свои планы:

— Я обещала Додо вернуться. Мне *кажется,* она уже намечает маршрут нашего побега в Уэльс.

— А насколько бы тебя посадили в каталажку — если б ты сдалась? — спросила Мэри.

Ответил Джон:

— Я спрашивал папу. Он считает, года на четыре; за хорошее поведение могут и скостить срок.

— Мама бы *хорошо* себя вела, правда, мам?

Ковентри поцеловала дочь в шею, но сказала:

— Я бы в тюрьме *умерла,* Мэри.

— Но ведь ты могла бы и в тюрьме учиться живописи, разве нет? — выпалил Джон.

— Ты читал мой дневник! Ах, Джон, нет, неужели ты его прочел, а?

— Извини, мама, но я не хотел, чтобы его нашла полиция.

— Да, ты прав. Ты, должно быть, думаешь, что я сумасшедшая.

— Вовсе нет,— запротестовал Джон.

— Какой дневник? — спросила Мэри.

— Брадфорд Кинз считает, что ты волшебная художница.

— Правда?

— Кто это Брадфорд Кинз? — спросила Мэри.

— Был у меня такой знакомый,— сказала Ковентри, которая избавилась от своей безумной влюбленности в Брадфорда на втором же уроке живописи в художественной школе для трудящихся.

Мэри плакала.

— Мамочка, возьми нас с собой в Уэльс или куда ты там еще едешь!

— Нельзя пропускать школу,— сказала Ковентри.— *Тебе* надо сдать экзамены: и папе одному будет трудно!

— Что мы будем без тебя делать? — сказал Джон.

— Вы вырастете,— ответила Ковентри,— и мы снова где-нибудь будем жить вместе.

Такси вернулось на стоянку, и вот наступила страшная минута. Ковентри заплатила шоферу, и все трое приникли друг к другу, как на семейной фотографии, и каждому не хотелось отпускать остальных.

Сержант сыскной полиции Хорсфилд наблюдал за ними с глубокой грустью. Он наблюдал за ними с тех самых пор, как услышал объявление, обращенное к Джону Дейкину. Шофер его такси прямо затрепетал от восторга, когда ему было велено «следовать за тем такси». Это была фраза, которую он мечтал услышать семнадцать лет.

Хорсфилду полагалось сразу подойти к Ковентри, арестовать ее, а потом спокойно сесть и ждать поздравлений, восхищения, славы и неизбежного продвижения по службе; но чем дольше он наблюдал за этой крошечной группой, тем меньше ему хотелось разлучать их. Он молил Бога, чтобы он направил его и дал ему сил.

Бог посоветовал ему оставить полицию и принять сан священника. Поэтому Хорсфилд плюнул на карьеру и вернулся в зал прибытия; там он увидел Руфь Ламберт, которая сидела на скамье в окружении чемоданов и разбитых тарелок в португальском народном стиле. Она в точности походила на фотографию, которую он носил в кармане. Маленькая, тщедушная, с торчащими вперед зубами.

«Наверное, *что-то* в ней есть»,— снисходительно подумал Хорсфилд, ведь у него в потайном кармане была и фотография ослепительного Сидни.

— Миссис Руфь Ламберт?

— Да.

— Я из полиции (хотя теперь уж недолго, совсем, черт возьми, недолго!). Вас пришли встретить племянница и племянник; они на улице, возле стоянки такси. Я постерегу ваш багаж.

42. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Персональная машина Поджера, в которой сидели Поджер, Николас Катбуш и офицер Секретной разведывательной службы по имени Наташа Кранц, подъехала к аэропорту сзади, ко входу для Особо Важных Лиц, и встала.

Поджер все еще был в смятении. До того как пришла машина, он все рассказал жене: о Яффе, о своей любовнице, о прочих супружеских и финансовых изменах. Однажды начав, он уже не мог остановиться. К его удивлению, жена при всем своем аристократизме впала в неистовство и набросилась на него с кулаками прямо в ванной. Она визжала, устроила истерику, потом включила душ и направила обжигающую струю на его неприкрытые половые части. В крайней злобе она крикнула:

— От *меня* поддержки не жди, я не стану играть роль храброй маленькой женщины и позировать на лужайке, где мы будто бы гуляем, взявшись за руки. Не буду я сидеть с тобой перед журналистами, поглаживая паршивого ньюфаундленда, *не выйдет,* ублюдок ты эдакий! Если это попадет в печать, я подам на развод. Я в мученицы не гожусь! Мэри Арчер [1] изображать не стану!

Под взглядом жены, напоминавшим взгляд Горгоны-Медузы, Поджер смазал вазелином свои ошпаренные до красноты половые части. Он бы не возражал, если б его тут же обратили в камень. Все было лучше, чем то, что предстояло ему в ближайшие дни. Утром у него была назначена встреча с премьер-министром. Они должны были обсуждать вопросы правопорядка. Его пенис съежился при одной мысли об этом.

Вместе со спутниками Поджер вылез из машины, превозмогая боль, зашаркал по коридорам, прошел в зал ожидания для Особо Важных Лиц, где уже сидела Додо, как и было заранее договорено.

— Что случилось, Поджи? — спросила Додо.— У тебя такой вид, словно ты наделал в штанишки.

Поджер с великой осторожностью опустил свои ляжки на стул. Он мечтал показать свое причинное место врачу, да времени не было; к тому же сконфузились бы оба — и врач, и он сам; и Поджер, наверное, страдал бы от конфуза больше, чем от ожогов. Его лицо было известно на всю страну, и заурядность его половых органов казалась поэтому еще невыносимей. Николас велел офицеру безопасности проверить комнату на предмет наличия в ней подслушивающих устройств и скрытых камер. Наташа Кранц, по всей видимости, провела основательную работу, вплоть до притаскивания стремянок и вывинчивания из потолка ламп скрытой подсветки. Никто не промолвил ни слова, пока она не сказала:

— Все чисто, сэр.

— Теперь проверьте мою сестру.

Наташа с решительным видом обыскала Додо.

— Чисто, сэр.

— Где твоя подружка-убийца? — спросил Николас.

— Скоро будет здесь,— ответила Додо. И добавила: — Ты все принес, что я просила, Ник?

Наташа Кранц открыла портфель и вынула пачку денег и разнообразные документы. Додо открыла свою черную сумку и отдала Кранц фотографии на паспорта, и Кранц принялась вносить поправки в удостоверения личностей Ковентри и Додо. Их но-

[1] Жена Джефри Арчера, стойко поддерживавшая мужа во время скандала и судебного процесса (который он выиграл).

вые имена вполне подходили социальному положению и выговору каждои. Додо стала мисс Анджела Стаффорд-Кларк, место рождения: курорт Лемингтон [1]; а Ковентри предстояло вот-вот превратиться в м-с Сьюзен Лоу, место рождения — Ноттингем.

43. РАЗЛУКА

Именно Наташа Кранц и разлучила меня с детьми.

— Вам пора идти! Пора! Прощайтесь и пойдем!

Она отцепила их руки от моей талии и шеи и очень строго сказала:

— Сегодня вечером вы своей матери не видели, ясно?

Они закивали прелестными светлыми головками.

— И меня вы тоже не видели.

Они снова закивали головами.

— Теперь прощайтесь с матерью: ей пора идти.

Занозы в мозгу.

44. СОЛНЦЕ ВСТАЕТ НА ВОСТОКЕ

— Пожалуйста, Яффа, милая, не плачь. Я не могу этого вынести. Николас, дай ей свой платок.

— Он же шелковый, его только в нагрудном кармашке носить.

Поджер предложил свой, я взяла его и уткнулась лицом в белое полотно. Я не могла смотреть в глаза никому. Я повернулась спиной к самой природе. Я была отщепенкой, парией. Убийство было сущим пустяком по сравнению с недавним моим бесчеловечным поступком. Бросила собственных детей.

Додо сунула мне что-то в руку, тонкое, твердое, прямоугольное. Я отняла от глаз платок и увидела темно-синюю книжку. Открыла ее и прочла свое новое имя: М-с Сьюзен Лоу, место рождения — Ноттингем. Страницы паспорта Сьюзен были заштемпелеваны визами и в Америку, и в Австралию, и в Индию.

— Ты совершил невозможное, Поджер? — спросила Додо.

Поджер дал понять, что говорить за него будет Наташа Кранц.

— Да, невозможное свершилось.— Она вручила Додо несколько листков бумаги. Додо посмотрела на них и вздохнула.

— Чудесно, благодарю вас. Когда он отправляется?

Наташа сказала:

— Они перед нами в долгу, так что им пришлось изменить маршрут самолета, летевшего в Париж. Вы вызовете у других пассажиров крайне неприязненные чувства. Ну, где фотография?

Додо отдала Поджеру снимок, который наделал столько неприятностей. Тот попытался порвать его надвое, не сумел и положил себе на колени у мучительно саднящих органов.

— У вас, конечно, есть еще копии,— сказал Поджер.

— Конечно,— отозвалась Додо.— Они идут по почте.

— Ах ты, телка хренова, ты развалила мою семью, да и карьеру, наверное, тоже.— В глазах Поджера сверкнули злые слезы. Он сунул фотографию в пепельницу и поджег ее Мы все смотрели, как изображение извивалось, плавилось и, наконец, свернулось трубочкой.

Додо сказала:

— Ну, Поджер, не унывай, старина; у тебя осталась любовница и счет в банке, не говоря уж о том, что за тобою — правящие круги Англии. Могло бы быть куда хуже.

— Надо было устроить, чтобы их укокошили,— не выдержал Ник.— Никто из нас больше не сможет спать спокойно.

Я знаю, что садилась в автобус, потом в самолет; и я чувствовала, что самолет набрал скорость, потом взлетел, сделал вираж и взял курс на восток. Помню, я заглянула в маленькое окошко и увидела вдалеке огни аэропорта. Где-то там, внизу, были мои дети, собиравшиеся отправиться домой. И там внизу, с ними, уже далеко позади, осталась мисс Ковентри Ламберт, дочь моих родителей; миссис Дерек Дейкин, жена моего мужа; Маргарет Дейкин, изобретение моего сына; Лорен Макскай, ученица

[1] Курорт с целебными источниками, недалеко от г. Ковентри.

Брадфорда Кинза; и Яффа, подруга Додо.

— Куда мы направляемся? — спросила Сьюзен Лоу.

— В Москву,— неожиданно прозвучало в ответ.

45. ЭДНА ДЕЙКИН ВЫХОДИТ НА БОЛЬШУЮ ДОРОГУ

Свекровь Ковентри, Эдна Дейкин, лишь вполуха слушала Дерека, собственного сына. Остальное внимание было сосредоточено на том, что происходило на улице, где, как водится, ничего не происходило. Она видела другую женщину ее же возраста, одиноко глядящую из окна.

«А все из-за этих жутких домов,— думала Эдна,— они напустили на нас свои чары, мрачные серые чары. Почему у нас нет ярких красок, узоров, растений, что вьются по стенам, как в других странах? Разве удивительно, что нам не хочется гулять по примитивным уродливым улицам, которые для нас понастроили.

А этот новый районный общественный центр! — Эдна усмехнулась.— Отвратительное бетонное сооружение с гулким эхом и низкими потолками, *вот* что это такое».

Эдна посмотрела на ряды одинаковых бетонных домов, тянувшихся по холму, и почувствовала, что грудь ее неудержимо переполняется гневом. «Ничего удивительного, что ребята поломали молодые деревца,— думала она.— Это оттого, что они не могут дождаться, пока те вырастут. А эти ужасные магазины! И еще придумали название «Парад» — парад магазинов! Ха! Но парад — это хорошо, это праздник. На параде машешь флажком. А не покупаешь бакалейные товары. И потом, почему детям негде играть? — мысленно спросила Эдна.— Им бы все-таки стоило сначала научиться играть, а потом уж садиться на пособие по безработице».

— Мама, ты слушаешь?

Она повернула свое неуклюжее тело к сыну. Какой же он недомерок! Как это ему удалось заполучить Ковентри, такую прекрасную, что, где бы она ни шла, все головы поворачивались ей вслед? Прямо как в песне.

— Мама, ты что-то мычишь.

— Я напеваю старинную песенку: «Где ни ступит она, там прохлада долин...»

— Но мы же разговариваем...

— Нет, Дерек, вовсе нет. Для разговора нужны двое, а сейчас, как всегда, ты говоришь, а я вынуждена слушать.

— Мама! Ты, может, нездорова?

— Я здорова, насколько может быть здоров человек, у которого от скучищи мозги засохли к черту.

— Мама! Я никогда не слышал, чтобы ты ругалась нехорошими словами.

— О, я ими часто пользуюсь, когда я в доме одна. Бранюсь как ненормальная. Обожаю ругаться.

— Ты просто нездорова, да? Это все волнения из-за Ковентри?

— Странно, Дерек, но я совсем за нее не волнуюсь. Я за нее даже вроде как рада. Жаль, что я не сделала того же.

— Чего? Не убила кого-нибудь?

— Нет. Я про то, чтоб сбежать. Я хочу сказать: *это же интересно,* правда? Она может быть где угодно: в Тимбукту, в Константинополе, на краю земли, где угодно. Лучше, чем жить здесь и раз в день ходить в магазин. Я пришла к заключению, что я свою жизнь ненавижу, Дерек, я пытаюсь ее изменить.

— Как?

— Ну, для начала я беру уроки вождения машины.

— Уроки вождения? Ты угробишься.

— Вовсе нет. Я вполне разумная женщина, и к тому же *существует,* знаешь ли, такая вещь, как двойное управление.

— Это нелепо. Разве ты можешь позволить себе купить машину? Ты пенсионерка.

— Когда сдам экзамен, я возьму назад деньги по похоронной страховке.

— Ты не можешь этого сделать, а как же гроб, который ты хотела... и машины для похоронной процессии? И прием с чаем после похорон?

М-с Дейкин расхохоталась, увидев, как оторопел сын.

— А пускай районный совет меня сожжет. За долгие годы я им достаточно выплатила налогов.

На улице прогудел автомобиль. Дерек встал и подошел к окну. У обочины стояла

учебная машина. Молодой человек пересаживался на пассажирское место.

— А вот и он,— сказала м-с Дейкин. Она выключила газ, подхватила сумочку и вышла в прихожую.

— До свиданья, Дерек,— с нажимом произнесла она.

Они вышли из дома вместе. Дерек ушел не оглядываясь.

Он услышал, как яростно взревел мотор, потом учебный автомобиль, набирая скорость, пронесся мимо, за рулем сидела его старая мать. Дерек смотрел, как машина исчезла за холмом. По его мнению, она превышала разрешенную скорость по крайней мере на пятнадцать миль в час. Он записал название школы вождения: «Без осечки». Он позвонит им, как только придет домой, и пожалуется на инструктора, которому положено научить его мать соблюдать правила движения.

Дерек подивился про себя, отчего это все известные ему женщины вдруг стали сходить с ума. И не только члены его семьи. На работе девушки становятся строптивыми: требуют того-сего, больше денег, улучшения условий, гибкого графика. А разве женские голоса не стали громче? А одежда еще ярче, а сами они выше и внушительнее? Волоча ноги, Дерек брел домой, как динозавр, лишившийся своего болота и потому несчастный, с беспокойством ощущающий, что климат меняется.

ЭПИЛОГ

Прошло шесть месяцев, день в день, с тех пор, как Ковентри убежала из дому, от семьи. За это время в переулок Барсучья Роща пришла русская рождественская открытка, в адресе было написано: «Детям». Текста никакого не было; обратная сторона открытки была совершенно пуста. Но дети знали, от кого она.

РУФЬ перестала принимать противозачаточные пилюли. Сидни об этом не знает. Руфь ему ничего не скажет, пока не пройдут двадцать девять недель беременности.

СИДНИ получил повышение: теперь он Главный Управляющий в Восточной Части Центральных Графств, у него под началом тридцать семь больших магазинов. С тех пор как его повысили, цифры продажи товара выросли поразительно. Первое предложение, которое Сидни внес на заседании правления, заключалось в повсеместной замене слова «магазин» словом «центр».

ХОРСФИЛД живет с Барбарой и Мэтью в автоприцепе на самом въезде в Кембридж. Он учится в теологическом колледже. Он очень счастлив и не догадывается, что Барбара отнюдь не счастлива.

ПОДЖЕР думает о Ковентри, как только открывает поутру глаза. Он в двуспальной кровати один. Жена оставила его и живет с кандидатом от лейбористов. Одна из артерий Поджера склеротически сужается. Он этого не знает и не узнает, покуда 2 августа 1992 года кровь не перестанет поступать к его сердцу.

ДЕРЕК одержал победу. Наоми завоевала ему первое место на съезде любителей черепах Соединенного королевства. Фотографии Дерека и Наоми были опубликованы в местной газете под неудачным заголовком: «Муж беглянки выходит из своей скорлупы». Есть женщина, некая миссис Дафна Пай, которая очень интересуется Дереком. Она считает его великолепным собеседником. Дафна — любительница черепах, она танцует фокстрот и не курит.

МЭРИ стала красавицей, она усердно учится и постоянно думает о матери.

ДЖОН снова сдает выпускные экзамены. Он тоже стал красавцем.

ЭДНА ДЕЙКИН сдала экзамен на вождение с первой попытки. Она купила «вокс холл шеветт», синий, с перламутровым отливом, причем руль расположен слева. Автомобиль обошелся ей в сто пятьдесят фунтов. Теперь ее почти невозможно застать дома.

СЛАЙ умер. Он сгорел на шоссе М-1, возвращаясь из аэропорта Гатуик. Полагают, что он заснул за рулем. Все документы, касающиеся Ковентри Дейкин, погибли в огне.

ГАЙ ГУЛЬОТТА
ДЖЕФФ ЛИН

Кокаиновые короли

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Перевод с английского ОЛЬГИ ВАРШАВЕР

1
ДЕЙДЛЕНД

В жаркий июльский день 1979 года белый грузовичок марки «форд» въехал на стоянку возле крупнейшего в южной Флориде торгового центра под названием «Дейдлендская аллея». Вздумай случайный прохожий осмотреть грузовик-доставщик попристальней, он бы непременно заметил, что надписи на бортах не совпадают. Слева написано: «Счастливо отдохнуть! Еда для пикников и праздников», справа же — наоборот — «для праздников и пикников». Кроме этих надписей, грубо намалеванных по трафарету красной краской, имелся и телефонный номер, но звонить по нему было совершенно бесполезно — там о пикниках и слыхом не слыхивали.

Грузовик остановился в юго-западной части торгового центра; здесь — между кулинарией и салоном красоты — помещался магазин «Королевские вина». Вообще гово-

© 1989 by Guy Gugliotta and Jeff Leen

ря, Дейдленд — обычное провинциальное торжище в субтропиках Соединенных Штатов. Торговый центр занимает двадцать с лишним гектаров вдоль канала в майамском пригороде Кендал, а вокруг лишь аккуратно подстриженные лужайки, зеленеющие перед типичными американскими домиками в стиле «ранчо». Ежеутренне волна служащих откатывается на десять миль к северу — в центр Майами — и ежевечерне катит назад, спать.

Белый грузовик прибыл в Дейдленд на рандеву. В «Королевских винах» предстояла встреча с Германом Хименесом Панессо — одним из майамских кокаиновых воротил. В грузовике тоже сидели кокаиновые дельцы. И тоже, как и Хименес, колумбийцы. Грузовичок притормозил возле винного магазина, не вызвав ничьих подозрений. Мотор продолжал работать.

Двадцать минут третьего Хименес и его двадцатидвухлетний телохранитель Хуан Карлос Эрнандес вылезли из белого «мерседеса» на дейдлендской стоянке и, оставив девятимиллиметровый браунинг на полу у заднего сиденья, безоружными направились в «Королевские вина».

Они спросили виски «Чивас Ригл». Продавец Томас Капоцци указал, где стоит вино, и Эрнандес на миг отошел от хозяина, чтобы достать бутылку с правой полки. В это время на пороге показались двое из белого грузовика. Один из них навел на Хименеса пистолет-пулемет «Беретта» — и открыл огонь. Другой стрелял из автомата системы «Ингрaм» (МАК-10). Хименеса и Эрнандеса расстреливали в упор, на полках звенели бутылки. Эрнандес скончался мгновенно. Хименес рванулся к двери, но тоже упал — пули 45-го калибра снесли ему голову. Задетый шальной пулей Капоцци, шатаясь, выбрался на улицу.

Убийцы произвели более шестидесяти выстрелов. Затем, бросив МАК-10, они выбежали из магазина и вскочили в грузовик. Чтобы прикрыть отход, изрешетили все машины на автостоянке. Стреляли куда попало, даже высадили зеркало заднего вида в собственном грузовике. Треск выстрелов, звон стекол... Наконец, грузовик свернул за угол в южной части торгового центра, и снова — тишина. На все потребовалось меньше трех минут.

Радиосигнал в уголовном отделе окружной полиции грянул как гром среди ясного неба: вооруженное нападение с участием латиноамериканцев! Точное время: 14.35, 11 июля 1979 года.

«Вот черт, опять!» — вздохнул про себя следователь Эл Синглтон. Кокаиновая война длилась многие месяцы, и в округе Дейд то и дело находили трупы колумбийцев. С ноября было зарегистрировано двадцать четыре убийства латиноамериканцев на почве наркотиков. Найти виновных удавалось крайне редко.

Бывший моряк Эл Синглтон был худ как щепка и имел примечательные, вытянутые кверху уши. Он уселся в свою неброскую, без полицейских эмблем, машину и направился по Долфинскому шоссе на запад. Позади буйные побеги небоскребов вспарывали небо над Майами, впереди стелились по земле низкорослые пригороды. Истинных причин кокаиновой войны не знали ни в полиции, ни в прокуратуре. По одной версии, все дело было в соперничестве кокаиновых дельцов из Колумбии. Другая версия предполагала, что колумбийцы никак не поделят сферы влияния с кубинцами. Прежде отношения между кубинскими перекупщиками и их колумбийскими поставщиками складывались достаточно ровно. Колумбийцы скупали лист коки в Боливии и Перу, перерабатывали его в порошок у себя дома и отправляли на север. Однако с 1976 года они решили обходиться без посредников и сбывать кокаин самостоятельно. За три прошедших года четыре-пять колумбийских групп захватили весь кокаиновый рынок в Майами.

К концу 70-х годов контролировать ситуацию стало совсем трудно. Вкусы американцев изменились, марихуана уступила место кокаину, возросший спрос вызвал резкий скачок цен: в Майами 1 килограмм (2,2 фунта) кокаина еще год назад стоил 34 000 долларов, а теперь — 51 000. Кокаин поступал бесперебойно, его ввозили все больше и больше. Полуостров Флорида с береговой линией длиной в 12 с лишним тысяч километров — сущий рай для контрабандистов. Майами гудел, как огромный улей, банки ломились от отмытых денег, латиноамериканцы зачастили в ночные клубы, где их поджидали конкуренты с припасенными в карманах пистолетами. Самый воздух накалился до предела, достаточно искры — и грохнет взрыв.

«Отстрел в кокаиновом коррале» — статью под таким кричащим заголовком прочел Эл Синглтон в майамской газете «Геральд» всего лишь неделю назад, в воскресенье. Там приводились подробности многочисленных убийств, связанных с наркотиками. Прежде местные жители и не предполагали, что возможна такая жестокость. Колумбийцы погибали самыми разнообразными способами: одних среди бела дня расстреливали в упор в городском транспорте; других засовывали в пластиковые мешки и топили в канале близ Корал-Гейблз. Федеральный прокурор заявил: «Повторяется история Додж-Сити!» Трупы колумбийцев заполнили окружной морг. Округ Дейд получил меткое прозвище «страна-хана». Пользовались, в основном, пистолетом-пулеметом МАК-10. Десятая модель представляет собой небольшую коробочку — компактный инструмент для убийства, который выплевывает тысячу пуль 45-го калибра в минуту и запросто пробивает обшивку любого автомобиля. Полицейские прозвали его «майамским вышибалой».

Эл Синглтон прибыл к дейдлендской автостоянке через двадцать пять минут после радиосигнала. Здесь уже скопилось множество полицейских машин, зеваки толпились поодаль, так как к месту происшествия их не допускали. Старший следователь сообщил Синглтону, что преступники бросили свой белый грузовик за углом, и попросил Эла осмотреть машину и «приобщить к делу».

Синглтон нашел грузовик за магазинами. Парни с телевидения уже вели съемку. Вытащив официальный желтый бланк, Синглтон принялся описывать все, что предстало его глазам.

Грузовик марки «форд» выпуска 1979 года приткнулся возле пешеходного мостика, перекинутого через канал, который отделял торговый центр от жилых кварталов. Убийцы, очевидно, скрылись за мостом, в предместье. Ключ торчал в зажигании, мотор еще работал. Сиденья были обиты красной ворсистой тканью. На сиденье водителя валялись солнцезащитные очки и синий бронежилет, какой носят полицейские. На пассажирском месте лежали обрез 30-го калибра, «магнум» и еще один револьвер. На полу Синглтон увидел МАК-10, 9-миллиметровый браунинг и еще один карабин 30-го калибра. На месте преступления редко остаются орудия убийства. Здесь же Синглтон насчитал 6 огнестрельных единиц. Небывалый случай. И из всех стреляли. Похоже на завязку фильма о ковбоях.

В задней части грузовика Синглтон увидел еще шесть бронежилетов — они свисали с потолка, точно копченые окорока. Боковые стенки грузовика были покрыты стальными пластинами толщиной в 6,5 мм. В задних дверцах — две дыры-амбразуры. Короче, не грузовик, а настоящая бронемашина. При одном взгляде на нее полицейских прошиб холодный пот. Убийцы явно замышляли скрыться во что бы то ни стало — пусть даже силой прорвавшись сквозь полицейские кордоны!

Эл Синглтон постоянно имел при себе обычное оружие окружной полиции — девятую модель «Смита-и-Вессона» 38-го калибра. Однако после дейдлендского расстрела приобрел 9-миллиметровый автоматический браунинг с обоймой на 14 патронов.

О дейдлендском убийстве кричали газеты во всех концах страны. В языке возникло новое понятие: «кокаиновые ковбои». На уголовном небосклоне вспыхнули новые, страшные звезды. Помимо кокаина дельцы из Колумбии завезли в Майами свирепую, нечеловеческую жестокость, с которой не сталкивались прежде американские блюстители порядка. До колумбийцев в майамском наркобизнесе крутились игроки, воришки и уцелевшие «дети цветов». Но эти вегетарианские времена отошли в прошлое. Колумбийцы превратят Майами в кокаиновую Касабланку восьмидесятых. Округ Дейд будут называть столицей смерти. Благодаря колумбийским поставщикам кокаин вытеснит с американского рынка другие наркотики и станет для страны бичом конца XX века.

Почти сто лет назад доктор Зигмунд Фрейд устроил в США кокаиновую лихорадку, провозгласив кокаин возбудителем сексуального желания. Увлечение кокаином длилось почти тридцать лет, его прервал лишь закон Харрисона, принятый в 1914 году — первый антинаркотический закон. Однако к семидесятым годам печальный опыт начала века был давно забыт. И все началось снова. Сперва кокаин стал просто модной забавой. Он придавал элитарным сборищам пьянящий аромат запретного плода. Затягивал под лопасти неумолимого молоха кинозвезд и спортсменов, завлекал в частые сети молодежь — золотую и попроще,— любителей сильных ощущений. И вот, наконец, в восьмидесятые годы «крэк» и «рок» спустятся в трущобы страны, превращая людскую

бедность в беспросветную нищету. В 1988 году кокаин будут регулярно потреблять шесть миллионов американцев и три наркомана — ежедневно умирать. Кокаин — первым среди наркотиков — будет признан угрозой национальной безопасности страны.

Впрочем, в 1979 году никто еще не провидел будущего. Эл Синглтон с коллегами и не подозревали, что кокаиновая война во Флориде — тяжелые, мучительные роды. Из горстки дилетантов-контрабандистов рождалась международная корпорация, которая будет ворочать многими миллиардами. К моменту дейдлендского убийства почти всех дилетантов со сцены уже убрали. А со временем наркосетью завладеют несколько колумбийцев, которые и станут кокаиновыми королями. Их ждут несчетные схватки: с дельцами-соперниками, с полицией и даже с правительствами,— но живучесть их беспредельна, и они неизменно остаются в числе самых богатых и самых жестоких преступников мира. Вместе эти люди известны как Медельинский картель.

Их было четверо: Пабло Эскобар Гавирия, иначе «Эль Падрино» — крестный отец, променявший вполне благополучную карьеру наемного убийцы, угонщика машин и похитителя людей на торговлю кокаином, наживший на нем миллионное состояние. Хорхе Луис Очоа Васкес, иначе Эль Гордо — Толстяк,— представитель низов среднего класса, тихий паренек, мечтавший о лучшей жизни для своей семьи и нашедший ее в кокаине; Карлос Ледер Ривас, иначе Джо Ледер,— смекалистый парень, любивший «Битлз» и замышлявший развернуть крупнейшую в мире сеть для перевозки наркотиков; Хосе Гонсало Родригес Гача, иначе Эль Мехикано — Мексиканец, покупавший на кокаиновые деньги футбольные команды, скаковых лошадей и огромные земельные участки.

К середине восьмидесятых годов эта четверка возьмет под контроль пятьдесят процентов кокаинового рынка США. На них будут работать тысячи людей: крестьяне станут выращивать и перерабатывать коку, летчики — перевозить наркотики, агенты — сбывать товар; толстосумы помогут дать взятку и отмыть деньги, наемные убийцы уберут с дороги врагов. Картель будет зарабатывать два миллиарда в год, не выплачивая при этом никаких налогов. Кокаиновые короли хитры и немногословны, у них — одна цель, и ради нее они готовы на все.

Подобно многим колумбийцам, промышляющим наркотиками, главари картеля считают своей родиной город Медельин, расположенный в отрогах Анд. Уже в 1979 году американские газеты называли Медельин «кокаиновой Уолл-стрит». Однако большинство американских полицейских, занимавшихся наркотиками, даже не знали, где находится этот самый Медельин. И напрасно. Ибо ключ к кокаиновому бизнесу следовало искать именно там.

На первый взгляд город не носит особой отметины. В туристских проспектах его называют обычно «Городом вечной весны» или «Городом орхидей». Расположен он в провинции Антьокия, среди сосновых лесов, занимающих центр и север Колумбии. Размерами Медельин уступает лишь столице страны — Боготе, а население его составляет 1,2 млн. человек. Город быстро разрастается в речной долине на высоте более полутора километров над уровнем моря. И нет красивее места в Южной Америке. В 1979 году жизнь в деловой части города била ключом, рвались ввысь небоскребы, и новые архитектурные формы приятно вплетались в величавый колониальный стиль прежней застройки. Ныне в черте города располагаются три университета, Ботанический сад, есть широкие бульвары и парки.

Жители Медельина называют себя «paisa» — земляки. Внешне они довольно скромны, на самом же деле — агрессивны и честолюбивы, это трудяги, жадные до денег и стремящиеся во что бы то ни стало взобраться вверх по социальной лестнице. И любого медельинца — богатого ли, бедного ли — уважают лишь за храбрость, смекалку и проницательность.

Во времена испанского владычества Медельин стоял на отшибе, колонисты не любили его за убогость и неприветливость, предпочитая благовоспитанную Боготу. «Земляк» — жалкий, бледный, болтливый мужлан — смешно коверкал испанские слова и был объектом нескончаемых шуток. Жители Боготы презирали «земляков» за неотесанность и грубость. Впрочем, в середине XX века шутить над медельинцами было уже неуместно. «Земляки» превратились в способных дельцов, готовых пуститься на любой риск. Родители стремились выставить сыновей из дома — чем раньше, тем лучше: «Разбогатеешь, вышли денег. Не разбогатеешь, на порог не пущу!»

Их старания не прошли даром. Медельин, скромный поселок, основанный колонистами около рудника, разросся; в XIX веке он стал основным производителем кофе, а в XX веке — промышленным центром всей Колумбии. Кроме того, за городом издавна закрепилась репутация контрабандного центра. Добропорядочные и не вполне добропорядочные «земляки» нелегально ввозили в страну американские спиртные напитки и сигареты, на самолетах перебрасывали телевизоры, стереоаппаратуру и радиоприемники из зоны Панамского канала, где в портах велась беспошлинная торговля. К 1979 году Медельин стал богатым, красивым городом, презиравшим чужаков. Здесь-то и зародилась колумбийская кокаиновая индустрия.

Древние жители Анд, южноамериканские индейцы, жевали лист коки добрых две тысячи лет. Но лишь в конце XIX века европейские химики взялись за обработку коки всерьез и получили первый кокаин. До 1973 года кокаин для немедицинских целей производили в Чили в домашних условиях. Затем его очищали и отправляли в Соединенные Штаты, причем колумбийцы зачастую выступали посредниками в этих операциях. Американский спрос ограничивался горсткой богачей, которым хотелось испробовать чего-нибудь похлеще марихуаны, но избежать побочных эффектов, которыми чреват героин. Благодаря кокаину чилийцы процветали, но рынок был сравнительно мал.

Конец благоденствию положил в сентябре 1973 года генерал Аугусто Пиночет Угарте, свергнувший президента-марксиста Сальвадора Альенде Госсенса. Полиция Пиночета упекла в тюрьмы и депортировала множество торговцев наркотиками. Чилийский кокаиновый бизнес угас.

И колумбийцы взяли дело в свои руки. Они отлично знали контрабандные путидорожки и, подобно чилийцам, могли легко наладить контакты с производителями коки в Перу и Боливии. С самого начала колумбийское кокаиновое производство управлялось из треугольника Богота — Медельин — Кали. Причем Медельин сразу возглавил троицу. Впрочем, поначалу распознать это было непросто. И колумбийские правоохранительные органы, и агенты американского УБН (Управление по борьбе с наркотиками) сосредоточились на вывозе марихуаны из карибских портов Барранкилья, Санта-Марта и Риоача. К кокаину эта контрабанда отношения не имела.

Истинный размах дела впервые приоткрылся 22 ноября 1975 года, когда полиция захватила небольшой самолет, приземлившийся в аэропорту Кали. В грузовом отсеке было обнаружено шестьсот килограммов кокаина — самая крупная партия наркотика, изъятая к тому времени в Колумбии. Среди торговцев захват самолета породил цепочку убийств — первую из кокаиновых войн, которые и ныне периодически сотрясают страну. Причины войны были ясны не вполне. Зато результаты оказались — яснее ясного. За два дня — субботу и воскресенье — от руки убийц погибло 40 человек. И все — в Медельине, а вовсе не в Кали. То есть нить от захваченного кокаина неизменно вела в Медельин, именно тут вершилась кокаиновая политика.

«Медельинская резня» подпортила непогрешимую репутацию «Города орхидей». Полиция попристальней взглянула на рабочие предместья, на трущобы в северных кварталах — колыбель кокаиновой индустрии. Люди здесь постоянно носили пистолеты и ножи — любое оружие, которое спасало и помогало в ежедневной жестокой борьбе за жизнь. В 1979 году Медельин был опасным городом, как, впрочем, все города Латинской Америки. Жители бедняцких кварталов стремились разбогатеть и, переехав в южную часть Медельина, примкнуть к «земляческой» аристократии, а затем купить «финку» — то есть усадьбу — для отдыха. Кокаиновые деньги могли в одночасье превратить медельинского бедняка и невежу в уважаемого и добропорядочного бизнесмена.

Кокаиновые магнаты семидесятых — люди немолодые. Это, в основном, контрабандисты-«земляки», которые промышляли наркотиками не постоянно, а от случая к случаю. Теперь их вытеснял молодняк, который занимался только кокаином. И сперва ничем не выделялся среди них медельинский парнишка, который к середине семидесятых потихоньку превратился в одну из крупнейших фигур в мировом наркобизнесе.

Его имя — Пабло Эскобар Гавирия. Небольшого роста (167,5 см), полноватый, со светло-карими глазами, черными вьющимися волосами и совершенно неприметными

чертами лица. Родился он 1 декабря 1949 года и вырос в Энвигадо — медельинском рабочем предместье, отличавшемся крутыми нравами. Его мать преподавала в школе, а отец был фермером. Много позже наемные писаки примутся восхвалять своего босса: он, мол, поднялся из низов, он сам себя сделал. Однако это не так. Семья отнюдь не бедствовала, а Эскобар даже закончил полный курс средней школы — редко кому в Энвигадо выпадает такая удача.

На преступный путь Эскобар ступил рано, еще подростком. Он таскал с кладбища надгробья, стирал надписи и выгодно перепродавал плиты. И соратники, и враги утверждали, что Эскобар все постигает на лету, что у него потрясающая деловая хватка. Внешне же он мягок, скромен, неизменно вежлив и одуряюще коррсктен.

Окончив школу, Эскобар нанялся в телохранители и помощники к пожилому контрабандисту, ввозившему стереоаппаратуру из Зоны Панамского канала. Эскобар страховал операции в Медельинском аэропорту. Дела его быстро шли в гору; кроме того ему изрядно помог стартовый капиталец в два миллиона песо (100 000 долларов) — такой выкуп он получил в начале семидесятых годов за похищенного им медельинского промышленника.

Впервые Эскобара арестовали 5 сентября 1974 года. Его взяли за кражу автомобиля марки «рено». Года два спустя агенты колумбийской службы госбезопасности арестовали его и еще 5 человек за провоз по медельинским улицам тридцати девяти килограммов кокаина, спрятанных в запасном колесе пикапа. То была первая неудача Эскобара с наркотиками и самая крупная удача полиции за год.

В тюрьме Эскобар провел всего три месяца. Постановление об его аресте таинственным образом отменили, и он вышел на свободу. Вскоре полиция снова упекла его за решетку, но на этот раз он быстро выбрался под залог. Дело Эскобара расследовалось много лет, его судили девять судей, но в некий прекрасный миг протоколы непременно исчезали. А пять лет спустя после ареста на одной из медельинских улиц в упор расстреляли агента службы безопасности, который когда-то засадил Эскобара в тюрьму.

Таков еще один, последний лик Пабло Эскобара. Тихий предприниматель из Энвигадо оказался хладнокровным убийцей.

Пабло Эскобар стал одним из застрельщиков кокаиновых махинаций. Хорхе Луис Очоа Васкес занялся контрабандой много позже. Родился он в Кали, а вырос в Энвигадо.

Хорхе, средний из трех сыновей Фабио Очоа Рестрепо и Марго Васкес, родился лишь на два месяца раньше Эскобара и знал его с детства. Очоа-отец, карикатурно толстый человечек, коренной житель Антьокии, слыл лучшим в провинции объездчиком вьючных андских лошадей. Семья отнюдь не принадлежала к местной знати. В середине шестидесятых годов, желая выбраться из нищеты, Фабио открыл семейный ресторанчик «Маргаритки». Чтобы не прогореть, все — и взрослые, и дети — работали не покладая рук. Сам Хорхе, его братья — старший, Хуан Давид, и младший, Фабио,— а также сестры, едва вернувшись из школы, вставали к плите и мыли посуду — до самого рассвета. Адвокат и газетчики часто вспоминали детство Хорхе: он якобы втянул семью в контрабанду кокаина, потому что жалел мать и сестер, гнувших спину от зари до зари.

Братьев Очоа приобщил к наркобизнесу их дядя Фабио Рестрепо Очоа, бывалый «земляк»-контрабандист. Со временем все трое погрязли в контрабанде по уши, но Хорхе главенствовал в «клане Очоа» с самого начала. Был он высок, около 180 см, и, подобно отцу, склонен к полноте; толстел Хорхе сообразно росту своих доходов и меньше девяноста килограммов весил редко.

На преступника Хорхе совершенно не походил: заботливый семьянин, в обращении тих и мягок. Изредка позволял себе бокал сухого белого вина. Даже табака не курил — а уж о наркотиках и вовсе речи не было. Однако уродился он истинным предпринимателем. Пристрастие к кокаину считал пороком, но достаточно безвредным. Пускай балуются те, кому это по карману. А он, Хорхе Очоа, погреет руки на людских слабостях.

В середине семидесятых годов Очоа отправился в Майами в качестве специалиста по импорту-экспорту. На самом же деле он занялся сбытом кокаина на Восточном побережье Америки. Работал на дядюшку. В конце 1977 года Фабио Рестрепо похвастался, что ввозит в Штаты до сотни килограммов кокаина в неделю. Его собесед-

ник оказался осведомителем УБН. 12 октября того же года Рестрепо передал этому человеку чемодан с 27 килограммами кокаина и попросил отвезти наркотик в Майами — его племяннику Хорхе. Осведомитель сообщил в УБН, и Хорхе ждала засада. При передаче кокаина на автостоянке у кинотеатра агенты УБН арестовали девять колумбийцев — среди них сестру и зятя Хорхе Очоа. Самому Хорхе — единственному! — удалось скрыться. Завидев полицию, он вскочил на мотоцикл и был таков. Чудом избежав ареста, Хорхе тут же покинул Майами — уже навсегда. Вскоре после возвращения Хорхе в Медельин его дядю убили. УБН запросило подробности этого убийства у своих колумбийских представителей.

Из штаб-квартиры в Боготе сообщили: «Очоа унаследовал всю наркосеть покойного Рестрепо. Ходят слухи, что он приказал убить Рестрепо, чтобы утвердиться полновластным главой организации».

К середине семидесятых годов Эскобар и Очоа взяли в свои руки весь колумбийский наркорынок. Группу Эскобара называли «Лос Паблос» — «Люди Пабло». Хорхе с братьями назывались «Клан Очоа». Однако они не достигли еще грядущего размаха, не набрали обороты. Недоставало надежного способа переброски крупных партий кокаина в Штаты и налаженного сбыта.

Эскобар в США вообще не бывал, а краткое пребывание Очоа во Флориде едва не закончилось арестом. Им явно не хватало толмача-колумбийца, кто знал бы Штаты изнутри, а не понаслышке.

2
МЕЧТАТЕЛЬ ИЗ ДАНБЕРСКОЙ ТЮРЬМЫ

Весну 1974 года Карлос Ледер Ривас проводил в федеральном исправительном заведении в Данбери, штат Коннектикут, и размышлял о своем будущем. Арестовали его год назад в Майами за незаконное хранение марихуаны и осудили на четыре года. Данберская тюрьма не отличалась строгим режимом, сидели здесь, в основном, за должностные преступления, наркотики и политику. С Ледером соседствовали Дж. Гордон Лидди, прогремевший в Уотергейтском деле, мистификатор Клиффорд Ирвинг — биограф Говарда Хьюза, и братья Берриган — священники, арестованные за протест против вьетнамской войны.

К своим двадцати четырем годам Карлос Ледер ничего выдающегося не совершил. Торговал травкой, нелегально вывозил в Южную Америку краденые машины. Родился он 7 сентября 1949 года в колумбийском городе Армения в семье немца Вильгельма Ледера, высокого и крайне вежливого инженера, и его жены-колумбийки Хелены Ривас. Вильгельм Ледер эмигрировал в Колумбию в 1922 году и открыл там конструкторское бюро. Детей в семье было четверо: трое мальчиков и девочка. Родители развелись, когда Карлосу — самому младшему — исполнилось четыре года.

Детство Карлоса прошло в Армении, возле матери. А в пятнадцать лет он вместе с матерью переехал в Соединенные Штаты. Щуплый подросток — так и не дотянет до 170 см — был, однако, хорош собой: с густыми темными волосами, открытым мальчишеским лицом и пронзительным, цепким взглядом. Послужной список начал с тихих, но очень изобретательных карманных краж. Впервые арестован в 1972 году в Минеоле, штат Нью-Йорк, за самовольное пользование чужой машиной. В следующем году арестован в Детройте — перегонял краденые машины в соседний штат. Оставив залог, он перебрался в Майами, где снова угодил за решетку за хранение ста с лишним килограммов марихуаны. Так Ледер оказался в данберской тюрьме.

А на соседней койке оказался Джордж Джанг, тоже осужденный за махинации с наркотиками. Выходец из весьма зажиточного массачусетского семейства, Джанг успел даже поучиться в университете штата Теннесси, получая «футбольную» стипендию, но его спортивная карьера внезапно оборвалась — он повредил коленный сустав. И продолжил учебу в городе Лонг-Бич, штат Калифорния. Здесь, в Сити-колледж, он изучал рекламное дело и здесь же начал курить марихуану. Однажды ему и его дружку пришла в голову замечательная идея: можно покупать марихуану в Мексике и Калифорнии по дешевке и перепродавать втридорога в университетах на Восточном побережье. И дело завертелось. Дружок был пилотом, они купили вскладчину самолет и летали

в Мексику за марихуаной. Вскоре Джордж Джанг стал зарабатывать по двести тысяч в год. Но три года спустя его арестовали в Чикаго по доносу клиента-наркомана. Джанг вышел под залог, больше года провел в бегах и, в конце концов, вернулся в Кейп-Код, Массачусетс, где принялся торговать марихуаной прямо под родительским кровом. Мать заявила в полицию.

Карлос Ледер полюбился Джангу с первого взгляда. Очень смышленый, хорошо воспитанный, Ледер отлично говорил по-английски. И что-то еще привлекло в нем Джанга, некое особое обаяние. Джанг, безусловно, был более матерым преступником, на его счету тонны марихуаны, а Ледер попался на какой-то жалкой, мизерной партии. Услышав о ввозе марихуаны из Мексики, Ледер навострил уши. Спросил Джанга о кокаине. Джанг мало что знал: пробовал пару раз. Ледер уверенно заявил, что кокаин перевозить легче — меньше места занимает. И куда выгодней. Заплатишь в Колумбии две тысячи, а в Штатах выручишь пятьдесят пять тысяч! Ледер считал кокаин ядом, но яд этот хорош — он дает деньги и власть. Джанга интересовали только деньги. Ледеру нужна была и власть, он мечтал править собственной страной. Непрерывно говорил о революции, восхищался Эрнесто Че Геварой — партизанским вождем из Аргентины. Еще он восхищался Джоном Ленноном и Адольфом Гитлером. Джанг предпочитал Боба Дилана. Че и Леннона он еще мог понять и принять. Но Гитлер — это уж чересчур.

Ледер и Джанг проводили все время вместе. И говорили исключительно о контрабанде, о кокаине. Ледер утверждал, что достанет в Колумбии сколько угодно кокаина у Пабло Эскобара. А Джанг обещал наладить сбыт в Штатах через прежнюю, марихуановую, сеть. Потолкавшись когда-то среди наркоманов Сан-Франциско, он знал тьму киношников и музыкантов. Много лет спустя Джанг скажет: «Я считал, что главное — их заинтересовать, а они сами придумают, как сбыть товар. Я же видел, как расходилась марихуана в шестидесятых годах».

Кроме связей этот дуэт обладал иным, не менее важным свойством: их вело вдохновение. Ледер и Джанг первыми сообразили, что кокаин можно перевозить тем же способом, что и марихуану. А ведь в 1974 году кокаин ввозили в США по нескольку жалких килограммов — рассовывали пачки среди вещей контрабандистов-«ишаков». Марихуану же, по несколько сотен килограммов зараз, забирали американские летчики-контрабандисты с тайных взлетно-посадочных полос в северной Колумбии. Так почему бы не вывозить таким же способом и кокаин? Если наладить воздушный транспорт для производителей кокаина, они объединят свои грузы в большие партии, а Ледер и Джанг запросто наживут миллионы!

Провернуть такое дело мог только Карлос Ледер. В отличие от Пабло Эскобара он чувствовал себя в Штатах как рыба в воде. И мог стать тем самым связующим звеном, толмачом, которого так не хватало кокаиновым дельцам. Кроме того, он легко и умело заставлял окружающих плясать под свою дуду. Сила воли Ледера и его вдохновенный порыв увлекали более слабых людей, в особенности американских уголовников, таких как Джордж Джанг. А Джанг был Ледеру необходим: без него он бы даже с парой килограммов кокаина не сладил.

Много часов провели Ледер и Джанг в тюремной библиотеке: изучали карты, прикидывали наиболее удобные маршруты для ввоза кокаина в Соединенные Штаты. Летать решили через Мексику. Но потом некий врач, попавший в тюрьму за вымогательство, рассказал им о Белизе — британской колонии в Центральной Америке, которая еще не подписала соглашение о выдаче преступников. Тогда Ледер задумал создать свой перевалочный пункт — надежный приют для контрабандистов. А от арестанта-банкира они узнали, как отмывать деньги через приморские банки. Короче, данберская тюрьма запомнилась Ледеру навсегда — тут он прошел свои университеты.

Весной 1975 года Джанг досрочно, хотя и условно, получил свободу. Он оставил Ледеру родительский адрес — чтобы прислал весточку уже из Колумбии. По освобождении Ледеру как иностранному подданному предстояла высылка из Штатов на родину.

Джанг получил от Ледера телеграмму год спустя. Карлос организовал в Медельине агентство по продаже машин — «Авто Ледер». В полиции знали, что порой сюда перегоняют из Соединенных Штатов краденые машины, но Ледер для прикрытия вел и обычные торговые операции, и пока его «вывеска» была чиста.

Джанг позвонил в Медельин.

— Приезжай. Погода прекрасная,— услышал он в трубке. Это был условный сигнал. Значит, Ледер восстановил свои кокаиновые связи.

Поскольку Джанга освободили условно, он не имел права покидать пределы страны. Поэтому он отправил в Медельин Фрэнка Ши, приятеля и коллегу по контрабанде марихуаны.

Очутившись в феврале 1976 года в Медельине, Ши тут же позвонил Джангу в Массачусетс — прямо из «Авто Ледер». Он увидел «снежок» собственными глазами.

— На этот раз нам подфартило,— захлебывался от восторга Ши.— Мы не промахнулись!

В то время до кокаиновых авиарейсов было еще далеко. Однако Ледер медленно, но верно шел к своей мечте: сколачивал капитал, переправлял за кордон по нескольку килограммов кокаина в чемоданах особой конструкции. Этот способ транспортировки наркотиков он и имел в виду, когда позвонил в Массачусетс в апреле. Джанг получил от него следующие инструкции: найти и отправить двух женщин отдохнуть на остров Антигуа, снабдив их каким-нибудь багажом. Оплату всех расходов взять на себя. «Ничего им не объясняй,— предупредил Ледер.— На месте договоримся».

Джанг решил, что две любовницы — Фрэнка Ши и его собственная — идеально подходят для такой работы. Он перехватил женщин возле школы: они смотрели, как девятилетняя дочка его любовницы играет в «софтбол».

— Хотите скатать на Карибы задарма? — спросил Джанг.

— Когда? — поинтересовалась его подружка.

— Прямо сейчас.

Для поездки приобрели четыре жестких чемодана необъятных размеров. Джанг купил женщинам билеты, дал им денег на расходы и посадил в самолет. На Антигуа они встретились с Карлосом Ледером и Фрэнком Ши. А через несколько дней отправились домой.

Багаж их, однако, теперь был иным, но таможенный досмотр в бостонском аэропорту «Логан» прошел благополучно. Груз доставили Джангу. Выпроводив женщин, Джанг открыл один из чемоданов, сдвинул алюминиевый клапан-держатель, снял фальшивое дно из стекловаты... Под ним оказалось два килограмма кокаина.

Женщины вновь вылетели на Антигуа. Через несколько дней вернулись — с новой партией груза и посланием от Ледера. Треть привезенного кокаина — пять кило — предназначались Джангу, остальное же — ледерову долю — следовало передать двум его друзьям. Джанг быстро продал 4 килограмма по 45 тысяч каждый. Ши он выделил 25 тысяч, а женщинам отдал оставшийся килограмм — пусть делят как хотят. Имея такой колоссальный запас кокаина, подружка Фрэнка Ши быстро пристрастилась к наркотику. И в конце концов отправилась в Медельин очиститься от скверны — где бы вы думали? — в доме Карлоса Ледера.

Первые «чемоданные» победы окрыляли, но Ледер неуклонно стремился к иной, желанной цели: перевозке кокаина на личном самолете. Однако Фрэнк Ши — летчик, на которого они рассчитывали,— вышел из игры: обиделся на подачку в 25 000 долларов за операцию на Антигуа. Пришлось искать замену. В 1976 году Джанг праздновал День независимости на Кейп-Коде. Приятель свел его с летчиком — владельцем собственного самолета. Был он одновременно и практикующим адвокатом, вполне богатым, с недвижимостью на Кейп-Коде, в Форт-Лодердейле (Флорида) и на Багамах — в Нассау. Джанг прощупывал почву несколько часов, а потом спросил напрямик, не прочь ли его новый знакомец стать миллионером. Способ?.. Контрабанда кокаина из Южной Америки. Адвокат тут же согласился.

Они с Джангом вылетели в Торонто и встретились с Ледером в «Праздничной таверне». Беседа длилась несколько часов. Адвокат прикинул, что возьмет на борт до трехсот килограммов. Ледер сказал, что погрузка в Колумбии совершенно безопасна. Они воспользуются взлетной полосой на ранчо Пабло Эскобара.

Все остальное адвокат спланировал сам. Благодаря багамским связям он сможет заправиться в аэропорту Нассау. И заявит там ложный маршрут: к далеким островам в Атлантике. А вместо этого слетает в Колумбию. Вернувшись в Нассау, дождется воскресенья и примкнет к потоку частных самолетиков, которые так и роятся между Багамами и США по воскресеньям — родители навещают деток, а детки — родителей. Полетит он низко и так вдоль береговой линии доберется до своей взлетной полосы в Каролине.

Ледер радовался несказанно. План представлялся ему идеальным. Тут же на месте он выписал летчику чек на пятьдесят тысяч долларов. Троица договорилась брать с колумбийцев по десять тысяч с каждого килограмма, шесть из которых предназначались летчику.

Похоже, мечте, завладевшей Ледером в данберской тюрьме, суждено было сбыться. С летчиком договорились; теперь дело за малым: Ледеру и Джангу начинание такого размаха не по карману. Даже чек для адвоката был блефом, о чем Джанг, впрочем, не знал. И друзья затеяли еще одну чемоданную экскурсию, чтобы покрыть все дальнейшие расходы. Джанг отправил женщину с чемоданами в Венесуэлу, но она каким-то образом разминулась с Ледером. А 19 октября 1976 года колумбийская полиция арестовала Ледера за незаконный ввоз в Колумбию автофургонов марки «шевроле».

На этот раз тюрьма притормозила Ледера ненадолго. Тут, как и в Данбери, он тоже познакомился с неким гринго. Стефану Яковачу, автомеханику и наладчику компьютерной техники, было под тридцать. Он считал себя хиппи, носил длинные волосы и охотно покуривал марихуану. В Южную Америку их с женой занесла страсть коллекционеров — они собирали индейские украшения. Возвращаясь в Штаты, Яковач по глупости сунул в чемодан фунт колумбийской марихуаны и отбывал теперь трехлетний срок в тюрьме «Белла Виста», где каждый новый день приносил ему новые муки. На него, белокожего великана почти двухметрового роста, назойливо, точно моськи, наскакивали колумбийцы — соседи по камере, оскорбляя его и Соединенные Штаты. Карлоса Ледера ему послало провидение. Ледер не обзывал Яковача гринго, а обращался уважительно: «paisa» — «земляк». Эти двое арестантов целыми днями курили марихуану и резались в «монополию».

Ледер развлекал Яковача своими фантазиями — рассказывал о переброске кокаина по воздуху. Идею он сформулировал так: «Собрать в кучу мелких производителей и отправить весь их груз одной большой партией — доходы перекроют расходы во много раз». Мечты Ледера простирались далеко, он собирался возглавить мировую контрабандную авиасеть. Более того, он видел себя в будущем президентом Колумбии.

Много лет спустя Яковач припомнит всю околесицу, которую нес Ледер. «Он хотел вытянуть Колумбию за волосы из болота, вышвырнуть из страны империалистов-янки и превратить ее в Кокаиновое королевство. Кокаин считал чуть ли не стратегическим оружием. Он таил большую обиду на Штаты за то, что его упекли там в тюрьму. А себя сравнивал с Гитлером: я, мол, тоже маленький человек и тоже завоюю весь мир».

Проведя в тюрьме лишь 2 месяца, Ледер вышел накануне Рождества. Свой телефон и почтовый адрес он собственноручно вписал в дневник Яковача.

«Когда освободишься, приходи. Поработаем»,— сказал он на прощанье.

Ледер отправился в Канаду. Из Торонто позвонил Джорджу Джангу. Они сговорились о канадских встречах еще в Данбери, поскольку Ледер не имел права появляться в Штатах. Он потребовал у Джанга денег.

Джанг отослал ему с оказией тридцать тысяч. А несколько дней спустя сам приехал в Торонто и встретился с Ледером в «Праздничной таверне». План их трещал по швам. Пока Ледер сидел в тюрьме, адвокату вернули чек на 50 000 долларов, не заплатив ни цента, поскольку Ледер оказался некредитоспособен. И адвокат заявил Джангу: «Надежность Ледера равна минус единице».

Ледер пообещал оплатить чек. А Джангу велел забрать из Майами пятьдесят килограммов кокаина и отвезти в Бостон.

Джанг прежде в Майами не бывал. Он остановился в гостинице «Фонтенбло» на Майами-Бич и позвонил своему агенту-колумбийцу. Тот принес чемодан с кокаином прямо в номер. Джанг вернулся в Массачусетс и нанял приятеля сгонять в Торонто и обратно — перевезти Ледера через канадскую границу, где досмотр совсем нестрог. Он полагал, что Ледер проскочит легко.

Уговорились переходить границу в день Святого Патрика. Вечером Джангу позвонила жена его приятеля. Она рыдала. Мужа задержали на границе. Правда, вскоре выпустили. Где Ледер — неизвестно.

Через два дня Джанг узнал от приятеля все подробности. Решив в последний момент, что границу лучше перейти пешком, Ледер велел ему развернуться — уже совсем рядом с пропускным пунктом. Развернулись, отъехали подальше. Ледер выбрался из машины и, как был, в легких туфлях, устремился в заснеженные канадские леса. Од

нако патрульный офицер заметил маневр машины и увидел, что вернулась она на КП быстро и без пассажира. В багажнике пограничники обнаружили чемодан с колумбийскими песо и паспорт колумбийца Карлоса Ледера. Запросили о нем через компьютерную сеть и вдруг заинтересовались этим Карлосом Ледером Ривасом чрезвычайно.

Ледер тем временем бежал через лес. Пересек границу, нашел меблированные комнаты. Пожилая хозяйка поверила, что он заплутал в лесу, и пустила переночевать. Наутро Ледер отправился автобусом в Нью-Йорк.

Что с Ледером, Джанг не знал, а его самого того и гляди загребут с пятьюдесятью килограммами кокаина! Джанг решил бежать. Рванул в Лос-Анджелес и передал наркотики на Манхэттен-Бич знакомой парикмахерше — в прошлом она успешно сбывала марихуану голливудской клиентуре. Парикмахерша распродала весь груз за две недели и вручила Джангу 2,2 миллиона долларов. Это была неслыханная сумма! Джанг привез деньги в Бостон в трех алюминиевых футлярах для фотокамер, спрятал на чердаке у приятеля... И стал поджидать Карлоса Ледера.

Тот позвонил через неделю. Встретились в Кембридже, штат Массачусетс. Посидели в ресторане, Ледер заново поведал Джангу о своих злоключениях на границе. Пожурив друга за неосмотрительность, Джанг выложил свои новости: он припас для Ледера 1,8 миллиона долларов — его долю за пятьдесят килограммов кокаина. Лос-Анджелес — бескрайнее поле деятельности для контрабандистов. Сколько ни привези кокаина — все будет мало. Ледер остался доволен честностью Джанга и порадовался блестящим перспективам калифорнийского рынка. Друзья решили забирать кокаин в Майами, а сбывать на Западном побережье.

Несколько недель спустя Джанг прибыл в гостиницу в Хайаннис-Порте, где за завтраком встретился с Ледером и его новой красавицей женой — темноволосой американской кубинкой Джемел Нейсл. При сем присутствовала также мать Ледера и его брат Гильермо. Джанг показал семейству достопримечательности Кейп-Кода. Ледер вздумал купить машину, и Джанг отвел его на выставку-продажу фирмы «БМВ». Выбрав машину, Ледер тут же отдал продавцу десять тысяч стодолларовыми банкнотами. В книге покупателей он записал: «Хосе Н. Леоне, владелец нью-йоркского ресторана» и дал адрес родителей Джанга.

После, наедине, Джанг укорял Ледера:

— Даже Кеннеди не расплачиваются за автомобили наличными. С огнем играешь, хочешь легавых на след навести.

Ледер только плечами пожал. Он сообщил Джангу, что колумбийский поставщик Пабло Эскобар возлагает на калифорнийский рынок немалые надежды. Продав пятьдесят килограммов кокаина, Ледер стал в Колумбии большим человеком. Из паренька, промышлявшего по паре кило, он превратился в матерого контрабандиста, который зарабатывает больше миллиона зараз. И к тому же без видимого напряжения.

Ледер с женой и Джанг обосновались на Майами-Бич, и операция шла как по маслу. Ледер привозил кокаин в сумках и сетках, поднимал его на грузовом лифте. Наркотик был всегда упакован одинаково — в килограммовые шары. Сверху виднелась какая-то тайнопись и цифры. Ледер объяснил, что тут зашифрованы имена колумбийских производителей.

Раз, а то и два в неделю Джанг летал ночным рейсом в Лос-Анджелес с алюминиевым футляром, вмещавшем от 15 до 25 килограммов. И отдавал груз парикмахерше. На обратном пути он укладывал в футляр пачки стодолларовых бумажек — по десять тысяч в каждой. Набегало обычно больше миллиона. Они оставляли по 100 000 долларов на брата, а остальные деньги высылали в «Авто Ледер» в упаковках с чехлами для «шевроле». В Медельине деньги вынимали, а чехлы шли на продажу.

Большую часть денег Джанг тратил на автомобили «порш», он фрахтовал самолеты, кутил с женщинами и не брезговал кокаином, причем втягивался все больше. Поначалу-то он к наркотику не притрагивался, но потом стал уверять Ледера, что это придает контрабанде особый вкус. Он полагал, что кокаин безвреден, и не верил, что может возникнуть неодолимая физическая тяга к наркотику, которую он не сможет побороть. Как-то он сделал пару затяжек, чтобы быстренько словить кайф перед вылетом в Калифорнию. Ледер долго выговаривал ему:

— Как ты позволяешь себе в таком виде садиться в самолет?! Это же отрава.

Скоро Джанг нюхал до нескольких граммов в сутки.

Джанг и Ледер хранили верность данберской мечте. Объезжали маленькие аэропортики в Южной Флориде, разглядывали самолеты и слетали на Багамы — пригля-

деть островок для дозаправки кокаиновых рейсов из Колумбии. Ледер все вынашивал идею о надежном пристанище для контрабандистов.

К лету 1977 года Джанг совсем измотался. Он проводил в воздухе около пятнадцати часов в неделю; постоянная смена часовых поясов, постоянное напряжение при досмотре — когда кровь так и бухает в висках,— все вместе взятое здоровья не прибавляло. Кокаин расходился в Калифорнии в мгновение ока. Однажды парикмахерша, едва получив одну партию, попросила подкинуть еще. Джанг слишком устал, чтобы лететь в Майами, и позвонил Ледеру. Тот обещал кого-нибудь прислать.

На следующий день в дверь Джанга постучали. Распахнув ее, Джанг увидел коридорного с чемоданами, сопровождавшего седую, небольшого роста женщину. Это была Хелена, мать Карлоса Ледера. Она дрожала от страха. Джанг провел ее в комнату и открыл чемодан. Там оказалось восемь килограммов кокаина.

Много я в жизни натворил, подумал тогда Джанг, но свою мать с кокаином в чемодане я еще никуда не посылал.

Заказав вина для Хелены, он позвонил Карлосу в Майами.

— Ты что, обалдел? Какого черта?

— Работать должны все,— ответил Ледер.— Она давно хотела съездить в Диснейленд — не даром же мотаться.

3

БАГАМСКИЙ КОКАИНОПРОВОД

Мечта Карлоса Ледера о переброске кокаина «спецрейсами» осуществилась летом 1977 года, когда приятель Джанга, летчик-адвокат, вылетел из Нассау на своем маленьком двухмоторном самолете, оснащенном резиновым баком для запасного горючего. Другой самолет, посланный заранее, встретил его над Колумбией и проводил к небольшой посадочной полосе на ферме Пабло Эскобара, неподалеку от Медельина.

Взяв на борт двести пятьдесят килограммов кокаина, адвокат вернулся в Нассау, заправился и нырнул в воздушное пространство США. Так груз прибыл в Каролину, а затем его перевезли в Форт-Лодердейл. Джанг и Ледер положили в карман по полмиллиона. План сработал как часы.

Однако вскоре между партнерами возникли трения. Поддавшись уговорам и натиску Ледера, Джанг свел его с калифорнийской парикмахершей. И теперь подозревал, что Ледер у него за спиной совершает тайные сделки. Если Ледер установит прямую связь со сбытчиками, он оставит Джанга на обочине и сэкономит миллионы!

Джанга снедала тревога. А любовь к наркотикам усугубляла его недоверчивость стократ. Меж тем у Ледера дело кипело — он готовился перебазироваться на Багамы. Джанг был безмерно одинок. Жил он теперь отдельно, съехав от друга, когда чета Ледеров начала бурно ссориться и крушить мебель.

Наконец, Джанг договорился с Ледером о встрече в Нассау. Наняв лодку, они провели весь день близ Багамского острова Норманс-Кей, расположенного в двухстах милях к юго-востоку от Майами. Ледер сказал, что намерен взять остров в аренду сроком на девяносто девять лет. И взлетная полоса здесь есть — маловата, правда. Зато горстку жителей — пятьдесят человек — выдворить нетрудно. Вечером за бутылкой виски Джанг выложил партнеру свои подозрения:

— Ты мухлюешь за моей спиной.

— Я на это не способен,— ответил Ледер.

Но Джанг по глазам понял, что Ледер лжет. Самый воздух вокруг Джанга был пронизан ложью...

Джанг вернулся в Штаты, а Карлос Ледер сосредоточил все свои усилия на острове Норманс-Кей. Этот коралловый риф, расположенный на мелководье в сорока милях к юго-востоку от Нассау,— один из самых живописных Багамских островов, а ведь их без малого семь сотен. Названный в честь пирата, грозы Карибского моря, риф тянется длинной узкой лентой и загибается наподобие рыболовного крючка. Изгиб служит отличной гаванью для яхт. С одного конца имелась километровая бетонная полоса для самолетов. На западе она упиралась в бухточку, которую называли обычно «Бухтой контрабандистов». С восточной стороны, на холме, высился яхт-клуб с баром на четыре

места, рестораном и единственным на острове телефоном. Дальше стояла гостиница на двенадцать комнат, магазин, а поодаль — на деревянном пирсе — насосы для заправки. Короче, деревенская простота. Воду на остров завозили в цистернах, а электроэнергию тут получали от топливных генераторов.

В мае 1978 года Ледер купил дом на северо-восточной оконечности Норманс-Кей. Всю стоимость — 190 000 долларов — он заплатил наличными, передав владельцу, бизнесмену из Форт-Лодердейла, целый чемодан денег. В конце того же года Ледер появился в Нассау в багамском филиале банка «Гардиан Траст» и раскрыл большой портфель-«дипломат» с миллионом американских долларов. Такое количество стодолларовых купюр вызвало в банке настоящий переполох. Размер вклада потряс даже багамцев, привычных к кичливым богачам. Ледер предложил всем называть его просто Джо и сказал, что он состоятельный колумбийский меняла и намерен превратить Норманс-Кей в яхтсменский рай. Ум и обхождение Ледера очаровали всех. Вскоре многие влиятельные багамцы жаждали познакомиться с этим обаятельным двадцативосьмилетним колумбийцем.

Через «Гардиан Траст» Ледер открыл семь банковских счетов на имя различных фирм. По одному из них, якобы принадлежащему «Интернэшнл датч рисорсиз лимитед», он приобрел на Норманс-Кей два участка — общей площадью в 67 гектаров. Сюда попали и взлетная дорожка, и гостиница, и пирс. Это обошлось ему в 875 тысяч долларов.

Владельцы лодок и яхт облюбовали Норманс-Кей давно. От Нассау сюда один день хорошего ходу. Теперь Ледер вознамерился превратить остров в свою личную вотчину. Яхт-клуб закрылся, гостиница перестала бронировать места. На пирсе яхтсменам отказывали в топливе. Один из лучших журналистов компании Си-би-эс, заядлый яхтсмен Уолтер Кронкайт, подошел к острову в начале 1978 года на своей тринадцатиметровой яхте и удивился, не обнаружив в бухте ни одного судна. Он бросил было якорь, но с пирса донесся крик:

— Тут нельзя швартоваться! И на якорь вставать нельзя!

На соседнем острове Кронкайту разъяснили: Норманс-Кей приобрели люди, которые гостей не привечают.

Любопытствующие насчитали не меньше двадцати сторожевых доберман-пинчеров в будках у взлетной полосы. Светловолосые молодчики с немецким акцентом патрулировали полосу на «фольксвагенах». Стоило лодкам подойти к острову чересчур близко, над ними зависал вертолет. На холме выросла радиомачта, а для ночных посадок вдоль полосы установили сигнальные огни. Самолеты прилетали и улетали круглые сутки, на острове кипела работа. Служащие и соратники Ледера, причудливый букет американцев, немцев и колумбийцев, заняли на острове несколько домов. Три ледеровские яхты стояли на приколе возле самого берега.

Появление Ледера на острове вынудило постоянных жителей его покинуть. Филип Книскерн держал три виллы для туристов неподалеку от взлетной полосы. Но Ледер запретил ему сдавать дома, да и кому? Чужакам въезд на остров был теперь заказан. Пришлось Книскерну продать дома служащим Ледера. У Ричарда Новака, университетского профессора, погорели курсы ныряния. Он стал наводить справки о пришельцах и вдруг выяснил, что нырять теперь никто не собирается. Через месяц Новак вернулся на остров за своим снаряжением. Самолет окружили люди Ледера и, не дав Новаку выйти, заставили улететь.

Новак, и не только он, сообщили о самоуправстве Ледера багамской полиции, но их жалобы остались без ответа. На Норманс-Кей Ледер подчинялся лишь самому себе.

Среди выдворенных с острова жителей был Чарльз Кем — агент по продаже недвижимости. Сперва он выехать отказался. И Ледер — руками багамских иммиграционных чиновников — выслал его из страны, хотя на Багамах он проживал вполне легально. Кем, однако, вернулся. И тогда Ледер стал угрожать ему открыто.

— Раз ты еще не понял, я повторю. Не уедешь сегодня же — пришьем и жену, и детей.

Кем уехал.

Карлос Ледер занимался не только благоустройством Норманс-Кей, он налаживал собственную сеть для сбыта кокаина в США. Деньги у него водились, но их все же недоставало — в полную силу не развернуться. Начал он с джанговой парикмахерши,

затем завязал знакомство с ее подругой, владелицей студии звукозаписи, которая сбывала наркотик музыкантам. Только вот беда — по-прежнему не хватало летчиков, да и Джордж Джанг спекся, курсируя с востока на запад на рейсовых самолетах. Его приятель-адвокат, нажив солидный капиталец, вышел из игры. Ледер мучительно искал летчиков, возить кокаин было некому.

В то время Стефан Яковач еще томился в колумбийской тюрьме. Но 11 июня 1978 года к нему наведался нежданный гость.

«Я прямо онемел,— писал Яковач в дневнике.— Аж челюсть отвисла, и голова кругом пошла. Карлос! Мы полтора года не виделись! Надо же — приехал! Прошлое помянули. Я прямо-таки воспрял от его успехов».

Через месяц Яковач вышел из заключения. Ледер прислал за ним машину. И рассказал о Норманс-Кей.

— Давай-ка поработаем. Пора становиться миллионерами,— сказал Ледер.

На Норманс-Кей Яковач поселился в роскошном доме Ледера и стал сопровождающим на кокаиновых рейсах в Штаты. За каждый полет получал по пять тысяч. Летали по субботам и воскресеньям, когда в небе над островами снуют личные самолеты. Да и таможня американская в эти дни не так дотошна, ведь по телевизору непрерывно показывают соревнования, а таможенники — большие любители спорта. К исходу 1978 года Яковач успел сделать семь рейсов, переправив в общей сложности полторы тонны кокаина.

Возвращался Яковач на Норманс-Кей не с пустыми руками. Однажды привез 1,3 миллиона. Сначала деньги просто вываливали на кровать Ледера и всю ночь считали вручную. Но, поумнев, стали пользоваться электронными банковскими счетчиками. Из Колумбии самолеты прибывали по ночам и приземлялись на сигнальные огни. Яковач руководил разгрузкой. Слово «кокаин» вслух не произносилось. Ледер называл килограммовые упаковки-шары «детками». Это слово и вошло в обиход. Вскоре у кокаинового трубопровода появилось множество клиентов. Тут и гринго — ледеровы сбытчики, и колумбийцы, которые лишь пользовались его транспортом. В числе этих последних были Пабло Эскобар и Хорхе Очоа.

Норманс-Кей превратился в осиное гнездо наркобизнеса, и оно зловеще разрасталось по мере роста кокаинооборота. Сначала все тут носило налет неформальности: ватага парней в обрезанных джинсах веселится и делает деньги. Что-то в атмосфере на острове напоминало о молодежной контркультуре шестидесятых годов. Двери ледеровской виллы были открыты для всех, во всех комнатах через динамики извергались песни «Битлз», «Роллинг стоунз» и Джоан Баэз. Дикие оргии помогали людям расслабиться после напряженных контрабандных полетов.

И все тут нюхали кокаин, даже Карлос Ледер в конце концов стал прикладываться к своим безграничным запасам. В небольших дозах кокаин стимулирует деятельность центральной нервной системы, вызывает оживление, эйфорию, ощущение благополучия и силы. Злоупотребление наркотиком со временем вызывает паранойю. На острове шел воистину уникальный лабораторный эксперимент: впервые большая группа людей получила неограниченный доступ к чистейшему кокаину. Оставалось ждать результатов.

И они не замедлили сказаться. Нашпигованный оружием остров стал пристанищем агрессивных, нервных людей. Оружие доставляли из Южной Флориды. Яковач носил военную форму и был вооружен. Ледер предпочитал автоматический хромированный пистолет 45-го калибра.

Благодаря наркотику мания величия у Ледера достигла воистину космических масштабов. Он вел себя по-королевски надменно, окружающих презирал. Его все больше снедала жажда власти, все больше восхищало все немецкое и — особенно — Гитлер. Ледер проштудировал книгу под названием «Учитесь выступать перед публикой» и намеревался выйти в Колумбии на политическую арену. Ледер достиг почти всего, о чем мечтал в данберской тюрьме.

Яковача и других соратников Ледера тревожила его непредсказуемость и бесконтрольность. В частности Яковач не одобрял Ледера за то, что тот выдворил с острова всех жителей. Это могло поставить все дело под угрозу. Радиожурналист Уолтер Кронкайт не преминул оповестить страну об их самоуправстве.

«Ледер короля из себя строит»,— думал Яковач.

16 августа 1978 года на остров прибыл невиданный дотоле груз. Турбовинтовой двухмоторный самолет был набит битком. В шестнадцати чемоданах лежало 314 кокаиновых шаров. Прибыл и владелец самолета — двадцатидевятилетний Хорхе Очоа.

После разгрузки Ледер сам проверил качество — хотел выбрать самый чистый кокаин во всей партии и взять оттуда свою долю. Определил чистоту — от 88 до 94 процентов. «Этот груз стоил больше пятнадцати миллионов»,— вспоминал позже Стефан Яковач. А в это время агенты УБН вылавливали на улицах Майами мелких торгашей с одной унцией наркотика под полой.

Люди Ледера перегрузили кокаин на «Сессну-206», рабочую лошадку мировой контрабанды, и отправили в Штаты. Очоа заночевал на Норманс-Кей.

Навещали Ледера и другие кокаиновые короли. Дружок Очоа, собрат-контрабандист Пабло Эскобар, тоже приезжал на остров. Однажды Яковач возил Эскобара и Очоа с женами открывать счета в багамских банках. Колумбийцы по-английски не говорили, поэтому Яковач переводил. Они хотели, чтобы Ледер помещал причитающиеся им суммы в багамские банки, а затем их телеграфом переводили бы в Панаму.

Такое доверие друг к другу в денежных вопросах послужило укреплению деловых связей внутри этой троицы, которой суждено было заправлять кокаиновым бизнесом все ближайшие, благодатные годы.

Карлос Ледер процветал, а Джордж Джанг смотрел с обочины вслед. Его захлестывала обида. Ледер превращался в живую легенду, а он, Джанг, снова промышлял по мелочи — по пять-десять кило. И сходил с ума от зависти.

Весной 1978 года Джанг снова приехал в Нассау и потребовал у Ледера встречи. Ледер на сей раз явился в сопровождении двух немцев-телохранителей, стоявших за его спиной на протяжении всей беседы. Джанг почувствовал, что говорит уже не с другом, а с мини-диктатором. Джанг напомнил, что стоял у истоков дела; рискуя жизнью, добывал деньги на покупку самолетов и аренду Норманс-Кей. Теперь же зарабатывает жалких 500 тысяч в год, а Ледер купается в миллионах.

— Тебе это так не пройдет! — предупредил Джанг.

Ледер и бровью не повел.

— Разговор окончен,— сказал он Джангу.

Джанг уехал. А в Бостоне обратился к уголовникам, с которыми сошелся еще в данберской тюрьме. Он вознамерился убить Ледера, причем затеял это всерьез, даже аванс выложил — 125 тысяч. Но потом приятель-контрабандист его отговорил. Если убрать Ледера, возникнет куча сложностей с колумбийскими поставщиками. Ледер достиг статуса неприкосновенности. Джанг расторг уговор с уголовниками. Аванс возвращению не подлежал.

Вскоре, подобно Джангу, выбросили на улицу и Стефана Яковача. Ледер стал чересчур требователен, придирчив, предъявлял своим людям несусветные обвинения.

— Главарь тут — я,— сказал он Яковачу.— Заруби себе на носу. Живи по моим законам или катись на все четыре стороны.

И Яковач предпочел выкатиться.

4
КОРОЛЬ КОКАИНОВОГО ИЗВОЗА

Карлос Ледер остро нуждался в летчиках, и потому его путь неизбежно вел к Эду Уорду — одному из немногих старожилов, оставшихся на острове. Летчик и контрабандист-марихуанщик, он обнаружил Норманс-Кей за два года до Ледера и полюбил его по тем же причинам: за отдаленность, за отсутствие полиции, за удобное местоположение на полпути между Колумбией и Соединенными Штатами. Короче — отличная перевалочная база.

Ледер и Уорд ничего общего не имели, разве что жили теперь на одном острове. Начинал Уорд моряком, а семидесятые годы провел во Флориде, в Джексонвилле,— спокойно и размеренно, как типичный представитель среднего класса. Занимался продажей мебели фирмы «Сиерс», был страховым агентом, жил безбедно, но не богато. Однако после развода понял, что алименты на жену и троих детей оставляют его практически без средств. И Уорд вместе с дальними родственниками и бывшим колле-

гой занялся контрабандой. Люди подобрались семейные, консервативного склада, всем было за тридцать, и вели они себя, словно не марихуану в страну ввозили, а просто поменяли одну достойную работу на другую. На покупку самолета, двухмоторного двадцатилетнего старичка «Бичкрафта», Уорд занял тридцать тысяч у матери.

Уордовская команда перевозила за рейс более 500 килограммов наркотика из Колумбии во Флориду и Джорджию и выручала больше ста долларов за килограмм. Прежде им такие деньги и не снились. Каждый для отвода глаз открыл свое дело, сообща купили в Джексонвилле портовый бассейн с причалами и оборудованием, а также участок в Северной Каролине. Уорд купил себе дом в шикарном пригороде Джексонвилла и зажил на широкую ногу.

Полиция пристально наблюдала за подозрительным ростом благосостояния честной компании. Вскоре федеральные агенты установили слежку за домом Уорда и тщательно проверяли мусор, который хозяева выбрасывали на помойку. К тому времени Уорд снова женился. Эмили — иначе Милашке — был 31 год, и служила она зубным техником. Милашка тоже участвовала в контрабандных операциях: считала деньги, складывала их в пачки и придумывала, как обеспечить безопасный полет.

Впервые Эд Уорд повстречался с Карлосом Ледером на Норманс-Кей в конце 1977 года. Увидев, как дорогостоящий самолет Ледера день за днем стоит на приколе, Эд сразу смекнул, что хозяин — контрабандист. Законопослушный владелец пользовался бы такой машиной почаще. Чтобы Ледер не принял его за агента УБН, Уорд отправился к нему в дом и попросил о разговоре наедине. Они вышли на прогулку. Уорд выложил все без утайки. Сказал, что сам он — контрабандист, и Ледер, вероятно, тоже. Так вот он, Уорд, обещает Ледеру не мешать. Ледер промолчал. И какое-то время обе группы сосуществовали на острове вполне мирно.

А через несколько месяцев Ледер предложил Уорду заняться перевозкой кокаина. Уорд ответил не сразу. В кокаиновом бизнесе нравы куда грубее. Недаром у наркодельцов существует поговорка: «Марихуану продаешь — руку каждому пожмешь; кокаин загонять — под мушкой стоять». К тому же сроки за кокаин давали куда длиннее. Но, с другой стороны, от кокаина и доход больше. Да и на борту с ним не такая морока — места меньше занимает. А то загрузишь салон марихуаной — летчику и люка не открыть, если случится прыгать. Эд Уорд отличался практичностью. Он видел, что Карлос Ледер начинал весьма скромно, а теперь у него самолеты новейших марок. Уорд вдруг ощутил, сколь скудно вознаградила его жизнь за многолетние старания. Захотелось больших денег и хороших самолетов. Чтобы все — как у Ледера.

Теперь Эд Уорд должен был передать предложение Ледера компаньонам. 6 сентября 1978 года он свел восемь своих людей с Ледером на Норманс-Кей и там же, на месте, объяснил им суть ледеровского предложения. Особого энтузиазма никто не проявил. Кокаинщики нам не чета, слишком круто берут! Свои опасения они высказали Ледеру напрямик:

— Убивали кого-нибудь? Не брезгуете?

— Приходится иногда. Такая работа,— ответил Ледер.

Люди Уорда не захотели менять профиль. Однако сам Уорд заключил с Ледером сделку: он делает десять рейсов, взяв на борт по 250 килограммов кокаина. За каждый рейс — 400 тысяч. Ледер велел Уорду купить новый самолет и одолжил ему 604 тысячи на турбовинтовой «Свеаринген Мерлин III».

В январе 1979 года Уорд, Ледер и второй пилот Уорда Лев Франсис, пятидесятипятилетний участник второй мировой войны, тоже — как и Уорд — бывший моряк, совершили на «Мерлине» первый перелет из Колумбии на Норманс-Кей с полутонной кокаина на борту. Посадочную полосу развезло от дождей, груз весил вдвое больше условленного, топливо оказалось отвратительным. Эд Уорд рассвирепел. Его, человека до крайности педантичного, раздражала расхлябанность Ледера, работать на него было нестерпимо противно. Эд решил порвать с Ледером, как только встанет на ноги и сможет организовать собственный кокаиновый извоз.

Ледер же в это время процветал как никогда. На острове на него работало от тридцати до пятидесяти человек, среди них два-три колумбийских летчика и три-четыре американских. У взлетной полосы теснилось шесть, а то и больше самолетов. Все

это тоже немало беспокоило Уорда. Остров становился подозрительным, привлекал внимание.

Сам же Уорд, несгибаемый моряк, совершил непоправимую ошибку: занявшись перевозкой кокаина, он пристрастился к наркотику и поделать с собой ничего не мог. Уединялся в ванной, чтоб не видели дети, и нюхал. «Эта штука нас погубит»,— предупредил он жену, но не находил в себе сил остановиться.

— Даже когда мы почувствовали побочное действие кокаина, отказаться было невозможно: он обладал чудесным, магическим действием, усталость и тоску как рукой снимал,— вспоминала Милашка.

Тосковали Эд и Эмили Уорд не без причины. Летом 1979 года они переехали на Норманс-Кей на постоянное жительство, поскольку агенты налогового ведомства напали на след Эда. Поспешный отъезд из Джексонвилла спас их, но полиция опечатала дом и обвинила Эда Уорда в сокрытии дохода — 900 тысяч долларов. Теперь закон добрался и сюда, в убежище на острове.

14 сентября 1979 года более девяноста офицеров багамской полиции провели рейд на Норманс-Кей в рамках операции «Енот». Рейд начался в семь утра. Причалив на надувной лодке к берегу острова, капрал багамской полиции увидел, что какой-то человек рванулся к «фольксвагену». Позже выяснилось, что это был сам Карлос Ледер. Капрал произвел предупредительные выстрелы в воздух, но машина уехала. А через несколько минут с полицейского катера заметили «Огнепад» — десятиметровую моторную лодку Ледера, уходившую на полной скорости. Ему просигналили: «Остановитесь». Но Ледер, стоявший у руля, лишь прибавил ходу. Катер устремился вдогонку. Командир видел, как человек на «Огнепаде» высыпал в море белый порошок из полиэтиленового пакета. Лодка вышла на мелководье у западной оконечности острова, и сержант полиции выстрелил с берега. В конце концов Ледер сдался и позволил взять «Огнепад» на буксир.

На берегу на Ледера надели наручники. Был он в голубых джинсах, с толстой золотой цепочкой на шее, на запястье — дорогие часы. Во время обыска в спальне Ледера обнаружили оружие, а также марихуану и кокаин — в небольших количествах. На кровати лежал красный чемодан необъятных размеров.

Пока обыскивали дом, Ледер непрерывно стенал и жаловался. Говорил, что вложил в этот остров пять миллионов, но теперь, разумеется, уедет, поскольку терпеть не может докучливых полицейских. От обнаруженных в доме вещей отрекался: мол, знать не знает, откуда они взялись. В чемодане же — зарплата для служащих. Говард Смит, помощник полицейского комиссара, руководивший рейдом, приказал отдать чемодан Ледеру, и тот принялся пересчитывать деньги на глазах у полиции.

В общей сложности забрали тридцать три человека, включая Уордов и почти всю шайку Ледера. Ледер же и его немец-телохранитель остались на свободе. Багамская полиция захватила восемь пистолетов, два автомата, один пулемет, тридцать пять динамитных шашек и 618 патронов. Когда арестованных сажали в самолет «ДС-3», чтобы отправить в Нассау, Ледер наказывал им не волноваться: он заберет их завтра же.

Некоторые полицейские удивлялись, почему не арестован сам Ледер.

— Не тревожьтесь,— ответил помощник комиссара Смит,— он от нас не уйдет.

Но Смит ошибся.

Проведя пару дней в заключении, все арестованные были освобождены под залог. Осудили лишь одного багамца за незаконное хранение пулемета. Вернувшись на Норманс-Кей, Уорд спросил Ледера, каким чудом он выцарапал их из тюрьмы.

— Заплатил,— ответил Ледер.

Говард Смит, оставивший на свободе Джо Ледера, был вторым полицейским чином на Багамах. Позже он утверждал, что для ареста Ледера не хватало улик, но, инструктируя людей перед рейдом, он говорил совершенно обратное! Он тогда специально подчеркнул, что Ледер — главарь шайки на Норманс-Кей и брать его надо непременно.

Газеты потом сообщали, что во время рейда творились весьма странные вещи. Обыскивая один из домов на острове, полицейский констебль нашел на помойке пластиковый мешок, а в нем — 80 тысяч долларов. Констебль заявил, что отдал деньги помощнику комиссара Смиту. Деньги испарились. Смит утверждал, что денег не получал. Констебль стоял на своем.

Пять лет спустя доходы Смита привлекли пристальное внимание Королевской комиссии, расследовавшей наркокоррупцию на Багамах. За три года после рейда на Норманс-Кей Смит выплатил 7500 долларов за «тоёту», 17 500 за «олдсмобиль» и 18 000 за дом — все наличными. Кроме того он вложил 30 000 долларов в акции пароходства, а на его банковском счете по-прежнему значилось 29 500. Полиция обнаружила еще 57 000 неучтенных долларов, происхождение которых Смит объяснял весьма неубедительно: ходил, мол, на скачки и собачьи бега и играл в черную лотерею.

Комиссия пришла к следующему выводу: «Ледер давал взятки полицейским, чтобы обеспечить себе свободу, и мы усматриваем очевидное соучастие Смита и других старших офицеров полиции» [1].

А кокаиновый извоз процветал как ни в чем не бывало. Выйдя из тюрьмы, Уорд — буквально на следующий день — уже летел с двухсотпятидесятикилограммовым грузом из Колумбии на Норманс-Кей и дальше — в Рейдсвилл, штат Джорджия. Перевозка кокаина прошла без сучка без задоринки. Однако налоговые проблемы настигли Уорда и в Джорджии. Не успел он приземлиться в аэропорту Атланты, столицы штата, как его «бичкрафт» захватили агенты налогового ведомства. Уорд решил, что его обвинят в контрабанде, но их интересовал лишь самолет — его личная собственность. Уорд забрал груз и уехал. Да и самолета он лишился лишь на время: его адвокат через подставных лиц выкупил самолет у налогового ведомства за 40 тысяч. Не прошло и месяца, как Уорд получил «бичкрафт» обратно. И за следующие четыре месяца отвез еще 350 килограммов кокаина. В общей сложности Уорд переправил для Ледера в Штаты больше трех тонн наркотика — на сумму в 150 миллионов долларов. Свыше 22 миллионов Ледер пропустил через багамские банки. Огромные суммы осели в карманах багамских чиновников.

В 1979 году на Багамах продавалось всё и все. И Карлос Ледер был не единственным покупателем. Через Багамы переправляли наркотики с десяток, а то и больше контрабандистов разного калибра — и марихуанщики, и кокаинщики. Прочесать семьсот островов, разбросанных в океанских просторах (на площади около 100 тысяч квадратных миль), для полиции непосильно. Архипелаг превратился в узловую станцию наркобизнеса.

Адвокат Ледера Найджел Бау, отлично умевший обтяпать делишки клиентов-контрабандистов, был близок с премьер-министром Линденом О. Пиндлингом. Позже осведомитель УБН сообщит, что Бау появлялся на Норманс-Кей регулярно 22 числа каждого месяца и забирал 88 тысяч, предназначенных Пиндлингу. Другой же осведомитель утверждал, что Ледер платил Пиндлингу не менее 200 тысяч в месяц.

Позже Королевская комиссия проверит доходы Пиндлинга. Как выяснится, «траты во много раз превышали законные доходы», но определить, брал ли премьер взятки с наркодельцов, окажется невозможным.

На Багамах отлично знали, что сентябрьский рейд 1979 года не положил конец кокаиновым перевозкам через Норманс-Кей. Спустя два месяца после рейда Норман Соломон, известный багамский парламентарий, выступая в палате собрания, заявил, что остров используется для «одной из крупнейших контрабандных операций с наркотиками в этой части земного шара». Вскоре в доме Соломона взорвалась зажигательная бомба.

В декабре 1979 года Карлосу Ледеру официально предложили покинуть Багамы. Но и это не подействовало. Самолеты курсировали ритмично, а возле Норманс-Кей продолжали твориться чудеса. 31 июля 1980 года шедшая мимо шлюпка обнаружила дрейфующую яхту — «Калию-III». Ее палуба была залита кровью. Пулеметная очередь насквозь прошила борта из тикового дерева. К яхте была привязана надувная лодка, а в ней ничком лежал мертвый мужчина. Однако прибывшие на следующий день полицейские трупа не нашли. «Калия-III» принадлежала пожилым супругам из Форт-Майерс, которые на полгода отправились в круиз по Багамам. Чета исчезла бесследно, преступление так и осталось нераскрытым. Много лет спустя один из бывших «людей Ледера» расскажет под присягой, что «Калия-III» пропала как раз в ту пору,

---

[1] Смита обвинили во взяточничестве, но свидетели отказались от показаний, и обвинение пришлось снять. Вскоре после этого Смиту «позволили уйти в отставку», и он уехал с Багамских островов. *(Прим. издателей.)*

когда Ледер отправил своих немцев-телохранителей «позаботиться» о какой-то лодке, которая крутилась слишком близко от Норманс-Кей.

В 1980 и 1981 годах полиция провела еще два рейда, но Ледер снова откупился. Иногда он просто вскакивал в свой самолет и отбывал в Колумбию. Но всегда возвращался — делу стоять негоже!

В это время в Колумбию прибыл старый дружок Ледера. Он снова захотел повидаться с человеком, которого все теперь звали не иначе как «дон Карлос». Присмиревший Джордж Джанг приехал к Ледеру в июле 1980 года — не в партнеры проситься, а наниматься на работу. Он все еще считал, что Ледер ему задолжал. Но ныне он удовлетворился бы малым.

В Медельине Джанг позвонил в «Авто Ледер» из гостиницы «Интерконтиненталь». Через несколько часов к нему в номер вошел Ледер с телохранителями. Все они, включая Ледера, были в защитной военной форме. Ледер с Джангом выпили, понюхали кокаину. И, в конце концов, Джанг высказал свою просьбу.

Ледер согласился. Наркотик развязал ему язык, он был в ударе. Рассказал, что почти весь колумбийский кокаин идет в Штаты через него. Хвастал, как трепещут перед ним на Багамах. Поведал, что знаком с багамским премьером Линденом Пиндлингом, и представил его не кто иной, как Роберт Веско — мошенник, который в начале семидесятых надул американских вкладчиков на 224 миллиона.

Ледер называл Веско финансовым гением. Теперь Веско скрывался от правосудия на Багамах и обучал Ледера, как отмывать деньги через островные банки. А еще, по словам Ледера, Веско познакомил его с Фиделем Кастро.

Ледер самодовольно бахвалился. Выболтал Джангу, что у него на счетах несколько сот миллионов. Называл себя «королем кокаинового извоза», «кокаиновым королем». Джанг и сам заработал на кокаине миллион-другой, но по сравнению с бывшим партнером он был нищим. Все же встреча прошла успешно, окрыленный Джанг вернулся в Массачусетс.

И тут же попал в тюрьму по обвинению в контрабанде наркотиков. С Ледером он не увидится целых пять лет.

Эд Уорд покинул Норманс-Кей летом 1980 года. Он значился в списке иностранных лиц, подлежащих задержанию на Багамах; в случае ареста его могли депортировать в Штаты. Кроме того, он узнал, что второй пилот, совершавший с ним вместе кокаиновые прогулки, стал осведомителем и свидетельствовал перед Большим федеральным судом присяжных в Джексонвилле. В Штаты Уорду пути не было, и он делал все возможное, чтобы наладить отношения с багамскими властями. Воспользовавшись услугами Найджела Бау, багамского адвоката-ловкача, он передал 100 тысяч Эверетт Бэннистер — близкой подруге Пиндлинга, считая, что деньги пойдут самому Пиндлингу.

— Эти люди убеждали нас, что на Багамах все так живут, такой уж у них стиль. И обещали нам помочь,— вспоминала Милашка Уорд. Но взятки Уорда не спасли. И в основном потому, что от него хотел избавиться сам Карлос Ледер. Он отбросил Уорда как выжатый лимон — как отбросил он Джанга и Яковача.

Было совершенно ясно, что УБН держит Уорда на прицеле, что за ним и его самолетами неустанно ведется слежка. И в один прекрасный день Уорд с семейством сбежал на Гаити, с которым не было в то время соглашения о выдаче преступников. Там Уорд тоже занимался кокаиновой контрабандой, используя посадочную полосу на Норманс-Кей для дозаправки горючего. Но без ледеровских связей он наскребал не более десяти—пятнадцати килограммов на рейс. А закон, между тем, подбирался к нему снова.

8 января 1981 года прозвучал трубный глас. Большой федеральный суд присяжных обвинил Карлоса Ледера, Эда Уорда, Милашку Уорд и еще одиннадцать человек, близких к Уорду, в контрабанде, преступном сговоре и уклонении от уплаты налогов. Обвинительный акт состоял из тридцати девяти пунктов.

Спустя две недели Эд с Милашкой и еще несколько супружеских пар из той же компании отправились в ночной клуб в Порт-о-Пренсе.

— Веселились как перед плахой,— вспоминала Милашка.— Все чувствовали, что это — конец.

На следующий день Милашка, Уорд и десять его дружков были арестованы на Гаити агентами УБН. Гаитянская полиция предлагала уладить дело за взятку, но Уорд отказался. Жене он сказал так:

— Не желаю платить еще одному правительству за право у них жить. Пусть лучше в тюрьму упекут.

В Соединенные Штаты они прибыли в наручниках. На борту самолета УБН пели «Домой, в края родные».

Карлос Ледер, разумеется, избежал ареста. В конце 1981 года ходатайство Уорда было удовлетворено — ему скостили срок до пяти лет. Милашку освободили на поруки. Эд Уорд давал показания против своего бывшего партнера перед Большим федеральным судом присяжных. Теперь колумбиец Карлос Ледер стал главной мишенью охотников из УБН.

Ледер покинул Норманс-Кей в сентябре 1981 года. К этому времени он значился и в багамском списке к задержанию, а на острове появился постоянный полицейский пост. Однако Ледер лишь поменял адрес, а контрабандные операции шли на Норманс-Кей своим чередом. Хозяин часто наезжал, держал на острове штат колумбийцев для обслуживания рейсов и продолжал щедро одаривать багамских чиновников.

В июле 1982 года полицейский капрал, служивший на Норманс-Кей, сообщил, что инспектор официально велел обеспечить охрану Джо Ледера, который намерен отдохнуть на острове полтора-два месяца. Приказ, по его словам, поступил из высших правительственных кругов.

5

МАЙАМИ, 1982

К 1982 году дела в Майами шли из рук вон плохо. После дейдлендского расстрела прошло три года, убийств становилось все больше, и наркобизнес процветал. Южную Флориду еще лихорадило от последствий событий 1980 года, когда на полуостров хлынули 125 тысяч кубинских беженцев, тысячи из которых на Кубе сидели за решеткой. Они пополнили ряды воинственных и вспыльчивых кокаиновых ковбоев. Каждый новый год приносил рекордное число убийств: 1979 — 349; 1980 — 569; 1981 — 621. Медицинский отдел окружной прокуратуры был вынужден приобрести еще один холодильный фургон — количество трупов росло не по дням, а по часам.

Ввоз кокаина тоже достиг рекордного уровня. А страна расплачивалась за наркотик миллионами — они утекали за границу. Банки повсеместно отмывали наркодоходы. В 1980 году в результате расследования, совместно проведенного таможенным и налоговым ведомствами, в майамском аэропорту была арестована молодая колумбийка, пытавшаяся вывезти наличными полтора миллиона — в шести коробках из-под игры «Монополия». Однако этот рекорд был превзойден уже через три месяца, когда в аэропорту Опа-Лока, к северу от Майами, полиция перехватила 1,6 миллиона — некий делец собирался вывезти деньги в Колумбию на личном самолете.

Контрабандисты завалили банки миллионами — их несли в чемоданах, картонных коробках, полотняных мешках. Банковские служащие смотрели на все сквозь пальцы. Таможенники подсчитали, что через Южную Флориду в 1981 году вывезли 3,2 миллиарда неучтенных долларов. Кое-кого арестовали, но попадалась, в основном, мелкая сошка. Кокаиновые короли отсиживались в Медельине в полнейшей безопасности.

Смерть, деньги, наркотики, смерть... Эта страшная, бьющая по нервам круговерть порождала в городе страх, страх этот множился слухами, обстановка накалялась. Майами, буквально нашпигованный оружием, мог взорваться в любую секунду. В декабре 1981 года лидеры городских общественных групп обратились в Белый дом с просьбой оказать городу правительственную помощь. Их просьбу удовлетворили. 28 января 1982 года президент Рональд Рейган объявил о создании правительственной комиссии для координации сил по борьбе с наркотиками в Южной Флориде. Вице-президент Джордж Буш возглавил работу комиссии. Его группа получила название «Спецотряд по борьбе с наркотиками». «Почти два миллиона жителей Южной Флориды несут из-за наркотиков непосильное финансовое бремя. Кроме того, попирается право, гарантиро-

ванное им Конституцией, право жить мирно, не страшась угроз»,— сказал в своей речи Рейган.

В Южную Флориду прибыло множество призванных правительством специалистов: сто тридцать таможенников, шестьдесят агентов УБН, сорок три агента ФБР. Помимо этого Бюро алкоголя, табака и оружия послало сорок пять агентов, чтобы остановить распространение оружия среди населения. Агенты налогового ведомства проверяли, где, как и кем «отмываются» деньги. Самолеты контрабандистов преследовались теперь боевыми вертолетами «Кобра», находящимися на вооружении американской авиации. Для обнаружения самолетов использовалась система радарного слежения «Хокай Е2-С», принадлежащая ВМФ США. Военные моряки получили распоряжение обследовать суда, подозреваемые в контрабанде наркотиков. «Вся рать США спешит на помощь. Заждались!» — под таким заголовком вышла статья в майамской «Геральд».

Но в коридорах власти Майами, где можно было получить истинное представление о том, как идет борьба с наркотиками, хвастаться было особенно нечем. Приток наркотиков остановить не удавалось. Прокуратура вела все обвинительные дела, курировала действия УБН, таможни и прочих государственных организаций, принимавших участие в кокаиновой войне. Но тут катастрофически не хватало людей: лишь семь штатных прокуроров занимались делами о наркотиках. Все они рассматривались порознь. Никто не удосужился проникнуть в механизм кокаинового рынка, не проследил цепочку от арестованного мелкого торговца к вершине пирамиды. Никто не сложил фрагменты картины воедино. Главной целью стал захват денег и наркотиков, главным козырем на пресс-конференциях — килограммы белого порошка, предъявленные публике. У полицейских развилось «количественное» мышление. Разумеется, значимость арестованных наркодельцов тоже была немаловажна, но здесь к китам и акулам причисляли мелкую рыбешку — тех, что ввозили не более сотни килограммов в месяц. Казалось, никому и в голову не приходило, что есть на свете люди, считающие кокаин на тонны. Истинную роль Пабло Эскобара и Хорхе Очоа в полиции знали немногие.

Впрочем, истина слегка приоткрылась в майамском аэропорту весной 1982 года, когда трое таможенников приступили к обычной проверке груза, прибывшего из Медельина.

Осведомитель давно указывал на колумбийскую грузовую авиакомпанию «Транспортес Аэреос Меркантилес Панамериканос» — сокращенно ТАМПА. Он утверждал, что компания греет руки на наркотиках. Примерно в это же время УБН получило из Колумбии сигнал, чтобы в Майами ожидали большую партию наркотика из Медельина. Кокаин следовало искать в коробках с джинсами.

Три майамских таможенника и представить себе не могли, какая их ждет находка, когда 9 марта 1982 года шли проверять рейс ТАМПА из Медельина, прибывший в 3.15. На складе ТАМПА, неподалеку от «Боинга-707» уже громоздились на поддонах сотни картонных ящиков с надписью «Одежда». Завидев инспекцию, грузчики отошли от коричневых коробок подальше. Таможенники заметили, что часть коробок заклеена желтой пластиковой лентой, а часть — белой. Кроме того в нос ударил резкий запах эфира. Инспектор Тони Кнапик проделал отверткой дыру в коробке с белой лентой. Из-под надписи «Джинсы» посыпался белый порошок. Стоящий рядом с ним инспектор Джерри Драйгхон тут же радировал Ванну Каппсу, командиру таможенной группы по борьбе с контрабандой.

— Привет, шеф, нам ТАМПА подарочек подкинула,— сказал Драйгхон.— Похоже, хороший груз. Грузовик прихватите, тут много.

Каппс немедленно вызвал подкрепление и велел окружить склады ТАМПА.

Таможенники, меж тем, обследовали остальные коробки. Под желтой лентой и в самом деле были джинсы, а двадцать две коробки с белой лентой были заполнены кокаином. Белая лента явно и примитивно символизировала цвет порошка. Пять коробок оказались просто засыпаны доверху и весили по 88,5 кг каждая. Остальные семнадцать коробок были забиты килограммовыми шарами — кокаин пришел в типичной колумбийской упаковке. На шарах, обернутых в желтый полиэтилен, виднелись шифрованные надписи: RC, TOTO, M1, X100. От количества кокаина дух захватывало. На глаз определили: килограммов 230. Потом поняли — бери выше — 500—800! Окончательный вес груза оказался 1771,5 кг. Почти две тонны чистого кокаина! Его стоимость превышала 100 миллионов долларов. Рекорд США оказался превышен вчетверо.

Главное же — прояснился истинный размах колумбийского кокаинового бизнеса. Одному дельцу в жизни не собрать двухтонного груза, тут нужны общие усилия. За-

хваченная партия наркотика подсказывала: колумбийские перекупщики сотрудничают друг с другом в масштабах, какие полиции США и не снились. Любые предположения о колумбийской наркосети меркли перед двумя тоннами кокаина! Полиция пришла к выводу, что груз собран пятнадцатью отдельными группами перекупщиков. УБН впервые увидело тень хищника.

6

ДЖОННИ ФЕЛПС

Джонни Фелпс, назначенный ответственным представителем УБН в Колумбии, приехал в Боготу в середине 1981 года. В штаб-квартире, а также в филиалах — в Кали и карибском портовом городе Барранкилье — тогда работало в общей сложности 13 человек. В медельинском бюро — один.

Фелпсу было тридцать семь лет, и в Центре считали, что он идеально подходит на роль борца с наркобизнесом. Рост — 193 см. Рыжеволос, круглолиц, говорит врастяжку, по-техасски; легко сходится с людьми. Ходил он обычно в темном костюме, черных ботинках и был определенно хорош собой. По-испански говорил безукоризненно.

Родился он в бедной семье на западе Техаса, бегал по деревне в драных портках, а испанского нахватался у батраков-мексиканцев. В УБН он ведал, в основном, контрабандой героина и марихуаны на мексиканской границе. По служебной лестнице поднимался с невиданной скоростью, перескакивая через ступени. Работая тайным агентом, охотно прикидывался перед торговцами наркотиком этаким простачком-гринго: лицо по-младенчески наивное, такого сам бог велел ободрать как липку! Настоящий же Фелпс прекрасно знал нравы улицы, был упрям, честолюбив и обладал редкой целеустремленностью. Не любил пустословия, не тратил времени на анекдоты и никчемные разговоры. Если кто-то из подчиненных расслаблялся, он высказывал недовольство резко и недвусмысленно. Стиль его работы не изменился и в Колумбии.

Сразу по приезде Фелпс удостоверился, что во главе угла будет кокаин, и велел своим эмиссарам всецело посвятить себя слежке за кокаиновыми дельцами. Он хотел знать все досконально: кто торгует, какими партиями, по каким расценкам, куда переправляют груз. Скоро стало понятно, что преследовать торговцев наркотиком отнюдь не просто. Взятки настолько развратили правительственные войска и полицию, что они практически бездействовали. Более же всего удручало Фелпса, что ответственные государственные деятели попустительствуют наркобизнесу. Они не усматривали в торговле марихуаной и кокаином большой беды. Вот незаконное ношение оружия — куда хуже! А эти торгуют помаленьку. Кому плохо от контрабанды?

Резидентом Фелпса в Медельине был тридцатидвухлетний Эррол Чавес. Медельинское бюро открылось за несколько месяцев до прибытия Фелпса в Боготу. У Чавеса, как и у Фелпса, работы было невпроворот. Ни секретаря, ни картотеки, ни машинистки. Он работал по четырнадцать часов в сутки, без выходных, а дело едва сдвинулось с места.

Не успел Чавес приехать в Медельин, как местная полиция и агенты службы безопасности принялись уверять его, что из Медельина в Штаты регулярно уходят партии кокаина весом от двух до пяти тонн. Чавес поначалу не поверил и сообщение это начальству не передал — боялся, что засмеют. «В Вашингтоне, верно, решат, будто я сам эту штуку нюхаю»,— подумал Чавес.

И он принялся отыскивать главных медельинских дельцов. Разделил всю эту братию на две группы: крупные перекупщики и всякая шушера. Первые — десяток семейств под предводительством Эскобара и Очоа — могли собрать огромные партии кокаина, оплатить и организовать перевозку. Мелюзга стремилась присоседиться к грузам крупных перекупщиков, добавляли кто по одному-два килограмма, кто по сотне. Перекупщик звонил в ресторан или в гостиницу и скликал всех, кто желает добавить груз. И тогда все спешно упаковывали порошок в шары и надписывали особым цветовым и знаковым шифром. Эти надписи и увидят потом таможенники на «джинсовом» кокаине в Майами. У самого перекупщика и у его сбытчиков в Майами, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке или в любой другой точке Штатов имелся список шифров, и они отчитывались за каждый килограмм.

За два года работы в Медельине Чавес завел там шесть осведомителей. И все они были убиты. Стоило человеку переступить порог бюро, Чавес поспешно говорил: «УБН

очень ценит вашу помощь и поддержку, но старайтесь не общаться с нами напрямую, работайте скрытно, никаких сделок не заключайте». Его, увы, никто не слушал.

Двоюродный брат Пабло Эскобара, потерявший в Перу все до последней нитки, тоже пришел и нанялся в осведомители. Чавес дал ему немного денег и посоветовал вести себя поосмотрительней. Тот сразу отправился к Эскобару и попытался заключить с ним сделку. Нашли его голым, со связанными за спиной руками, шесть пуль прошили его навылет. Зять Хорхе Очоа, летчик, тоже совершил ошибку: он звонил Чавесу по телефону и встречался с агентами УБН на людях. Наемные убийцы по наущению Очоа встретили его в аэропорту после посадки. Полиция нашла труп с выдавленными глазами лишь несколько дней спустя — в канализации.

Шесть полицейских круглые сутки охраняли Чавеса, его жену Джулию и трех малолетних детей. На работу он ездил в джипе с полицейским эскортом, а в ногах был спрятан автомат. Он постоянно носил 9-миллиметровый пистолет и револьвер 38-го калибра. Охрану брал с собой повсюду.

В полиции ему говорили:

— Тут тебя каждая собака знает.

И сомневаться в этом не приходилось. Однажды некий делец раззвонил по всему городу, что прослушивает телефон Чавеса. Чавес немедленно пригласил специалистов обследовать здание. Подслушивающие устройства оказались в телефонном аппарате, в кабинете и возле дома. Одно из донесений, переданных Чавесом в Боготу, было найдено в сумочке жены наркоторговца, арестованной в Майами.

Брак Чавеса не отличался особой прочностью и раньше, до службы в Медельине, а здесь уж семья совсем распалась. Винить жену не стоило — в Медельине ей жилось несладко. А Чавесу, несмотря ни на что, нравилась беспокойная жизнь. Его работа была интересна и важна. Он узнавал детали, факты, не известные дотоле никому. Наркодельцов в этом городе встретишь повсюду, он видел их — то в ресторане, то на дискотеке, то в гостинице. Очоа был завсегдатаем скачек и конных выставок. Другой крупный перекупщик, Хосе Окампо, любил корриду. Чавес ежедневно слушал обрывки их разговоров с майамскими сбытчиками, они уточняли, каким клиентам отправлять шары с таким-то и таким-то шифром. Сделки совершались прямо на глазах. УБН постоянно получало из Медельина важнейшую информацию. А когда в Боготе появился Джонни Фелпс, Чавес мог быть вполне уверен, что информация эта попадает в надежные руки.

Джонни Фелпс очень боялся за жизнь своих эмиссаров, в особенности за Чавеса. Старался заезжать в Медельин как можно чаще, всячески выражал свою признательность. Но это тоже было делом непростым. Ведь главное — уберечь Чавеса от пули.

Фелпс искал способ показать контрабандистам, что с УБН шутки плохи. Такая возможность представилась в феврале 1982 года, когда некий торговец марихуаной с северного побережья похитил двух агентов УБН и пытался убить их неподалеку от Картахены. Люди не пострадали, но Фелпс с помощью полиции перекрыл все дороги и продолжал поиски до тех пор, пока не поймал преступника. Этот случай снискал большому американцу с мексиканским акцентом славу среди колумбийских полицейских и вызвал неподдельное уважение у его собственных служащих. Как говорил позже один из его подчиненных: «Джонни Фелпс дело знает».

7
ЗОЛОТОЙ ВЕК КАРТЕЛЯ

18 апреля 1981 года, перед приездом в Боготу Джонни Фелпса, молодые колумбийские короли кокаина устроили «встречу в верхах» на побережье Карибского моря неподалеку от Барранкильи. Здесь находилось ранчо Хорхе Очоа — асьенда «Веракрус». На повестке дня стоял вопрос о дальнейшем расширении кокаинового бизнеса. У клана Очоа накопилось столько кокаина, что они искали все новых и новых путей для переправки наркотика за границу.

Почетным гостем на встречу пригласили Карлоса Ледера. Его позиции на Норманс-Кей пока были прочны, но он, подобно Очоа и Эскобару, понимал, что пропускная способность крошечного островка не удовлетворяет возросший спрос на американском рынке. Дельцам не хватало самолетов, летчиков, а главное — новых контрабандных путей. На асьенде «Веракрус» молодые короли упрочили взаимовыгодные связи, начало

которым положила встреча на Норманс-Кей. Так постепенно возник союз, известный ныне как «Медельинский картель».

На встрече Очоа представил свои планы по организации новых путей и рынков сбыта. В 1980 году он установил в Аканди — на северо-западе Колумбии, недалеко от границы с Панамой — систему радионавигации дальнего действия. Благодаря этой системе с взлетно-посадочной полосы на асьенде «Веракрус» можно было осуществлять любые полеты. Будучи более полутора километров длиной, полоса годилась даже для больших грузовых самолетов.

Очоа с Эскобаром обсуждали совместные партии груза, распределяли обязанности, чтобы максимально контролировать наркосеть. Эскобар главенствовал в промышленном производстве наркотика и обеспечивал безопасность. В его ведении находились лаборатории и скупка кокаиновой пасты, он давал взятки и, в случае необходимости, устранял неугодных для картеля людей.

Ледеровское предприятие на Норманс-Кей все еще приносило колоссальные доходы, но теперь оно уже не было уникальным в своем роде. Правда, Ледер поддерживал прочные связи со сбытчиками, и на него работали пилоты со всех островов Карибского бассейна и со всех концов Соединенных Штатов. Его записная книжка вспухла от адресов и телефонов, и он по-прежнему оставался незаменимым советчиком.

Но на престол кокаинового извоза неумолимо всходил Хорхе Очоа. Радиолокационный маяк в Аканди, взлетная полоса на ранчо и грандиозная сеть американских и колумбийских летчиков с самолетами не имели аналогов в кокаиновом бизнесе. Картель процветал. После «встречи в верхах» лишь один из майамских сбытчиков принял с борта нескольких самолетов ни много ни мало — девятнадцать тонн наркотика и, разумеется, распространил их по стране. Рекорд Эда Уорда за предыдущий год — жалкие 3,3 тонны — был перекрыт и забыт. А ведь кроме майамского рынка существовала сеть сбытчиков в Луизиане, Алабаме, Теннесси и Джорджии. И все они регулярно принимали по 450 килограммов кокаина.

Картель разрастался не по дням, а по часам, но все же в истинно международную организацию он превратится лишь несколько лет спустя, когда сотрудничество Эскобара и Очоа обретет небывалый размах. Однако укрепление этого союза сопровождалось нескончаемым кровопролитием. Медельинская полиция была бессильна остановить насилие и убийства. В 1982 году город превратился в вотчину кокаиновых королей. Полиция и политики брали взятки и держали язык за зубами. Иначе их ждала смерть.

Контрабандистам старой закваски в новой системе места не осталось. Они, за редким исключением, мирно сдали позиции. Для конкуренции с младым племенем им не хватало смекалки и воли. Большинство ушло «в отставку», а остальные свыклись с подчиненным положением при детях и племянниках. Горстку непокорных силком принудили уступить дорогу или попросту с нее убрали. Наступила новая эра — вместо одиночек шла стая.

Поначалу отличить королей от прочих праздно шатающихся нуворишей было довольно трудно. Пабло Эскобар обожал автогонки и выставлял на городских соревнованиях целую команду с полной экипировкой и машинами. Хорхе Очоа, как и старик Фабио Очоа, любил и держал прогулочных лошадей на больших конюшнях. Юный Фабио Очоа, брат Хорхе, мнил себя тореадором... Впрочем, город кишмя кишел подозрительными личностями, которые сорили деньгами направо и налево, поэтому ежедневные траты кокаиновых королей не особенно бросались в глаза. Деньги текли в город рекой, и молодые дельцы тратили их наперегонки. Наступил Золотой век.

Конторы, жилые дома, гостиницы и дискотеки росли как грибы, они проникли даже в живописные южные пригороды Медельина. Наркодельцы скупали самые красивые в городе здания, строили шикарные виллы, стремясь превзойти друг друга в роскоши. Как-то раз некий домовладелец услыхал стук в дверь и увидел на пороге парня лет двадцати пяти, увешанного золотом и бриллиантами. Гость вежливо осведомился, нельзя ли купить этот дом. Отнюдь не желая продавать, да и не приняв парня всерьез, хозяин шутливо ответил, что запросит никак не меньше миллиона. Гость тут же сунул ему в руку чемодан:

— Пересчитайте.

Торговцы кокаином предпочитали мебель в стиле Людовика XIV, безвкусную и аляповатую — чем причудливей, тем лучше. Над каминами вешали изображение Иисуса

Христа с кровоточащим сердцем. Дельцов вело одно всепоглощающее желание: купить на свои деньги положение в обществе, стать уважаемыми людьми, аристократами-«земляками».

Карлос Ледер тоже прожигал жизнь в Колумбии. В 1980 году ему стукнуло 31 год, он снова развелся, и миллионы жгли его холостяцкие карманы. Ледер решил употребить их с толком — помочь родному городу Армения, покинутому им пятнадцать лет назад. Армения находилась почти в трехстах километрах к югу от Медельина, в центре колумбийского кофейного края; жизнь здесь точно застыла на месте, тоскливая и убогая. Впрочем, несмотря на царившую в городе скуку, здешнему достатку мог позавидовать каждый. Денег у фермеров — куры не клюют, только держали они их под спудом, ни во что не вкладывали. И в городе показывались нечасто, только если нужда погонит — трактор купить или какую-нибудь мелочь.

Ледер совершал набеги на Армению с 1979 года, появлялся внезапно с хлыщеватыми — под стать ему самому — дружками. Приедут, погудят, покутят, Ледер откроет пару-тройку предприятий, а главное — предстанет перед публикой сотрясателем основ и двигателем прогресса. Машины Ледера, со свистом летящие мимо пешеходов, блеск его золотых украшений, фанфаронство дружков — все составляло некий ореол удивительной, неповторимой личности. Он говорил на многих языках: по-английски, по-немецки, по-португальски и по-итальянски. И никому ничего не объяснял.

А в 1981 году начал скупать у фермеров огромные земельные участки к северу от города и объявил, что намерен построить тут гигантский туристский комплекс в баварском стиле. Нанял скульптора-колумбийца, чтобы тот отлил бронзовую статую Джона Леннона в полтора человеческих роста. Главный «битл», по замыслу Ледера, должен был стать композиционным центром комплекса. Карлос Ледер расхаживал по своим владениям в защитном шлеме и сапогах, разглагольствуя об экономике. В городе он скупал жилые дома, здания государственных учреждений и частных фирм, отчего повсеместно началась спекуляция земельными участками и цены на землю выросли втрое. Штаб-квартира Ледера — «Цебу Киндио, С. А.» — находилась на авениде Боливар. Эта компания-учредитель учреждала все подряд. И вскоре рядом на огромной стоянке уже теснились разнообразные машины: бронированные фургоны, «мерседесы», юркие гоночные «порше» и длинные лимузины. Машины подкатывали и отъезжали в любое время дня и ночи, оглушая треском пустынные улицы Армении.

Как-то друг детства спросил у Ледера, откуда у него столько денег.

— Я в Нью-Йорке работал в ресторанах,— ответил он.— Потом машины продавал, а после — самолеты. Тоже в Штатах.

За последующие три года Ледер всякий раз придумает на этот вопрос новый ответ. Иногда даже полуправду скажет.

Подростки в Армении ходили за Ледером хвостом, точно завороженные. Даже причесывались на прямой пробор, подражая своему кумиру, дону Карлосу. А женщины уверовали, что он им послан небом: обворожительный, изысканно вежливый, элегантный. Маменьки поначалу привечали его не меньше, чем дочки. А когда хватились, было уже поздно: дочки стали наркоманками, а четверо или пятеро забеременели.

Но начиналась новая жизнь весело. Ледер осуществил вековую мечту «земляков»: рано покинув родные стены, нажил огромное состояние и вернулся «на коне».

Пабло Эскобар не очень-то жаловал Ледера — из-за его теперь уже явной наркомании. К тому же Ледер на каждом шагу говорил глупости. Хвастался, будто пожертвовал кучу денег партии либералов — на поддержку кандидата в президенты. Таким образом, он прилюдно связал свое имя, а заодно и имена соратников-контрабандистов с колумбийской политической системой. Разумеется, все дельцы стремились влиять на власть имущих, но лишь Ледер бахвалился этим почем зря. Эскобар называл его не иначе как «bocón» — трепло.

Ледер вел себя неблагоразумно, но сам Эскобар превзошел всех и вся. На выборах 1982 года он прошел в колумбийский конгресс от Энвигадо в качестве дублера. Когда основной представитель от Энвигадо, Хайро Ортега, болел или просто отсутствовал, Эскобар его замещал. Богатейший торговец наркотиками заделался конгрессменом.

Эскобар и Ортега поддерживали сенатора Альберто Сантофимио Ботеро, одного из столпов либеральной партии, который обладал колоссальной властью и влиянием. Сантофимио, любимый политик кокаинового картеля, стал символом коррупции колумбийской политической системы.

Эскобар служил Сантофимио верой и правдой. Еще до выборов его имя много значило в трущобах северного Медельина. Теперь же он стал доном Пабло. Невысокий, располагающий к себе крепыш в простых хлопчатобумажных штанах и тенниске, с золотыми, в алмазах, часами фирмы «Ролекс» — добрый гений Энвигадо — устанавливал прожектора на футбольных полях, строил катки для любителей роликов и раздавал в трущобах двадцатидолларовые бумажки.

Вскоре он уже вел на радио постоянную передачу «Гражданские права вступают в права». Имелась у него и социальная программа: «Медельин без трущоб». Он объявил, что намерен построить жилой массив на тысячу бедняков на пустыре в северной части города и назвать его собирался соответственно — «Посёлок Пабло Эскобара».

Репутацию ему создавал целый сонм борзописцев, которым Эскобар платил из своего кармана. Журналисты-лизоблюды рисовали публике этакого скромнягу, выходца из народа, радеющего о куске хлеба для бедняков. Ведущий колумбийский журнал «Семана» («Неделя») называл Эскобара «земляком Робин Гудом». О занятиях Эскобара в статье упомянуто вскользь, приведены лишь его собственные слова: «С шестнадцати лет я сдавал в аренду велосипеды, потом занялся куплей-продажей автомобилей, а теперь вот землю приобрел». О кокаине — молчок.

Эскобар одурачил многих, но не полицию. Там знали, что в душе он по-прежнему хладнокровный убийца, начинавший преступную карьеру с пяти килограммов кокаина за пазухой и автомата в руках. Конечно, теперь он от мокрых дел отошел, но рук не отмыл: для многих у него находилась грязная работа. Он отвечал за благополучие картеля, которое немыслимо без убийств и насилия. Обид Эскобар никогда не прощал, мстил кроваво и беспощадно.

1982 год выдался для агента УБН Эррола Чавеса беспокойным. После захвата кокаина с рейса ТАМПА его вашингтонские начальники призадумались и стали наконец считать наркотик на тонны. Контрабандист с грузом, зашитым в подкладку штанов, уходил в прошлое. Нынешние напоминали скорее международных предпринимателей, занятых большим бизнесом.

Как и прежде, мелкие перекупщики догружали свой кокаин в крупные партии Эскобара и Очоа, и те ревниво следили, чтобы никто не пускал наркотик в обход картеля. Они страховали малые грузы и никогда не отсылали партию, если на складах не имелось соответствующего количества кокаина — для замены в случае захвата партии. Изобретателям этой системы страхования агенты УБН придумали кличку Медельинские Ллойды. Торгуя через картель, мелкие дельцы не рисковали практически ничем.

Эррол Чавес понимал, что Эскобар, семейство Очоа и их приятели пытаются взять рынки сбыта в свои руки. Настоящий картель выбрасывает на рынок лишь столько продукта, сколько необходимо для сохранения высоких цен. И они получали баснословные прибыли. В феврале 1983 года килограмм кокаина в Медельине приобретался за 8000 долларов, а в Майами он шел за 42 000 долларов.

Кроме того, картель вел разработку нового продукта, возлагая на него большие надежды. В середине 1983 года Чавес сообщил, что 80% медельинских наркоманов переключились с кокаина на базуко — пригодную для курения разновидность коковой пасты, грозившую быстрым привыканием. Это повальное увлечение вызвало резкий скачок цен, и вскоре базуко стоило в Медельине дороже кокаина. В то же время цены на кокаин снизились до пяти тысяч — верный признак перепроизводства. Снизив цены, наркодельцы открыли новый, необъятный рынок сбыта: кокаин стал доступен простому люду. Это произошло и в Штатах, но несколько позже. Снижению цен на кокаин тут предшествовало появление другого кокаинового полуфабриката — крэка. Он чище, чем базуко, и чреват еще более быстрым привыканием. Новые наркотики и низкие цены на кокаин — результат деятельности Медельинского картеля, который в начале восьмидесятых годов перенасытил рынок. Летом 1983 года на любой улице Майами можно было достать чистейший кокаин по небывало низким ценам — всего 14 тысяч за килограмм.

8

ПОЛКОВНИК И ПОСОЛ

Белисарио Бетанкур Куартас победил на выборах в марте 1982 года и в августе занял президентское кресло — тогда же, когда Эскобар стал конгрессменом. Бетанкур — столп консервативной партии и будущий реформатор — первоочередной задачей правительства считал примирение с партизанами, коих в Колумбии насчитывалось великое множество. Затем он намеревался провести в стране серьезные экономические и социальные преобразования. Контрабанду наркотиков считал проблемой ничтожной и, если б не докучливые американцы, не занимался бы ею вовсе.

Для Медельинского картеля весть об избрании Бетанкура была доброй — во всяком случае, поначалу. Новый президент придерживался крайне националистических взглядов, горой стоял за Латинскую Америку и всячески сопротивлялся вмешательству администрации Рейгана в жизнь Центральной Америки. Он поэтому заявил, что «мировоззрение не позволяет» ему согласиться на выдачу преступников-колумбийцев Соединенным Штатам. А ведь в 1982 году лишь угроза выдачи как-то держала контрабандистов в узде. Двустороннее соглашение 1979 года между США и Колумбией к 1981 году было ратифицировано обеими сторонами. Но тогда на него мало кто обратил внимание. Новость даже не попала на первые страницы газет, точно не касалась Колумбии вовсе.

Однако к 1982 году кокаиновые короли смекнули, что соглашение касается их впрямую. Главная угроза таилась в статье 8: лица, занимающиеся контрабандой наркотиков, подлежат выдаче в США, даже если они никогда не покидали пределов Колумбии. Требовалось лишь доказать, что эти лица представляют опасность для США — то есть поставляют туда наркотик.

Статья 8 означала, что американские обвинители могли потребовать выдачи любого, кто так или иначе замешан в деле. И они рьяно принялись за работу. Лица вожаков наркобизнеса, таких как Карлос Ледер, замелькали под кричащими заголовками газет, а ведь они долгие годы сколачивали себе ширму добропорядочности. Соглашение о выдаче преступников было для наркодельцов точно крест для дьявольского отродья. Они его ненавидели и боялись.

«Мировоззренческое» нежелание Бетанкура выдавать преступников никак не было связано с его отношением к контрабанде как таковой, но зато было напрямую связано с его взглядами на национальный суверенитет. Впрочем, каковы бы ни были причины, результат оказался однозначным: Бетанкур не привел соглашение в действие. Зато его администрация совершила ряд мелких бюрократических перестановок, совокупный эффект которых окажется огромным. Главное же событие произошло в декабре 1982 года, когда на сравнительно новую должность начальника отдела национальной полиции по борьбе с наркотиками назначили полковника Хайме Рамиреса Гомеса.

Ему шел сорок второй год. Был он невысок (162,5 см), некрасив и совсем бы походил на гончего пса, если б не любил часто и много поесть. Еще он любил болтать, смеяться, рассказывать анекдоты и немилосердно подтрунивать над всеми подряд. Подростком он прекрасно играл в футбол — стоял на поле левым крайним, теперь же увлекался теннисом. Рамирес не без оснований гордился собой и своей работой. Он был выдающимся полицейским и цену себе знал. С его подачи выдвигались самые тяжкие обвинения, в делах фигурировало множество людей. Преступный мир Колумбии он знал как свои пять пальцев.

Он страстно любил факты: искал их, оценивал, накапливал и — в нужную минуту — использовал. Тут таился секрет его успеха. Он и людей «коллекционировал». Выяснив, что новый знакомец знает нечто, что интересует его, Рамиреса, он восклицал с горящими глазами: «Вы занимаетесь вертолетами? А я в этом деле полный профан! Прошу вас, расскажите поподробнее!» Он ловко, пятью-шестью вопросами выяснял, лжет осведомитель или нет. Подчиненные называли его «детектором лжи». Помощи он не гнушался и добивался ее напористо — и от американцев, и от колумбийцев. Джонни Фелпса потрясало умение Рамиреса склонять начальников на свою сторону или по-футбольному обходить их с фланга. Рамирес явно считал, что для него нет ничего невозможного. Фелпс и Рамирес сработались отлично.

На новом посту Рамирес безотлагательно начал действовать. Его кабинет находился под самой крышей нового здания Национальной полиции в Боготе. Тут, наверху, он перво-наперво занялся расширением отдела — от пятисот полицейских по стране до полутора тысяч. Набирая новых сотрудников для штаб-квартиры, Рамирес сам вел собеседования с претендентами-специалистами. Нещадно мучил их вопросами, стремясь с самого начала преградить путь коррупции. Словно подтверждая, что его опасения небеспочвенны, члены картеля неоднократно пытались его подкупить. Когда деньги не сработали, к Рамиресу стали подсылать красивых женщин, желавших поделиться своей «печальной историей только с ним и только наедине».

Рамирес вежливо усаживал гостью и, собрав на подмогу полный кабинет своих сотрудников, предлагал: «Говорите, ничего не бойтесь. Это мои друзья, у меня от них нет секретов».

Затем картель стал угрожать Рамиресу открыто, без экивоков. Хайме Рамирес получал по десять угроз в неделю. Некоторые его забавляли, над другими он порой размышлял. Но твердо верил, что разведывательная сеть непременно предупредит его о серьезном заговоре. И вел себя смело; пожалуй, чересчур смело.

В апреле 1983 года в Колумбию прибыл новый посол США, пятидесятипятилетний Льюис Тамз. Бог словно нарочно создал этого человека, чтобы подразнить церемонных, корректных колумбийцев. Специалист по истории Латинской Америки, в прошлом — профессор Аризонского университета, он жестко придерживался консервативного курса Рейгана и стремился обуздать коммунизм в Латинской Америке. Свое мнение высказывал не стесняясь и зачастую раздражал колумбийцев своим воинственным пылом, а сторонникам Тамза оставалось лишь кисло улыбаться.

Впрочем, ему все сходило с рук, поскольку Тамз безусловно был «симпатико», а это в Колумбии главное. Милый, дружелюбный и весьма представительный мужчина, заядлый курильщик, он любил рассказывать приключившиеся с ним смешные истории, а от нежелательных вопросов отделывался шутками. Бетанкуру Тамз нравился — несмотря на нелюбовь президента к политике Рейгана в Латинской Америке. Тамзу тоже нравился Бетанкур.

К своей деятельности посла Тамз относился крайне серьезно, а главный и единственный наказ, который он перед отъездом получил в Белом доме от советника по национальной безопасности Уильяма П. Кларка, звучал так: «Надо сделать в Колумбии все возможное, чтобы остановить ввоз наркотиков в Штаты».

Таков был наказ правительства, и, приехав в Боготу, Тамз, по его собственным словам, «крутил шарманку с двумя мелодиями: марихуана и марксизм, кокаин и коммунизм». Он давал пресс-конференции, говорил речи, ходил на приемы и приглашал к себе на tertulias — неофициальные сборища во внеслужебное время, на которых в Латинской Америке традиционно зиждется социальное общение. Он хотел заставить колумбийцев заняться наркодельцами вплотную. Тамз говорил: «Хотите навсегда остаться слаборазвитой страной? Наркотики помогут». Но пронять колумбийцев было трудно. Они не считали наркотики проблемой для страны.

Столь же безуспешны оказались попытки Тамза убедить правительство, что торговцы наркотиками и партизаны работают рука об руку, стремясь разрушить колумбийское общество. В 1983 году эта мысль казалась дикой — пустые бредни свирепого антикоммуниста.

Тамз, однако, располагал некоторыми фактами. В начале 1983 года агенты УБН получили информацию, что контрабандист с северного побережья купил у партизан партию марихуаны, расплатившись с ними оружием. Из колумбийских армейских кругов тоже поступали сведения, что партизаны промарксистски настроенных Революционных вооруженных сил Колумбии устроили учебный лагерь в восточных «льянос» — огромном пространстве саванн и тропических лесов, которое нашпиговано лабораториями по производству кокаина. Тамз выдумал новое слово «наркопартизан», но колумбийцы подняли его на смех. У них в голове не укладывалось, что марксизм-ленинизм может взять в союзники торговцев наркотиками.

К середине 1983 года Медельинскому картелю противостояло трое преданных этой борьбе людей: Тамз, Фелпс и Рамирес. И они готовились к бою. Однако им очень недоставало глашатая, политика с большим весом в обществе, который привлек бы

внимание колумбийцев к проблеме наркотиков, вселил бы тревогу в сердца людей. Тамз был хорошим оратором и умел убедить слушателей, но он — гринго. А Рамиресу как полицейскому не пристало делать политические заявления. Начать открытую войну с Медельинским картелем должен был политик-колумбиец.

Согласно правилам Бетанкур отдал несколько министерских постов оппозиции. В августе 1983 года он назначил министром юстиции сенатора от либеральной партии Родриго Лару Бонилью, тридцатипятилетнего красивого, обаятельного и весьма напористого деятеля, восходящее светило либералов. На его долю выпало расследовать серьезнейшее обвинение в адрес колумбийских политиков — обвинение во взяточничестве. Во время общенациональных выборов 1982 года кандидаты утверждали, что их соперники берут взятки у торговцев наркотиками. Таким путем они выбивали из седла конкурентов. Главной мишенью для подобных обвинений стали конгрессмен от Энвигадо Хайро Ортега и его дублер, кокаиновый король Пабло Эскобар.

Лара Бонилья, будучи честным человеком, возмущался ситуацией до глубины души. А будучи трезвым политиком, отлично знал, как на этом сыграть, как возглавить крестовый поход и стяжать лавры победителя. Не знал Лара Бонилья лишь силы Медельинского картеля. К 1983 году все уже поняли, что картель деньгами пробивает себе путь в коридоры власти. Но люди еще верили, что государственная власть на поверку окажется бесконечно сильнее кокаиновой.

Но они наивно просчитались. Политики давно и повсеместно заигрывали с контрабандистами, брали у них деньги, якобы не задумываясь, откуда эти деньги взялись. Впрочем, и они слабо представляли себе силу картеля. Все полагали, что картель покупает их благосклонность. А он покупал власть над страной.

Лара Бонилья, отчаянный политик-реформатор, по-детски безмятежно ступил в эти джунгли. И наркодельцы набросились на него, точно хищные звери.

9

КОНТРАБАНДНЫЕ ДЕНЬГИ

Конгрессмен Хайро Ортега начал свою речь медленно, тщательно подбирая точные слова. Он рад, что представилась возможность поговорить о «контрабандных деньгах», поскольку весьма обеспокоен «паутиной лицемерия», опутавшей правительство. «Не преследуя никаких личных целей», он хочет расставить точки над «*i*». Более того, он желает опровергнуть обвинение в своих мнимых связях с наркодельцами, к которым ошибочно относят его коллегу-конгрессмена от Энвигадо Пабло Эскобара. Голос Ортеги окреп, и уверенные слова полетели точно стрелы в министра юстиции Лару Бонилью и других членов правительства. Знакомо ли министру юстиции имя гражданина Эвариcто Порраса?

— Нет,— покачал головой министр,— не знакомо.

— Так вот,— продолжал Ортега,— Эвариcто Поррас отбыл срок в перуанской тюрьме за контрабанду наркотиков. А в апреле Поррас выписал чек на миллион песо (12 821 доллар) сенатору Ларе Бонилье на избирательную кампанию.— Ортега поднял фотокопию чека повыше.— Не стоит ли конгрессу задуматься, что связывает министра с этим человеком — признанным китом контрабанды — и откуда взялся миллион. Я отнюдь не намерен ставить министру юстиции палки в колеса и омрачать его блестящую политическую карьеру. Я лишь прошу его ответить, какой морали он потребует от нас, своих сограждан?

Лара Бонилья попал в крайне затруднительное положение. Об Эвариcто Поррасе он слышал впервые. О миллионном чеке тоже ведать не ведал. Это, однако, ничего не значило. Подобно прочим политикам он радостно принимал деньги на избирательную кампанию, не интересуясь их происхождением. Теперь же ему непременно надо было выиграть время, чтобы приготовиться к достойному отпору.

Он поднялся с места.

— Моя жизнь — открытая книга,— начал он. Лара Бонилья знал, что безгрешен, и верил — врагам не удастся его очернить.— Мораль, как видно, имеет разные обличья,— произнес Лара Бонилья, уставив на врагов обвиняющий перст. Непокорная прядь упала ему на лоб.— Одни стремятся замарать репутацию честных политиков чеками. А некоторые всю избирательную кампанию проводят на контрабандные деньги. Вы упомянули Пабло Эскобара? Так вот, нам неясно, каким образом удалось

ему сколотить «огромное состояние». Из доходов от велосипедного промысла и других «гениальных начинаний»? На эти доходы можно, по-вашему, купить «девять самолетов и три ангара в медельинском аэропорту»? А еще открыть кучу «благотворительных организаций», чтобы давать через них взятки?

Лара Бонилья бил в цель; то немногое, что он знал, превращалось в его устах в прямое обвинение. Впрочем, ни одного нового факта он конгрессу не сообщил. Послужной лист Эскобара был хорошо известен. Новой оказалась лишь невиданная смелость Лары Бонильи. Никто из колумбийских политиков доселе не отваживался говорить контрабандистам правду в глаза. И они даже не вполне успели подготовиться к обороне.

К середине 1983 года кокаиновые магнаты царили, ни от кого не таясь, и были поэтому достаточно уязвимы. Эскобар, Хорхе Очоа с чадами и домочадцами и Карлос Ледер заправляли наркобизнесом, признавая лишь свои собственные законы. Благодаря тугим кошелькам они позабыли, что есть в Колумбии и честные люди, которым их черные дела ненавистны.

Да и немудрено позабыть о миллионах соотечественников, если ты — Пабло Эскобар, «земляк Робин Гуд», если о твоих социальных прожектах вроде «Медельина без трущоб» непрерывно трезвонят газеты. К концу года первые двести бедняцких семей въедут в «Посёлок Пабло Эскобара». Ходят слухи, что состояние Эскобара оценивается в сумму от 2 до 5 миллиардов долларов. Для любого медельинца он — дон Пабло. Такому все с рук сойдет.

Эскобару даже удалось привлечь на свою сторону духовенство — Римскую католическую церковь. В 1983 году медельинские святые отцы, преподобные Элиас Лопера и Эрнан Куартас, сопровождали Эскобара в обществе, входили в совет директоров «бесструщобного Медельина» и от имени церкви благословляли Эскобара на все «добрые дела».

В нерабочее время Эскобар радушно принимал гостей в каком-нибудь из многочисленных поместий. Предпочитал он асьенду «Наполес», занимавшую почти 300 гектаров в Пуэрто-Триунфо, в ста тридцати километрах южнее Медельина. Эскобар украсил поместье искусственными озерами, проложил дороги, построил аэропорт. И выпустил на эти бескрайние просторы около двухсот редких животных со всех концов света — верблюдов, жирафов, бизона, лам, бегемотов, пару черных какаду — по 14 000 долларов каждый,— кенгуру, умевшего играть в футбол, и слона, запускавшего хобот в машины — за гостинцами. Въезд на асьенду «Наполес» представлял собою бетонные ворота, увенчанные моделью того самолета, который перевез первую эскобарову партию кокаина. А в главном доме, где размещалось на ночлег до сотни людей, были и биллиардные столы, и бассейн, и вурлицеровские музыкальные автоматы.

Семейство Очоа так не роскошествовало. Однако в Медельине они проживали в «Ла Лома» — великолепном особняке на вершине холма в южной части города. Въехавших по серпантину гостей встречал обыкновенно целый табун пони — питомцев старика Фабио. Они охотно принимали еду из чужих рук и благодарно сопели, точно доверчивые, веселые щенки. Старый Фабио с сыновьями — Хуаном Давидом и Хорхе — подолгу живали и на асьенде «Веракрус», разводили лошадей и ухаживали за животными в своем частном зоопарке. Еще Хорхе, развлечения ради, коллекционировал мотоциклы старых марок. Фабио-младший зачастил в Португалию, он мечтал о карьере тореадора. Вся семейка неизменно появлялась на медельинских конных выставках.

Карлос Ледер меж тем процветал в Армении. В середине 1983 года состоялось шумное открытие «Посада Алемана» — «Немецкого двора» — колоссального туристского центра с гостиницами, дискотеками, удобного для проведения конгрессов и съездов. Расположенный в 24 километрах к северу от города, комплекс начинался с монументального въезда в баварском стиле. Однако на остальной весьма немалой территории ничто уже не напоминало Германию: двухэтажные, крытые пальмовыми листьями, оштукатуренные дачки, рестораны и прочие постройки живописно раскинулись среди садов и вольеров с экзотическими птицами.

11 марта 1983 года Ледер основал Национальное латинское движение — новую политическую партию с ультранационалистическим уклоном, да еще с угрожающим

неонацистским душком. Своей основополагающей задачей партия считала расторжение американо-колумбийского соглашения о выдаче преступников. В это время США уже запросили Колумбию о выдаче Ледера, и предстояло заседание Верховного суда. Среди подлежащих выдаче посол Тамз называл Ледера фигурой номер один, именно им больше всего интересовались американские правоохранительные службы.

Ледер прекрасно сознавал угрозу. Его могли выслать не только из Колумбии, но из любой страны, у которой существовало со Штатами двустороннее соглашение о выдаче преступников. Еще в 1982 году Ледер заслал своих людей в госдепартамент США — прощупывать почву — и сам встречался с колумбийским агентом УБН. Предложил продать США Норманс-Кей за 5 миллионов, если они закроют дело. «Военная база вам не помешает»,— сказал тогда Ледер. Ему отказали.

Бесстыдство Ледера не знало границ. В конце июля он дал интервью для радио Боготы «Караколь», заявив, что купил «мои острова» на Багамах «более чем за миллион долларов», и с тех пор они верой и правдой «служат самым доходным колумбийским предприятиям». Не произнося вслух слова «кокаин», он признался, что ведает у друзей перевозкой товара. Арест и отсидка в американской тюрьме тоже объяснялись очень просто: он, Ледер, в юности верховодил среди латиноамериканцев всей округи, был вождем, защищавшим «свою расу, свои принципы, свое колумбийство». Теперь же он собирался стать сенатором, хотел «представлять в сенате людей, подлежащих высылке, представлять людей труда и беднейших из бедных. Утверждают, что я вступил в тайный сговор в ущерб США. Скажу больше: я намерен наносить им ущерб, пока не отменят закон о высылке».

Но бравада не принесла результатов. 2 сентября 1983 года Верховный суд решил дело в пользу США, признав Ледера подлежащим высылке. В Колумбии был подписан ордер на его арест. Но Ледер пронюхал о нем вовремя и скрылся. Тем не менее, одобрив приказ о выдаче Ледера, Лара Бонилья передал его на подпись Бетанкуру.

После памятного заседания конгресса, где Лару Бонилью пытались уличить в связях с контрабандистами, Эскобар мог ждать ответного удара в любую минуту. У Лары Бонильи оказалось неожиданно много помощников. Хайме Рамирес и Джонни Фелпс снабдили его всеми необходимыми фактами. Не отставала и пресса. 25 августа на первой странице столичной газеты «Эспектадор» («Наблюдатель») появился подробный отчет о провале группы Эскобара в 1976 году в Медельине, когда у них отобрали кокаин. На фотографиях — крупным планом лицо Эскобара. В последующих номерах газета описывала, как дело Эскобара пылилось по судам, как его посадили, но тут же выпустили и как — в конечном итоге — пропали все протоколы.

8 сентября некий любознательный судья из медельинского пригорода возобновил против Эскобара дело 1976 года по всей форме. 10 сентября сенатор Альберто Сантофимио вычеркнул Эскобара из списка своих сторонников и публично посоветовал ему отойти от политической деятельности и, не прикрываясь депутатской неприкосновенностью, предстать перед судом. Собственно лишь депутатская неприкосновенность, которой — согласно Конституции — пользуется любой колумбийский конгрессмен, и охраняла Эскобара от тюрьмы.

11 сентября Эскобар официально заявил о разрыве с Сантофимио. Он, Эскобар, всегда считал, что «лишь будучи членом правительства, человек может служить обществу наилучшим образом», потому-то он и занялся политикой. Теперь общество поворачивается к нему спиной. Что ж, за ним тоже дело не станет. Но из конгресса он не уйдет и от депутатской неприкосновенности не откажется — не дождетесь!

Двенадцать дней спустя медельинский судья, расследовавший дело 1976 года, отдал приказ об аресте Эскобара. Обвинение: вступление в заговор с целью убить агентов службы государственной безопасности, производивших его арест. Двоих убили в 1977 году. А третий — офицер, отвечавший за операцию,— был убит в 1981 году.

Теперь Лару Бонилью удерживал лишь сам президент Бетанкур и его нежелание выдавать контрабандистов американцам. Он так и не подписал ордер на арест Ледера — и не подпишет его еще много месяцев. Из президентского дворца недвусмысленно давали понять: колумбийцев выдавать не будем, ищите другие пути. Но Лара Бонилья гнул свою линию. 26 октября газеты припомнили Эскобару судебный приговор 1974 года за кражу автомашин. В середине октября конгресс решил обсудить вопрос о лишении Эскобара депутатской неприкосновенности. В интервью крупнейшей из колумбийских ежедневных газет «Тьемпо» («Время») Тамз вновь осудил «проникновение торговцев наркотиками в политику» и похвалил Лару Бонилью за борьбу с

коррупцией. «Если страной будут править преступники, в Колумбии не останется места для демократии».

Наконец, 17 ноября Колумбийский национальный институт по обновлению природных богатств оштрафовал Пабло Эскобара на 450 000 песо (5000 долларов) за незаконный ввоз в страну восьмидесяти редких животных, которых необходимо содержать в зоопарках. В списке были верблюды, слоны, лось и капибара из амазонских лесов.

Эта капля переполнила чашу. В январе 1984 года Эскобар послал Ортеге заявление об уходе с политической арены. «Политиков не интересует мнение народа и его чаянья». Лара Бонилья все-таки смог вселить страх в души кокаиновых воротил.

10
ПО СЛЕДУ ЭФИРА

9 февраля 1984 года в дискоклубе в горах над Медельином собрался весь картель. Один из основных майамских сбытчиков, принадлежавший к сети Очоа, праздновал рождение сына. Крестным отцом выступал сам Хорхе Очоа. Две тысячи гостей жевали перепелиные яйца в меду, пили шампанское «Дом Периньон» и, гуляя по зеленым склонам, смотрели вниз на распростертый под ногами город.

Празднество растянулось на неделю, и всю неделю главари картеля обсуждали насущные проблемы. Председательствовал на этих встречах Хорхе Очоа, но и Пабло Эскобар при необходимости вставлял свое веское слово. Говорили оба не повышая голоса и были неизменно предупредительны друг к другу. Такая манера вообще характерна для знатных «земляков», а кокаиновых королей отличала к тому же и природная осторожность. Оба обладали теперь безграничной властью, достаточной, чтобы убрать с пути любого неугодного человека. Вот и приходилось обдумывать каждое слово, каждый жест при общении с подчиненными. Недовольный взгляд хозяина, брошенный на кого-нибудь, для расторопных подручных был равнозначен смертному приговору, причем его тут же приводили в исполнение.

Дельцов, как всегда, волновало расширение рынков сбыта, они хотели увеличить количество маршрутов и пилотов. Заговорили и о других способах транспортировки груза — о сбрасывании контейнеров с воздуха, переброске на кораблях и подлодках. Картель имел огромные, неслыханные запасы кокаина. В сентябре в колумбийских льянос ввели в действие огромный лабораторный комплекс, и теперь там производилось до четырех тысяч килограммов наркотика в месяц. В лесах скопились многие тонны кокаина, и Очоа жаждал наладить их бесперебойный вывоз.

Он описал собравшимся колумбийское наркопроизводство — фабрики с непрерывным циклом и доселе неслыханной мощностью: из семидесяти тонн кокаина, ввозимых ежегодно в Соединенные Штаты, львиную долю — больше половины — поставляла Колумбия. Однако процесс изготовления кокаина непрост, даже в малых домашних лабораториях. А новый комплекс требовал бесперебойного снабжения и поглощал тонны и тонны сырья, важнейшим из которого является эфир.

Производство кокаина начинается на восточных склонах Анд, в Перу и Боливии. Испарения лесов амазонского бассейна поддерживают здесь необходимую температуру и влажность для выращивания коки.

Кокаин является алкалоидом, подобно кофеину, никотину, кодеину, морфину и героину. Это сложное психотропное вещество, выделяемое из листа коки, кусты которой достигают четырех с половиной метров в высоту. Собирают лист женщины и дети — в обычные мешки из рогожи. Целая семья, проработав с рассвета до заката, собирает двадцать пять килограммов сырого листа; после просушки на солнце этот вес сокращается до десяти килограммов.

В Боливии и Перу посадки коки вполне узаконены. Более двух тысячелетий индейцы жевали лист коки, чтобы защитить себя в Андах от голода и холода. К концу 1970 года кока, опередив олово, стала ведущим источником доходов в Боливии. А жители Перу зарабатывали на коке в четыре раза больше, чем на любой другой культуре.

Часть собранного листа коки законным путем превращают в медицинский кокаин применяемый для местной анестезии при некоторых хирургических вмешательствах В США лист отправляют в Мейвуд, штат Нью-Джерси, на предприятия компании «Степан кемикл». Там из него получают кокаин, который затем пересылают в другие фармацевтические фирмы. Выделенные в процессе производства побочные продукты отправляют в столицу штата Джорджия Атланту, поскольку они являются компонентом «Формулы 7» — секретного рецепта для изготовления кока-колы.

Кокаиновый «трубопровод» берет свое начало в лабораториях, разбросанных там и сям невдалеке от плантаций коки. Сюда и приносят собранный урожай. Сушеные листья обрабатывают щелочным раствором — извести или поташа,— в результате чего из листа выделяются четырнадцать алкалоидов. Один из них — кокаин. Следующие сутки лист вымачивают в чанах с керосином. Когда алкалоиды растворятся в керосине, мертвый уже лист вынимают, а в чан добавляют серной кислоты. Кислота, соединившись с алкалоидами, образует ряд солей, одна из которых — сульфат кокаина. Затем керосин откачивают и снова добавляют щелочной раствор, чтобы нейтрализовать кислоту. На дне чана оседает вязкое сероватое вещество. Это паста коки. Тысяча килограммов свежего листа дает всего десять килограммов пасты.

Производители пасты из Боливии и Перу обычно отсылают ее колумбийцам, которые производят дальнейшую очистку и превращают пасту в чистое кокаиновое основание, причем из двух с половиной килограммов получается один. Кокаиновое основание можно курить, вдыхать его нельзя. Чтобы получить пригодный для вдыхания кокаиновый порошок, основание растворяют в эфире с добавлением соляной кислоты и ацетона. Затем фильтруют, просушивают и получают гидрохлорид кокаина — белый порошок, регулярно потреблявшийся в 1984 году пятью миллионами американцев.

Для получения одного килограмма кокаина требуется семнадцать литров эфира.

Джонни Фелпсу все это было известно. А вскоре после приезда в Боготу в середине 1981 года он нашел в стопке прочих донесений записку, где говорилось, что кокаиновым воротилам приходится импортировать многие «ингредиенты» наркотика, включая эфир. Автор записки утверждал, что достаточно проверить грузовые таможенные декларации, и полиция легко выяснит, куда направляют ввозимый в Колумбию эфир. Ну а запретив ввоз эфира в страну, можно попросту оставить производителей кокаина без работы.

Для проверки этой идеи Фелпс попросил своих сотрудников проконтролировать импорт эфира. Масштабы ввоза могли свидетельствовать либо в пользу существования мелких, домашних лабораторий, либо... Партии кокаина, захваченные внутри страны, были сравнительно малы, но, быть может, УБН что-то проглядело? Поработав с осведомителями, прослушав ряд телефонных разговоров (с разрешения судебных властей), тайно посетив колумбийские химические предприятия, сотрудники Фелпса проанализировали данные за период с 1 января 1978 года по 30 июня 1981 года. Эти цифры стали настоящим открытием. За три с половиной года огромная сеть нелегальных импортеров получила четыре тысячи метрических тонн эфира, достаточных для производства не менее чем трехсот тонн кокаина. А УБН утверждало, что в 1981 году США потребили — ну самое большее! — сорок пять тонн.

Девяносто процентов эфира ввозилось из Штатов и Западной Германии. Поставщик из Филлипсбурга, штат Нью-Джерси, «Дж. Т. Бейкер кемикл сапплай компани» распределял эфир следующим образом: 758,8 тонн — незаконным и лишь 3,3 тонны — законным потребителям. «Дж. Т. Бейкер» — крупнейший поставщик эфира для колумбийской наркомафии»,— утверждалось в докладе.

Фелпс глазам своим не верил. Производство кокаина в Колумбии достигло размаха, которого никто доселе не представлял!

Вывод напрашивался сам. «Если УБН удастся своевременно и организованно остановить ввоз в страну необходимых для производства наркотика химических веществ, кокаиновые дельцы потерпят крах». В докладе рекомендовалось «воздействовать на поставщиков эфира, с тем чтобы они не принимали заказов от незаконных потребителей и информировали УБН обо всех подозрительных покупателях».

Собрав воедино все эти данные, Фелпс направил их правительствам обеих стран. Но штаб УБН в Вашингтоне еще отказывался считать кокаин на тонны.

Зато прокурор Колумбии генерал Карлос Хименес Гомес воспринял ситуацию совершенно иначе. Фелпс попросил его о встрече и лично сообщил ему все цифры и выводы. Хименес Гомес изучил их самым внимательным образом и, поразмыслив, ска-

зал Фелпсу: «Вы абсолютно правы». Хименес Гомес немедленно ограничил ввоз в страну эфира и ацетона, но производители кокаина могли продержаться какое-то время и на своих изрядных запасах. Оставалось ждать, когда запасы иссякнут.

22 ноября 1983 года в «Дж. Т. Бейкер кемикл сапплай компани» обратился колумбиец Франк Торрес. Он желал получить двести метрических тонн чистейшего этилового эфира. Расплатиться хотел наличными, вынув из кармана необходимые 400 тысяч долларов. Просил не указывать на барабанах название груза и готов был получить его в любой точке Соединенных Штатов. О дальнейшей транспортировке он позаботится сам.

Заказ Торреса был курьезен. За весь 1980 год Колумбия потребила лишь вдвое больше эфира! А легальные заказы не превышали обычно одной метрической тонны.

После ограничений, введенных Хименесом Гомесом, цены на эфир в Колумбии сильно возросли. На черном рынке барабан с эфиром стоил теперь 4800 долларов. Запасы эфира заметно истощались.

Много нового произошло за это время и в «Дж. Т. Бейкер». УБН представило компании результаты колумбийского обследования, и «Дж. Т. Бейкер» изменил свою привычную практику. Разумеется, никаких ограничений для продажи эфира в пределах Соединенных Штатов не существовало, но вместо того, чтобы незамедлительно оформить заказ Торреса, служащий компании позвонил в УБН. А Торресу сказал, что на оформление потребуется определенный срок.

Через неделю у Торреса неожиданно раздался междугородный звонок. Некий Мел Шабильон сообщил, что работает в чикагской компании «Норт централ индастриал кемиклз» (НЦИК), и предложил Торресу купить эфир у него — в неограниченном количестве. Шабильон якобы слышал, что «Дж. Т. Бейкер» задерживает поставки и решил помочь. Обрадованный Торрес тут же клюнул на удочку.

А закинули ее агенты УБН Шабильон и Фуллет, выдавшие себя за сотрудников чикагской НЦИК. В УБН над этим сокращением подшучивали бесконечно, поскольку так же сокращается и Национальный центр информации по криминалистике, отдел ФБР, где в памяти компьютера хранится вся информация о преступниках и преступлениях.

Спустя четыре дня после звонка Шабильона Торрес встретился с агентами в майамской гостинице «Рамада». Он сразу попросил триста барабанов эфира. А еще попросил сменить этикетки, чтобы на них значился не «эфир», а «этил формиат» и «этиленгликоль». На следующей неделе Торрес вылетел в Чикаго. Скрытые камеры заснял его за передачей из рук в руки пятнадцатитысячного аванса.

Следуя указаниям Торреса, компания отослала семьдесят шесть барабанов с эфиром в порт Нового Орлеана. Агенты УБН оснастили два барабана из этой партии радиосигнальными устройствами величиной с пачку сигарет, вместе с мощным блоком питания, рассчитанным на длительный срок. От эфира всю эту конструкцию отделяло фальшивое дно. По бокам барабанов тянулись тончайшие антенны. Раз в сутки на околоземной орбите спутники фиксировали сигнал, и в Управлении национальной безопасности узнавали точное местонахождение всей партии эфира, закупленной Торресом.

Первый сигнал пришел из Нового Орлеана. Два дня спустя — из окрестностей Барранкильи. Резидент УБН проверил полученные со спутников координаты. Они, как он и предполагал, указывали на асьенду «Веракрус», находившуюся в обширных владениях клана Очоа.

Торрес тем временем одумался. Был он семейным человеком, имел в Майами небольшую посредническую фирму и изрядно нервничал из-за колумбийских клиентов. Расшатанные нервы развязали ему язык. Он сообщил Шабильону и Фуллету, что не хочет больше заниматься куплей-продажей эфира, но его клиенты требуют, чтобы он поставил еще тысячу триста барабанов. Он заявил, что клиенты его — убийцы. Жизнь человеческую ни в грош не ставят. И Торрес посвятил агентов в тайны колумбийского наркобизнеса — со всеми подробностями.

К 5 марта эфир покинул асьенду «Веракрус» и был на самолете переброшен куда-то на юг. 6 марта сигнал поступил из восточных льянос — густых колумбийских лесов.

Джонни Фелпс подождал еще сутки в Боготе. Но эфир больше не двигался с ме-

ста. По всей видимости, партия достигла пункта назначения. И Фелпс решил действовать. Он отправился в полицейский штаб к Хайме Рамиресу.

— Мы считаем, что в джунглях есть огромная лаборатория,— заявил он.

— Шутишь? — не поверил Рамирес.— Где?

Подойдя к карте, Фелпс ткнул пальцем в отдаленные юго-восточные районы провинции Какета у слияния рек Яри и Месаи — в самые глухие дебри.

Рамирес взглянул на карту и, уже в который раз, задумался, откуда же эти агенты берут информацию? Никогда еще его люди не отправлялись искать лабораторию на краю света. На это потребуется уйма людей и сил. Самолеты, вертолеты, топливо... Пожалуй, пары дней на подготовку хватит, впрочем...

Он улыбнулся.

— Черт с тобой! Попытаем счастья!

11
ТРАНКИЛАНДИЯ

Рамирес действовал быстро. Получив разрешение на операцию, он подобрал людей в группу захвата и договорился с летчиками. Они собирались вылететь из Боготы с утра, преодолеть двести миль на юго-восток, заправиться на военной базе в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре и как можно скорее выйти на цель. Завидев над головой вертолеты, жители глухих районов сразу решат, что начались маневры. Поэтому нельзя было терять ни минуты. Иначе наркодельцы успеют предупредить всех своих людей, и — пиши пропало!

10 марта 1984 года в двадцать минут десятого подполковник Эрнесто Гилиберт Варгес, помощник командира соединения по борьбе с наркотиками, отдал своей группе приказ подняться на борт двух вертолетов «Белл-212» и самолета «Хавиланд-Твин-Оттер». Всего группа захвата насчитывала 42 бывалых солдата — из соединения по борьбе с наркотиками, а поддерживала их вооруженная группа колумбийской полиции. Почетным гостем в эту экспедицию пригласили Рона Петтинджила, агента УБН, проработавшего в Колумбии четыре года. Он был единственным гринго в группе захвата. Выбор Фелпса пал на Петтинджила, поскольку он много раз летал над льянос, высматривая плантации коки; кроме того, он умел обращаться с портативной видеокамерой, то есть мог заснять рейд.

Было уже далеко за полдень, и у вертолетов снова кончалось топливо. Петтинджил летел в «Твин-Оттер». Самолет замыкал рейд и держался на приличной высоте — вне зоны обстрела с земли. А вертолеты шли ниже, почти касаясь деревьев.

Наконец они обнаружили полосу, заваленную канистрами из-под бензина и сушняком. Петтинджил успел рассмотреть дымки от одиночных прицельных выстрелов, но они быстро рассеялись. Все же производителей кокаина удалось застать врасплох. Рамирес и Фелпс сразу отметили это, приняв первое радиодонесение в кабинете Рамиреса в Боготе.

Вертолеты прочесали местность, все сужая и сужая круги над посадочной полосой, а затем, резко устремившись вниз, коснулись колесами земли. Полицейские в маскхалатах, с автоматами, рассыпались веером, охраняя вертолеты. Все ждали: вот-вот начнется перестрелка. Но было тихо. Можно и осмотреться.

А посмотреть было на что. Во-первых, вокруг оказались люди, человек сорок пять — в основном мужчины неопределенного возраста, но попадались и женщины. Все в лохмотьях, безоружные. Некоторые рванулись было в лес, но большинство стояли, переминаясь с ноги на ногу. Они ждали. Согнав людей в кучу, полицейские стали спрашивать, кто они и откуда. Пленники оказались неразговорчивы, но многого и не требовалось. С одного-двух слов стало ясно, что это в основном антьокцы, которых картель подобрал в трущобах северного Медельина и нанял на тяжелые работы.

Полицейские велели пленникам расчистить полосу, и вскоре смог приземлиться и самолет. Вертолеты, заправившись, улетели на разведку. Надо быть начеку: вдруг снайперы вернутся?

К западу от полосы стояли десять больших навесов с деревянными поднятыми над землей полами и цинковыми крышами. У нескольких имелись и стены из дранки, другие стояли открытыми. В трех, похоже, располагались какие-то служебные помещения, в одном была спальня с нарами на сотню человек. Дальше, за полосой, вид-

нелись еще навесы; под одним разместилась современная, хорошо оснащенная лаборатория по производству кокаина. На восточной оконечности дорожки стояли четыре самолетика, возле лаборатории — вертолет.

Петтинджил снимал без остановки. Полицейские продвигались в глубь лагеря, и радость их нарастала. Найдена не просто «главная лаборатория», а настоящая фабрика с полным циклом производства кокаина. Она кормила и одевала около ста человек. Тут были генераторы, души, промывочные и сушильные машины. Неподалеку от полосы полицейские насчитали 305 барабанов с ацетоном, 363 — с эфиром, 482 канистры красного бензина, 133 канистры авиационного топлива... Короче, огромные запасы сырья. Вскоре стало ясно и для чего они предназначены. Согласно журналу полетов, брошенному у полосы, с декабря 1983 по февраль 1984 года аэропорт получил 15 539 метрических тонн кокаиновой пасты и основания. А потом обнаружился и кокаин. Петтинджил запечатлел его под навесами около лаборатории. Около ста больших полиэтиленовых мешков для мусора стояли открытыми, их до краев заполняла полужидкая вязкая масса гидрохлорида кокаина, а сверху висело тошнотворно-сладкое облачко эфирных испарений. «Невероятно! — думал Петтинджил.— Лаборатория-исполин!»

Гилиберт сообщил Рамиресу в Боготу о своих находках. И, высказав опасение, что снайперы вот-вот вернутся, попросил прислать людей на помощь, да побыстрее. Вертолетчики нашли в лесу еще несколько посадочных полос, но невозможно было обследовать их с неприкрытым тылом. Кстати, Рамирес знает, как называется кокаиновый лагерь? Транкиландия — Тихая деревня.

На следующий день в Боготе перед домом Франсиско Рамиреса, который доводился Хайме Рамиресу младшим братом, остановилась машина. Из нее вышли четверо и позвонили в дверь. Франсиско, сам в прошлом полицейский, не впустив чужаков в дом, выслушал их прямо на улице. Держались они вежливо, говорили тихо. Пабло Эскобар просит Франсиско передать брату, что «его ожидают четыреста тысяч долларов, если он остановится».

— Мы положим их в любой банк, в Панаме, в Штатах — куда он пожелает.

— Я передам.

Франсиско немедленно позвонил Хайме.

— Не связывайся,— велел Хайме.— И вообще, лучше тебе на время потеряться. Всё это очень опасно.

И уже на следующий день Франсиско понял почему. Колумбийское телевидение транслировало, как его брат, две роты прикрытия и добрая половина журналистов страны осматривают крупнейшую в истории партию кокаина. Столько наркотика никто из них никогда не видел.

Рамирес прибыл в Транкиландию с подкреплением 12 марта и взял руководство операцией в свои руки. Ему доложили о существовании другой посадочной полосы в шестнадцати милях к северу. И наутро еще затемно Рамирес перебросил туда вертолеты. Рабочие сбежали, побросав все — полиэтиленовые мешки, спиртное, бумагу, пробирки, пипетки, термометры, кровати, матрасы, еду, лодки, пилы и все оборудование. Они оставили целую тонну кокаина в пятидесяти громадных керамических кувшинах.

Во втором лагере было двадцать навесов и назывался он Кокаландия. Пройдя по тропинке, оперативная группа нашла и третий лагерь — Кокаландию-2 — точный слепок с Кокаландии-1. Здесь обнаружили сто сорок ведер с кокаином — то есть еще пятьсот килограммов. Кокаин перенесли под навесы, к матрасам и оборудованию, и — спалили все дотла. В четвертом лагере, отделенном от Транкиландии рекой Месаи, полиция нашла четыре метрических тонны кокаина, это был самый крупный из найденных тайников. Его тоже сожгли.

Все были в восторге.

— Уму непостижимо! — кричал Петтинджил по радио своим непосредственным начальникам.— Мы тут что ни день, то новую лабораторию с лица земли стираем!

17 марта солдаты наткнулись на базовый партизанский лагерь, принадлежавший Революционным вооруженным силам Колумбии (РВСК). Здесь, как и в кокаиновых

лагерях, имелись спальный корпус, кухня и пункт связи. Солдаты изъяли у партизан различное оружие, горы марксистско-ленинской литературы и портновские заготовки: рулоны сине-зеленой материи для формы и треугольные нашивки с желтым тиснением «РВСК». Очевидно, партизаны охраняли кокаиновое производство. Похоже, подтвердились давние предположения военных (а заодно и американского посла Тамза) о связи партизан с наркобизнесом.

За полмесяца 13,8 метрических тонн кокаина обратились в дым, а с ними четырнадцать лабораторий и лагерей, семь самолетов и 11 800 барабанов с эфиром и другими химикалиями. В интервью Джонни Фелпс назвал Транкиландию «заповедником кокаиновой индустрии». Колумбийские власти подсчитали, что за два года эти лаборатории принесли кокаиновым воротилам двенадцать миллиардов чистого дохода. Уничтоженные лагеря, вместе с сожженным кокаином, стоили в десять раз меньше.

Для Фелпса и Рамиреса проведенный рейд означал, что картель больше не собирает грузы «с миру по нитке» — из маленьких домашних лабораторий. Фелпс никогда прежде не видывал таких фабрик, как в Транкиландии, и никто в колумбийской службе безопасности не подозревал об их существовании.

Но одновременно существование Транкиландии бросало правительству некий вызов. Если возможно отгрохать одну фабрику — за остальными дело не станет. Может, их десятки или сотни? Рамирес решил во что бы то ни стало найти все до единой. А Фелпс позаботился, чтобы Рамирес получил снаряжение и необходимые деньги от правительства США. Удачный рейд в Транкиландию сразу расстегнул американские кошельки.

Рамирес стал отныне лучшим полицейским Колумбии; более захватывающего зрелища, чем разгром кокаиновых лабораторий, его соотечественники не видели никогда. Рейд сделал ему карьеру. Рамирес любил славу, ему нравилось быть в центре внимания, и он твердо решил стать в один прекрасный день шефом колумбийской полиции. Однако на лаврах он почивать не собирался. Он был в первую очередь охотником. Им овладела жажда новых побед. Он бросил наркодельцов в нокдаун. Теперь пришла пора добить их окончательно.

В Транкиландии полно антьокцев, значит, без Медельинского картеля тут не обошлось. Да и попытки Эскобара остановить Рамиреса явно свидетельствуют, что у него рыльце в пушку. А участие клана Очоа доказано неоспоримо: ведь самолет с эфиром приземлился на асьенде «Веракрус». Самым большим откровением было для полиции участие кокаинового дельца из Боготы Хосе Гонсало Родригеса Гачи. Он оказался совладельцем лабораторий, найденных в джунглях. Тридцатишестилетний Родригес Гача никогда не считался птицей высокого полета. Приземистый, полноватый (рост 165 см), он был известен под кличкой Мексиканец, поскольку питал особую слабость ко всему мексиканскому.

Первой уликой против Мексиканца был разбитый самолет, обнаруженный на одной из посадочных полос в лесных дебрях. Владельцем самолета был Хусто Пастор Родригес Гача, брат Мексиканца. Следующий сигнал поступил от шефа полиции из Летиции, городка на Амазонке, где картель перекупал лист коки у перуанцев. В Летиции прошел слух, будто Родригес Гача полностью обанкротился в результате Транкиландского рейда. Оказывается, еще с середины декабря 1983 года он начал перебрасывать пасту и кокаиновое основание из Перу на реку Яри и вложил в лаборатории колоссальные средства. Финансовый крах Родригеса Гачи явно подтверждал, что он — партнер Медельинского картеля.

Накануне рейда цена килограмма кокаина в Майами при оптовых закупках составляла 14 тысяч долларов. После рейда она мгновенно подскочила, впервые за последние три года обнаружился кокаиновый дефицит. И борцы с наркотиками вздохнули: рейд нанес картелю несомненный ущерб. Но что намерены предпринять кокаиновые магнаты?

12
БЕЛЫЙ «МЕРСЕДЕС»

Нервы министра юстиции Лары Бонильи были на пределе. Картель постоянно терроризировал его близких, и напряжение сказывалось на главе семьи.

Вступив в должность министра, Лара Бонилья вскоре с головой ушел в схватку

с наркомафией, его подстегивало гнусное обвинение во взятках, предъявленное ему Пабло Эскобаром. С того памятного заседания конгресса скандальные публикации о делах картеля заполонили прессу, теле- и радиожурналисты приправляли их смачными деталями — все с ведома и благословения министра юстиции.

Результаты кампании превзошли все ожидания. Карлос Ледер ушел в подполье, а на столе президента Бетанкура ждал подписи приказ о выдаче Ледера американцам. Лара Бонилья лишил весь клан Очоа летных прав, а ведь они владели целой эскадрильей небольших самолетов. В начале 1984 года Лара Бонилья — с подачи полковника Хаймс Рамиреса — уличил тридцать политиков в использовании наркоденег для предвыборной борьбы.

Больше всех от карающей десницы министра пострадал Пабло Эскобар. Благодаря разоблачениям Лары Бонильи его с позором выдворили из конгресса, и теперь газеты пестрели унизительными публикациями о его небезгрешном прошлом. Попытки продвинуться на политической арене пришлось оставить навсегда.

Но сдался Эскобар не без боя. Тихо переждав первую волну общественного гнева, он снова взялся за оружие. В феврале 1984 года, когда суд аннулировал ордер на его арест, Эскобар потребовал от правительства отмены соглашения о выдаче преступников. Он заявил, что в противном случае они с Ледером закроют полторы тысячи предприятий, оставив без работы более двадцати тысяч жителей страны. А выступая на политическом митинге, он назвал Лару Бонилью «подсадной уткой американского империализма». Эскобар также обратился с открытым письмом к послу США Тамзу, где отрицал свою причастность к кокаиновым лабораториям, осуждал соглашение о выдаче преступников и характеризовал Лару Бонилью как «представителя вашего правительства в колумбийском кабинете».

Эта последняя фраза показалась Джонни Фелпсу очень точной. Он безмерно уважал Лару Бонилью и восхищался им; презрение же Фелпса к колумбийскому правительству росло день от дня. Для выдачи преступников президент Бетанкур не предпринимал практически ничего и весьма слабо выражал солидарность со взглядами и борьбой Лары Бонильи. Теперь же он сидел сложа руки и спокойно наблюдал, как крупнейший в мире наркоделец, отъявленный убийца, оскорбляет министра юстиции.

Фелпс был прежде всего полицейским. И умел рисковать — такая работа. Однако он очень тревожился за Лару Бонилью. Министр явно не знал всей подноготной наркомахинаций, не имел поддержки сверху и слабо представлял силы своих противников.

В августе 1983 года колумбийская полицейская разведка предотвратила первое покушение на жизнь Лары Бонильи, организованное из Медельина. После раскрытия заговора Тамз и Фелпс посетили Лару Бонилью в министерстве юстиции.

— Вам надо держаться осмотрительней,— посоветовал Тамз, и предложил ему свой собственный бронежилет. Поблагодарив обоих американцев, Лара Бонилья посмеялся над их опасениями. Выйдя от министра, Тамз отдал бронежилет Фелпсу:

— Держите! И всучите ему непременно!

Фелпс передал жилет Ларе Бонилье, а вот заставить носить — так и не смог.

В другой раз, зайдя вместе с Тамзом к министру, Фелпс сообщил ему, что УБН обнаружило утечку информации в его собственном министерстве: сотрудники поставляли сведения наркодельцам. И снова Лара Бонилья не воспринял угрозу всерьез. Фелпс сказал Тамзу:

— Он еще не верит — не дозрел.

Вскоре после разгрома Транкиландии в Медельине у киоска с прохладительными напитками под названием «Пальчики оближешь» собралась группа наркодельцов. Они задумали убить Лару Бонилью и теперь обсуждали план. За его осуществление им предстояло выложить — вместе с авансом — пятьдесят миллионов песо (521 000 долларов). Осведомитель УБН позже сообщит, что приказ об убийстве отдал сам Пабло Эскобар. Исполнение задуманного взяла на себя одна из медельинских шаек наемных убийц — «кеситос». Непосредственным исполнителем выбрали Карлоса Марио. Этому нервозному бродяге шел тридцать второй год, и на его счету было пятнадцать арестов за убийства, грабежи и вооруженные нападения. За руль посадили молодого паренька Байрона Веласкеса, выкормыша Пабло Эскобара.

30 апреля 1984 года Тамзу позвонил взволнованный Лара Бонилья. Поток угроз в его адрес нарастал, и министр юстиции все больше тревожился за свою семью. Однако в тот день у него были хорошие вести: министерство иностранных дел предложило ему уехать послом Колумбии в Чехословакию.

Тамз обрадовался:

— Уж там-то вы будете в безопасности. Все террористы останутся здесь, в правительстве.

К сожалению, продолжал Лара Бонилья, чехи дадут разрешение не раньше, чем через месяц, и на этот срок ему с семьей надо бы где-то укрыться. Быть может, Тамз поможет?

И Тамз, разумеется, помог. Запросив по телефону Белый дом, он попросил подыскать что-нибудь подходящее. Убежище нашлось в Техасе. Все выяснив, Тамз отправился на торжественный прием, а помощнику своему велел передать Ларе Бонилье о техасском варианте.

В тот же день в семь часов вечера Байрон Веласкес и Карлос Марио на мотоцикле, обвешанные гранатами, с МАК-10 наперевес слились с потоком машин, высматривая белый «мерседес-бенц». Уже совсем вечерело, когда они обнаружили машину. Улицы были запружены транспортом, но Веласкес и Карлос Марио на новом юрком мотоцикле «Ямаха» смело ныряли в самую гущу. Наконец Веласкес на полной скорости врезался в мерседес, несколько помяв ему правое заднее крыло.

Убийцы даже успели тщательно прицелиться. Выхватив МАК-10, Карлос Марио навел автомат на смутно видневшуюся на заднем сиденье фигуру и, нажав гашетку, за две секунды выпустил всю обойму.

30 апреля 1984 года, в 19.40, в клинике Шайо констатировали смерть Родриго Лары Бонильи. Три пули 45-го калибра угодили ему в голову, две — в грудь, одна — в шею и одна — в руку. Бронежилет Льюиса Тамза валялся на заднем сиденье. Да он бы и не помог.

После нападения на Лару Бонилью машина сопровождения устремилась в погоню за преступниками. Удачным выстрелом охранник повредил им топливный бак — мотоцикл вспыхнул и, потеряв управление, вылетел на тротуар. Байрон Веласкес, оглушенный, с простреленной рукой, был немедленно арестован. Труп Карлоса Марио остался на улице, пулеметная очередь охраны практически снесла ему голову.

Белисарио Бетанкур и кабинет министров в полном составе побывали в клинике Шайо вскоре после убийства. Затем они уединились в президентском дворце в Нариньо. Министры были в ужасе. Разгневанный президент сохранял присутствие духа. Уже заполночь 1 мая он подписал Указ об объявлении в стране осадного положения, пообещав «спасти национальную гордость колумбийцев». В какой-то момент во время заседания он решительно заявил:

— Выдадим их Америке.

Тысячи людей прошли в ротонде Капитолия мимо закрытого гроба Лары Бонильи, тысячи колумбийцев сказали ему последнее «прости». Солнечным утром 2 мая почетный военный эскорт проводил гроб через Плаца Боливар к Национальному собору. Площадь была запружена плачущими людьми — богачами и бедняками, без различия,— их душили гнев и ярость. Слышались выкрики:

— Мы любим тебя, Родриго!

— Venganza! (Отмщения!)

— Justicia! (Справедливости!)

Президент Бетанкур произнес надгробную речь. Он отнюдь не собирался успокаивать своих сограждан.

— Пришла пора задуматься — кто мы такие. Что есть нация и что есть гражданин! Остановитесь, враги человечества!.. Колумбия выдаст всех преступников, они должны быть примерно наказаны!

Толпа рукоплескала президенту.

Шесть дней спустя, 8 мая 1984 года, Бетанкур подписал приказ о выдаче Карлоса Ледера.

13

БЕРРИ СИЛ

Через месяц после падения Транкиландии у колумбийского побережья появилась двухмоторная «Сессна-титан-404», приобретенная в Майами для Хорхе Очоа. В Колумбию самолет перегоняли два летчика: приятель Очоа из Гондураса и второй пилот, Эллис Маккензи. Оба страшно устали. В два часа пополуночи они вылетели с одного из южных Багамских островов в надежде, что в столь ранний час встреча с ВВС Колумбии маловероятна.

— Ранчо Хорхе Очоа как раз под нами,— сказал гондурасец Феликс Диксон Бейтс, работавший прежде на коммерческих авиалиниях.— Хочешь взглянуть?

— Конечно,— ответил Маккензи.

«Титан» облетел вокруг асьенды «Веракрус», и летчики помахали кому-то на земле. Но приземлился самолет не здесь, а южнее, в окрестностях Медельина. Там их встретили на машине и отвезли по горному серпантину еще южнее — в «Ла Лому», где проживало семейство Очоа.

В гостиной их ждали Хорхе Очоа, Фабио Очоа, Пабло Корреа Арройаве — зять Хорхе — и Пабло Эскобар. Председательствовал на сборище Хорхе Очоа. Маккензи испанского не знал, и Бейтс переводил. Сначала Очоа обменялся любезностями с Маккензи, даже вспомнил, что говорил с ним как-то по телефону.

— Рад с вами познакомиться,— сказал Маккензи.

Маккензи выполнял боевое задание. Собственно, заданий у него было два, но узнай колумбийцы о втором, они прикончили бы его на месте. По-настоящему летчика звали вовсе не Эллис Маккензи, а Адлер Берриман Сил, и был он осведомителем УБН.

Родился и вырос Берри Сил в городе Батон-Руж в Луизиане. Это был человек-гора: весил около 135 килограммов. Берри Сил считал, что он умнее всех на свете, и глядел на всех свысока. Не курил, не пил. У него было две страсти — небо и женщины.

Люди, знавшие толк в летном деле, считали его лучшим в мире пилотом. Когда ему было всего двадцать шесть лет, он уже ходил в рейсы самостоятельно — самый молодой пилот за всю историю «Трансуорлд эйрлайнз». Но потом Силу наскучили коммерческие рейсы. Ему, прирожденному лидеру и чертовски обаятельному мужчине, хотелось рисковать. И он нашел себя в контрабанде. В 1972 году, в возрасте тридцати двух лет, Сил попался на новоорлеанской таможне за попытку провоза семи тонн пластиковых взрывателей в Мексику — для кубинцев, вознамерившихся свергнуть Кастро. Сила отпустили подобру-поздорову, но газетная шумиха стоила ему места в авиакомпании.

И стал Сил «воздушным купцом», как называют обычно контрабандистов, промышляющих всем подряд. В 1976 году, взявшись за марихуану, Сил зачастил в Центральную и Южную Америку. В 1979 году провел восемь месяцев в гондурасской тюрьме за нелегальное хранение пистолета в кабине самолета. На обратном пути он повстречал контрабандиста Уильяма Роджера Ривза, который поведал Силу, что работает на медельинское семейство Очоа. И с 1981 года Сил тоже начал возить для них кокаин. Связь он держал с майамским сбытчиком по кличке Лито. Настоящего имени Лито никто не знал.

В ту пору Сил превратился в настоящего гения контрабанды. Чтобы не повторять чужих ошибок, он внимательно изучал судебные отчеты о крупных контрабандных делах. Даже судебные заседания посещал — учился, точно прилежный студент, как губка все впитывал. И отработал собственную систему безукоризненно. Покидал Луизиану и возвращался только по ночам. Летал, как и прочие контрабандисты, без сигнальных огней. Он и его летчики пользовались специальными приборами ночного видения, которые аккумулировали и в пятьдесят тысяч раз усиливали звездный и лунный свет. Над Колумбией его самолеты летали в так называемые «окна»: ВВС получали двадцатипятитысячные взятки, чтобы какую-то часть ночи они смотрели «в другую сторону». А войдя в воздушное пространство США, люди Сила сбрасывали скорость до 220 км/ч и снижались до полутора километров. Тогда на экранах радаров их самолеты походили на вертолеты, которые возвращаются с нефтяных скважин в Мексиканском заливе.

Затем, следуя указаниям радиолокационного маяка, самолеты Сила устремлялись над сетью проток и рукавов Миссисипи в глубь Луизианы, и там брезентовые

мешки с кокаином спускали на парашютах в болото. Затем их втаскивали на борт специальных вертолетов и отправляли на разгрузку. Майамским сбытчикам кокаин переправляли на автомобилях. В 1982—1983 годах Сил привез в Соединенные Штаты более пяти тонн кокаина и доход его составил двадцать пять миллионов. Все луизианские наркодельцы считали его главным контрабандистом штата.

Полицейские агенты, следившие за Силом, видели, как он беседует сразу по двум телефонам-автоматам, в небольшом зеленом полотняном мешочке были наготове сотни монет. С Колумбией он говорил специальным кодовым языком. Постоянное состязание с полицией его воодушевляло. Однажды, столкнувшись на улице Батон-Ружа с полицейским агентом штата Луизиана, Сил воскликнул:

— Никогда меня не поймаешь, идиот безмозглый!

Но Берри Сила все-таки поймали, правда, не в Луизиане, а во Флориде. И не потребовалось для этого сложной, продуманной слежки — показания осведомителя да подслушанные телефонные разговоры сделали свое дело.

В марте 1983 года Большой федеральный суд присяжных в Форт-Лодердейле обвинил Берри Сила в нелегальном ввозе двухсот тысяч Quaaludes из Южной Америки. Фамилия Сила попала в газеты, но набрана была мелким шрифтом — в столбце значилось еще семьдесят пять фамилий. Он был занесен в список как «Адлер (Берри Сил, Билл Элдерс, Толстяк) Сил». Как бы то ни было, легенда его осталась чистой: для Очоа он по-прежнему был Эллисом Маккензи. Имен Берри или Адлер Сил в Колумбии не знали.

Сил добровольно сдался и вышел под залог в двести пятьдесят тысяч долларов. Но суд грозил ему большим тюремным сроком. И Сил незамедлительно попытался сговориться с властями. Сил предложил, что он «перекрасится» — то есть станет тайным осведомителем. Он наобещал с три короба, обещал столько кокаина, что им не снилось. Откуда? Не уточнял. Прокурор отверг предложение Сила.

Все это время Сил по-прежнему держал связь с Лито и даже сделал для Очоа три кокаиновых рейса, пока гулял — под залог — на свободе. Но суд приближался, и Сил, позабыв о контрабанде, стал готовиться к защите, он всячески старался утаить свои проблемы от колумбийцев. Однако это было не так уж просто. С одной стороны, Лито беспокоился, поскольку Маккензи привозил слишком мало наркотика. Вот, к примеру, брат Лито привез три тонны зараз. Почему бы Маккензи не попробовать?

Сил был потрясен, узнав, что для самолетов Очоа такие рейсы вполне обычны. Расспросил подробнее. Лито поинтересовался, хочет ли Сил попробовать сам.

— Хочу,— ответил Сил,— надо только самолет подыскать.

В феврале 1984 года Сил предстал перед судом в Форт-Лодердейле по обвинению в контрабанде и был признан виновным. Ему грозили десять лет тюрьмы. Норман С. Рётгер, окружной судья Южной Флориды, мягкотелостью не отличался и приговоры выносил суровые. К тому же Силу предстоял второй суд — по обвинениям, возникшим в ходе разбора первого дела. И к его десяти годам могли прибавить еще сорок семь. Однако Сил, несмотря ни на что, продолжал готовиться к переброске трехтонного груза для клана Очоа. 9 марта он приобрел двухмоторный «Локхид-Лоудстар» — модификацию истребителя времен второй мировой войны, грозы подводных лодок. На борт он мог принять значительно больше трех тонн. Но на следующий день, 10 марта, полиция разгромила Транкиландию, и полет Сила был отложен до лучших времен.

Сил отчаянно хотел прийти к полюбовному соглашению с властями. А когда его дела приняли совсем дурной оборот, он решился на дерзкую аферу. Вышел на агентов УБН и сообщил им, что готов заключить с Очоа сделку на три с половиной тонны и доставить их УБН в два приема — в целости и сохранности. Сперва ему не поверили. Сил предлагал — ни много ни мало — удвоить рекорд ТАМПА. Но Сил умел убеждать. По его словам, операция уже на мази. Редчайшая возможность для УБН. И агенты решили рискнуть.

28 марта Сил подписал соглашение о сотрудничестве с УБН. Ему не обещали ничего, но обе стороны прекрасно понимали: доставит Сил груз — ему значительно сократят срок.

И четыре дня спустя под именем Эллиса Маккензи Сил встретился в «Ла Лома» с Хорхе Очоа. Впервые осведомитель УБН переступил порог святая святых Медельинского картеля. Гондурасец Феликс Бейтс перевел ему слова Очоа: «Запас кокаина

для отправки в Штаты неиссякаем». Впрочем, Очоа сталкивался и с определенными сложностями. Из каждых трехсот килограммов, пересылаемых ежедневно через Багамы, половина попадала в руки полиции. Но и это пустяк по сравнению с катастрофой в Транкиландии.

Пабло Корреа Арройаве рассказал, что рейд в льянос открыл для полиции имена многих членов картеля.

— Теперь нам придется туго. Они зацепились за большую лабораторию мистера Ледера.

Силу, как и любому летчику-контрабандисту, имя Ледера было знакомо. Корреа поведал Силу, что Ледер спрятал кокаиновые запасы картеля в подземных бункерах по всей Колумбии. Рейд в Транкиландию и дальнейшее правительственное расследование вынудили картель перенести лаборатории в другое место. На этих словах наркодельцы перешли на шепот. Картель заключил сделку с несколькими министрами в сандинистском правительстве Никарагуа. Сандинисты помогают Очоа в строительстве взлетно-посадочной полосы для дозаправки самолетов в Никарагуа. Это означало, что при перелете из Колумбии в Штаты на борт можно будет взять меньше топлива и больше кокаина. С Бейтса и Сила взяли кровавую клятву, что никогда, ни при каких обстоятельствах не произнесут они слово «Никарагуа». Пусть считается, что перевалочный пункт находится в Коста-Рике.

Сил немало удивился, что Очоа сотрудничает с коммунистами.

— Мы не коммунисты, Боже упаси! — пояснил главарь картеля.— Но они нужны нам, а мы — им.

— Американца-то они вряд ли примут с распростертыми объятиями,— все еще сомневался Сил.

— Тебе не о чем беспокоиться,— услышал он в ответ.

Очоа вкратце обрисовал грядущую операцию: в ближайшие дни Сил приземлится на полосе к северу от Медельина, заберет первые полторы тонны и переправит в Штаты. Половина уйдет в Майами, половина — в Лос-Анджелес. Клан Очоа намеревался подкопить коканн в Лос-Анджелесе: во время летней Олимпиады 1984 года спрос резко возрастет. Вернувшись в Никарагуа, Сил и Бейтс будут дожидаться, пока картель соберет вторую партию груза.

Неделю спустя Сил встретился с Лито в майамском «Мире машин» — роскошном автосалоне, которым Лито владел на пару с Пабло Эскобаром. Лито сообщил, что через салон еженедельно проходят полутонные грузы наркотика для сети Пабло Эскобара. Он рассказал также, что Очоа потерял на Багамах шесть самолетов буквально за два дня и теперь тщательно проверяет своих майамских сбытчиков. Непосредственно проверяет людей венесуэлец Лизардо Маркес Перес — бывший военный моряк. На родине его ждала тюрьма за контрабанду кокаина (667 кг) и за участие в попытке совершить государственный переворот. Очоа почитали Маркеса светлой головой и величали Профессором.

Встретившись с Силом в середине апреля, Маркес сообщил, что картель недоволен недобросовестностью Лито. Он и его люди болтают с домашних телефонов вместо телефонов-автоматов. Для всех сбытчиков в Южной Флориде Маркес приобрел сигнальные устройства с кодом и составлял теперь пособие по «технике безопасности». В тот же вечер, благодаря Берри Силу, в УБН узнали кодовый сигнал самого Маркеса.

Прибыв в Панаму на деловую встречу с Хорхе Очоа, Пабло Эскобаром и другими наркодельцами, Сил привез для Очоа целую пачку ежедневных сводок, составленных Маркесом. Главари картеля хотели отправить полуторатонный груз как можно скорее. Но Сил настоятельно требовал осмотра никарагуанской полосы.

По возвращении в Майами, Сил с Бейтсом купили фургон «виннебаго» — для внутренних перевозок кокаина в США. До операции оставалось два дня, но у «Лоудстара» на пробном полете перегорел двигатель и на замену потребовалась целая неделя и тридцать тысяч долларов. А дальше — новое препятствие. Лишив жизни Лару Бонилью, члены картеля вынуждены были укрыться от правосудия в соседней Панаме.

Наконец Сил встретился с главарями в Панама-Сити. Шел май 1984 года, после убийства минуло лишь несколько дней, и в картеле царила полная неразбериха. Трое братьев Очоа с чадами и домочадцами сняли дом в центре города. Неподалеку жил и Пабло Эскобар. От него Сил узнал, что Ледер скрывается в Бразилии, а все кокаиновые лаборатории в Колумбии демонтированы — их перебазируют в Никарагуа.

Впрочем, несмотря на текущие неприятности, Очоа намеревались отправить полуторатонный груз как можно скорее. На встрече Эскобар представил Силу незнакомца — Федерико Воэна, государственного чиновника из Никарагуа, который готов сопровождать Сила и Бейтса для осмотра взлетной полосы. Воэна надо слушаться во всем, и никто их не тронет. Воэн заявил, что его правительство организует переработку кокаинового основания в любом количестве — дело за поставками из Колумбии. Эфир они закупят в Восточной Германии.

Позже в тот же день Сил и Бейтс прилетели в Манагуа. В аэропорту Воэн быстро уладил все вопросы с иммиграционной службой. Силу и Бейтсу позволили выйти в город без визы и штампа в паспорте. Встретила их Маркеса, жена Воэна.

Поехали на северо-запад. В пяти милях от Манагуа стоял огромный нефтеочистительный завод. По словам Воэна, единственный в стране. Какой бы самолет ни пролетел над предприятием — вражеский или свой,— его непременно собьют. Сил это, разумеется, запомнил.

Объехав гору, они свернули налево, к «Лос-Бразилес» — военному аэродрому с одной посадочной полосой. За контрольно-пропускными пунктами Воэн показал летчикам ангар, а в нем «Пайпер-Шейен» — личный самолет Пабло Эскобара. Сил поинтересовался длиной и качеством покрытия взлетной полосы. Беседуя, Сил, Бейтс и Воэн прошли всю почти километровую полосу из конца в конец. Без подобных проверок Сил контрабанду не возил. Но едва Сил с Бейтсом ступили на траву, чтобы осмотреть дренажную канаву по западному краю полосы, Воэн заорал «Стойте!»

— Тут все минировано,— объяснил Воэн.— И если возникнут сложности при посадке, держитесь восточной стороны. На западе — взорветесь.

На карте Никарагуа Воэн стрелками указал направление посадки и взлета. Дал код для проникновения в воздушное пространство Никарагуа. Следовало запросить вышку на определенной, очень высокой частоте и назвать свой опознавательный знак — «Янки Ноябрь Виски Рентген Янки» — ЯНВРЯ. В углу карты Сил записал телефон Воэна и его код на ОВЧ. Воэн предупредил, что все подступы к Манагуа прикрыты установками ПВО для защиты города от ночных налетов контрас. На врезке с планом Манагуа Сил обвел местонахождение установок ПВО, нефтеочистительный завод, дом Воэна и штаб сандинистского Народного фронта.

Вернувшись в Панаму, Сил узнал, что Эскобар несколько изменил план операции: вместо того чтобы сидеть в Никарагуа в ожидании второй партии кокаина, Силу предлагалось слетать в Боливию за шестью тоннами кокаинового основания — для новых никарагуанских лабораторий.

Сила с Бейтсом доставили в Южную Флориду на личном самолете. Приземлившись, Берри Сил поспешил в Форт-Лодердейл, чтобы предстать в Федеральном суде пред очи судьи Рётгера. Никто, однако, не удосужился уведомить судью, что Сил стал ценным для страны осведомителем. И Рётгер дал ему максимальный срок: десять лет тюрьмы. Он постановил немедленно препроводить Сила в Брауордскую окружную тюрьму. В полнейшем отчаянии Сил изнывал в тюрьме двое суток, пока агенты УБН на дополнительном, закрытом слушании не уговорили Рётгера выпустить его на поруки.

14
НИКАРАГУАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Выйдя из тюрьмы, Сил немедленно позвонил Феликсу Бейтсу: дело не ждет! Первые полторы тонны кокаина предстояло вывезти на следующий день. Бейтс поинтересовался у Сила, где он пропадал.

— Дела,— не вдаваясь в подробности, ответил Сил.

Бейтс сказал, что его жена, возможно, стала осведомителем УБН. Пока они с Силом были в Панаме, ее арестовали в Майами за хранение кокаина, но, вернувшись, он застал ее дома. Бейтс опасался, что она немало рассказала в уплату за

свободу. Сам Бейтс злоупотреблял кокаином, вернее — курил кокаиновое основание, и у него уже начиналась паранойя. Он заявил, что полетит только вместе с женой — чтобы глаз с нее не спускать. Сил, поколебавшись, согласился, и вылетел в Луизиану, где прождал Бейтса два дня. Но тот так и не появился. В конце концов Сил уговорил своего лучшего друга Эмиля Кампа составить ему компанию. 28 мая в половине третьего ночи они вылетели на «Локхид-Лоудстаре» с маленького общегражданского аэродрома в Арканзасе. А несколько часов спустя приземлились на травяной дорожке клана Очоа в северных пригородах Медельина.

Как Сил и предвидел, недавние дожди превратили землю в сплошное месиво. Наземная бригада велела ему дожидаться какого-то дона Карлоса. Вскоре появился длинноволосый всадник с ручным пулеметом, он отдавал приказания направо и налево. Дон Карлос оказался Карлосом Ледером. Любой бы на его месте нервничал — ведь он прождал их с огромным грузом без малого неделю. Но Ледер нервничал чересчур. По рассказам Сил представлял иным Ледера — легендарного контрабандиста. Этот же Ледер — просто полубезумный, перепуганный человечек, извергающий потоки гнева из-за любой помехи. Бывший король кокаинового извоза попал теперь в подчинение к Очоа и Эскобару, и его приставили сторожем к кокаиновым запасам.

Ледер беспокоился, что самолет Сила могут заметить с воздуха. Он хотел заправить баки и выпроводить его побыстрее.

Но Сил заявил, что это невозможно. Тяжело нагруженный самолет не сможет подняться, ведь полосу совсем развезло.

— Мы загружаем! — Ледер навел на летчика пулемет.— И вы тут же убираетесь!

Сил выполнил приказ. Наземная бригада погрузила полторы тонны наркотика в брезентовых мешках, и Сил вывел «Лоудстар» к мокрой полосе. Самолет, не набрав стартовой скорости, разбился при взлете. Сил и Камп уцелели, но двое рабочих получили сильные ожоги: пришлось спешно вытаскивать кокаин из горящего самолета, чтобы успеть до взрыва.

Через пять дней Сил позвонил в УБН — завтра он летит в Никарагуа. Вечером следующего дня УБН получило шифровку: «Приземлился в Никарагуа возможны юридические сложности». Что за сложности, стало понятно лишь три дня спустя, когда Сил, вернувшись в США, объяснил, что произошло.

3 июня они с Кампом вылетели из Колумбии на «Титане-404», взяв на борт лишь семьсот килограммов. Приземлились, как и было запланировано, на «Лос-Бразилес». Заправившись, Сил в темноте поднялся в небо и полетел без сигнальных огней. К северу от Манагуа орудия ПВО повредили ему левый двигатель, и самолет стал стремительно терять высоту. Сил послал сигнал бедствия в аэропорт Манагуа, воспользовался он и кодом, который дал Воэн. Едва самолет приземлился, его окружили солдаты. Сил сказал им, что должен переговорить с Воэном. Ему разрешили позвонить, но Воэна не оказалось дома. Появившийся сержант сандинистской армии из команды Воэна выгрузил кокаин и велел Силу и Кампу держать язык за зубами. Все будет отлично, пообещал он.

На ночь Сила и Кампа поместили за решетку — в военном лагере в Манагуа. Наутро Воэн освободил их и отвез на асьенду к юго-востоку от столицы. Там Сил вновь встретился с Пабло Эскобаром, который переехал из Панамы в Никарагуа — следить за производством кокаина. Воэн объяснил, что случилось непредвиденное несчастье — он никак не рассчитывал на ночные полеты. Артиллеристы, услышав треск мотора, стреляли на звук. Связь во время операции была продумана явно плохо. Сил был потрясен, что не смог связаться с Воэном с воздуха. Он предложил купить переносную рацию.

Эскобар сообщил Силу, что новый лабораторный комплекс по производству кокаина находится на вилле южнее Манагуа и скоро заработает на полную мощность. Эскобар упомянул также «заначку» боливийского кокаинового основания, которую Ледер припрятал в Колумбии для переброски в Никарагуа, здесь основание превратят в чистый кокаин. У Ледера набралось десять-пятнадцать тонн, то есть приблизительно одна пятая от общего количества кокаина, потребляемого за год в США.

— Пожалуй, без большого самолета не обойтись,— произнес Сил и предложил купить военный транспортный самолет — он видел рекламу в коммерческом авиажурнале. Эскобару эта идея пришлось по душе. Он велел Силу приобрести самолет и возвращаться за первой партией груза.

Сил и Камп полетели домой на «Пайпер-Шейене» Пабло Эскобара — он отослал его в Штаты на ремонт. Сил тут же отправился по магазинам — Эскобар надавал ему кучу поручений. В Никарагуа надо было привезти необходимые для дела детали самолетов, приборы ночного видения, дюжину высокочастотных приемников и важнейшее оборудование — по двенадцать тысяч за штуку. Но в списке были также и потребительские товары, недоступные в Никарагуа: видеомагнитофоны, велосипеды с десятью скоростями, виски «Джонни Уокер» и сигареты «Мальборо».

Потом Сил купил «Фейрчайлд-С-123К-Провайдер» — двухмоторный военный тяжеловоз, похожий на кита. Он был на вооружении во время вьетнамской войны. Сил прозвал его «бабища». «Бабища» ему досталась в обмен на другой самолет через авиаторговца, у которого, как было известно Силу, имелись связи в ЦРУ.

К этому времени ЦРУ тоже подключилось к работе Сила. Они обеспечивали, в основном, техническое оснащение операции. 18 июня Сил на «С-123К» прилетел в Огайо на военно-воздушную базу Рикенбакер. Там по поручению ЦРУ специалисты встроили в носовую часть самолета фотоаппарат с пленкой 35 мм. Другой аппарат укрепили внутри, перед задним погрузочным люком, спрятав его в коробку с надписью «Электронное оборудование» В коробке проделали отверстие, чтобы заснять любого, кто будет загружать самолет.

Через три дня Сил позвонил из Майами в Манагуа Воэну. Разговор этот он записал на пленку — специально для УБН.

— Поеду в гости к бабушке в субботу в полдень,— сказал Воэну Сил. Это был условный знак.

Сил рассказал Воэну и о новом самолете:

— Огромный «кадиллак»... очень, очень большая машина. Я хотел бы, чтобы бабушка, гм... заранее предупредила хозяина, что машина очень большая, чтобы хозяин, гм... не очень разволновался, когда ее увидит.

«Хозяином» Сил назвал сандинистов. Он очень не хотел, чтобы его сбили вторично.

— Ничего, ничего,— успокоил Воэн.— Все будет нормально.

25 июля 1984 года Сил вылетел с Кей-Уэста и в час дня посадил «С-123К» на «Лос-Бразилес». Начали погрузку. Скрытые камеры запечатлели, как Сил, Пабло Эскобар и Федерико Воэн перекидывают друг другу брезентовые мешки с кокаином.

В четыре утра 26 июля Сил с семьюстами килограммами наркотика на борту приземлился южнее Майами на авиабазе Хоумстед. Вечером он позвонил Лито, майамскому сбытчику из сети Хорхе Очоа, и они договорились встретиться на «Дейдлендской аллее». Разговаривали на автостоянке в машине Лито.

— Где груз? — спросил Лито.

— Внутри, в «виннебаго»,— ответил Сил.

И оставил Лито возле «виннебаго». Затем наблюдавшие за этой сценой агенты УБН увидели, как подъехал белый грузовик марки «шевроле». Оттуда вылез человек, открыл своим ключом дверцу «виннебаго», сел за руль и укатил. Сотрудники УБН на нескольких машинах и вертолете пустились по шоссе вдогонку. Выбрав подходящий момент, агент на видавшем виды «бьюике» врезался в «виннебаго». Тут же, как по заказу, подъехала автоинспекция.

УБН затеяло эту лихую операцию, чтобы продержать своего осведомителя Сила на плаву как можно дольше. По закону американские службы, занимающиеся борьбой с наркотиками, не вправе выпускать наркотик из рук, они обязаны предотвратить его распространение — пускай даже поступившись интересами расследования. Семьсот килограммов кокаина надо было захватить во что бы то ни стало, и — чтобы не выдать Сила — УБН подстроило дорожное происшествие: их машина врезается в «виннебаго», а дорожный патруль оказывается как раз неподалеку. Водителю «виннебаго» надо непременно дать улизнуть — такой приказ получили все участники операции.

Сначала все разыгралось как по нотам. Колумбиец, сидевший за рулем «виннебаго», предъявил автоинспектору водительские права, но не смог найти паспорт машины. Получив от патрульных разрешение позвонить из ресторана напротив, водитель скрылся. Один из наблюдателей передал по рации: «Перешел улицу. Сворачивает за угол. Уходит».

Но сотрудники УБН не могли предвидеть, что наблюдавший за этой сценой случайный прохожий окажется прирожденным борцом с преступностью. Он последовал за колумбийцем и попытался его задержать. Завязалась драка. Наконец, подъехала

полицейская машина из Корал-Гейблз, и тут уж, хочешь не хочешь, пришлось колумбийца арестовать.

В два часа ночи Силу позвонил Пауль Этцель, продавец машин из салона Лито, тоже колумбиец.

— Слыхал наши новости? — спросил он.— Груз накрылся.

Позже Силу передали, что Лито хочет повидаться с ним безотлагательно. Решив, что такая встреча небезопасна для жизни, Сил попросил УБН организовать охрану. Они встретились в ресторане неподалеку от Дейдленда. Лито сообщил, что Хота, самая важная птица из майамской сети Очоа, желает немедленно видеть их всех.

— Один из наших ребят ехал за «виннебаго»,— сказал Лито.— Он утверждает, что все подстроено.

Вместе с Лито и Этцелем Сил сел в фургон и отправился на шикарную квартиру к югу от Майами. Там их ждали Хота и еще несколько колумбийцев. Молодой парень, сопровождавший «виннебаго», заявил, что водитель «бьюика» совершил наезд намеренно.

— Да что ты чепуху несешь! — возмутился Лито. Ему, организатору операции, было бы куда приятнее, окажись провал случайным.

Хота поинтересовался, что думает Сил.

— Если вы полагаете, что тут дело нечисто,— проговорил Сил,— надо срочно уходить в подполье.

Хота попросил у Сила водительские права. Сил вынул документ, выправленный на имя Маккензи. Пообещав вскоре вернуть права, Хота вышел. Остальных на время задержали — Хота желал уйти без «хвоста».

Спустя сутки Силу позвонил Лито и сообщил, что все улажено. Он спросил, не раздумал ли Сил лететь в Никарагуа за второй порцией. Сил сказал, что готов. И позвонил в Манагуа Воэну. Пожаловавшись на провал первой партии, он предложил усовершенствовать операцию, но добавил, что исходить эта идея должна от более влиятельных лиц, нежели он сам. Воэн уверил Сила, что все послушаются его беспрекословно.

— Они вас очень, очень уважают,— сказал Воэн. И от имени их «общего друга» Пабло Эскобара попросил Сила об услуге. Эскобару снова нужны были товары повышенного спроса. А еще — полтора миллиона долларов наличными. Надо было подмазать сандинистов за разрешение на посадку в Никарагуа. Лито смог собрать такую сумму не вдруг, но в конце концов принес — в трех чемоданах и картонной коробке. Когда Лито ушел, Сил позвонил агенту УБН — чтобы прислали фотографа. Горы денег выглядели весьма внушительно.

7 июля Сил вылетел в Никарагуа на «С-123К». Приземлившись на «Лос-Бразилес», Сил сказал Воэну, что на борт поступило сообщение из штата Миссисипи: полиция взяла под наблюдение место разгрузки. Сил предложил пока оставить кокаин в Никарагуа. Воэн отвел его к Эскобару. Тот, выслушав Сила, поблагодарил его за бдительность. Вторая никарагуанская партия, девятьсот килограммов кокаина, осталась на «Лос-Бразилес».

Бдительность Сила была, разумеется, выдумкой. УБН вынуждено было бы захватить и эту партию, очутись она на американской земле. В этом случае оправдать Сила в глазах картеля вряд ли удастся. А в УБН мечтали, чтобы Силу поручили перебросить из Колумбии в Никарагуа боливийское кокаиновое основание: так выяснится расположение лабораторий. А еще сотрудники УБН хотели с помощью Сила заманить Очоа и Эскобара в какую-нибудь страну, где их можно будет легко арестовать и добиться выдачи преступников Соединенным Штатам.

Сил уже собирался лететь порожняком домой, когда Эскобар снова заговорил о переброске в Никарагуа кокаинового основания. Но решили, что сперва Сил отвезет готовый «снежок» из Никарагуа в Мексику и приземлится там севернее Мехико, на полосе Родригеса Гачи, отвечавшего за сбыт на западном побережье. Пилоты Гачи на маленьких самолетах перевезут затем кокаин из Мексики в Штаты. А Сила Эскобар просит проверить качество мексиканских взлетно-посадочных полос. Сил согласился. Мексика вполне подходила для захвата главарей картеля.

В УБН уже предвкушали грандиозный успех, но дело неожиданно приняло новый оборот. Участие сандинистов придало делу острую политическую окраску — столь

острую, что острие это проткнуло в аккуратно скроенной операции огромную зияющую дыру. Еще 26 июня, когда Сил прибыл на базу в Хоумстеде с первой партией груза, подробности его секретной миссии стали известны подполковнику Оливеру Норту из Совета национальной безопасности, который, по поручению правительства Рейгана, непосредственно занимался тайной помощью контрас.

В тот день Норт занес в настольный блокнот имя Фредди Воэна. Ниже он приписал: «На фото Воэн и солдаты внутренних войск Никарагуа». А еще ниже: «750 фунтов кокаина».

В конце июня или в начале июля в старое здание СНБ приехал Рон Каффри, начальник кокаинового отдела УБН, чтобы поставить Норта в известность о полетах Сила в Никарагуа. Выяснилось, что Норт уже располагает фотографиями Сила. Каффри был вне себя: налицо явное нарушение секретности!

Три года спустя во время слушаний в конгрессе Каффри припомнил, что Норт интересовался: нельзя ли навести журналистов на наркоаферу в Никарагуа? Оба понимали, что грядет голосование по вопросу помощи контрас, и свидетельство об участии сандинистов в контрабанде наркотиков — этакая политическая бомба — сыграло бы на руку контрас и их американским покровителям.

Но Каффри заявил Норту, что утечка информации в прессу поставит под угрозу все планы УБН и лишит их важнейшего осведомителя. В конце концов Норт согласился с Каффри: Силу безусловно следует продолжить свою подпольную деятельность и привезти Эскобару в Никарагуа полтора миллиона — взятку, предназначенную для сандинистов.

Однако, когда 8 июля Сил вернулся из Никарагуа без второй партии груза, в УБН узнали, что «Вашингтон таймс», газета с явно правым уклоном, намерена опубликовать подробности миссии Сила. Кто выпустил информацию из рук — сомнений не вызывало.

И в УБН решили, что пора ставить в деле точку. Силу велели назначить встречу Лито и Этцелю. 17 июля в майамском мотеле «Воздушные пути» их арестовали. Лито предъявил водительские права на имя Хорхе Негрете, но в УБН к этому времени уже выяснили его настоящее имя: Карлос Бустаманте. Паспорта у него не было. Он сообщил полиции, что работает мойщиком машин. Феликса Бейтса задержали в майамском аэропорту «Хилтон» с двадцатью тысячами в кармане. Имена главарей картеля — Эскобара, Очоа, Ледера и Родригеса Гачи — были впервые объединены в одном уголовном деле. И Большой федеральный суд присяжных вынес решение о привлечении этих людей к уголовной ответственности. Впрочем, сами они находились по-прежнему вне пределов досягаемости.

Материал в «Вашингтон таймс» появился как раз в день майамских арестов. Эта статья породила лавину публикаций по всей стране. И везде внимание у читателей сосредоточивалось на неприглядной роли сандинистов в контрабанде наркотиков. Главари картеля снова остались в тени. Политика затмила истинное значение Медельинского картеля.

15
ОБЛАВА

Убийство Родриго Лары Бонильи заставило Медельинский картель пуститься в бега впервые за все годы его существования. Провалы в Никарагуа были симптомом более серьезной болезни. После убийства Лары Бонильи наркодельцов три месяца кряду преследовали неудачи.

Главное же — картель опозорил свой народ и глубоко оскорбил президента. Впервые в истории Колумбии был убит член кабинета министров. Белисарио Бетанкур просто не мог оставить безнаказанной такую вопиющую наглость. После убийства Лары Бонильи соотечественники увидели картель в новом свете — то были враги, безжалостные жестокие убийцы, покушающиеся на самые основы Колумбийского государства. И проблему наркобизнеса перестал наконец считать чужой. Она встала для страны во весь рост.

Согласно указу Бетанкура от 1 мая «Об осадном положении» обвиняемые наркодельцы должны были предстать перед военным трибуналом и весь период следствия и суда провести в камерах — без права выхода под залог или на поруки. В случае

осуждения им грозили длительные сроки без надежды на досрочное освобождение. Полиции были даны широчайшие полномочия обыскивать, конфисковывать, арестовывать и задерживать для допроса, не предъявляя обвинения. За несколько дней сотни подозреваемых были брошены в тюрьму. Полицейские обыскали больше ста зданий, предположительно принадлежавших картелю. По всей стране был произведен захват самолетов, автомобилей, грузовиков и другой собственности. В Медельине устроили облаву на одной из квартир Пабло Эскобара, но его, очевидно, кто-то предупредил, и Эскобар успел ускользнуть. Полиция захватила и асьенду «Наполес». Колумбийские Общества защиты природы вскоре начали жаловаться, что животные в зоопарке Эскобара голодают. Тогда государство приняло зоопарк под свою опеку и открыло его для туристов.

Дела Карлоса Ледера тоже пошли наперекосяк. Его служащие в «Немецком дворе» сидели без зарплаты, с тех пор как Ледер, испугавшись приказа Лары Бонильи о выдаче, скрылся в джунглях. Теперь все его люди — более 200 семей — всем скопом покидали «Двор». Имение было разорено, строения разрушены дождями и пожарами. Сохранилась только статуя Джона Леннона — единственное напоминание о былом величии.

Берри Сил обнаружил, что большинство картельщиков решили пересидеть облаву в соседней Панаме. Это был, по ряду причин, правильный выбор. Во-первых, от Медельина до Панамы меньше часа лету и торговцы хорошо знали город. Несколько лет подряд они встречались именно в Панаме и отмывали свои доходы в панамских банках.

Но главное, у картеля в Панаме имелся покровитель — генерал Мануэль Антонио Норьега, командующий силами обороны Панамы, самый могущественный человек в стране. О лучшем друге не приходилось и мечтать.

Некоторые наркодельцы лично знали генерала еще с 1982 г., когда Эскобар с Норьегой превратили Панаму в перевалочный пункт для кокаиновых грузов, идущих в США. Много позже в отчетах майамского суда появятся цифры: за каждый груз Норьега получал по 100 000 долларов. Люди Эскобара обучили пилота Норьеги управлять личным самолетом Эскобара, и он курсировал теперь между ранчо Эскобара и Панамой с грузом кокаина на борту. К концу 1982 г., говорилось в тех же отчетах, Эскобар переправил в Панаму 400 кг кокаина, а Норьега поднял таксу до 150 000 долларов за груз. Обе стороны, однако, остались довольны.

А на исходе 1983 г. тандем «картель — Норьега» осмелел еще больше. Дельцы возвели большую кокаиновую лабораторию в Дарьенских джунглях на юге Панамы, в 80 километрах от границы с Колумбией. Члены картеля заплатили 5 миллионов долларов высокопоставленным панамским военным, чтобы заручиться их поддержкой. Не установлено, получал ли Норьега эти деньги лично, но ясно, что без одобрения генерала построить лабораторию такого масштаба было бы невозможно.

Норьега вел опасную игру. Впрочем, кто, если не он, мог позволить себе рисковать по-крупному? Честолюбивый военный крошечного росточка, он страшно стеснялся своего прыщавого лица, за которое и получил прозвище Cara de Piña — Ананасная Морда. В обществе Норьега не блистал и обаянием не отличался. Но это был ловкий, как канатоходец, политик, он умело изображал лидера «третьего мира», дружил с кубинским вождем коммунистом Фиделем Кастро и в то же время преданно служил американскому ЦРУ. Слухи о продажности Норьеги, об его участии в торговле наркотиками и оружием ходили давно. Ему вменялись в вину и более тяжкие преступления, но Норьега всегда выходил сухим из воды, поскольку им дорожили гринго: он позволял им свободно пользоваться Панамским каналом и поддерживал в стране стабильность.

После убийства Лары Бонильи Норьега принял изгнанников под свое крылышко. Он обеспечил главарей картеля телохранителями и давал им полезные советы. Очоа снял дом неподалеку от отеля «Марриот», Эскобар жил в гостиницах «Валле» и «Бамбито» или в «Праздничной таверне». Одному Эскобару убежище обошлось в 1 миллион долларов, эти деньги перекочевали в карман Норьеги.

Под покровительством Норьеги картель вел двойную, с дальним прицелом, игру по восстановлению своего былого могущества. С одной стороны, дельцы запустили огромную лабораторию в Дарьенских джунглях Панамы и намеревались создать по-

добные в Никарагуа, а также уточняли с Берри Силом детали перевозки полутора тонн кокаина. Откажется от своих детей Колумбия — их примет Никарагуа. Или Панама. Или кто-нибудь еще. Кокаин — это праздник, который всегда с тобой.

С другой стороны, картель был не прочь помириться с колумбийским правительством в надежде, что старое позабудется и им отпустятся все грехи. Картельщики отправили через посредника длинное, на шести страницах, письмо Белисарио Бетанкуру. Дельцы назвали это выдающееся послание «односторонней декларацией», подчеркивали «честность и откровенность своей позиции» и просили президента «рассмотреть возможность их воссоединения с колумбийским обществом».

В первой части авторы кратко обрисовали историю наркобизнеса в Колумбии. Тут утверждалось, что «наши организации сегодня контролируют от семидесяти до восьмидесяти процентов общего объема кокаина, производимого в стране», и дают около 2 миллиардов «годового дохода». Далее шло заверение, что «организации, которые мы представляем», не несут ни прямой, ни косвенной ответственности за убийство Лары Бонильи. Более того, дельцы открещивались от политики: менять «существующую демократическую и республиканскую систему в Колумбии» не входит в их планы.

Во второй части меморандума правительству предлагалась сделка. Со своей стороны кокаиновые короли обязывались передать государству все тайные аэродромы и лаборатории, распустить картель, пустить свои деньги в оборот в Колумбии, оказать помощь в посадке сельскохозяйственных культур вместо коки и марихуаны и «сотрудничать с правительством в кампаниях по искоренению наркомании и лечению наркоманов в стране». Взамен дельцы хотели, чтобы Бетанкур отменил осадное положение и согласился не выдавать США преступников, нарушавших закон до этого знаменательного письма. Иными словами, картель требовал амнистии. Наркодельцы получали два миллиарда в год и хранили их за пределами страны. Безнаказанное возвращение контрабандистов означало возвращение в колумбийскую экономику невероятной суммы. Стране предлагали колоссальную взятку.

Члены картеля не получили ответа ни от Бетанкура, ни от кого-либо еще и продолжали отсиживаться в Панаме, постепенно теряя свои миллионы. 15 июня 1984 г. в аэропорту Майами таможня перехватила 1,2 метрических тонны кокаина, упакованного в коробки с надписью «Духи». «Духи» находились в холодильных камерах грузового самолета панамской авиакомпании, сдающей самолеты напрокат. Неделей позже панамские агенты конфисковали 6159 барабанов с эфиром в Зоне Канала. Наркодельцы недоумевали — ведь Норьега куплен! Что же происходит?

Картельщики оказались беззащитными в капкане чужой страны, их сопровождали несчастья и громкие скандалы. Становилось очевидно, что картелю придется убраться из Панамы. Ни Эскобар, ни Очоа не чувствовали себя спокойно за пределами Колумбии. Оба знали, что в конечном счете безопасней всего будет дома, где они всегда смогут купить покровительство сильных мира сего и нанять убийц, чтобы держать в страхе врагов.

Но Бетанкур не собирался уступать. На должность министра юстиции вместо Лары Бонильи он назначил другого борца с наркомафией — Энрико Парехо Гонсалеса. Парехо был несгибаем, подобно Ларе Бонилье, но в отличие от покойного министра он мог рассчитывать на поддержку Бетанкура. К концу лета США запросили о выдаче более 60 колумбийских ответчиков по делам о контрабанде наркотиков.

И, наконец, 14 августа Верховный судья Боготы Мануэль Кастро Гил выдвинул предварительное обвинение против 14 подозреваемых в убийстве Лары Бонильи и среди них так называемых «вдохновителей» преступления: Пабло Эскобара, трех братьев Очоа и Гонсало Родригеса Гачи. Эскобара могли арестовать теперь по пяти различным обвинениям: за ним числились два убийства медельинских агентов колумбийской службы безопасности, соучастие в убийстве Лары Бонильи, незаконный ввоз животных для личного зоопарка и — контрабанда наркотиков. По последнему обвинению он подлежал выдаче в США. 19 октября Кастро Гил предъявил Эскобару обвинение в убийстве Лары Бонильи, а братьев Очоа и Родригеса Гачу назвал соучастниками.

Дело против Эскобара было основано в первую очередь на показаниях Хайме Рамиреса. Главари картеля знали, что Рамирес дает против них показания судье Кастро Гилу, более того — им передали его показания дословно. Но Рамирес ничего не боялся. Они винил себя в смерти своего друга Лары Бонильи и поклялся «бороться еще упорней».

И боролся. К середине 1984 г. в отделе у Рамиреса было 1200 человек. Он то и дело наносил удары по кокаиновым лабораториям: после Транкиландии Рамирес и Фелпс убедились, что успех порождает успех. У них появились новые осведомители. За первые семь месяцев 1984 г. полиция захватила 26 метрических тонн кокаина и кокаинового основания и 37 метрических тонн базуко — то есть в одиннадцать раз больше, чем за предыдущие четыре года. На счету полиции было также 84 разрушенные лаборатории, 144 захваченных самолета-извозчика. Но Рамирес был разочарован. Поймать крупных наркодельцов оказалось практически невозможно. Они всегда загодя узнавали о намерениях полиции. Так, однажды люди Рамиреса упустили Карлоса Ледера. Он успел скрыться за четыре дня до рейда.

Ледер представлял для Рамиреса особую ценность. В отличие от Эскобара, Очоа и Родригеса Гачи, которые скрывались в Панаме, Ледер находился в Колумбии. Будучи реалистом, Рамирес понимал, что арестуй он Эскобара или Очоа, они найдут способ выбраться из колумбийской тюрьмы, и удержит их только чудо. С Ледером дело обстояло иначе. Бетанкур подписал приказ о его выдаче Штатам, и Ледер уже не имел права на апелляцию. Если бы Ледера удалось арестовать, его можно было бы спокойно посадить в самолет и отправить в Соединенные Штаты — без всякой бюрократической волокиты.

Рамирес начал подкрадываться к добыче. Послал людей собирать сведения и вербовать осведомителей. И в ноябре напал на след. В ста пятидесяти километрах к юго-востоку от Картахены, в Финка-Чипре, Ледер наладил новую контрабандную базу. Во время налета полиция захватила 230 кг кокаина, но Ледера уже след простыл.

В конце года осведомители Рамиреса выследили Ледера в Колоне, неподалеку от Панамского канала. А всего лишь неделей раньше его видели в Медельине. Вне всякого сомнения, Ледер вновь нашел своих соратников.

И, наконец, в феврале 1985 г. Ледер дал интервью испанскому телевидению в одном из своих убежищ в льянос. Небритый, косматый, одетый в защитные пятнистые брюки и черную безрукавку, он сообщил репортерам, что намерен создать «пятисоттысячную армию для защиты национальной независимости», что проблема выдачи преступников Штатам выросла в проблему национального освобождения, а Лару Бонилью пристрелил сам народ — прежде чем министр успел, при помощи империалистов, отправить многих и многих колумбийцев на суд в США. Ледер считал себя «символом всех борцов с империализмом» и утверждал, что «в этой борьбе цель оправдывает средства».

16
СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ

Льюис Тамз и Джонни Фелпс выполнили свою главную миссию: соглашение о выдаче преступников было подписано. Они победили. Тамз назвал 1984 год годом «прорыва». Даже более осторожный и скептически настроенный Фелпс в итоге остался доволен Бетанкуром. Чего греха таить — президент и пальцем не пошевелил, пока не пристрелили Лару Бонилью, но, начав борьбу, уже не отступал.

Однако Фелпс понимал, что убийство Лары Бонильи изменило ход кокаиновой войны, поставив на карту самые устои колумбийской жизни. Чтобы арестовать и осудить преступников, стране следовало усовершенствовать законы; чтобы удержать осужденных под замком, надо было усилить систему охраны. Да и противостоять постоянным угрозам со стороны картеля без сильной правоохранительной системы было невозможно. Колумбийскому правосудию предстояло выдержать серьезнейший экзамен.

Жить в Колумбии стало опасно как никогда. Наркодельцы отсиживались в Панаме или скрывались в колумбийских джунглях и сдаваться отнюдь не собирались. В июле они позвонили с угрозами в президентский дворец по личному телефону Бетанкура. Считалось, что этот номер известен лишь ближайшим советникам президента. И Бетанкур, любивший появляться на людях и купаться в лучах собственной славы, теперь ездил в бронированном автомобиле и назначал для деловых встреч самое неожиданное время.

Льюису Тамзу тоже потребовалась усиленная охрана. В первые годы в Колумбии он ездил на бронированном армейском «кадиллаке», а сопровождал его один автомобиль охраны. Тамз носил с собой пистолет.

Но ответственные за безопасность посла постепенно увеличивали его эскорт. К моменту убийства Лары Бонильи машин было уже пять: «разведчик», «проводник», лимузин самого Тамза и еще две шли в хвосте.

Другие сотрудники посольства также ездили на работу в бронированных автомобилях. Армейские джипы со станковыми пулеметами сопровождали автобус, на котором их дети ездили в школу. К каждому сотруднику Тамз приставил вооруженного телохранителя.

В конце мая 1984 года, вскоре после убийства Лары Бонильи, к резиденции посла США скатился с горы пустой автомобиль и взорвался, наехав на бордюрный камень. Пламя взметнулось ввысь почти на километр. Еще чуть-чуть — и автомобиль оказался бы прямо у ворот посольства.

А угрозы продолжали поступать — по телефону и по почте. К октябрю 1984 г. Тамз почувствовал, что посольство в осаде. В Вашингтоне разделяли его тревогу и велели сократить штат до минимума. Тамз отправил в США 30% сотрудников.

Джонни Фелпс разъезжал теперь в бронированном фургоне с пулеметом; телохранители не покидали его ни на минуту, даже ночью. А ночи стояли тревожные, в окрестностях слышалась нескончаемая перестрелка. Дочери Фелпса видели стрельбу из окна школьного автобуса, а восьмилетний сын наткнулся на улице на труп. Но срок пребывания Фелпса в должности подходил к концу, и в середине 1984 года он уехал домой.

Успехи Фелпса в Колумбии не оказали продолжительного воздействия на ситуацию в США. После рейда в Транкиландию оптовые цены на кокаин подскочили в Майами до 25 тысяч долларов за килограмм. Но через пять месяцев они снова снизились до 14 тысяч и продолжали падать. Дешевле кокаин не стоил никогда. Министр иностранных дел Колумбии, обескураженный тем, что дело застопорилось, без конца жаловался Тамзу: «Мы смогли перехватить самые крупные партии наркотиков в мире. Почему же вы не можете остановить их потребление?» Тамз не знал, что ответить.

Тем временем все наркодельцы, кроме кокаиновых королей, вернулись в Медельин. А в сентябре засланный в город вместо Эррола Чавеса агент УБН Майк Виджил неоднократно видел на бое быков самого Пабло Эскобара с женой и свитой телохранителей. В секретном полицейском меморандуме сообщалось, что Эскобар и Родригес Гача проживают в фешенебельном жилом районе Медельина. Но попытка арестовать их была заранее обречена на провал. Акулы наркобизнеса завели столько охранников и наемных убийц, что для беседы с ними пришлось бы прихватить с собой целую армию.

Год подходил к концу, а облава явно не принесла желаемых результатов. Кокаин шел в США неиссякаемым потоком, наркодельцы не испугались и не оставили свой преступный бизнес; их не выдали Штатам и даже не пересажали в тюрьму.

Прошло несколько месяцев, и колумбийцы изрядно подустали от напряжения. Люди то гневались, то смирялись, их охватывала то жажда мести, то жажда миротворчества. Когда столичная газета «Тьемпо» поведала читателям о предложении картеля провести переговоры и простить все их прошлые прегрешения, в стране сперва поднялась буря негодования.

Самые влиятельные колумбийцы возмутились. Один сенатор заявил, что вести переговоры с наркодельцами — все равно что «приглашать грабителей на симпозиум по охране банков». Сам Бетанкур не смог отмолчаться и, естественно, отверг предложение контрабандистов. «Диалог не состоится ни при каких обстоятельствах. Между правительством и авторами письма переговоров не было и не будет».

И все же не все колумбийцы соглашались с Бетанкуром. «Тьемпо» отметила, что писем от сторонников переговоров больше, чем писем от противников. Телевизионный опрос показал, что 48% зрителей выступают за переговоры. Люди поняли, что политика «твердой руки» не дала результатов, и надеялись только на переговоры. Ведь Эскобар был жив-здоров и не мучился угрызениями совести. Предложение картельщиков позволяло надеяться на мирный исход дела. Многие колумбийцы считали, правительству стоит подумать о переговорах всерьез.

В ноябре Майка Виджила предупредили, что контрабандисты оценили его голову в немалую сумму. Медельинские агенты Виджила обнаружили, что он под колпаком: за ним наблюдают ежедневно и ежечасно. Виджил позвонил в Боготу и побеседовал с Джорджем Фрэнгалли, который сменил Джонни Фелпса в должности главного резидента УБН в Колумбии. Фрэнгалли доложил обо всем Тамзу, и еще до Рождества медельинское бюро УБН было закрыто.

В то же самое время Тамз в Боготе тоже усилил бдительность. После взрыва у посольства он оставил в штате только бездетные пары и одиноких. 26 ноября возле посольства США взорвался маленький белый «фиат», по всему проспекту вышибло стекла, а два квартала пострадали весьма серьезно. Шесть человек получили тяжелые ранения; проходившей мимо женщине снесло голову большим осколком стекла.

В начале декабря служба безопасности при посольстве сообщила Тамзу, что, судя по всему, один из его телохранителей-колумбийцев подкуплен и готовится убить Тамза. Государственный департамент поспешил отозвать Тамза из Колумбии. И 26 декабря Тамз с семьей вылетел домой, якобы в отпуск. После его отъезда сотрудники службы безопасности проверили весь штат посольства на детекторе лжи. Один человек — как раз тот, которого подозревали,— отказался от тестирования, уволился и снял со своего счета в банке крупную сумму.

В Штатах Тамзу сначала объявили, что в Колумбию он вернется, но без жены и детей. А еще через несколько дней в госдепартаменте решили, что его миссия в Колумбии окончена.

С середины 1981 до начала 1985 года четыре человека неутомимо преследовали Медельинский картель. Их успехи впечатляли, но ожидаемых результатов не приносили. И это было очевидно. Картельщики понесли немалые потери, но все же — завершили этот раунд вничью: убили Лару Бонилью, продержались на ринге дольше Джонни Фелпса, выставили из страны Льюиса Тамза.

Оставался только Хайме Рамирес.

17
СУД

К осени 1984 года Медельинский картель отчасти вернул себе былую власть и могущество. Пабло Эскобар и Гонсало Родригес Гача спокойно занимались восстановлением сети производителей и сбытчиков. Карлос Ледер, который прежде имел дурацкую привычку болтать лишнее и пытался тягаться с картелем в качестве поставщика, сослал себя в льянос и сидел там тише воды ниже травы. Но Эскобар и Родригес Гача все же приставили его к делу: надзирать за растущим производством кокаина в джунглях. Ледер был также посредником между картелем и «Движением 19 апреля» («М-19») — левацкой партизанской группой, которую наркодельцы нанимали порой для выполнения отдельных заданий. Партизаны служили любому, кто щедро оплачивал наемных убийц. Что же до Хорхе Очоа, то с мая месяца о нем не было ни слуху ни духу. Очоа словно испарился, как только никарагуанское дело получило широкую огласку.

На самом деле приблизительно в июле или в начале августа Очоа эмигрировал в Испанию. И объявился в Мадриде под именем Мойсес Морено Миранда. Путешествовал он с женой и производил исключительно респектабельное впечатление.

Вскоре после приезда супруга Очоа начала вносить в местные банки крупные долларовые вклады. В одном из самых фешенебельных предместий Мадрида Очоа купил дом площадью в 750 квадратных метров с бассейном, теннисными кортами, складом и дискотекой. В гараже стояли четыре «мерседеса». Своего пятилетнего сына Очоа записал в американскую школу с обучением на двух языках.

В конце августа к Особому прокурору Испании по предотвращению и искоренению наркобизнеса по тайным каналам поступили сведения, что Морено Миранда не тот, за кого себя выдает. Провели расследование и вскоре поняли, что Морено Миранда — контрабандист, который хочет обосноваться в Испании. К 25 сентября полиция выяснила его настоящее имя и подслушала пять телефонных разговоров: Очоа звонил в Колумбию, Лондон, Панаму и Бельгию.

Полиция сообщила об этом резиденту УБН в Мадриде, а он телеграфировал в Вашингтон. Министерство юстиции подготовило запрос о выдаче Очоа в связи с ника-

рагуанским делом. Запрос отослали в посольство США в Мадриде, и 17 октября посол передал экземпляр документа в министерство иностранных дел Испании. США требовали ареста Очоа.

Испанские полицейские следили за Очоа несколько месяцев. Размах его деятельности был пугающе велик. В ноябре стало известно, что Очоа собирается купить более четырех тысяч гектаров угодий на юге Испании. Полиция опасалась, что он использует это ранчо для превращения Испании в международный центр по распространению кокаина.

15 ноября 1984 года испанская полиция арестовала Очоа с женой и заморозила все их банковские счета. Агенты УБН проследили, чтобы сына Очоа забрали из американской школы.

Для администрации Рейгана арест Хорхе Очоа казался подарком судьбы. Не прошло и четырех месяцев с тех пор, как правительство США назвало Очоа и других членов Медельинского картеля преступными партнерами сандинистского правительства Никарагуа. Теперь представлялась отличная возможность заполучить Очоа в Соединенные Штаты для суда.

Испанцы с готовностью пошли им навстречу. Пускай они никогда не сталкивались с международным наркобизнесом, но они устали от всякого рода терроризма и идеологического экстремизма, и связи Очоа с марксистским правительством Никарагуа имели в их глазах понятную политическую окраску. Соединенные Штаты обрисовали испанцам и связь Очоа с Транкиландией, которая охранялась партизанами «М-19». Все это — кокаин, терроризм, марксизм — связывалось для испанцев воедино, в тройной кошмар свободного мира.

В Испании объявили, что Очоа задержан согласно специальным законам по борьбе с террористами; это влекло за собой пересмотр предъявленных обвинений.

Вскоре после ареста и заключения Очоа в тюрьму в Мадриде Соединенные Штаты официально запросили о его выдаче по обвинению в никарагуанском деле. А несколько дней спустя Колумбия попросила выдать Очоа ей — по обвинению в подлоге документа, а именно лицензии на ввоз 128 испанских быков в Картахену в 1981 году. То есть Очоа опять обвиняли в контрабанде. Борьба продолжалась.

Поначалу больше шансов получить Очоа было у США. Контрабанда наркотиков посерьезнее, чем контрабанда быков. Да и требование о выдаче Очоа США представили раньше Колумбии. Испанское правительство отдавало явное предпочтение США.

Защитникам Очоа предстояло либо свести эти преимущества на нет, либо обойти противника как-то иначе. Не прошло и полгода, как Колумбия вторично потребовала выдачи Очоа. На этот раз запрос пришел из Медельина: «земляки» пожелали осудить его все за ту же никарагуанскую операцию, на основании которой на Очоа уже завели уголовное дело в Майами. На самом деле произошло следующее: закадычный дружок Хорхе Очоа нашел в Майами доступ к судебным протоколам, снял фотокопию с никарагуанского обвинения и отправил в медельинский окружной суд. В результате на одной чаше весов оказался один американский, а на другой — два колумбийских запроса. Очоа обвиняла родина, причем одно из обвинений полностью совпадало с майамским! Кроме того, государственные обвинители серьезно просчитались, свалив в одну кучу терроризм, коммунизм и наркотики. И защита не преминула этим воспользоваться. Многие испанцы считали свою, испанскую, полицию и уж тем более рейгановское УБН ярыми антикоммунистами, которые припишут сандинистам что угодно, даже в наркобизнесе уличат — лишь бы дискредитировать. И адвокаты Очоа быстро поняли, что политическими симпатиями присяжных можно воспользоваться. Они осудили Рейгана за развязывание грязной войны против Никарагуа и изобразили своего подзащитного пешкой в бесчестной политической игре.

Впрочем, обвинители тоже пускались на различные мелкие хитрости. Однажды страну молнией облетела весть, что друзья Очоа предприняли дерзкую попытку выкрасть его из тюрьмы, втянув на борт вертолета. Еще через пару дней некие «полицейские источники» сообщили Испанскому информационному агентству, что Очоа пытался подкупить полицейских, ведущих расследование. В этой истории Очоа изображался «вице-королем мирового кокаинового бизнеса», вторым человеком после Эскобара.

Дело Очоа слушалось в уголовной палате Национального суда Испании (Audiencia Nacional). Суд изучал представленные материалы почти девять месяцев. Очоа признал себя виновным в незаконном ввозе быков в Колумбию, но категорически отрицал свое участие в контрабанде наркотиков и заявил, что по обвинению в наркобизнесе не сядет на скамью подсудимых ни в Колумбии, ни в США. Защитники Очоа упорно подчеркивали политическую подоплеку обвинений и всячески старались дискредитировать иск США. Они утверждали, что обвинение смехотворно, так как оно основано на свидетельствах Берри Сила, отъявленного преступника и лжеца. По сути Сил был главным и единственным свидетелем обвинения. Защите, однако, пришлось признать показания еще двух агентов УБН, связанных с Берри Силом. Они всего лишь пересказали показания Сила, но по испанским законам свидетельства из вторых рук имеют юридическую силу. Таким образом, обвинение теперь располагало показаниями трех свидетелей, один из которых был преступником.

Слушание дела о выдаче Очоа в Национальном суде Испании было назначено на 17 сентября 1985 года. Во время судебного заседания испанцы обращались с Очоа как с арестованными баскскими сепаратистами: он считался особо опасным преступником с особо опасными друзьями. На то, вероятно, имелись веские причины. В зале суда публика была отделена от судей, защитников и прокурора метровой деревянной панелью и стеклянной пуленепробиваемой перегородкой — от пола до потолка. Обычно это отбивало у политических активистов охоту пострелять или побросать гранаты во время судебных заседаний. Трое судей обозревали зал заседаний с деревянного возвышения. Обвиняемый сидел перед ними на низкой скамье, спиной к стеклу, разделявшему зал.

В день суда на галерке толпились колумбийцы, в том числе и члены семейства Очоа. Поначалу стоял шум и в воздухе витало смутное недовольство, но едва вышли судьи, публика тотчас притихла. Очоа, одетый в темный костюм, спокойно сидел между двумя полицейскими в беретах. Он сильно похудел и неплохо выглядел. Холеный, аккуратно подстриженный — ну чем не молодой преуспевающий колумбийский бизнесмен?

Слушание дела длилось дольше обычного — около трех часов. Открыв заседание, судьи пригласили обвинителей изложить суть дела. После них выступил защитник; затем, для опровержения его доводов, снова поднялся обвинитель; и, наконец, защитник выступил «с вторичным возражением». Судьи задали несколько вопросов, но это уже было чистой формальностью. Все ответы содержались в толстых томах судебных архивов, ознакомиться с которыми судьям предстояло позже.

Закрыв заседание, судьи совещались целую неделю. И 24 сентября вынесли решение. Иск США был единогласно (3—0) отклонен из-за его «политической подоплеки». Очоа надлежало отправиться в Колумбию и предстать перед судом за ввоз быков.

В решении говорилось: «При удовлетворении ходатайства США на оценку степени виновности подсудимого могут повлиять политические мотивы». Суд также нашел неубедительными доводы США «о причастности к делу правительства Никарагуа», поскольку «вражда между правительством США и правительством этой центральноамериканской республики общеизвестна».

Адвокаты Очоа выиграли, выставив «антиимпериалистический» козырь, дискредитировав Сила и проявив стремление отдать своего подзащитного Колумбии. Но обвинители подали апелляцию, и — невероятно, но факт! — 21 января 1986 года суд пересмотрел свое решение и согласился выдать Очоа Соединенным Штатам. На этот раз напряженные отношения между США и Никарагуа уже «не являлись юридически обоснованным препятствием для выдачи преступника». Очоа обвинялся в контрабанде наркотиков, а это «не политическое преступление». Защита тут же обжаловала решение суда.

18
«ВАС ТРЕБУЕТ ДЯДЮШКА СЭМ»

После ареста Хорхе Очоа ценность Берри Сила для правительства США неизмеримо возросла. Если Очоа выдадут США, Сил окажется единственным свидетелем его преступлений. Самое крупное дело за всю историю борьбы с наркобизнесом без Сила

просто рассыпалось бы. Однако судебные чиновники в Батон-Руже и Новом Орлеане не оставили попыток обвинить его в преступлениях, которые он совершил в Луизиане прежде, чем стал осведомителем во Флориде. В Луизиане Сила знали как хитрого, наглого ловкача. Он водил за нос полицию в Батон-Руже и ввозил в штат тонны кокаина. Зато во Флориде Сил был раскаявшимся в прошлых грехах осведомителем, ценнейшим тайным агентом. Кстати, образы эти вовсе не противоречили друг другу. Луизианский прокурор говорил о Силе так:

— В Майами этого парня ставят высоко, да это и понятно — без него они как без рук. Ну а мы, в Батон-Руже, считаем его самым грязным наркодельцом Луизианы, что тоже верно.

Агенты УБН обычно проводят тайные расследования с помощью осведомителей. Порой федеральные прокуроры вербуют их среди осужденных наркодельцов. Некоторые предлагают свою помощь сами, боясь Большого федерального суда, где свидетели дают показания под присягой и их могут бросить в тюрьму, уличив в малейшей лжи.

В августе 1984 года Сил узнал, что Большой федеральный суд в Батон-Руже втягивает в дело его дружков. Верный себе, Сил перешел в наступление. И для начала попытался заручиться поддержкой своих майамских покровителей. Поступок вполне логичный, поскольку судебное преследование Сила вовсе не было на руку агентам УБН и прокурорам на юге Флориды. Сил-преступник в Луизиане мог очернить Сила-свидетеля во Флориде. Однако луизианским прокурорам было что вменить Силу в вину, и они твердо намеревались довести дело до суда. Ситуация сложилась донельзя запутанная, причем Луизиана, Флорида и Сил преследовали каждый свои цели.

Сил задумал признать свою вину в Луизиане, с тем чтобы судьи двух штатов совместили сроки приговора. Это был единственно возможный выход — чтобы и волки остались сыты, и овцы целы. Решение этой задачи взял на себя Томас Д. Склафани, один из адвокатов Сила. Переговоры, однако, вскоре зашли в тупик, и трения между Луизианой и Южной Флоридой усилились. Сил был осведомителем УБН в Майами, а государственная полиция Луизианы по-прежнему считала его контрабандистом и, уверенная, что он ввозит в штат наркотики, не сводила глаз с его авиафирмы в Батон-Руже. Одному из дружков Сила объяснили напрямую, что Берри Сила они раздобудут любым путем, даже кокаин не постесняются ему в колесо подложить.

Сил всегда был не прочь потягаться силой с полицией, а уж узнав об их кознях, он не на шутку рассвирепел. И придумал от отчаянья свой собственный план. В сентябре 1984 года он связался с Джоном Кэмпом, уголовным репортером второго канала местного телевидения. Он поведал тележурналисту о тайном расследовании, которое он предпринял для майамских агентов УБН и ЦРУ. И заодно напел ему о происках луизианской прокуратуры. Кэмп слушал недоверчиво. Но многое из того, что говорил Сил, подтвердилось.

Разнесся слух, что Кэмп снимает о Силе документальный фильм. И тут же переговоры юристов пошли на лад. В ноябре 1984 года Стэнфорд Бардвелл, главный прокурор Центрального округа Луизианы, встретился с Силом и его адвокатами — Льюисом Англсби из Батон-Ружа и Томасом Склафани. Стороны порешили, что Сил признает себя виновным на суде в Батон-Руже, а срок ему назначат не больший, чем определил для него в Форт-Лодердейле судья Рётгер за контрабанду. Сроки не суммируются, и, отсидев первый, Сил выйдет на свободу. А судья Рётгер под давлением федеральных агентов как раз собирался изменить приговор. Не сидеть же десять лет осведомителю УБН! Луизианские прокуроры были довольны: Сил проведет за решеткой не меньше трех лет. А Сил тоже радовался: он снова был «на ты» с законом.

Он согласился признать себя виновным по двум пунктам. Во-первых: вхождение в сговор для завладения 210 килограммами кокаина с целью дальнейшего их распространения. Во-вторых: уклонение от регистрации переводов по четырем вкладам в различные банки Батон-Ружа на общую сумму в 51 006 долларов и 4 цента. По первому пункту он получит такой же срок, как от Рётгера. По второму пункту — за отмывание денег — тюремные сроки не предусматривались. Окружному судье из Батон-Ружа Фрэнку Полоцоле придется выпустить Сила. Он должен будет определить лишь условия освобождения.

20 ноября документальный фильм Кэмпа под названием «Вас требует дядюшка Сэм» показали по второму каналу в Батон-Руже.

— Берри Сил непостижим и загадочен,— говорил Кэмп с телеэкрана.— С одной стороны, он тесно сотрудничал в Майами с агентами УБН. Он — главный свидетель по крупнейшему делу за всю историю борьбы с наркотиками. Но в то же время здесь, в своем родном Батон-Руже, этот заслуженный пилот подвергся разнузданным и, как он утверждает, несправедливым нападкам защитников закона.

Следом на телеэкранах появился Сил — в темных очках и военной летной форме. Говорил заносчиво и интригующе.

— Я не занимаюсь контрабандой накротиков,— заявил он.— Докажите, что я вру! Ну, где ваши доказательства? Если вы такие хорошие, лучшие в мире сыщики, а я самый — ну просто самый! — главный преступник на свете, почему же я до сих пор гуляю? Главным преступникам от закона не уйти!

Сил обвинил луизианских агентов УБН в том, что они просили навести их на большую партию кокаина, а когда он отказался, стали клеить ему дело.

— Начинали они нежно,— рассказывал Сил.— «Ну, помоги нам взять наркотик! Заложи партию! Отдай груз. Мы тебя прикроем». А потом пошло круче: «Ах, не хочешь? Ну мы тебя найдем!» Ну, я им и ответил: «Дерзайте! Стукните ночью мне в кабину, когда я лечу со скоростью километров эдак триста двадцать в час. Стукните и скажите: «Вы арестованы». Слабо? Шалите, братцы. Ни во что вы меня не впутаете».

Кэмп дополнил его рассказ. Он подробнейшим образом осветил федеральное расследование в Луизиане, где следователи из кожи вон лезли, чтобы выставить Сила крупным контрабандистом. Стэнфорду Бардвеллу этот фильм, должно быть, показался кошмарным сном.

— Я полагаю, что расследование мистера Бардвелла зашло в тупик,— сказал Сил.— Уверен, что у него нет никаких доказательств.

Сил обвинил местных следователей в том, что они вынуждали людей к лжесвидетельству перед лицом Большого суда присяжных. И привел в пример своего дружка, которого заставляли дать на Сила «любой компромат».

Дальше — хлеще.

— Я верю, что федеральные власти состоят, по большей части, из честных людей. Но местные власти Центрального округа Луизианы переусердствовали. И это их подвело — они преступили границу между добром и злом, между истиной и ложью.

Телезрителям Сил представился знатоком летного дела и поведал о своей богатой приключениями жизни.

— За бурную, интересную жизнь приходится платить сполна. Нельзя проторчать всю жизнь в Батон-Руже, по будням таскаться на службу, отсиживать там от звонка до звонка, по субботам ходить на футбол, а по воскресеньям — в церковь и рассчитывать при этом на интересную жизнь. Настоящая, полнокровная жизнь всегда сопряжена с риском, с угрозой смерти. Называйте меня рыцарем фортуны, кем угодно называйте, но я эту жизнь ни на что не променяю.

Кэмп спросил Сила, насколько верны слухи об обещанном за его голову вознаграждении. Вроде бы братья Очоа обещали 350 тысяч?

— Джон, при такой работе рискуешь каждую минуту. Поэтому и платят за нее неплохо. Ну, а волков бояться — в лес не ходить. Я никого не боюсь. Пускай охотятся за моим скальпом. В конце концов, чему быть, того не миновать.

Кэмп подытожил сказанное.

— Наш фильм не защищает и не обвиняет. Мы преследовали совсем иные цели. Да, образ жизни Сила подозрителен. И он выбрал такую жизнь сам. Его связи с поставщиками кокаина, его участие в головокружительных операциях ЦРУ и УБН создали ему некий ореол таинственности. Он утверждает, что этот ореол и превратил его в мишень для ревностных сыщиков.

Мы неоднократно обращались к федеральному прокурору Бардвеллу и другим официальным лицам. Мы просили их прокомментировать нарушения в ведении следствия. Быть может, обвинения Сила голословны? Но юристы отказались отвечать на наши вопросы и крайне отрицательно отнеслись к тому, что Сил получил возможность высказать свои претензии во всеуслышанье. Однако претензии Берри Сила и его друзей к федеральным властям выходят далеко за рамки данной конкретной ситуации. Ущемление свободы личности, давление на свидетелей, пренебрежение к процедуре суда присяжных — все это ставит под сомнение безупречность нашей системы правосудия. Такие вопросы требуют ответа — не важно, кто их задает!

Этот фильм поставил луизианских следователей в крайне неловкое положение. Отказ Бардвелла давать интервью представил дело в совершенно определенном свете. Льюис Англсби считал, что Сил практически «объявил войну федеральным властям — сам навлек на себя беду».

19
МАКС

«Вас требует дядюшка Сэм» смотрели не только луизианские федеральные власти. Вскоре частный батон-ружский сыщик отправил видеозапись фильма в Медельин, семейству Очоа.

Через несколько дней в северном пригороде Майами появился коренастый инженер по имени Макс Мермелстайн. Остановился он в доме колумбийца Рафаэля (Рафы) Кардоны Салазара. Мермелстайн работал на Кардону — торговал кокаином. Когда он прибыл, в доме находились его шеф и несколько других колумбийцев, среди них — Карлос Аранго, по кличке Кумбамба,— самый страшный убийца в Майами. Был там и некий Кано, приехавший из Медельина с видеозаписью. Братья Очоа послали Кано в Штаты, чтобы он убрал Эллиса Маккензи. Ведь тот, кого они принимали за Маккензи, собирался выступить свидетелем против Хорхе Очоа и Пабло Эскобара.

Рафа Кардона включил видеомагнитофон, и втроем — Рафа, Кано и Макс — они уселись у экрана. Тогда-то Макс впервые узнал, что настоящее имя Маккензи — Адлер Берриман Сил.

Просмотрев фильм, они стали прикидывать, где искать Сила. Кано несколько раз летал с ним вторым пилотом, возил из Колумбии наркотик. Он знал адрес Сила в Батон-Руже; знал, на каких машинах ездят его жена и секретарша; знал его излюбленные рестораны. Кокаиновые короли предпочли бы получить Сила живым и предлагали за похищение миллион. Ну, а если не выйдет... Тогда Сил должен замолчать. За убийство Сила Фабио Очоа и Пабло Эскобар обещали полмиллиона.

Тут до Макса дошло, что убить Сила предлагают именно ему. Выбор пал на него, оттого что он — американец. Колумбийцы в Батон-Руже — гости залетные, подозрительные. И Макс согласился. Он чувствовал, что за отказ сам поплатится жизнью.

Рафа Кардона позвонил в Колумбию и передал Максу трубку. Фабио Очоа поблагодарил его за согласие и пожелал удачи. Затем трубку взял сам Эскобар и тоже сказал Максу «спасибо». Затем снова Фабио: спросил, не нужно ли денег на расходы. Макс не отказался. Сколько? На их усмотрение.

После телефонного разговора Кано напомнил Максу, что Сил женат и у него есть малолетние дети. Макс возмутился. Он не детоубийца!

— Кто знает, как повернется дело? — сказал Рафа.— И никуда ты тогда не денешься.

Для Медельинского картеля Макс Мермелстайн был «на все руки гринго». Детство Макса прошло в Бруклине, а его жизненный путь оказался извилист и тернист. В тринадцать лет он, по настоянию отца, начал работать. «Чтобы понял, что деньги не валятся с неба». За учебу с тех пор платил сам. В 1963 году он окончил Общественный колледж в Нью-Йорке, получив степень бакалавра прикладных наук. Работал инженером-консультантом, но ему наскучило сидеть целый день за письменным столом. Занялся торговлей, продавал обогреватели и вентиляторы. Потом наскучило и это. В начале семидесятых годов, после развода, переехал в Пуэрто-Рико, желая начать жизнь заново. Спустя шесть лет получил должность главного инженера отеля «Принсес» во Фрипорте на Багамах.

К тому времени Макс женился на колумбийке, с которой познакомился в Пуэрто-Рико. Чтобы помочь ее семье, он занялся нелегальной переправкой беженцев через Багамы в США.

В 1978 году переехал в Майами — главным инженером загородного клуба «Авентура» («Приключение»). А колумбийцы продолжали проникать в Штаты по проторенной им тропе. Среди них оказался и Рафа Кардона — бывший медельинец лет двадцати пяти. Приехав в США, Рафа зашел к Максу, рассказал, что занимается контрабандой кокаина, и потихоньку втянул Мермелстайна в преступный бизнес.

Однажды паренек по имени Фабио оставил у Макса килограмм наркотика для Кардоны. Макс принял его тогда за старшеклассника — панкующего, длинноволосого.

Он красиво, без просторечных словечек говорил по-испански и был прекрасно воспитан.

Вскоре Максу случилось попасть вместе с Кардоной в притон контрабандистов. Кардона приехал за очередным килограммом и оставил Макса в машине. Но тут появился Фабио в сопровождении еще одного человека и пригласил Макса в дом. И там в одной из комнат Рафа показал Максу два контейнера с небывалым — по меркам 1978 года — грузом. Там было несколько сот килограммов кокаина.

Лишь покинув притон, Макс узнал, что длинноволосый паренек — важная птица, один из братьев Очоа. А клан Очоа — крупнейшие в мире наркодельцы. Фабио ведает майамской сетью сбытчиков. Кардона как раз на него и работает.

Несколько месяцев Макс был на побегушках: сюда килограмм, туда килограмм. В канун Рождества все изменилось. В тот день Мермелстайны принимали гостей у себя дома, в западном пригороде Майами. Был и Рафа. Гости уже разошлись, но Рафа вдруг вернулся с приятелем-сбытчиком по кличке Чино (Метис). Выпили еще, понюхали кокаин. Потом Рафа попросил Макса отвезти их домой.

Макс сел за руль белого фургона Рафы, и они покатили по пустынным пригородным улицам. Рафа сидел возле Макса, а Чино сзади. Рафа и Чино беспрестанно пререкались. Выяснилось, что в тот же вечер, на другом сборище, Рафа выстрелом в упор убил человека — за невпопад сказанное слово. Чино утверждал, что Рафа сглупил.

Оружие у Рафы было всегда под рукой. Он вдруг развернулся и разрядил в Чино свой револьвер 38-го калибра.

— Я только вспышки видел,— вспоминал позже Мермелстайн.— Нога точно приросла к педали, жму газ и жму — так и гоню без остановки.

В конце какого-то проулка все же остановились и выкинули труп в чистом поле. Рафа объяснил, что в одном из грузов недоставало трех килограммов кокаина. В воровстве подозревали Чино и еще одного парня.

— В сущности, с этого дня я стал пешкой в его руках. Ведь он убил Чино при мне, а меня не тронул. По-моему, он все продумал заранее.

Макс и Рафа на время убрались из Майами. Рафа отправился в Медельин, а Макс — в Нью-Йорк. Там он тоже служил колумбийцам верой и правдой, зная, что за ним наблюдают.

Минуло два года, и, наконец, в феврале 1981 года Рафа призвал Макса обратно в Майами: пускай Макс на него поработает. В апреле 1981 Макс побывал на встрече «в верхах», проходившей на асьенде «Веракрус». Молодой кокаиновый король Хорхе Очоа был столь предупредителен к гостю, что Макс почувствовал к нему искреннее расположение. Очоа умел найти подход к любому, и никто ему ни в чем не отказывал.

Вернувшись в Майами, Мермелстайн стал координатором контрабандных полетов. До конца 1981 года — за семь месяцев — он принял от Очоа девятнадцать тонн с тридцати восьми самолетов. По крайней мере раз в неделю он говорил по телефону с самим Хорхе Очоа: назначали время полетов, подсчитывали доходы, решали проблемы сбыта и сбора денег. В январе 1982 года Мермелстайн и Рафа присутствовали на встрече в Кали, где обсуждались будущие лаборатории в Транкиландии. Там-то впервые Макс и услышал о летчике Маккензи. Этому гринго предстояло перебросить для картеля огромный груз. Наркодельцы называли Маккензи Эль Пахарито — Птичка.

У Макса тоже была своя транспортная группа — соперники Маккензи. Он сколотил ее из американских летчиков и владельцев моторных катеров, заключив с ними — от лица Рафы — договор на переброску кокаина. Они начали действовать в сентябре 1982 года. Брали в Колумбии груз на борт своего единственного самолета «Пайпер-Навахо» и сбрасывали его в прибрежные воды багамского острова Лонг-Кей. Там плавающие мешки втаскивали на борт катеров и со скоростью в 150 км/ч мчали в Майами. Через 45—50 минут под покровом темноты катера проскальзывали в Бискайский залив. С одиннадцатого этажа одного из зданий на набережной их высматривал в бинокль наблюдатель. В Майами у группы имелся свой центр связи, позволявший самолетам и катерам работать слаженно. Связисты, к тому же, знали частоты, на которых работает полиция, и могли предупредить любую опасность. Операции проходили без сучка без задоринки.

В Майами Макс передавал кокаин сбытчикам, собирал выручку и получал от Рафы около полумиллиона в год, хотя ежедневно ворочал куда большими суммами. За три года он принял от своих колумбийских хозяев около тридцати пяти тонн нар-

котика и отправил в Колумбию более двухсот миллионов долларов. Жил Макс хорошо, но особенно не роскошествовал. Дом на Голден-Бич обошелся ему в 350 тысяч, яхта стоила 80 тысяч, машина — 30. Кроме того, у него было тысяч на 30 драгоценностей, несколько мелких предприятий и 275 тысяч лежало «в чулке». Но Макс все же чувствовал себя не богачом, а хорошо оплачиваемым рабом. И несколько раз порывался завязать.

Рафа, однако, был неумолим:

— Сесть за решетку или подохнуть. Третьего не дано.

Однажды к Максу наведались Рафа и Кумбамба — громила, работавший на клан Очоа. Кумбамба принес черный дипломат. Внутри оказался автомат МАК-10 с глушителем. Хитроумный механизм позволял стрелять, не открывая портфеля. Для ствола сбоку была проделана дыра, которую сверху прикрывала визитная карточка. Серийный номер оружия стерли, чтобы не опознала полиция. Рафа хотел испробовать оружие около бассейна. Но Макс не позволил. Вместо этого он притащил из гаража пластиковый охладитель для пива и, наполнив его водой до половины, сунул туда пять телефонных книг. Отнес это сооружение за гараж и предложил Рафе в него пострелять. Рафа вынул МАК-10. Самодельный глушитель сделал выстрел практически беззвучным. Послышался лишь легкий хлопок от удара бойка. Однако МАК-10 оказался слишком мощным для примитивного пулепоглотителя. Несколько пуль, пробив пластиковую обшивку и все пять книг, угодили в стену. Переезжая несколько месяцев спустя на новую квартиру, Макс предусмотрительно заклеил и замазал дыры.

20
СОКРУШИТЕЛЬНЫЕ УДАРЫ

Максу никогда не приходилось убивать людей. Пообещав убрать Сила, он пребывал теперь в крайнем затруднении. Но вскоре нашлись помощники. Один дружок-контрабандист давно предлагал свои услуги, если Макс захочет свести с кем-нибудь счеты. Макс рассказал ему о контракте, показал видеозапись «Вас требует дядюшка Сэм». И дружок заверил, что обо всем позаботится.

Некий молодой колумбиец принес Максу сто тысяч — картонную коробку, доверху набитую двадцатидолларовыми бумажками. Деньги прислал на расходы Фабио Очоа.

В конце января 1985 года Макс вместе с человеком, которого сосватал его дружок-контрабандист, вылетел из Майами в Луизиану — на поиски Берри Сила. Они нашли почти все рестораны, указанные Кано, но не нашли ангар с вертолетами. Да и рестораны вызывали сомнение: может, не те? Макс вызвал Кано на подмогу. Приехав в Батон-Руж, колумбиец мгновенно показал дом Берри Сила, его авиаконтору, рестораны, где он бывает. Нашли белый «кадиллак» Сила. Потратив целый день, обнаружили и вертолеты. Самого Сила, однако, нигде не было. Так ни с чем и вернулись в Майами.

А колумбийцы, похоже, заподозрили, что Макс тянет время. Однажды Рафа и Кумбамба зашли к нему на работу в магазин импортной обуви, который он открыл в «Отеле Четырех Послов» в Майами. Рафа желал узнать, отчего Максу никак не удается выловить Сила. Ведь братья Очоа и Пабло Эскобар требуют результата с него, Рафы.

Макс посоветовал Рафе набраться терпения. Тот ушел. А Кумбамба остался. Он грустил. Его обошли! Предложили такой контракт другому! Узнав от Макса, сколько стоит голова Сила, Кумбамба расстроился еще больше. А почему, собственно, у Макса это дело не ладится? Какие трудности?

Макс рассказал, что Сил живет на отшибе. Лишь одна дорога упирается в его дом, дальше — тупик. При таком раскладе придется вырезать всех, кто окажется в доме, а Максу неохота мараться.

Кумбамбе такие трудности были нипочем.

Макс сказал, что не вправе передать контракт другому без разрешения. Пускай Кумбамба сам поговорит с Рафой, Очоа и Эскобаром. И Кумбамба решил непременно это сделать.

Макса Мермелстайна арестовали 5 июня 1985 года. Брала его группа специального назначения УБН, куда входили и федеральные и местные агенты. Макс ехал на своем «Ягуаре» по малонаселенному западному предместью Форт-Лодердейла. Сдался он безропотно. «Вроде бы даже с облегчением»,— вспоминали потом агенты. При обыске в доме, где он проживал с женой и двумя детьми, обнаружили двадцать пять огнестрельных единиц, 73 тысячи долларов во встроенном сейфе и 200 тысяч — в дорожной сумке под кроватью.

Рафа, успев предупредить Макса о грозящем им обоим аресте, смылся в Колумбию. А Макс предпочел остаться. Он чувствовал слежку уже три месяца, но настала пора умывать руки, а единственный способ выйти из игры, оставшись при этом в живых,— арест.

Постановление о привлечении Мермелстайна и Рафаэля Кардоны к уголовной ответственности было утверждено в Лос-Анджелесе в начале 1985 года, когда осведомитель УБН связал их имена с контрабандным ввозом наркотика в Калифорнию. Мермелстайн обвинялся в управлении постоянно действующим преступным предприятием. Наркодельцы боялись такой формулировки как огня, она влекла за собой пожизненный срок без права на сокращение и условное освобождение. Провести остаток дней за решеткой Максу не улыбалось. Оставалось только одно — заговорить.

И он заговорил, оказавшись даже лучшим осведомителем, чем Берри Сил. Сил был всего-навсего летчиком, извозчиком. Мермелстайн же входил в самый узкий круг доверенных лиц. Он указал следователям путь в самые глубины организованной преступности, провел их по нехоженным доселе тропам. На допросе он в присутствии присяжных детально описал, как и почему Медельинский картель захватил в свои руки весь наркобизнес. Назвал всех картельщиков — в том числе клан Очоа и Пабло Эскобара. Подсчитал среднемесячное поступление кокаина: от Рафы — 1 тонна, от Фабио Очоа — полторы, от Эскобара — две. Мермелстайн рассказал и о группе, заправлявшей в Кали,— о втором могущественном наркосиндикате с хитроумной контрабандной технологией: кокаин прятали в носовом конусе самолетов компании «Истерн эйрлайнз».

Макс говорил безостановочно. У него оказалась феноменальная память на имена, названия мест и даты. Его второй допрос собрал массу зрителей. Прибыли агенты УБН из Форт-Лодердейла, Майами и Кливленда. Прислали своих людей ФБР и таможня. Прибыл Эл Синглтон из уголовного отдела Дейдской окружной полиции. Показания Макса интересовали всех, они всем помогли связать оборванные, разрозненные нити следствия воедино. Специально для Синглтона Мермелстайн рассказал о расстреле в Дейдленде и даже назвал одного из колумбийцев, сидевших в белом грузовичке. Большим откровением для агентов УБН было и то, что в каждом шаре с кокаином, оказывается, есть бумага с фамилией поставщика, но найти ее можно, лишь аккуратно распаковав наркотик. Макс назвал и имя главного координатора сбыта на юго-востоке США.

Его рассказ ошеломил слушателей.

Мермелстайн выдавал секреты картеля, а Берри Сил тем временем продолжал истово работать на УБН — несмотря на тучи, сгустившиеся над его головой. 24 января 1985 года Сил подстроил арест девяти колумбийцев с 90 килограммами кокаина в Лас-Вегасе. Это была самая крупная партия кокаина, захваченная в Неваде.

Не прошло и месяца, как Силу вновь повезло, на сей раз в Майами. Он отвалил двадцатитысячную взятку Норману Сондерсу, главному министру британских островов Теркс и Кайкос, расположенных к югу от Багам. В благодарность министр должен был обеспечить беспрепятственный транзит для кокаиновых грузов.

Сцену передачи денег тайно засняли на видеопленку. Вскоре Сондерс и еще два высокопоставленных чиновника были арестованы. Впервые иностранного главу правительства арестовали по обвинению в связях с наркомафией, выдвинутому в США.

28 июня 1985 года Сил сдался судебным исполнителям для отбывания десятилетнего срока, к которому его приговорил в Форт-Лодердейле судья Рётгер.

Поскольку жизнь Сила была в несомненной опасности, ему предстояло сидеть не в обычной камере, а в безмолвии подземелья. Согласно «Программе защиты свидетелей государственного обвинения» Сила поместили в келье с кроватью, телевизором и ванной комнатой, без окон, в полной изоляции от внешнего мира. Тут он провел пятьдесят дней. К нему никого не пускали, еду приносили в комнату. Жена Сила Дебби при-

везла детей за две с половиной тысячи километров повидаться с отцом, но — впустую: членов семьи не включили в список допускаемых к Силу лиц. Свободолюбец Сил не терпел никаких уз, и уединение тяготило его безмерно.

Жизнь ограничилась для него залом суда. Летом 1985 года он был в Майами главным свидетелем по делам о наркокоррупции на островах Теркс и Кайкос и в Никарагуа, а также по делу о захвате кокаина в Лас-Вегасе. В Майами он свидетельствовал в присутствии помощника главного прокурора штата Дика Грегори. Грегори было под сорок. Черноглазый, впечатлительный, он воспитывался в детстве у иезуитов и восставал против наркодельцов всем своим естеством. От преступлений картеля он пришел в ярость. И предупредил Сила, чтоб рассказывал все без утайки: все должно быть в распоряжении государственных обвинителей.

— Берри, если ты упустил хоть что-то, пусть даже мелочь, эти защитники тебя просто распнут. Мне нужно знать все! — говорил Грегори.

Сил оказался безукоризненным свидетелем, с энциклопедической точностью выкапывал он из памяти подробности контрабандных операций. Такому свидетелю позавидовал бы любой адвокат, это признали крупнейшие юристы по уголовному праву, сидевшие в зале на первом суде — по делу «Теркс и Кайкос».

— Этот парень — золото,— сказал Джей Хоган, один из лучших майамских защитников.

Сил и присяжных привел в восторг. В итоге все подсудимые, в том числе и Норман Сондерс, получили обвинительный приговор.

По никарагуанскому делу проходили Карлос (Лито) Бустаманте, Лизардо Маркес Перес, Феликс Бейтс и Пауль Этцель. В обвинительной речи прокурор Грегори назвал ответчиков членами «одной из крупнейших кокаиновых организаций в мире». Сил давал показания два дня кряду и раскрыл всю подноготную никарагуанской аферы. На исходе первого дня Бустаманте и Бейтс признали себя виновными. А потом к ним примкнули и остальные. Лишь Этцель так и не изменил «невиновен» на «виновен». Он единственный досмотрел суд до конца, но присяжные все же признали его виновным. Бустаманте и Маркес получили по сорок лет, Бейтсу дали двенадцать, Этцелю — девять. Сразу же после оглашения приговора их перевезли в тюрьму строгого режима в Атланте. А Сил отправился в Лас-Вегас. Там он добился семи обвинительных приговоров. За три процесса Сил засадил за решетку семнадцать человек.

21
НАДУВАТЕЛЬСТВО

Прожженный ловкач Берри Сил в конце концов переловчил самого себя.

Сначала все складывалось неплохо: опять он вывернулся, опять сгладил все трения с правоохранительной системой, опять показал кукиш своим луизианским недругам. В декабре 1984 года, через месяц после демонстрации фильма «Вас требует дядюшка Сэм», прокурор Стэнфорд Бардвелл огласил обвинительное заключение на пресс-конференции в Батон-Руже.

Бардвелл всячески превозносил заслуги следствия, хотя оно лишь выполняло соглашение с Флоридой. Но Бардвелл мечтал восстановить свое доброе имя и репутацию своего ведомства, утраченные по вине телевизионщиков. Он даже не упомянул о том, что Сил признал себя виновным, зато многажды повторил, что «сложнейшее расследование, обнажившее преступную сущность Сила», длилось год и три месяца. На конференции, однако, присутствовал тележурналист Джон Кэмп. И снова этот неуемный репортер обесславил Бардвелла.

— Существует ли негласное соглашение, которое гарантирует, что мистер Сил не получит в Батон-Руже большего срока, чем он уже получил во Флориде? — спросил Кэмп.

— Ответить на подобный вопрос я пока не вправе,— сказал Бардвелл.

Кэмп заключил, что Бардвелл не знает об обещаниях, данных Силу в Майами. Ведь там, благодаря его заслугам перед УБН, готовился пересмотр приговора. Силу обещали, что он не проведет за решеткой ни дня.

Представ в январе перед судом в Батон-Руже, Сил признал свою вину по всем пунктам. Окружной судья Фрэнк Полоцола, будучи близким другом Бардвелла, спро-

сил Сила о заявлениях, сделанных с телеэкрана. Его особенно интересовали якобы противоправные действия судебных властей в Центральном округе Луизианы. На этот раз Сил благоразумно держал язык за зубами.

24 октября 1985 года Берри Сил снова предстал во Флориде перед судьей Рётгером. Согласно Предписанию 35 судье предстояло решить, можно ли сократить срок осужденному. Таким способом американское законодательство благодарит осведомителей за помощь, которую они оказывают государству.

К этому времени Берри Сил стал воистину знаменитостью — самым известным стукачом в истории УБН. Один, без помощников, он провел крупнейшие расследования и дал затем блистательные свидетельские показания против арестованных с его подачи людей. Он проявил большую личную смелость и неоднократно рисковал жизнью.

Неудивительно, что свои показания дали представители самых разных полицейских ведомств. Агент Боб Джаура выступал от майамского УБН.

— УБН считает расследование деятельности клана Очоа самым значительным из всех, предпринятых нами когда-либо,— заявил Джаура.— Мне приходилось работать с разными осведомителями. Но никогда не встречал я лучшего, чем мистер Сил. Он множество раз давал показания, и я не услышал от него ни слова неправды. По-моему, сделав выбор, он уже не отступался и преданно служил интересам государства. Я полагаю, что он вполне осознал пагубное влияние, которое оказывает кокаин на структуру американского общества, то есть понял, какой ущерб наносил он своей стране, занимаясь контрабандой наркотика. Думается, что, сотрудничая с УБН, он пытается в какой-то мере восполнить этот ущерб, исправить ошибки прошлого.

Выслушав Джауру и других представителей от правоохранительных органов, судья Рётгер заговорил. Вспомнил первый суд, когда он приговорил Сила к десяти годам заключения.

— Обвиняемый показался мне тогда умным, хитрым и совершенно аморальным. Все свидетельствовало о том, что Сил — воплощение зла. Никакие посулы обвиняемых, никакие их обещания не трогают обычно мое сердце. Порой я сокращаю сроки. Но на свободу выпускаю лишь тех, чья помощь государству поставила на карту их собственную жизнь. За такой риск надо отблагодарить соответственно. Поэтому я сокращаю срок Адлера Берримана Сила до уже отбытого им к настоящему моменту.

Сил вышел из зала суда свободным человеком.

Законники из Батон-Ружа были в ярости. Больше всех разозлился судья Фрэнк Полоцола, ревнитель буквы закона,— поскольку приговор, вынесенный Рётгером, связал ему руки. Он не имел права приговорить Сила к большему сроку, чем Рётгер. А значит, Сил не проведет за решеткой ни дня.

20 декабря 1985 года Сил предстал перед судьей Полоцолой. Сопровождал его лишь один адвокат, Льюис Англсби. Полоцола разразился гневной тирадой в адрес Рётгера.

— Я и предполагать не мог, что флоридский суд освободит мистера Сила. Я ни-когда не пошел бы на это соглашение. И я по-прежнему считаю, что таким людям, как вы, мистер Сил, самое место в тюрьме, на тяжелых каторжных работах. Вы должны трудиться на благо страны в самый жестокий мороз, в самый палящий зной! И то не искупить вам вины за тот яд, которым вы травите людей.

Затем Полоцола изложил условия освобождения. Нарушив хотя бы одно, Сил угодит в тюрьму на пять лет. Во-первых, Сил обязан был испрашивать разрешение судьи для выезда за пределы Луизианы. Это относилось к любой поездке, даже по заданию УБН. На Сила наложили штраф в 35 тысяч долларов и лишили телохранителей, которых он нанял для защиты от картеля. Сил запротестовал, но судья Полоцола ответил:

— Вы знали, на что идете, мистер Сил.

Затем судья перечислил еще целый ряд обычных в таких случаях условий. Самое главное он припас под конец.

— И последнее условие пробации. Ответчик обязан на шесть месяцев поселиться в Центре Армии спасения по адаптации бывших заключенных по адресу: Луизиана, Батон-Руж, Авиационное шоссе, 7361.

К такому повороту событий Сил и Англсби не подготовились. О Центре адаптации никто прежде не заикался. Берри Сила превращали в легкую добычу для картеля.

Англсби возмутился:

— Это надувательство.

— Ошибаетесь,— возразил Полоцола.— Перечитайте второй пункт соглашения.

— Я его читал,— сказал Англсби.— Я знаком с этим соглашением весьма подробно. Собственно говоря, я его и составил. И тюремного заключения он не предусматривает.

— А это вовсе не тюремное заключение,— парировал Полоцола.

Сил попался в судебную ловушку. Подписывая соглашение, луизианские юристы вовсе не собирались отдавать судьбу Берри Сила на откуп Рётгеру из Форт-Лодердейла. Пообещав не превышать срока, на который осудит Сила Рётгер, они, во втором пункте, оставили за собой право определить условия освобождения. Тогда это выглядело вполне невинно, но луизианские законники предвидели, что Рётгер может Сила выпустить. И на суде в Батон-Руже ловушка захлопнулась.

Англсби заявил, что непременно опротестует решение суда.

Полоцола ответил:

— Отлично! Буду очень рад расторгнуть нашу договоренность!

Он предложил Силу отказаться от своего признания сразу же.

Судья положил Сила на обе лопатки. Отказавшись от заявления, Сил окажется беззащитен! Ведь он признал свою вину по всем пунктам. Бардвелл покинул зал, торжествующе улыбаясь. Он одолел Берри Сила. Покинул зал и частный сыщик, нанятый кланом Очоа.

После заседания суда Льюис Англсби спросил одного из помощников Бардвелла, известно ли им, сколько сделал Сил для майамского УБН.

— Знаете, что он ответил?! — пересказывал позже Англсби.— «Так то во Флориде. А для нас, в Батон-Руже, он ничего не сделал».

Всю жизнь контрабандист Сил бравировал своим умением перехитрить закон. До встречи с судьей Полоцолой он не проиграл ни одного раунда. Ввозил в Луизиану тонны кокаина, хотя постоянно был под колпаком у полиции. Когда агенты УБН и следователи прокуратуры захотели упечь его в тюрьму сразу в двух точках США, он снова вывернулся: стал осведомителем, причем условия сделки диктовал сам.

В Никарагуа Сил оставил в дураках Хорхе Очоа и Пабло Эскобара, крупнейших наркодельцов в мире. Он одурачил Карлоса Ледера и Федерико Воэна. Над всеми взял верх! А теперь свобода, которая была так близка, начала вдруг ускользать.

Берри Сил не сразу отправился в Центр адаптации Армии спасения. Его адвокаты потребовали пересмотра решения суда. Повторное слушание назначили на 24 января 1986 года. Но за три дня до этого произошло нечто, бросившее на ситуацию новый свет. Испанский апелляционный суд удовлетворил иск США о выдаче Хорхе Очоа. Глазаря наркодельцов в Майами ждал суд, и Сил — единственный свидетель государственного обвинения — стал теперь стократ ценнее для федеральных властей и стократ опасней для Медельинского картеля.

Томас Склафани, майамский адвокат Сила, написал ходатайство об «изменении» условий освобождения, выдвинутых Полоцолой. Он назвал Сила «уникальным, наиважнейшим для США свидетелем обвинения». В ходатайстве утверждалось, что приговор Полоцолы «создает угрозу для жизни Сила, особенно в преддверии суда над Очоа в Майами».

Склафани настойчиво напоминал судьям, что над головой Сила занесен топор. Согласно контракту его убийца получит полмиллиона, а похититель — миллион долларов.

Но ходатайство о пересмотре судебного решения в Луизиане отклонили:

«Федеральные власти не усматривают связи между проживанием мистера Сила в Центре адаптации Армии спасения с угрозой для его жизни. Здесь он рискует не больше, чем в собственном доме в Батон-Руже». Судья Полоцола лично сообщил Склафани, что Силу придется сдаться на следующий день в 13.00.

Склафани упрекнул судью, что его совершенно не заботит, убьют Сила или нет. Склафани вспоминал, что судья притворился обиженным и, раскрасневшись, хрипло заорал:

— Послушайте, ваш клиент клевещет на меня! Он говорит репортерам, что судья Полоцола не способен настоять на своем. Так вот, передайте вашему клиенту — пускай

поостережется клеветать на судью Полоцолу перед телекамерой! Его надо проучить!

Склафани заметил, что ученье вряд ли пойдет впрок, поскольку Сил наверняка не переживет этот урок.

На следующий день Сила прямо из зала суда отправили в Центр адаптации. Ни собраться, ни повидаться с семьей он не успел.

22
ЦЕНТР АДАПТАЦИИ

Все считали, что в Центре адаптации Берри Сил не задержится. Это было бы нелепо. Сил — ценнейший свидетель, не станут же власти, в самом деле, подставлять его под пули. Однако Сил твердо решил отбыть в Центре положенные полгода и стать свободным человеком. Он полагал, что колумбийцы его не тронут. «Они деловые люди, а не олухи!» — говорил он, чувствуя себя в Батон-Руже в относительной безопасности. Появление колумбийцев в этих краях не пройдет незамеченным.

Сил отмечался в Центре в шесть часов вечера. Днем он был предоставлен самому себе, главное — вернуться ночевать. Большую часть времени Сил проводил у адвокатов. Оценив на суде свои доходы от контрабанды наркотиков в 75 миллионов, Сил тут же столкнулся со множеством налоговых проблем.

Через две недели после переезда Сила в Центр адаптации трое мужчин вылетели из Медельина через Панаму в Мексику. Затем они тайно пересекли границу США. Спустя четыре дня в гостинице неподалеку от Нового Орлеана под своим собственным именем поселился Бернардо Васкес — колумбиец, постоянно проживавший в Хайали, к северу от Майами. Еще через четыре дня появился и Кумбамба. Он взялся убрать Сила с дороги картеля, то есть выполнить контракт Мермелстайна, еще в мае 1985 года. Но тогда, согласно «Программе защиты свидетелей», Сила упрятали в подземелье. Теперь Кумбамба дождался лучших времен. И действовал без промедления, поскольку суд грозил самому Хорхе Очоа.

Под именем Мигеля Велеса Кумбамба тоже поселился в отеле «Хилтон», в номере 312. На следующий день прибыла и медельинская группа, а Васкес купил серый «бьюик» 1982 года выпуска. В тот же вечер Васкес и один человек из медельинской троицы отправились в Батон-Руж и сняли в мотеле «Джей» номер 228, из окон которого отлично просматривалась автостоянка Центра адаптации, расположенная неподалеку.

На следующий день Васкес по своей кредитной карточке взял в прокатной фирме «Авис» красный «кадиллак-де-вилль». А 19 февраля в магазине мужской одежды «Энтониз» он купил три бейсбольные шапочки и два клетчатых плаща. В тот же день Кумбамба и Луис Карлос Кинтеро Крус из медельинской тройки запарковали «бьюик» на автостоянке Центра адаптации, неподалеку от больших белых ящиков для одежды и обуви, пожертвованных в фонд Армии спасения. Ящики находились посреди стоянки. Свидетели вспоминали, что Кумбамба и Кинтеро Крус что-то бросили в ящики, а потом Кумбамба сел обратно в машину. Он курил и поджидал Берри Сила.

В то утро, 19 февраля, Сил встал по обыкновению рано и в семь утра уже отправился по делам. Обедал он дома, с Дебби и сыновьями, а к шести вернулся в Центр адаптации и, проехав мимо серого «бьюика», поставил свой белый «кадиллак» на свободное место за ящиками для пожертвований. Они прикрывали его, пока он выходил из машины. До дверей было пятнадцать шагов.

Память свидетелей не подвела. Действительно, незадолго до шести часов Крус положил в ящик нечто, завернутое в клетчатый плащ. И остался у ящиков с пустыми руками — этакий праздно шатающийся благотворитель. Он ждал Сила.

Когда тот открыл дверцу машины, Крус мгновенно выхватил сверток из ящика и, отбросив плащ, рванулся с МАК-10 в руках наперерез Силу. За две секунды он выпустил двенадцатизарядную очередь. Несмотря на глушитель, выстрелы хлопали громко, точно праздничные шутихи. Крус стрелял в упор, до Сила было не больше полуметра. Все пули прошли навылет: четыре через череп, пятая — через плечо, шестая — через грудь.

Зажав руками уши, точно пытаясь защититься от грохота выстрелов, Сил упал навзничь обратно на сиденье.

Майор Бенни Льюис находился в здании Центра. Услышав стрельбу, он подбежал к «кадиллаку» и склонился над Силом.

— Берри! Слышишь меня? Ответь! — кричал Льюис.

Но Сил не ответил.

Берри Сил погиб сорока шести лет от роду.

Да, конечно, колумбийцы в Батон-Руже непременно вызвали бы подозрение. Но они налетели внезапно и застали Сила врасплох... По тревоге поднялись все силы ФБР. Не прошло и двух суток, как шестеро колумбийцев были арестованы по обвинению в убийстве.

Расстреляв Сила в упор, Кинтеро Крус вскочил в «бьюик». Один из свидетелей заметил, что он передал МАК-10 Кумбамбе. Тот вырулил со стоянки, едва не сбив еще одного свидетеля. Зато третий успел отлично рассмотреть Кумбамбу, даже заметил, что водитель «бьюика» был в зеленых штанах, какие носят хирурги.

Проехав метров четыреста, преступники бросили «бьюик» возле Центра детского досуга. Мотор работал, МАК-10 валялся на полу машины. А колумбийцы, смеясь, пересели в красный «кадиллак».

На другой стороне улицы оказались два свидетеля с профессиональной памятью — помощники шерифа. В свободное от службы время они охраняли здесь игроков в бинго. Полиция получила детальное описание преступников.

Агенты ФБР перекрыли в аэропорту все входы и выходы. Проверили все списки гостей в отелях — искали латиноамериканцев. Преступники выказали удивительную беспечность: почти все поселились под своими собственными именами, а Васкес даже пользовался своей кредитной карточкой для аренды машины.

В половине восьмого Васкес и еще один колумбиец расплатились за гостиничные номера. «Кадиллак» поставили на стоянку в Новоорлеанском аэропорту в 8.36.

В 8.45 два агента ФБР заметили, что к кассе «Истерн эйрлайнз» приближается латиноамериканец. И явно нервничает. На прямой рейс до Майами билетов не было. Агенты спросили, кто он и откуда. Он прикинулся наивным путешественником, потерявшимся в незнакомом городе. Предъявил паспорт на имя Мигеля Велеса. К тому времени агенты еще не располагали показаниями свидетелей: о зеленых хирургических штанах они не знали. Оснований для ареста не было, и Велеса пришлось отпустить. Он сказал, что поедет в гостиницу и возьмет там такси до другого аэропорта. Через пятнадцать минут агенты получили по рации описание преступников и поняли, что одного они только что упустили. Обзвонили все гостиницы. Да, действительно, Велес взял такси. Дорожная полиция бросилась на поиски.

Ночью, в двадцать минут третьего, в штате Миссисипи неподалеку от Меридиана, патрульный офицер обнаружил на шоссе такси с заглохшим мотором. Авария редкая: сбили оленя. Офицер обыскал пассажира в зеленых штанах. В его карманах оказались 3270 долларов почти сплошь двадцатидолларовыми бумажками и ключи от красного «кадиллака». Мигель Велес — Кумбамба — был немедленно арестован.

Бернардо Васкес ночевал у друга на конспиративной квартире в Алжире, неподалеку от Нового Орлеана. Он не подозревал лишь одного: друг его работал на ФБР. Наутро Васкеса арестовали. Кинтеро Круса взяли в Марреро, на другой конспиративной квартире.

На следующий день после убийства Сила главный прокурор Стэнфорд Бардвелл провел пресс-конференцию.

— Он заслуживал наказания. Заслуживал,— повторял Бардвелл снова и снова.

— Вы хотели его проучить? — возмущенно крикнул телерепортер Джон Кэмп, которому дословно передали угрозы Полоцолы.

Лицо Бардвелла на миг исказилось.

— Конечно. Только проучить... Не убить же! — добавил он — пожалуй, чересчур поспешно.

Хоронили Сила после арестов. Его близкие положили в гроб телефонную книжку и кучу монет для телефонов-автоматов. Пускай уж останутся с ним... Преподобный Джо Херстон прочел эпитафию, которую Сил давно выбрал и вписал в свою Библию:

«Ловец удачи из лихой породы тех, кто добыл Америке величье». Ни один из тех, на кого работал крупнейший в истории УБН осведомитель, не пришел на его похороны. В Вашингтоне решили, что для Сила это неподобающая честь.

Через четыре месяца после убийства Сила помощник главного прокурора Дик Грегори и Эл Уинтерс, шеф новоорлеанского уголовного отдела министерства юстиции, наведались в бункер в пригороде Майами. Его называли обычно «подводной лодкой», поскольку обитатель жилища не мог бы сказать наверняка, где он: под землей или под водой. Окон в бункере не было. Так оберегали в Южной Флориде Макса Мермелстайна — единственного теперь свидетеля против Хорхе Очоа и Пабло Эскобара, важнейшего из оставшихся в живых осведомителя УБН.

Смерть Сила потрясла Мермелстайна. У каждого из его гостей имелись веские причины навестить Макса. Грегори перестраивал дело против Хорхе Очоа, поскольку рассчитывать на показания Сила уже было нельзя. К тому же в Испании, благодаря тонкой игре адвокатов Очоа, снова засомневались, выдавать ли его Штатам. Ну а на долю Уинтерса выпало расследование убийства Берри Сила в Батон-Руже. Теперь он рассказывал подробности убийства, а Макс курил сигарету за сигаретой. Услышав, что Сила застрелили из МАК-10, Макс забросал Уинтерса вопросами. Глушитель есть? Номер стерт? Да!

— Я его опознаю. К тому же его опробовали в моем доме.

На Голден-Бич, в бывший дом Мермелстайна, немедленно послали агентов ФБР. Под штукатуркой в толще стены они обнаружили пять пуль 45-го калибра. Точно такие же пули прошили насквозь Берри Сила. Показания Макса накрепко связали Медельинский картель с убийством Сила. Основываясь на них, Большой федеральный суд присяжных в Батон-Руже постановил привлечь к уголовной ответственности Фабио Очоа, Пабло Эскобара и Рафаэля Кардону. Их обвиняли в участии в заговоре с целью убийства Берри Сила. Налицо попрание гражданских прав личности.

23
ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ

Однажды в августе 1985 года в кабинете члена Верховного суда Алфонсо Патиньо во Дворце правосудия в Боготе раздался телефонный звонок.

— Мы требуем, чтобы вы объявили соглашение о выдаче преступников незаконным,— произнес чей-то голос.

— Что-что? — недоверчиво переспросил Патиньо.— Кто вы?

— Мы требуем, чтобы вы объявили соглашение о выдаче преступников незаконным.

Гудки... Все это по меньшей мере странно. Что за люди? Откуда у них его личный телефон? Сначала судья решил не волновать Марию Кристину, но не удержался.

— Веди себя осторожней! — велел он жене.

— Кого мне бояться? — спросила она.

Патиньо ответил, что, возможно, все дело не стоит выеденного яйца. Дело в том, что суд как раз сейчас рассматривает вопрос о конституционности двустороннего соглашения о выдаче преступников. Многие преступники, особенно торговцы наркотиками, боятся, что их выдадут американцам. Впрочем, все это не его забота. Он обязан следить за соблюдением законов.

В начале сентября Патиньо получил три письма. Они в точности повторяли текст, услышанный им по телефону. Имелась и подпись: «Те, кого вы хотите выдать». Коллегам по Конституционной палате Верховного суда Патиньо ни словом не обмолвился о письмах. А жене сказал:

— У меня неприятности. Измени свои ежедневные маршруты, не сообщай мне по телефону, куда и когда ты едешь, и будь очень, очень осторожна.

Алфонсо и Мария Кристина были скорее возмущены, чем напуганы. Семейство Патиньо принадлежало к высшим кругам консервативной знати, предки судьи безупречно служили на благо государства многие поколения. Преступный мир был от них весьма далек.

14 сентября пришла вторая пачка писем. Два получил Алфонсо на работе, а три вынула из почтового ящика Мария Кристина. Все они начинались одинаково: «¡ Hola, Perro!» — «Здорово, собака!» Те-кого-вы-хотите-выдать сообщали Патиньо, что знают «о его жизни все». На приложенной к одному из писем кассете были записаны разговоры Алфонсо с женой. Супруги отправились в министерство юстиции. К судье приставили четырех сотрудников службы госбезопасности, Мария — служащая министерства иностранных дел — тоже получила телохранителя. Патиньо поинтересовался у коллег, оказывают ли им подобное внимание. Выяснилось, что звонили и писали всем двадцати четырем членам Верховного суда. Один судья даже получил сувенир — крохотный изящный гробик с его именем, выгравированным на медной пластинке.

Третью пачку писем супруги Патиньо получили 15 октября. Все они пришли на домашний адрес и были адресованы лично Марии Кристине. «Убедите мужа аннулировать соглашение. Помните, мы те же, кто убрал Лару Бонилью. Никакие телохранители вас не спасут — ни десять, ни сто».

Судья с женой теперь сидели по вечерам дома, и Алфонсо предложил Марии Кристине ездить на работу самой, а не в одной с ним машине.

В начале ноября, во вторник, Алфонсо, придя с работы, сообщил жене, что соглашение о выдаче преступников значится в завтрашней повестке дня Конституционной палаты. В ту ночь супруги Патиньо так и не смогли уснуть. Утром оделись, позавтракали, поговорили о каких-то пустяках. Затем, поцеловав жену, Алфонсо сел в машину.

— Побереги себя сегодня,— сказал он напоследок. Было утро 6 ноября.

На заре кокаиновых войн конфликты между кокаиновыми баронами и представителями правосудия разрешались в частном порядке: подкупали полицейских, а в случае ареста — и судью, который вел дело. Чтобы закрыть дело, крупный наркоделец выкладывал кругленькую сумму в песо, равную 30 тысячам американских долларов. Позже ставки возросли до 50 тысяч. Если же судья взяток не брал, контрабандисты пытались его запугать или платили судебным писарям и те выкрадывали папку с документами. Если же не помогало ничего — судью попросту убивали. Ну как еще прикажете поступить с честным судьей?

Когда бароны превратились в королей, угрозы в адрес судей зазвучали сплошь и рядом. К 1985 году картель твердо знал, что самым слабым звеном в колумбийской системе борьбы с наркотиками является именно суд. Судьи были перегружены работой, им мало платили, их плохо охраняли. И к 1985 году судьи тоже твердо заучили простое правило, которое один молодой прокурор сформулировал так: «Хочешь жить — бери пятьдесят тысяч».

Соглашение о выдаче усложняло ситуацию. Одно дело — поладить с родным, сговорчивым колумбийским правосудием, и совсем иное дело — оказаться в стране, где говорят по-английски и чтят судей точно наместников Бога на земле. Правовая система США в корне отличается от колумбийской, и большинство колумбийцев считали ее безжалостной и беспощадной. Гринго непременно засудят колумбийца за наркотики, засадят за решетку на веки вечные!

С такой глыбой картелю привычными методами не справиться — слишком все чуждое, иностранное. И с 1982 года, когда соглашение вошло в силу, они начали неистовую борьбу за признание документа неконституционным. Но правительство Бетанкура не уступало. К сентябрю 1985 года американцам выдали шестерых, еще девять наркодельцов находились под арестом, а еще 105 ордеров на задержание было подписано в Колумбии по искам Соединенных Штатов. Министр юстиции Парехо Гонсалес по-прежнему стойко поддерживал соглашение и говорил, что сотрудничество с американцами «идет на лад».

Медельинский картель, похоже, это почувствовал и решил покончить с соглашением одним махом. Тогда-то и родилась идея нападения на Верховный суд.

6 ноября 1985 года в 11.40 утра, возле уродливой четырехэтажной каменной коробки Верховного суда на главной столичной площади — Плаца Боливар — остановился крытый грузовик, и оттуда выскочили примерно тридцать пять партизан, вооруженных пулеметами, автоматами и пистолетами. Они принадлежали к «М-19». За несколько минут они целиком захватили здание, а в нем — двести пятьдесят заложников, включая Главного судью Алфонсо Рейеса Эчандию и почти всех из двадцати че-

тырех членов Верховного суда. Алфонсо Патиньо и другие члены Конституционной палаты заседали в конференц-зале на третьем этаже, они как раз обсуждали соглашение о выдаче.

Более суток сотни пехотинцев, полицейских и десантников атаковали Дворец правосудия, пытаясь выбить оттуда партизан. Борьба, казалось, была неравной. У солдат — и танки, и ракеты, и вертолеты. Они применяли их ничтоже сумняшеся, оставляя в мощной каменной кладке глубокие шрамы. Но партизаны продумали операцию досконально. Их люди в штатской одежде заполнили все этажи суда еще до появления ударной группы. Стрелков хватило на каждое окно, на каждый вход. Но самое главное, они вытащили на лестничные площадки столы и шкафы и установили на них тяжелые пулеметы. С этих огневых точек простреливалось все пространство внутри и снаружи, и шквальный огонь легко пресекал любую попытку полиции и армии проникнуть внутрь здания. Партизаны при этом не рисковали ничем. Борьба быстро зашла в тупик.

Иесид Рейес Алварадо узнал о захвате Дворца правосудия по радио. И молодой юрист попробовал позвонить отцу, Главному судье Алфонсо Рейесу Эчандии, прямо из своей конторы на севере Боготы. В трубке послышались частые гудки. После нескольких неудачных попыток он позвонил в соседний с отцовским кабинетом секретариат. Перепуганные секретарши полувнятно объяснили, что с отцом все в порядке, телохранители от него не отходят, и к ним, на четвертый этаж, партизаны пока не добрались.

Перезвонив через полчаса, Иесид услышал примерно то же самое. Но потом он услышал в трубке страшный грохот, девушка вскрикнула:

— Они сейчас пробьют стену! — и бросила трубку.

Еще час спустя Иесид в конце концов прорвался по отцовскому личному номеру. Кто-то зло заорал в трубку:

— Передайте полиции, чтоб не стреляли!

— Кто это? — спросил Иесид.— Я хочу говорить с отцом.

Отец взял трубку. Сказал, что рядом с ним Луис Отеро, командир партизан. Он руководит налетом. Рейес говорил очень спокойно:

— Со мной все в порядке, но если бы полиция прекратила...

И снова голос Отеро:

— Если они через пятнадцать минут не прекратят стрелять, мы тут сдохнем все вместе.

Позвонив в полицию, Иесид предложил начать переговоры. Потом снова набрал номер отца. Отеро буквально обезумел, орал что-то неразборчивое. Правительство не желало вести переговоры, отказывалось даже выслушать осажденных во Дворце партизан.

Дальше по коридору, съежившись на полу своего кабинета, лежал судья Умберто Мурсия Баллен. С каждой минутой страх сжимал его сердце все сильнее. Когда во Дворец ворвались партизаны, он решил, что они постреляют в воздух, размалюют стены, побьют стекла да и уберутся восвояси. Потом подоспели солдаты, и Мурсия ждал, что вот-вот начнутся переговоры. Но вместо мирных переговоров во Дворце то и дело свистели пули. Несколько лет назад Мурсия потерял ногу, а в первые минуты осады шальная пуля угодила ему в протез. Теперь он вовсе не мог передвигаться. Впрочем, пока это и не нужно. Лучше сидеть тут, носа не высовывать и никому не напоминать, кто он такой и как зарабатывает себе на жизнь.

В семь часов вечера начались пожары. После осады некоторые члены колумбийского правительства и официальные лица из американского посольства будут утверждать, что поджигали Дворец партизаны — с целью сжечь все протоколы о выдаче преступников. Правительственная оппозиция заявит, что пожар устроили сами полицейские, желая уничтожить документы о деятельности батальона смерти и о прочих неблаговидных делах службы безопасности.

Хотя огонь и в самом деле поглотил все архивы, обвинения той и другой стороны в поджоге звучат не очень правдоподобно. Помещения Дворца разделялись деревянными перегородками — достаточно искры, не говоря о сотнях людей с ручными гранатами и трассирующими пулями, которые девять часов кряду ведут непрерывную перестрелку. Пожар был неизбежен.

Дым в конце концов выкурил судью Мурсию из его убежища. Охваченный ужасом, он, задыхаясь, прополз по коридору четвертого этажа до лестницы и сдался на ми-

лость партизан. Его запихнули в туалетную комнату, где уже копошились на полу шестьдесят заложников. Мурсия окончательно уверился, что смерть недалека.

Около полудня следующего дня началось решительное наступление. К тому времени в туалетную набились все: и заложники, и партизаны — полуживые и мертвые. Отчаявшись, партизаны велели заложникам встать и пинками и тычками погнали к дверям. Мурсии помогли подняться, и, поддерживаемый под руки, он доковылял до двери. Там заложников встретили взрывы гранат. Оглушенный, окровавленный судья Мурсия снова упал. Почти все, кто шел с ним, были мертвы. Партизаны спустили трупы, а заодно и Мурсию, с лестницы. И ушли. Подождав немного, Мурсия спрятался в подвале. Он знал, что в вестибюле стоит армейский танк. С огромным трудом он преодолел один пролет и увидел солдат. Собрав последние силы, судья выпрямился и, подняв руки вверх, закричал:

— Не стреляйте!

Во Дворце правосудия погибло не менее девяноста пяти человек. Среди них — Главный судья Рейес с двумя телохранителями и партизанский командир Луис Отеро. Алфонсо Патиньо и остальные члены Конституционной палаты были убиты все до единого — вероятно, в числе первых. Погибли одиннадцать членов Верховного суда. И, по-видимому, все партизаны. Кроме того в перестрелке погибли одиннадцать солдат и полицейских и еще тридцать два человека: помощники судей, секретарши, адвокаты и случайные посетители.

Дни Бетанкура на президентском посту были сочтены. Этого ужаса страна ему никогда не простит. Когда-то он своей крутой хваткой завоевал почет и любовь, теперь его упрекали за жестокость. Почему правительство даже не попыталось начать переговоры? Оставшиеся в живых судьи, а среди них и Умберто Мурсия, осудили правительство за паралич ума и воли.

Министр юстиции Парехо Гонсалес высказал предположение, что захват Дворца — дело рук картеля. Но кроме него ни один член правительства не заявил этого во всеуслышание. Поначалу колумбийцы решили, что идею о причастности картеля подкинуло само правительство, чтобы отвлечь общественное мнение от собственной несостоятельности. Но позже люди определенно уверились, что без картеля тут не обошлось. А через год любой колумбиец на ответственном государственном посту будет утверждать, что наркоторговцы оплатили и благословили захват Дворца правосудия, что это была их совместная акция с партизанами «М-19».

Впрочем, такое послесловие Бетанкуру не помогло. 10 ноября он держал речь на скорбной мессе в память погибших судей. А спасшиеся судьи туда демонстративно не пошли — они объявили президенту бойкот.

24
ЗАКАТ БЕТАНКУРА

В феврале 1986 года президенту Белисарио Бетанкуру оставалось до отставки меньше полугода. За последние несколько месяцев доверие граждан к его правительству сильно пошатнулось. Через восемь дней после кровавой сечи во Дворце правосудия в стране случилось новое несчастье. Селевой поток и лава, образовавшиеся в результате мощнейшего извержения вулкана, похоронили город Армеро, который стоял в долине реки Магдалена. Погибло двадцать две тысячи жителей. В Боготе сначала просто не осознали масштабов трагедии, а когда организовали спасательные отряды, было уже поздно. Нещадная критика со всех сторон сыпала соль на гнойные политические раны Бетанкура.

К 1986 году картель вступил в открытый конфликт с правительством и от угроз перешел к методичному уничтожению любого колумбийского ведомства, любой организации, не угодившей наркодельцам или ставшей им поперек дороги. Картель мог безнаказанно убить любого, убийц почти не преследовали. Работа судьи стала смертельно опасна. Судья Фернандо Урибе Рестрепо, сменивший Алфонсо Рейеса Эчандию на посту Главного судьи, через четыре месяца — в марте — подал в отставку: картель угрожал ему расправой. По этой же причине уйдет в отставку в январе 1987 года и следующий Главный судья — Немесио Камачо Родригес. 31 июля 1986 года убийцы

на мотоциклах покончили с судьей Эрнандо Бакеро Бордой — последним из старой гвардии, которая боролась за соглашение о выдаче преступников не на жизнь, а на смерть.

В середине года один из бывших судей так обрисовал печальное положение в колумбийском судопроизводстве: «Год назад о месте судьи мечтал каждый юрист, а теперь все прячутся — лишь бы ему не предложили место».

Картелю удалось скомпрометировать всех: суд, политические партии, конгресс и полицию.

Несмотря на это, Америке продолжали выдавать преступников, и министр юстиции Парехо Гонсалес продолжал неумолимо преследовать контрабандистов при полной поддержке Бетанкура. К концу 1986 года число выданных преступников достигло тринадцати, всех — кроме одного — США затребовали за махинации с наркотиками.

А главарям по-прежнему удавалось уйти. Пабло Эскобар и Гонсало Родригес Гача довольно часто наведывались в Медельин. Карлос Ледер тоже появлялся то здесь, то там, но, в основном, скрывался в джунглях. Хорхе Очоа сидел за решеткой в Испании, однако его сеть сохранилась и действовала безупречно — братья Очоа стояли у руля.

Картельщики были неуловимы, хотя присутствие их ощущалось постоянно. И больше всего они желали отменить соглашение о выдаче преступников. Правительство же упрямилось и на уступки не шло. В 1986 году по стране прокатилась волна страшных убийств. И все так или иначе были связаны с пресловутым соглашением. Захват Дворца правосудия оказался лишь увертюрой к большой многоактной опере.

Начался год с вендетты в Медельине. По слухам, дело было так: огромный груз, принадлежавший семейству Очоа, попал в Америке в руки полиции. А картельщики по какой-то причине отказались выплачивать страховку мелким пайщикам. Рассвирепевшие пайщики попытались бороться с картелем его же оружием: похищали людей и держали — пока должники не вернут деньги. А если те отказывались платить, заложников убивали. Самыми крупными жертвами среди членов картеля стали Родриго Пардо и Пабло Корреа Арройаве, оба — зятья Хорхе Очоа. Первый был похищен, а второй убит прямо на улице.

Насилие давно уже стало для медельинцев частью их повседневной жизни, но теперь город буквально превзошел сам себя. В 1985 году здесь было зарегистрировано 1698 убийств — самый высокий показатель на душу населения для государства, где в целом за тот же год произошло 11 000 убийств — тоже гораздо больше, чем в любой другой стране, не охваченной гражданской войной. (В США, где жителей в десять раз больше, чем в Колумбии, произошло в 1986 году лишь 16 000 убийств.)

Но 1986 год затмил в Медельине и эти достижения. Основной причиной смерти мужчин в возрасте от 15 до 40 лет стало убийство. Из 1155 случаев, зарегистрированных в городе за первые полгода, 80,4% убийств совершено огнестрельным оружием. К концу года Медельин побьет все рекорды: 3500 убийств! По десять каждый день!

Правоохранительные силы города были парализованы. В Боготе шутили, что на «двадцать тысяч нераскрытых убийств в Медельине открыто лишь двадцать дел по обвинению в убийстве».

В Испании тем временем шел неспешный суд над Хорхе Очоа — даже не шел, а полз по лабиринту законов, за которыми большинству колумбийцев было просто не уследить. Как и ожидалось, постановление Национального суда в пользу выдачи Очоа Соединенным Штатам не поставило в деле точку. Защитники подали ответное прошение, обвинив прокурора в неконституционных действиях.

31 января 1986 года суд принял ходатайство защиты о пересмотре дела и 12 февраля постановил выдать Очоа уже не США, а Колумбии. Американцы чувствовали, что на этот раз Очоа вывернется и, одурачив гринго, отбудет в Колумбию.

25 мая 1986 года колумбийские избиратели назвали нового президента страны. Им стал кандидат от либералов Вирхилио Барко Варгас. Получив 58% голосов, он намного обогнал своего соперника — консерватора. Барко — невзрачный инженер с дипломом Технологического института штата Массачусетс — был известен своей честностью, деловыми способностями и дружескими отношениями с США. Считалось, что он ярый борец с наркомафией и ярый сторонник соглашения о выдаче преступников. Но Барко, как и Бетанкур, недооценил Медельинский картель, не понял, что органы правосудия в стране загнаны в капкан, не почувствовал, что торговцы наркотиками покушаются на саму государственную систему страны.

Слева направо: Льюис Тамз, Джонни Фелпс, Белисарио Бетанкур.

После выборов картельщики затеяли новую серию убийств. С леденящей кровь настойчивостью они преследовали все ту же цель: напугать противников и вынудить законодательные органы к отмене соглашения о выдаче преступников. 16 июля был убит Луис Роберто Комачо, корреспондент «Эспектадор» в Летиции. Этот журналист давно вел борьбу с наркодельцами, которые взяли в свои руки все операции местной торговой палаты. А две недели спустя был убит судья Бакеро. 30 августа в городе Барранкабермеха на реке Магдалена мотоциклисты застрелили второго конгрессмена от коммунистической партии Леона Посаду Педрасу. 1 сентября другая группа убийц-мотоциклистов застрелила сенатора Педро Нела Хименеса, представителя левацкой партии «Патриотический союз». Он как раз садился в самолет, чтобы лететь на похороны Посады. Примерно в это же время в Кали два снайпера застрелили около дома ответственного редактора газеты «Оссиденте» («Случай»), который был решительным сторонником выдачи преступников и введения смертной казни для наркодельцов. А через два дня после захвата двухсот килограммов кокаина, спрятанных в шасси самолета авиакомпании «Авианка эйрлайнз», мотоциклисты убили начальника охраны, руководившего рейдом.

Из эпицентра кровопролития удалось тайно вывезти министра юстиции Парехо Гонсалеса, который занимал этот пост после убитого Лары Бонильи. В сопровождении сильной охраны он отправился в Венгрию в ранге посла. Двумя годами ранее Бетанкур пытался укрыть Лару Бонилью в Праге, но не успел. Парехо Гонсалесу, похоже, повезло больше.

13 июля 1986 года после двадцати месяцев, проведенных в тюрьме, после шести независимых судебных процессов и череды хитроумных ходатайств и апелляции Хорхе Очоа вернулся на родину. Едва самолет приземлился в аэропорту «Эльдорадо» в Боготе, Очоа перевезли в штаб службы госбезопасности — взять отпечатки пальцев и сфотографировать. Старик Очоа плакал от радости:

— Я так счастлив, что сына вернули домой. Я думаю, это по-справедливости.

Испанский Национальный суд разрешил предпоследний (пятый по счету) процесс в пользу Колумбии, поскольку ее запросы в конце концов приобрели в глазах испанцев больший вес, нежели запросы США. Они сочли, что сначала Очоа лучше отправиться в Картахену и предстать перед судом за нелегальный ввоз быков в Колумбию в 1981 году. Затем он переедет в Медельин — на суд по обвинению в контрабанде наркотиков через Никарагуа. Дальше, по идее, ему грозила высылка в Штаты.

То, что никарагуанская история расследуется в Медельине, было Очоа на руку. Ведь в Южной Флориде против него выставили точно такие же обвинения. Значит, и высылать его незачем. Нельзя же дважды судить за одно и то же.

Очоа отвезли в Картахену, и 1 августа он впервые в жизни предстал перед колумбийским судом. Таможенный судья Фабио Пастрана Ойос признал его виновным в незаконном ввозе быков и предписал ему ждать суда присяжных за решеткой.

Министр юстиции Парехо Гонсалес, который тогда уже собирался выехать из Боготы в Будапешт, прекрасно знал, что́ поставлено на карту. И министр сделал все, чтобы перекрыть Очоа все законные пути к спасению. Главное, послал судье Пастране наказ: не выпускать знаменитого преступника ни под каким видом.

Оставив все наставления, Парехо Гонсалес отбыл в Будапешт; правительство Бетанкура уже сидело на чемоданах, а 7 августа состоялась церемония инаугурации нового колумбийского президента, Вирхилио Барко. С собой он привел целый сонм мошенников-бюрократов.

15 августа судья Пастрана приговорил Очоа к двадцати месяцам тюремного заключения. Впрочем, неведомым для страны образом, Хорхе Очоа вышел из-под стражи еще до судебного заседания. Выяснилось, что за два дня до суда Пастрана выпустил Очоа под залог в 2,3 миллиона песо (11 500 долларов) при условии, что он будет отмечаться каждые две недели. Пастрану убили 21 августа, за шесть дней до первого срока явки. Отмечаться Очоа и не подумал.

25

СМЕРТЬ ПОЛКОВНИКА

25 января 1986 года в разведывательном отделе колумбийской национальной полиции в Боготе появился пожилой человек, известный сотрудникам как надежный осведомитель, тесно связанный с медельинскими партизанами из «М-19».

В тот день его сообщение касалось Пабло Эскобара. По его словам, два месяца назад Эскобар заключил контракт на убийство некоего полковника полиции. И собирался выложить крупную сумму — 25 миллионов песо (152 000 долларов) плюс все расходы. Известны и исполнители: медельинская группа «бригады Рикардо Франко» — левые, крайне жестокие экстремисты. Непосредственно осуществить убийство полицейского поручили Карлосу Эспиносе Осорио по кличке Куко — Лис. Еще его называли «смертных дел мастером».

По данным осведомителя, Эскобар дал Лису задаток в 2 миллиона песо (12 000 долларов). Ударная группа приобрела на эти деньги четыре пистолета 9-го калибра, один револьвер для патронов «магнум» и один автомат МАК-10. Все это хранилось в багажнике «рено», который стоял около дома в городке Чиа — северном пригороде Боготы. Дом этот был одной из «берлог» Пабло Эскобара.

Осведомитель не знал предполагаемую жертву, однако знал, что у Эскобара и Лиса собрана о нем куча сведений. Поставлял их лейтенант полиции, «пользующийся особым доверием полковника» и продавший это доверие за 5 миллионов песо (30 000 долларов). Лис знал, что полковник собирается прослушать курс в школе для генералитета с 25 числа «неизвестного месяца»; что отдел полиции по борьбе с наркотиками устроил ему прощальный вечер в офицерском клубе в Боготе; что к северу от столицы у него есть дача; что ездит он на «тойоте»-фургоне...

Он перечислял все новые и новые данные, полицейские все тщательно записывали, но имя жертвы им было уже ясно: Хайме Рамирес Гомес.

31 декабря 1985 года Рамирес ушел на повышение. В феврале после сорокадневного отпуска он приступил к работе. И пребывал в эти дни в чудесном расположении духа, горделиво поглядывая на всех вокруг. Ему было чем гордиться. За три года его люди из отдела по борьбе с наркотиками захватили двадцать семь тонн кокаина, арестовали 7941 мужчину и 1405 женщин, конфисковали 2783 грузовых и 1060 легковых автомобилей, 83 лодки и 116 самолетов. 54% кокаина, захваченного во всем мире в 1985 году, приходилось на долю его отдела.

В 1985 году отдел признали лучшим в полиции. Рамиресу светило повышение в звании и в должности. Он, перескочивший через класс в Высшем военном колледже, должен был вскоре стать генералом. Никто в мире не знал наркобизнес лучше Рамиреса, его донимали звонками из Лимы и Вашингтона — отовсюду обращались к полковнику за советом.

Донимал его и Медельинский картель, желавший убрать с дороги неуемного полицейского. Неудивительно, что Эскобар пообещал убийцам такие деньги. Рамирес лишил его во много раз больших сумм — пускай теперь расплачивается головой. Операция предстояла сложная — быть может, самая сложная за всю историю картеля. Они покусились на жизнь выдающегося профессионала, который наверняка узнает о

заговоре и изыщет способ себя надежно защитить. Однако Эскобар был не прочь потягаться силой с Рамиресом.

Эскобар пригласил в долю и других главарей картеля: месть стоит недешево, но ее жаждали и Карлос Ледер, и Гонсало Родригес Гача, потерявший в Транкиландии миллионы.

Ледер, вероятно, был заинтересован в смерти Рамиреса больше всех. Полковник преследовал его нещадно, гнался за ним буквально по пятам. И дважды почти настиг. В апреле 1985 года несколько десятков полицейских из отдела по борьбе с наркотиками совершили рейд в льянос. За пять дней прочесали огромную территорию, обнаружили шесть поселений, опросили множество людей. Да, все тут принадлежит Ледеру. Да, он тут был, но очень недолго. Короче — старая история: громи лаборатории, забирай имущество, жги кокаин. А хозяина опять ищи-свищи.

Но все же Ледер немало претерпел от полиции. В одном из его загородных домов изъяли переговорные устройства и 355 килограммов кокаина, зарытых в саду. В другом — нашли 1 678 680 долларов наличными в картонных коробках из-под рома. В третьем — обнаружили немецкий паспорт Ледера и арестовали его любовницу и девять дружков.

После апрельского рейда Ледер перебрался в джунглях в другое место — на виллу под названием «Абундансия» («Изобилие»). Осведомители сообщили Рамиресу, что Ледер занимается тяжелой атлетикой, гоняет на мотоцикле и непрерывно нюхает кокаин. 5 августа 1985 года люди Рамиреса совершили налет на «Абундансию». И разминулись с Ледером на какие-то секунды. Арестовали двух его подружек. По их показаниям, Ледер убежал в сторону реки Ува — в красном нижнем белье и с автоматом в руках. Дом оказался битком набит важными бумагами, фотографиями и прочими следами «человека-невидимки». Переписка Ледера с защитником наркоторговцев, юристом из Боготы Пабло Салой, наглядно раскрыла главную заботу Ледера: он — и это совершенно естественно — стремился наладить отношения с правосудием и выбраться из джунглей.

Сала обращался к Карлосу «Дорогой Чарли», утешал его и поучал. Велел Ледеру «попридержать язык». «Все твои беды начались, когда ты втравился в политику. Теперь надо словно бы умереть, стать призраком, чтоб тебя забыли и гринго, и колумбийцы... Богатым надо не умирать. Богатым надо быть и жить — как прежде».

Рамиресу пока не удавалось настичь Ледера, но уже год он гнал его по краю пропасти. В сентябре 1985 года фотография косматого, полубезумного Ледера обошла все редакции Боготы. Он под псевдонимом Рэмбо примкнул к партизанам. Впрочем, Ледер интересовал газетчиков лишь постольку, поскольку за ним охотился сам Хайме Рамирес.

В феврале 1986 года Рамирес с женой Хеленой и сыновьями Хайме (Хими) и Хавьером переехали на территорию Политической академии им. генерала Сантандера в Боготе. Рамиресу, как полковнику со стажем, полагалась служебная квартира, но им двигали главным образом соображения безопасности.

Гарнизонная жизнь тяготила и во многом ограничивала, но была сравнительно безопасна, а Рамирес хотел уберечь семью. Самому же ему предстояло ездить каждый день по столичным улицам — в генеральскую школу и обратно.

Впрочем, Рамирес до поры не особенно беспокоился. Но разговор с пожилым осведомителем встревожил его всерьез. Проверив знаменитыми пятью-шестью вопросами достоверность информации, полковник расстроился, и весьма. «Этот человек не врет,— сказал Рамирес своим домашним.— Он говорит чистую правду».

Хайме Рамирес в корне изменил образ жизни. Следующие восемь месяцев он ездил в генеральскую школу на бронированном «форде-ЛТД», который предоставило ему УБН. Он вооружился револьвером 38-го калибра и МАК-10 и носил пуленепробиваемый жилет. У шофера тоже имелся револьвер 38-го калибра. Маршрут они меняли ежедневно, держась подальше от удобных для засады мест, которые назвал осведомитель.

Постоянное напряжение тяжело сказывалось на семье. Хелена, привлекательная женщина семью годами моложе Рамиреса, была по натуре боязлива и крайне чутка к настроениям мужа. Всю супружескую жизнь ее преследовали страхи, порой она просто с ума сходила от тревоги за мужа. Но разве сравнить прежние опасения с тем

ужасом, который испытывала Хелена сейчас? Она сама и ее близкие точно превратились в живые мишени. Мальчики ездили в школу в бронированном автобусе, а когда семья — редко теперь — выбиралась в ресторан, все надевали бронежилеты. Хими, к счастью, походил на отца: выдержанный, умный и решительный — даром что ему всего шестнадцать лет. Он научился управляться с МАК-10 и взял на себя охрану семьи во время совместных поездок. В ресторанах он ставил автомат на пол, между ног.

Жизнь становилась невыносима. Чувствуя, что вскидывается на каждый шорох, Рамирес выходил из себя. «Я же всегда был охотником. А теперь они охотятся за мной! — с досадой говорил он брату Франсиско.— Это же я — я! — должен ставить людей к стенке, а не они меня!!!»

Осведомитель поставлял информацию более или менее регулярно и достаточно подробно рассказывал, что поделывает Лис — «смертных дел мастер». Сведения были неутешительны. Ударная группа, по слухам, располагала неограниченным количеством взрывчатых веществ, реактивных гранат и пусковых устройств, семью машинами, мини-фургоном и такси.

Через пару месяцев осведомитель внезапно исчез, и поток новостей иссяк. В полиции забеспокоились. Усилили охрану Рамиреса и с удвоенным усердием взялись за поиски новых осведомителей. Но безуспешно. Рамиреса теперь постоянно сопровождали унтер-офицер, трое полицейских и эскорт мотоциклистов.

Курс в генеральской школе завершился в августе, и слушатели отправились на месяц в Европу — поглядеть на организацию полицейских служб и поучаствовать в семинарах. Вернулся Рамирес с чемоданами, полными брошюр и полицейских отчетов. Его обуревали идеи. Он мечтал сделать колумбийскую полицию самой лучшей и самой технически оснащенной в мире.

Рамирес считал дни в ожидании генеральских лампасов и хватался в главном полицейском управлении за любую работу. Часто консультировал — чтобы развлечься и отвлечься. Его пригласили вести семинары в Перу; Боливия попросила помочь разгромить лаборатории в самой глуши, на востоке страны. Рамиресу удалось найти две лаборатории, принадлежавшие Эскобару, и он радостно смотрел, как их поджигает боливийская полиция. Впервые за целый год ему удалось нанести ответный удар! Рамирес посетил и Вашингтон, побеседовал со старыми друзьями и, в частности, с Джонни Фелпсом, который руководил теперь кокаиновым отделом УБН. Фелпс почувствовал, что Рамирес измучен, нервозен и крайне обеспокоен судьбой своей семьи. Фелпс, зная воинственный пыл Рамиреса, понимал его лучше, чем кто-либо другой. Рамиресу была отвратительна собственная беспомощность.

Передышка наступила 21 октября. Стало известно, что в Медельине погиб Лис, получив в драке огнестрельную рану. Эскобару, похоже, придется нанимать другого убийцу. Смерть Лиса явно откладывала покушение на Рамиреса на неопределенный срок. Новому палачу придется повторить многие, а то и все изыскания Лиса.

Рамирес так воспрял от этого известия, что предложил УБН снять охрану. Он обрел прежнюю уверенность в себе. Ему казалось, что его семье уже ничто не грозит. Через несколько месяцев эта передряга наверняка закончится, и он вернется к своей повседневной работе.

В четверг, 13 ноября 1986 года, Франсиско Рамирес, зная, что жизнь у брата стала полегче, пригласил его, Хелену и мальчиков на семейную встречу. Встречу назначили на ближайший понедельник — конец праздников — на даче в Сасайме, в пятидесяти километрах к северо-западу от Боготы. Поездка предстояла недолгая и сравнительно спокойная — без риска.

Рамиресы выехали из Боготы в воскресенье днем. Бронированный «форд» остался в гараже, а Хайме сел за руль своей белой «тойоты»-фургона. Он не преуменьшал опасности, но считал, что ехать тут — всего ничего, да и какая засада в праздник, когда шоссе забито машинами? Впрочем, на случай засады в ногах у Хими стоял МАК-10.

Через час остановились на ночлег у друзей в Вильетте. В понедельник добрались до дачи Франсиско в Сасайме. Съехались все: родители, братья и сестры, племянники и племянницы. Рамирес повеселился на славу. Он всегда был душой общества и больше всего на свете любил сидеть на лужайке в кругу семьи, болтать, шутить и рас-

сказывать анекдоты. В голове его роилось множество планов на будущее, ведь вскоре его должны назначить шефом управления личного состава всей колумбийской полиции. «Дай бог, чтобы развеялись тучи над его головой»,— думал Франсиско, глядя на брата.

В половине пятого Хайме Рамирес засобирался домой: завтра рабочий день, и скоро на шоссе будет сплошная пробка. Лучше выехать пораньше.

Как только «тойота» отъехала, взревели моторы и вдогонку устремились сразу несколько машин, стоявших неподалеку. Позже соседи вспоминали, что они крутились возле дачи несколько часов. Людей за рулем никто не знал.

17 ноября 1986 года в 17 часов 43 минуты «тойота» въехала на мост через реку Боготу совсем близко от столицы. Машины шли очень плотно, но все же Рамирес двигался с приличной скоростью по правой дальней полосе. На середине моста с «тойотой» поравнялся слева красный «рено» — сначала, казалось, хотел обойти, но потом пошел голова к голове. Из пассажирского окна показался ствол МАК-10 и, дернувшись, выплюнул в «тойоту» длинную очередь.

Хайме Рамирес обмяк и упал головой на руль. Он скончался мгновенно. Хелена, легко раненная в правое колено, попыталась вырулить; резко повернув к краю моста, машина врезалась в бордюрный камень. Сыновья тоже были ранены: Хавьер — легко, в ладонь, а Хими пули угодили в оба бедра, и он истекал кровью. Все же он потянулся за МАК-10. Как на грех, автомат оказался глубоко под сиденьем, он засунул его подальше, чтобы двоюродные братишки на даче не вздумали поиграть. Оружия под рукой не было.

«Рено» затормозил перед «тойотой». Дверцы распахнулись, и оттуда выскочили трое парней лет по двадцати — двадцати пяти, опрятные, одетые с иголочки. Это запомнилось всем, кто их видел. В руках у каждого был автомат.

Один стал перед «рено», другой — позади «тойоты», а третий, открыв дверцу «тойоты», выпустил еще одну обойму в бездыханное тело Рамиреса.

Хелена открыла свою дверцу, соскользнув на землю, кое-как отползла за машину, но там стоял второй часовой.

— Прошу вас, не убивайте меня! — прошептала женщина.

Взглянув на нее, парень отвернулся, а затем все трое сели в «рено» и укатили.

26
КАРТЕЛЬ ВИНОВЕН

Долгое время правоохранительные ведомства США не желали свыкнуться с мыслью, что одна-единственная группа наркодельцов способна держать под контролем весь рынок. В семидесятые годы хлынувшие в США колумбийские торговцы представлялись там аморфной, неорганизованной массой частных предпринимателей-уголовников. Лишь после рейда в Транкиландию в марте 1984 года умные головы из УБН осознали истинный размах колумбийского наркобизнеса. А слово «картель» впервые слетело с их уст лишь в конце года, после свидетельств Берри Сила о совместной деятельности Эскобара, Очоа и Ледера. Но и тогда сотни захваченных партий кокаина, сотни свидетельских показаний о Хорхе Очоа, Пабло Эскобаре и Карлосе Ледере не сложились в единое целое, фрагменты огромной картины оставались пока разрозненными.

Лед тронулся летом 1985 года в главной прокуратуре штата Флорида. К тому времени правоохранительные органы весьма успешно потеснили майамских сбытчиков. Рвение агентов УБН и таможенников вынудило наркоторговцев уйти в подполье. Дикие перестрелки в торговых центрах постепенно отошли в прошлое. «Сентак-26», сводный взвод дейдской полиции и агентов УБН, охотился за убийцами и методично преследовал кокаиновых ковбоев. Появились и новые государственные законы, препятствующие отмыванию денег. Теперь обвиняемых можно было задерживать на время следствия без права выхода под залог. Удлинились приговоры колумбийцам за торговлю наркотиками.

Увы, несмотря на успехи в Штатах, картель стоял непоколебимо, надежно укрытый в медельинской твердыне. И поток кокаина не иссякал, а наоборот, ширился. Лишь за две январские недели 1985 года полиция и федеральные агенты УБН захватили во Флориде 2250 килограммов кокаина — больше, чем за первые три месяца

1984 года, и больше, чем за весь 1981 год. Кроме того, в 1985 году началась эпидемия крэка, мгновенно, точно факел, охватившая города США. К концу года лишь во Флориде наркодельцы потеряли 25 тонн кокаина и кокаиновых полуфабрикатов, то есть вдвое больше, чем в прошлом, 1984 году. Цены продолжали падать — с 35 до 20 тысяч долларов за килограмм. Значит, рынок был насыщен сполна. Прежде кокаином баловалась элита, теперь это зелье стало доступно всем. Средним американцам угрожала наркомания.

В этот период небольшая группа федеральных прокуроров готовилась пригласить картель на сцену в полном составе. Работая в Майами по частным обвинениям в наркобизнесе, они вдруг поняли, что все эти мелкие дела суть звенья одной цепи, в их основе лежит преступный сговор, заключенный между кланом Очоа, Эскобаром, Ледером и другими наркодельцами.

— Почему бы нам не предъявить им коллективное обвинение? — предложил один из помощников главного прокурора.— Объединим их в одном большом уголовном деле.

Дело это подпадало под Акт об организованной уголовной деятельности и коррупции, который успешно применялся в борьбе с мафией. Он позволял посадить на скамью подсудимых не отдельных преступников, а целые преступные организации. Согласно этому Акту, в рамках одного уголовного дела могло вменяться в вину любое количество преступлений. Изымалось и все имущество организации.

Дику Грегори — теперь уже шефу главного управления по борьбе с наркотиками при федеральной прокуратуре — идея эта пришлась по душе.

Чтобы выстроить «дело картеля», агенты УБН тщательно изучили горы свидетельских показаний и связали воедино множество отдельных преступлений. Масштабы и формы работы картеля прояснились в ходе длительных бесед с Максом Мермелстайном. Наконец, на исходе 1985 года, был избран Большой федеральный суд присяжных, который заслушал свидетелей и истца — то есть федеральных прокуроров. Присяжным предстояло решить: «виновен» картель или «не виновен». Это первая, непременная ступень в судебной системе США.

Агенты УБН и прокуроры развернули дело-великан по собственному почину, в свободное время. Оно, как говорится, не горело, поскольку ответчики скрывались от колумбийского правосудия. Вердикт «виновен» не повлек бы за собой крупных арестов. Но вот в августе 1986 года судья Пастрана в Картахене выпустил Хорхе Очоа, и дело картеля обрело серьезнейшее сиюминутное значение. Грегори и помощник главного прокурора Боб Мартинес пришли в ярость от исхода дела Очоа. Они жаждали привлечь к наркомафии внимание всего мира.

Чтобы получить обвинительный вердикт, они соединили рассказ Макса Мермелстайна о контрабандных перевозках для Рафы Кардоны с захватом лабораторий в Транкиландии, куда агенты УБН добрались по следу эфира. К этому добавили и историю с осуждением Берри Сила за никарагуанскую аферу и детально воспроизведенный Мермелстайном план убийства Сила. Самым же важным оказалось другое: они поняли и описали механику работы картеля. Обвинительное заключение начиналось так: «С 1978 года по настоящее время существует международное преступное предприятие по производству и распространению наркотиков, которое базируется в Колумбии, в Медельине, и известно под разными названиями, в том числе как «Медельинский картель» (именуемый далее «Картель»). Картель состоит из руководителей главных международных организаций, занимающихся производством и сбытом. Картель способствовал обобществлению средств крупнейших кокаиновых организаций — включая сырье, подпольные лаборатории по переработке листа коки, самолеты, суда и другие транспортные средства, сети сбыта и кокаин — для развития международной наркоторговли».

Картель, говорилось далее в обвинительном заключении, контролировал свои материально-технические ресурсы, коррумпировал официальных лиц иностранных правительств и осуществлял убийства «для защиты интересов предприятия и усиления своего влияния».

В обвинительном заключении были названы главари картеля: три брата Очоа, Пабло Эскобар, Карлос Ледер и Гонсало Родригес Гача.

Согласно заключению, картель являлся крупнейшей в мире организацией по контрабанде наркотиков. Поначалу обвинители и сами не представляли, о каком количе-

стве кокаина идет речь. А подсчитав, были потрясены. Картель обвинили в производстве пятидесяти восьми тонн кокаина в период с 1978 по 1985 год. Эта цифра в семь раз превышала любое обвинение, предъявлявшееся наркоторговцам прежде. А ведь это, бесспорно, была лишь малая толика всего произведенного ими кокаина — то, что можно доказать документально. То есть, по всей вероятности, даже меньше трети от общего количества наркотика, попавшего в США стараниями Хорхе Очоа, Пабло Эскобара, Родригеса Гачи и Карлоса Ледера.

Обвинение картелю выдвинули 18 ноября, на следующий день после убийства Хайме Рамиреса. Оно не наделало в США много шуму. Большинство американцев Рамиреса не знали, да и о Колумбии давно ничего не слыхали — с тех пор, как выпустили из тюрьмы Хорхе Очоа. Посему публичное обличение Медельинского картеля значило в США не больше чем любой большой процесс, связанный с наркоторговлей. Свидетели не делали под присягой сенсационных заявлений, акул наркобизнеса не брали под стражу. Обвинение содержало лишь самое общее, беглое описание огромного тайного производства.

Зато в Колумбии обвинительное заключение вызвало настоящую бурю. Газетчики суетились, стремясь раздобыть текст заключения, в котором перетряхивалось все грязное белье Колумбии. Газета «Эспектадор» поместила подробный, в двух частях, отчет о заседании Большого федерального суда присяжных. Такие публикации были в Колумбии весьма и весьма рискованны и требовали от редакторов немалого мужества. Кроме «Эспектадора» мало кто отважился наступить картелю на больную мозоль. А к этой редакции Пабло Эскобар присматривался давно, еще с августа 1983 года, когда на первой странице появились откровения о небезгрешном прошлом «крестного отца». Ничто не нанесло тогда процветающему политику Эскобару бóльшего ущерба, чем его собственная физиономия на первой странице чуть ли не самой крупной колумбийской газеты.

Выпады против картеля возглавлял главный редактор «Эспектадора» Гильермо Кано Исаза. Он вел редакционную колонку под названием «Libreta de Apuntes» — «Тетрадь для заметок». Седовласый, осанистый Кано долго боролся в одиночку за ужесточение законов о наркоторговле. Он был крайне обеспокоен, когда несколько влиятельных колумбийцев предложили легализовать наркоторговлю для достижения спокойствия в стране. «Легализовать торговлю наркотиками? — риторически восклицал он в одной из своих заметок.— Что ж, тогда легализуем и отмывание денег, и убийство членов Верховного суда, а также членов правительства, судей и множества других честных людей, павших жертвой наркодельцов и их наемных убийц!»

В среду 17 декабря 1986 года Кано, по обыкновению, закончил работу чуть позже половины восьмого. Прошел на стоянку, сел в свой фургон-«субару» и выехал на улицу. Он надеялся побыстрее пробраться в крайний левый ряд, чтобы развернуться у травяного островка на авениде дель Эспектадор. Маневр отчаянный, но Кано проделывал его пять раз в неделю. В тот вечер, однако, он не приметил стоявшего на островке мотоциклиста. Вот Кано притормозил на повороте. Тут же на землю соскочил пассажир мотоцикла и из чего-то, похожего на футляр для виолончели, поспешно достал курносый МАК-10. Выпрямился, быстро подошел вплотную к «субару» и нажал курок. Кано умер мгновенно.

27
УЛЫБКА МАДОННЫ

Убийство Гильермо Кано Исазы потрясло колумбийцев не меньше, чем смерть Родриго Лары Бонильи двумя с половиной годами ранее. В их душах снова всколыхнулся гнев против картеля. Прессу захлестнул шквал негодующих публикаций — убили коллегу, соратника, друга! Причем именно за его активную и честную журналистскую позицию!

В четверг, на следующий день после убийства, президент Вирхилио Барко возглавил скорбное шествие к пригородному кладбищу. По всему пути люди махали с обочины платками и колумбийскими флагами. Все теле-, радиокомпании транслировали похороны.

В пятницу союз журналистов Боготы объявил общенациональную забастовку средств массовой информации. Колумбийские репортеры, редакторы, корректоры прошли в маршах молчания по улицам Боготы и других крупных городов. Траурными речами они почтили память более чем двадцати журналистов, убитых картелем за последние четыре года.

Убийство Кано явилось для президента Барко последней каплей. Его правительство, так же как прежде правительство Бетанкура, не могло более терпеть унижения. Сначала освобождение Очоа в Картахене, окончательно превратившее всю колумбийскую систему правосудия в нелепый и позорный фарс. Затем — убийство Рамиреса. Теперь — Кано. Неужели и это сойдет картелю с рук?

Настало время действовать. Барко издал ряд указов о введении в стране осадного положения. Один из них позволял задерживать подозреваемых на срок до десяти суток без предъявления обвинения. Другой указ увеличивал до десяти лет сроки за нелегальное владение взлетно-посадочными полосами и до восьми лет за ношение и хранение оружия. Для покупки мотоциклов с объемом цилиндра более 125 куб. см требовалось теперь особое разрешение.

Правительство одновременно утвердило две программы: по защите свидетелей от грозящей им мести и по вознаграждениям за предоставление ценных сведений. И, наконец, правительство выдало правоохранительным органам секретный список наркодельцов для первоочередного задержания. В нем значилось 128 человек, в том числе 56 контрабандистов, выдачи которых требовали Соединенные Штаты.

На время облавы Барко предоставил всем полицейским неограниченные полномочия. И не ошибся. За первые три недели после выхода указов полиция арестовала 360 человек, захватила 243 килограмма кокаина, уничтожила 5 лабораторий и конфисковала более 400 стволов. Из списка к задержанию в сети попали восемь человек, двое из них подлежали выдаче Штатам.

После ужасов 1986 года эти, сравнительно скромные, успехи вызвали в Колумбии легкую эйфорию: «плохих дядей» сажают в тюрьму, забирают у них наркотики... Хоть какой-то, пусть даже недолгий, просвет.

Просвет и в самом деле оказался кратковременным. 13 января 1987 года в Боготе узнали о покушении на колумбийского посла в Венгрии Энрике Парехо Гонсалеса — бывшего министра юстиции, который решительно и успешно боролся с картелем два самых трудных года. В него выпустили пять пуль — прямо в лицо.

Кто направил руку убийц — гадать не приходилось. Парехо приехал в Будапешт полгода назад, в августе. И получил за это время целую кипу письменных угроз. В каждой так или иначе говорилось одно: беги хоть на край света — от нас все равно не скроешься. От угроз они перешли к делу. В тот же день преступная группа, назвавшая себя «командой Эрнана Ботеро», заявила о своей причастности к покушению. Ботеро был первым колумбийцем, выданным в Штаты по соглашению 1979 года; приказ о его выдаче подписал — первым из тринадцати — сам Парехо Гонсалес.

Венгерские врачи оперировали Парехо дважды, извлекли все пули... Парехо выжил.

Колумбии теперь нужна была только победа.

Майор Национальной полиции Уильям Лемюс узнал, что Карлос Ледер обретается в окрестностях Медельина. Люди говорили об этом на каждом углу, и майор буквально чуял добычу. В декабре 1986 года Лемюс стал шефом полиции в городе Рио-Негро — в пятидесяти километрах к востоку от Медельина. И, не успел он приступить к работе, ему все уши прожужжали: Ледер в городе, Ледер выбрался из джунглей, Ледер приехал на переговоры с Эскобаром. Задумав построить вокруг Медельина несколько лабораторий, Ледер хотел взять в долю «крестного отца». Эскобар приютил Ледера на конспиративной квартире в Рио-Негро, и Лемюс сразу же вышел на охоту.

Рио-Негро находится в глубине андских сосновых лесов, окружающих Медельин со всех сторон. Это глухой, необжитый край с плохими дорогами, которых, к тому же, очень мало. Короче, найти человека здесь не так-то просто. Лемюсу пришло в голову, что Эскобар мог поместить Ледера на одной из дач, которые картельщики понастроили для себя в горах. Но на какой? Или хотя бы в какой стороне?

3 февраля 1987 года около полудня местный констебль по имени Цеха привел к Лемюсу «campesino» (крестьянина) — осведомителя, которого Лемюс отрядил в далекую глушь для проверки одной из таких дач. Крестьянин сообщил, что в последние два дня на даче объявился «всякий сброд», они непрерывно орут и разносят дом, музыка гремит на всю округу. Крестьянин говорил с экономом, который ведет хозяйство. Тот был в ужасе от своих гостей.

— Может, стоит взглянуть, господин майор? — спросил констебль.— Хорошо бы вы поехали с нами.

— Что ж, можно и поехать.

Днем, часа в четыре, Лемюс с двумя молодыми полицейскими осторожно приблизился к дому. Это была двухэтажная ярко выкрашенная дачка с лужайкой перед входом. Лемюс видел только фасад, но эконом сказал ему, что позади дома — обрыв, глубокий заросший зеленью овраг с ручейком на самом дне. На дальнем, пологом склоне оврага росли сосны. С шоссе дом не просматривался, скрытый вечнозелеными стражами, меж которых извивалась узкая проселочная дорога.

Лемюс с полицейскими просидели в сосняке два часа и насчитали шестнадцать человек, сновавших возле дома. Ровно в шесть из дома вышел низкорослый, плотный парень с шезлонгом в руках. Он разложил его на лужайке и уселся. Это был Ледер.

Лемюс стоял перед серьезной дилеммой. Своим подчиненным он сказал, что они охотятся за партизанами. Местные службы безопасности истово боролись с партизанами, а о наркодельцах не хотели и слышать. Ведь партизаны — чужаки, никто за них не отомстит, а наркодельцы, чего доброго, всю твою семью в отместку перережут. Лемюс видел, что его юные спутники и не подозревают, кого им придется брать.

— Знаете этого типа? — спросил он шепотом у одного из полицейских.

— Никак нет, господин майор.

И Лемюс решил ничего им не объяснять.

Оставив при себе одного человека, Лемюс отослал другого в аэропорт — за подмогой. Посланец вскоре привел тридцать шесть полицейских, в том числе группу захвата.

Лемюс расставил людей вокруг дачи. Особенно ему понравился дальний склон оврага, дом оттуда отлично простреливался, а сверху даже просматривалась лужайка. Лемюс отправил туда больше десяти стрелков, а остальные перекрыли все возможные пути отхода. Сам Лемюс с двумя снайперами затаились прямо перед домом.

И стали ждать. Проблем было несколько. Ледер выставил трех часовых: у дверей и по бокам дома. Время от времени часовые скрывались в доме, но их тут же сменяли новые. И у каждого в руках оказывался пистолет-пулемет. Одно дело, если их всего три, и они просто передают их из рук в руки. А если шестнадцать? Тогда у людей Ледера серьезное огневое превосходство, и на успех полиции надеяться нечего. Кроме того, у Лемюса не было ордера на обыск. Даже при осадном положении в стране полиция имела право вторгнуться в дом только после шести утра и при наличии ордера на обыск.

Ночью было холодно и туманно, но на рассвете пригрело солнце, туман рассеялся и очень быстро стало жарко. В половине седьмого Лемюсу улыбнулась удача: ледеровский часовой первым открыл стрельбу, заметив в сосняке одного из полицейских. Тот выстрелил в ответ, ранил часового и — сражение началось. Поскольку часовой атаковал полицию первым, никакого ордера уже не требовалось.

Стрелки Ледера, сгруппировавшись на втором этаже, стреляли из окон, пытаясь выбить полицию со склона. Лемюс понял, что они прикрывают Ледера: он, по-видимому, хотел выбраться через заднюю дверь. Надо было попасть в дом как можно скорее, иначе Ледер уйдет.

Лемюс и два снайпера бросились к даче с автоматами наперевес. Ворвавшись в дом, Лемюс сразу наткнулся на Ледера. Оказалось, что огонь со второго этажа велся не для прикрытия, а для отвода глаз. Ледер же надеялся скрыться через парадные двери. Но путь к свободе преградил Лемюс, уставив ему автомат меж глаз.

— Начальник, не стреляй! — взмолился Ледер.

— Мы не убийцы,— ответил Лемюс.— Руки за голову и на пол!

Ледер послушно лег и, достав из кармана пачку песо, бросил их к ногам Лемюса.

— Тут миллион,— произнес он.

— Подбери,— сказал Лемюс.— Самому пригодятся, на лимонад.

Лемюс собрал пленников в гостиной, обыскал их и построил друг за дружкой. Его обуяла безумная радость.

— Господа,— сказал он полицейским.— Позвольте представить вам Карлоса Ледера.

Мертвая тишина.

Но Лемюсу все было нипочем. Собственно, такой реакции и следовало ожидать. Он вывел пленных во двор и снова выстроил — сфотографировать свой улов. Настраивая фотоаппарат, Лемюс пошутил:

— Мяч-то где? Вроде вся команда в сборе.

Люди Ледера засмеялись. Кадр вышел отличный.

В десять утра два полицейских фургона забрали всю ледерову команду в Медельин. Лемюс поехал следом, посадив Ледера в свою машину. Из придорожного телефона-автомата позвонил шефу антьокийской полиции. Он задыхался от восторга, он сам себе не верил! Какая удача!

— Господин полковник! Господин полковник! — захлебывался Лемюс.— Я его взял!

— Да-да. Успокойтесь,— произнес полковник.— Кого вы взяли?

— Нам улыбнулась Мадонна! Мы поймали Карлоса Ледера.

Лемюс недолго упивался своей победой. В полицейское управление он доставил Ледера без труда. Раздобыл для него еды. В два часа дня во дворе приземлился военный вертолет и забрал пленника. Вскоре Лемюса вызвал шеф Национальной полиции — чтобы поздравить. А поздравив, посоветовал взять ноги в руки и убраться из города, пока жив.

Лемюс уложил чемодан и вылетел вместе с семьей в Боготу. А десять дней спустя посольство США помогло ему выбраться из страны.

Вертолет отвез Ледера в аэропорт Рио-Негро, там уже ждал армейский самолет «С-130». Пока Ледер летел в Боготу, министр обороны связался по телефону с посольством США.

— Он вам нужен? — спросил министр.— Забирайте.

Приказ о выдаче Ледера подписал еще президент Бетанкур. И обжалованию он не подлежал. Ледера можно было отправить в Штаты незамедлительно. Так и произошло.

В Боготе Ледера пересадили на командирский самолет УБН. Формальности уладили быстро, и самолет с Ледером и двумя агентами УБН вылетел в город Тампа во Флориде. Пленник выглядел измученным, усталым и не был особенно разговорчив. Только время от времени вздыхал и повторял:

— Все-таки поймали.

28

«СВИДЕТЕЛИ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

Три судебных исполнителя сопровождали Макса Мермелстайна в зал судебных заседаний штата Луизиана. Ему, государственному осведомителю, предстояло выступить свидетелем по делу об убийстве Берри Сила. Полицейские не отходили от Мермелстайна ни на шаг и не сводили глаз с публики, хотя всех присутствующих проверяли специальными датчиками: нет ли оружия. В свои сорок три года полноватый Мермелстайн походил на английского профессора, который совершенно перестал заботиться о своей внешности: седые длинные волосы, седая борода, пестрая, неподходящей расцветки одежда — ярко-голубая спортивная куртка, кричащая рубашка. Галстука у Мермелстайна не было. Сидя на свидетельской скамье в центре зала, он принял из рук прокурора, Премилы Бернс, автомат МАК-10 без патронов.

— Мистер Мермелстайн, будьте любезны взглянуть на эти два предмета — вещественные доказательства государственного обвинения под номерами четырнадцать и пятнадцать,— попросила прокурор Бернс. Под номером 14 значился МАК-10, под номером 15 — глушитель.

— Вы когда-нибудь прежде видели эти предметы?

— Видел,— ответил Мермелстайн.

Он начал рассказывать. Трое обвиняемых и их защитники глядели на него неотрывно. Карлос Аранго (Кумбамба) был в очках с толстыми стеклами и в свитере цвета морской волны. На Макса он уставился исподлобья, ни один мускул не дрогнул на его лице. Бернардо Васкес, в коричневом свитере, порой озирался, не в силах постичь подноготной этого грандиозного спектакля. Луис Карлос Кинтеро Крус, непосредственно обвиняемый в убийстве, был в очках и в респектабельном сером пиджаке. Английского он не знал — переводчик нашептывал ему на ухо.

Прем Бернс попросила каждого из двенадцати присяжных взять в руки МАК-10, чтобы почувствовать холодноватую тяжесть этого неумолимого бездушного убийцы. Свыше полуметра в длину, он весил три с половиной килограмма. Самодельный глушитель занимал более половины длины — почти тридцать сантиметров.

Прокурор Бернс попросила Мермелстайна рассказать присяжным, при каких обстоятельствах он увидел эти предметы впервые.

— Их принесли ко мне домой. Не то в апреле, не то в мае 1984 года,— ответил Мермелстайн.

— Кто принес? — уточнила Прем Бернс.

— Рафаэль Кардона.

— Почему у него было при себе оружие?

— Он сказал, что хочет его испробовать.

Суд над убийцами Берри Сила начался 6 апреля 1987 года. После убийства минуло больше года. Трех участников ударной группы — Кумбамбу, Кинтеро Круса и Васкеса — обвинили в тягчайшем преступлении, и прокурор настаивала на смертном приговоре. Им грозил электрический стул в тюрьме города Анголы, штат Луизиана. Против четвертого члена ударной группы обвинения выдвигались не столь серьезные, и допрашивали его отдельно. Чтобы посадить на скамью подсудимых прочих подозреваемых, недоставало улик. Их просто депортировали в Колумбию.

Суд начался в Батон-Руже, но там не удалось найти нужное количество непредвзятых присяжных, слишком хорошо знали здесь Берри Сила, причем далеко не с лучшей стороны. Пришлось перенести суд почти на триста километров к западу, в Лейк-Чарльз. Этот город с нефтеперерабатывающими предприятиями стоит на самой границе с Техасом.

Прем Бернс беспокоил состав суда присяжных: десять женщин и всего двое мужчин. Смертного приговора от мужчин добиться куда легче. Женщины все же мягкосердечнее. Впрочем, сама Премила Бернс вела обвинение твердо и рьяно. За свою двенадцатилетнюю прокурорскую карьеру из ста дел она проиграла лишь три. И присяжные всегда соглашались с этой миниатюрной темпераментной брюнеткой, когда она требовала смертного приговора. Защитники прозвали ее Черная Вдова. Премиле Бернс поручили ведение дела на следующий день после убийства Сила. О Медельинском картеле она прежде не слыхала, но, распутывая этот сложный клубок, осознала, сколь велика власть картеля, сколь длинны его руки, и желание покарать преступников поглотило ее безраздельно.

С самого начала судебных слушаний защита принялась всячески выпячивать двойственную, маккиавеллиевскую натуру Сила. «Этот человек был слишком сложен,— заявил главный защитник, майамский адвокат Ричард Шарпстайн.— Он был многолик, многогранен, нельзя описывать его характер лишь черной и белой краской. Адлер Берри Сил занимался контрабандой наркотиков. Он был рыцарем фортуны, он продавался за ее улыбку. И искал во всем лишь личной, собственной выгоды. Он не ведал прямых, честных путей. Он сам всадил себе в голову эти пули. Он сам виноват в собственной смерти».

Свидетельские показания Макса Мермелстайна разбили все доводы защиты в пух и прах. Во-первых, он определил четкую связь между МАК-10 и картелем. Кроме того, он опознал Кумбамбу. Шарпстайн из кожи вон лез, чтобы дискредитировать свидетеля. По его словам, Макс Мермелстайн — «второй Берри Сил, его двойник, быть может, еще и худший». Мермелстайн произвел на присяжных неотразимое впечатление, признавшись, что собственноручно перевез в Штаты более семнадцати тонн кокаина за тридцать восемь рейсов. Всего же, по утверждению Шарпстайна, на его счету около пятидесяти тонн, или «двадцать самосвалов», кокаина.

— А сколько денег вы вывезли из Соединенных Штатов обратными рейсами? — спросил Шарпстайн.

— Около трехсот миллионов,— ответил Мермелстайн.

Присяжные ахнули.

Показания прочих свидетелей и вещественные доказательства не оставляли сомнений в виновности подсудимых. Отпечатки пальцев Кинтеро Круса, Васкеса и Кумбамбы были обнаружены и в «бьюике» и в красном «кадиллаке», на котором они бежали. После ареста Кумбамбы в штате Миссисипи специальный анализ показал, что он держал в руках оружие, из которого убили Сила; в кармане у него оказались ключи от «кадиллака». Женщина, у которой он снял комнату, чтобы пересидеть облаву, подтверждала, что он вел тот самый «бьюик». Продавец машин опознал Васкеса, который этот «бьюик» покупал. Еще двое свидетелей подтвердили, что Кинтеро Крус принимал участие в убийстве.

Прокурору потребовалось пять недель, чтобы допросить всех 118 свидетелей обвинения. Защита не выставила ни одного свидетеля. Обращаясь к присяжным с заключительной речью, Прем Бернс так объяснила привлечение Макса Мермелстайна в качестве свидетеля:

— Когда судишь сатану, нужны свидетели из преисподней.

Прем Бернс требовала смертного приговора. Она снова и снова взывала к присяжным, потрясая перед ними МАК-10 — оружием смерти.

— Отчего они выбрали автомат? Отчего не подошли вплотную к Берри Силу и не всадили ему в лоб обычную пулю? Чтобы проучить! Чтобы другим было неповадно! И в этом вся их преступная суть.

Присяжные удалились на полчаса. И определили меру наказания: пожизненное заключение для всех троих. Кумбамба, Васкес и Кинтеро Крус ничем не выдали своих чувств. Три женщины из числа присяжных громко всхлипывали.

Несколько недель спустя прошел слух, что за голову Макса Мермелстайна обещано семизначное вознаграждение.

29
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

В конце 1986 года колумбийские законники, пробудившись от спячки, развили вдруг бурную деятельность. Мимолетные приступы любви к правопорядку, очевидно, бессмысленны, но именно ими отродясь славится Латинская Америка. Разбирая в очередной раз претензии по двустороннему соглашению о выдаче преступников, Верховный суд неожиданно выяснил, что оно неконституционно, так как указ о введении его в действие подписан не самим президентом Колумбии, а лицом, временно исполнявшим президентские обязанности. И 12 декабря соглашение утратило силу.

Верховный суд быстро нашел выход из положения, предложив нынешнему президенту Вирхилио Барко поставить на документе свою подпись. Что он и сделал два дня спустя. 14 декабря соглашение снова вступило в силу. Посол США Чарльз Гиллеспи одобрил решительность и бескомпромиссность президента. «Двухдневный перерыв прошел без последствий»,— сказал он.

Посол США ошибался. Юридический казус породил мощное наступление Медельинского картеля по всему фронту: он вознамерился покончить с выдачей преступников раз и навсегда. За предшествующие пять лет борьбы картель лишил жизни множество судей, десятки политиков чувствовали занесенный над головой топор. Подкупленные наркодельцами газеты и журналы называли соглашение не иначе, как «попрание национальной независимости страны».

А колумбийцев-контрабандистов продолжали выдавать по первому требованию США. И они пошли в атаку. К Рождеству картельщики написали девять исковых заявлений, оспаривающих право Барко подписывать указ пятилетней давности. Они утверждали, что президент превысил свои полномочия, и требовали ратификации указа конгрессом. А уж конгресс не подведет — это наркодельцы знали твердо. Большинство конгрессменов они просто закупили на корню, остальные и пикнуть не смели от страха. Отказ конгресса ратифицировать указ означал бы только одно: само соглашение о вы-

даче преступников пришлось бы принимать заново. Случай беспрецедентный и, по всей вероятности, противозаконный. Значит, его можно снова опротестовать. И так до бесконечности. Главное — выиграть время.

Борьба разыгралась отчаянная, терять было нечего. Барко отстаивал соглашение из последних сил, но один в поле не воин. Неподалеку, точно шакалы, кружили картельщики, они чуяли скорую добычу. Часы соглашения были сочтены. Расставить точки над «i» предстояло Верховному суду — несчастным, загнанным в ловушку судьям. Еще до 12 декабря все они, особенно члены Конституционной палаты, получали от контрабандистов неоскудевающий поток угроз — и по почте, и по телефону. Обстановка — словно накануне захвата Дворца правосудия. Только хуже, поскольку судьи уже знали, что угрозы эти отнюдь не пустые.

И все же нынешние судьи были в несколько лучшем положении, чем их предшественники. Теперь их охраняли. Телохранители не отходили от них круглые сутки. По городу судьи ездили только с полицейским эскортом.

Тягостное существование. В особенности для людей немолодых. Не радостью, не признанием высокого профессионализма стало для них избрание в Верховный суд, а ужасом, постоянным страхом за себя и за своих близких.

Обстановка в стране накалилась до предела. Колумбийцы уже не доверяли ни судебной, ни законодательной власти. 1986 год выдался столь кровавым, столь оскорбительным для национальной гордости, что общество, устав от крови, жаждало лишь одного — спокойствия. Люди снова смирились с тем, что картель непобедим и с ним необходимо договориться.

В начале 1987 года Верховный суд вынес несколько судебных определений, связав правительство по рукам и ногам. В феврале суд отказался рассматривать семь дел о выдаче преступников в США до решения вопроса о президентском указе. В марте суд аннулировал некоторые постановления, которые Барко подписал в декабре в связи с объявлением осадного положения.

Правительство получило передышку лишь 1 мая, когда Государственный совет подтвердил действенность соглашения о выдаче и предписал Верховному суду рассмотреть семь незавершенных дел. Судьи, однако, заявили, что они не имеют права выдавать людей Штатам, раз указ о применении соглашения не имеет силы.

Противники обменивались пока лишь легкими уколами, сеча была впереди. Власти прекрасно видели, какой капкан уготовил для них картель. Исход борьбы зависел только от одного: вправе ли был Барко подписывать указ заново. 28 мая мнения судей по этому вопросу разделились поровну: 12—12. Теперь все решит нечетный, специально выбранный член Верховного суда.

Судьба соглашения была предрешена: с одним юристом Медельинский картель справится наверняка!

Так и оказалось. Под тем или иным предлогом почтенные, уважаемые юристы отказывались рубить этот гордиев узел. Алфонсо Суарес де Кастро, четвертый из тех, к кому обратился Верховный суд, тоже пытался уклониться от сомнительной чести. Но суд призвал его в приказном порядке. И 25 июня с перевесом в один голос действия президента Барко были признаны неконституционными. Соглашение о выдаче преступников приказало долго жить. Картель победил.

Эскобару теперь не грозила выдача Штатам, и он быстро покончил с висевшими на нем обвинениями. Причем на этот раз — ненасильственным путем. 22 июля были аннулированы три ордера на арест, выданные полиции по инициативе Соединенных Штатов. 9 августа журналисты выяснили, что обвинение в убийстве редактора «Эспектадора» Гильермо Кано с Эскобара и его дружков тоже снято. А спустя еще три дня Эскобар оказался непричастен и к смерти Лары Бонильи.

Зато Хорхе Очоа был по-прежнему не в ладах с правосудием. Он ушел в бега, нарушив условия, предписанные судом. Он не отсидел положенных за ввоз быков двадцати месяцев. Да и медельинское обвинение в контрабанде наркотиков пока еще никто не отменял.

Все это, конечно, было сущей ерундой по сравнению с тем списком убийств, которые до недавнего времени вменялись в вину Эскобару. Но все же Очоа не жаждал новой встречи с законом.

Решение Верховного суда не укротило президента Барко. Министром юстиции в его кабинете стал Энрике Лоу Муртра — бывший член Государственного совета, один из немногих спасшихся из пекла Дворца правосудия. Наркодельцов он ненавидел и не скрывал, что разделяет воинственный пыл президента. Вскоре после вступления в должность он заявил газете «Тьемпо»:

— Правительство намерено выдавать преступников во что бы то ни стало.

Но как? Правительство начало, пока неофициально, обсуждать с США возможные варианты. Что предпочтительнее: возобновить соглашение? подписать новое? использовать предшествующие договоры? Ведь существовала так называемая Конвенция Монтевидео 1933 года, под которой подписались представители всего западного полушария. Имелось и двустороннее соглашение 1888 года. Оба документа были в принципе пригодны, но придется немало потрудиться, чтобы применить их на практике.

Картель тем временем вполне оправился от тягот и передряг последних лет. Они потеряли Ледера, но отныне Штатам уже никого не заполучить. Картель все больше походил на респектабельную мафию, царившую в США. Главарей знали в лицо, они властвовали безгранично и безнаказанно и, будучи с законом «на ты», ни в какие конфликты не ввязывались.

21 ноября 1987 года днем, в половине пятого, постовой махнул водителю новенького белого «порше»: «Остановитесь!» Многие машины останавливались здесь, чуть севернее Пальмиры, на шоссе Кали — Медельин, чтобы уплатить дорожную пошлину. И полиция любила устраивать тут засады на автомобилистов-нарушителей. В тот день как раз и проходила будничная проверка.

Постовой с напарником подошли к окошку водителя, спросили документы. Однако что-то их не удовлетворило. Они предложили водителю и его спутнице прокатиться с ними в Пальмиру. Владелец белого «порше» захотел уладить дело ну, скажем, за 3000 песо (12 долларов). Полицейские отказались. Может, мало? Хотите 50 тысяч (200 долларов)? Полицейские посоветовали водителю не отягощать своей вины взяткой. Что? Опять мало? Хотите 12 миллионов (48 тысяч долларов)? Нет. Так, может, на ста миллионах сойдемся (400 тысяч долларов)?

Полицейские денег не взяли. Впоследствии они воздержались от публичных заявлений, а их предусмотрительные начальники не выдали имен подчиненных. Вероятно, это были молодые идеалисты или просто честные, достойные люди, которые решили задержать нарушителей. Кто знает... Во всяком случае, джинну не удалось выскочить из бутылки. За рулем «порше» сидел Хорхе Очоа.

В Пальмире, в управлении дорожной полиции, Очоа встретили с распростертыми объятиями. Женщина-юрист из прокуратуры пообещала все уладить и принялась обзванивать окрестные военные и полицейские формирования. Вдруг кто-нибудь рискнет да и отпустит Очоа на поруки? Однако полиция была непреклонна. Судья из Картахены выдал им ордер на арест Очоа за нарушение судебного постановления и уклонение от ответственности за историю с быками.

Полицейские сцапали Очоа и отвезли его в расположение армейского батальона Кодацци, в пригород. Там в карцере он провел ночь и большую часть следующего дня. Уже вечерело, когда самолет колумбийских ВВС забрал Очоа с близлежащего аэродрома. В Боготе его встречал взвод мотополиции. Очоа запихнули в бронированный фургон, ослепительно вспыхнули фары, взревели сирены, и кавалькада устремилась на окраину столицы.

В девять вечера Очоа сидел под замком в военной тюрьме самого строгого режима. А правительство размышляло: что же предпринять дальше? Полиция и армия свое дело сделали: арестовали, посадили за решетку... Ваше слово, правительство!

На самом деле Очоа повезло, причем вдвойне: во-первых, ему придется отсидеть срок в Колумбии — все же отсрочка от встречи с грозными судьями США. Во-вторых, соглашение 1979 года о выдаче преступников потеряло юридическую силу. Реально действующего механизма для выдачи Очоа Штатам снова не было.

Президент Вирхилио Барко все это знал, не знал только — на что решиться. Колумбийская общественность считала, что Очоа следует немедленно отправить во Флориду. Ей вторили Соединенные Штаты.

«Президент Колумбии окажет своей стране неоценимую услугу, если немедленно выдворит за ее пределы Хорхе Очоа. Решайтесь,— твердил председатель майамского

УБН.— Как только Очоа окажется в США, он уже никому не даст взятку, никого не обманет и не убьет».

В конце концов правительство пришло к единственно возможному промежуточному решению: пускай Очоа отсидит положенные за контрабандный ввоз быков двадцать месяцев, а власти тем временем изыщут способ выдать его Штатам, которые прислали в помощь колумбийцам шесть законников из госдепартамента и министерства юстиции.

Американцы с трудом находили общий язык с представителями колумбийского правосудия. которые чинили им всяческие препятствия. Зато президент Барко вызывал у них неподдельное и все растущее уважение. Вступив на пост, он, подобно Бетанкуру, недооценивал Медельинский картель, не представлял, какой ущерб могут нанести стране эти люди. Но схватившись с картелем не на жизнь, а на смерть, он быстро образумился. Теперь Барко горой стоял за выдачу Очоа и других преступников.

Группа из США могла также рассчитывать на окружного прокурора Карлоса Мауро Ойоса Хименеса, который постепенно оказался в первых рядах борцов с наркомафией. Ойосу было под пятьдесят. Тихий, застенчивый человек, он сторонился шумных компаний. Выходные проводил с матерью и невестой на даче под Медельином, точно отрешась от ужаса и хаоса, царивших в его родном городе. Он начал обсуждать с законниками США возможный механизм выдачи преступников задолго до поимки Очоа. «Ойос — один из немногих, кому мы доверяли, кто относился к делу всерьез с самого начала»,— говорил впоследствии один из американских юристов.

Картель теперь тоже относился к делу всерьез, во всяком случае — куда серьезнее, чем когда-то Ледер. Их голыми руками не возьмешь. Да и вообще Ледер — чужак, по-английски почем зря болтал, колумбийцем-то настоящим никогда не был. Одно слово — изгой. Другое дело — Очоа. «Толстяк», главарь, «земляк», главный «доставала». Своих выдавать нельзя.

На захват Очоа картель отозвался незамедлительно. На следующий день после ареста перед домом Хуана Гомеса Мартинеса, редактора «Коломбиано» — ведущей ежедневной газеты Медельина,— остановились два фургона с автоматчиками. Они начали колотить прикладами в дверь. Сын Гомеса Мартинеса, выглянув украдкой, сказал отцу, что на улице убийцы. Гомес Мартинес смотрел телевизор, сидя спиной к двери. Он мгновенно скользнул за кресло и, нащупав пистолет, выстрелил в головорезов. В ответ послышался дружный залп. Оборону Гомеса Мартинеса хотели прорвать и со стороны гаража — фургон попытался протаранить стальную дверь, но она не поддалась.

Через пятнадцать минут соседи не выдержали.

— Они хотят убить Гомеса Мартинеса,— закричал кто-то.— Надо что-то делать!

На защиту редактора поднялись все как один. Уж чему-чему, а самообороне «земляки» научились, десять лет кровавой анархии не прошли даром. Меткий выстрел достал одного из нападавших. Остальные тут же стушевались и отступили.

Первоначальный замысел картеля не удался — они хотели похитить Гомеса Мартинеса и передать через него послание всем средствам массовой информации. Тем не менее через час ультиматум был уже во всех редакциях.

«В случае выдачи Соединенным Штатам гражданина Хорхе Луиса Очоа мы объявим абсолютную, тотальную войну полицейскому руководству страны». И подпись: «Те, кого вы хотите выдать».

Первую битву за Очоа выиграло правительство: он оказался за решеткой. Вторую выиграл картель, поскольку уже через несколько дней стало ясно, что существующих договоров и соглашений мало — Очоа так просто не выдать. Это означало отсрочку, а отсрочка давала Очоа возможность мобилизовать всех продажных юристов страны.

Не прошло и недели, а на него уже работали шесть юристов, трое из которых были когда-то членами Верховного суда. Очоа изнывал в «Ла Пикота» — гражданской тюрьме самого строгого режима, а его защитники принялись строить козни государственному обвинению. Поначалу прокуроры неусыпно следили за защитой, но близилось Рождество, юристы из США улетели в середине декабря домой... А дело против Очоа стало потихоньку рассыпаться.

30 декабря главный защитник Очоа наведался к Главному судье Боготы по уголовному праву Андресу Энрике Монтаньесу. Защитник заявил, что Очоа уже отсидел положенный за быков срок, поскольку следует учесть время, проведенное им в тюрьмах Испании, Картахены и Боготы.

— На самом деле,— уточнил он,— Очоа отсидел даже на месяц больше, но мы согласны закрыть на это глаза.

— О чем, собственно, идет речь? — спросил судья Монтаньес.

— О неприкосновенности личности. Есть, знаете, такой закон,— ответил юрист. И Монтаньес без лишних слов подписал приказ об освобождении.

В тот же день защитники Очоа прибыли в «Ла Пикота», они потрясали приказом судьи и требовали освобождения Очоа. Начальник тюрьмы Альваро Камачо пытался потянуть время, что-то выяснить, но в конце концов сдался. И Очоа покинул тюрьму — в синем фланелевом костюме, с чемоданчиком в руках,— сел вместе с женой и юристами в голубой фургон и был таков. Вскоре он уже летел на специально зафрахтованном самолете в неведомые дали — встречать Новый год.

В Колумбии и США удивлялись, сожалели, негодовали. Но — Очоа не вернешь. Он, по слухам, укрылся в Бразилии. С самого начала нового, 1988, года власти повели себя весьма решительно. Но и картель не уступал.

25 января на рассвете окружной прокурор Ойос, попрощавшись с невестой, сел в «мерседес», и шофер повез его в Медельинский аэропорт. Ойос провел выходные на даче, и теперь — с первым рейсом — летел в Боготу. Впереди напряженная рабочая неделя.

Около семи утра на подъезде к аэропорту дорогу ему преградили три машины с автоматчиками. Пулеметные очереди мгновенно превратили лимузин в решето. Свидетелями расстрела оказались пассажиры автобуса, тоже спешившие в аэропорт. Шофер и телохранитель скончались сразу. Ойоса, тяжело раненного, истекающего кровью, преступники запихнули в одну из своих машин и укатили.

По приказу президента Барко полиция прочесала весь район засады. Днем, часа в четыре, в полиции раздался анонимный звонок. Один из тех, «кого-вы-хотите-выдать», сообщил, где искать останки прокурора.

— Мы казнили окружного прокурора. Он предатель и продажная шкура. И помните — война продолжается.

30
КОКАИНОВЫЙ ГЕНРИ ФОРД

Поимка и выдача Карлоса Ледера произвели в США настоящую сенсацию. Никогда еще перед американским правосудием не представал наркоделец столь высокого пошиба. Агенты УБН в разных концах света были начеку: Медельинский картель не преминет отомстить за одного из своих главарей.

5 февраля 1987 года в два часа ночи лайнер с Ледером на борту приземлился на дальней посадочной полосе в аэропорту Тампы. Самолет тут же окружили агенты ФБР с автоматами и винтовками. Через десять секунд Ледер уже сидел в синей легковой машине. В сопровождении еще четырех машин его доставили в центр Тампы и поместили в тюрьму при окружном суде.

Утром Ледер впервые встретился с мировым судьей. Он сохранял присутствие духа, ухмылялся, посмеивался. По-английски говорил очень четко, с едва заметным акцентом. Первое заявление Ледера немало удивило присутствующих.

— Денег у меня нет,— сказал он.

— Это правда? — спросила судья Элизабет Дженкинс.

— Да, ваша честь,— тихо ответил Ледер.— Практически все мои сбережения заморожены колумбийскими властями.

Судья Дженкинс назначила Ледеру общественного защитника. На следующем судебном слушании предстояло решить, останется ли Ледер в Джексонвилле без права выхода под залог. Ведь выдали Ледера Штатам исключительно по джексонвиллскому обвинению 1981 года. Ему грозило пожизненное заключение плюс еще 135 лет.

Познакомился Ледер и с окружным прокурором Робертом У. Мерклем, который четырьмя годами ранее летал в Боготу с ходатайством о выдаче Ледера. Меркль по всем статьям подходил на роль обвинителя Медельинского картеля. Этот сорокатрех-

летний юрист руководил прокуратурой Центрального округа Флориды. Крупный (более 110 кг), внушительного вида блондин, с лицом кирпичного цвета, он был когда-то отважным защитником в футбольной команде, а теперь столь же рьяно преследовал преступность и коррупцию. За решительность и настойчивость подсудимые прозвали его «бешеный пес».

Вне зала суда Меркль был нежным отцом девяти детей, любил петь и играть на гитаре. Зарабатывал он всего 70 000 в год — жалкую толику тех сумм, которые получают частнопрактикующие адвокаты. Но он был безмерно предан своей работе. И сосредоточил теперь все силы на деле Ледера.

Во время первого судебного разбирательства в Тампе Меркль настаивал на задержании Ледера на все время следствия без права выхода под залог. Он утверждал, что Ледер угрожал судьям.

— Клевета! — выкрикнул Ледер с места.

— Ледер давно говорил, что, если его поймают, его сподвижники будут убивать по одному федеральному судье в неделю, пока не добьются освобождения Ледера,— напомнил представитель прокуратуры.

После слушания судебные исполнители переправили Ледера на военную базу неподалеку от Джексонвилла — в одиночную камеру. Где находится Ледер, не знали даже его защитники.

Первое слушание в Джексонвилле состоялось 9 февраля. Власти приняли неслыханные дотоле меры предосторожности. Зрителям предложили пройти через обнаружители металлических предметов. По коридорам суда рыскала ищейка, специально выдрессированная на поиск взрывных устройств. На четырех улицах, прилегающих к зданию суда, запретили ставить машины.

Ледер повторил суду, что не в состоянии нанять себе адвоката, поскольку колумбийское правительство заморозило его сбережения. Меркль отметил, что на руке у Ледера — часы фирмы «Ролекс».

— Вы знаете, что эти часы стоят около шести тысяч долларов? — спросил он.

— Нет,— честно признался Ледер.

Судья с самого начала установил для Ледера меру пресечения, которую требовал прокурор: за решетку на все время следствия без права выхода под залог. Уже к вечеру дела Ледера стали совсем плохи. Налоговое ведомство определило его долг казне на сумму в 70 миллионов долларов, так как его доходы от контрабанды кокаина лишь за 1979 и 1980 годы составили 300 миллионов. После заседания Ледера отправили в окружную тюрьму усиленного режима.

Карлос Ледер не собирался вверять свою судьбу государственным защитникам. Его эмиссары принялись обхаживать лучших майамских адвокатов. А те набивали цену. Наконец она дошла до 2,5 миллиона, что в тридцать раз превышало годовой доход Боба Меркля.

Защищать Ледера в конце концов согласились Эд Шохат и Хосе Киньон. Шохату уже приходилось защищать колумбийских контрабандистов в Майами. Коллеги характеризовали его как «адвоката до мозга костей — компетентного, высоконравственного и крайне скрупулезного». К тому же он был блестящим оратором. Киньон, бывший следователь, американец кубинского происхождения, мог говорить с клиентом по-испански. А славился Киньон тем, что всегда находил понимание у присяжных и свидетелей.

Суд по разным причинам все откладывали: с весны до осени. Вдруг на одном из длительных предварительных заседаний в мае 1987 года Меркль обнародовал сенсационную новость: Карлос Ледер отправил письмо вице-президенту Джорджу Бушу. Он предложил сотрудничество в обмен на свободу. Меркль сообщил, что письмо попало в Белый дом. Подробности послания остались неизвестны, так как письмо ушло из тюрьмы запечатанным. Подобный шаг, по мнению Меркля, иначе как «наглостью» не назовешь. Любая сделка с Ледером аморальна. Защитники Ледера заверили, что Ледер вовсе не желает стать осведомителем.

— Это письмо — издержка одиночного заключения,— сказал Киньон.

Но наутро газеты пестрели заголовками: «Обвиняемый колумбийский контрабандист хочет помочь следствию», «Предложение кокаинового магната — плевок в лицо правительству».

Друг юности Ледера, собрат по Данберской тюрьме, Джордж Джанг прочитал газетные статьи с отвращением. Он в это время отбывал свои 15 лет за ввоз трехсот килограммов кокаина во Флоридской тюрьме. В душе Джанга снова вскипела жестокая

обида на Ледера, снова вспомнилось предательство, унижение... Ледер, похоже, готов выдать своих дружков с потрохами. Что ж, Джангу тоже есть что порассказать. Джанг обратился в ФБР, а затем и сам написал письмо — о Карлосе Ледере.

Суд над Ледером открылся 17 ноября 1987 года. Меркль к этому времени собрал все, что имелось на Ледера начиная с 1974 года: от Данбери до Медельина. И пошел ва-банк. Он не желал ограничивать дело джексонвилльскими обвинениями, которые охватывали лишь период с 1978 по 1980 год. Меркль намеревался представить деятельность Ледера как единый преднамеренный заговор по отравлению США кокаином.

Вступительная речь прокурора прозвучала впечатляюще:

— Дело, которое нам предстоит разобрать, уходит корнями в далекое прошлое, в 1974 год. Именно тогда и задумал Карлос Ледер стать королем кокаинового извоза. Он сыграл в развитии наркобизнеса ту же роль, что Генри Форд — в развитии автомобильной промышленности. Ледер считал США загнивающим обществом. И видел в кокаине будущее Америки.

На следующий день настал черед защитников. Они называли своего клиента «Джо» Ледер и утверждали, что он был попросту задиристым и глупым пареньком, которого одурачили контрабандисты-марихуанщики. И было это вдвойне просто оттого, что они — американцы, а он — колумбиец.

Шохат рассказал, что Ледер собирался устроить на Норманс-Кей курортный рай, да вот — на беду! — подружился с Эдом Уордом. А Уорд после ареста наговорил на Ледера агентам УБН, желая спасти свою шкуру.

Для Карлоса Ледера суд обернулся сплошным многосерийным кошмаром под названием «Твоя жизнь». Главным свидетелем против него выставили Эда Уорда, но после ареста Ледера вдруг обнаружились другие, давно забытые тени прошлого: Джордж Джанг, чье письмо привлекло внимание следователей; Стив Яковач, который тоже написал из Форт-Лодердейла, где работал механиком по ремонту импортных машин. Оба они стали свидетелями обвинения. Эбен Манн, летчик с «Континента эйрлайнз», сообщил, что возил для Ледера грузы девять лет назад. Бывший тележурналист Уолтер Кронкайт тоже пришел в суд. Он рассказал, как 12 лет назад ему не позволили даже причалить на Норманс-Кей.

Джанг припомнил все до мельчайших подробностей: и Данберскую тюрьму, и Норманс-Кей, и последнюю встречу с Ледером в 1985 году. Джангу было всего сорок пять, но он походил на старика — морщинистый, потрепанный жизнью длинноволосый наркоман... Кокаин его обогатил, кокаин же его и разорил. По собственным подсчетам, Джанг потерял 10 миллионов. Теперь терять было уже нечего. По лицу Джанга то и дело скользила довольная улыбка: наконец-то он отомстит, как же долго мечтал он об этой мести.

Эд Уорд давал показания целую неделю. День за днем описывал он жизнь контрабандистов на Норманс-Кей, а Ледер то и дело содрогался от деланного отвращения.

В тридцативосьмилетнем Ледере вполне можно было угадать прежнего красивого, востроглазого подростка. Но под глазами у него были мешки, а от долгого сидения взаперти, без солнечного света его кожа обрела мучнистый, мертвенный оттенок. Если бы не это, он вполне походил бы на преуспевающего молодого банкира: волосы аккуратно разделены на пробор, костюмы ладно пригнаны. Слушая свидетелей, он ритмично похлопывал правой рукой по столу, сосал леденцы, улыбался репортерам, а порой что-то записывал в блокнот. За его спиной неизменно сидели три судебных исполнителя. После заседания они уводили Ледера в камеру, примыкавшую к залу заседаний.

В ходе суда над Ледером прояснилась вся история Медельинского картеля. За полгода слушаний прокурор Роберт Меркль привел к присяге 115 свидетелей обвинения. Вспомнили и о взятках, которые Ледер давал багамским властям. Один свидетель заявил, что премьер-министр Линден О. Пиндлинг ежемесячно получал от Ледера по 100 тысяч. Суд еще не кончился, а прокуратура под руководством Меркля уже начала следствие по делу Пиндлинга.

Пожалуй, самый большой ущерб Ледер нанес себе сам. Присяжным продемонстрировали теле- и радиоинтервью, которые Ледер давал в Колумбии. В знаменитом интервью для радио «Караколь» в Боготе от 28 июня 1983 года Ледер заявил, что готов всемерно помогать колумбийским контрабандистам, поскольку дело это заведомо выгодное. «Наш долг — любым путем вернуть нашему народу доллары. И мы это делаем.

Называйте нас как хотите: мафией, синдикатом, хапугами — это ваше право. Но поперек правды не пойдешь. Колумбия — главный поставщик марихуаны и кокаина, и отрицать это бессмысленно». Вину за существование наркомании Ледер всецело возложил на США, поскольку именно там «сорок миллионов курят марихуану и двадцать пять миллионов нюхают кокаин».

Когда Меркль закончил опрос свидетелей, адвокаты Ледера немало удивили суд, объявив, что защита свидетелей не выставляет. Они ограничатся заключительной речью главного защитника Эда Шохата.

Заключительные дебаты начались 10 мая 1988 года. Тогда же — по странному совпадению — началась и общенациональная неделя «Нет наркотикам!».

Меркль решил заострить внимание присяжных на двух важнейших моментах, обнажившихся в ходе суда: на соучастии граждан США в формировании преступной натуры Ледера и на разрушительном воздействии кокаина на человеческую личность.

— Изначально Карлос Ледер и Генри Форд — братья по духу,— начал свою речь Роберт Меркль.— Форд идеально снабжал американских потребителей автомобилями. Карлос Ледер столь же безупречно снабжал их кокаином. На этом, впрочем, сходство кончается. Мистер Форд желал скрасить жизнь американских потребителей. А мистер Ледер желал превратить их жизнь в сущий ад.

Защитники представили Ледера добропорядочным бизнесменом. Меркль решительно развенчал этот образ. Взяв в руки МАК-10, он спросил:

— Неужели любой порядочный бизнесмен защищает свою собственность таким оружием?

Свидетелей обвинения Меркль назвал людьми конченными — ибо их здоровье, души и жизни съедены кокаином.

— Перед вашими глазами прошла целая цепь человеческих трагедий,— сказал Меркль присяжным.— Эти люди вредили обществу рука об руку с мистером Ледером. За ним повсюду тянулся шлейф продажности, разврата, насилия и человеческого унижения. И сколько еще их — конченых! — в Колумбии, на Багамах, в Соединенных Штатах! Они — порождение мистера Ледера, они — наша кровоточащая рана, но залечит ее не месть, а справедливость, правда и мир.

Меркль показал присяжным специальную ложечку — на одну затяжку — и сообщил, что помещается в ней одна тридцатая часть грамма. Карлос Ледер ввез в США 18 миллионов граммов! То есть (с учетом 50% чистоты) более миллиарда затяжек!

— Мистер Ледер точно и вовремя распознал потребность США в наркотиках,— продолжал Меркль.— Его сила, дамы и господа, коренилась в нашей слабости. Он подстерегал разочарованных, неприкаянных, отчаявшихся.

За Мерклем на трибуну поднялся Шохат. И снова — в который уже раз! — заявил, что таким свидетелям доверять нельзя. Меркль говорил очень тихо, почти шепотом, а Шохат принялся буквально орать на присяжных. Размахивал руками, бил кулаком об стол, казалось — его вот-вот хватит удар. Короче, он стремился выразить весь гнев, который обуревал его клиента.

— Государственное обвинение выставило двадцать девять подкупленных свидетелей! — Шохат намекал на возможный пересмотр приговора для тех, кто отбывал тюремные сроки.

Меркль выступил с ответной речью. Говорил он спокойно, взвешивая каждое слово:

— Мистер Шохат ошибается. Я вовсе не пытаюсь уверить вас, будто мистер Ледер породил наркоманию в Америке. Я утверждаю как раз обратное. Самым вопиющим в сегодняшнем деле является именно активное, равноправное партнерство Америки, вернее — значительной ее части, в делах мистера Ледера. Вы сами слышали его интервью. С одной стороны, его вели горькая обида и ненависть к США. С другой стороны, совершенно очевидно, что никакая сила не заставила бы американских летчиков возить для Ледера наркотик, если бы они не хотели сами; не взятки и угрозы принудили жертв Ледера колоться и нюхать кокаин. Вам предстоит признать эту очевидную истину. Собственно, ваш вердикт и явится таким признанием. Это долг, но и высокая честь. Прошу вас, заклинаю — взгляните правде в глаза!

Присяжные ушли совещаться, а Карлос Ледер, повернувшись в зал к репортерам, поднял над головой собственноручно намалеванный лозунг: «Нет расизму!»

Присяжные совещались день, два, три дня. Безрезультатно. На четвертый они попросили снова показать им интервью Ледера для колумбийского телевидения. И снова

жалкий маленький человечек на экране защищался, разглагольствовал, улыбался и спихивал вину на всех вокруг. Кроме того, явственно ощущался распад личности под влиянием наркотика.

Вопрос: «Любая страна, в том числе и Колумбия, живет согласно определенным нравственным принципам. Вам не кажется, что эти принципы важнее, чем деньги?»

Ледер: «Цель оправдывает средства... Чтобы страна двигалась вперед... люди, которых преследуют... да я оставлю за порогом угрызения совести, сделаю дело, а потом уж заберу их обратно...»

На следующий день присяжные смотрели интервью для испанского телевидения, заснятое в джунглях в феврале 1985 года. Ледер восседал на некоем подобии трона, волосы ниспадали до плеч. Окружали его вооруженные телохранители в масках. Со времени первой записи Ледер очень изменился. Нес исступленный, маниакальный, бессвязный бред. «Кокаин стал революционным оружием в борьбе против североамериканского империализма,— провозглашал Ледер.— Нарковозбудители из Колумбии — ахиллесова пята империализма. И поэтому преследует нас не закон, а политики».

Однако его сентенции не убедили журналиста. «Откуда же у вас столько денег? Разве не от контрабанды наркотиков?» — спросил он.

«Ну-у... я же летчик, верно? — ответил Ледер.— И очень дорогостоящий...» — Ледер таинственно улыбнулся.

Присяжные совещались семь дней — в общей сложности сорок два часа. Вердикт: виновен по всем пунктам предъявленного обвинения.

Ледер выслушал решение суда сдержанно, не поднимая глаз. Его брат Гильермо, сидевший в зале, тоже принял решение присяжных стоически.

Усталый, изможденный судебным марафоном, Эд Шохат заявил на пресс-конференции, что это решение свидетельствует лишь об одном: кокаиновая война лишила людей элементарных конституционных прав. И, что обиднее всего, решение это ничего не изменит.

— Хоть всех ледеров пересажайте — все равно ничего не добьетесь,— говорил Шохат.— Проблема куда шире. Разве оттого, что Ледер за решеткой, вам труднее достать наркотик? Да он все равно продается на каждом шагу, в каждой школе!

Боб Меркль тоже дал пресс-конференцию. Широко улыбаясь, он подошел вплотную к телекамерам и сказал:

— Это победа ради хороших людей. А хорошие люди — это американцы.

Решение присяжных для Меркля означало, что Медельинскому картелю больше «некуда бежать, негде прятаться. Их дни сочтены».

Меркля спросили: меньше ли будет теперь кокаина?

— Война с наркотиками идет не на килограммы. Человеческий дух, воля — вот что противоборствует в этой войне. Сила духа американцев против картеля.

Меркль сказал, что Медельинский картель неизбежно уничтожит сам себя. Остальное — в руках американцев.

Никто не заставляет Америку потреблять кокаин под дулом пистолета.

ЭПИЛОГ

20 июля 1988 года Карлос Ледер предстал перед судом для вынесения окончательного приговора. Слушания длились шесть месяцев, и за это время с него слетел весь лоск преуспевающего, гладковыбритого бизнесмена. Обросший, с всклокоченной бородой и усами, Ледер обратился с последним словом к окружному судье Хауэлу Мелтону. Говорил он полчаса, без всяких бумажек, по-английски.

— Я похож на индейца, которому белые устроили судилище,— начал Ледер. Назвал себя политзаключенным, жертвой личных амбиций федерального прокурора. Заявил, что его, бедного латиноамериканца, похитили и увезли с родины насильно, что на него науськали двадцать девять матерых преступников, которых самих надо судить, и куда строже чем его. Злоупотребление наркотиками, конечно, преступно, но куда преступнее похищать людей и высылать их с родины без суда и следствия.

— Вы творите неправый суд! — сказал напоследок Ледер.

Затем заговорил судья Мелтон:

— Главной вашей целью всегда были деньги. Вы стремились к обогащению в ущерб здоровью и жизни людей. Ваша преступная деятельность все на своем пути

превратила в дым. Следы пепелищ тянутся от коковых плантаций Южной Америки до дверей моих соотечественников во всех городах Соединенных Штатов. Я выношу сегодня приговор мистеру Ледеру, но пускай он послужит серьезным предупреждением для всех наркоторговцев. Страна употребит все силы, пустит в ход все законы — и справится с наркоманией, которая угрожает устоям и жизнеспособности нашего общества.

Приговор был самым суровым из всех возможных: пожизненное заключение без права на условное освобождение плюс еще 135 лет.

Для Пабло Эскобара Гавирии 1988 год тоже выдался тяжелым. 13 января перед рассветом возле его восьмиэтажного дома в Побладо — самом элитарном районе Медельина — взорвалась огромная бомба. Погибли два швейцара, в близлежащих домах вылетели стекла, а перед «Монако» — так называлось здание — зияла посреди улицы воронка глубиной в четыре метра. «Крестного отца» дома в ту пору не было. Но враги стращали именно его. Война за кокаиновые рынки, за власть над страной между Эскобаром и группой из Кали шла не на жизнь, а на смерть.

Примерно тогда же колумбийская армия устроила на Эскобара облаву во всех городах Антьокии. Дважды он спасся чудом. Поскольку наркодельцов из Кали ловили с меньшим рвением, Эскобар решил, что его конкуренты вступили с правительством в заговор против Медельинского картеля. И ответил старым, проверенным способом: к сентябрю 1988 года в так называемой «войне картелей», по армейским данным, погибло 80 человек, причем более 60 были из Кали.

Хорхе Луис Очоа Васкес в 1988 году жил куда беззаботнее Эскобара. Выйдя под Новый год из тюрьмы «Ла Пикота», Очоа словно испарился. По сведениям правоохранительных органов, он отошел от будничного руководства своей огромной кокаиновой империей, так как работать в ореоле славы оказалось непросто. Впрочем, по другим данным, он попросту пережидал облаву. Кокаиновые короли себе не изменяли: Эскобар бросался в атаку, сметая все на своем пути, а Очоа пригибался и втягивал голову в плечи.

Хосе Гонсало Родригес Гача тоже, как и Очоа, предпочитал не связываться с Кали. В 1988 году Мексиканцу привалила удача. Эскобар сражался с конкурентами, Очоа скрывался в подполье, а Родригес Гача выбрался на простор и отвоевал для Медельинского картеля рынки Европы и юго-запада США. В 1988 году он догнал своих коллег Эскобара и Очоа: журнал «Форбс» включил и его имя в список миллиардеров мира.

Рафаэля (Рафу) Кардону Салазара изрешетили из автомата 4 декабря 1987 года, через три дня после публикации подробностей о его отношениях с Максом Мермелстайном на страницах майамской «Геральд». Тридцатипятилетнего Кардону убили недалеко от Медельина в его собственном магазине «Машины старых марок». Убийца до сих пор не найден.

Джорджа Джанга отблагодарили за показания по делу Ледера, сократив его пятнадцатилетний срок до отбытого к моменту пересмотра приговора. Печалится Джанг лишь об одном: зря он тогда свел Ледера с калифорнийской парикмахершей. «Проворонил двести миллионов!» Еще он гордится, что его десятилетняя дочка участвует в акции «Нет наркотикам!». Джанг часто вспоминает своего бывшего партнера. «Он до меня доберется, будьте уверены. У него есть деньги, а деньги это сила».

Стэнфорд Бардвелл ушел с поста прокурора Центрального округа штата Луизиана через несколько месяцев после убийства Берри Сила, став помощником главного адвоката в министерстве энергетики в Вашингтоне. Он заявил, что с убийством Сила его уход никак не связан.

Фрэнк Полоцола остался окружным судьей в Батон-Руже. Он воздерживается от публичных заявлений по делу Сила, отказывается отвечать на вопросы прессы.

Дав показания против убийц Берри Сила, Макс Мермелстайн также свидетельствовал по делу двух колумбийцев, отмывших для картеля 21 миллион в майамских банках. Мермелстайн помогал суду разобраться в цифрах и именах — в отчетности картеля, захваченной УБН. Колумбийцев признали виновными. А еще через полгода таможенники и агенты ФБР захватили владельцев катеров — всю транспортную группу Мермелстайна.

Мермелстайн и шестнадцать его родственников охранялись согласно «Программе защиты свидетелей государственного обвинения». Теперь он, под другим именем, проживает в одном из отдаленных районов США.

Льюис Тамз в июле 1985 года приехал послом США в Коста-Рику. И тут же распространились слухи, что никарагуанские контрас пообещали Медельинскому картелю за немалое вознаграждение убить Тамза. Его все же не тронули. Однако в январе 1987 года Тамза обвинили в пособничестве. Совету национальной безопасности — он якобы помогал Оливеру Норту организовать нелегальное снабжение контрас через Коста-Рику. И Тамз был вынужден подать в отставку. Сейчас он снова преподает историю в университете штата Аризона.

Джонни Фелпс около года возглавлял кокаиновый отдел УБН в Вашингтоне. В конце 1985 года стал руководителем Центра международных программ. Еще через два года, в начале 1988-го, отправился в Майами в качестве специального уполномоченного УБН. Фелпс и по сей день — один из самых уважаемых руководителей в УБН.

Энрике Парехо Гонсалеса избрали председателем тридцать второй комиссии ООН по наркотическим веществам — не прошло и трех недель после покушения в Будапеште. Министерство иностранных дел перебросило его из Венгрии в Чехословакию. И за границей, и в родной Колумбии посол Парехо действовал по-прежнему твердо и непреклонно. В конце 1987 года он, с усиленной охраной, прибыл в Медельин и даже произнес там речь. Новых покушений не было.

Поймав Ледера, Уильям Лемюс, майор колумбийской Национальной полиции, через десять дней покинул Колумбию. Ему дали дипломатический статус полицейского атташе и отправили неизвестно куда неизвестно зачем. Зарплата майора полиции едва позволяла сводить концы с концами, Лемюс увяз в долгах и был, говорят, очень несчастен. Ни славы, ни головокружительной карьеры не принесла ему поимка Ледера. Он стал узником по доброй воле и горько об этом сожалел.

Генерал Мигель Антонио Норьега, панамский покровитель картеля, был признан виновным в связях с наркомафией в феврале 1988 года. Суд присяжных в Майами рассматривал события давние, относящиеся к 1982 году, когда Норьега предоставил убежище членам картеля, позволил им построить в Панаме лаборатории по производству кокаина, помогал переправлять наркотик в США и добывал нужные для производства химикалии. Если суммировать сроки, которые соответствуют всем пунктам обвинения, Норьеге пришлось бы провести в тюрьме 145 лет и заплатить 1145 миллионов штрафа.

В марте 1988 года трон Норьеги пошатнулся: по улицам Панамы прокатилась волна демонстраций и была совершена попытка государственного переворота. Норьега, однако, вскоре упрочил свою власть и отклонял бесчисленные попытки дипломатов США провести с ним переговоры о замене лидера в стране. В конце 1988 года Норьега правил безраздельно, хотя экономика была подорвана долгими месяцами застоя и Панама разваливалась на глазах.

Линден Пиндлинг, премьер-министр Багамского содружества с 1967 года, снова, в шестой раз подряд, был избран на этот пост в июле 1987 года. Тем временем в Орландо, штат Флорида, заседал Большой федеральный суд присяжных. Когда газеты опубликовали материалы судебного расследования по делу Пиндлинга, Белый дом объявил, что отныне любые обвинения в адрес глав иностранных держав должны быть представлены на одобрение Президенту. И к осени 1988 года грехи багамского лидера позабыли, дело заглохло.

Спустя четыре месяца после неудачной попытки картельщиков похитить Хуана Гомеса Мартинеса, редактора медельинской газеты «Коломбиано», его избрали мэром города — самого преступного города в западном полушарии. Он пообещал «найти общий язык» с наркодельцами, но к августу 1988 года признал, что война картелей сделала город практически непригодным для обитания.

В 1988 году в Медельине совершалось в среднем восемь убийств в день.

ЛЕВ ЕЛИН

НУЖЕН ЛИ «ЦАРЬ», ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ «КОРОЛЕЙ»?

...Страшный рекорд Медельина продержался недолго. В 1989 году в Колумбии было совершено более 18 тысяч убийств, то есть около 50 в день. В начале 1990 года убивали уже по 70 человек в день, в Медельине жертвами наркомафии пали около 200 полицейских. И только в середине года, с июля по сентябрь, царило относительное, весьма относительное спокойствие.

Самый кровопролитный этап кокаиновой войны начался после 19 августа 1989 года, когда был убит кандидат в президенты Луис Карлос Галан. Видеопленка запечатлела одного из убийц: человек в белом костюме и белой шляпе медленно поворачивается у помоста, на котором только что упал Галан, и так же медленно уходит среди обезумевших от ужаса, мечущихся участников митинга... Следствие быстро установило, что убийство Галана было совершено по приказу руководителей «Медельина». Семь человек были арестованы.

В тот же день, 19 августа, президент Колумбии Вирхилио Барко начал наступление на наркомафию. Полицейские операции привели к тому, что уже в сентябре производство кокаина упало до четверти обычного уровня. Началась выдача наркодельцов американскому правосудию. К концу 1990 года были доставлены в США 16 человек, в том числе казначей Медельинского картеля Эдуардо Мартинес Ромеро и личный пилот Эскобара Хорхе де ла Куэста Маркес.

Пабло Эскобар, обвиняемый теперь уже в убийстве трех колумбийских кандидатов в президенты, трижды уходил из облав, в которых участвовали сотни агентов элитарных полицейских корпусов и целые армейские бригады, и лишь один раз был легко ранен. В его поместье обнаружили планы по дестабилизации страны, по захвату центров нефтяной промышленности и пособие «Способы самоубийства». Эскобар и Мексиканец — Хосе Гонсало Родригес Гача — предлагали властям заключить перемирие, обещая многомиллионные вклады в экономику в обмен на полное прощение. Они клялись также перенести свою деятельность в другие страны. Получив отказ, наркомафия нанесла один из самых мощных за всю историю «войны» ударов. Прозвучало 200 взрывов, были убиты более десяти должностных лиц. Полиции едва удалось сорвать заговор с целью убийства дочери президента... В июле 1990 года «короли» объявили перемирие, признав на словах свое поражение, но уже в сентябре похищением семи журналистов началась новая волна насилия. Медельинский картель, видимо, раскололся: часть его членов открестилась от Эскобара, приписав именно его людям все убийства и похищения последнего времени.

В начале декабря 1989 года Мексиканец — Гача — организовал обстрел штаба криминальной полиции (погибли 63 человека), но на этой военной операции его везение кончилось. В середине декабря он был убит в стычке с полицией, что вызвало эйфорию в стане президента Барко. Незадолго до смерти Гача дал интервью по телефону, в котором сказал:

— Все, что у нас отняли,— ерунда. Главное — это кока, а коку у нас не отняли... Правительство дает армии и полиции награды, а мы даем деньги...

В ноябре Мексиканец предлагал 1,2 миллиона долларов армейскому офицеру за уничтожение конфискованных документов картеля...

Панамский лидер генерал Мануэль Антонио Норьега после вторжения американских войск в Панаму некоторое время скрывался в представительстве Ватикана, но в январе 1990 года сдался на милость победителя. Суд над ним должен состояться в Майами. Обвинению предстоит доказать, что Норьега получал взятки от Медельинского картеля, позволяя использовать Панаму в качестве перевалочного пункта при переправке кокаина в США, «отмывал» деньги картеля в панамских банках и разре-

шал главарям наркомафии скрываться на территории своей страны... Расстался с властью, потерпев поражение на выборах, и никарагуанский президент Даниэль Ортега. Осенью 1989 года американские газеты писали о том, что Эскобар и Гача летали в Панаму, где на военно-воздушной базе Токумен обсуждали вопрос о предоставлении им убежища с доверенными людьми Норьеги подполковником Луисом дель Сидом и подполковником Виарельдом Мадримианом. В Токумен прилетал тогдашний глава никарагуанской разведки Рикардо Уилок — речь шла о том, чтобы Хорхе Луис Очоа Васкес на время переселился в Никарагуа.

В июле 1989 года 32-летняя Моника де Грейф стала шестым за три года министром юстиции в правительстве В. Барко. Ее предшественники подавали в отставку после того, как начинали получать угрозы со стороны наркомафии. Вскоре после убийства Галана Моника де Грейф совершила поездку в США и добилась 19-миллионной помощи для обеспечения безопасности колумбийских судей. С 1980 года в стране было убито более 350 судей и работников правоохранительных органов. За лето — осень 1989 года только в столичном округе подали в отставку 400 судей... Как бы то ни было, уже в конце сентября де Грейф сама подала в отставку, что также связывают с участившимися угрозами в ее адрес.

В августе 1990 года вступил в должность новый президент Колумбии Сесар Гавириа Трухильо, ставший кандидатом в президенты от Либеральной партии вместо убитого Галана. Во время церемонии инаугурации президент, его жена и двое детей находились за пуленепробиваемой стеклянной оградой. Гавириа заявил, что считает наркотерроризм главной угрозой демократии в стране. В сентябре он издал декрет, обещая наркодельцам сократить сроки наказания, если они явятся с повинной, а также не выдавать их в США. Поначалу казалось, что попытки Сесара Гавириа расколоть наркомир на «дельцов» и «террористов», изолировать последних дают плоды. В газетах сообщалось о готовности 200—300 членов Медельинского картеля сдаться властям. Однако на деле так поступили лишь 6 человек. Правда, среди них — братья Хорхе и Фабио Очоа, «номера 3 и 4» Медельина.

В конце января 1991 года Сесар Гавириа показал, что, предлагая пряник, он не забывает и про кнут: в результате полицейских операций были убиты братья Давид и Армандо Приско, возглавлявшие наемных убийц Медельинского картеля. 120 коммандос захватили виллу, где, как сообщил информатор, скрывался Пабло Эскобар,— но глава картеля вновь успел скрыться. Война «королей» и правительства вступила в новый этап...

Журналист из Луизианы Джон Кэмп после смерти Сила выпустил еще один документальный фильм — «Убийство свидетеля», в котором обвинил правоохранительные органы в смерти летчика-контрабандиста. Фильм прибавил Кэмпу популярности, но и навлек на него критические атаки. Местные представители закона утверждали, что Кэмп попался на удочку Берри Сила и к тому же нарушил правила журналистской этики, незаслуженно облив грязью прокуратуру и суд штата.

Летом 1989 года я заехал в Батон-Руж специально, чтобы встретиться с Джоном Кэмпом, звезда которого к этому времени сияла уже слишком сильно для тихой болотистой Луизианы. Поговаривали — и сам Кэмп подтвердил это при встрече,— что он переселяется в Атланту, получив заманчивое предложение от телекомпании Си-эн-эн. Бывший алкоголик, от которого ушла жена и которому ничего, кроме белой горячки, казалось, не светило,— теперь был олицетворением успеха. Каждый его фильм удостаивался высших профессиональных наград. Мы заговорили о Силе.

— Мне постоянно твердили, что я поднимаю на щит отвратного типа, перевозившего в Америку наркотики,— рассказывал Джон.— Но я повторяю то, что сказал с экрана: я снял фильм о том, как наши правоохранительные органы нарушают закон, трактуют его так или иначе в зависимости от своих нужд. Я хотел показать, что это недопустимо делать даже ради такой благой цели, как борьба с наркотиками.

Джон Кэмп первым вышел на тему, которая в конце 1989 года, после объявления президентом Дж. Бушем «войны наркотикам», стала одной из самых острых. Что допустимо и что нет — ради того, чтобы очистить страну от скверны? Можно ли «на время» дать государству чрезвычайные права, развязать руки полиции, урезать права граждан, ужесточить наказания преступникам, а потом, добившись успеха, вернуть все на прежнее место?

Война с наркотиками, как и вообще война с преступностью, неминуемо становится испытанием того, насколько прочно защищены в данном обществе права личности, насколько зрелы демократические институты. Естественно, никто не хочет повторения ситуации, в которой оказалась Колумбия. И «большая» экономика этой страны, и «маленькие» экономики сотен тысяч семей настолько зависят от наркобизнеса, что успех в борьбе с ним может стать крахом победителя. Ослабление влияния Медельинского картеля в той или иной зоне приводит к непредсказуемым последствиям. Например, вооруженные отряды, которые использовались для охраны плантаций, поместий и т. п., оказавшись без хозяев, развязывают террор, которого не было и при Мексиканце. Пока картель не начал совершать покушения на видных государственных и политических деятелей, торговцы наркотиками, по словам Габриэля Гарсиа Маркеса, «пользовались полной безнаказанностью и даже некоторым народным уважением из-за своих благотворительных дел в районах бедноты, где они провели свое детство»...

Никто не хочет отдавать наркотикам власть в стране, но для государств — потребителей наркотиков сегодня главная опасность — растерять в войне с ними свои демократические завоевания. Насколько реальна эта опасность, можно увидеть на при-

мере США, страны с прочными демократическими институтами, независимой судебной властью.

Американская война с наркотиками началась с учреждения вне устоявшихся структур — исполнительной, судебной, законодательной власти — поста Директора управления по выработке политики в области наркотиков. Директором стал Уильям Беннет, которого немедленно окрестили «царем». Заместитель государственного секретаря США по правам человека Ричард Шифтер так объяснил мне этот феномен: новый институт «царя» — кусочек столь хорошо знакомой советским людям административно-командной системы. Американцы устали от того, что решение серьезнейших проблем упирается раз за разом в бесконечные согласования, голосования; многочисленные институты, созданные для защиты демократических порядков, удлиняют путь от принятия решения до его воплощения в жизнь. Поэтому, говорил Ричард Шифтер, и назначен «царь», власть которого должна, подобно скипетру самодержца, «пробивать» мешающие демократические перегородки... Предмет для социопсихологического анализа: заправил наркобизнеса американцы называют «королями» («кингз»), используя старинное, привезенное из Англии слово; а Уильяма Беннета именуют на русский манер «царем»: подчеркивают неограниченность власти. Демократическое общество со странной ностальгией смотрит в чужое прошлое: вот могли же люди приказать — и все сразу сделано! Нечто похожее я услышал в разговоре с техасским прокурором вскоре после нашумевшего процесса на Кубе над офицерами, участвовавшими в наркобизнесе.

— Я не очень верю официальной версии,— говорил мой собеседник.— Думаю, что для руководителей страны секретов тут не было... Но посмотри, с какой легкостью Кастро решает проблему. Казнили одним махом дюжину человек — и наркосети не стало! А у нас одно оформление документов, санкции на обыск дольше занимает.

В тяжелые для общества дни, когда «человек с улицы» требует от властей решительных действий, демократические пути начинают раздражать. Это раздражение очень точно выразил журнал «Ридерз дайджест», поместивший в январе 1990 года статью «Дайте нашей полиции скрутить наркодельцов». Подзаголовок гласил: «Как могут полицейские бороться с наркотиками, если они повязаны по рукам законами, лишенными здравого смысла?»

Доводы автора, тоже бывшего прокурора, звучат убедительно. «Сегодня, когда мы очутились в центре эпидемии наркомании,— пишет он,— нужно менять законы. Нам не нужна защита от полицейских — нам нужна защита от преступников...» Журнал приводит примеры того, как полиция, связанная инструкциями, пасует перед уголовниками.

...8 февраля 1989 года Федеральный суд отклонил обвинение против торговца крэком из Денвера, потому что полицейские забыли постучать в дверь его набитого наркотиками дома, прежде чем выбить ее...

...В апреле того же года в суде штата Аляска был оправдан бармен, продавший наркотики агенту полиции в штатском. Наркотики лежали в кармане куртки бармена — а куртка висела метрах в шести от стойки. Суд постановил: поскольку сам обвиняемый не мог дотянуться до куртки, полиции следовало получить дополнительную санкцию на ее обыск.

Все эти ограничения, выстроенные в ряд и действительно кажущиеся на первый взгляд чрезмерными, появились не случайно. Их выработало само общество в процессе борьбы за гражданские права, за недопустимость произвола государства в отношении личности.

Но сегодня, пишет «Ридерз дайджест», перед пораженным наркотиками американским обществом встал вопрос: кто больше угрожает нашим домам — полиция или наркодельцы, вооруженные самым современным оружием? Вопрос поставлен не совсем корректно — но когда идет «война», эмоциональный подход часто преобладает над логикой.

Слово «война» легко может ударить в голову. Трудно поверить, что современные американские законодатели, свысока критиковавшие государства вроде Пакистана за применение кнута и палок в отношении преступников, сами теперь предлагают... сечь наркодельцов. Эту идею всерьез и долго рассматривали в сенате штата Делавэр... В Лос-Анджелесе прозвучало не менее одиозное предложение: подвергать предполагаемых членов гангстерских банд, участвующих в наркобизнесе, домашнему аресту на 23 часа 55 минут в сутки. Другие законодательные инициативы вполне реально могут быть претворены в жизнь.

Верховный суд, который своими решениями по конкретным делам дает трактовку конституционных норм, определяет, что соответствует Основному закону страны, а что — нет, уже, по мнению либеральных юристов, нанес серию серьезных ударов по Четвертой поправке Конституции США, гарантирующей «неприкосновенность личности, жилища, бумаг и имущества». Суд счел конституционной полицейскую слежку за домами людей с вертолета (обыск с воздуха?), разрешил полиции рыться в мусоре, выброшенном подозреваемым, а также останавливать граждан «с подозрительной внешностью». Известный экономист, консерватор по убеждениям, Милтон Фридмэн направил «царю» Уильяму Беннету открытое письмо, в котором выразил возмущение открывающейся перспективой: «армия блюстителей закона, вооруженная полномочиями нарушать гражданские свободы».

Однако в Америке демократические устои достаточно прочны, и демократические институты в целом гарантируют защиту прав личности. А резкие высказывания самих американцев — юристов, конгрессменов — иллюстрация «правовой паранойи», врож-

денной, генетической боязни лишиться своих прав. Прекрасная болезнь Америки. Поэтому, когда, скажем, вашингтонский адвокат говорит, что «война с наркотиками» приближает США к состоянию полицейского государства, это нельзя понимать буквально. Но это обязательно нужно услышать. Как надо, необходимо знать обо всех эксцессах американской «войны с наркотиками». Борьба с наркобизнесом, с преступностью в целом — международная проблема, она стоит и перед СССР. И наше общественное мнение, пожалуй, менее стабильное, чем в США, требует объявить преступникам войну, зовет к ужесточению наказаний. При небольшой пропагандистской обработке оно может высказаться и за расширение применения смертной казни. Решительных мер ждут то от МВД, то от КГБ, то от самого Президента. И реакция (правда, тут не всегда легко определить, где причина, а где следствие) налицо. Юристы и функционеры консервативного толка уже предлагают, например, расширить число принимаемых в суде доказательств: использовать лай собаки, опознавшей преступника по запаху, данные «детектора лжи». Но все это — методы, изначально допускающие возможность ошибки. А значит, допускающие осуждение невиновного... Опасность «перегибов» для нас крайне серьезна, что подтвердила серия законов, приказов и указов последнего времени. Легализовано прослушивание телефонных переговоров, что до сих пор официально в нашей стране не допускалось — хотя мы знаем, что КГБ прибегало к этому. Новый закон разрешает прослушивать разговоры не только подозреваемых и обвиняемых, но и «причастных к преступлению». То есть — практически неограниченный круг лиц... Органам внутренних дел и госбезопасности разрешено беспрепятственно входить в производственные помещения, используемые гражданами для занятия индивидуальной и иной трудовой деятельностью, что выливается в нарушение конституционной нормы — неприкосновенности жилища. Ведь индивидуальной трудовой деятельностью занимаются в основном дома... Можно спорить о том, действительно ли ради борьбы с преступностью решено вывести армию на улицы в составе совместных патрулей, но трудно не увидеть в этом угрозу потенциальным демонстрантам и забастовщикам...

Призывы покончить с преступностью, а для этого «не мешать правоохранительным органам» звучат в нашей стране постоянно. Перемены в руководстве и структуре этих органов удивительно напоминают назначение жесткого, властного сторонника «энергичных мер» Беннета «царем» борьбы с наркотиками... При этом система правовой защиты в СССР далеко не отработана. Суды еще не стали независимыми и легко поддаются кампаниям даже вроде «борьбы с алкоголизмом», адвокатов не хватает; правозащитная система, подобная американской — как государственной, так и негосударственной,— мало сказать, в зачаточном состоянии. По сути, нет тормозов, способных остановить наступление на права человека. Поэтому нам пригодится американский опыт — чтобы выбрать свои методы, свои средства, чтобы правильно рассчитать баланс между интересами общества и свободами личности.

Протоиерей
АЛЕКСАНДР МЕНЬ

В ПОИСКАХ ПОДЛИННОГО ХРИСТА

Евангельские мотивы в западной литературе

Подготовка текста и вступление
И. ЗОРИНОЙ

Говорят, дома, как и люди, умеют хранить память о том, чему были свидетелями...

В один из дней лета 89-го года можно было увидеть священника в белом облачении, стремительно входившего в редакцию журнала, что расположилась в доме на Пятницкой. И вот уже комната полнится голосами, и рукопись ложится на стол. И рождается ощущение, будто человек этот принес с собою частицу сияющего за окнами дня.

Разговор между тем на мгновенье прервался. Прервался властью поэтического слова, только что произнесенного:

Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете,—

в наступившей тишине память продолжала стихотворение:

Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье.

Как это бывало, когда к нам в редакцию приходил Александр Владимирович Мень, беседа переключилась на проблемы общего характера. Он это умел: видеть в частном общее, во временном — вечное. В самом деле, чем объяснить то, что в XX веке в литературе, живописи, кино не иссякает библейская тематика, настойчиво звучат евангельские, христианские мотивы? Как, в какой мере и в какой форме проявляется воздействие личности Христа на деятелей культуры? В чем причина отхода многих, писавших о Христе, от канонических представлений о нем? У нас, скажем, вышли романы «Плаха» Айтматова или «Факультет ненужных вещей» Домбровского. Не дань ли это моде? А может, следствие общей переоценки ценностей, что идет в стране? Впрочем, были ведь «Мастер и Маргарита» и библейские стихи в «Докторе Живаго». Тут-то и прозвучали пастернаковские строки, и стало тоскливо от мысли, что и сегодня «до рассвета и тепла еще тысячелетье...» Разговор шел о важности духовных начал в обществе перед лицом катастрофы.

«Мир стоит на распутье, дойдя до роковой черты. За нею — закат цивилизации». Высказанная отцом Александром в одной из проповедей, эта мысль (в ней — и трагедия века, и надежда, вера в возможность выбора) послужила, помнится, толчком к написанию публикуемой статьи.

История знает: в минуты трудные, кризисные, в условиях «дряблости духа» и тоски по идеалу человек ищет опоры в ценностях нетленных. И обращается к нравственным заветам спасения, что хранит Евангелие, к образу Христа Спасителя. Как сказал отец Александр, «Христос живет на земле сокровенно и тайно, он живет в мире, и в этом основание нашей с вами надежды».

Тема не просто большая — огромная. Автор хотел вернуться к статье, внести какие-то дополнения, вторгнуться в тайны психологии творчества, более подробно поговорить о границах писательского воображения; он видел рядом с этой работой вторую — как ее необходимое продолжение: апокалипсис. Разве сегодня люди все чаще не перечитывают страницы Священного Писания, что глаголят о нем? «Он уже идет, апокалипсис. В наши дни — идет» — слова отца Александра.

Или такая мысль — из ключевых, им высказанных: «Без религии нет культуры в высшем понимании слова». Она ложится в основу еще одной будущей его статьи. И суть проблемы здесь не в набожности художника, его вере или безверии, она в восприятии — вольном или невольном — тех сокровищ, хранительницей которых является религия.

Планы, замыслы, советы... Не всем из них суждено было осуществиться.[1]

«Пусть зло мира служит нам предостереженьем!» — учил отец Александр. Мог ли он думать, что слова эти будут прило-

жимы к его собственной трагической судьбе?

Пусть злодейское убийство священника Александра Меня послужит нам предостереженьем!

И мог ли отец Александр не думать и о себе самом, когда учил людей не забывать о краткости жизни, «чтобы память смертная была для нас силой трудолюбия и служения»? Ведь он успел в этой жизни так много сделать.[2] Уместно напомнить: ученый богослов, писатель, он был настоятелем подмосковной церкви Сретенья Господня. И всегда и во всем оставался проповедником, духовным пастырем, черпал в вере силы для проповеди действенного добра.

Он учил мыслить, чувствовать, любить; воспитывал умение прощать, отдавать; «ненавидеть грех, а не грешника»; «видеть братьев в тех, кто мыслит иначе, чем мы,— в иноверцах и в неверующих»...

Он не уставал напоминать, что человек причастен не только времени, но вечности.

Трудно устоять и не привести одно из высказываний отца Александра. Цитата, возможно, несколько пространна — но она стоит того, чтобы в нее вчитаться:

«Постоянный гнет обыденности давит сознание человека; большинство из нас значительную часть жизни не могут вырваться из-под ее ига.. Эта серая отрава искажает подлинную картину мира, пропитанный ею человек утрачивает чувство тайны, чувство чудесного, он перестает ощущать дыхание Вечности, он забывает, что она где-то рядом... Но время от времени дух, просыпаясь, делает отчаянные попытки освободиться от лживой обыденности, вернуть себе то утраченное мироощущение, в котором вновь заговорят мертвые вещи, в котором все зазвучит, затрепещет, обретет таинственный многозначительный смысл...

Что такое умозрение философов и богословские построения, как не эти воспоминания об однажды озарившем нашу душу сиянии?.. Так создаются философские системы, так смертные решаются говорить о Боге, рассуждать о Его свойствах, доходить до последнего порога, до Абсолютного сверхбытия... Мы отвергли обыденное, но не приобщились к реальности Вечного. А ощутить эту реальность, жить ею так нужно человеку. Ведь он сам не фантом преходящего бытия... он личностная монада, душа живая, ему нужно прикоснуться к ризам живого Бога, услышать голос Его, почувствовать Его в себе и во всем».[3]

Осмелюсь добавить в заключение. Бог для отца Александра не некое абстрактное понятие или безликий абсолют. Он особенно выделял в Иисусе Христе, в христианстве стремление — и умение! — обращаться к воле, совести, уму и сердцу отдельной личности. В книге «У врат молчания» он говорит об Иисусе Христе: «Это жизнь, которая есть свет человеков».

Трепетное отношение автора к Иисусу из Назарета читатель ощутит и в статье, что предлагается сейчас его вниманию[1].

Говорят, дома, как и люди, умеют хранить память о том, чему были свидетелями...

---

[1] В нашем журнале были опубликованы статьи А. Меня о романах Грэма Грина «Монсеньор Кихот» («ИЛ», 1989, № 1) и Мигеля Отеро Сильвы «И стал тот камень Христом» («ИЛ», 1989, № 11), а также стенограммы международных дискуссий, проведенных по инициативе журнала, в которых он принимал участие («ИЛ», 1990, №№ 2, 11).

[2] См. «Памяти отца Александра» («ИЛ», 1990, № 11).

[3] «У врат молчания». Брюссель, изд-во «Жизнь с Богом». 1986, с. 96—97. (Эта книга Александра Меня была издана под одним из его псевдонимов — Эммануил Светлов.)

[1] Оно и в книге «Сын человеческий», с которой — уже после трагической кончины ее автора — знакомится советский читатель.

Библию справедливо называют спутницей человечества. Многообразие ее влияния на жизнь и творчество общеизвестно. Обращение писателей XX века к библейским темам — явление не случайное и не конъюнктурное. Оно органически вписывается в длительную традицию, восходящую еще к античным временам. Чтобы определить место современных писателей — интерпретаторов Евангелия в этой традиции, чтобы понять, отчего Евангелие вновь и вновь входит в круг животрепещущих тем — в том числе и в художественную литературу,— было бы полезно проследить историю новозаветной сюжетики в поэзии и прозе. Но поскольку рамки журнального очерка не позволяют этого, мы ограничимся лишь узловыми моментами, тем, как преломлялись жизнь и личность Христа в творчестве западных прозаиков. Философии и эссеистики мы почти касаться не будем. Это особая тема, требующая отдельного рассмотрения.

Однако сначала необходимо сказать хотя бы несколько слов о временах более отдаленных.

От древних апокрифов до Штрауса

Первые попытки дать литературно-художественную интерпретацию Евангелия стары почти так же, как сама эта книга. Они появились в Египте и Сирии еще до того, как Новый Завет был сформирован полностью.

Авторы древних апокрифов стремились дать собственную версию жизни и учения Христа, домыслить эпизоды, сцены и диалоги, которые, как им казалось, опущены евангелистами. Кроме самих Евангелий образцами для апокрифов служили Ветхий Завет, античные романы, биографии, а также сборники афоризмов и легенд, издавна существовавшие на Востоке и Западе. В целом апокрифическую литературу можно назвать «вторичной», поскольку так или иначе она исходила из канонических Евангелий.

Древность часто тяготела к сверхъестественному. Сравнивая апокрифы с их прототипами, легко заметить, что те, кто их создавал, не только вводили в ткань рассказа беллетристические детали, но с особым рвением открывали эффектные, поражающие воображение чудеса. Из апокрифов мы узнаем, что уже в детстве Иисус чуть ли ни на каждом шагу проявлял

сверхъестественную силу, что тайна Воскресения совершилась в присутствии многих потрясенных свидетелей и т. д. Словом, строгая и целомудренная сдержанность евангелистов подменялась разгулом фантазии, фольклорными узорами, а подчас сложной метафизикой, заимствованной из гностической теософии.

Несмотря на это, а частично, быть может, благодаря этому, апокрифы приобрели широкую популярность и нашли отражение в изобразительном искусстве. И все же в библейский канон они приняты не были. В этом проявилось удивительное чутье составителей канонического свода новозаветных книг.

Оставляя в стороне проблему достоверности (в апокрифах бросается в глаза обилие анахронизмов), следует признать, что и с чисто художественной точки зрения они решительно уступают творениям евангелистов. Дистанция между апокрифической литературой и Новым Заветом так же велика, как между грубой имитацией и великим оригиналом. Усилия превзойти евангелистов закончились грандиозной литературной неудачей. И в этом смысле апокрифы предвосхитили судьбу последующих попыток подобного рода.

Однако едва ли правомерно считать, что художественная литература на евангельскую тему писалась напрасно. При всем своем несовершенстве она имела и определенную ценность. В частности, как форма *актуализации* и осмысления тех или иных аспектов Евангелия.

Потребность в таком осмыслении не угасла и после того, как канон был окончательно закреплен. Об этом свидетельствует богатство апокрифической литературы на средневековом Западе, в Византии, в Древней Руси. Частью то были переводы ранних текстов, частью — новые попытки. Наличие канона уже исключало претензию соперничать с Евангелием или другими новозаветными книгами. Писатели довольствовались парафразом, не претендовавшим на сакральное значение.

С эпохи Ренессанса христианские мастера слова начинают отдавать предпочтение ветхозаветным темам. И это вполне объяснимо. Писатели и поэты все чаще убеждались, насколько трудно овладеть материалом Нового Завета. Ведь Ветхий Завет, изображая человека перед лицом Божиим, рисует его со всеми присущими ему страстями, конфликтами и противоречиями. А Евангелие, меняя перспективу, говорит об ответе самой Вечности на человеческие вопрошания. «Перевести» это священное Слово на язык поэзии или прозы оказалось далеко не просто.

Даже отважная попытка такого гиганта, как Джон Мильтон, написавшего в 1671 году поэму «Возвращенный Рай», только лишний раз подтвердила, что и гений сталкивается здесь с почти непосильной задачей. А чего же можно было ждать, если за нее брались писатели меньшего масштаба?

Это стало особенно очевидно, когда в 1773 году Фридрих Клопшток выпустил эпос «Мессиада» о событиях Страстной недели. В восприятии современного человека изъяны поэмы смягчаются благодаря музыке Генделя, создавшего ораторию на текст Клопштока. Но сама по себе «Мессиада» многословна, напыщенна, порой сентиментальна, обременена грузом аллегорий, помпезных сцен и богословских рассуждений. Внутреннее величие Евангелия исчезает под этой мишурной оболочкой. С Клопштоком произошло то же, что с авторами старинных апокрифов, хотя он, разумеется, не претендовал заменить Евангелие своей поэмой.

В конце XVIII века некоторым авторам показалось, что они нашли ответ на вопрос: почему не удается «изображение жизни Иисуса»? Астроном Шарль Дюпюи, член Конвента, и писатель-романтик Вольней заявили, что образ Христа — не более чем одна из форм древнего солнечного мифа и поэтому никому не удается разглядеть в нем человеческие черты.

Это была капитуляция завуалированная. Признание — пусть и в виде исторической гипотезы — того, что на протяжении веков литература силилась достичь неосуществимого.

Предположение Дюпюи и Вольнея мало кого удовлетворило. Еще их старший современник Жан-Жак Руссо признавал, что «мифологическая гипотеза» создает лишь новые трудноразрешимые проблемы. «Евангелие,— писал он,— заключает в себе столь великие, столь поразительные, столь неподражаемые черты истины, что изобретатель был бы еще более удивительным, чем самый герой»[1]. Руссо не закрывал глаза на то, что в Евангелии есть многое, что выходит за пределы национального. Поэтому он призывал молча и скромно отступить перед непознаваемым.

Однако для рационализма, убежденного во всемогуществе «здравого смысла», в его роли последнего судьи во всех вопросах, осторожная позиция Руссо была столь же неприемлема, как и теория мифа.

На рубеже XVIII и XIX веков рационалисты четко сформулировали проблему: если Христос не откровение Бога и не вымысел, то кто Он? Нельзя ли приблизиться к Его личности, если изгнать из евангельской истории все сверхрациональное?

Многие писатели и мыслители приняли этот ориентир и решили воссоздать жизнь Иисуса, заключив ее в прокрустово ложе морализирующего просветительства. Среди них был молодой Гегель, написавший в 1795 году собственный «апокриф». В нем изображена бесцветная фигура Учителя разумной жизни, которая не идет ни в какое сравнение с евангельским Христом. Однако подобные неудачи не остановили эксперименты по художественно-исторической реконструкции начала христианства. Мало того, чем сильнее становилось влияние рационализма, тем больше привлекал литераторов образ Христа.

Грозные события Французской революции вдохновили Карла Вентурини представить Иисуса вождем мятежа. Его «Реальная история великого Пророка из Назарета» (1800—1802) явилась одним из первых романов на евангельскую тему, в котором

[1/2] Ж.-Ж. Руссо. Эмиль, или О воспитании. М., 1911, с. 436.

дан простор безбрежной фантазии. Следовавшие за ним авторы шли по тому же пути. При всем рационализме в их книгах воображение работало не меньше, чем у авторов старых апокрифов.

Итог этим опытам был подведен в 1835—1836 годах, когда вышла в свет «Жизнь Иисуса» гегельянца Давида Фридриха Штрауса. Начав как теолог, Штраус поставил перед собой задачу найти компромисс между идеальной сущностью христианства и исторической критикой. Результат оказался разрушительным. Христос у Штрауса превратился в «идею», которая отражает универсальную человечность. А такая «идея», по выражению Штрауса, «не любит» воплощаться в одном лице. Исторический Иисус был только проповедником веры и этики, а почти все, что рассказано о нем в Евангелиях,— не реальность, а цикл мифов, заимствованных из ветхозаветной веры в грядущего Спасителя-Мессию. Свой «апокриф» о жизни «исторического Иисуса» Штраус написал 30 лет спустя, когда бури, вызванные его книгой, уже утихли [3]. Но к этому времени во Франции уже была издана книга о Христе, которая произвела гораздо большее впечатление и повлияла на всех писателей, бравшихся потом за этот сюжет.

Автором книги был Эрнест Ренан.

Эксперимент Ренана

6 октября 1845 года по широкой лестнице семинарии св. Сюльпиция спускался молодой человек в сутане. Он знал, что идет здесь в последний раз. Ему было всего 22 года; еще недавно он готовился принять сан священника. Но теперь с этим было покончено навсегда. Сделать решительный шаг было мучительно тяжело. Прежде чем Жозеф Эрнест Ренан, от природы нежный и ранимый, перешел свой рубикон, он долго метался, страдал, спорил с самим собой, советовался с друзьями и наставниками.

Сын бретонского рыбака, он вырос в тихом провинциальном городке, овеянном легендами, в атмосфере старинного традиционного благочестия. Набожная мать радовалась школьным успехам сына и его будущей церковной карьере. Благодаря блестящим способностям юный бретонец был отправлен в Париж, где должен был изучать богословские науки.

Это было первым потрясением в его жизни. Впоследствии писатель вспоминал: «Буддийский лама или мусульманский факир, перенесенный во мгновение ока из глубины Азии на шумный бульвар, пришел бы в меньшее изумление, чем я, так неожиданно очутившийся в этой среде, столь непохожей на общество наших старинных бретонских пастырей, этих почтенных голов, совершенно одеревеневших или окаменевших, напоминавших те колоссальные статуи Озириса, которыми позже я любовался в Египте, смотря длинный ряд их, величественных в своем блаженном покое. Мое прибытие в Париж явилось переходом из одной религии в другую. Мое бретонское христианство не более походило на то христианство, которое встретило меня здесь, чем старинное полотно, грубое как доска, на тонкий батист» [4].

Но с напором кричащей и поверхностной цивилизации Ренан в конце концов справился. Врожденная и воспитанная чистота, любовь к научным занятиям, внимательная забота наставников помогли ему избежать вульгарных соблазнов Парижа.

Но его подстерегали другие искушения. В те годы католическая наука всеми силами противилась новым методам и выводам, которые разрабатывали в Германии исследователи Библии. Они утверждали, что далеко не все священные книги принадлежат тем авторам, которым их приписывает традиция, что ряд библейских произведений создавался постепенно из многих частей, что необходим пересмотр всей хронологии и реконструкции библейской истории в целом.

Сегодня мало кто считает, что эти чисто исторические проблемы затрагивают сущность веры, сущность библейского учения. Ведь Церковь признала те или иные книги священными, каноническими не за точность древней хронологии или фактических деталей, а потому, что они соответствовали ее живому Преданию, ее вере, воспринятой от апостолов. Но тогда, в середине XIX века, у католиков преобладали другие взгляды. Считалось, что Библия абсолютно непогрешима в смысле фактов, что любые научные взгляды, вносящие коррективы в традиционные представления, неприемлемы. Между тем, Ренан, изучая протестантских библеистов, убеждался в обоснованности многих их теорий. Это внесло в его сердце и разум тяжкий разлад. В письмах к друзьям он сетовал, почему не родился протестантом.

Впрочем, и протестантизм вскоре стал казаться ему несостоятельным. Вера Ренана дала непоправимую трещину. Мать, узнав о его сомнениях, горестно недоумевала, почему сын становится отступником из-за каких-то спорных толкований, а он считал, что она «недостаточно образована», хотя и умна. По иронии судьбы позднейшая католическая наука оказалась на стороне этой простой женщины.

Но, пожалуй, дело было не только в библейской науке. Позитивизм и рационализм оказали сильное разрушительное воздействие на мысль Ренана. И что особенно важно, его скепсис был поддержан сестрой Генриеттой, которую он бесконечно уважал и любил. При ее содействии бывший семинарист вступает на светское поприще. Он посвящает себя восточной филологии и истории, издает переводы, пишет эссе и исследования по древним языкам.

Постепенно формируется его новое мировоззрение, которое представляет собой истинный клубок противоречий. Он отрицает религию, но в то же время восхищается ею, он постоянно говорит о Боге, но никогда нельзя понять, какой смысл он вкладывает в это слово; он проповедует скептицизм, пытаясь остаться романтиком-идеалистом. В основе его мышления — каприз, игра, любование тем, во что он не верит, и вера в то, что подвергает сомнению. Он остается

---

[3] Речь идет о втором варианте книги Д. Штрауса, вышедшем в 1864 г. (Русск. перев. М., 1907).

[4] Э. Ренан. Собрание сочинений. Киев, 1902, т. X, с. 81.

«прогрессистом» в духе XIX века, но при этом никогда не упускает случая поговорить о тщетности всех человеческих усилий...

Мы намеренно остановились на душевной драме Ренана. Это многое объясняет в характере его книг. Отойдя от Церкви, он тем не менее сохранил своеобразную любовь к личности Христа. В одном из очерков 1857 года он писал, что историки должны подходить к Евангелию с таким же благоговением, как старинные мастера — к картинам на евангельский сюжет. Насколько сам писатель будет следовать этому принципу, мы увидим ниже.

В 1860 году Ренан принял участие в экспедиции на Восток, которую организовало правительство Наполеона III. К тому времени молодой ученый уже завоевал авторитет среди французских семитологов. Сестра отправилась вместе с ним. Она была свидетельницей и вдохновительницей его первых попыток набросать контуры книги о Христе. Писалась повесть в дороге, в окружении восточного пейзажа, который делал необыкновенно живым рассказ евангелистов. Ренан имел с собой минимум книг и пособий, но панорамы, которые открывались перед ним, стали для него «пятым Евангелием».

Генриетта не дождалась окончания работы брата. Находясь в Ливане, оба они заболели тяжелой лихорадкой, и, когда Ренан очнулся после многодневного забытья, он узнал, что сестра скончалась. Ей он и посвятил свою «Жизнь Иисуса», которая вышла в Париже в 1863 году.

Книга была построена как историческое повествование, но несла в себе все признаки романа. Многочисленные ссылки на источники, глубокое знание эпохи не могли скрыть этого от читателей. Там были и яркие картины древнего быта, и описания природы, и обилие произвольных домыслов. Ренан даже не удержался и в конце поместил главу «Судьба врагов Иисуса» — совсем как в классическом романе.

Книга имела шумный успех. Одни восторгались — другие выражали негодование. За полтора года «Жизнь Иисуса» выдержала 13 изданий.

Цели своей — воссоздать образ евангельского Христа как человека, как живой индивидуальный характер без чего-либо выходящего за пределы хорошо известных явлений — автор не скрывал. И с художественной точки зрения эта задача, казалось, была выполнена.

Что же мы находим в книге Ренана?

Его любимый литературный прием — контрасты. Он живописует цветущую Галилею, северную часть Палестины, с ее садами и нивами и противопоставляет ей суровый гористый юг, Иудею, пустынную и мрачную. В Галилее женщины и дети водят хороводы и поют песни, а в Иудее обитают угрюмые фанатики, сухие знатоки уставов. Иисус Назарянин — юноша, выросший в «упоительной» среде Севера. Он чист, наивен, полон нежности и снисходительности к людям. Он проповедует счастливое Царство добрых бедняков, проповедует безоблачную «религию сердца», веру в благого небесного Отца. По выражению Ренана, это был «чистый культ, религия без священников и без обрядности, всецело основанная на влечении сердца, на подражании Богу»[5]. В течение года, пишет Ренан, «Бог поистине обитал на земле»[6]. Однако идиллия была прервана. «Чарующий Учитель» столкнулся с грозным иудейским пустынником, Иоанном Крестителем. Он-то и внес смущение в сердце Иисуса. Проповедник любви и радости задумал после этой встречи покорять мир более энергично. Он вступает в споры с учеными, совершает мнимые чудеса (или позволяет верить в них), становится резким и нетерпимым, ставит перед своими последователями невыполнимые требования и наконец идет в Иерусалим, чтобы бросить вызов темному царству фарисеев. Словом, жизнь Иисуса Ренан реконструирует по тому же методу контрастов, к какому он прибегал, когда рисовал стилизованные картины природы и быта.

Поход в Иерусалим приводит к трагической развязке. «Второй» Иисус, этот «мрачный гигант», подавивший «первого», кончает жизнь на кресте. Сцену Голгофы Ренан заканчивает панегириком, который в его устах звучит странно и двусмысленно: «Покойся же отныне в славе Своей, благородный Учитель; Твой подвиг совершен; незыблема божественность Твоя. Да не смущается дух Твой; никакая роковая ошибка не разрушит вовек воздвигнутое Тобою здание»...[7] И далее в таком же духе.

Иные наивные читатели принимали подобные хвалы за чистую монету, не замечая, что все это пустая риторика. Ибо чем было восхищаться? Кого изобразил французский беллетрист? Слабого человека, легко подверженного влияниям, жившего иллюзиями и наивными доктринами давно прошедших дней. Человека, готового на «невинные обманы», полного постоянных колебаний и внутренних противоречий. Суть его учения — набор сентиментальных банальностей во вкусе парижских мещан. Яркие картины эпохи и природы не спасают положения. Рама великолепная, но в ней помещено полотно с изображением человека, в сущности, жалкого...

Невозможно себе представить, чтобы герой этого романа положил начало великой мировой религии, изменившей ход истории. А чего стоят суждения Ренана о пасхальных событиях! Оказывается, все дело в Марии Магдалине. «Страсть галлюцинирующей женщины дает миру воскресшего Бога!»[8] — патетически восклицает Ренан. Но разве мало было в прошлом и настоящем галлюцинирующих женщин? Разве мало, наконец, было в Галилее молодых людей, которые имели нежную душу и простую веру? Как случилось, что именно в евангельских событиях берет свой исток вселенская река христианства? Одним словом, подлинного, реального Христа в книге Ренана нет. А образ, им созданный, оказался насквозь фальшивым и недостоверным. На фоне этого фиаско спорные детали уже не играют решающей роли.

Обнаружилась и фальшь в призыве Ре-

---

[5] Э. Ренан. Жизнь Иисуса. М., 1907, с. 129.
[6] Там же, с. 126.
[7] Там же, с. 341.
[8] Там же, с. 316.

нана благоговейно относиться к образу Основателя христианства. Это видно хотя бы из его трактовки Гефсиманской молитвы Христа в час Его смертельной скорби. Она истолкована Ренаном в высшей степени тривиально. «Вспомнил ли Он,— пишет романист,— о светлых галилейских ключах, где Ему можно было освежиться; о виноградных кустах и смоковницах, под тенью которых Он мог отдохнуть, или о юных девах, которые, быть может, готовы были полюбить его?» [9] За каждым словом здесь сквозит одна-единственная мысль: «Он человек, Он просто человек, Он такой же человек, как мы,— не более». И этого было достаточно, чтобы опошлить, сделать элементарным и плоским трагическое и священное.

Таков был эксперимент Ренана.

Когда прошел первый шок, вызванный его книгой, христианские и нехристианские писатели извлекли из нее немало поучительных уроков, как в отрицательном, так и в положительном смысле. Одни справедливо критиковали Ренана за произвол и натяжки, другие, соглашаясь с критиками, учились у него так называемой «исторической живописи». Но большинство прозаиков интуитивно поняли его главный изъян. Выяснилось, что того Христа, Который стал «светом миру», изобразить Ренан не смог.

И его неудача определила подходы к евангельской теме почти во всей беллетристике XIX века.

От Ренана до Швейцера

В 1877 году Гюстав Флобер, друг Ренана, создает повесть «Иродиада», первый русский перевод которой был сделан И. С. Тургеневым. В ней мы найдем и подробное описание Иродова дворца у берегов Мертвого моря, и гор, «похожих на гребни окаменелых волн», и сцены придворных нравов, и филиппики Крестителя против Иродиады, и бури страстей. Нет там лишь одного — Иисуса. Он «скрыт за кадром». Его присутствие в драматических перипетиях повести лишь смутно угадывается.

Флобер по достоинству оценил наиболее сильную сторону книги Ренана — ювелирную отделку «рамы», и сам дальше этой «рамы» пойти не рискнул.

Почти то же самое находим мы у Анатоля Франса, глубокого почитателя Ренана. Впрочем, его новелла «Прокуратор Иудеи» (1892) куда интереснее и глубже, чем произведение Флобера. Автор «Саламбо» дал лишь яркий эпизод из древних времен, любопытный, подобно музейному экспонату. Франс же попытался разобраться в психологии человека, приговорившего к казни Иисуса Назарянина, и найти в ней нечто, присущее многим людям.

Действие происходит через несколько лет после Голгофы. Бывший правитель Иудеи беседует о тех временах с товарищем. Тот напоминает Пилату об Иисусе, казненном по его приказу. Но странное дело — прокуратор ничего не может вспомнить. Даже красота куртизанки Марии Магдалины им не забыта, а смерть Невинного начисто стерлась из его сознания [10]. Напрасно собеседник пытается оживить его память. Пилат лишь упорно твердит: «Нет. Не помню. Ничего не помню».

Франс, вероятно, имел в виду, что распятие какого-то галилеянина было для Пилата событием малопримечательным. Действительно, из исторических свидетельств известно, что прокуратор часто расправлялся с неугодными людьми без суда и следствия. На этом кровавом фоне крест «Царя иудейского» словно бы терялся. Однако, хотел того Франс или нет, читатель чувствует, что дело вовсе не так просто. Римлянин *не желал* помнить о том, что смутно тревожило его совесть...

Как бы то ни было, самого Христа Франс не изображает. Попытку обрисовать Его образ предпринял Оскар Уайльд в своем посмертно изданном произведении «De Profundis»; но это не беллетризация Евангелия, а эссе-размышление. «Мне нисколько не трудно,— признавался он,— поверить в волшебное действие Его личности. Я верю, что одно присутствие Его могло приносить мир измученным душам, и те, что касались Его одежды или рук, забывали свою боль; и когда Он шел мимо по большой дороге жизни, люди, для кого до сих пор тайна жизни оставалась сокрытой, ясно видели ее теперь... И толпа, когда Он проповедовал на склоне холма, забывала голод и жажду и заботы мира сего. И друзьям Его, внимавшим Ему, когда Он сидел за трапезой, грубая пища казалась вкусными яствами, вода — прекрасным вином; и весь дом как будто наполнялся сладким ароматом нарда». [11]

Находясь в тюрьме, Уайльд часто читал Евангелие, но он не скрывает, что его представление о Христе во многом обязано книге Ренана. Она казалась ему «прелестным пятым Евангелием, которое хотелось бы назвать «Евангелием от Фомы» [12]. Как и у французского писателя, у Оскара Уайльда во всем господствует эстетический критерий оценок и восприятия. Однако именно этот критерий все же не позволил ему вывести Христа в драме «Саломея» (1893), которая по сюжету близка к «Иродиаде» Флобера, но в отличие от нее пропитана напряженным эротизмом (в драме плясунья Саломея, дочь Иродиады, страстно влюблена в Иоанна Крестителя и губит его за то, что он ее отверг).

Итак, в художественной прозе Флобера, Франса и Уайльда, когда они обращаются к новозаветным темам, Христос отсутствует. Факт этот, несомненно, заслуживает внимания. Кажется, будто мастера слова смущенно кружат вокруг главной загадки, вокруг главного Лица, не рискуя пересечь границу, которая от Него отделяет...

Примечательно, что такую же осторож-

[9] Там же, с. 311.

[10] Отождествление Марии Магдалины с блудницей, описанной в Евангелии от Луки (7, 36—50), не имеет оснований в самом библейском тексте, а сложилось в латинской агиографической традиции, связанной с именем Григория Великого (VI в.). См. Butler's Lives of the Saints. Lnd., 1980, p. 161.

[11] О. Уайльд. Полное собрание сочинений. СПб., 1912, т. 2, с. 262.

[12] Там же, с. 263. Говоря о «Евангелии от Фомы», писатель имел в виду не апокриф с таким названием, а сомнения Фомы (Евангелие от Иоанна, 20, 24—29), которые напоминали Уайльду скептицизм Ренана.

ность проявили в XIX веке и писатели-христиане. Напомним, в частности, роман американца Лу Уоллеса «Бен-Хур» (1880), получивший уже в наши дни широкую известность благодаря экранизации. Он повествует об иудейском воине княжеского происхождения, современнике евангельских событий. Бен-Хур верит, что Иисус — Мессия, тщетно пытается предотвратить распятие, а впоследствии примыкает к ученикам Христовым. Несмотря на религиозную направленность романа и на то, что Христос в каком-то смысле центр его,— Он сам остается скрытым. Бен-Хур видит Его лишь на мгновение.

Нечто подобное мы находим и в произведении польского католического прозаика Генрика Сенкевича. Его рассказ «Пойдем за Ним» содержит описание распятия. В нем подробно изображен исторический антураж, во многом заимствованный Сенкевичем у Ренана, но сама Голгофа показана как бы увиденной глазами стороннего зрителя. Настоящая встреча героя произведения с Христом происходит не в историческом, а во внутреннем плане.

Материал из книги Ренана «Антихрист» (1873), посвященной христианству времен Нерона, широко использован Сенкевичем и в его знаменитом романе «Quo vadis» («Куда идешь», 1896); впрочем, сам писатель прекрасно знал ту эпоху и изучал античные источники в подлиннике. Роман сразу же завоевал огромную читательскую аудиторию, был переведен на все европейские языки (русский перевод выходил более 20 раз).

Развернув многоплановую красочную панораму римской жизни 60-х годов I века, Сенкевич показал столкновение двух миров: империи и христианства. За внешне импозантным фасадом державы цезарей он увидел симптомы краха, внутреннего разложения. Христианские же общины, пусть презираемые и гонимые, несут в себе семена нравственного и духовного возрождения. Им принадлежит будущее. Среди действующих лиц романа есть и новозаветные персонажи: апостолы Петр и Павел. Однако события книги разворачиваются уже за пределами тех хронологических рамок, которыми ограничен Новый Завет. Собственно, Сенкевич начинает там, где кончается рассказ Деяний Апостольских. Поэтому жизнь Христа могла быть дана в романе лишь через призму проповеди Петра. Таким способом читатель не найдет в книге прямой художественной интерпретации Евангелия.

К иному приему прибегла шведская писательница Сельма Лагерлёф, которая у нас хорошо известна по детской повести о путешествии мальчика на гусе. Ее книга «Легенды о Христе» (1904) сознательно удалена от буквы Евангелия. Это цикл апокрифов, чарующих, словно мудрая сказка или притча, не имеющих, однако, претензий изобразить «как в действительности было дело» или даже «как могли происходить события». Символы и аллегории Лагерлёф напоминают не столько Евангелие, сколько старинные народные легенды Севера.

На рубеже XIX и XX веков художественная литература, казалось, получила новый импульс от обширных исследований историков и критиков, старавшихся избежать ошибок, допущенных Ренаном. В первых рядах мы видим здесь сторонников так называемого «либерального богословия». Они задались целью «освободить Евангелие от легендарных напластований» и найти в нем «чистое учение Иисуса». Корифеем либеральной школы был историк Адольф Гарнак, который сформулировал свои взгляды в лекциях, изданных под названием «Сущность христианства» (1901). В этих лекциях Благая Весть Иисусова сводилась лишь к проповеди о Боге как Отце человечества, о ценности души, о нравственном служении идеалу.

От Ренана Гарнак отличался более строгим, объективным подходом к источникам и верой в истинность «подлинного христианства, свободного от метафизики и догм» (в то время как Ренан вообще сомневался в возможности познать истину).

Многие писатели схватились за «компас», предложенный Гарнаком, и смело приступили к задаче, с которой XIX век не справился.

Но читателей ждало разочарование.

Хотя новый подход в чем-то и был ближе духу Евангелия, чем подход Ренана, он не принес в художественной литературе ожидаемых плодов. Характерным образчиком в этом смысле является роман немецкого писателя Густава Френсена «Святая земля» («Hilligenlei», 1905).

Герой книги, провинциальный юноша Кай Янс, мечтает вырваться из затхлой среды, ищет новых идеалов. Несмотря на бедность ему удается попасть в университет, где он много размышляет над призванием человека. Результатом его штудий и раздумий становится рукопись, которую он дарит невесте. Рукопись называется «Жизнь Спасителя по новейшим исследованиям; основание, на котором должно созидаться возрождение современного общества».

Сам Френсен в послесловии к роману пишет, что эта вставная глава («Рукопись») есть плод «долголетних занятий по этому вопросу и добросовестного изучения всей соответственной научной литературы»[13]. Он даже приводит в конце библиографию, которая показывает зависимость романиста от «либерального богословия». Но воистину «гора родила мышь». Сто с небольшим страниц повествования, полных взвинченной риторики, банальных и невыразительных,— в сущности, пересказ все того же Ренана, однако уступающий ему на несколько порядков. Френсен даже не удержался и повторил в конце почти без изменений заключительную фразу книги Ренана[14].

Люди, поясняет Френсен, поверили в воскресение Иисусово потому, что очень этого хотели.

«Он снова придет»,— так говорили древние книги... «Он должен прийти»...— так шептали люди и оглядывались с тоской. «Он должен прийти...» — так шептали озеро и деревья и ветер ночью в тех местах, где он ходил всего лишь две недели назад. «Я должен еще раз увидеть его,— говорил Петр, отрекшийся от него,— иначе я не могу жить».

---

[13] Г. Френсен. Рукопись. Глава из романа «Hilligenlei». СПб., 1907, с. 140.

[14] Там же, с. 116; ср. Э. Ренан. Ук. соч., с. 361.

«Чу!.. Ты видел что-нибудь, Петр?»

И на следующий день облетела окраину первая молва: на берегу озера, вдоль которого он так часто ходил, Петр вечером увидел Его. Он стоял в темноте — приветливый, светлый призрак — и смотрел на него». [15]

Этими несложными психологическими мотивами и объясняет романист событие, ставшее подлинным началом христианства. Он мало задумывается над тем, что Моисей и Будда, Исайя и Сократ тоже оставили глубокий след в душах современников, но никто из них не утверждал, будто их великие учителя победили смерть, восстали из гроба.

А что нашел Френсен оригинального в той вере в «вечное Могущество», которое, по его словам, составляет суть учения Христа? Ведь подобную веру можно найти во многих священных книгах мира. «Либеральное богословие» и его приверженец Френсен не дают на это внятного, убедительного ответа.

Через год после выхода «Hilligenlei» появилась работа Альберта Швейцера, религиозного философа и музыканта. Во втором издании она была названа «История поисков жизни Иисуса». Проследив попытки реконструкции евангельской истории в XVIII—XIX веках, Швейцер убедился, что беллетристы и историки в равной степени были субъективны. Каждый из них видел в Евангелии только то, что хотел, что подсказывали ему его воззрения. Но странный парадокс! Сам же Швейцер не устоял перед искушением и в конце книги дал собственную версию жизни Христа, недалеко ушедшую от «либеральной», против которой он ополчался.

Новые попытки

После выхода книги Швейцера стало модным утверждать, что он «похоронил надежды достоверно изобразить личность Иисуса Назарянина». Однако вопреки ожиданиям именно тогда на книжный рынок буквально хлынул поток новых интерпретаций Евангелия, литературных и научных, христианских и нехристианских. Не остановило этот поток и временное возрождение мифологической теории, которую в первой трети XX века энергично пропагандировали некоторые публицисты и философы (А. Древс, А. Немоевский, П. Кушу и др.).

Любопытно, однако, что новые «ключи» к художественному решению задачи так и не были найдены. Морис Метерлинк пошел по пути Флобера, Франса и Уайльда. В драме «Мария Магдалина» (1909) он изображает внутренний конфликт раскаявшейся грешницы. Римлянин предлагает ей вернуться к прежней распутной жизни, за что обещает спасти Иисуса. Но она отказывается, сохраняя верность заветам Учителя. Христа в драме нет.

Герхарт Гауптман вдохновляется полотнами западных живописцев, нередко изображавших Христа на фоне современной жизни, и пишет роман «Юродивый во Христе Эмануэль Квинт» (1910). Его герой живет в начале нашего столетия. Он в чем-то похож на Христа; многие события его жизни по-своему повторяют евангельскую историю. И в конце концов он приводит к мысли, что Христос реально воплотился в нем. Правда, Эмануэля не распинают, но он подвергается общественному остракизму и странствует, побираясь, по городам и селам. Причем всюду повторяется одна и та же сцена. Когда у порога его спрашивают: «Кто тут?», он отвечает: «Христос»,— и дверь немедленно захлопывается...

«Невольно приходится благодарить небо,— пишет Гауптман с мрачной иронией,— за то, что этот странник — только несчастный земной юродивый, а не сам Христос; иначе сотни католических и протестантских священников, рабочих, чиновников, ландратов, всякого рода торговых людей, генералов, епископов, дворян и бюргеров, короче — бесчисленное количество благочестивых христиан навлекли бы на себя проклятие осуждения». Затем неожиданно писатель добавляет загадочные слова: «Как знать, не был ли это в конце концов настоящий Спаситель, который в одежде бедного юродивого захотел посмотреть, насколько созрел его посеянный Богом посев, посев царства?» [16]

Эмануэль погибает в горах. Тайна остается неразгаданной. Таким образом Гауптман умело оградил себя от упрека в том, что профанировал образ Иисуса. Ведь он в любой момент мог сказать: это не Спаситель — это просто «бедный юродивый». И хорошо, что эта оговорка имелась у него про запас. Слишком жалок и курьезен его герой, хотя в какие-то моменты в нем и чувствуются черты духовного величия.

Было бы удивительно, если бы в наш век революций не появились также книги, вновь рисующие Христа вождем восстания. И таких романов, эссе и исследований действительно было много. В 20-е годы среди них наибольшую известность приобрел апокриф Анри Барбюса «Иисус» (1927), написанный в подражание Евангелиям и даже разделенный, как они, на главы и стихи. К этой книге примыкает исторический очерк «Иуды Иисуса» (1927; в русском переводе «Иисус против Христа». М.-Л., 1928) и драма-мистерия «Иисус против бога» (1927), изданная только по-русски (1971). В этих трех произведениях Барбюс дает свою радикальную интерпретацию Евангелия. Те тексты, которые дошли до нас, утверждает французский писатель, полностью фальсифицированы. Иисус остался непонятым из-за тех, кто исказил его проповедь. В действительности он был революционером и атеистом, мечтавшим об освобождении человечества от гнета всех властей. Однако даже в антирелигиозной литературе было признано, что подобная концепция построена на песке. Не говоря уж об абсурдности самой мысли об «атеизме Иисуса», в Евангелиях (и канонических, и апокрифических) мы не находим даже намека, что Христос одобрял зелотов — группировку, которая призывала к восстанию.

В попытке Барбюса и других, так или иначе разделявших его трактовку (А. Робертсон, Дж. Кармайкл и др.), нашли подтверждение слова Гарнака, который писал: «Есть нечто трогательное в этом стремлении

[15] Там же, с. 116—117.

[16] Г. Гауптман. Полное собрание сочинений. М., 1910, кн. 1, с. 291—292.

всех и каждого подойти к этому Иисусу Христу со стороны своей личности и своих интересов, найти в Нем самого себя или получить бы некоторую долю в Нем». [17]

Тем временем научные исследования Евангелий набирали силу. Картина уточнялась, оставляя все меньше места произвольным догадкам и фантазиям. Поэтому, когда немецкий писатель Эмиль Людвиг, автор ряда талантливых беллетризированных биографий, взялся за книгу о Христе, он старался по возможности держаться источников и данных истории. Повествование было названо «Сын человеческий» и вышло в 1928 году. Людвиг решительно отбросил попытки перефразировать и дополнять слова Христа, приведенные в Новом Завете. «Кто бы ни пытался,— писал он,— вложить свои слова в уста Иисуса, тот должен обладать интуитивной силой, по меньшей мере равной Его силе. Поэтому каждое слово Иисуса и каждое из Его деяний должно быть взято из одного из Евангелий». [18] Но Людвиг не избежал другой ошибки. Ему хотелось проникнуть во внутренний мир своего Героя, постичь сокровенную динамику Его самосознания. Такого рода анализ, трудный в воссоздании любого другого великого образа, неизбежно вел к снижению и упрощению. Людвиг не сумел по достоинству оценить сдержанность евангелистов, которые всегда показывали Христа «извне», таким, каким Его видели и слышали люди.

Можно сказать, что полной противоположностью книге Людвига явилась «Жизнь Иисуса», написанная классиком французской литературы Франсуа Мориаком (1936). И уж никак она не напоминает Ренана, несмотря на тождество названия.

Если Людвиг сознательно старался избегать богословских аспектов темы, то Мориак — христианин и нисколько не затушевывает этого. Он смотрит на Спасителя глазами евангелистов и разделяет их веру. Более того, он подчеркивает, что не ради Церкви принимает веру в Христа, а ради Христа принимает Церковь. Мориак признает, что его убеждения укрепляет «только Он, а не обаяние христианства и не очарование литургии» [19]. «Если бы я не был христианином,— говорит он в другом месте,— то я был бы совершенно неспособен прийти к религии теми путями, которыми пришел к ней Гюисманс». [20] Он имел в виду духовный путь бельгийского романиста, ставшего христианином под воздействием церковного искусства и богослужения.

Если у Людвига немало страниц посвящено исторической атмосфере евангельских времен, то у Мориака она едва намечена. Лишь отдельные черточки быта, конкретной обстановки местами мелькают в книге, придавая повествованию осязаемость, графичность, но эти черточки почти лишены «археологического колорита».

Если Людвиг хотел угадать тайны душевной жизни Иисуса, то Мориак идет по стопам евангелистов. Лаконично, благоговейно, бережно рассказывает он о том, что происходило. Скупыми штрихами мастерски набрасывает он портреты людей, окружавших Христа, показывает различную их реакцию на Его слова и поступки. Он словно отражен в них. И в итоге книга оставляет впечатление встречи, встречи с Непостижимым, с Любовью, которая открыта всем.

С пасхальной тайны, пишет Мориак, «начинается возвращение Иисуса в мир. Однако говорить об этом значит говорить об истории мира до конца времен. Ибо присутствие воскресшего Иисуса все еще продолжается... Через несколько месяцев после того, как Он исчез из глаз учеников, Он ослепил своим светом своего врага Савла и говорил с ним. А ведь св. Павел никогда не сомневался, что был таким же свидетелем Воскресения, как и те, кто пил и ел со Христом, победителем смерти» [21].

С середины XX века в художественной литературе на евангельскую тему закрепляются две тенденции. Обе они так или иначе учитывают эксперимент Ренана. Но одна сохраняет христианский взгляд, взгляд евангелистов, другая упорно продолжает искать чисто «земные» подходы к теме.

Вторая версия развивается у шведа Пера Лагерквиста и грека Никоса Казандзакиса.

Роман Казандзакиса «Последнее искушение» (1952) представляет собой лишь разработку того довольно элементарного толкования Гефсиманской молитвы Христа, которое предложил Ренан и о котором мы уже говорили. Книга была недавно экранизирована, и фильм вызвал у многих резкий протест (см. об этом «ИЛ», 1989, № 2, с. 252). Повесть Лагерквиста «Варавва» (1950) преследует более широкие цели. Умирающему на кресте Иисусу противопоставлен разбойник, освобожденный по решению толпы и Пилата. Варавве чужда и непонятна евангельская заповедь любви, он больше доверяет силе. Однако этот суровый и грубоватый человек не может освободиться от впечатления, которое произвели на него события, связанные с его освобождением. Он словно становится невольным двойником Христа. Силится убедить себя и других, что этот странный Учитель и его приверженцы — жертвы иллюзий. Вслед за Френсеном Лагерквист изображает дело так, будто ученики ожидали скорого воскресения. Петр говорит Варавве: «Наверняка воскреснет. Кое-кто думает — даже завтра утром... И правда, почему бы ему не воскреснуть, если он даже других воскрешал из мертвых?» [22] И естественно, то, чего так страстно ждут, совершается (пусть и в воображении людей). Потом, лет тридцать спустя, Варавва оказывается среди римских христиан. И когда начинается пожар города, в разбойнике на миг вспыхивает вера, что пришел истинный Христос — грозный мститель, и Варавва, желая помочь ему, швыряет в дома горящие головни. А затем арест и казнь на кресте, которой Варавве так и не удалось избежать. Но в отличие от хри-

---

[17] А. Гарнак. Сущность христианства. В кн. «Общая история европейской культуры». СПб., 1910, т. 5, с. 40.

[18] E. Ludwig. Der Menschensohn. Berlin, 1928, S. 2.

[19] Ф. Мориак. Во что я верю. Брюссель, 1981, с. 9.

[20] Там же, с. 10.

[21] F. Mauriac. Vie de Jésus. Paris, 1962, p. 245—246.

[22] П. Лагерквист. Карлик. Повести и рассказы. М., 1981, с. 184.

стиан, разбойник умирает без веры и надежды, отдавая свою душу тьме...

В 1953 году вышел роман польского писателя Яна Добрачинского «Письма Никодима». Автор — католик, сознательно возродивший жанр древних апокрифов. Рассказ ведется от лица ученого-иудея, члена Совета, упоминаемого в Евангелии от Иоанна. Книга состоит из цикла писем, которые Никодим отправляет на Запад своему другу Юстусу. Тем самым Добрачинский избегает рискованных опытов Ренана и Людвига, пытавшихся раскрыть мысли и чувства Христа. Все факты — от проповеди Крестителя до последних явлений Воскресшего — преломлены через восприятие и мысли Никодима и других действующих лиц романа. Надо сказать, имитация подлинных писем автору едва ли удалась. В них слишком много пейзажей и описаний, которые кажутся неуместными в частной корреспонденции тех времен. Например, когда Никодим говорит о встрече с Иисусом в Галилее, он пишет своему другу: «Роса покрывала траву, подобно каплям молока, сочившегося из дырявого кувшина. Ущелье рассекает гору и разделяет ее вершину на два горба. Через эту брешь, словно через треугольное окно, виднеется гладь Генисаретского озера, похожего на огромную арену римского цирка. Этим утром под нами лежала густая масса серо-желтой мглы, сквозь которую тщетно старалось пробиться солнце» [23]. И такие пассажи встречаются почти в каждой главе, в каждом «письме» Никодима. Кроме того, автор часто измышляет слова Христа, отсутствующие у евангелистов. И на этом примере читатель может убедиться, насколько прав был Людвиг, предостерегая от подобной вольности.

Немецкий ученый Г. И. Кушель справедливо отмечает определенную зависимость романа Добрачинского от стиля агиографических сказаний [24]. Однако не случайно роман был переведен на все европейские языки и много раз переиздавался. Добрачинский тонко раскрывает внутренние колебания и сомнения Никодима, его путь к вере через все препятствия. Боль за умирающего близкого человека, которая создает трагический фон всего романа, делает его живым и очень личным. Исторический колорит, подчас несколько загромождающий «Письма», не умаляет этого свойства книги. Ее успех обусловлен неумирающим интересом к самой теме, причем трактуемой без излишних натяжек, наиболее близко к первоисточнику. Добрачинский помог читателю зримо представить события, почти участвовать в них вместе с героями романа. И это несмотря на то, что сам образ Христа в романе не обладает той яркостью, которая присуща ему в Евангелиях.

Здесь нет ничего удивительного. Для художественной литературы подобная задача так и осталась непосильной. Пожалуй, единственный из беллетристов нашего века, который с ней справился,— это Клайв Стейплз Льюис. Но в его цикле о фантастической стране Нарнии дан не исторический Христос; Его символизирует образ священного Льва Аслана. Однако этот иносказательный образ ближе к евангельскому Христу по духу, чем все попытки романистов «живописать» события Нового Завета.

Романы Г. Панаса и М. Отеро Сильвы [25]

Теперь коротко остановимся на недавно написанных книгах Генрика Панаса и Мигеля Отеро Сильвы, которые вскоре же были переведены на русский язык.

В романе «Евангелие от Иуды» (1973) Г. Панас предпочел вести рассказ не от лица человека, взыскующего веры и нашедшего ее (подобно Никодиму Добрачинскому), а остановился на апостоле-предателе. Трудно сомневаться, что в какой-то степени в обоих случаях выбор был чисто личным, автобиографическим. Этим же наверно объясняется и то, что Иуда Панаса — фигура несколько необычная для окружения Христа. Согласно роману, он вырос в Александрии в богатой семье, получил обширное западное образование. Иуда — типичный скептик, прошедший путь богоискательства и не приставший ни к какому берегу. Финансовые дела семейной фирмы поглощают его энергию, а душа погружена в беспросветную меланхолию.

Но вот он встречает красавицу Марию Магдалину, презираемую всеми за связь с римлянином-поработителем. Иуда пытается с помощью обмана завоевать ее, но внезапно у него появляются иные соперники. Мария примыкает к ученикам некоего Иисуса и отдает свое сердце новому Учителю.

Не оставляя надежд, Иуда проникает в их среду, где мало кто знает, что он богатый и образованный человек.

Свои записки о происшедшем он составляет уже в глубокой старости, обращаясь, как и герой романа Добрачинского, к некоему другу. Подобно своему католическому земляку, Панасу не удается выдержать стиль. Записки Иуды местами напоминают исторический очерк. Здесь нет обилия пейзажей, но зато много пассажей, написанных в духе хроники и даже исследования по истории тех времен.

И вновь тень Ренана возникает на страницах книги. Панас готов принять ряд его сомнительных гипотез, в частности, о том, как встреча с Крестителем изменила проповедь Иисуса. И сам Иисус в романе человек слабый, нерешительный, словно плывущий по течению. Он знает, что ученики готовят мятеж против Рима (это уже мотив из Барбюса), однако, не веря в успех, все же не останавливает их. Предпочитает погибнуть вместе с ними. Только Иуда, ум которого Он разглядел, своевременно «выводится из игры», чтобы потом поведать о чем-то важном (о чем, не совсем ясно).

Бунт подавлен. Предводитель умер на кресте. Но Марию Иуде заполучить не удалось. Ее экзальтация породила веру в Воскресение (опять-таки все по Ренану). И даже Иуда на миг поколебался в своем скептицизме, слушая ее восторженные слова. Однако, как и следовало ожидать, гипноз очень скоро прошел.

---

[23] J. Dobraczinski. Listy Nikodema. Warszawa, 1971, s. 96.

[24] H.-J. Kuschel. Jesus in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, 1984, S. 44.

[25] Г. Панас. Евангелие от Иуды. Апокриф. М., «Радуга», 1987. М. Отеро Сильва. И стал тот камень Христом. «ИЛ», 1989, № 3.

Магдалина исчезла. Безутешный Иуда отправился странствовать, но никак не мог ее забыть. Он даже основал какую-то общину в память об Иисусе. Впрочем, не понятно — с какими целями...

Глубокое противоречие свойственно роману. С одной стороны, он насыщен реалиями религиозно-общественной и политической жизни I века, цитатами из древних текстов, а с другой — дает совершенно произвольную трактовку евангельских событий, которую нельзя даже назвать гипотетической реконструкцией. Поступить так ему позволило сомнение в достоверности многого, о чем говорит Евангелие, и желание измыслить новое Евангелие по собственному вкусу. Если представить, хотя бы в виде допущения, что дело обстояло так, как изображено у Паназа, то окажется, что Весть о Христе, которая за несколько десятков лет покорила тысячи людей в разных уголках империи, была пустым звуком. Откуда тогда взялась ее сила? Если она обязана тому, что «мир хочет быть обманут» (заключительная фраза романа), то разве не была империя в те дни богата другими влиятельными доктринами и верованиями, которым пришлось отступить перед Евангелием?..

Иначе построен роман Мигеля Отеро Сильвы «И стал тот камень Христом» [26]. По сюжету он не отходит от основной евангельской канвы. Отеро Сильва не злоупотребляет ни психологией, ни историческим колоритом. Зато почти вся книга состоит из диалогов и длинных монологов, по большей части — парафразов традиционного текста. Цель этих парафразов — приблизить его к современному языку и мышлению. Правда, порой, особенно когда Отеро Сильва передает филиппики Крестителя против Иродиады, ему изменяет чувство меры. Но в целом задача актуализировать Евангелие выполняется.

Почему же М. Отеро Сильва, коммунист, взялся за книгу о Христе?

По той же причине, почему за эту тему брались и верующие, и атеисты, и скептики. Очевидно, и по прошествии двух тысяч лет не иссякло магнетическое притяжение Евангелия, заставляющее возвращаться к нему вновь и вновь. В поисках фундаментальных ценностей обойти его невозможно.

Евангелие возносит человеческую личность на небывалую высоту, видя в ней отображение Вечности. Для Евангелия бытие не бессмысленный ход вещей, не абсурд, а борьба светлого духовного начала против губительных стихий ненависти, эгоцентризма, суетности, приземленности. Человек, по Евангелию, не случайный продукт вещества, рожденный на миг из тьмы и обреченный во тьме угаснуть. Он — носитель бессмертного духа, дитя небесного Отца, призванное к высшей задаче: восходить к своему первообразу через второе рождение, «рождение в духе».

Цель всего созданного — Царство Божие, когда будут повержены зло и смерть. Но уже сейчас, учит Евангелие, в нашем несовершенном мире, Царство это присутствует, хотя и «неприметным образом». Оно осуществляется в единении со Спасителем, победившим смерть, в заповеданной Им жертвенной любви, в открытости человека человеку и людей — Запредельному.

Христос не призывает к бегству от жизни. Евангельский идеал должен стать действенным в самом его средоточии. Природа, труд, плоть должны одухотворяться и преображаться. И в этом человек — свободный соучастник Творца. Абсолютное доверие к Нему, служение Ему, углубление человечности приближает Царство.

Христос сказал ученикам, что останется с ними «до скончания века». Останется не Его «учение», а Он — Воскресший, лик божественной тайны, явленной миру. Вот почему неудача постигала всех тех, кто хотел представить Его только учителем морали. Он бесконечно больше, чем мудрец, изрекающий этические афоризмы. Подобные изречения можно в изобилии найти у философов и в древних священных книгах. Сила Евангелия не в новой системе нравственности как таковой, а в центральном Образе, который мы в нем находим.

Но кто же его создал? Кто те великие мастера слова, которых не могли превзойти гениальные прозаики и поэты всех времен?

Немецкий историк Адольф Юлихер как-то сказал, что сами евангелисты намного ниже Того, Кого они изображают, что они словно бы с трудом овладевают темой. Однако итог налицо. В истории литературы эти небольшие по объему четыре книги, составляющие Евангелие и созданные не профессиональными писателями, а теми, кто донес до нас подлинное апостольское предание,— феномен уникальный.

Нет, не христианство создало, анонимным образом, Христа. Даже те немногие примеры, которые приведены в этой статье, показывают, неправдоподобность этого. Сегодня историки все больше убеждаются, что в Евангелиях запечатлелась исключительно древняя традиция, живая память свидетелей тех удивительных событий. Но независимо от выводов исторической критики ясно, что за таким текстом, как четыре Евангелия, стоит особая реальность. Гёте говорил: «Я все четыре Евангелия считаю несомненно подлинными, так как на всех них лежит отблеск той духовной высоты, источником которой была личность Христа и которая является божественной более, чем что-нибудь на земле» [27].

Когда-то Михаилу Пришвину задали вопрос: «Христос ли создал себя или Его создали другие люди?», то есть евангелисты, церковники, творцы народных легенд. И писатель ответил: «Христос — причина веры» [28]. Таков ответ христианского сознания на загадку, которую ставит перед миром Евангелие. Почти двадцать веков питало оно мировую культуру, оставаясь неисчерпаемым, способным вдохновлять, волновать, будить раздумья о жизни, смерти, вечности и человеческом призвании на земле.

г. Загорск

---

[26] См. также эссе Александра Меня об этом романе в «ИЛ», 1989, № 11. *(Прим. ред.)*

[27] Цит. по И. П. Эккерман. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М.— Л., 1934, с. 847.

[28] М. М. Пришвин. 1914-й год. Дневники. «Литературная учеба». М., 1989, № 1, с. 141.

КЕЙС ВЕРХЕЙЛЬ

ТИШИНА РУССКОЙ ЛИРИКИ

Два этюда

Вступление АНАТОЛИЯ НАЙМАНА

В иностранцах, занимающихся русской культурой, если только такое занятие для них не средство одной лишь карьеры, можно заметить некоторые общие черты. Это специфическая серьезность, далекая от деловитости, неторопливая, чуть-чуть печальная. Душевная открытость, соединенная с самоуглубленностью, не боящаяся обмана и обиды. Понимание чужой беды, сочувствие чужой боли — искренние, не напоказ. Представление о своей судьбе, хотя и индивидуальной и самоценной, но встроенной в большой, не их собственный замысел. Наконец, какой-то отсвет бесшабашности на их упорядоченной, не по-русски разработанной жизни. И все это без ущерба для национальных качеств, привычек, темперамента, чувства достоинства.

Таково по крайней мере было поколение, обратившееся к России четверть века назад. Они даже и роста были примерно одинакового, ладные, стройные, крепкие, что девушки, что мужчины. Кейс Верхейль был одним из них.

Во время нашей первой прогулки по Ленинграду он назвал имя своего научного руководителя, университетского профессора, которого я знал, и я — совершенно несправедливо, только для красного словца — бросил: «Сребровласый и благоухающий старец». Он говорил по-русски бегло, без затруднений, но я предположить не мог, что моя цитата будет узнана. Он даже остановился на мгновение, улыбнулся счастливой улыбкой и произнес: «Ничего так не люблю, как «Записки из подполья». «Записки из подполья» и мейстера Экхарта».

Тогда он только что кончил книгу о Т. С. Элиоте, а я как раз переводил главу из «Четырех квартетов». Он знал текст почти наизусть и после внимательного чтения сделал одно замечание: ему казалось, что «distant» имеет содержание более изысканное, чем «дальний». И тут же сделал оговорку, что, мол, не имеет права судить о словоупотреблении на чужом языке. В действительности же его языковое чутье было изумительным.

Таким же было его чутье на людей. Ему претила тривиальность и потому так привлекательна была неординарность Надежды Мандельштам и Лидии Яковлевны Гинзбург среди старших, Бродского среди сверстников. О них, так же как о Лидии Чуковской — и об Андрее Платонове,— он написал проникновенные эссе. Но началась для него Россия с Ахматовой, точнее с того болезненного зияния, которое так реально ощущалось в первый год после ее смерти. О ее творчестве он написал монографию «Тема времени в поэзии Ахматовой», насыщенную меткими наблюдениями и основательными выводами.

Сейчас ему 50, место жительства — главным образом Амстердам, месяца два в году проводит в Риме. Не меньше, чем эти два города, любит Ленинград, однако, приглашая меня проехать на экскурсионном пароходике по амстердамским каналам, заметил: «Это как по Фонтанке и Крюкову, но, прости меня, лучше». Преподает в университете. И еще получает от государства ежегодную дотацию, равную его университетскому заработку. Потому что Голландия — небольшая, тиражи книг ничтожные, и казна взяла на себя заботу о своих писателях. Как и многие другие голландцы, он встревожен сказывающейся на языке американизацией местной жизни: почти все говорят по-английски, читают английские, то бишь американские, книги и даже уже пишут статьи, как он выразился, «на бездарном английском языке». Основ-

ной жанр его творчества — рассказы и эссе. С двумя из них, написанными по-русски [1], вы сейчас познакомитесь.

Анна Ахматова и Иосиф Бродский

Кажется, что культуры можно разделить на два типа: на культуры, основанные на идее слова — логоса,— и на культуры, основанные на идее вещи, дела, действительности — всего того, что по-латыни называется *res*. Вероятно, возможность такого разделения связана с разделением нашей Европы на ее византийскую и ее римскую половины.

Я, как голландец, принадлежу к культуре крайнего типа *res*. В нашем воспитании чуть ли не основной добродетелью считается молчание. Главного национального героя, освободителя страны и родоначальника королевского дома, мы называем Вильгельмом Молчальником. Вы, пожалуйста, не думайте, что мы все так и сидим целые дни друг против друга молча, с деревянными лицами. То, о чем я говорю, происходит на более глубоком, инстинктивном уровне. С некоторой долей преувеличения можно сказать, что наша главная идея заключается в том, что, когда человек говорит, реальность перестает иметь место. В результате такой основной идеи, как мне кажется, голландская культура — прежде всего культура живописи. Отсюда и сравнительное отсутствие у нас интересной литературы.

Русская культура в своем корне противоположна нашей. Если могу так выразиться, главная идея русской культуры такая, что когда человек молчит, реальность перестает иметь место. Иными словами, русская идея, мне кажется, такая, что логос порождает действительность, а не наоборот. Одно последствие такой национальной идеи — невероятное количество совершенно уникальной по своему качеству поэзии и прозы. Другое последствие — жуткое количество, в разные времена, той словесной бессмыслицы, которая называется пропагандой или проще ложью. Одно связано с другим. С точки зрения голландца, русская культура — культура многословия, блестящего, а иногда менее блестящего многословия. Она для нас привлекательная и отчасти чужая: может быть, привлекательная потому, что отчасти чужая, как некий вид компенсации. Соответствующим видом компенсации является, как я полагаю, наличие в ваших эрмитажных залах самого красивого и самого богатого зарубежного собрания голландской живописи классического периода.

По отношению к только что сказанному у Ахматовой специальное положение. Как я наблюдал, мои соотечественники склонны любить ее по-особому — без тени чувства духовного расстояния. Может быть, это объясняется следующим.

Ахматова — поэт, и у нее, естественно, все построено на логосе. Но ахматовский логос, ахматовское слово всегда обращено к *res*. Можно говорить о каком-то принципиальном целомудрии ее языка. Недаром, начиная с первых ее сборников, критики стали говорить о вещности, предметности, лаконичности, недосказанности — эти термины потом так и остались ключевыми для понимания всего ее творчества. Ахматовская поэтика скорее поэтика потенциального слова. Ее слово порождает не столько действительность, сколько тишину. Тишина в смысле сосредоточенности, ожидания, которые ранние стихи Ахматовой производят в голове читателя,— может быть, самая характерная их черта. Такая тишина не отрицательное качество: она — не отсутствие значения, а *при*сутствие напряженного внимания ко всякому бессловесному внешнему и внутреннему бытию. Раннюю лирику Ахматовой можно считать великолепным выполнением парадоксального завета тютчевского стихотворения «Silentium!»: молчание в слове.

В так называемый поздний период Ахматовой тишина чуть ли не превращается в главную ее лирическую тему. Тишина становится источником ее понимания жизни. Когда она чувственно воспринимает историческое время, оно *звучит*, как у Блока и Мандельштама, но только на фоне какой-то ужасающей тишины.

И тихо, так, Господи, тихо,
Что слышно, как время идет.

Имейте в виду, что это — строки из стихотворения, которое открывает цикл о немецких бомбардировках в Западной Европе в начале второй мировой войны, то есть цикл о самых сильных звуках, которые можно себе представить, о той степени громкости, которая открылась человеческому уху только с XX веком. В конце того же стихотворения поэт говорит о том, что страшнее всякой катастрофы последующая за ней тишина.

Идея тишины как предпосылки для восприятия потаенных истин, тишины ужасающей и в то же время дающей доступ к сути физического и нравственного мира, в стихотворении «Творчество» связана с поэтической деятельностью. Из этого стихотворения мы узнаем, что для Ахматовой возникновение поэтического звука неизбежно сопровождалось возникновением нагруженной смыслом тишины. Вокруг «все победившего звука» дающего знать о себе нового стиха

...так непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо...

Тишина — последняя тайна и последнее утешение на грани смерти. Цитирую «Предвесеннюю элегию», которой открываются «Полночные стихи», цикл, написанный Ахматовой в Комарове в самом конце жизни:

Меж сосен метель присмирела,
Но, пьяная и без вина,
Там, словно Офелия, пела
Всю ночь нам сама тишина.
А тот, кто мне только казался,
Был с той обручен тишиной,
Простившись, он щедро остался,
Он насмерть остался со мной.

Здесь евангельский мотив Сошествия Святого Духа [1] — Утешителя и Вдохнови-

[1] Разумеется, мы сохраняем стилистику автора. *(Прим. ред.)*

[1] См. «Деяния святых Апостолов» 2, 13—16: «А иные, насмехаясь, говорили: они напились

теля пророческого логоса — переплетается с ощущением таинственной близости в тишине северной ночи нежного принца из Шекспира, жениха Офелии.

В заключение хочу добавить что-то о наследии ахматовской тишины. Первый из наследников Ахматовой, как известно, Иосиф Бродский. Нетрудно предсказать, что в близком будущем появится огромное количество исследований на тему «Ахматова и Бродский» — тему тем более привлекательную, что при всей биографической близости этих двух ленинградцев поэзия Бродского сильно отличается от ахматовской. На грубо элементарном уровне можно сказать, что Бродский скорее русский поэт многословного типа, поэт не тишины, а завлекающего словесного гула. Я сегодня далее воздержусь от общих рассуждений и хочу только обратить ваше внимание на одну деталь в стихотворении Бродского «Сретенье», может быть, его самом ахматовском стихотворении. Ахматовским следует назвать «Сретенье», во-первых, по прямой биографической причине. Стихотворение рассказывает о введении младенца Иисуса в Иерусалимский храм и его узнавании там как Христа пророком Симеоном и пророчицей Анной. Православный праздник, связанный с приветствием Христа иудейским миром называется кроме «Сретенья» и «Сретенская Анна». Ахматова привыкла праздновать свои именины в этот день, то есть 16 февраля — дата, которую поэт поставил под стихотворением в его английском переводе. Таким образом, «Сретенье», написанное за несколько месяцев до отъезда Бродского из России, можно рассмотреть как посмертный подарок поэта Анне Ахматовой на именины.

Включением этого стихотворения в специальный сборник, изданный им в 1983 году и объединяющий все тексты, которые он в течение долгих лет посвящал «М.Б.», поэт указал на еще более глубокий личный подтекст тематики «Сретенья». В эту тематику входят, как мне кажется, не только идеи пророческого дара поэта и преемственности поколений, но и чувство родительской радости и какая-то глубоко личная форма веры, которую можно определить — насколько чью-нибудь веру вообще можно определить — как лежащую где-то на ничейной территории между Ветхим и Новым Заветом, между Иудаизмом и Христианством.

Другой ахматовский элемент — это, конечно, сам жанр стихотворения. Ведь «библейские стихи» в русской поэзии XX века — прежде всего изобретение Ахматовой. Даже стихи на библейские темы Пастернака из «Живаго», которые, по-видимому, тоже повлияли на «Сретенье» Бродского, следует считать не только подражаниями Рильке, но и русской современнице.

Первоисточник стихотворения Бродского, естественно, библейский, в данном случае: вторая глава Евангелия от Луки. Но есть еще другой источник, для голландца легко узнаваемый. Иосиф мне подтвердил, что его изображение библейской сцены в немалой степени основано на картине Рембрандта на тот же сюжет — эту картину поэт знал только по репродукции, так как оригинал висит в музее Мауритсхэйс в Гааге. Позвольте привести стихи Бродского:

СРЕТЕНЬЕ

Анне Ахматовой

Когда она в церковь впервые внесла
дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
  Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
младенца стояли, как зыбкая рама,
  в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взора небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
  в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом
свет падал младенцу; но он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
  покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведано старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
  Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,

реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
  дитя: он — Твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в нем» — *Симеон*
умолкнул. Их всех тишина обступила[2].
  Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
  что в силах взлететь, но не в силах
спуститься.

И странно им было. *Была тишина*
не менее странной, чем речь. Смущена
Мария молчала. «Слова-то какие...»
  И старец сказал, повернувшись к Марии:

«В лежащем сейчас на раменах твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
  И тем же оружьем, Мария, которым

терзаема плоть его будет, твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око».

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна *безмолвно* глядели.
  Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле

для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шагал по застывшему храму пустому
  к белевшему смутно дверному проему.

И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
  но там не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
  врывался шум жизни за стенами храма.

Он шел умирать. *И не в уличный гул*
он, дверь распахнувши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
  Он шел по пространству, лишенному тверди,

он слышал, *что время утратило звук.*
И образ младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
  душа Симеона несла пред собою,

сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: Они не пьяны, как вы думаете...» *(Здесь и далее — прим. автора.)*

[2] Здесь и дальше курсив автора статьи.

как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

Три или четыре недели тому назад я специально пошел в Мауритсхэйс, чтобы посмотреть картину «Симеон в храме». Меня поразили две вещи. Первая была особенное решение художником главной задачи живописи XVII века: задачи освещения изображаемой сцены. В картине «Симеон в храме» освещение — двойное. Слева, с высоты, солнечный свет падает на центральную группу. Ему как бы отвечает внутренний свет, исходящий из облика младенца Иисуса. Есть смысл предположить, что этим сочетанием двух источников света, источника свыше и источника в человеке, Рембрандт выразил идею встречи двух основных религиозных миропониманий. Хочу обратить ваше внимание на то, что символикой света и освещения пронизано также стихотворение Бродского.

Второе, что меня поразило, когда я смотрел на картину Рембрандта, это присутствие одной фигуры, которая ни словом не упоминается в стихах Бродского. Где-то в середине, рядом с остальными, стоит библейский Иосиф, отец младенца, рыжеволосый в знак его происхождения от рыжего же по преданию Царя-Псалмопевца. Опустившись на одно колено, с парочкой голубей в руке для жертвоприношения, он пристально смотрит на происходящее. Полное умолчание этой фигуры в стихотворении Бродского мне кажется выразительным примером, сознательным или инстинктивным — я не берусь сказать, того поэтического такта и той недосказанности или тишины, которые иначе не назовешь, как ахматовскими.

Москва 15.VI.1989 — Ленинград 27.VI.1989

Несколько послеахматовских воспоминаний

Положение мое перед вами смешное потому, что мои личные воспоминания об Ахматовой сводятся к тому, что я никогда не видел Ахматову. Постараюсь объяснить.

В феврале 67-го года, почти год после ее смерти, я приехал по культурному обмену в Россию на долгую стажировку, чтобы подготовить диссертацию об ахматовской поэзии. Я тогда буквально никого не знал ни в Москве, ни в Ленинграде. Первые месяцы я сидел в московских библиотеках, читая стихи Ахматовой и статьи о них, и дружил в свободное время со студентами моего этажа в общежитии университета. Настоящая ахматовская жизнь для меня началась только к лету, когда я сделал визит ленинградскому литературоведу профессору Д. Е. Максимову. Дмитрий Евгеньевич — чьи ахматовские воспоминания, между прочим, хотя они коротки, на мой взгляд, среди самых психологически интересных — мне сделал один из лучших подарков в моей жизни, когда он мне дал список тех лиц, с которыми он мне посоветовал познакомиться в связи с работой. Так как большинство этих лиц никак не принадлежало к так называемой официальной культуре, мне кажется, что жест Дмитрия Евгеньевича совершенно незнакомому ему иностранцу не был только симпатичным, но для этого времени и мужественным.

Начиная со следующего утра Россия для меня переменилась. Все, кому я позвонил по совету профессора Максимова и к кому я потом пошел, и в Ленинграде и в Москве, удивительно хорошо ко мне относились. Быстро они даже стали моими друзьями — и старшие знакомые Ахматовой, но особенно тот круг молодых ленинградцев, моих сверстников, с которыми мгновенно стало ясно, что нас соединяет гораздо больше, чем интерес к стихам Ахматовой.

Получилось так, что у меня создавалось очень реальное и в то же время совершенно ирреальное впечатление о только что исчезнувшем человеке — том человеке, которого я приехал изучать. Ахматова для меня стала отражением — отражением голоса в магнитофонных записях, которые я слышал у Рожанских в Москве; отражением лица на бесчисленных фотографиях, которые тогда еще были большею частью неопубликованы; отражением полного живого облика в замечательном фильме, который мне показала в своей квартире милая Ника Глен. И может быть, я больше всего познакомился с Ахматовой через все анекдоты, рассказы и описания, которыми мои молодые друзья меня угощали. Один эффектно имитировал интонации Ахматовой, другой ее жесты — так что я, например, подробно узнал, как, с какой мимикой и с какими телодвижениями она пила водку или поднимала телефонную трубку. Мои друзья мне все это показывали не только, как мне думается, чтобы мне быть полезными. Мне часто казалось, что они рады поводу, который моя работа им дает, чтобы говорить об «Анне Андреевне». Меня не раз поражало физическое ощущение, в этом году и в этом кругу, ее отсутствия — или, вернее, какого-то потрясающего ее присутствия как отсутствующей. Анна Ахматова как пустое место, точнее, как пустой центр какого-то мира, все еще держащегося на ней. До сих пор ленинградские «ахматовские сироты» по поводу чего-нибудь вдруг возникающего мне иногда говорят: «Знаешь, в таких случаях Анна Андреевна...»

Мне люди задавали и еще задают вопрос, не жалею ли я, что на год опоздал, что не имел возможности лично познакомиться с Анной Ахматовой. Мой ответ на этот вопрос такой, что я всегда спокойно относился к этой случайности. Чтобы быть совершенно искренним, скажу, что я этой случайности всегда немножко радовался. Общие рассказы о том, как многие страдали, падали в обморок или теряли способность к речи при их визитах к этой страшноватой даме, на меня сильно действовали — мне тогда было двадцать семь лет, и у меня характер несколько застенчивый. Ахматовские сновидения, которые у меня бывали, когда я писал свою книгу, тоже не всегда были приятного типа. Наши с ней встречи, всегда почему-то неожиданные, происходили в момент, когда я не был одет как следует в присутствии старой дамы или когда я делал что-нибудь неприличное. Вот почему то обстоятельство, что я никогда не

встречался с тем человеком, чей образ принадлежит к главным данным моей жизни, меня мало волнует. Так пока спокойнее. Иногда мечтаю — уже без всякого страха — о теоретической возможности знакомства в загробной жизни.

Оправдание моим эгоцентрическим и поэтому малоинтересным сегодняшним заметкам, как я надеюсь, в том, что они связаны с чем-то более общим. У меня ощущение, что для тех моих русских друзей, которые мне рассказывали об Ахматовой, особенно для моих сверстников среди них, она являлась и продолжает являться золотым этическим стандартом, что она для них образ не только идеального поэтического таланта, но также идеального поведения на всех уровнях жизни — может быть, по термину Достоевского, образ «вполне прекрасного человека».

На бытовом уровне для моих русских сверстников Ахматова, очевидно, была главным, может быть единственным, серьезным источником того, что называется этикетом. Ее изречение «Есть можно руками все, кроме компота» я сам часто повторяю на обедах у себя на родине, хотя там есть проблемы с переводом, потому что компот как блюдо — чисто русское явление. Вас, вероятно, больше будет интересовать, что, когда у кого-то из этих друзей ко мне есть упрек, он его до сих пор обычно формулирует так: «Кейс, у Анны Андреевны такого никогда не было».

Один из моих здешних знакомых, которые меня воспитывали как ахматоведа и вообще как человека, была Надежда Яковлевна Мандельштам. О ней хочется сказать что-то отдельно в связи с распространяемой в последнее время легендой о том, что она якобы питала какую-то специальную злобу или злость против Ахматовой. Я в течение полугода бывал раза три в неделю, и потом каждый раз, когда я приезжал в Москву, до последнего месяца ее жизни, по два или три часа у нее на Большой Черемушкинской. Особенно вначале, когда тема моей предполагаемой книги еще считалась главной темой нашего разговора, мы либо в кухне, либо в единственной комнате со всех сторон обсуждали стихи и личность Ахматовой, но, честно говоря, я у моей собеседницы никогда никакой злости не примечал.

По поводу этой проблематики хочу вам предложить маленькое общее рассуждение. Мне давно кажется, что в применении к Ахматовой (а может быть, и вообще) понятие формалистов «лирического героя» или, в нашем случае, «героини» неудовлетворяющее. Более точное, по-моему, понятие — persona в том смысле, который ему придавали такие поэты как Эзра Паунд и Вильям Йейтс. Persona — что-то среднее между личностью и театральной маской — в то же время актерский и психологический термин. Я убежден, что Ахматова, подобно таким поэтам, как лорд Байрон или Маяковский, всю жизнь, и с годами все больше, создавала «персону» одновременно в своих стихотворениях и в том, что называется действительностью. Величие Ахматовой, вероятно, в том, что из своей персоны — и литературной и биографической — она сделала чистый символ, в конце концов страдальческий символ целого поколения и целого народа в несчастный период своей истории.

Если это так, становится ясным, что рассказы об Ахматовой разделяются на три типа (о личных рассказах про Ахматову-символ не будем говорить, ведь символы только имеют социальный смысл, поскольку они над- или внеличные):

1. рассказы о персоне, то есть рассказы, подтверждающие и укрепляющие тот художественный образ, который Ахматова сама создавала;

2. рассказы об актрисе, то есть рассказы о том лице, которое создавало свою персону и которое к этому своему занятию временами относилось с поразительной иронией;

3. наконец — рассказы о человеке Ахматовой, то есть о лице, которое всем вышеупомянутым занималось, а также часто совсем не занималось, с иронией или без. Как пример яркого проявления этого «человека», в отличие от «актрисы» — Ахматовой, привожу следующее место из записей Лидии Гинзбург 30-х годов: «У нее выработанная театрализованная система жестов, которыми она представительствует, как поэт, как явление культуры, странно сочетается с беспомощностью бытовой жестикуляции. Неловкими движениями она ставит чайник, режет колбасу. И этих домашних движений она стесняется».

Большинство мемуаров об Ахматовой принадлежит к более элементарным, первому и второму типам. Среди редких рассказов, которые на меня произвели впечатление третьего типа — типа заметок о том, что я условно называю «человеком Ахматовой» — упоминаю некоторые размышления из дневника Лидии Чуковской, воспоминания Аманды Хейт, лучшие страницы книги Толи Наймана и рассказы Надежды Яковлевны Мандельштам.

Мне кажется, что недоразумение о мнимой злости последней по отношению к Ахматовой можно объяснить тем, что она по-своему, как тот человек, которым *она* являлась,— человек со всем ее своеобразным чувством юмора и со всеми ее человеческими слабостями — говорила о человеке Ахматовой. Отсюда естественные противоречия с образом Ахматовой как персоны, и естественное возмущение тех читателей, которые привыкли в первую очередь относиться к этой персоне.

В заключение хочу вам сообщить что-то, имеющее, может быть, текстологический и также некоторый этнологический интерес. В третьем томе западного издания сочинений Ахматовой вы несколько раз в примечаниях найдете мое имя. Его присутствие объясняется следующим.

В самом конце 60-х годов Надежда Яковлевна Мандельштам, днем закрыв окно гардинами, мне продиктовала маленькую антологию самых запретных ахматовских стихов. Когда в конце тогдашнего пребывания я собирался восвояси из Ленинграда, я эти стихи выучил наизусть и уничтожил рукопись в номере гостиницы тем способом, которому меня научил Иосиф Бродский при наших разговорах в его комнате. Он иногда что-то писал на бумажке, давал мне ее прочесть и потом быстро сжигал или разрывал на клочки. При этом он

объяснял свое поведение, почему-то по-английски, словами old Russian custom [1].

Я хорошо сделал, что в этом случае следовал old Russian custom, потому что в завтрашний день Иосиф проводил меня в аэропорт, где мы публично поцеловались на прощание, в результате чего ленинградские таможенники целый час смотрели не только мой чемодан, но и мою одежду и то, что под ней. Часть стихов я потом отдал Никите Струве, который их опубликовал в парижском «Вестнике», часть я сам опубликовал в изданиях, вышедших в Голландии.

Совершенно недавно я вошел в магазин русских книг в Амстердаме и там купил последнее советское издание Ахматовой — то юбилейное издание, которое вышло в «Книжной палате». Когда я увидел, что в этой книге напечатаны все те стихи, которые я в свое время тайно привез в голове, я был растроган. Я тогда понял, что действительно что-то существенное переменилось в вашей, или вернее — если вы дозволите это сказать иностранному любителю русской культуры — в нашей стране.

Москва 17.VI.89

---

[1] Старая русская привычка *(англ.)*.

Советская литература за рубежом

АВСТРИЯ

Пьеса МАКСИМА ГОРЬКОГО «Дети солнца». Издательство «Академитеатер».
Стихи САМУИЛА МАРШАКА «Где обедал воробей?». Издательство «Шёнбрунн-ферлаг».

БОЛГАРИЯ

Роман АРКАДИЯ АДАМОВА «На свободное место». Издательство «Христо Г. Данов».
«Избранное» НИЛА ГИЛЕВИЧА. Издательство «Народна култура».
Роман ВЛАДИМИРА ДУДИНЦЕВА «Белые одежды». То же издательство.
Повесть ВЛАДИМИРА МАКАНИНА «Предтеча». Издательство «Христо Г. Данов».
Избранные произведения ДМИТРИЯ ПАВЛЫЧКО. Издательство «Народна култура».
Роман ВАЛЕНТИНА ПИКУЛЯ «Фаворит». То же издательство.
Роман ЮЛИАНА СЕМЕНОВА «Межконтинентальный узел». «Партиздат».

ВЕНГРИЯ

Повесть АНАТОЛИЯ ПРИСТАВКИНА «Ночевала тучка золотая». Издательство «Магветё».
Роман НАТИГА РАСУЛ-ЗАДЕ «Шаги». Издательство «Европа».
Повесть ЮЛИАНА СЕМЕНОВА «Аукцион». Издательство «Кошут».
Повесть ЮРИЯ ТОМИНА «Карусель над городом». Издательство «Мора».
Повесть ЭДУАРДА ХРУЦКОГО «Приступить к ликвидации». Издательство «Европа».
«Колымские рассказы» ВАРЛАМА ШАЛАМОВА. То же издательство.

ГЕРМАНИЯ

Книга СВЕТЛАНЫ АЛЕКСИЕВИЧ «У войны — не женское лицо». Издательство «Гальденберг».
Роман АНАРА «Шестой этаж пятиэтажного дома». Издательство «Даниели».
Рассказ ВИКТОРА АСТАФЬЕВА «Васютка и озеро». Издательство «Шрайбер».
«Поэма без героя» АННЫ АХМАТОВОЙ. Издательство «Штайдль».
Стихи и поэмы АЛЕКСАНДРА БЛОКА. Издательство «Пипер».
Повесть ВАСИЛИЯ БЫКОВА «Карьер». Издательство «Паль Ругенштайн».
Роман-сказка АНАТОЛИЯ КИМА «Белка». Издательство «Зуркамп».
Сборник рассказов АЛЕКСАНДРЫ КОЛЛОНТАЙ «Пути любви». Издательство «Фишер».
Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Волны гасят ветер». Издательство «Зуркамп».
Сборник рассказов ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ «Свидание с птицей». Издательство «Лухтерханд».
Повесть ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Дом на набережной». Издательство «Бертельсман».
Роман ЮРИЯ ТЫНЯНОВА «Смерть Вазир-Мухтара». Издательство «Зуркамп».
Избранные произведения МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ. Издательство «Ханзер».

ДАНИЯ

Повесть МИХАИЛА БУЛГАКОВА «Роковые яйца». Издательство «Хусетс».
Повесть ВЛАДИМИРА ЖЕЛЕЗНИКОВА «Чучело». Издательство «Тоде».
Повесть МИХАИЛА КУРАЕВА «Капитан Дикштейн». Издательство «Вега».

ИТАЛИЯ

Повесть СЕРГЕЯ КАЛЕДИНА «Смиренное кладбище». Издательство «Фельтринелли».
Рассказы ЕВГЕНИЯ ПОПОВА. Издательство «Гарзанти».
Книга ВЛАДИМИРА ПРОППА «Русская сказка». Издательство «Эйнауди».
Стихи АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО. Издательство «Шайвиллер».
«Записки об Анне Ахматовой» ЛИДИИ ЧУКОВСКОЙ. Издательство «Адельфи».

НИДЕРЛАНДЫ

Повесть ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «Старый дом под кипарисом». Издательство «Контакт».
Рассказ ЛЮДМИЛЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ «Сети и ловушки». Издательство «Верелдбиблиотек».
Повесть АНАТОЛИЯ ПРИСТАВКИНА «Ночевала тучка золотая». Издательство «Берт Баккер».

ПОЛЬША

Роман ВИКТОРА АСТАФЬЕВА «Печальный детектив». Издательство «ПИВ».
Роман АЛЕКСАНДРА БЕКА «Новое назначение». То же издательство.
Повесть ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА «Уже написан Вертер». «Выдавництво литерацке».
Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Волны гасят ветер». Издательство «Искры».

ФРАНЦИЯ

Повесть ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «Созвездие Козлотура». Издательство «Мессидор».
Повесть АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА «Ювенильное море». Издательство «Альбен Мишель».
Рассказы ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА «Новая московская философия». Издательство «Акт сюд».
Роман ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Исчезновение». Издательство «Галлимар».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Книга СВЕТЛАНЫ АЛЕКСИЕВИЧ «У войны — не женское лицо». Издательство «Правда».
Повесть ДАНИИЛА ГРАНИНА «Зубр». Издательство «Лидове накладателстви».
Роман ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА «Жизнь и судьба». Издательство «Словенски списовател».
Роман ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА «Русский лес». Издательство «Лидове накладателстви».
Повесть ВЛАДИМИРА МАКАНИНА «Один и одна». Издательство «Словенски списовател».
Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Дети Арбата». Издательство «Лидове накладателстви».
Стихотворения и поэмы АЛЕКСАНДРА ТВАРДОВСКОГО. То же издательство.

ШВЕЙЦАРИЯ

Роман ДАНИИЛА ГРАНИНА «Картина». Издательство «Диогенес».
Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Дети Арбата». Издательство «Бухклуб экс либрис».
Рассказы ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ «Зигзаг». Идательство «Диогенес».
Роман ЮРИЯ ТЫНЯНОВА «Кюхля». То же издательство.
Повесть ЛИДИИ ЧУКОВСКОЙ «Спуск под воду». То же издательство.

ШВЕЦИЯ

Автобиографическая повесть АНАТОЛИЯ ЖИГУЛИНА «Черные камни». Издательство «Легенда».
Повесть МИХАИЛА КУРАЕВА «Капитан Дикштейн». Издательство «Бромбергс».
Повесть АНАТОЛИЯ ПРИСТАВКИНА «Ночевала тучка золотая». Издательство «Норстедс».
Книга КОНСТАНТИНА СИМОНОВА «Глазами человека моего поколения». Издательство «Форум».

ЯПОНИЯ

Книга ВИТАЛИЯ БИАНКИ «Лесная газета на каждый год». Издательство «Коданся».
Киносценарии АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Машина желаний» и «Пять ложек эликсира». Издательство «Гундзося».

Авторы этого номера

МИЛОРАД ПАВИЧ (МИЛОРАД ПАВИ ; род. в 1929 г.) — сербский писатель, литературовед, доктор филологических наук, профессор университетов в Белграде и Нови-Саде. Автор поэтических сборников и сборников рассказов: «Железный занавес» («Гвоздена завеса», 1973), «Кони святого Марка» («Коњи светога Марка», 1976), «Русская борзая» («Руски хрт», 1979), «Новые белградские рассказы» («Нове београдске приче», 1981) и др. На русском языке печатались рассказы М. Павича в сборнике «Набросок сценария со счастливым концом» (М., «Радуга», 1984), первая часть романа «Пейзаж, написанный чаем» в книге «Югославская повесть» (М., «Радуга», 1989). Роман «Хазарский словарь» вышел в Белграде в 1984 году («Хазарски речник», Београд, «Просвета»). Печатается в журнальном варианте.

ДАВИД АВИДАН — израильский поэт. Автор многих сборников стихов, среди них «Кое-что для кое-кого» (1964), «Практические стихи» (1973), «Книга возможностей» (1985) и др. Стихи Д. Авидана переведены на многие европейские языки. Им написано также несколько сценариев и статей, опубликованных в периодической печати. Публикуемые стихи взяты из сборника «Криптограммы с борта разведспутника» (Тель-Авив, 1976).

СЬЮ ТАУНСЕНД (SUE TOWNSEND; род. в 1946 г.) — английская писательница. Автор романа «Тайный дневник Адриана Моула, тринадцати лет и девяти месяцев от роду», принесшего ей признание и успех. В «Иностранной литературе» напечатаны фрагменты этого романа и его продолжения «Тяжкое отрочество Адриана Моула» (1986, № 4, и 1988, № 7). Перу Сью Таунсенд принадлежит также и несколько пьес. «Ковентри возрождается. Повесть о двух городах» вышла в Англии в 1988 году («Rebuilding Coventry. A Tale of Two Cities». London, Methuen).

ПЕРЕВОДЧИКИ:

САВЕЛЬЕВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА — филолог-славист, переводчик с сербскохорватского языка. В ее переводах публиковались повесть Й. Радуловича «Лесной хозяин», рассказы Д. Илича, работы югославских авторов по истории, социологии и политологии. Автор ряда публикаций по современной югославской литературе в периодике нашей страны и СФРЮ.

САВЕЛИЙ ГРИНБЕРГ — поэт, переводчик, литературовед. С 1973 года живет в Израиле.

СТАМ ИННА СОЛОМОНОВНА — филолог-лингвист, кандидат филологических наук, автор ряда работ в области лингвистики, современного английского языка. Перевела несколько рассказов английских и американских авторов. В «ИЛ» (1989, № 5) напечатан ее перевод (совместно с Т. Амелиной) рассказа Р. Даля «Как вам будет угодно, пастор!». Перевод повести Сью Таунсенд «Ковентри возрождается» — ее первая большая работа.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ИЛ»:

КРИС ОГДЕН «Мэгги: интимный портрет женщины у власти»

Страницы биографии одной из самых знаменитых женщин столетия, рассказ о том, как Мэгги Робертс, дочь бакалейщика из захолустного городка, поднялась на Олимп политической жизни Британии. Читатель откроет для себя ту Тэтчер, которую мы совсем не знали — женщину, жену, мать двоих детей; увидит ее в крайне ответственные, критические моменты правления, познакомится с неизвестными подробностями ее встреч с М. С. Горбачевым.

ХУАН КАРЛОС ОНЕТТИ «Это было, когда...»

Это история души, потерявшейся в лабиринте, который называется жизнью, история женщины, которую любовь возвышает над окружающей действительностью и с неотвратимостью губит. Автор — выдающийся уругвайский прозаик.

ДЁРДЬ КОНРАД «Тяжелый день»

Повесть известного венгерского писателя и публициста, недавнего диссидента, переведенная на многие европейские языки, рассказывает о людях, выброшенных из жизни, о тех, о ком не принято было писать в странах «реального социализма». «Горькой иронии, что порождается несоответствием слов и поступков, меня больше всего, как мне кажется, научили великие русские мастера»,— считает автор.

Wilfrid Laurier University Press WLU

DOSTOYEVSKY'S CRITIQUE OF THE WEST
The Quest for the Earthly Paradise
Bruce K. Ward

". . . a superb study, eminently readable and well-informed, concerning Dostoevsky's understanding of 'order' and 'disorder' in the West in relationship to Russia and its potential future." — *Dostoevsky Studies*

xiv + 202 pp. ISBN 0-88920-190-0
Cloth **$32.50 U.S.**

BRUNO JASIEŃSKI
His Evolution from Futurism to Socialist Realism
Nina Kolesnikoff

The author's comprehensive and skillful treatment of Jasieński's literary production, the first to appear in English, also makes a valuable contribution to the knowledge of Futurism in Eastern Europe and Socialist Realism in the Soviet Union.

x + 148 pp. ISBN 0-88920-110-2
Cloth **$29.95 U.S.**

W. B. YEATS
Metaphysician as Dramatist
Heather C. Martin

Tracing "the history of the soul" as it is developed in Yeats's plays, Martin elucidates the underlying system of thought in the drama and establishes its importance to the aim and execution of the plays by drawing attention to a few of the central themes, metaphors, and symbols through which it is developed.

xiv + 153 pp. ISBN 0-88920-192-7
Cloth **$25.00 U.S.**

Waterloo, Ontario, Canada N2L 3C5

Цена 2 руб. 95 коп. ИНДЕКС 70394

LSU PRESS

Faulkner's Country Matters

Folklore and Fable in Yoknapatawpha

Daniel Hoffman

"*Faulkner's Country Matters* is an indispensable book. . . . Tightly written and rigorously argued, it is nevertheless lively and witty; all Faulkner critics will have to take it into account, and the general reader who gives it close attention will find it exhilarating as well as enlightening."—*Hudson Review*

$19.95

The Art and Vision of Flannery O'Connor

Robert H. Brinkmeyer, Jr.

"Brinkmeyer's convincing study—by all odds the best yet on this major American writer—is invaluable in illuminating the source of the bizarre and violent in her fiction and in showing how O'Connor both used the advantages of her southern heritage and by-passed its threat."—*Library Journal*

$22.50

New Paperbacks

William Faulkner

The Yoknapatawpha Country

Cleanth Brooks

"Should send many new readers to Faulkner equipped with advantages their forerunners could not have; and enable old readers to take him up again with deeper understanding."—*The Times* (London)

$16.95, paper

William Faulkner

Toward Yoknapatawpha and Beyond

Cleanth Brooks

"Completes Brooks's magisterial study of Faulkner's work as a whole. The two volumes taken together, as they should be taken, are the best-rounded exposition not only of Faulkner but of almost any American author."—Malcolm Cowley, *The New Republic*

$16.95, paper

The History of Southern Literature

Edited by Louis D. Rubin, Jr., Blyden Jackson, Rayburn S. Moore, Lewis P. Simpson, and Thomas Daniel Young

"It will be a boon companion for a very long time."—R. W. B. Lewis, *New York Times Book Review*

"The whole sweep of Southern literature . . . is discussed in *The History of Southern Literature* with analytical precision and sound judgment."—John B. Boles, *Houston Post*

$16.95, *paper*

Louisiana State University Press • Baton Rouge 70893

ISSN 0130—6545 Иностранная литература, 1991, № 3, 1—256